

Владимир Миронов

НАРОДЫ
И ЛИЧНОСТИ
В ИСТОРИИ

ТОМ
II



Annotation

Перед вами второй том уникального трехтомного издания «Народы и личности в истории», где впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. В этой книге рассказывается о жизни и творчестве писателей, поэтов, философов, политических деятелей. В книге представлены фигуры, во многом сформировавшие облик европейца, человека Запада и Востока: Байрон, Гюго, Стендаль, Бальзак, Гете, Шиллер, Гейне, Дюрер, Гойя, Делакруа, Ренуар, Гоген, Ролен, Моцарт, Бах, Бетховен, Шопен, Вагнер, Кант, Гегель, Ницше. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

- [Владимир Борисович Миронов](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)

- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)

- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)

- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)

- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)

- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)

- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)

- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)

- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)

- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)

- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)

- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)

- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)

- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)
- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)

- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)
- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)
- [563](#)
- [564](#)
- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)

- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)
- [575](#)
- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)
- [579](#)
- [580](#)
- [581](#)
- [582](#)
- [583](#)
- [584](#)
- [585](#)
- [586](#)
- [587](#)
- [588](#)
- [589](#)
- [590](#)
- [591](#)
- [592](#)
- [593](#)
- [594](#)
- [595](#)
- [596](#)
- [597](#)
- [598](#)
- [599](#)
- [600](#)
- [601](#)
- [602](#)
- [603](#)
- [604](#)
- [605](#)
- [606](#)
- [607](#)
- [608](#)

- [609](#)
- [610](#)
- [611](#)
- [612](#)
- [613](#)
- [614](#)
- [615](#)
- [616](#)
- [617](#)
- [618](#)
- [619](#)
- [620](#)
- [621](#)
- [622](#)
- [623](#)
- [624](#)
- [625](#)
- [626](#)
- [627](#)
- [628](#)
- [629](#)
- [630](#)
- [631](#)
- [632](#)
- [633](#)
- [634](#)
- [635](#)
- [636](#)
- [637](#)
- [638](#)
- [639](#)
- [640](#)
- [641](#)
- [642](#)
- [643](#)
- [644](#)
- [645](#)

- [646](#)
- [647](#)
- [648](#)
- [649](#)
- [650](#)
- [651](#)
- [652](#)
- [653](#)
- [654](#)
- [655](#)
- [656](#)
- [657](#)
- [658](#)
- [659](#)
- [660](#)
- [661](#)
- [662](#)
- [663](#)
- [664](#)
- [665](#)
- [666](#)
- [667](#)
- [668](#)
- [669](#)
- [670](#)
- [671](#)
- [672](#)
- [673](#)
- [674](#)
- [675](#)
- [676](#)
- [677](#)
- [678](#)
- [679](#)
- [680](#)
- [681](#)
- [682](#)

- [683](#)
 - [684](#)
 - [685](#)
 - [686](#)
 - [687](#)
 - [688](#)
 - [689](#)
 - [690](#)
 - [691](#)
 - [692](#)
 - [693](#)
 - [694](#)
-

Владимир Борисович Миронов
Народы и личности в истории. Том 2

Глава 7

Искусство и жизнь Западной Европы XIX века



Лев Николаевич Толстой говорил: «Искусство есть одно из средств единения людей». В этом смысле и европейские литература и

искусства сослужили свою службу миру. Благодаря таланту и смелости лучших сынов и дочерей Европы укрепился бастион свободы и культуры, а ее творцы и художники сумели выразить всю богатейшую гамму людских настроений, эмоций и страстей... О назначении художника или мыслителя прекрасно сказал поэт XVII века Э. Павийон в сонете «Чудеса человеческого разума».

Блеск царственных одежд из кокона извлечь,
Заставить красками заговорить полотна,
Поймать и удержать все то, что мимолетно,
Запечатлеть в строках и голоса и речь;
Влить в бронзовую плоть огонь души бесплотной,
Гул хаотический в мелодию облечь...

В чем же сила искусства? Вольтер как-то заметил, что оно исправляет природу. Поскольку природа человека несовершенна, то с помощью искусства мы можем повлиять в лучшую сторону на эволюцию человеческого рода (или же, напротив, втоптать его в грязь и превратить окончательно в дикое и безжалостное животное). По словам Р. Роллана, искусство – великая сила, являющаяся одним из самых совершенных орудий, с помощью которых можно проникнуть в суть человеческой природы. Пожалуй, это главная из школ, которая способна пробуждать в людях высокие и благородные чувства. С наибольшей полнотой ее воздействие проявилось в деятельности романтиков XIX века.

Здесь, впрочем, я должен оговориться. Понятие «романтизм» (предромантизм) столь же зыбко и неопределенно, как и слово «просвещение». Романтические черты встречаются в жизни и творчестве во все времена. Поэтому сегодня крайне сложно разбираться в культурных вкусах столь отдаленной эпохи. Скажем, романтизм, имевший в основе немецкие корни, поначалу был не очень дружелюбно встречен во Франции. Ламартин говорил о писателях-романтиках: «Это бред, а не гениальность». Стендаль высказывался не менее жестко и категорично, заявив, что боится той «немецкой галиматии, которую многие называют романтической». Он высмеивал молодых людей, избравших жанр мечтательный, воспевающих

страдания и радость смерти, но при этом хорошо упитанных, циничных, денно и нощно мечтающих об огромных доходах... Виктор Гюго весьма скептически относился к разделению людей литературы на «классиков» и «романтиков», говоря, что «в литературе, как и во всем остальном, есть только хорошее и плохое, прекрасное и безобразное, истинное и ложное». Гюго вынужден был также признать – время стало иным. Нужны иная литература, иные искусства: «Нельзя после гильотин Робеспьера писать мадригалы в духе Дора, и не в век Бонапарта можно продолжать Вольтера» («О лорде Байроне в связи с его смертью»)^[1] Гюго считают «отцом романтиков», ибо он возглавил движение после 1830 г. Думаю, он лишь подхватил знамя других.

Что способствовало появлению на свет в XIX в. литературно-художественных романтиков? Полагаю, характер окружающей жизни изменился настолько сильно, что люди вынуждены были искать идеальный мир и неиспорченных людей не в жизни, а в книгах и картинах. Хваленая европейская цивилизация воочию покажет, сколь нежны и хрупки ростки культуры. Человеческая жизнь, оказалось, не стоит и гроша. Подумать только: никому не известный корсиканец перетряхнул всю Европу, как грабитель, залезший в чужой дом. Мир культурного европейца треснул под каблуком полчищ Наполеона, как старое дедовское «зерцало». Исчезло то, что составляло культурную опору человека. Аморальность и продажность сановной своры, перебежавшей (подобно Фуше и Талейрану) из лагеря в лагерь, хватающей золото хоть из пасти дьявола, казалось, совершенно не оставляли места просвещению, культуре, религии и морали в сознании обывателя.

В самой действительности тех лет масса «микробов», породивших разочарованного героя байроновского или шатобриановского типа. Романтизм составил главное течение культурной жизни Европы (первая половина XIX в.). Повести Шатобриана «Атала» (1801) и «Рене» (1805) дали героя-беглеца, разочарованного в общественных устоях и прелестях городской жизни. Казалось, кого может взволновать описание нравов далеких от европейской культуры индейцев? Откуда столь бешеный успех у отнюдь не великих и даже поверхностных творений? Что это? Модные увлечения того времени? Но отчего Пушкин (в 1836 году) назовет Шатобриана «учителем всего пишущего поколения»? Почему едва ли

не все культурное общество обожествляло Байрона? Чем объяснить популярность романтиков, их произведений? Лишь модой и случайностью? Но, ведь, давно известно, что и счастливая случайность выпадает на долю подготовленных умов.

Само время, насыщенное грандиозными катастрофами, конфликтами и битвами, нуждалось в более гуманном и человеческом герое. События конца XVIII-начала XIX веков потрясли до основания общество. Страсти настолько были накалены, что уже не выдерживал разум. Выдумки поэтов оказывались лишь слабым отражением жизненных конфликтов. Мельпомена вручила свой жезл гильотине. Трагедийность жизни превосходила по своим масштабам трагедии Шекспира. К примеру, известный переводчик Шекспира во Франции, Дюсси, отвечал своему другу, предложившему ему работать для театра: «Не говорите мне о трагедиях! Трагедии встречаются ныне на каждом шагу, прямо на улице. Стоит выйти из дому, как ноги погружаются в кровь по самую щиколотку».

Наступало страшное время циников и алчных накопителей. Примерно так и охарактеризует описываемую нами эпоху А. С. Пушкин в седьмой главе «Евгения Онегина», где он упоминает о двух-трех наиболее популярных европейских романах:

В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Подобного рода настроения овладевали умами многих людей того времени, впервые остро почувствовавших на себе действие «новой морали». Все чаще они вставали перед выбором: либо предаться (с «новыми кумирами») накопительству, спекуляциям, грабежам, разврату, либо, если они достаточно образованны, умны и культурны, попытаться спастись бегством от всего того, что внушало им ужас...

Таков и главный герой повести Б. Константа, некто «Адольф», сын министра. Он закончил курс наук в Геттингенском университете, но отказался от уготованной ему карьеры, ибо им овладело отвращение «ко всем ходячим истинам, ко всем застывшим формулам». Молодой ум, обретя способность к анализу, был потрясен «при виде общества столь лицемерного и столь утонченного»... Герой, правда, сразу же заявляет, что он не намерен бороться с общественными пороками. Общество кажется ему столь могущественным, что любые его усилия оказались бы тщетными. Ведь, воспитание быстро «передельывает нас по единому образцу». Таков и герой повести Шатобриана «Рене», ставший как бы «лишним человеком».^[2]



Франсуа Рене де Шатобриан. Портрет работы Ашиля Девериа. 1831.

В таком обществе ощущаешь свою полнейшую обреченность. Люди в нем не могут ни любить, ни ненавидеть. Мужчина в нем, как впрочем, и женщина, являются жертвами. Однако принимать подобную идеологию полной безысходности многие не желали.

Творческие и сильные натуры («бойцы») обязаны были противостоять этой «болезни». Романтики и приняли вызов жестокого века, попытавшись найти если не противоядие, то хотя бы некое успокаивающее лекарство, своего рода «интеллектуальный морфий», что притуплял бы боль, снимал стрессы, уводил бы от этой позорной действительности.

Как правило, в первую очередь лучшие и чистые души откликаются на романтизм. Добрым и отзывчивым людям, тяжело переживающим «свинцовые мерзости жизни», очень хочется выбраться из этой грязи. Люди говорят: «Душа жаждет романтического».

Глава этого направления во Франции – Франсуа Шатобриан (1768–1848), писатель и монархист, немало сделавший для прихода к власти в посленаполеоновскую эпоху Бурбонов. Известно, что он подал в отставку после убийства герцога Энгиенского, служил офицером в армии эмигрантов принца Конде и издал брошюру «Бонапарт и Бурбоны». Эта страстная политическая брошюра, направленная против диктатора, сыграла немалую роль в воцарении во Франции Бурбонов. Король Людовик XVIII признавал, что книжонка принесла ему больше пользы, чем могла бы оказать армия в сто тысяч человек. Восхваляемое Шатобрианом королевское семейство так и не удосужилось прочитать его наиболее известную книгу – «Гений христианства» (1802), тогда как проклинаемый им Наполеон внимательно ее прочел и даже обратился с запросом во французскую Академию, выясняя, почему книга не была удостоена премии. Уже после разрыва с писателем император сказал в адрес Шатобриана: «Мне не в чем упрекать Шатобриана. Он был моим противником в период моего могущества, не то что эти негодяи». [3]

Политические взгляды Шатобриана объяснялись тем, что немалая часть его родных и близких пала в годину террора, во времена Великой Французской революции. Отсюда «любовь к Бурбонам» и даже странная для «романтика» готовность занять пост министра внутренних дел в правительстве Людовика XVIII. Впрочем, после Ватерлоо тяга к монархии стала вдруг модной среди обывателей. Говорят, даже палач Сансон, отрубивший головы королю Людовику XVI и Марии Антуанетте, стал высказывать свою «привязанность к королям». (Тяга к монархизму всего сильнее у тех, кто шел в первых

рядах его гонителей и душителей, как это имеет место в России). Сколько таких вот типов (Фуше, Талейран, маршал Султ) готовы изменить любой власти при первом же признаке ее слабости и быстро перебежать в лагерь противника. Иные вчерашние «республиканцы» тут же забыли о равенстве и справедливости, удивляя всех своим гнусно-отвратительным ренегатством. Везде и всюду царят расчет, алчность, карьеризм.

На пути философии цинизма должна быть воздвигнута некая нравственная преграда. Такой преградой и стал романтизм. Период романтизма занял около полувека (с начала XIX в.), хотя иные называют и более краткий отрезок времени. Романтикам свойственно увлечение древними легендами и историей. В их работах история становилась зерном, дающим романтизму жизнь. Впрочем, критики готовы были видеть в романтизме лишь четки, кальяны, попоны, доспехи, театральную-маскарадную бутафорию. «Настоящий романтик – прежде всего лицедей. Фальш, аффектация... легковесность, в которые с неизбежностью впадают те, кто добивается лишь непосредственного эффекта, – таковы пороки этой художественной поры», – утверждал позже П. Валери^[4] С такой оценкой я никак не могу согласиться. Разве столь масштабное бунтарское движение ограничивалось одной «театральщиной»? Конечно, нет. Тогда оно не нашло бы поддержки в жизни, у такой личности как В. Гюго, заявлявшего (1816): «Хочу быть Шатобрианом или ничем».

Чтобы лучше понять бурное увлечение романтизмом, нужно принять во внимание то обстоятельство, что в нем сфокусировались черты целого поколения. Герои той поры молоды, честолюбивы, активны. Они мечтают о несбыточном. Поэтому им все время приходится убегать от действительности. Вышеупомянутый Рене, герой романа Шатобриана, отправляется в Америку с целью сменить место своего пребывания, а главное – убить смертельную скуку. Он вовсе не жаждет сражаться за какие-то идеалы свободы, не думает включаться и в политическую борьбу. Рене вернулся из Америки с фантастическим проектом: «открыть проход под северным полюсом», дабы затем продать проект и разбогатеть. Типичный взгляд обывателя, буржуа, халявщика. Таких «романтиков» в России на каждом шагу. Надежды оказались тщетны, но выручила женитьба на богатой особе. Получив деньги, «романтик» бросил жену в Бретани (наслаждаться в

одиночестве прелестями «медового месяца») и помчался в Париж, где быстро промотал в борделях и казино деньги законной супруги. Но вот грянула революция. Как повел себя «герой»? Он тут же нацепил на себя трехцветную кокарду (эмблему «дома»), «записался в демократы», стал посещать их секции и народные собрания. Прямотаки настоящий санкюлот! «Я стремился к тому, – пишет Рене-Шатобриан в своем «Essai historique», – чтобы сделать ничтожной свою жизнь и снизить ее до общего уровня». Типичная философия приспособленца и обывателя, у которых низость жизни является их перманентным состоянием.



Сокровища Америки. Гравюра Г. Гётца. 1750.

Философия этих ничтожеств не является ни материалистической, ни идеалистической, ни романтической, ни демократической. Она – эклектична и аполитична. Их идеалом является амеба. Они переменчивы, как ветер в мае. То они не верят в бога, то, вдруг, становятся самыми неистовыми его адептами. То они коммунисты, то демократы, то монархисты, то православные. Если понадобятся, завтра станут язычниками. Шатобриан (я не ставлю его, как и многих других выдающихся людей той эпохи, на один уровень с толпами обывателей) называл бога «жестоким и взбалмошным тираном». Но вот подули другие «ветры», и он уже говорит: «Мое безумие состоит в том, что повсюду вижу Христа». Якобы, смерть матери вызвала столь резкий поворот в его идеологии: «Я облился слезами и уверовал». Все это

прекраснейшим образом соседствовало и с такими утверждениями: «Нужно помнить, что повсюду чтут платье, а не человека. Ты можешь быть каким угодно мошенником, если только ты богат, и никакие добродетели не помогут тебе, если ты беден. Положение дает в обществе почет, уважение, достоинство». Так вот вера идет рядом с мамоной. Поэтому согласимся с П. Лафаргом, дававшим «Рене» такую оценку – «лживая и глубоко правдивая автобиография» целого поколения буржуа.^[5]

Как это ни странно, но одной из главных заслуг Шатобриана стало то, что он вновь обратил внимание общества на забытые им христианские ценности... Кстати, и первоначальное заглавие «Гения христианства» было: «Красоты христианской религии». В данном случае особую значимость приобретал призыв не столько к вере, сколько к морали и нравственности. Образно говоря, Шатобриан облачил солдата и революционера в одежды учителя и миссионера. Он возвратил человеку такие, казалось, давно уже забытые вещи, как стыдливость, чистая и целомудренная любовь, искренняя и преданная дружба. И кому?! Тем, кто познал всю грязь Европы, Азии и Африки, кто пробивался, как лев, сквозь картечь и частокол штыков, погибал в ледяных снегах Московии или в чумных бараках Африки. В этом произведении содержался вызов всей просветительской философии XVIII века. Шатобриан обвинял минувший век в том, что тот убил в человеке веру в прекрасное, сорвал покровы тайны со всего и вся. Какова же цена громких рассуждений господ энциклопедистов? Что же это за прогресс, за которым стоит гильотина?!

Хотя, конечно же, особое место в его творчестве (а все собрание сочинений состояло из более чем 30 томов) заняли «Замогильные записки». Вышедшая уже после его смерти книга получила высокие оценки современников. Историк Токвиль сравнил их автора с древними классиками – Гомером и Тацитом. Другие говорили: «Мы обязаны ему почти всем» (Ж. Грак). Нам менее интересны перипетии вокруг рукописи. В 1830 г. Шатобриан отказался от звания пэра и, следовательно, от причитавшейся ему как пэру солидной пенсии, и был вынужден до самой смерти зарабатывать себе на жизнь литературным трудом. Пушкин скажет о нем: «Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью». Смерть его в 1848 г., последовавшая сразу же после революции,

освободила рукопись. Это походило на освобождение спящей принцессы, заколдованной злой феей. И хотя ее пробуждение было медленным и трудным, окружающие не могли не порадоваться столь значительному событию. Что это за труд? Описание мало что вам расскажет. Ее можно сравнить со странствиями Одиссея по городам и весям большого мира. Писатель Ж. Жанен сказал о нем так: намереваясь написать только мемуары, Шатобриан «создал историю XIX века – не больше и не меньше».^[6]

Никто так остро не чувствовал враждебности мира по отношению к свободе и истине, как Байрон. Этот бунтарь в мантии лорда, мятежник в поэтическом королевстве, паломник среди почтенных буржуа, повстанец и «корсар», вызывавший трепет в лондонском Сити и Уайт-холле – одна из самых ярких фигур британской и мировой культур. Французский историк и политический деятель И. Тэн заметил в «Истории английской литературы» (Париж, 1863): «Когда новый шаг в развитии цивилизации вызывает к жизни новый род искусства, являются десятки талантов, выражающих общественную мысль только наполовину, вокруг одного или двух гениев, выражающих ее в совершенстве». Байрон, безусловно, принадлежит к числу таких гениев европейской и мировой поэзии.

Джордж Гордон Байрон (1788–1824) провел детство в Шотландии (Эбердин). От отца он унаследовал титул лорда и полуразрушенный замок (Ньюстедское аббатство). Его поместили в школу для аристократов (1801), где он изучал латынь, греческий, античную историю, занимался литературой, много читал. Там возникли дружеские привязанности. Отношения Байрона с матерью оставались сложными. Необузданный характер матери, возможно, передался и сыну. Закончив Харроу, он поступил в Кембридж (1805). Впрочем, в стенах университета он больше внимания уделял спорту, нежели наукам. Вскоре появился первый сборник его лирических стихов, встреченный официальной прессой в штыки. Байрон ответил критикам сатирой – «Английские барды и шотландские обозреватели». С той поры началась долгая и изнурительная схватка гордого поэта и завистливого света. Вскоре он уезжает из Англии, повторяя про себя, подобно Чайльд Гарольду: «Он знал печаль, весельем пресыщен, готов был в ад бежать, но бросить Альбион».



Байрон. Рисунок Дж. Харлоу.

Байрон едет в Лиссабон, на Сицилию, в Кадикс, Севилью, Гибралтар, Грецию, Янину и т. д. Путешествие сопровождается приключениями. По возвращении он постарался все осмыслить и приступил к работе. Первые две песни «Чайльд Гарольда» появились в 1812 г. Перед этим он выступил в парламенте с речью в защиту рабочих-луддитов, вдребезги разбивавших ткацкие станки (в них они видели причину безработицы). Байрон стал знаменитостью, «львом Лондона». Стихи Байрона вдохновили и окрылили многих:

Так будем смело мыслить! Отстоим
Последний форт среди общего паденья.
Пускай хоть ты останешься моим,
Святое право мысли и сужденья,
Тебя в оковах держат палачи,
Чтоб воспарить не мог из заточенья
Ты, божий дар! Хоть с нашего рожденья
Тебя в оковах держат палачи,
Чтоб воспарить не мог из заточенья
Ты к солнцу правды, – но блеснут лучи,
И все поймет слепец, томящийся в ночи... [7]

Велик Байрон, ибо ему к дару дивного поэта было дано щедрое, благородное сердце... Он считал себя последователем и духовным учеником Жан-Жака Руссо. Если поэзия стала его постоянной и верной любовью, то свобода – безудержная страсть. Когда народы Европы конвульсивно содрогались в объятиях различных коронованных насильников, а трусливое охвостье, гордо именуящее себя «мыслящей интеллигенцией», восторженно восхваляло новых и старых мерзавцев, один лишь Байрон дерзко принял вызов.

Он писал: «Бедной черни в конце концов надоеет следовать примеру Иова. Сначала народ только ропщет, затем начинает проклинать и тогда – подобно тому, как Давид схватил пращу и пошел против великана, народ хватается за первое оружие, данное ему отчаянием, и возбуждается война. Я сам первый сожалел бы о ней, если бы не понимал, что одна только революция в состоянии очистить от ада. Я тогда буду воевать (по крайней мере на словах, а, может быть, и на деле) против каждого, кто воюет с мыслью, а из врагов мысли худшими были деспоты и клеветники. Я не знаю, кто победит; но если бы я даже и знал это вперед, мое знание несколько не смягчило бы мое искреннее, горячее, прямодушное презрение ко всякого рода деспотизму у всех народов мира».

В Байроне, сочувствующим освободительной борьбе греков, словно проснулся дух героя Фемистокла. В «Песне греческих повстанцев» он писал, обращаясь к восставшим:

О Греция, восстань!
Сиянье древней славы
Борцов зовет на брань,
На подвиг величавый.
К оружию! К победам!
Героям страх неведом.
Пускай за нами следом
Течет тиранов кровь!
С презреньем сбросьте, греки,
Турецкое ярмо!
Кровью вражеской навеки
Смойте рабское клеймо.
Пусть доблестные тени

Героев и вождей
Увидят возрожденье
Эллады прежних дней... [8]

Байрон едет в Грецию, где присоединяется к повстанцам, перед этим получив первое и последнее приветствие от Гете. Байрон убежден: человек должен сделать для народа нечто большее, чем просто писать хорошие стихи. Он помогает повстанцам, давая им деньги на оружие. Ходили слухи, что те хотели предложить Байрону корону в случае победы. Однако земных корон не надобно поэтам... Куда большей наградой стала бы для него благодарная память потомков о герое, погибшем за дело свободы Греции.

Активной была роль Байрона и в делах карбонариев в Италии... Тогда он находился в Равенне, центре карбонарского движения Романьи (1820 г.). Среди видных карбонариев находились его друзья (Руджьеро и Гамба). Там он станет и одним из руководителей отряда «Американские стрелки» («mericani»), их главой, их «саро». И тут вооружение отряда повстанцев осуществлялось в основном на деньги поэта. Донесения папской полиции изобилуют упоминаниями об «опасном лорде», «первом революционере Равенны», что готовит восстание и отдает приказания направо и налево. Напомню, что в Италии тогда назревала революция против австрийского гнета. Он с нетерпением готовил приход часа, когда итальянцы загонят, наконец, «варваров всех наций обратно в их берлоги».



Э. Делакруа. Греция на развалинах Миссолунги. 1826.

В письме Меррею (22 июля), узнав о выступлении народа в Неаполе, он восклицает: «Мы здесь накануне эволюций и революций. Неаполь восстал, и среди романьольцев волнение». Некоторые его советы тем, кто готовит восстание, очень разумны и толковы... «Лучше драться, чем дать схватить себя поодиночке». Байрон советует: против регулярных войск режима удобнее и разумнее бороться партизанскими методами. Нужно «выступить мелкими отрядами и в разных местах (но в одно время)». В минуты роковые в нем просыпается воин, которому поэт охотно уступает место. Тогда Байрон записывает в «Дневнике»: «Когда с минуты на минуту ожидаешь взрыва, трудно сосредоточиться за письменным столом на поэзии высшего рода». Но разве битва за свободу угнетенного народа не является самой пламенной и возвышенной поэзией, которую создает поэт?!

Личная жизнь поэта не сложилась. Жена не смогла или не захотела понять яркую натуру поэта. После замужества леди Байрон, вдруг, удивилась тому, что муж пишет стихи: «Ну, написал несколько и хватит. Мало ли дел кругом». В каком-то смысле эти невзгоды стали причиной бегства Байрона из родной страны, которая, впрочем,

оставалась для него поприщем литературной славы, «судом и трибуналом». В жизни поэта было немало трагических событий... Одним из них стало сожжение «Записок», над которыми поэт долгое время работал в Италии. Издатель Джон Меррей, по настоянию представителей леди Байрон, а также его «друзей», устроил настоящее судилище над наследием поэта. И 17 мая 1824 года (когда прах поэта еще не был перенесен на корабль, направлявшийся из Греции в Англию) в доме Меррея была сожжена эта драгоценнейшая рукопись. Один из лжедрузей, Хобхауз, убедил Байрона сжечь юношеский дневник (1809).^[9]

Байрон– бунтарь, борец за свободу угнетенных, Прометей, властитель дум нескольких поколений (и не только в Англии)... Сам он в «Разрозненных мыслях» упоминает: с кем только не сравнивали его на многих языках мира – с Руссо – Гете – Юнгом – Аретино – Тимоном Афинским – Сатаной – Шекспиром – Бонапартом – Тиберием – Эсхилом – Софоклом – Эврипидом – Арлекином – Клоуном – «Комнатой Ужасов» – Генрихом VIII – Шенье – Мирабо – Микельанджело – Рафаэлем – Диогеном – Чайльд Гарольдом – Мильтоном – Попом – Драйденом – Бернсом, актером Кином, Альфьери и т. д. и т. п.^[10]



Тереза Гвиччиоли. Рисунок графа д'Орсэ.

Художественный дар поэта настолько очевиден, что его признают буквально все, друзья и враги. Романтик Шелли оценивает байроновского «Дон Жуана» как своего рода «учебник поэзии»: «Я

прочел Вашего «Дон Жуана» и вижу, что Ваш издатель опустил некоторые из лучших строк... Сам Данте едва ли мог бы написать лучше. А к концу какими лучами божественной красоты Вы озарили обыденность сюжета! Любовное письмо со всеми подробностями – это шедевр изображения человеческой природы, блистающий вечными красками человеческих чувств. Где вы научились всем этим секретам? Я хотел бы пойти в обучение туда же». ^[11] Гете в последние годы жизни все время думает о Байроне как о величайшем гении. Никто иной, кроме разве что Наполеона и Шиллера, не занимал так его дум. Образ Байрона предстает перед ним в совершенно ином ракурсе – как образ великого мыслителя и возможного реформатора. Гете кажется: останься Байрон жив, в нем непременно явился бы «новый Ликург или Солон». Старик хватает все, что может найти в печати о великом поэте. Оживил Байрон и «Фауста». Гете вернулся к тексту, которого не касался четверть столетия. Иные критики даже готовы утверждать, что и окончание знаменитого «Фауста» написано под влиянием Байрона.

Поэт М. Лермонтов писал о «байронизме» как о явлении широко распространенном. Его строки указывают на известную схожесть их бойцовских натур и поэтических темпераментов («И Байрона достигнуть я б хотел...»), но и вместе с тем и на их различие:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник —
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой... ^[12]

Последняя строка отделяет европейское видение от русского варианта «байронизма». Ф. Достоевский в своей речи о Пушкине, произнесенной в Обществе любителей русской словесности, также упомянул о Байроне и Чайльд-Гарольде. Сделано это в связи с Онегиным, «отвлеченным человеком», «беспокойным мечтателем во всю жизнь». Достоевский заметил с грустной иронией: «О, если бы тогда, в деревне, при первой встрече с нею (Татьяной, – авт.), прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее, – о, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих

мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного!..»^[13] Белинский, говоря о Байроне, заметил, что в нем «все-таки нельзя не видеть англичанина и притом лорда, хотя, вместе с тем, и демократа». При этом он уважительно назвал английского поэта – «Прометеем XIX столетия».

Автор не ставил задачи написания картины истории искусств Европы или тем более создания обширного труда по «философии искусства». Это было бы затруднительно хотя бы в силу тех причин, о которых писал Ф. Шлегель: «тому, что называют философией искусства, недостает обычно одного из двух – либо философии, либо искусства».^[14]

Искусство теснейшим образом связано с литературой и просвещением, составляя как бы дионисийскую или литургическую сторону образовательного процесса (в терминологии П.Флоренского). Английские романтики были первыми, кто сумели донести до самодовольных буржуа (диккенсовского Градграйнда и им подобных) высокую ценность искусства. В середине XVIII в. те равнодушно, если не сказать крайне неприязненно, взирали на старое национальное зодчество, и даже на творения Шекспира и Мильтона. И вдруг «темные века» начинают вызывать их интерес. «Если ты хочешь наслаждаться искусством, ты должен быть художественно образованным человеком» (К. Маркс)... Профессор Кембриджа Грей, изучавший саги и готическую архитектуру, пишет «Барда» (1755), давшего сюжет для многих романтических картин. Перси издает «Реликвии древней английской поэзии» (1765). Макферсон творит под маской древнего поэта Оссиана (тот прозван «Северным Гомером» в Англии, Франции, Германии). Появился ряд живописных полотен на тему. Художник А.-Л. Жироде-Триазон пишет «Оссиана, встречающего тени французских воинов» (1802), а Ж. Энгр – картину «Сон Оссиана» (1812).

Однако в авангарде идут те, кто готовы воспеть не сны античных героев, но «человечества сон золотой». Закономерно, что во главе движения встали художники и поэты, которых Шелли справедливо назвал «непризнанными законодателями мира». Сам П. Б. Шелли (1792–1822) в аллегорической поэме «Королева Маб» (1813) разоблачал пороки буржуазного общества, требуя насильственного свержения деспотии (в поэме «Восстание Ислама», увидевшей свет в

1818 г., и в лирической драме «Освобожденный Прометей», 1820 г.). Показательно признание, сделанное им в письме к Э. Хитченер, где он обличает «тупость аристократов»: «Мои размышления заставляют меня все сильнее ненавидеть весь существующий порядок. Я задыхаюсь, стоит мне только подумать о золотой посуде и балах, титулах и королях. Я повидал нищету. – Рабочие голодают. Мой друг, в Ноттингем посланы войска. – Да будут они прокляты, если убьют хотя бы одного истощенного голодом жителя... Саути полагает, что революция неизбежна; и это один из его доводов за то, чтобы поддерживать нынешний порядок. – Но мы не отречемся от наших убеждений. Пусть объедаются, распутничают и грешат до последнего часа. – Стоны бедняков могут оставаться неслышными до конца этого постыдного пиршества – пока не грянет гром и яростная месть угнетенных не постигнет угнетателей». Таков гневный клич праведного и великого сердца, а не расшаркивания придворных холуев из писательского или политического борделя. Поэтому Шелли имел все основания заявить, обращаясь к потомкам: «И все-таки я буду жить после смерти».^[15]



Жан Огюст Доминик Энгр. Сон Оссиана. 1813.

Мятежным лидером стал и У. Блейк (1757–1827), соединявший в одном лице таланты поэта и художника. Вдобавок, у него было сердце

бунтаря и мечтателя. Французская и американская революции вдохнули в него надежду. «Мое сердце полно грядущего», – повторял он. Возможно, это подвигло его к созданию ряда поэм («Бракосочетания Рая и Ада», «Америка», «Французская революция», «Песни познания», «Европа»).

Имя Блейка относят к самым громким именам эпохи... Сын чулочника, с десяти лет отданный в учение граверу, он вынужден зарабатывать себе на хлеб, влача жалкое существование. Блейк так и не добился признания своего творчества со стороны английских снобов. Такова судьба гения в этом мире, где нет ни совести, ни справедливости. Академия его не признавала, издатели не издавали, церковники подвергали гонениям. Понятно, почему на полях попавшейся ему на глаза процерковной брошюры он напишет: «Господь сотворил человека счастливым и богатым, и лишь хитроумие распорядилось так, что необразованные бедны. Омерзительная книга». Жизнь для многих – ад. Среди его «Пословиц ада» есть и такая: «Во время посева учись, в жатву учи, зимой веселись».^[16]

У. Блейк обладал редким трудолюбием и работоспособностью, что и помогло ему в итоге стать собственным издателем (сам сочинял, иллюстрировал, гравировал, печатал). Был ли он образован? Блейк не посещал никакой общеобразовательной школы, ибо «с детства ненавидел правила и ограничения настолько, что отец не решился послать его в школу». Зато он много читал и многим интересовался. Язык гравюр он постигал на аукционах, куда заходил смотреть картины (музеев в Лондоне тогда еще не было). По мысли Блейка, его поэмы должны были помочь человечеству в борьбе за освобождение от пут рабства и угнетения. Весьма достойная, смелая позиция. «Писать должен лишь тот, кого волнуют большие, общечеловеческие и социальные проблемы» (Д. Голсуорси).

Образовательное кредо Блейка, выраженное словами «Придите, молодые! Уже заря зажглась, и правда родилась», обращено было к молодежи. Он видел в ней наиболее совестливую, умную и порядочную часть общества. В искусствах и науках узрел он мощные орудия, с помощью которых можно и должно уничтожить в итоге тиранию дурных правительств. Блейк писал: «Восстаньте, Молодежь Нового Мира! Воспротивьтесь невежественными наймитам! Потому, что есть наймиты в Войске, и при Дворе, и в Университете, которые

хотели бы, если бы могли, навсегда подавить духовную и продлить телесную войну»... В идейной борьбе с наймитами капитала, циниками прессы, бюрократами и неучами он использует в качестве оружия копьё интеллекта и стрелы мысли.^[17]

Среди наиболее интересных «умозрений в красках» Блейка – его «Песни Невинности» (1789) и «Песни Опыта» (1794), а также иллюстрации к «Книге Иова» и «Божественной комедии» Данте. В числе видных романтиков назовем имена Дж. Констебля, Г. Фюзели, С. Пальмера и, возможно наиболее талантливого из них, Дж. Тернера. В конце века в их славный отряд влился английский художник и поэт У. Моррис, давший романтизму исчерпывающую и точную характеристику: «Что такое романтизм? Я слышал, как людей ругали за то, что они романтики. Но ведь романтизм – это способность к правильному пониманию истории, умение сделать прошлое частью настоящего».^[18]

Пока мы молоды с тобой,
Наполним кубок золотой...
Бессмертья кубок, кубок славы,
В нем сладкий яд, змеясь, шипит:
Прощайте, юные забавы,
Звезда бессмертия горит!^[19]

Романтизм – это еще и способность тонко понимать и чувствовать природу. Таким свойством обладал великий английский живописец Джон Констебль (1776–1837). Природа оживает, дышит неповторимой свежестью в его пейзажах «Телега для сена» (1821) или «Дедхемская долина» (1828). Вначале косная публика никак не желала воспринимать его картин, несмотря на все богатство содержащихся в них красок и оттенков.



У. Блейк. Иллюстрация к «Книге Иова».

В художественном мнении Европы укоренилось мнение, что в Англии живопись и другие искусства, обращенные к чувствам, заброшены и отошли как бы на задний план. Если ими и занимаются, то лишь из соображений моды. Французский историк культуры И. Тэн писал в 1865-1869 гг.: «Современные живописцы этой страны – ремесленники с определенным и узким талантом; они нарисуют вам копну сена, складки одежды, верес с отталкивающей сухостью и кропотливостью; продолжительные усилия, постоянное напряжение всего физического и нравственного механизма расстроили у них равновесие ощущений и образов: они стали нечувствительны к гармонии тонов и выливают на полотно горшками зеленую краску такого же яркого цвета, как попугай; деревья у них точно из цинка или листового железа; тела красны, как бычья кровь, и если исключить изучение физиономий и характеров, то их живопись отталкивает, а их национальные выставки кажутся иностранцам собранием красок столь же резких, крикливых и дисгармоничных, как кошачий концерт».^[20] Французы и англичане очень «любят друг друга», но любопытно, что схожие резкие оценки будут направлены и против импрессионистов.

Тем не менее именно в Париже, где Констебль выставил свою «Телегу для сена» (1824), картину оценят по достоинству. Некоторое время спустя к нему придет и всеобщее признание. Констебля избрали академиком. Вес и влияние мастера у живописцев Европы заметно

возросли. Делакруа отмечал в письме (1850): «Констебль – необыкновенный художник: он – гордость англичан. Я уже говорил Вам о нем и о том впечатлении, которое он произвел на меня, когда я писал «Резню на острове Хиос». Он и Тернер – настоящие реформаторы. Нашей школе, изобилующей теперь талантами подобного рода, они принесли много пользы. Жерико совсем ошалел от одного из больших пейзажей, которые нам прислал Констебль». Эта плеяда художников явилась на свет, чтобы вернуть миру все волшебство классической живописи и цвета. Шпенглер однажды даже заметил: «Между Рембрандтом и Делакруа или Констеблем лежит мертвое пространство...»^[21]

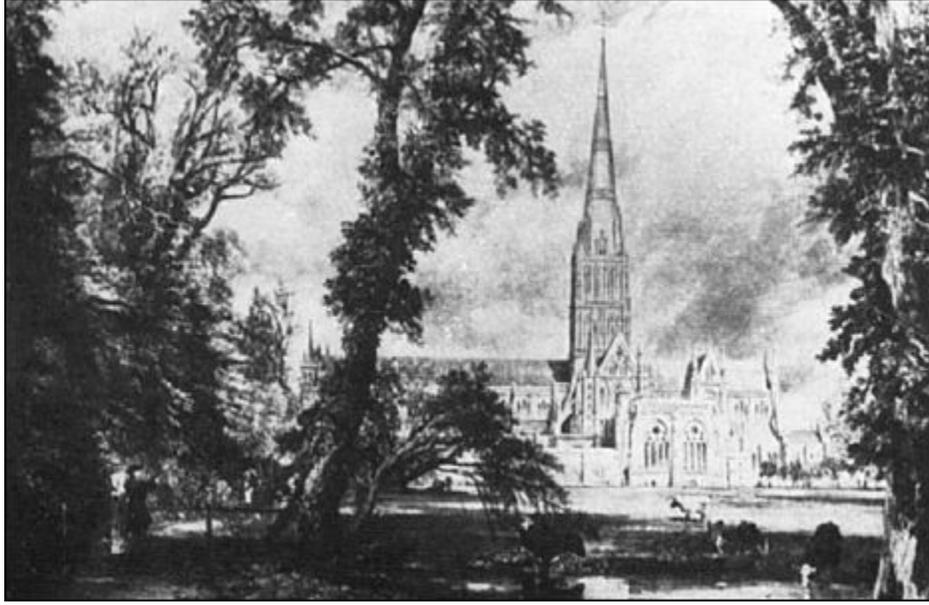


Д. Гарднер. Портрет Дж. Констебля. 1806.

Волшебным мастером пейзажа по праву считают английского художника Джозефа Тернера (1775–1851). Он рос в семье цирюльника, в одном из темных подвалов неподалеку от Темзы. Что мог видеть лондонский мальчишка в этом мрачном аду? Кабаки, попойки, проститутки, дебоши... Дома обстановка также была крайне тяжелой (его мать умерла в сумасшедшем доме). Может быть, именно поэтому живопись его будет буквально пронизана светом и солнцем, дышит вольным воздухом и морем. Говорят, что последним его словом была фраза: «Солнце – бог». Он умрет как жил, без единого стога.

Тернер – художник-труженик, художник-самоучка... Всем, чего он достиг в жизни, он обязан своему труду. Не оттого ли почти все дети на его картинах заняты каким-то полезным трудом (жнут, тянут плуг, купают коней, лазают по снастям корабля)?! Он так и не получил возможности закончить школу. Рисунку учился, где только и как мог. Отец верил в его будущее, сказав: «Мой сын будет художником». С 14 лет он зарабатывал на жизнь рисунками (отец развешивал их у дверей лавки и продавал по 2–3 шиллинга за штуку). По рекомендации некоторых художников он начал посещать классы Академии (с 1789 г.). Вскоре ему стали поступать заказы. Юноша исходил пешком много дорог, отправляясь на этюды... Тернер продолжал набирать опыт, знания, посещая «вечернюю академию» некоего доктора Монро (у того в госпитале для душевнобольных лечилась и его мать). Он помогал ей, как мог, ибо был любителем и ценителем живописи. Тернер копировал у него некоторые принадлежавшие ему работы, получая полгинеи и ужин.

Жизнь художника в то время была тяжелой. Нередко она заканчивалась трагически. Мы уже говорили о нелегкой судьбе У. Блейка. Великолепного мастера рисунка Дж. Уорда, выросшего в трущобах, никогда не учившегося в школе и работавшего с 5 лет (он зарабатывал себе на жизнь в покойницкой, вскрывая трупы), в конце жизни разбил паралич. Другой близкий друг и товарищ Тернера, Гиртин, очень рано ушел из жизни. Козенс, еще один друг Тернера (тот многим обязан ему в школе), вскоре помешался и умер.



Джон Констебль. Собор в Солсбери. 1823.

Со временем картины Тернера стали привлекать внимание. Его избрали в Академию членом-соревнователем, а в 1802 году – академиком, хотя она и считалась рассадником демократии («над Академией довлел упрек, что в ее составе слишком много демократов»). Рост популярности пейзажей объяснялся и общей атмосферой в художественных кругах Англии. Тогда уже вышли в свет «Лирические баллады» Вордсворта и Кольриджа (1798), считавшиеся манифестом романтизма. Природа родной страны становилась все более любимым местом отдыха для многих. Тернер и обращается к теме Озерного края.



У. Тернер. Кораблекрушение. 1805.

В идейном плане на художника повлияла поэма романтика Томсона «Свобода». В ней поэт задает весьма острые вопросы: а не ждет ли британскую цивилизацию судьба Римской империи. В пятой главе он прямо предсказывает гибель нации, если «науки, художества и общественные труды» останутся в таком пренебрежении. В своих картинах Тернер как бы проводит аналогию между трагической судьбой Карфагена и Британии. Его панорама «Битва на Ниле» (1799), показанная в Лондоне, воплощала в себе черты нового искусства. Он пишет море, ледники, горы, обвалы, египетские казни, потопа, метели. Но особенно силен художник в изображении родных озер, рек и парков. Тут сей фавн живописи находил отдохновение и успокоение... В 1807 году его выбрали профессором перспективы (с 1811 и по 1828 год он читал студентам лекции по мастерству). Обладал он и неплохим видением исторической перспективы. Еще до Байрона он призвал греков к битве за свободу своей страны, написав «Восстановленный храм Панэллинского Юпитера» (1814). Храм Зевса на картине – образ возрожденной Греции.

Ему не раз приходилось сталкиваться с прозой жизни. С грустью осознал он, сколь зависим художник от своего «патрона» (в корыстном мире). На полях одной из книг, где идет речь о Британском институте (влиятельной организации богатых меценатов), он отмечает: «... Художник должен осмелиться думать сам за себя, и найти свой

метод...не слушая каждого, притязającego на высшее познание, которое заключается в нескольких практических терминах... Но у нас нет иного выбора, кроме патрона-покровителя, – вот истинные оковы таланта, и каждый смельчак, сознательно противящийся этому будет нищим и одиноким. Таково мое положение, – зато оно останется моим собственным...» Романтизм все явственнее ощущал на себе жесткую хватку дельцов «нового времени». [22]

В каком-то смысле можно считать символичным, что цвет английского романтического искусства уйдет из жизни как-то сразу, словно выкошенный костлявой рукой безжалостного времени (Китс – 1821, Шелли – 1822, Байрон – 1824, Блейк – 1825, Фюзели – 1825, Констебль – 1837). Может, тому виной был «час смертных судорог» государств?! Пару десятилетий поток небывалой силы (войны, революции, террор) пронизал человечество от полюса до полюса, вызывая сочувствие одних и гнев других. Искусству угрожал и другой поток – пошлости и казенщины. Дж. Констебль в письме к Фишеру (1822) указал на эту опасность: «Искусство скоро умрет; через тридцать лет в Англии совсем не будет настоящей живописи. И все потому, что коллекционеры, директора Британского института и прочие забивают пустые головы молодых художников картинами». [23]

Конечно, романтизм – явление огромного масштаба... Более того, это явление в каждом поколении находит своих горячих сторонников. Для нас это синоним истинной жизни. Исчезни завтра из нашего окружения романтик и мечтатель – и тотчас серая и будничная «правда бытия» войдет в дом, превратив его в ад... Нечто схожее испытал, видимо, английский поэт Джон Китс, доживая свои дни в Италии. В последний год, устав от непрерывной борьбы с жизненными невзгодами, он не написал ни строчки.

Когда мне страшно, что в едином миге
Сгорит вся жизнь – и прахом отойду,
И книги не наполнятся, как риги
Богатой жатвой, собранной в страду;
Когда я в звездных дебрях мирозданья
Пытаю письма пространства иных
И чувствую, что отлетит дыханье,
А я не удержу и тени их;

Когда я вижу, баловень минутный,
Что, может быть, до смерти не смогу
Насытиться любовью безрассудной, —
Тогда – один – стою на берегу
Большого мира, от всего отринут,
Пока и слава и любовь не сгинут.^[24]

Романтическая «слава и любовь» находила прибежище не только во Франции или Англии, но и на Апеннинах, хотя А. С. Пушкин однажды и заметил: «В Италии, кроме Dante единственно, не было романтизма. А он в Италии-то и возник». Но в XIX в. долю романтического красноречия внесла и Италия. Закономерно то, что сюда устремился и Стендаль, создавший здесь свои знаменитые «Прогулки по Риму» и «Историю итальянской живописи»... Италия, которую охотно посещали англичане, французы, испанцы, русские и немцы, для всех художественно-поэтических натур все еще оставалось неким компасом высокого эстетического вкуса и мастерства. Хотя и тут давно уже была своя «ложка дегтя». Дело в том, что на рубеже XVIII и XIX вв. страна оказалась раздроблена и находилась под гнетом австрийцев. Когда французская армия под командованием Наполеона вступила в Италию (Венеция, Генуя, Милан), здесь образовалась Цизальпинская республика, основа будущей единой страны. Известный итальянский математик Машерони даже преподнес Наполеону трактат «Геометрия» со словами: «Ты преодолел Альпы... чтобы освободить свою дорогу Италию». Итальянцы видели в нем «своего» – Буонапарте. Время иллюзий и надежд. Стендаль назвал 1796 г. «поэтическим временем» генерала: «Я прекрасно помню тот восторг, который его юная слава возбуждала во всех благородных сердцах». Однако коварство славы, денег и власти в том и состоит, что они незаметно, исподволь отравляют ядом свою жертву. Директория Цизальпинской республики преподносит Бонапарту в качестве дара дворец Момбелло (стоимостью в миллион ливров). Тот стал почти полновластным хозяином страны. Вероятно, тогда-то он впервые познал в полной мере вкус власти и денег. В дальнейшем, как известно, Италия стала такой же разменной монетой в планах Наполеона, как и многие другие страны.

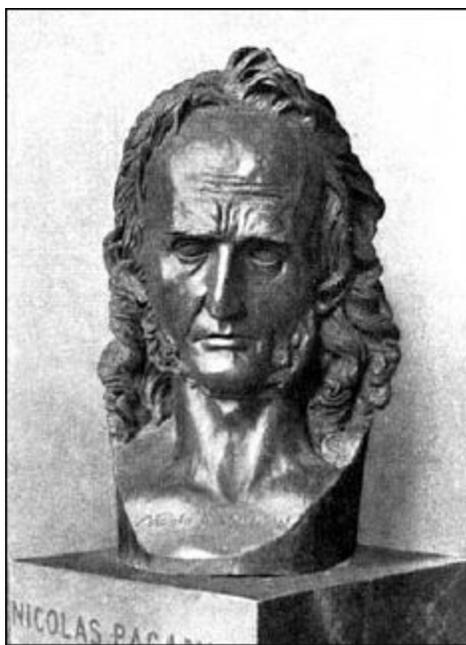
Когда в 1799 г. французские войска покидали Италию, реакция населения была уже совсем иной. Итальянцы восторженно встречали Суворова в Милане и Турине. Эскадра Ушакова получила столь же теплый прием. Но пришедшие на смену французам австрийцы вновь испортили «обедню»... Они не только секли итальянцев розгами, но и, что гораздо большее для обывателя, нещадно выворачивали их карманы. Энтузиазм, с каким ранее итальянцы принимали австрийцев, сменился столь же сильной ненавистью к ним. «Без сомнения, наша армия, а также и лица, действовавшие совместно с ней, вели себя в Италии таким образом, что нет ни одного итальянца, который не предпочел бы французского господства или правительства Цизальпинской республики так называемому австрийскому деспотизму», – признавались впоследствии и сами австрийцы.^[25]

Примерно в это же время Италия, где каждый второй житель – Карузо или Россини в миниатюре, подарила миру трех великих музыкантов... Первым был Никколо Паганини (1782–1840), рожденный в Генуе. Город дал немало ярких исполнителей и дирижеров. Музыканты и певцы всегда были тут первыми людьми, а генуэзские инструменталисты славились по всей Европе. В 1795 г. состоялся первый концерт 13-летнего Паганини. Тогда-то и началось его триумфальное шествие. В его руках словно ожила душа скрипки (известно, что скрипка «родилась» за два столетия до этого, в Ломбардии – Монтикьяри, Сало, Амати). Паганини – гений чувств! Он и сам говорил: «Нужно сильно чувствовать, чтобы заставить чувствовать!» Игру его слышал знаменитый скрипач Крейцер (которому посвятят свои работы Бетховен и Толстой) и предсказал славу юноше.

Удивительно все же поступает история... Казалось бы, о какой музыке может идти речь, если в Генуе царит голод, свирепствует сыпной тиф, а улицы загромождали груды трупов. Но музыка сильнее смерти! Никколо переезжает в Лукку, где учит играть на скрипке даже профессоров музыки. Тогда-то и родился его прекрасный девиз: «Великих не страшусь, униженных не презираю!» Восхищение от игры маэстро было огромным.

Художник и в любви остается им. Не менее искусно, чем струнами скрипки и гитары, владел Паганини струнами дамского сердца. Его жизнь – постоянная смена любовных «декораций».

Однажды он увлекся знатной тосканской дамой... В «Автобиографии» музыкант признается, что три года только ею и занят («с удовольствием щипал струны гитары»). Впрочем, за это же время им были написаны 12 сонат для гитары и скрипки («Любовный дуэт», «Мольба», «Знак любви», «Ссора», «Расставание», многие другие). На музыканта обратила внимание Э. Бачокки, сестра Наполеона. Тот стал и королем Италии (1805), подарив ей княжество. Там она открыла французский и итальянский театры, основала академию, способствуя развитию торговли и промышленности. Эта «луккская Семирамида» привлекла и Паганини, наградив титулом «камерный виртуоз». Надо отдать ему должное: он справился с ролью «виртуоза», ибо дирижировал спектаклями, устраивал концерты, давал уроки скрипки Паскуале, мужу княгини, а самой княгине – уроки любви. Эта женщина сумела по достоинству оценить способности музыканта.



Пьер д' Анжер. Портрет Паганини. 1833.

Публика была потрясена исполнением пьесы «Любовная сцена» (на двух струнах), а соната «Наполеон» исполнена всего на одной струне скрипки! Вскоре он знакомится и с другой сестрой Наполеона, красавицей Полиной (скульптор Канова прославил ее образ, изваяв ее в мраморе в образе Венеры). Это самое знаменитое его произведение можно лицезреть на вилле Боргезе (Рим): одно из совершеннейших

женских тел и в мраморе сохраняет жаркую, чувственную прелесть. Эта женщина являла собой «необыкновенное сочетание совершенной телесной красоты и невероятной моральной распущенности». Это очаровательное создание отличалось легкомысленностью («она поступала, как школьница»). На ее любовном поле пало большинство офицеров Генерального штаба. О ее потрясающем влиянии говорили так: «Вряд ли кто-нибудь осмелится оспаривать ее право на яблоко, которое, говорят, Канова вручил ей, увидев ее без одежды, – отмечала графиня Потоцкая. – Прелестные и поразительно правильные черты лица сочетались у нее с великолепной фигурой, которой – увы! – слишком часто восхищались». Ее нагота так возбудила Канову, что он с трудом закончил лепить из глины ее тело. Готовность Полины позировать обнаженной шокировала многих ее современников».^[26]



Антонио Канова. Полина Боргезе в виде Венеры. 1805–1807.

Великий маэстро сумел сорвать две любовные «розы» из одной императорской оранжереи (поэтичные итальянцы нарекли Элизу – Белой, а Полину – Красной Розой). Девизом же прекрасной Полины были слова: «Мои губы таят секрет моего сердца». Этот секрет она и поведала своему дорогому Никколо... Впрочем, еще Овидий говорил: «*Ut ameris, amabilis esto!*» (лат. «Чтобы тебя любили, будь достойным любви»). Любовь – это всегда награда, и достается она лишь сердцам, открытым красоте мира. Поэтому, быть может, ее столь часто ассоциируют с восхищающими нас красотами природы, звездами и

роскошными цветами (знаменитые цветаевские строки о «законе звезды и формуле цветка»). Вспомним и прекрасный стих русского поэта Константина Бальмонта:

Я видел много алых роз
И роз нагорно белых.
И много ликов пронеслось
В уме, в его пределах...

Как ни восхитительна любовь, все же главное место в жизни Паганини занимала несравненная музыка... Это был подлинный волшебник и виртуоз звуков. Композитор Бланджини сказал: смотря на него, слушая его, невольно начинаешь плакать или смеяться, думая о чем-то сверхчеловеческом. История выступлений гениального музыканта полна примеров просто невысказанного, ошеломляющего успеха (многие называли все это про себя некоей «дьявольщиной»). Паганини предстал в общественном мнении как «самый яркий талант века», «первый скрипач мира»... Он-то и положил начало сольным концертным выступлениям инструменталистов-виртуозов, тем самым предвосхитив Ф. Листа с его знаменитым девизом «Le concert c'est moi!» (франц. «Концерт – это я!»).

А все-таки странно, что талант и гений чаще представляют в виде неких небесных даров, капризов судьбы, а не как закономерный плод тяжелых трудов и знаний. Стендаль в «Жизни Россини», говоря об изумительном даре Паганини, повторил широко распространенную в Италии и за ее пределами легенду: «К вершинам мастерства эту пылкую душу привели не длительные упорные занятия и учеба в консерватории, а ошибка любви, из-за которой, как говорят, он много лет провел в заключении, где сидел в колодках всеми забытый и одинокий. Там у него было только одно утешение – скрипка, и он научился изливать на ней свою душу. Долгие годы заточения и позволили ему достичь вершин искусства...» Стендаль в данном случае не прав. В тюрьмах не вырастают гении.

Паганини постоянно находился в окружении слухов. Его враги распускали о нем самые невероятные и злостные небылицы. Каноники пытались доказать, что его имя происходит от слова «paganus»

(язычник) или, что настоящий Паганини, якобы, погиб в тюрьме, а выступающий с концертами человек с этим именем – беглый каторжник. Католическая церковь источала яд. Один из ксендзов, К. Коженевский, осуществлявший надзор за Паганини в Варшаве, писал о его творчестве:»Я видел этих двух людей – господина Шопена и итальянского скрипача Паганини – вместе. Я случайно слышал их разговор. Как далеки их музыкальные стремления от величавой простоты и богоугодной музыки нашего органа! Воцаряется дух безбожной музыки, и сатанинский соблазн звучит в музыкальных инструментах и господина Шопена и господина Паганини. Оба они одержимы духом нынешнего века, князь тьмы простирает над ними свои крылья. Я сам видел, как набожные женщины, возвращаясь с этих нечестивых концертов, теряли присутствующую им простоту веры и были полны греховных волнений. Все это наводит меня на серьезные размышления. Я пытался погасить впечатление от музыки этого страшного скрипача. Я выдвинул против него нашего представителя, члена нашего ордена, скрипача Липинского. Была ли то болезнь, или что-либо еще, но Липинский играл вяло, и землистый цвет его лица говорил о том, что он болен. И поэтому масоны и еврей Елеазар, по проискам якобинцев назначенный директором варшавской консерватории, вручили 19 июня «кавалеру Паганини» золотую табакерку с какой-то трогательной надписью и с нечестивым знаком... Не упускайте из виду эту опасную гадину. В Париж его зовут недаром... Паганини, этот опасный каторжник, вернувшийся в святую католическую паству, внес страшное смятение в души и внушает людям безумные мысли, водя сатанинским смычком по скрипке, замороженной дьяволом. Его музыка в тысячу раз хуже сотни якобинских проповедей. Я слышал о том, что сатанинский дух появился в Париже, что сумасшедшие головы нескольких молодых литераторов подняли знамя так называемого романтизма. Помните, что вещь, называемая нынче романтизмом, завтра будет называться революцией. Таково мнение не только мое, но и всего капитула».^[27]



Скрипки работы Страдивари, принадлежавшие Паганини.

После смерти музыканта Лист скажет: «Паганини умер... С ним исчез уникальный феномен искусства. Его гений, не знавший ни учителей, ни равных себе, был так велик, что не мог иметь даже подражателей. По его следу не сможет пройти никто и никогда».^[28]

Если итальянец эпохи Древнего Рима своим обликом напоминал горного орла (aquila), то в новую эпоху в нем заметнее черты соловьиные (usignolo). В конце XVIII в. родился один из самых голосистых «соловьев» – Джоаккино Россини (1792–1868). Отец Джокко происходил из знатной, но разорившейся семьи (в родовом их гербе – соловей), мать была дочерью пекаря. Красавица Нина обладала голосом и добрым нравом. Ее первенец, обожаемый Джоаккино, был красив, как юный Аполлон, и сдобен, как румяная булочка.

Детство и юность Россини протекали в обычной для сорванцов тех лет обстановке. Причащениям к «таинствам господним» он предпочитал причастие иного рода (опустошал бутылки с вином в церкви и уединялся в исповедальне с красоткой). Повзрослев, он всерьез занялся музыкой в семье священников Малерби. Поразительный музыкальный дар в нем обнаружился уже в 10-летнем возрасте. Успехи юного Джокко как певца головокружительны. Его избирает своим членом филармоническая академия Болоньи. После пяти месяцев занятий в Музыкальном лицее он стал популярен. Его приглашают петь везде и всюду. Он мечтает стать знаменитым певцом, таким виртуозом бельканто.

Юноше, правда, не очень нравилось то, чему и как его учили в школе. Уже тогда у него возникло смутное ощущение, что он станет писать музыку иначе. Талант и инстинкт «нельзя насиловать, перегружая его учебой и всякими премудростями». В конце концов, Россини надоели старые методы преподавания. Глядя на иные музыкальные пьесы, похожие на черствые научные трактаты, он хочет решительно изменить судьбу, а заодно и методу сочинения музыки. Если правила не нравятся, отбросьте их прочь!

Как возникла та «мастерская», в которой творил гений? Россини аккумулировал все доступные ему знания: уроки игры на клавесине, виолончели, рояле, альте, занятия контрапунктом, литературой, изучение шедевров Гайдна и Моцарта. Даже «ученая Болонья» приходила тут на помощь: Совет академии поручил ему репетировать и дирижировать концертами на публичных экзаменах. Посетил он и Венецию. Хотя Венецианская Республика и пала (1797), ее культурные традиции во многом сохранялись и продолжались. Напомним, что в XIX веке музыка в Италии звучала почти исключительно в оперных театрах. Первую оперу Россини написал и поставил в 14 лет («Деметрио и Полибио»).

Оперные спектакли в те времена ставились главным образом с помощью хороших голосов, художников-декораторов и балетного искусства. Сама же опера как произведение музыкального искусства уходила на второй план. Положение нужно было менять. Реформирование столь сложного, уже сложившегося процесса требовало человека с именем. Путь Россини лежал в Милан, в самый авторитетный музыкальный центр Италии, а быть может всего мира (Ла Скала). Здесь держат экзамен на зрелость певцы и композиторы. В Милане должно было произойти музыкальное «крещение» Дж. Россини.



Театр «Ла Скала» первой половины XIX века. Гравюра. 1810.

Мы уже не раз отмечали, что творчество гения становится плодотворным, если ему сопутствует любовь женщины. У Россини также была «своя Джульетта» – певица Мария Марколини. На ее поцелуи он отвечает кабалеттой, на объятия – арией («Странный случай»). Злые языки даже утверждали, что он попал в Ла Скала во многом благодаря влюбленным в него певицам. Разумеется, это не так. Иначе бы оперы «Севильский цирюльник», «Отелло», «Золушка», «Вильгельм Телль» не завоевали бы триумфально весь мир. «Это было самое популярное имя нашей эпохи», – позже скажет о нем Джузеппе Верди. Похоронят Россини в Париже, на кладбище Пер-Лашез рядом с Беллини, Шопеном и Керубини, а затем в 1887 г. прах торжественно перевезут во Флоренцию, и захоронят в пантеоне Санта-Кроче, рядом с Микеланджело и Галилеем. Знаменательно и то, что большую часть своих средств Россини оставил на развитие образования. В частности, на завещанные Россини деньги была основана консерватория в городе Пезаро.^[29]

Имя Россини было популярно во всей Европе. В Германии В. Любке писал: «... Новый светоч загорелся для Италии, да и для всего мира, в лице щедро одаренного Джоаккино Россини. Гениальный, преисполненный новых музыкальных идей, понимавший свое время, знакомый с иностранными произведениями инструментальной

музыки, он умело соединял свое и чужое как в фокусе. Его оперы стали мировыми операми».^[30]

В его честь ваяли многие великие скульпторы, а знаменитые поэты не уставали слагать гимны в его честь... В России ему посвятил свой стих поэт И. Северянин:

Отдохновенье мозгу и душе
Для дедушек и правнуков понине:
Оркестровать улыбку Бомарше
Мог только он, эоловый Россини.

Глаза его мелодий ясно-сини,
А их язык понятен в шалаше.
Пусть первенство мотивовых клише
И графу Альмавиве, и Розине.

Миг музыки переживет века,
Когда его природа глубока, —
Эпиталамы или панихиды.

Россини – это вкрадчивый апрель,
Идиллия селян «Вильгельма Телль»,
Кокетливая трель «Семирамиды».^[31]

Другое чудо явилось на свет в Катании – в лице Винченцо Беллини (1801–1835). Рассказывают, что в ту ноябрьскую ночь небо прочертила комета, сами собой звонили колокола и пели органы, а из руин древнего одеона якобы звучали нежнейшие хоры... Конечно, это – легенда, но в ней есть свой скрытый смысл. Мальчик появился в семье, где музыка была главным занятием. Отец был церковным органистом, зарабатывая деньги уроками и музыкальным сочинительством. Малышу исполнился всего год, когда он уже отбивал такт, а затем стал напевать и арии Фиорованти. Столь очевидны его дарования, что в 2 года его отдают учиться грамоте и другим предметам. В 3 года он уже играл на фортепиано. Однажды он даже с успехом дирижировал оркестром. В 6 лет он сочинил «опус номер

один» («Gallus cantavit»). Первые его опусы до нас не дошли. В юности Беллини посещал медицинскую школу при Катанийском университете, дабы получить надежную профессию. Но все же семья решила послать его в Королевский музыкальный колледж (так в XVIII–XIX вв. называли консерваторию) в Неаполе. Там, ведь, учился и дед Винченцо. В 16 лет юноша уже сочинил три мессы. В Катании народ все чаще с восторгом поговаривал о том, что сыну дона Розарио Беллини «музыку по ночам напевает сам ангел». К нему начинают относиться уже как к профессионалу. Он все чаще получает заказы на сочинение музыки, а с ними и первые гонорары. Интересно и то, что одновременно с занятиями музыкой он посещает медицинскую школу при Катанийском университете. На вопросы родителей, зачем он это делает, Винченцо отвечал: «Чтобы приобрести профессию...» Перед отъездом в Неаполь, на учебу музыке, он подарит своему любимому городу «Pange lingua», печальную мелодию, которую обычно исполняют в ходе торжественных процессий в страстную пятницу. Это «последнее прости» юного Беллини чем-то напоминает вторую тему последней части бетховенской «Аппассионаты».



Винченцо Беллини. Гравюра.

Королевский музыкальный колледж располагался в монастыре Сан-Себастьяно и возглавлял его известный композитор Н. Дзингарелли (автор 40 опер и 50 симфоний). Ректором был Дж. Ламбиазе, а среди педагогов выделялись Дж. Тритто (автор учебника «Школа контрапункта» и 50 опер), Дж. Фурно, К. Конти и другие.

Успехи Беллини в музыкальной науке столь блистательны, что с 1820 г. он получил право продолжать учебу бесплатно. Италия в ту пору вошла в фазу республиканского романтизма. В атмосфере свободы Беллини и его друзья примкнули к «венте карбонариев». Но в 1821 г. австрийцы оккупировали Италию. Однако все-таки здесь по-прежнему царила музыка, а не австрийцы. В 1822 г. с блистательным успехом состоялась премьера оперы Доницетти «Цыганка»... Учеба, любовь и творчество вполне успешно дополняли друг друга. Беллини влюбился в дочь судьи, что «рисовала, как Рафаэль, стихи слагала, как Сафо, и пела, как соловей». Ей он посвятил свою знаменитую арию «Нежный образ моей Филли».

В 1824 г. он, выдержав годичный экзамен, получил в итоге звание «лучшего маэстрино среди учащихся». Его попечению вверена группа воспитанников, которых он и должен был обучать секретам искусства. Путь к вершине мастерства был не прост. Его посещали сомнения. Услышав оперу Россини («Семирамиду»), он был «убит, сражен, раздавлен». Словно обращаясь к своему таланту, Беллини тогда воскликнул: «Ну разве можно теперь писать что-либо более прекрасное, чем музыка Россини?!» Первая его вещь, опера «Адельсон и Сальвини», им самим будет охарактеризована как «стряпня». В дальнейшем Беллини трудился с удвоенной энергией. Его главным жизненным девизом станет: «Работать ради того, чтобы победить!». В итоге он и победил, создав «Пуритан», «Норму» и другие замечательные произведения. Нелепо ранняя смерть (которая трижды нелепа, когда поражает самых достойных), увы, прервала творчество композитора.^[32]

Надо заметить, что европейское искусство в XVIII–XIX вв. во многом носило межнациональный характер. Мы уже говорили о значении Италии как главной школы живописцев (наряду с Голландией и Испанией). Но и все остальные музы не считали для себя обязательными строго следовать национальным вкусам и канонам. Так, оперу «породила» Италия, у истоков балета как самостоятельного театрального жанра стоял английский хореограф Джон Уивер, своей промежуточной стадии развития классический балет достиг во Франции. Величайшие балерины французского театра в XVIII в. не были француженками (Тальони – итальянка, Ф. Эльслер – австриячка, Ф. Черрито – итальянка, Л. Гран – датчанка и т. д.). Но при этом

считают, что пора нашествия иностранок – величайшая эпоха французского балета. А затем уж наступит эра великого русского балета.



Ночной арест.

Иные из читателей могли почувствовать некоторую неловкость (возможно, даже раздражение) от постоянной смены имен и фигур, стран и эпох, родов и видов познания и искусства. Но разве в повседневной жизни они не сталкиваются с подобным?! Разве путь по тропе знаний не предполагает порой неустанную смену «стилей и жанров»? Думаю, что многие из них могли бы и о себе сказать устами известного французского писателя Р. Роллана (1934): «... Меня формировали не столько дух и искусство какой-либо одной нации, сколько те учителя, которых я свободно выбирал себе во «всемирной литературе». Начиная с детства, настоящей моей школой была не школа в собственном смысле слова – коллеж, лицей и т. д. (там я скорей учился познавать «людские слабости»), – в библиотеке моего деда. Я там еще до пятнадцатилетнего возраста питался Корнелем, Шиллером и Шекспиром. Добавлю к этому «Дон-Кихота», «Гулливера» и «Тысячу и одну ночь». А над моим пианино вставал хоровод примирившихся теней: Моцарт, Бетховен, Беллини и Россини. Впоследствии этот хоровод стал шире». [\[33\]](#)

В Италии творил и прекрасный композитор Гаэтано Доницетти (1797–1848), с именем которого связывают расцвет искусства

бельканто. Современники называли его «великим романтиком музыки». Оперы Доницетти «Любовный напиток» (1832), «Лючия ди Ламмермур» (1835), «Дон Паскуале» (1843) и другие шли на сценах театров Италии, Парижа, Вены и Петербурга. Власти настороженно относились к нему, учитывая активную поддержку им карбонариев. Его «Реквием» долгое время оставался под запретом. Власти преследовали многих композиторов и мастеров Италии. Трагичной была судьба композитора, скрипача, певца Д. Чимароза (1749–1801), создателя оперы «Тайный брак» (1792). Тот вступил в ряды заговорщиков-карбонариев и участвовал в восстании против неаполитанского короля (во имя свободы Италии). Его схватили и заключили в тюрьму. Чимароза бежал в Россию, где находился несколько лет. Однако вернувшись в Италию, этот талантливый композитор был подло отравлен королевой в Венеции (в 1801 г.).

Под запретом в Италии, находившейся под австрийским игом, была и философская мысль. В рамках по сути оккупационного режима протекала деятельность Винченцо Джоберти (1801–1852). Закончив теологический факультет, тот стал священником, а затем придворным капелланом. Вскоре его за патриотическую деятельность и республиканские взгляды арестовали и выслали из Италии. Местом его пребывания стали Париж и Брюссель. В Брюсселе он преподавал философию и писал основные свои работы – «Введение в изучение философии» (1839–1840), «О моральном и гражданском превосходстве итальянцев» (1842), «Современный иезуит» (1846–1847) и др. В 1848 г. он вернулся в Италию (в год революций), где стал депутатом, министром, а затем и президентом совета. Однако президенты нас мало интересуют. Вскоре философ разочаровался в «реальном бытии» (да и в своем «президентстве»), уехал в Париж, где и умер в 1852 г.

Наибольший интерес представляют его взгляды на культуру и политику. Он считал, что духовный центр Европы находился и находится в Италии, говоря: «Италия сотворила Европу». Затем, предоставленная сама себе, европейская цивилизация провалилась в тартарары хаоса. В будущем именно Италия и ее великий народ должны возложить на себя цивилизующую миссию общечеловеческой истории. Однако для этого нужно возродить христианство («установить в Европе во второй раз христианство»). Кто это сделает? Новые апостолы истины. Ведь, сам по себе темный народ никогда не

сможет сорганизоваться и объединиться («О моральном и гражданском превосходстве итальянцев»). Он должен стать в высшей мере образованным. Чтобы всего этого достичь, обязательно нужны светлые и великие идеи. Тем самым Джоберти дал политике не только философское, но и духовно-нравственное обоснование. Он говорит: «Лишь идея может объединить души государственных мужей и философов. Без идеи можно только разрушать, а не строить, искушать, а не убеждать». Религия также абсолютно необходима человечеству, но главным образом как инструмент морали, цивилизующей людской род. [34]

Его взгляды перекликаются со взглядами итальянского писателя – патриота и революционера Джузеппе Мадзини (1805–1872). Жизнь его вполне могла бы послужить канвой для романа. Выходец из профессорской семьи, он впитал идеалы свободы, справедливости, добра, общественного служения и прожил довольно долгую, бурную жизнь. В 1827 г. он стал карбонарием. За революционную деятельность его изгнали из Италии на 17 лет (1831). Он организовал среди итальянских изгнанников во Франции и Швейцарии тайное общество «Молодая Италия» (1830). Через три года в этой организации насчитывалось уже около 60 тысяч революционеров. В 1833 г., когда «Всеитальянская революция» не удалась, Мадзини был заочно приговорен судом к смертной казни. На его счету десятки, как тогда говорили, «конспираций» (заговоров). Хотя нас в данном случае более интересует просветительская и культурно-воспитательная деятельность Мадзини.

Мадзини относят к романтическому крылу литературы. Вот что он писал в одной из своих статей (1838): «Романтизм восторжествовал постольку, поскольку содержал в себе нечто разумное. Умы научились верить в литературную *свободу*. Вставал вопрос, как использовать ее. На каком фундаменте, на каких принципах будет держаться новая обетованная литература? К какому центру должны сходить все усилия искусства? Само собой в душах родилось национальное чувство и сделалось в них главным. Вся литература стала говорить об одной цели. Итальянцы быстро убедились, что безрассудно спорить о вопросах формы, когда нарушены и замутнены самые источники литературы. К чему рассуждения о народной и национальной поэзии, когда нет ни народа, ни нации?.. Все то, что писалось после 1830 года,

обнаруживает единую цель – и эта цель вовсе не в том, чтобы усладить слух или развлекать изнеженных читателей. Искусство видимым образом поднялось до великой проблемы Воспитания, которое есть сокровенная идея эпохи...» Чувство патриотизма, любовь к родине и народу воспитывали в итальянцах качества воина и борца. Литература и наука всегда должны служить высоким и великим целям, но книги, газеты, музыка не всегда достигает желанной цели – освобождения твоей любимой родины от тиранов. Тогда Мадзини открыто скажет (1843): «В Италии нужны теперь ружья, а не стихи. Рабов не перевоспитать, не сделав их прежде свободными». [35]

Как видим, романтические взгляды и настроения той эпохи заметно повлияли на развитие политического облика европейского общества в XIX веке. В то же время искусство и мысль стали тем прохладным освежающим источником, к которому стремятся не остывшие от кровавых битв народы. Романтизм – знак молодости и надежды, который время от времени озаряет своей милой улыбкой потускневший лик нашей цивилизации.

Этот знак виден в искусстве Испании в творчестве Гойи. Одна из ярких фигур романтизма, великий испанский художник Франсиско Гойя (1746–1828) – достойный наследник Веласкеса. В его страстной, эмоциональной живописи нашел воплощение свободолюбивый дух народа Испании. Большую известность получают его картины «Бедствия войны» (1810–1820), «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» и «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» (1814), ну и, разумеется, знаменитая графическая серия «Капричос» (1797–1798), едкие «сатиры», направленные против реакции и инквизиции.



Ф. Гойя. Портрет герцогини Альбы. 1797.

Он родился под Сарагосой, в небольшой деревушке, которую окружали холмы и поля пшеницы. Бытует легенда, что путь Гойи к живописи начался с той минуты, когда некий монах увидел его рисующим свинью на заборе. В 14 лет он, простолюдин, поступил в Сарагосе учиться. Ему повезло с учителем живописи. Дом дон Хосе Лусано фактически стал «школой, открытой каждому ребенку, что желал проявить свои способности». В молодые годы Гойи проявились его энергия и темперамент. У него было масса друзей и подруг. Жизнь в испанской глубинке, где щебечут птахи, воркуют свахи и блистают навахи, обладала своей неприхотливой прелестью. Франчо (так звали молодого Гойю) под взглядом жарких глаз местных красавиц врывался в круг отплясывающих хоту или фанданго. Пылкие серенады соседствовали с долгими часами, проведенными за рисунком, а уличные потасовки заменяли слушание мессы. Это была традиционная жизнь, в которые порой вмешивался испанский колорит. Пылкий нрав художника-бретера таков, что в одну из кошмарно-разгульных ночей его нашли на улице с навахой в спине. Он вынужден бежать, сначала в Мадрид, потом в Рим. Уму непостижимо, сколько энергии и силы заключено в нем. Нет смысла перечислять все его «подвиги» («оседлал» купол собора св. Петра, похитил из монастыря невинную

деву). Кардера абсолютно прав, сказав: «Если бы Гойя задумал, вдруг, написать свою автобиографию, возможно, она стала бы столь же занимательной и потрясающей, как и биография знаменитого Бенвенуто Челлини».

События бесшабашной жизни острее оттенят впоследствии грани таланта и достоинств художника. Пройдет не так много времени и Гойя превратит кисть в навагу, в острый как бритва клинок! В 12 лет он написал в церкви своего селения явление девы Марии дель Пилар (за алтарем и по бокам алтаря). Картины эти сохранились. Считая их грехом молодости, Гойя резко протестовал против того, чтобы рассказывать о них («Никому не говорите, что это я написал!»). Вернувшись в Сарагосу, вчерашний бретер и повеса становится, словно по волшебству, неутомимым затворником, верным «рабом живописи».

70 лет, изо дня в день, он не выпускает из рук кисти и карандаша, и все это время не перестает учиться у мастеров прошлого. Уже перед самой смертью он нарисует образ старца, в котором можно, пожалуй, увидеть черты самого художника. Под листом стоит подпись: «Я все еще учусь». В этом весь Гойя – мудрый, вдумчивый, дерзкий и независимый. Его истинными учителями в живописи были великие Веласкес и Рембрандт.^[36]

Как истинный испанец, Гойя, конечно же, не мог не поклоняться красивым женщинам. В своей жизни он не раз, видно, повторял строки из известного романсеро:

На красавицу глядел он
Восхищенными очами,
Руки белые он славил
Восхищенными речами.

Гойя славил их не речами, а волшебной кистью. На полотнах его гобеленов властвуют махо и махи. Они представляют собой народ Испании (кузнецы, ткачи, трактирщики, торговки, контрабандисты, ремесленники). Обнаженная маха Гойи – это не только «девчонка с улицы», но и гордая, неприступная герцогиня Каэтана Альба. В моду у знатных фамилий Испании вошло поклонение живописи и опека

художников... «Мадонна» Рафаэля считалась покровительницей женщин из рода герцогов Альба. Каэтану воспитал дед, известный герцог Альба, самый гордый человек в Испании. Это воспитание было куда ценнее тех пустующих дворцов, что достались ей в наследство. Обитая в Кадисе, считавшемся тогда самым просвещенным городом Испании, она однажды призналась Гойе: «Дедушка воспитывал меня в принципах Руссо... Учиться я должна была трояким способом: через посредство природы, собственного опыта и счастливого случая...»^[37]

В лице этой просвещенной и страстной женщины Гойя обрел верного друга. Он написал не только ее изумительные портреты, но и групповой портрет королевской семьи. Вскоре Гойя стал первым живописцем, президентом Академии с ежегодным содержанием в 50 тыс. реалов. Его величают «ваше превосходительство», ему покровительствует фаворит королевы, «князь мира» Мануэль Годой, фактический правитель Испании. У него есть собственный выезд, который оплачивают из королевской казны. «Короли без ума от Гойи», – признается он другу, ничуть, впрочем, не преувеличивая. Чего еще желать?! Казалось, Гойя достиг вершин карьеры. Он признателен власти за то, что она оценила его талант по достоинству. Впрочем, все эти милости не сделали его кисть более покладистой, и уж тем более никак не могли заменить ему жарких ночей с Каэтаной.

Это был разносторонний талант. Так, когда он поступил на службу Короны, ему пришлось активно поработать на шпалерной фабрике. Почти все изготовленные им картоны сохранились в истории. Не будучи знаком с этой работой, он тем не менее преуспел и здесь. В том ему помогли талант, чутье и воображение. Потребовалось всего 4–5 месяцев для создания им для королевских дворцов и резиденций гигантских полотен.

Говорить подробно о живописной манере великого испанского художника мы предоставим, разумеется, специалистам-искусствоведам. Скажем лишь о том, что живопись его отличали, пожалуй, две наиболее характерные черты – это ощущение любви к жизни и высокая натуралистичность манеры исполнения. Отдельно можно говорить о гротескности, фантастичности сюжетов Гойи. В отношении его картин можно бы сказать словами Гонкуров, которые они обращали и к творчеству Домье: «В его работах реальность

буржуазного мира обретает порой такое напряжение, какое возможно в фантазиях».^[38]

В Испании немало такого, что сдерживало и тормозило развитие страны. В XVIII в. святой трибунал запрещал «все новое, все, что выступает против прошлого, все, что говорит об эмансипации и свободе». В особенности это стало заметно после революции во Франции. Специальным декретом был запрещен допуск внутрь Испании «подрывной литературы». Грустно, хотя и закономерно то, что именно высшие чины церкви поддержали иностранных завоевателей (когда французские войска вторглись в Испанию). Инквизиция осудила восстание патриотов против оккупантов в Мадриде 2 мая 1808 г. Деятели Супремы охарактеризовали оное как «скандальный мятеж невежественных людей», цинично утверждая, что злоба и невежество ввели в заблуждение «простаков, толкнув их на революционные беспорядки, под покровом патриотизма». Реакция старается оболгать патриотов. Церковь выступает в защиту угнетателей и палачей народа.^[39]

Отношение испанцев к вторжению французских войск Наполеона в Испанию известно. Оккупация страны чужеземцами вызвала в Мадриде восстание, начавшееся на площади Солнца, в центре столицы. Как реагировал на эти события Гойя? Предоставим слово бывшему директору Института испанских искусств в Барселоне Х. Гвидиолу. Тот писал: «Хотя в Мадриде и произошли известные события 2–3 мая 1808 г., мадридцы в целом повели себя нормально. Многие даже встретили с надеждой все то, что обещало приход французских реформ. Похоже, что Гойя, несмотря на все жестокости и преступления оккупационной армии Наполеона, реагировал на события более сдержанно. В столице французское влияние было очень заметным. Гойю можно отнести к сторонникам так называемых раболепных («аfranchesados»-авт. «офранцузенных») и сотрудничал с ними. Они пользовались влиянием и властью во время эфимерного правления брата Наполеона, Жозефа I».^[40] Между октябрём и декабрём 1808 г. художник находился в Сарагосе, делая наброски к сценам битвы, что вели испанцы против интервентов. Вскоре однако все эти рисунки Гойи будут безжалостно уничтожены французскими штыками.



Висенте Лопес. Портрет Франсиско Гойи. 1826.

Сомневаюсь, что художник уровня Гойи мог быть сторонником тех, кто прислуживал оккупантам. (Хотя мы согласны с тем, что в столице Испании, как и в столице России, немало «офранцузенных», готовых сотрудничать с любыми оккупантами). Если церковь и пятая колонна в столице «благословила» предателей и интервентов, то Гойя ответил выпадом острым, как удар кинжала – «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года»... О силе воздействия картины говорили так: «Это последняя точка, которой может достигнуть живопись, прежде чем превратиться в действие; пройдя эту точку, отбрасывают кисть и хватают кинжал». Повторю, что первой обязанностью великого художника является не создание красочных «иллюзий», воспроизведенных в рамках пусть даже совершенных и гладких форм (как позже скажет Дега: «Гладко, как хорошая живопись»), а отражение острых социально-нравственных и духовных противоречий времени. Нередко и великолепно выписанные портреты оставляют нас равнодушными... Тогда как гениальная кисть патриота и бунтаря в известном смысле может повернуть ход истории!

Конечно, такого рода живопись требует мужества, высокого мастерства, колоссальной работы самопознания... В книге немецкого исследователя М. Шнайдера, посвященной жизни великого мастера, автор говорит устами Гойи: «Моя работа всегда была только

самопознанием... Если бы мои картины и рисунки, а впридачу еще этюды и наброски выстроить в один ряд, я прочел бы по ним, как по многотомному дневнику, всю свою жизнь – дела, страдания, мысли. Хотя бы по одним портретам». И все-же художник Гойя совершенно немислим без своих удивительных офортов, названных им «Капричос».^[41]

История их возникновения такова. Гойя задумывался о причинах несправедливости, что его окружала. Человек отважный, но мудрый, он искал выход. Как отобразить эту жуткую реальность? Вероятно, решение было подсказано ему великим Сервантесом. Вот что значит быть художником философского склада... Это подтвердил и Б. Галлардо в журнале «Критикон» (1835): «Я хорошо помню, как Гойя писал мне в Лондон, рукой английского джентльмена, что живет сейчас в Севилье, где работает над серией оригинальных «Капричос». Озаглавленные им как «Видения Дон Кихота» эти офорты показывают фантазии безумного рыцаря из Ла Манчи в совершенно новом ракурсе. Одна эта мысль была замечательным творческим актом, типичным для его воображения».^[42]

Когда смотришь на эти офорты, кажется, начинаешь понимать, почему испанский философ Х. Ортега-и-Гассет называл этого художника – «чудище» («чудище из чудищ»). Я бы только обратил эпитет к тем, кто на них изображен. В 76 офортах Гойя выразил все свое презрение к мерзости и фальши чиновников, иезуитов, алчности правителей, к глупости и самомнению ученых «ослов»... Только в гордой Испании мог явиться этот дерзкий пророк, «седьмой ангел», чьи сатирические образы в знаменитых офортах, подобно молнии, до смерти напугали всю клерикальную и сановно-монархическую Европу. Он считал, что ему, как и апостолам, «надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих» (Откровение Иоанна). В эпоху, когда эра Просвещения, казалось, миновала, он дерзко призвал существующий в стране порядок к суду Разума.

Гойя говорит нам своими удивительными офортами «Капричос»: взгляните, в этом мире многое нелепо, старость подавляет молодость, глупцы повелевают умными, ложь изгоняет правду, смерть торжествует над жизнью. Ни один художник еще не изображал власть (светскую и духовную) в столь неприглядном свете... В. Прокофьев отмечал: «Можно даже утверждать, что Гойя довел пафос

просветительских обличений пагубных нелепостей старого общества до высшего напряжения, бросив ему в лицо самые страшные обвинения, насытив их такой клокочущей яростью, перед которым отточенные сарказмы Монтескье и Вольтера кажутся всего лишь салонным острословием, а страсти немецких штюрмеров, протестующих и страдающих, – едва ли не сентиментальной декламацией. Кандид Вольтера только раз рискнул усмотреть в людских делах традиционного общества «нечто дьявольское»; Вертеру молодого Гете лишь однажды почудилось, что его окружают мертвые марионетки. Гойя же с необычайной рельефностью, с поистине сокрушительной убедительностью показывает современникам, что они полностью находятся во власти самого дикого, зверского, чудовищного и мертвящего зла». ^[43]

И все же в этом смысле Испания представляла собой весьма своеобразную страну. Во второй половине XVIII в. здесь во всех слоях общества возникла «тяга к простонародному». Даже высшие слои общества стали, вдруг, подражать речам, одежде, танцам, песням, манерам, развлечениям «плебса». В Европе нигде такого нельзя было увидеть. Даже в Новом Свете, где бурно развивалась и строилась Америка, знатные американцы старались перенять нравы и вкусы аристократической Европы. А тут такая тяга к опрощению. Ее могли бы понять разве что лишь некоторые русские. Но те всегда жили, несмотря на свои «северные Пальмиры», с оглядкой на деревню (отсюда даже и «Царское село»). Ортега-и-Гассет говорит более чем недвусмысленно: «Не будем преуменьшать – именно в опрощении пытались обрести счастье наши предки, жившие в XVIII веке».

Пример Испании второй половины XVIII-начала XIX вв. кажется мне на удивление многозначным и важным (в том числе и для России). Вот что происходит с яркой, талантливой, некогда могучей страной, когда ее элита (или знать) превращается в полнейших вырожденцев, негодяев и глупцов. Вот почему я решительно не верю в способности властных элит. Однако дадим слово самому значительному из испанских философов. Х. Ортега-и-Гассет пишет в очерке «Гойя»: «Трудно выразить, как низко пала испанская знать во второй половине XVIII века. «Больше нет голов», – писал в официальном документе сам Годой и повторял Филипп IV, когда, распростившись с ним, взял в руки власть. Прочитайте письма этих

лет, написанные иезуитами, и вы поймете, как ясно видели испанцы ничтожество своей знати. Она утратила какую бы то ни было творческую силу. Она была бездарной не только в политике, в правлении, в войне, но и в том, чтобы обновить или хотя бы достойно поддержать повседневную жизнь. Словом, она утратила то, без чего нет аристократии, – перестала служить образцом, и народ остался один, без помощи, без примера, никто не влиял на него, никто его не обуздывал. Тут и появилась в очередной раз странная тяга наших низов к тому, чтобы жить по-своему, питаться лишь своими соками. Называю эту тягу «странной», потому что у других народов она встречается много реже, чем можно предположить. После 1670 года испанский «плебс» ориентируется только на себя. Он не ищет где-то вовне форм для жизни, а возвращает и даже стилизует понемногу традиционные, свои. Этот непрерывный, нечеткий, повседневный труд породил все, какие только есть, жесты, позы и движения двух последующих веков. Набор этот, кажется мне, поистине уникален, ведь обычная простонародная естественность еще и стилизована; вести себя так – не просто «жить», а «жить в образе», «жить в определенном стиле». Народ наш создал для себя как бы вторую природу, предписанную эстетическим законом».^[44] Уверен, что нечто схожее происходит в России, где «новая знать» полностью оторвалась от народа и предала его.

«Чудовищное и мертвящее зло» есть не только наверху, но зачастую и в низах общества. Гойя понимал, что властители и иные представители народа стоят друг друга. Порой, глядя на общество, отчетливо понимаешь: наверху – мерзавцы, внизу – рабы.

Значение Гойи как художника и гражданина исключительно велико. В 1823 г. Делакруа заявил, что намерен живописать в стиле Гойи и сравнил его с Микеланджело, признаваясь, что образы испанца «трепещут вокруг него» (франц. – «palpitait autour de moi»). Мюссе восторгался его офортами и даже написал поэму «Андалузия» под впечатлением его работ. В. Гюго одной из своих поэм «Осенняя листва» (1830) дал имя «Капричос N 64», сравнивая его гений с гением Рембрандта. Малларме видел в обнаженной манере письма Гойи сходство с Гамлетом. Его ставят в один ряд с самыми великими мастерами. Интересно было сказано о Гойе в «Ревю Энциклопедик»

(1831) неким автором: «Один рисунок Гойи расскажет вам больше об Испании, чем любое число путешественников».^[45]

Франции, следовавшей по дороге просвещения и прогресса рука об руку с искусством и науками, само провидение велело одеть «чадру романтизма». Глава классицизма, первый живописец страны Жак Луи Давид (1748–1825), написавший знаменитые полотна «Клятву Горациев» (1784) и «Смерть Марата» (1793), так выразил эту взаимосвязь искусства и наук: «Лишь светоч разума может указать путь гению искусства... Гений искусства обязан идти рука об руку с философией, которая будет внушать ему великие идеи».

Однако чудовищный вихрь битв и революций породил иные настроения. Буквально за пару десятков лет сменились едва ли не все ориентиры, исчезли старые порядки, рухнули троны, сменились ценности. В моду входит уже не поклонение красоте и поэзии, но бесстыдная любовь к злату и карьере. Кумир буржуа Наполеон вызвал в обществе подлинную эпидемию массовых трагедий и убийств. Александр Дюма в мемуарах так писал об этой страшной и губительной эпохе: «В течение девятнадцати лет вражеская артиллерия била по поколению людей от 18 до 36 лет; поэтому, когда поэты конца XVIII и начала XIX века встали лицом друг к другу, они оказались по разные стороны огромного рва, вырытого пушками пяти коалиций. На дне этого рва лежал миллион человек...»



Хосе Апарисьо. Голод в Мадриде. 1818.

В литературе одной из самых заметных фигур стал Анри Бейль, более известный широкой читательской аудитории как Стендаль

(1783–1842). Он родился накануне революции в семье состоятельного буржуа. Дерзкая, импульсивная, мятущаяся натура. Сенсуалист, эпикуреец, амбициозный человек, высшим законом которого была погоня за славой и «счастьем». Девизом этих молодых людей, которых мы вправе отнести к интернациональному племени хищников и солдат удачи, стал клич: «Наслаждайся, кто может».

Общество он подразделял на две основные категории людей – негодяи и люди возвышенные. К первым он относил лицемеров, святош, роялистов, спекулянтов, ко вторым – романтиков, поэтов, ученых. По своим убеждениям Бейль был республиканцем, по характеру поступков – аристократ духа. Естественно, что он встал перед выбором, кому служить: богу отечества или мамоне, ибо в Евангелии сказано – «Не можете служить богу и мамоне» (Матф., 6, 24). Он симпатизировал революции, хотя что он мог понять в свои 9 лет (его потряс расстрел якобинца). Одним словом из революции Стендаль вынес лишь некоторые смутные ощущения, не оформившиеся в ясные, четкие убеждения.

Стендаль перенес и свою «романтическую пору», когда он ощутил себя во власти вечных и великих чувств (любовь к отечеству и женщине). Это очень понятно. Ведь они и есть наши главные и лучшие жизненные воспитатели и учителя. Позднее, говоря о настроениях тех лет, сыгравших огромную роль в воспитании молодежи Франции, он писал:»Тогда над всем главенствовало глубокое чувство, никаких следов которого я больше не вижу. Пусть читатель, если он моложе пятидесяти лет, постарается представить себе по книгам, что в 1794 году у нас не было никакой религии; наше сокровенное, подлинное чувство было сосредоточено на одной мысли: принести пользу отечеству».^[46]

Устремления юноши не ограничились фразой. Как и многие, он пережил увлечение Бонапартом. «Фанатик силы подобно Вольтеру, Стендаль боготворил Наполеона, как Вольтер – Фридриха II». И даже принимал участие в Великом походе (в Россию). Служа в войсках интендантом, он смог убедиться, сколь дикой и преступной оказалась вся эта авантюра. И даже отмечал (впрочем, не очень искренне), что бегство французов из России ему доставило одно лишь наслаждение: «Я пал вместе с Наполеоном в 1814 году, и лично мне это падение доставило только удовольствие». Конечно, это далеко не так. Однако

не исключено, что после 18 брюмера (когда Наполеон стал императором), он успел изрядно разочароваться в своем герое. И даже искренне сожалел, что депутат, кричавший в Национальном собрании, что задушит тирана, не сделал этого в жизни.

Отношение его к Наполеону менялось в соответствии с кривой успехов и неудач завоевателя. Стендаль вначале с энтузиазмом воспринял его планы, кредо новой буржуазии, жаждущей богатств, готовой добывать их любыми способами (даже грабежами и убийствами). Работая интендантом в армии, он ничего не писал. Естественно. Интенданты чаще воруют и грабят, а не творят. В соответствии с указаниями императора он выжимал из России всё, что можно (хотя лично из горящей Москвы взял, якобы, один лишь томик Вольтера). Он восхищался Наполеоном, вспоминая, как в день битвы при Ваграме тот коснулся его груди, сказав ему: «Вы храбрый человек. Вы даже побрились». Он чуть не прослезился и готов был беспрекословно и слепо выполнять приказы божества. После краха кумира он поумнел и даже стал мыслить нравственными категориями.

Однако в романе Виноградова «Три цвета времени», споря с Байроном, Стендаль с пафосом и возмущением говорит (по крайней мере, таков он в романе) о грабительской политике наполеоновских войск: «Ставши императором, Наполеон не прекратил грабежей. Итальянские женщины в городах и крестьяне в деревнях знают, что такое наша армия, так как со времен Алариха Рим ни разу не подвергался такому разграблению».



Стендаль в молодости

Байрон (на страницах романа) одобряет то, что Бонапарт вывез из Франции целый полк ученых исследователей, археологов, искусствоведов, которые направили Европу на путь изучения итальянских сокровищ. Стендаль ему возражает: «Французские буржуа и артиллерийские офицеры на этот раз оказались одинаково заинтересованными в хорошей дороге... А что касается изящных искусств, то помните, что Парма, Модена, Болонья, Феррара отдали Бонапарту все свои старые картины и рукописи под угрозой штыков вместе с десятками миллионов франков контрибуции».^[47] Действительно, стоит напомнить читателю, что Наполеон ограбил всю Италию и свез в Париж художественные полотна из других покоренных им стран (Тициана – 24, Рембрандта – 31, Рубенса – 51). Вот для чего и развязывают войны узурпаторы. Не стоит забывать, что в реальной жизни Байрон пошел сражаться за свободу Греции и погиб за святое дело, тогда как Стендаль верой и правдой служил Наполеону в его преступной попытке поработить Россию.

В Стендале воплотились многие противоречивые черты людей его поколения – храбрость и цинизм, мечтательность и черствость, искренность и эгоизм. Это обстоятельство даже побудило некоторых критиков заявить, что он «не только не был романтиком, но даже был настолько чужд своему веку, насколько это вообще возможно». Время

кое-чему его научило... Политикой он был сыт по горло, ставя перед собой иную цель – стать просветителем. «Я должен накапливать опыт, иначе я погиб, как писатель». Но какой опыт можно почерпнуть в эпоху Реставрации? Если в реальной жизни правят негодяи, нужно, по крайней мере, попытаться создать достойный идеал в литературе. Художник имеет право, и даже обязан силой своего таланта «изменить жизнь».

Стендаль стремится сделать главным действующим лицом его романов правду. Эту правду он старается постичь с помощью точных и верных методов науки. Еще в юности он записал в свой дневник: «Применить приемы математики к человеческому сердцу. Положить эту идею в основу творческого метода и языка страстей – в этом всё искусство». Первым эпиграфом к роману «Красное и черное» стали слова: «Правда, только правда» (позже девиз повторят писатели братья Гонкуры, говоря, что в их «Дневнике» – «полная правда о людях»)... Если Италия пробудила в Стендале романтика, то Россия с Францией (куда он вернулся после трагического похода), сделали его скептиком.



Теодор Жерико. Офицер императорских конных егерей во время атаки. 1812.

После Наполеона во Франции наступил период болезненных раздумий и осмысления горестного исторического опыта, пережитого

страной, народом. Возникло «потерянное поколение». Сколько угодно примеров подобных судеб... В феврале 1818 г. на площади Гренобля, на глазах огромной толпы, был казнен А. Берте, сын кузнеца, возомнивший, что полученное образование (семинария) позволит ему претендовать на место в обществе. Несмотря на прекрасную память и ум, он не понял элементарной, простой истины: в буржуазном мире образование (без денег и связей) зачастую оказывается побрякушкой, вовсе не гарантирующей хорошего места и успеха... В этих условиях иные «герои» идут во имя карьеры и богатства на любые авантюры... Начальство семинарии рекомендовало Антуана Берте как лучшего ученика домашним учителем в дом мэра, господина Мишу. Красивый гувернер «из народа» вскоре от обучения детей перешел к наставлению матери, соблазнив почтенную даму. Сюжет в общем и целом тривиальный, если бы не Стендаль, который своим гениальным пером превратил его в роман «Красное и черное».

В данном случае важна не бытовая канва романа, но его социальное наполнение. Мы видим, как в посленаполеоновскую эпоху народ был ввергнут в нищету. Французам пришлось расплачиваться за то, что допустили к власти того, кто поставил мир на край катастрофы. Что прикажете делать молодому, небесталанному человеку из рабочей среды в обществе, которое тысячько ячеек плодит безработицу, голод, воровство, нищету? Куда направить стопы, если его труд и образование вдруг оказались никому не нужны? Эти жестокие и суровые вопросы в буржуазном обществе то и дело задает сама жизнь.

Наивно было бы считать, что времена те ушли безвозвратно, что золото потеряло свой прежний завораживающий блеск, что власти стали умнее, а новые поколения – просвещеннее и нравственнее. Нет, мы видим: это не так. Хотя, разумеется, между той и нашей эпохами есть разница. Но и она, как выясняется, зачастую говорит не в нашу пользу.

В плане обсуждения вопроса о «судьбах поколений» любопытен спор Стендаля с Гюго в романе А. Виноградова «Три цвета времени». Стендаль говорит в нем, что у общества нет достойных идеалов, вера в бога порушена, власть презрела все божеские заповеди, став причиной страшной трагедии народов. В словах Стендаля есть своя железная логика: «В течение года – шестнадцать казней на Гревской площади в порядке воспитания городского населения. Двадцать третьего мая

прошлого года в Равенне святой отец приказал повесить семерых революционеров на площади. Их трупы висели двое суток. В Париже мы казним во имя короля, в Романье – во имя бога! Вот ваш Идеал, господин Гюго... Какое «справедливое возмездие» заставило казнить столяра Лафарга и сына кузнеца Берте? Оба не совершили никаких преступлений, но правительство, поставившее десятки и сотни тысяч французской молодежи на путь преступления и воровства, указывает на то, что страна потеряла себя. Какие тут могут быть идеалы!.. Где же «Декларация прав»? В какой тупик вы зашли? Дело даже не в сословиях, а в том, что в пору больших кровавых происшествий в Европе родилось несчастное племя недоносков, нервно расшатанных мальчиков, которые не в состоянии нести на себе тяжелое наследство эпохи. Что вы будете делать с этими молодыми людьми, хилыми, слабыми, невыношенными, но уже изношенными в утробе матери, – куда они будут годны? Вы говорите об идеалах добра и правды? Господин Гюго, для этих идеалов нужна энергия и воля, располагающая большим запасом сил, а где вы их найдете, если не хотите остаться в пределах красивых фраз? Что будет делать эта ваша молодежь, которая никому не нужна?»^[48]

Связь времен почувствовал и Г. Манн в очерке о творчестве Стендаля. Он говорит, что взгляды и суждения молодого Стендаля схожи с взглядами молодых людей одного с ним возраста, но живущими 120 лет после него: «Он относился с ненавистью ко всему старому. Для него не имело значения, как становятся богатыми. Он поделовому воспринимал жизненную действительность. Он считал естественным то, что буржуазия во второй стадии своей революции должна вести войны и добывать деньги. У него была потребность в постоянной кипучей деятельности и в беспрекословном подчинении избранному им самим вождю. Как будто бы достаточно сходства с современной молодежью? Но есть и существенное отличие, и прежде всего в жизнедеятельности той эпохи, ее героя и самого Стендаля, в котором она, правда, еще не пробудилась. Разница также и в идеологии восемнадцатого и двадцатого века. Идеология восемнадцатого века была созидательной, и, опираясь на нее, Наполеон сумел оказать влияние на формирование облика будущих поколений, а Стендаль – оставит после себя такие романы, в героях которых будут узнавать себя грядущие поколения буржуазной эпохи до самого ее конца».^[49]

Стендалем увлекутся уже будущие поколения. Его современники, как это ни странно, не заметили его дар. Может потому, что он ни укладывался в каноны?! Стендаль говорил: «Меня будут читать в 1880 г.». Уже в XX в. художник Синьяк пишет «Пристрастия мсье де Стендаля». Даже те, кто относился к писателю сдержанно и настороженно, признавали за ним огромный талант... Упомянутый ранее литературовед Э. Фагэ писал: «Стендаль в высокой степени обладал двумя достоинствами, крайне редкими в его время: он умел хорошо наблюдать..., и видел людей насквозь. Это был превосходный путешественник и несравненный исследователь человеческих душ... Стендаль меньше всего был живописцем пейзажей; но он умел удачно схватывать, так сказать, нравственный облик страны, области, провинции или города и характерные черты населения, класса, общества или группы... Стендаль указал основные, самые ценные элементы той науки, которую в настоящее время называют психологией народов».^[50] Наряду с Бальзаком и русскими мастерами, в его лице вся мировая литература обрела гения психологизма. Хотя как всем французам и итальянцам, Стендалю свойственно тщеславие и самолюбование. Они не только на любовном ложе, в гостиных и на писательском олимпе, но и на кладбище стараются произвести на вас впечатление. Могила этого писателя будет увенчана надписью по-итальянски: «Арриго Бейль, миланец, писатель, любовник, ученый».^[51]

Примером героической жизни и борьбы является судьба великого романтика Виктора Гюго (1802–1885)... Насколько помню себя (еще в юношеские годы), многие герои романов Гюго стали моими верными спутниками, друзьями и учителями. Андре Моруа (1885–1967), родившийся в год смерти Гюго, признавал: «я не помню такого времени, когда бы меня не восхищал Виктор Гюго». Впрочем, и жизнь его похожа на его романы.



Виктор Гюго.

Одни считали, что Гюго происходил из семьи потомственных дворян, имел право на графский титул (Людовик XVIII утвердил отца поэта в маршальском звании). Хотя иные биографы и исследователи настаивали на том, что дед поэта был простым рабочим. В числе предков и родственников – доктор и профессор богословия, устроивший в своем монастыре типографию (А. Н. Паевская). Мать принадлежала к состоятельному семейству. О жизненном пути Виктора Гюго можно сказать: он всегда был и оставался витязем свободы, борцом с неправдой, другом и защитником народа («отверженных»). Сколько сильных, смелых и гордых людей выросло на романах «Девяносто третий год», «Отверженные», «Собор Парижской богородицы», «Труженики моря», «Эрнани» и др.

Счастливы те дети, чьи родители и предки славно служили своему Отечеству. Отцу Гюго, Леопольду, в годы Великой Французской революции было 20 лет! Он воевал в Вандее, где гражданская война была жестокой, свирепой и безжалостной. Горели дома и замки. Сгорали человеческие жизни. Пленных расстреливали. Однако хотя республиканец Л. Гюго и подписывался *Санкюлот Брут Гюго*, он в душе оставался добрым и великодушным человеком. Здесь он познакомился с будущей матерью писателя Софи Трешюше. Софи считала себя «горячей вандейкой» и не раз спасала священников от якобинских солдат. Так вот и в судьбе Виктора Гюго сплелось синее и

белое, республика и монархия, верность народу и ненависть к террору, вера в человека и вера в провидение.

Гюго зачали на горе Донон, самой высокой вершине Вогезов – почти на небесах. Тут уж хочешь не хочешь, а пришлось всю оставшуюся жизнь стремиться в небо! Все выше, и выше, и выше... В одном из стихотворений («Что слышится в горах») В. Гюго скажет:

Случалось ли всходить вам на гору порой —
Туда, где царствуют безмолвье и покой?
У Зундских берегов иль на скалах Бретани
Кипела ли волна под вами в океане?
Склонясь над зеркалом безбрежной синевы,
К великой тишине прислушивались вы?...
И я задумался. Мой дух на той вершине
Обрел крыла, каких не обретал доныне.
Еще подобный свет не озарял мой путь.
И долго думал я, пытаюсь заглянуть
В ту бездну, что внизу, под зыбью волн таилась,
И в бездну, что во тьме души моей раскрылась.
Я вопрошал себя о смысле бытия,
О цели и пути всего, что вижу я,
О будущем пути, о благе жизни брэнной.
И я постичь хотел, зачем творец вселенной
Так нераздельно слил, отняв у нас покой,
Природы вечный гимн и вопль души людской. ^[52]

Вся жизнь Виктора Гюго, бесстрашного рыцаря романтизма, полна романтических приключений и яростных сражений. Говорят, в душе он мечтал о военной славе. Что ж, не мудрено. Детство его разворачивалось, как цветок брани, на фоне наполеоновских битв. Перечислю лишь ряд событий, имевших прямое отношение к его родителям... Вот отец сражается в Италии и Испании. Он захватывает в ходе кровавой стычки с разбойниками Калабрии их легендарного вожака Микель Нецца, по прозвищу Фра-Диаволо. Это принесло отцу «огромную славу», чин полковника и пост губернатора провинции

Авеллино. Виктор проявляет способности к учению (в восемь лет он переводил Тацита).

В душе его матери кипят иные страсти. Страсти роковые... Она любит другого. Француз (француженка) любовь к другой женщине (или мужчине) всегда воспринимает как подарок судьбы. К тому же, судьба разбросала мужа и жену. Поэтому ее увлечение генералом Лагори вполне объяснимо. Тот был красив и статен. Однако слишком энергичный характер возлюбленной приведет Лагори на плаху (любовь безумных женщин губит и более одаренные натуры). А что же сын? Сын был предоставлен сам себе, учится в дворянском коллеже, расположенном в испанском монастыре. Виктору полюбилась Испания, ее люди и города (первый увиденный им город – Эрнани). К тому времени отец занял важный пост в армии короля Жозефа, брата Наполеона, став графом Сигуэнса.



Мануэль Кастельяно. Защита Мадрида. 1862.

Испанцы ненавидели оккупантов и окрестили Наполеона – Наполевором. Так в судьбе В. Гюго был завязан еще один «узелок» внутреннего конфликта. Его сердце француза наполнялось гордостью при мысли о той славе и тех громких победах, которые одерживал Наполеон. Но он уже смутно начинал сознавать – что-то тут не так. Казни, смерти, расстрелы. Расправы солдат над мирными испанцами.

Сожженные заживо люди. Та ненависть, что живет в сердце матери к императору и слова казненного Лагори. Дерзкие фразы запали в его сердце. Мятежный генерал, которого мать прятала в часовенке от ищеек Наполеона, говорил ему: «Дитя, свобода превыше всего» и «Если бы Рим не свергал своих властителей, он не был бы Римом». Все это отложилось в младом сердце. Из Испании он вынес убеждение в необходимости борьбы с тиранией. Гюго однажды скажет: «Лучшая часть гениальности складывается из воспоминаний». Уже в детстве он смутно узрел очертания великой стези. «Когда я маленьким ребенком был, великое я видел пред собою». Если Шатобриан даже и не отзывался о Гюго как о «чудо-ребенке» (он сам это опроверг), то мы, находясь в двух веках от тех лет, вправе назвать его таковым.^[53]

Моруа пишет, говоря о роли матери в судьбе: «Нет ничего прекраснее веры любящей матери в гениальность своих детей». Пожалуй, это так, но родители знают, что и самая слепая вера в ваше дите не всегда приводит к тому, чтобы тот преуспел в жизни. Впрочем, пока Гюго делал то, что от него ожидали. Он вырос и получил неплохое образование. Свидетельством того, что он не зря провел время в коллеже Людовика Великого, стали проявленные им способности в поэзии и естественных науках. Его стихи были отмечены Академией (тема академического конкурса такова: «Счастье, доставляемое умственными занятиями во всех положениях жизни»). Получил он премию и на поэтическом конкурсе («Золотую лилию»), где опередил даже Ламартина. А, ведь, тот старше его на целых десять лет. Братья Гюго решают издавать журнал «Литературный консерватор». Тут заметно сильное влияние Шатобриана, чей журнал назывался «Консерватор».

Поскольку нас больше привлекает муза наук и знаний, оставим литературоведческую часть творчества Гюго специалистам. Посмотрим на Гюго как на «солдата цивилизации» и глашатая «революции». Правда сам он восставал против той мысли, что «революция в литературе является выражением политической революции 1789 года». Но не признать того, что она есть прямой ее результат, он не мог. Вот и мы не можем (да и не хотим) уходить от вопросов, составляющих суть чаяний народа – его порыв к свободе, благосостоянию и независимости... Шел 1830 год. Правительство издает ордонансы против гражданских свобод. Париж восстал. Всюду

выросли баррикады. Короля свергли. Гюго принял новый режим. Любопытна его фраза: «Нам надо, чтобы по сути у нас была республика, но чтоб называлась она монархией». Это соблазнительно. Так вот и некоторые наши олигархи хотят жить с монархической пышностью, разбойничать и грабить людей похлеще, чем бароны в эпоху дикого феодализма, а пользоваться правами и свободами («правами человека» и прочими прелестями), как в буржуазной демократии. Они превратили страну в настоящий бордель, но хотят, чтобы народ вел себя мирно, как монах.

Стимулом к роялистским «убеждениям» Гюго стало то, что после появления его первой книги «Оды и различные стихотворения» он неожиданно получил от короля ежегодную пенсию в 2 тысячи франков. Людовика XVIII к такому решению подвинул благородный поступок юности. Гюго предложил убежище (вот они уроки матери) одному из антироялистских заговорщиков, хотя в письме он и признался в верности монархии. Письмо вскрыли и показали королю. Тот сказал: «У этого молодого человека большой талант и доброе сердце», «я дарю ему первую свободную королевскую пенсию».

Вскоре В. Гюго разочаруется в монархии и в буржуазии. Этому будет предшествовать многое: восстания народных масс, беседы с Луи-Филиппом, когда писатель указал ему на тяжкое положение крестьян и рабочих (без малейшей ответной реакции со стороны короля), критика развращенной буржуазии. Революция 1848 г. полностью бросила его в лагерь народной оппозиции. Его избрали в Законодательное собрание. Когда же правый лагерь обвинил его в «измене» и назвал «перебежчиком», Гюго с достоинством ответил оппонентам: «Если мы теперь не вместе, то это потому, что г-н Монталамбер перешел на сторону угнетателей, а я остался с угнетенными». Возражал он и против закона Фаллу о свободе преподавания. Гюго считал, что клерикальное образование пусть имеет целью небо, а не землю. Так-то будет лучше... Выступая в Национальном собрании по поводу пересмотра конституции, предложенного президентом, он тогда заявил о «Европейских Соединенных Штатах». Это заявление вызвало смех, обвинения его в глупости, безумии.

Изменения его воззрений не столь уж неожиданны. Я вообще считаю, что в Гюго никогда и не умирал «санкюлот»! Стоит хотя бы

упоминать о его «Дневнике юного якобита 1819 года», за которым последовал «Дневник революционера 1830 года». О готовности его к революционной ломке хартий и конституций свидетельствуют такие слова: «Нужно иногда насильно овладевать хартиями, чтобы у них были дети». Что же касается перемены взглядов, то он писал: «Плохая похвала человеку сказать, что его политические взгляды не изменились за сорок лет... Это все равно что похвалить воду за то, что она стоячая, а дерево за то, что засохло...» Замечу только, что эта перемена вела его вперед – к свободе и величию народа, а не вспять – в нищету, средневековье, мракобесие!^[54]

В дни декабрьского переворота 1851 г. Гюго вспомнил, что он сын революционного военного, призвав рабочих к восстанию, оружию и строительству баррикад. Он диктует краткую прокламацию «К народу»: «Луи-Наполеон Бонапарт – предатель. Он нарушил конституцию. Он клятвопреступник. Он вне закона... Пусть народ выполнит свой долг». Народ безмолвствует, ибо устал от периода бурь и потрясений, да и не очень доверяет Национальному собранию. Полиция следит за домом Гюго. Его голову оценивают в 25 тысяч франков. Он вынужден удалиться в изгнание. В Брюсселе он выступает с разоблачительными статьями («Наполеон Малый»). Его изгоняют из страны, но его памфлеты против режима расходятся в огромных количествах. Отныне он вечный изгнанник.^[55]

В статье «Седьмая годовщина 24 февраля 1848 года» (1855) Гюго, обращаясь к главе преступного режима, утвердившегося во Франции, говорит, что «парламенты, порождающие свободу и вместе с тем единство, будут необходимы до того, еще далекого, пока что зримого только в идеале, дня, когда облегчение труда приведет к отмиранию политических разногласий». Пока же до «обширного собрания творцов и изобретателей, которые будут провозглашать законы подлинные, а не мнимые», где будет заседать собрание патриотов Франции, великих умов, деятелей искусства и науки, увы, еще далеко.

Что случилось со страной? Что случилось с ее армией? Что случилось с народом? Ими вновь завладел Наполеон, что облек их в саван, «сотканный из его преступлений». Куда же он послал эту «великолепную, несравненную армию, первую в мире»? На чуждые и далекие от Франции поля сражений... «Он нашел для нее могилу: Крым» (речь идет, как вы понимаете, о Крымской войне 1855–1856 гг.,

в которой англо-французские интервенты вторглись на земли России). На эту авантюру Франция и Англия потратили к тому времени уже три миллиарда франков. Вместо того чтобы употребить все эти колоссальные средства на экономику, развитие сети железных дорог, сооружение туннеля под Ламаншем, орошение полей, оздоровление почвы и человека, чтоб покончить с неурожаями, удесятить производство и потребление товаров, наконец, поднять уровень образования и стократ увеличить народное богатство – все это ушло на эту страшную бойню.

Что же верхи? Что делает «император Наполеон III»? Газеты пишут: «Карнавальные увеселения в полном разгаре. Балы и празднества непрерывно следуют друг за другом»... Император танцует, а меж тем весь цивилизованный мир, содрогаясь от ужаса, «вместе с нами неотрывно смотрит на Севастополь, этот глубокий, как пропасть, колодец».



Штурм Малахова кургана французами 8 сентября 1855 г.

Кто же привел страну к кровопролитным войнам и катастрофе, к великому позору нации? В. Гюго пишет, и слова его падают, словно меч архангела, на голову предателя и преступника: «Итак, граждане, кровопролитнейшая война, полное истощение всех живых сил, неопишуемая катастрофа – вот до чего дошло злосчастное общество прошлого, вообразившее себя спасенным только потому, что в одно прекрасное утро некий проходимец, поработивший его, поручил полицейскому охранять законы, а иезуиту – отуплять умы! И общество решило: «Власть в хороших руках»... Что оно думает об этом теперь? О народы! Существуют люди, над которыми тяготеет проклятие. Они обещают мир – и приносят войну; обещают спасение – и приносят бедствия; обещают славу – и приносят бесчестье;...избирают эмблемой орла – оказывается, это коршун; всенародно принимают пышное имя – это чужое имя; дают народу клятву – это лживая клятва; возвещают второй Аустерлиц – это Лжеаустерлиц; лобзают народ – это Иудино лобзание; предлагают ему мост, чтобы перейти с одного берега на другой, – это мост через Березину».^[56]

Изгнание продолжалось долгих 20 лет... Все шло к краху и полной катастрофе. Режим Второй империи продемонстрировал полную несостоятельность в глазах всего мира. Война с русскими в Крыму, военный разгром в Мексике, сплошные провалы французской дипломатии. Это создавало почву для усиления противника. И вот уж грозная тень гунна нависла над Францией. Грянула война с Пруссией. В августе 1870 г. писатель собрался на родину, желая вступить в Национальную гвардию. Но в сентябре, после позора Седана, император капитулировал, а 4 сентября была провозглашена республика. Как ни странно, но потребовалось заключить диктатора (Наполеона III) под арест, посадить его как преступника в тюрьму, чтоб наступило время Республики! Такова правда!

Немцы стоят под Парижем, но они боятся революции и не спешат захватить столицу (они сделают это 70 лет спустя). Они предпочитают осыпать город снарядами и душить его голодом. Тогда Гюго обращается к парижанам с воззванием (2 октября 1870 г.): «Что от нас требуется сегодня? Сражаться! Что от нас потребуется завтра? Победить! Что от нас может потребоваться в любой день? Готовность умереть». И он продолжает бороться, тем самым подтверждая один из девизов его жизни: «Живы те, кто борются!»

Тьер внес на утверждение Национального собрания мирный договор. По нему исконные французские территории Эльзас и Лотарингия отторгаются от Франции. Гюго назвал предложения подлыми и отказался голосовать за них. Его слова стоит запомнить: «Захватить – не значит владеть... Захват – это грабеж, и ничего больше. Это стало фактом, пусть; но право не выводят из фактов. Эльзас и Лотарингия хотят остаться Францией; они останутся Францией вопреки всему, ибо Франция олицетворяет *Республику и Цивилизацию*; и Франция, со своей стороны, никогда не поступится своим долгом в отношении Эльзаса и Лотарингии, в отношении самой себя, в отношении мира».

В последние годы жизни, став сенатором Франции (1877), он тотчас примкнул к крайней левой партии. Он всегда был и оставался «левым»... Сердце его было с народом. Гюго написал стихи в честь Луизы Мишель, Красной Девы. Да, он был против жестокостей, которые часто неизбежны в гражданской войне. Во дни Коммуны он заявлял: «Коммуна столь же безрассудна, как жестоко Национальное собрание. Безумие с обеих сторон». Он выступал против мщениия. В записной книжке Гюго (13 июня 1871 г.) есть такие полемические строки: «Откровенность за откровенность. Мне ненавистно как преступление красных, так и преступление белых. Вы промолчали. А я говорил. Я выступил с протестом против призыва: *Vae victis* (лат. – Горе побежденным)». Когда начались расстрелы коммунаров, он преисполнен горечи, отвечая всем: тут убивают моих братьев!

Любви и славы гений шумный,
Несчастный баловень судьбы.
Философ, гений красоты,
Маг расточительно-безумный.
Знаток души и бич разврата,
Сатир и сущее дитя,
Плод Прометеева огня,
Венец имперского заката!
Питомец муз и страсти вечной,
Любимец женщин, раб труда,
Парижа яркая звезда,
Надежда Франции беспечной.^[57]



Тюильри в дни Коммуны.

Его смерть исторгла у народа Франции стон отчаяния. Ушел великий поэт XIX в., который при жизни «удостоился бессмертия». В последний путь его проводили около 2 миллионов человек. Тех, кто ненавидел его, пытался втоптать в грязь, тут не было. В ночь 31 мая 1885 г. весь Париж бодрствовал. Уходил тот, кто явил миру высочайшее свидетельство гения Франции. Человек, возродивший французское слово (Баррес). Однако, по просьбе самого Гюго, его везли в Пантеон в простом сосновом гробу, на убогой колеснице, на которой отвозят «на последний покой униженных и оскорбленных, которых он защищал в течение всей своей жизни». В короткой приписке к завещанию им было сказано (1883): «Оставляю пятьдесят тысяч франков бедным. Хочу, чтобы меня отвезли на кладбище в катафалке для бедняков. Отказываюсь от погребальной службы любых церквей. Прошу все души помолиться за меня. Верю в бога. *Виктор Гюго*».^[58]

Громкой известностью пользуется и имя Альфреда де Виньи (1797–1863), отпрыска древнего аристократического рода. Во Франции в ту эпоху нередко писатели и поэты-солдаты (Бейль, Виньи, Лиль и др.). Лучшие произведения де Виньи показывали роль народа в истории («Париж», «Сен-Мар», «Неволя и величие солдата» и др.). Его творения отличались внутренней строгостью, честностью,

сопричастностью к народной боли. В свой дневник в дни Июльской революции он записывает: «Народ доказал, что не согласен терпеть дольше гнет духовенства и аристократии. Горе тому, кто не поймет его воли!» Виньи с подозрением отнесся к утверждению «бога Собственности». Я вполне разделяю его идею о том, что Собственность и Способности находятся в вечной и смертельной борьбе (чем больше первого, тем меньше второго и наоборот!). «Утверждение буржуазии у кормила власти усилило в нем отчаяние, ощущение полной бесприютности...», – писал один из исследователей его творчества (Ф. Бальденсперже в XX в.). Буржуазия часто враждебна своему народу, ненавидя его и презирая до глубины души.

Интересна позиция де Виньи по вопросу о роли армии в буржуазную эпоху... Для чего нужна армия буржуазии? Чтобы защищать отечество? Ничего подобного! Плевать ей на отечество. Чтобы защищать её капиталы и собственность. Поэтому она с пеной у рта требует создания наемных, постоянных, профессиональных армий. Народная армия («Красная армия») их пугает... Буржуазия растлевает и подкупает армию (как мы видим, в нынешней России, где издевательство над воином и откровенный подкуп высших чинов армии и силовиков стали правилом). Он говорит о подлости, алчности генералов, об их безнравственности, об их полнейшем безразличии к собственным солдатам и к судьбам родины. Профессиональная армия стала палачом и бичом своего народа. Ее создают, чтобы слепо и беспрекословно выполнять команды буржуа, для подавления народа. Постоянная армия – вариант военной полиции, средство обуздания народных масс. Пока существует подобный порядок, будут неизбежно возникать войны. Правители натравливают народ на народ, как одного голодного пса на другого. В ненависти к друг другу те, возможно, забудут о своих истинных врагах (в дворцах, банках, палатах).

Писатель отмечает, что когда-нибудь войны всё же прекратятся, но это произойдет лишь тогда, когда в обществе и на земном шаре не станет противоположных интересов, когда человечество объединится и составит один единый народ. Тот должен быть единодушен во взглядах на формы общественной жизни и правления. Тогда не надо будет ни защищать страну от иностранного нашествия, ни подавлять одну часть народа на пользу другой его части. Тогда и армии сольются с народом. А до тех пор будут существовать бойцы профессионалы, идущие на

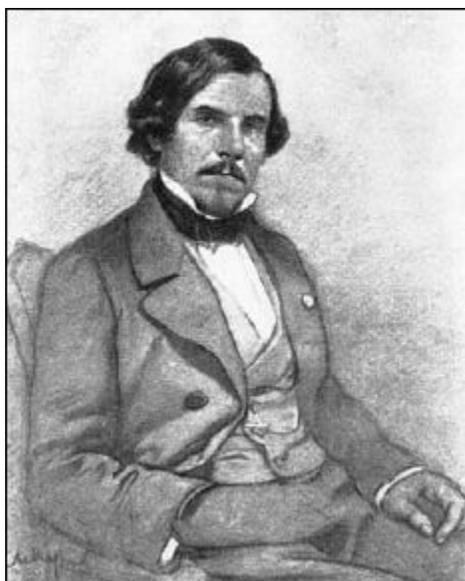
смерть по приказу правительства. Толпа же будет их или прославлять, или презирать (как некогда гладиаторов древнего Рима).^[59]

Однако и во Франции были люди, которых не охватил угар наживы, накопительства, карьеризма. Один из таких независимых умов, Беранже, не желал идти в услужение власти. В стихотворении «Моим друзьям, которые стали министрами» поэт дерзко говорил:

Нет, нет, друзья! Мне почестей не надо,
Другим бросайте деньги и чины.
Я – бедный чиж – люблю лишь зелень сада
И так боюсь силков моей страны!
Мой идеал – лукавая Лизетта,
Обед с вином, друзья и жар поэм.
Родился я в соломе, в час рассвета, —
Так хорошо на свете быть никем!..
О кормщики на вахте государства!
Вы у руля! Я удивляюсь вам.
Оставя дом, презрев стихий коварство,
Вы свой корабль доверили ветрам.
Махнул вам вслед – счастливая дорога! —
А сам стою, мечтателен и нем.
Пускай судьбой отпущено вам много. —
Так хорошо на свете быть никем!..
Здесь, во дворце, я предан недоверью,
И с вами быть мне больше не с руки.
Счастливый путь! За вашей пышной дверью
Оставил лиру я и башмаки.
В сенат возьмите заседать Свободу, —
Она у вас обижена совсем.
А я спою на площадях народу, —
Так хорошо на свете быть никем!^[60]

Воплощением романтизма в живописи Франции стал великий Эжен Делакруа (1798–1863). Нищий предсказал ему судьбу: «Это дитя станет знаменитостью; но его жизнь пройдет в постоянном труде, она будет мучительна и полна противоречий, которые будут раздирать его

душу...» Во многом предсказания осуществились. Хотя чисто внешне судьба его складывалась вполне благополучно. Отец Э. Делакруа пребывал на посту министра внешних сношений в правительстве Директории (выдвинулся еще при Тюрго). Это был достойный человек. Он отличался неподкупностью и честностью, а это очень большая редкость в любое время. По линии матери (Виктории Обен) предки Эжена были краснодеревцы (то есть, полухудожники-полуремесленники). Здесь мы видим немецкие или фламандские корни. О рождении дитя ходили самые разные слухи. Батюшка, будучи большим спецом по внешним сношениям, не очень-то преуспел в иных... Мадам де Сталь говорила, что г-жа Делакруа «долгое время не знавала супружеских утех». Так уж случилось, что муж 15 лет страдал половым бессилием (из-за опухоли). В дополнение к этим невзгодам он вынужден был уступить пронице Талейрану (а тот был заядлым ловеласом, несмотря на хромоту) не только министерство, но, видимо, и жену. Втайне многие считали Талейрана истинным отцом Э. Делакруа. Если это было действительно так, то, что ж, по крайней мере, ему удалось сделать в жизни хотя бы одно путное дело.



Эжен Делакруа. 1848.

Учился Эжен в Императорском лицее, основанном еще иезуитами... Правда, в новые времена от их порядков (устава «Рацио Студиорум» и тому подобное) сохранялось немного. Однако к

образованию здесь по-прежнему относились со всей подобающей серьезностью. В лицее была прекрасная библиотека и лучшая во Франции коллекция старинных монет. В учебном заведении юношу обучали греческому, латыни, математике и рисованию. Кстати говоря, неким неписанным правилом (*sine qua non*) всякого интеллигентного человека в эпоху Наполеона было жесткое требование уметь чисто писать, красиво и выразительно говорить и прилично рисовать. Считалось, что основы высокого художественного вкуса должны закладываться в человека с самого раннего возраста.

Говорят, что в детстве он был сущим дьяволенком (он и сам признал, что был «самым настоящим чудовищем»). В три года он бросился за борт корабля в Марсельском порту, в другой раз устроил пожар и едва не сгорел. Духовной пищей его были книги (Байрона и Гете) и музыка (игра на скрипке). В лицее он «научился ставить древних превыше всего». Хотя свои симпатии он делил между музыкой, книгами, театром и рисунком судьба определила ему стать художником. С детских лет он заполнял рисунками страницы ученических тетрадей и блокнотов, увлекаясь копированием офортов Гойи. К счастью для юноши то поколение французов росло «среди развалин средневековья», а не среди развалин своей великой страны... Французы отнюдь не стыдились быть патриотами.

Лувр во многом и сделал из него художника. Живопись стала его алтарем. Учился ей он у профессора Школы изящных искусств Герена. Однако наиболее сильное влияние на формирование его мастерства оказал тогда уже знаменитый художник Т. Жерико, потрясший публику своим «Плотом «Медузы» (1819). Считают, что через Жерико он познакомился с творчеством Микеланджело и Караваджо. Формально он был в мастерской скульптора Гудона (автора статуи Вольтера). Тот не особо обременял учеников. Но мастерство требует профессионализма. Поэтому каждое утро Делакруа посещал залы Лувра, рисуя профили, запечатленные на античных монетах, копируя Веронезе и Рубенса. Эти бесценные 1,5–2 часа жизни он называл не иначе как «своей утренней молитвой».

Творчество итальянских художников мало его привлекало. За всю жизнь он так и не выбрался в Италию. Это не мешало в «Дневнике» то и дело упоминать имя великого Микеланджело. Но вот ради полотен Рубенса он совершил путешествие в Бельгию (а также посетил

Англию, Германию, Испанию, Африку). Среди французов он, помимо Жерико, очень любил художника Гро. Позже он скажет: «Жерико слишком учен, Рубенс и Гро – выше». И все же мрачный колорит некоторых его будущих романтических полотен был навеян именно первым... Видимо, наиболее точная оценка идейной стороны творчества этого «сумрачного гения» дана историком Мишле в одной из его лекций в Коллеж де Франс: «Жерико написал гибель Франции; плот Франции несет куда-то, она тщетно взывает к волнам, к бездне и не видит спасения». В другом месте тот же Мишле скажет: «На плот «Медузы» он водрузил саму Францию и все наше общество».^[61]

Почему Делакруа стал поклонником, глашатаем романтизма? В ту пору любой серьезный талант не мог миновать увлечения романтизмом. В литературе царили «корсары» Байрона, «отверженные» и «труженики» Гюго, страстные и романтические герои Стендаля (его «Историю живописи в Италии» иные даже стали называть «кораном романтиков»). Естественно, что художник уровня Делакруа должен был войти в русло течения и попытаться стать певцом новой живописи. Хотя его живопись современники поняли не сразу. Скажем, Стендаль называл «Хиосскую резню» Делакруа изображением «чумы». Недруги тут же подхватили эту брань, упрекая его в том, что он, якобы, пишет «пьяной метлой» и что ему скорее подошел бы титул «художника морга, чумы и холеры». Лишь немногие узрели в картинах истинно шекспировскую мощь и глубину. Лучше других понял силу поэтического таланта художника поэт Ш. Бодлер. В частности, ему принадлежит такое остроумное замечание, сравнивающее двух мэтров того времени, Делакруа и Гюго (Гюго-академика): «Виктор Гюго, всецело материальный, излишне предающийся внешним проявлениям существа, стал живописцем в поэзии. Тогда как Делакруа в своей преданности идеалу невольно оказывается подчас поэтом в живописи».

Слава пришла к Делакруа рано. Спустилась к нему с баррикад 1830 года... Разразившаяся революция с точки зрения ее целей была типично буржуазной. Студенты и ремесленники добывали для крупной буржуазии из огня «каштаны свобод». В обществе утвердилась свобода печати. Даже в одной из статей хартии Луи-Филиппа было сказано: «Французы имеют право обнародовать и печатать свои мнения, сообразуясь с законами. Цензура не может быть никогда

восстановлена»... В этом тогда состоял смысл лозунга «La justice avant tout» (франц. «Справедливость превыше всего») в применении к печати. А уже в 1831 г. Эжен покажет в Салоне свою «Свободу на баррикадах» («28 июля»).

На ней изображена сражающаяся молодежь... Это апофеоз народной революции! Иные упрекали его за то, что Делакруа не пошел с оружием на баррикады, подобно Давиду д`Анже, Домье или Дюма. Но, ведь, он и не отсиживался дома (как Гюго и Мюссе), и уж тем более не проводил время в постели с любовницей (как Стендаль). Он носился по улицам восставшего Парижа, словно демон восстания. И так ли уж сегодня важно, где и у кого он «взял» детали для этой картины (у Гойя, Жерико или Домье). При известном богатстве воображения можно узреть истоки и корни ее даже в произведениях Байрона, Гете и Шиллера. С другой стороны вполне очевидно, что двадцать лет спустя уже В. Гюго опишет в своих «Отверженных» баррикаду Делакруа. Да, художник надолго определил живописное видение самой идеи свободы. От нее пошла вся республиканская иконография – «Марсельеза» Рюда и «Торжествующая республика» Далу.^[62] Значение картины выходит за рамки чисто художественных задач. Перед нами своего рода манифест XIX века! И напрасно кто-то стал бы протестовать против революционной тональности полотна. Неужто его назначение неясно? Великая живопись понятна даже младенцу.



Э. Делакруа. Свобода на баррикадах. 1831. Фрагмент.

Истинные сыны отечества оценили картину. В ней представлена молодая Франция, вставшая на защиту отечества против преступного режима! Недаром и сам Делакруа изобразил себя в фигуре горожанина (в цилиндре и с ружьем). Сердцем он был с восставшим народом... Как ни удивительно, но буржуазное правительство Франции купило у художника его картину, предполагая украсить ею тронный зал Тюильри. Но это было бы слишком даже для молодой и дерзкой буржуазии (в 1839 г. этот «красный холст» отправят на чердак до следующей революции 1848 г.). Видно, в ней художник затронул какие-то страшные и дикие струны народного бунта и гнева, что вырвались наружу помимо его воли. Почему же картину все-таки признало правительство? Быть может, третье сословие, власть буржуазии, увидели себя в ней юными и отважными?! Французы как бы ни было оказались достойны завоеванной ими в столь тяжких боях Свободы. Они не предали столь откровенным и позорнейшим образом свою Великую Революцию.

В обычной жизни Делакруа был, как принято говорить, «сын своего времени и класса». Буржуазия устанавливала законы – он свято следовал им. Он девять раз выставлял свою кандидатуру в Институт, прежде чем был допущен в ареопаг. Увы, такова была жизнь: он стремился в общество тех, кого называл про себя «змеями из

Института». Однако затем преспокойно пользовался славой и положением. Принял он от власти и пост муниципального советника. И хотя Делакруа как-то скажет, что 30 с лишним лет «отдает себя на растерзание диким зверям», эти «звери» относились к нему с пиететом. Следуют заказы на новые полотна. Орденовая ленточка украсила его фрак. Лишь двое (он и Энгр) будут приглашены в комиссию по подготовке всемирной выставки 1855 г. в Париже.^[63]

Но почему же тогда мы причисляем Делакруа к «романтикам»? Ведь, в обычной жизни его правильнее отнести бы к «прагматикам». Однако в том и состоит величие настоящего художника или ученого, что тот (в живописи, литературе, музыке, науке и т. д.) зачастую действует вопреки своим меркантильным симпатиям и нуждам. Истина дороже золота всего мира! Взгляните на его полотна. Они все пронизаны яростью и гневом.

Дело не в том, к какому лагерю формально отнести Делакруа (к «романтикам» или «классикам»). Он – классик по манере исполнения и романтик – по темпераменту. Его полотна заполняют романтические герои (янычары, бунтари, сумасшедшие, диктаторы). Возможно, духу нашего времени отвечает картина «Казнь дожа Марино Фальеро на лестнице Великанов». Дож организовал заговор против «олигархов» (тиранической власти Совета Десяти в Венецианской республике). К этой картине он питал слабость. Почему? Может, и сам внутренне ощущал себя заговорщиком?! Показательна и картина «Смерть Сарданапала». Нам кажется символичным это титаническое полотно в 20 кв. метров, навеянное поэзией Байрона. Здесь изображены последние минуты царя Ниневии, враги которого завладели столицей. Оставленный войском и охраной, тиран сгорает в костре, а с ним гибнут его сокровища, жены, рабы, любимые кони. Таков конец всех тиранов.^[64]

Когда невыносимым станет гнет,
Любой тиран, любая власть падет.^[65]

Почитайте дневник Делакруа... Перед нами предстает интереснейшая, духовная личность. Рядом с оценкой живописи идут размышления о философии, затем музыкальные «пассажи» сменяются

поэтическими, а психологические зарисовки дополняются дидактическими. В записях от 16 января 1860 г. читаем: «Главная цель Словаря изящных искусств заключается не в том, чтобы развлекать, а в том, чтобы поучать; установить или разъяснить некоторые основные принципы; помочь по мере сил неопытным наметить путь, которому надо следовать; указать подводные камни на опасных или запретных для подлинного вкуса путях, – таково общее направление, которого следует придерживаться. Но где можно найти лучшее приложение принципов, как не на примерах великих мастеров, доведших до совершенства отдельные отрасли искусства? Что может быть поучительнее их ошибок!» В один ряд с созданием картин Делакруа ставил создание ярких и интересных книг, считая это задачей «почетной и ответственной». Такая книга не только становится своего рода «памятником автору», но и способствует просвещению людей. [66]

Романтизму становилось все труднее дышать в удавке, которую набросили на шею истине, свободе и справедливости «реставраторы» в XIX в. Во Франции повторилось то, что уже имело место и в буржуазной Англии... Давид становится политическим эмигрантом после возвращения Бурбонов. Жерико умирает в 1825 г. (перед тем занявшись не свойственным великому художнику делом: стал играть на бирже и пустился в запутанные спекуляции). Перед смертью он будет иступленно повторять: «Я ничего не сделал, совсем ничего». Художник А. Гро, достигнув высот почета и славы при Наполеоне, в 1835 г. покончил с собой. Почему имеет место такая несправедливость? Почему французское правительство так и не приобрело ни одной картины Жерико? Еще молодой художник умирал, окруженный своими непроданными холстами. Во вкусах и настроениях нового времени, времени буржуа, было уже нечто иное, чуждое классицизму и романтизму. Да и толстосумам, занятым дележом имущества, часто наплевать на искусство.



Т. Жерико. Плод «Медузы». 1818–1819.

Время романтиков безвозвратно уходит. На смену им идут прагматики. Они-то во многом и определяют главные векторы новейшего времени. И здесь вновь видим Францию, давшую в литературе наиболее яркие образы героев. «Девятнадцатый век блистает французским романом, как шестнадцатый – итальянскими картинами и палаццо» (Г. Манн). Одним из самых ярких писателей стал Оноре де Бальзак (1799–1850). Этот «великанище» еще не вполне раскрыт нами как мыслитель и художник. В его романах ожила история. Вспомним его фразу: «Хорошо написанные исторические романы стоят лучших курсов истории». Это действительно так. Ведь, иной курс мало что скажет уму и сердцу. А Бальзак столь реалистично описал общество, что из его романов можно узнать больше о жизни народа, нежели «из книг всех историков, экономистов, статистиков», вместе взятых. Не случайно его даже будут называть «доктором социальных наук».

Образовательная одиссея Бальзака складывалась не очень удачно... В воспоминаниях брата писателя Л. Сюрвиля описывается, как будущий корифей посещал школу в Туре, а затем и знаменитый Вандомский коллеж. Длительное заточение в их стенах отразилось на молодом человеке не лучшим образом и привело к психологическому срыву. Хотя учеба, наблюдения, чтение бесспорно дали ему некий предварительный материал для его «Человеческой комедии». Подлинной же школой стало для него чтение книг... Он читал

буквально все, что попадалось ему под руку (книги по истории, религии, философии, физике). По примеру А. Шенье он попытался сочинять стихи, за что и был прозван поэтом (часто ударяя себя в лоб, он любил повторять: «Здесь кое-что есть!»). Одно время он даже увлекся оккультной философией. Духовный интерес в нем столь силен, что юноша постоянно блуждал в мечтаниях и грезах. К 12 годам его воображение развилось необыкновенно, что вызвало немалое удивление у руководства Вандомского коллежа.



Оноре де Бальзак.

Вот как описывает Сюрвиль эти бальзаковские «университеты»... Каждый год мы неизменно навещали его на пасху и при раздаче наград; но он очень редко удостоивался их и получал больше выговоров, чем похвал в эти дни, которых ждал с таким нетерпением и так радовался им заранее!.. Семь лет оставался он в коллеже, не зная каникул. Воспоминания об этой поре внушили ему первую часть книги «Луи Ламбер». В этой первой части герой сливается с автором, это Бальзак в двух лицах. Жизнь коллежа, мелкие события тех дней, все, что он там пережил и передумал, – все это чистая правда, вплоть до созданного им трактата «О воле», который один из учителей (кстати, названный в романе по имени) сжег, не читая, в порыве ярости, когда Оноре написал его вместо заданного урока. Бальзак сожалел о утраченном сочинении, запечатлевшем состояние его ума.

Когда ему было четырнадцать лет, директор коллежа г-н Марешаль написал матушке, между пасхой и днем раздачи наград, чтобы она как можно скорее приезжала за сыном. Его постиг недуг, он впал в своего рода коматозное состояние, тем более обеспокоившее наставников, что они не видели к тому причин. Мой брат, пишет Л. Сюрвиль, был для них ленивым школьником, и они не понимали, каким умственным перенапряжением могло быть вызвано это заболевание мозга. Оноре стал таким худым и хилым, что походил на сомнамбулу, спящую с открытыми глазами; почти не слышал обращенных к нему речей, не отвечал, когда его спрашивали: «О чем вы думаете? Где вы находитесь?»

Это удивительное состояние, в котором он отдал себе отчет позднее, произошло от чрезмерного прилива идей к голове (если воспользоваться собственным его выражением). Без ведома учителей он прочел значительную часть книг из богатой библиотеки колледжа, состоящей из сочинений ученых монахов-ораторианцев, основателей и собственников этого учебного заведения, где воспитывалось 300 подростков. Каждый день он прятался в укромном уголке и глотал серьезные книги, дававшие развитие его уму в ущерб телу в возрасте, когда следует упражнять телесные силы не менее умственных.^[67]

Полагаю, что эта полумонашеская обитель оставила заметный и даже небесполезный след в жизни будущего писателя. Для мудрых и тонких педагогов этот «бальзаковский урок» всегда должен напоминать о чрезвычайной деликатности, тонкости и сложности их божественной миссии. Их кропотливый труд по своей значимости равен труду Всевышнего, а порой и превосходит оный. В конце концов, Господь лишь создал Адама с Евою. Педагог же, делая почти то же самое, имеют возможность превращать сотни и тысячи юных «ангелов» или «демонов» во вполне приличных и достойных людей.

Прошло не так уж много времени и Оноре стал настоящим писателем, каких немного на свете. Кто он таков – романтик или реалист, поэт или прозаик? Нам кажется, что в нем успешно сочетались те и другие начала. Правда, его деловые прожекты чаще всего заканчивались неудачами. Возможно, таков удел великих художников... Ведь, если они станут «делать бизнес», кто же будет заниматься творчеством. Делом всей жизни Бальзака стала изнурительная писательская работа. Он работал днем и ночью, по

восемнадцать часов в сутки, спал не больше пяти часов. «Вся моя жизнь, – признавался он в воспоминаниях, – подчинена одному: непрерывному труду, без всякой передышки...».



Франсуа Милле. Сборщики колосьев.

Бальзак сравнивал труд писателя с работой рудокопа, расчищающего завал, или с миссией солдата, штурмующего редуты противника. Таков и должен быть истинный художник. Каторжный труд – это его удел... «Постоянный труд столько же закон искусства, сколь и жизни» («Кузина Бетта»). В «Человеческой комедии» более двух тысяч персонажей, девяносто шесть связанных между собой произведений (из 120 задуманных). Это почти невыносимый для писателя охват жизненной действительности. Труд имеет не только свою географию, но и генеалогию, свою великую судьбу. Ведь, чтобы изобразить на сцене даже социальную бурю, действительно нужны «гиганты, вздымающие волны».^[68]

Гениальным был уже сам замысел Бальзака: постараться всесторонне описать историю общества путем наблюдения за отдельными человеческими судьбами... Последуют «Этюды о нравах», «Философские этюды», «Аналитические этюды». С трудом представляешь себе грандиозность и масштабы им задуманного. По мнению Бальзака, для «Этюд о нравах» потребовалось бы 24 тома, для «Философских этюдов» – 15, а для «Аналитических этюдов» – 9

томов. Общим же итогом этого эпохального труда должно было стать появление то ли современной «библии», то ли всеобщей саги человечества. Он скажет: «Таким образом, человек, общество, человечество будут без повторений описаны, рассмотрены и подвергнуты анализу в произведении, которое явится чем-то вроде «Тысячи и одной ночи» Запада». Трудно было бы яснее выразить суть замысла.^[69]

Конечно, как всякий человек, Бальзак не лишен был некоторых слабостей, хотя талант искупал их. Он мечтал о карьере политического деятеля, желал стать директором издательства и надеялся, что «золото потечет рекой». Теоретически он уже давно был самым крупным богачом, а на практике едва сводил концы с концами (не мог выкупить из ломбарда порой даже столовое серебро). Подобно своему герою Рафаэлю из «Шагреновой кожи», он надеялся на то, что не только станет королем вольнодумцев, но и «верховным повелителем тех умственных сил, которые поставляют миру всяких Мирабо, Талейранов, Питтов, Метернихов». Иначе говоря, он хотел бы стать повелителем самой буржуазии! Однако от таких наивных иллюзий пришлось отказаться. Буржуа было наплевать на Бальзака и его планы. Какой он увидел Францию в 1840 году? Такой же как и Англию, страной, поглощенной чисто материальными интересами, страной, где «нет ни патриотизма, ни совести и где власть не обладает силой». То, что происходит повсюду, вызывает у него неприятие и отвращение. Ему всегда было ненавистно это правление посредственности, которое не могло стать для нации достойным примером.^[70]

Разве сегодня не актуальны слова великого художника, которыми он, обращаясь к пресыщенной публике, предварял своих «Крестьян» (эту книгу Бальзак считал самой значительной из своих работ): «... Жан-Жак Руссо поставил в заголовке «Новой Элоизы» следующие слова: «Я наблюдал нравы моего времени и напечатал эти письма». Нельзя ли мне, в подражание великому писателю, сказать: «Я изучаю ход моей эпохи и печатаю настоящий труд»? Задача этого исследования... – дать читателю выпуклые изображения главных персонажей крестьянского сословия, забытого столькими писателями в погоне за новыми сюжетами... Мы поэтизировали преступников, мы умилялись палачами, и мы почти обоготворили пролетария!.. Мы хотим открыть глаза не сегодняшнему законодателю, нет, а тому,

который завтра придет ему на смену. Не пора ли теперь, когда столько ослепленных писателей охвачено общим демократическим головокружением, изобразить, наконец, того крестьянина, который сделал невозможным применение законов, превратив собственность в нечто не то существующее, не то не существующее?»^[71]

Думаю и нынешней аудитории понятен его призыв – постараться объединить силы вокруг идей труда и толкового государственного порядка (к чему он столь истово стремился). Лучше всего эту роль Бальзака, как ни странно, понял Э. Гонкур, сказав, что находит у того «во сто крат больше таланта, чем у Шекспира». Вот что он заносит в свой «Дневник»: «Читал «Крестьян» Бальзака. Никто никогда не рассматривал и не характеризовал Бальзака как государственного деятеля, и тем не менее это, быть может, величайший государственный деятель нашего времени, великий социальный мыслитель, единственный, кто проник в самую глубину нашего недуга, кто сумел увидеть беспорядок, царящий во Франции, начиная с 1789 года, кто за законами разглядел нравы, за словами – дела, за якобы спокойной конкуренцией талантов – анархическую борьбу разнузданных личных интересов, кто видел, что злоупотребления сменились влияниями, привилегии одних – привилегиями других; неравенство перед законом – неравенством перед судьями; он понял всю лживость программы 89-го года, понял, что на смену имени пришли деньги, на смену знати – банкиры и что все завершится коммунизмом, гильотинированием богатств. Удивительная вещь, что только романист, он один постигнул это».^[72]

О значении его книг для понимания хода истории хорошо сказал и Ф.Энгельс. В «Человеческой комедии» даны запоминающиеся образы богачей-выскочек, буквально растлевающих и губящих окружающих их людей. «Вокруг этой центральной картины, – писал Энгельс, – Бальзак сосредотачивает всю историю французского общества, из которой я даже в смысле экономических деталей узнал больше (например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех специалистов – историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых».^[73]

Порой он мечтал о сильной коллективной диктатуре... Наилучшим политическим строем, по его мнению, является строй,

который был бы в состоянии породить наибольшую энергию таланта и разума. В следующей фразе заложен очень глубокий смысл: «Если полтора десятка талантливых людей во Франции вступили бы в союз, имея при этом такого главу, который стоил бы Вольтера, то комедия, именуемая конституционным правлением, в основе коей лежит непрестанное возведение на престол какой-нибудь посредственности, живо бы прекратилась».^[74] Он был противником комедии демократии.

В то же время это был гигант с душой ребенка... А. Моруа верно заметил, что Бальзак по своей натуре был «великодушен и нежен», а Жорж Санд отмечала, что он «наивен и добр»... Наиболее явственно все эти качества великого писателя проявились, вероятно, в его любви к г-же Эвелине Ганской. После смерти ее престарелого мужа (1841) он надеялся, что его десятилетняя мечта, наконец-то, осуществится и его брак с гордой полячкой, живущей в России, станет явью. Он стремился на Украину, где и жила его обожаемая Ева (ведь она отныне свободна). Стремился, несмотря на власть сурового русского императора, которого он шутливо называл «дядя Тамерлан»... Но против «француза» восстала тетка Розалия (ее можно понять, так как её матери, княгине Любомирской, во Франции в 1794 г. отрубили голову, да и сама она провела несколько недель в тюрьме).

Ему вспомнилась история их знакомства... Однажды к нему из Одессы пришло письмо, подписанное «Чужестранка» (1832), где неизвестная почитательница его таланта выражала писателю свое восхищение тем, как он умеет «угадать душу женщины». Незнакомку потрясли его «Сцены частной жизни». Следует окутанная покровом тайны переписка, и, наконец, их встреча в Невшателе (Швейцария). Красавице-брюнетке было тогда 27 лет, она «подлинный шедевр красоты», сияющей на фоне великолепной швейцарской природы... Конечно, картину свидания несколько подпортил 60-летний муж, похожий на каланчу («окаянный муж все пять дней ни на мгновение не оставлял нас»). Ева нашла Бальзака «сущим дитя» и влюбилась. Женева станет местом их взаимной любви. Девизом же их союза было: «Adoremus in aeternum» («Будем любить друг друга вечно»).

После тех невообразимо прекрасных, чудных мгновений минуло 10 лет. Страсти уж не те, да и заботы жизни наложат отпечаток. Как вернуть былую любовь? Как уверить возлюбленную в крепости и надежности чувств? Проблемы есть и у Ганской. В России на всё

нужно разрешение чиновника. Киевская судебная палата отказалась признать действительным завещание ее мужа. Перед той нависла угроза остаться без наследства. Бальзак советует ехать в Санкт-Петербург и умолять русского царя помочь ей. Он даже пишет: «Я стану русским, если вы не возражаете против этого, и приеду просить у царя необходимое разрешение на наш брак. Это не так уж глупо». Видимо, у него самого были все же сомнения на сей счет. Действительно, шло время, их любовь перешла в спокойную и умиротворенную дружбу. Возможно, это был лучший выход для обоих... «Ласки женщины изгоняют Музу и ослабляют яростную, грубую силу труженика» (Бальзак).^[75]

Бедняк и Ротшильд, служка и вельможа,
Верша свой путь к пределу Бытия, —
Кто среди роскоши, а кто среди тряпья, —
Понять должны: один у них Судья...
Вся наша жизнь – шагреновая кожа,
Мы щедро платим за крупицу дня!^[76]

Попытку осмыслить и описать жизнь европейского общества предпринял Эмиль Золя (1840–1902) в 20-томной серии романов «Ругон-Маккары» (история одной семьи). Ему самому пришлось испытать в жизни немало трудностей. Попытка покорить Сорбонну, храм французской науки, не удалась. Понимая важность и значение обучения для будущего, Золя не смог принять косности и ограниченности тогдашней учебной среды. В одном из юношеских писем он сделал откровенное признание: «Без дипломов никого не поощряют. Дипломы – это двери во все профессии. Только дипломы помогают продвигаться по жизни. Если вы, по глупости, владеете этим грозным оружием, вы умница. Если вы талантливы, но факультет не дал вам свидетельства о вашем образовании, вы считаетесь глупцом...». Однако при этом сам Золя все же глубоко сомневался в том, сделает ли его более умным степень бакалавра. Да и что тогда ждет его в будущем – судьба чиновника? «Прочь эту жизнь в конторе! Прочь этот сточный желоб!» – восклицает он. Подобными настроениями, думается, и объясняются его провалы на экзаменах в

Париже и Марселе. Хотя то, что в 20 лет у него нет профессии, не прибавляло ему оптимизма.

Позже самообразование даст ему многое из того, чего не дали коллеж или лицей. Автор обширных и ярких полотен о современном обществе познал подлинное отношение капитала к труду и таланту. Одно время он жил среди разорившихся буржуа, бедных студентов и проституток, работал в доках, оказываясь безработным, питался, чем придется. Вероятно, тогда-то он и стал «революционером, сам того не сознавая». Его отец, гражданский инженер, умер, едва перейдя 50-летний рубеж и оставив без помощи жену и сына. Поэтому отношение Э. Золя к любой власти всегда будет прохладным, а порой и даже резко отрицательным. Он прямо говорил: «Народы никогда не понимали завоевателей и следовали за ними только до известного момента, в конце концов они их переставали признавать и свергали».^[77] Таковы его социальные симпатии и предпочтения.

Свою литературную карьеру он начинал с изящных новелл «Сказки Нинон» и с романа «Тереза Ракен»... В этих новеллах ощущаются нежность и сострадание к бедным и влюбленным. Героями сборника выступают влюбленные («Фея любви»), добросердечные девушки («Сестра бедных»), принцы («Симплис»). Однако первым серьезным романом станет «Тереза Ракен» (кстати, именно этот роман впервые стал известен и в России, где Золя любили, а Н. К. Михайловский даже называл его «наполовину русским писателем»)... Писатель говорит в предисловии: он ставил своей целью изучить «не характеры, а темпераменты». Тереза и Лоран – «животные в облике человека, вот и все». Представляется, что эпоха буржуазии не могла обойтись без описания этих свойств человеческой личности. Хотя критика обрушилась на роман. Золя писал: «Среди голосов, кричавших: «Автор «Терезы Ракен» – жалкий маньяк, которому доставляют удовольствие порнографические сцены», – я тщетно надеялся услышать голос, который возразил бы: «Да нет, этот писатель – просто исследователь, который хоть и погрузился в гущу человеческой грязи, но погрузился в нее так, как медик погружается в изучение трупа».^[78]

В романах Золя представлено «наследственное древо» части общества. Доктор Паскаль из одноименного романа, сравнивая поэтов с учеными, говорит: «Какую гигантскую фреску можно нарисовать,

какие можно написать великие человеческие комедии и трагедии на тему о наследственности, которая представляет собой не что иное, как Книгу Бытия семьи, общества, человека»... Ругон-Маккары – это многоликое племя буржуа, сильное и безжалостное, дикое и цивилизованное, просвещенное и тупое, одержимое жаждой власти и наживы, сентиментальное и преступное, пошлое и величественное. Оно строит и разрушает одновременно, порождает и убивает, исцеляет и заражает... Обогащая себя, свои семейства и в целом все же относительно небольшую прослойку слуг и верных сторонников, племя это «ввергает в нищету целый мир маленьких людей», бросает на произвол судьбы миллионы, вполне сознательно обрекает на смерть, войну и голод народы отсталых и покоренных стран. Что представляет собой паразитическая буржуазия, живущая спекуляциями, играющая на бирже, обкрадывающая труженика на каждом шагу? Это – далеко не лучшие «злаки», которые нам дарует матушка-Природа.^[79]

Заслуга Золя в том, что он показал повседневную жизнь современного ему общества (во всех ее житейских, бытовых и даже криминальных деталях). В основу его романов лягут так называемые марсельские протоколы, кипы разных документов. Как знать, может и нам в России понадобятся для жизнеописания нашей эпохи криминальные и прокурорские досье (московские протоколы)?! Ведь, слова Г. Манна об идейной основе творчества Золя, применимо и к нашему времени (России): «Спекуляция, важнейшая жизненная функция этого государства, безудержное обогащение, необычайное обилие земных радостей – и первая, и второе, и третье театрально прославлены в представлениях и празднествах, постепенно наводящих на мысли о Вавилоне; и рядом с этой ослепительной толпой ликующих, за нею, еще подавленная ее лучами, – темная, пробуждающаяся, проталкивающаяся вперед масса. Пробуждение массы! Это ведь тоже может быть задачей? Да, именно это! Масса должна пробудиться и для литературы. Подъем массы и устремление ее в будущее – вот то неслыханное, что предстояло сейчас одолеть. Как это было заманчиво своей трудностью! Но не только ею. Эта масса поднималась с идеалами, которые завтра осуществляются. Она была человечеством завтрашнего дня!»^[80]

Действительно, познакомившись хотя бы с некоторыми из его романов («Жерминаль», «Труд», «Истина», «Деньги», «Париж»), понимаешь, что имеешь дело с натурализмом особого свойства. Художник видит свою миссию в точной передаче жизни и действительности. Кстати, известно, что Золя принимал самое активное участие и в становлении новой живописи, школы импрессионистов. В статьях («Реалисты Салона», «Мой Салон») он все время подчеркивает: «дух эпохи – это реализм». В выдвинутой им «теории экранов» (классический, романтический, реалистический экраны) он отдавал предпочтение реализму. Золя будет выступать в защиту Курбе, Мане, Моне и Писсарро, а с Сезанном его объединяли годы совместной учебы в коллеже и крепкая дружба.

Политическая же сторона в его творчестве не всегда выражена очень явно. Полагаю, что от художника или писателя требуется все же несколько иное. Он должен говорить правду и только правду! Но этого и боятся нечестные и лживые правители... Золя писал: «Все правительства относятся к литературе с подозрением, так как чувствуют в ней силу, которая ускользает из-под власти. Крупный писатель, крупный художник стесняет их, внушает им страх, ибо он владеет мощным оружием и не желает подчиняться. Они приемлют какую-нибудь картину, роман или драму в качестве приятного развлечения, но трепещут, когда эти произведения выходят за рамки пустячков, которые доставляют удовольствие, дозволенное в семейном кругу, и когда художник, романист, драматург вносят в них оригинальность, говорят правду, страстно волнуящую людей».^[81]

Однако это вовсе не означает, что того же Золя следует воспринимать упрощенно (как «борца за народ»). Да и как личность Золя неоднозначен. Гонкур, видно, справедливо говорил, что тот любит ныть по любому поводу. Обосновавшись в знаменитом «салоне пяти» (Флобер, И. Тургенев, Доде, Гонкур и Золя), он частенько жаловался собеседникам: «Мне никогда не получить ордена, мне никогда не стать членом Академии, мне никогда не удостоиться тех наград, которые могли бы официально подтвердить мой талант. В глазах публики я навсегда останусь париетом». Ему надо бы помнить: тем, кто собрался заклеить палачей и недругов народа, не стоит ждать от них званий и наград! В 1870 г., когда немцы подходили к Парижу, Золя был среди

тех, кто трусливо покинул столицу. Хотя известную бешеную активность он проявил при защите еврея Дрейфуса.

Напомню суть вопроса. В 1894 г. офицер французского генерального штаба капитан Дрейфус обвинен в передаче секретного документа иностранному государству (шпионаж). Дрейфус был евреем. Его осудили, лишили чина и воинской чести, приговорив к пожизненному заключению. Затем выяснилось, что в деле замешан майор Эстергази, недолголюбивавший французов. В его письмах к друзьям были, к примеру, и такие фразы: «Немцы скоро покажут всем этим господам (имеются в виду французы. – Ред.) их настоящее место...», или: «...Если бы сегодня же вечером мне сказали, что я буду убит, находясь во главе улан, рубящих саблями французов, я, несомненно, чувствовал бы себя счастливейшим человеком!» Сразу же после опубликования этих писем в «Фигаро», через три дня, выступает с первой статьей Э. Золя, обвиняя военных в намеренном раскручивании дела Дрейфуса в целях насаждения в армии антисемитских настроений.

Золя обратился к нации и народу Франции с письмом (1898), в котором, в частности, говорилось: «Среди ужасных нравственных волнений, переживаемых нами теперь, в момент, когда общественная совесть как будто задурманилась, я обращаюсь к тебе, Франция, к нации, к Родине!.. Франция, не будь так доверчива: так ты дойдешь до диктатуры! И еще, знаешь ли ты, куда ты идешь? Ты снова возвращаешься к прошедшему, к тому нетерпимому теократическому прошедшему, против которого боролись твои лучшие сыны и, желая окончательно сгубить его, охотно жертвовали своей мыслью и кровью. В настоящее время тактика антисемитизма очень проста. Напрасно старался католицизм подействовать на народ, создавая для этой цели рабочие ассоциации и увеличивая паломничество, – ему уже не удалось больше покорить его себе и вернуть к старому порядку. И вдруг теперь сами обстоятельства содействуют тому, чтобы снова разжечь в народе прежнюю ненависть к евреям, его отравляют этим фанатизмом, который появляется на улицах с криком: «Долой евреев! Смерть евреям!» Какое торжество, если было бы возможно создать религиозную войну! Положим, народ попрежнему не заблуждается. Но разве восстановление средневековой нетерпимости и сжигание евреев в общественных местах не есть возвращение к первоначальной

нетерпимости? Итак, отравка найдена! И когда превратят французский народ в фанатика и палача, когда вырвут из сердца его великодушие, его любовь к человеческим правам, завоеванным с таким трудом, тогда уже предоставят господа богу сделать остальное. И некоторые имеют дерзость отрицать эту клерикальную реакцию! Но она замечается всюду – в политике, в искусстве, в прессе, на улице! Сегодня преследуют евреев, завтра дойдет очередь до протестантов. В деревнях уже это началось. Республика переполнена реакционерами всех родов». [82]



Э. Мане. Портрет Эмиля Золя. 1868.

Что ясно из отрывка? Первое. Сто лет тому назад в самой передовой в культурном отношении стране Запада антисемитизм проявил себя вполне открыто и победоносно. Защитники Дрейфуса были наказаны, изгнаны, посажены в тюрьмы или приговорены. Второе. Французское общество (правительство, парламент, армия, суд, большая часть прессы) с редким единодушием встало на сторону антисемитов. Третье. Даже церковь внутренне согласилась с мнением общества. Четвертое. Народ приступил к активному выражению своего отношения к евреям (Золя пишет: «В деревнях уже это началось»). Пятое. Капитан Дрейфус, будучи ложно обвинен в шпионаже, оправдан только через 12 лет (полностью реабилитирован и

восстановлен в прежних правах, с сохранением воинского чина в 1906 г.). Шестое. Можно предположить, что были причины, которые и создали столь нетипичную для свободолюбивых французов атмосферу массового антисемитизма в стране. Об этих причинах Золя даже не упоминает (ни слова, ни полслова).

А некоторые лица, настроенных антирусски, и вовсе пытались отыскать корни антисемитизма не во Франции, а... в России: «Преследование против Дрейфуса возбуждается в медовый период франко-русского альянса. В нем высшие военные круги Франции получают питательную почву для своих реакционных устремлений. Ведь высшие военные и придворные сферы крепостнического, шовинистического и антисемитского Петербурга не скрывали своего скептического отношения к военной значимости Франции с ее демократическими институтами, с ее евреями, допущенными на командные должности в армии и флоте».^[83] Запад частенько валит со своей больной головы на здоровую.



Иероним Босх. Несение креста. Фрагмент.

Среди «летописцев жизни» были и такие, кто ныне уже почти что напрочь забыт читающей публикой. Одним из их представителей новой волны молодых буржуазных циников стал Жюль Жанен (1804–1874), некогда очень популярный в пушкинской России... В зрелом возрасте его удостоят титула академика и не менее громкого звания – «Принц критики». В те времена журналистика и власть прессы были

необычным явлением. Газетные писаки еще не считали себя «воспитателями нравов» грядущего поколения.

Нам еще предстоит воочию увидеть, что представляли собой шедшие на смену старым вождям романтизма «молодые прагматики» (в политике, науке, экономике, искусстве). В их прагматизме ощущается горький привкус цианида. Яд давно проник в молодое тело, верша разрушительную и страшную работу. Впрочем, есть еще надежда, что талант все же найдет противоядие. Поколение, чья зрелость пришлась на рубеж столетий, стало свидетелем не только смены властителей, мундиров, вкусов, но и измены мировоззрениям и идеям. Для юношей и девушек, воспитанных в духе философии Просвещения, время, когда «министр, богач, монах, завоеватель в условный срок выходят напоказ», было очень нелегким. Все навыки, идеи, привычки прошлых лет оказались в одночасье, якобы, ненужными, лишними, а порой даже вредными и опасными.

Жанен получил превосходное классическое образование. В его фразах и признаниях больше позы и игры, чем правды, хотя в эпоху «отреставрированных негодяев» устами иных циников глаголет истина. От обширного творческого наследия писателя до нас дошел «Мертвый осел». Часто юношеская проба пера остается в умах потомков. Памяти нации свойственно сохранять образы молодые. Книгу эту иногда называют «визитной карточкой французского романтизма». Думается, что Пушкина и Белинского скорее привлекла в его творчестве острота социально-психологического видения общества.

Писателю было 25 лет, когда «Мертвый осел» увидел свет (1829). Несмотря на «раж правдивости», жизнь показала Жанену, что действительность ужасна. Вот, скажем, вчерашние защитники отечества, брошенные на произвол судьбы. В театрах он увидел потрясающую человеческую низость «комедиантов», что окончательно потеряли совесть. Во Дворце правосудия он наблюдал судейских, готовых за деньги оправдать любого преступника. Узрел и дам, занятых сбором пожертвований лишь ради тщеславия. Не менее тяжкое зрелище представляла собой панель со всеми фазами парижской проституции. «В этот час, в семь часов вечера, проституция царит по всему Парижу. В углу на улице бедная женщина выставляет на продажу собственную дочь, у дверей лотерейных заведений даже старые женщины торгуют «счастливым случаем». Поднимите голову:

откуда льется весь этот «свет»? Он исходит от домов игры и разврата... В самом низу этой башни мужчина фабрикует фальшивые монеты; в этом темном углу женщина перерезает глотку мужу, ребенок обирает отца. Прислушайтесь: что за ужасный звук? Это тяжелое тело упало с моста в воды Сены, – о горе, быть может, этот утопленник юноша! Итак, от неосознанных чувствований, от беспричинного ужаса несчастный герой рухнул в эту ужасающую правду, которая «начала расползаться все шире, как масляное пятно».^[84]

Для нового поколения типичны эклектизм, подлость, конформизм, беспринципность. Они бросили романтизм, предпочтя «школу здравого смысла» ценою подороже. Эти «обыватели с пером» обожали скандальную славу и деньги. Пошлость – их философия, цинизм – их оружие. Оценивая взгляды Жанена, Гонкуры в «Дневнике» приводят якобы сказанную им фразу: «Знаете, как мне удалось продержаться двадцать лет? Я менял свои мнения каждые две недели. Если бы я всегда утверждал одно и то же, меня знали бы наизусть, не читая». В образовательном смысле, как правило, многие из этих писак полные ничтожества. Но это-то как раз и нужно правительству, которое ждет от obsługi не знаний и истины, а покорности и угодливости... Сам Жанен говорил о себе: «Я не знаю ни истории, ни географии...» Сколько таких вот «мертвых ослов» гуляет по коридорам российской власти... Иные не лишены того, что я зову обаянием мерзавца, уставшего от буржуазной жизни, уходящего в оппозицию, доступную в условиях бешеной свободы.

Разумеется, новые поколения собственников тотчас потребовали для себя «нового искусства». Во Франции и Англии на смену ярким и реалистичным полотнам Делакруа, Жерико, Домье, Констебля пришли подражатели и копиисты типа Верне, Делароша, Шеффера и др. Эти художники откровенно и сознательно пошли в услужение капиталу и империи. Если Делакруа написал «Свободу на баррикадах», то уже эпоха Реставрации «обогастила» искусство «Цезарем» А. Ивона, «Римлянами времен упадка» Т. Кутюра, «Взятием Малахова кургана» О. Верне, «Возвращением английских солдат из Индии после подавления восстания» Г. Нила и др. В воздухе явственно запахло декадансом. И все же признаем: у этого буржуазного декаданса была, как мы вскоре убедимся, вполне солидная профессиональная и художественная основа. Тем они, возможно, и интересны.

Можно ли требовать от лавочников и спекулянтов высоких эстетических вкусов?! Если игривая музыка еще как-то доходила до их ушей, то труды писателей и художников оказались отброшены. Эту несправедливость они ощущали отчетливо. Делакруа, узнав о смерти Шопена, запишет в дневник: «Какая потеря! Сколько подлецов живет преспокойно, в то время как угасла такая великая душа!» «Нас расстреливают, но при том обшаривают наши карманы», – говорил Дега о режиме Второй империи и Третьей республики. Научные прихвостни в лице историка Гизо (ставшего вскоре министром) выбросили тогда громкий лозунг: «Обогащайтесь!» (вскоре его подхватил и сам император). Разумеется, в этих условиях в Салон пришли и новые «деятели искусств»... Муза в их понимании подобна базарной торговке. Важно научиться потакать вкусам и запросам «новых буржуа». И надо сказать, что иные из модных художников (Мейсонье, например) получали за свои картины больше, чем Тициан и Рубенс (по 200–300 тысяч франков). У подобного искусства была и философия. На гигантском панно П. Делароша «Художники всех веков» (в Школе изящных искусств) голые девицы раздают награды студентам. [85]

Что же за искусство утвердилось в буржуазной Европе? Обратим свой взор вновь к Франции, ибо она повелительница мод литературных и художественных. Эта великая обольстительница хороша даже своими буржуазными пороками. Поэтому говоря о Западе, мы вынуждены смотреть на состояние культуры через и посредством французской живописи... То, что однажды сказал Ромен Роллан в отношении европейской поэзии и литературы (в «Жане-Кристофе»), вполне применимо и к культуре в целом: «От всей этой поэзии в целом веяло благоуханьем богатой цивилизации, созревавшей в течение долгих веков, – другой такой не было нигде в Европе. Тот, кто вдохнул ее, уже не мог ее забыть. Она привлекала поэтов со всех концов земли. И они становились французскими поэтами, французскими до нетерпимости; и у французского классического искусства не было более ревностных учеников, чем эти англосаксы, эти фламандцы, эти греки». [86]

В самом деле, от французской живописи веяло не столько запахом тлена, сколь *odor di bellezza* (итал. «запах красоты»). Что пленяет нас в красоте больше, жизнеутверждающее молодое начало или спокойное

угасание зрелости и завершенности? Выход на художественную сцену «импрессионистов» (это название появится в 1874 г., в основе его название одной из картин Клода Моне) означал нечто большее, чем появление очередного модного направления. Изменился сам подход художника к жизни, ибо изменился и сам художник. Уже Домье поставил рядом всех тех, кто трудится (прачку и интеллигента, художника и рабочего). На тех же или весьма сходных позициях стояли Курбе, Мане, Дега, Милле. Последний вообще любил повторять: «Я крестьянин, и ничего более». Теодор Руссо относился с неприязнью к городской цивилизации. Даже буржуазные до мозга костей Гонкуры заявляли: «Художники – рабочие и всегда остаются рабочими, в них бродит закваска зависти рабочего человека к высшим классам, хотя они и прикрывают это шуткой... Ведь, есть социализм и без формул и теорий – социализм нравов и склонностей, социализм подспудный, укрывшийся в своей норе, но ведущий оттуда войну с теми, кто первенствует, с их костюмами, воспитанием, вплоть до манер».^[87]



Я.А. Баркер. Осязание.

Условно говоря, реализм в живописи и поэзии «возник» в середине XIX в. – в творчестве Курбе, Домье, Бодлера. Затем и у импрессионистов живопись начала говорить «вполне материальным языком»... Гюстав Курбе (1819–1877) и стал глашатаем реалистического искусства. Оно шло на смену классической и

романтической школе. Прежде чем говорить о творческой стороне его жизни и деятельности, заметим: интересно и знаменательно то, что едва ли не все главные герои нашего рассказа происходят из буржуазных семей... Вот и Курбе был родом из Орнана, где его отцу, состоятельному землевладельцу, принадлежали поля и виноградники. Что же касается его успехов на ниве просвещения, то они были более чем скромными. Хотя вначале он подавал надежды, вскоре стало ясно, что ни семинария, ни Королевский коллеж в Безансоне, куда его запихнули для изучения философии, не смогли увлечь юношу. Его позиция ясно и четко выражена в письме к родителям: «Меня определили в коллеж насильно, и теперь я там ничего делать не буду. Оставляю коллеж с сожалением, тем более что впереди только год учения. Думаю, что позднее буду раскаиваться. Но в любом случае курса здесь мне не закончить, и мой труд пошел прахом; тут надо делать либо все, либо ничего». Уже в молодые годы стало совершенно ясно, что у юноши есть характер. А характер стоит иного диплома.

Подлинной школой для него станет Париж, где он и учился живописи. Вначале он пишет небольшие картины на романтические сюжеты. Все эти «одалиски», «лелии», «отчаяния» были так сказать пробой пера. Расцвет его живописи последовал между концом 1848-го и серединой 1850 годов, когда появились его знаменитые полотна: «Послеобеденное время в Орнана», «Дробильщики камня», «Похороны в Орнана» и «Возвращение с ярмарки». Все это время он работает, как каторжный. И результаты скоро не преминули сказаться. На Салон 1849 г. он представил семь картин и все они были приняты. А «Послеобеденное время в Орнана» получила вторую золотую медаль и правительство приобрело ее за 1500 франков. Вскоре появятся и «Дробильщики камня». Все это уже крупные картины. Однако они убеждают не размерами, но жизненной правдой и силой. Его дебют и в самом деле «был сокрушителен, как восстание» (Ш. Бодлер).



П. Деларош. Ришелье, везущий арестованных Сен-Мара и де Ту. 1829.

Большой, а тем паче великий художник всегда социален... Вот и картины Курбе сразу привлекли внимание не только своим мастерством, но, если угодно, их «идеологией»... Описывая обстоятельства, побудившие его создать «Дробильщиков камня», он говорит о том глухом внутреннем протесте, что возник у него при виде двух тружеников, являвших собой «законченное олицетворение нищеты». В мире масса таких вот бедолаг, что начинают и заканчивают жизнь за тяжким трудом, на обочине дороги. Хотя сам Курбе вначале вроде и не задавался целью поднимать «социальный вопрос». Но если художник видит вокруг массовое горе и нищету, если народ стонет от голода, как можно живописать одних холеных господ в твидовых пиджаках и фраках?! Поэтому Прудон был во многом прав, называя Курбе подлинно социальным художником, а «Дробильщиков камня» – первой социальной картиной: «Дробильщики камня» – насмешка над нашей индустриализацией, которая ежедневно придумывает замечательные машины... для выполнения... самых разных работ... и не способна освободить человека от самого грубого физического труда...» Еще более точную характеристику тому политическому смыслу, что заложен в картине, давал критик Лемонье: ««Дробильщики камня» вошли в искусство подобно бунтовщикам: камни, которые они разбивали на дорогах, превращались в плитки мостовых, которыми разбивали стекла. Это простой народ, грубый и

мозолистый, требующий снова свое право на искусство, так же как и свое право на жизнь».



Гюстав Курбе. Здравствуйтесь, мсье Курбе! 1854.

Мастер влияет на нравы. О схожести характера труда литератора, художника, педагога говорит оценка Пруденом творчества Курбе. Тот «пользуется своей кистью, как деревенский учитель – линейкой», любая его картина «заключает в себе сатиру и поучение».

Знаменитыми станут и «Похороны в Орнани», где Курбе изобразил местное общество на полотне 3,15 на 6,64 метра. Все местные «корифеи» маленького провинциального городка хотели быть отображенными. Когда же картина была выставлена на суд зрителей, началась подлинная вакханалия. Иные сочли, что их специально показали в карикатурном свете, хотя они на самом деле были таковы. Стали раздаваться упреки в «социализме». Сам Курбе скорее считал ее «похоронами романтизма». В статье он писал: «Смысл реализма в отрицании идеального. «Похороны в Орнани» были в действительности похоронами романтизма. Реализм по существу искусство демократическое».^[88]

На Курбе набросились все те, кто привык к слащавой холодности барочных стилей. Напрасно Шанфлеры защищал картину, говоря, что в

ней «нет и намека на социализм». И даже восклицал: «Горе художникам, пытающимся поучать своими произведениями... Они могут на пять минут польстить толпе, но передают лишь преходящее. К счастью, г-н Курбе не собирался ничего доказывать своими «Похоронами»... Художник пожелал показать нам повседневную жизнь маленького городка... Что же касается пресловутой уродливости орнанских горожан, то она нисколько не утрирована: это уродство провинции, которое следует отличать от уродства Парижа». В том-то и загвоздка. Буржуа полагали, что предстанут на полотне «героями», а художник видел их иначе, ибо ему приходилось «ходить, в толпе, среди шиканья глупцов». Разумеется, перед нами голая и неприкрытая правда искусства. Но, повторяю, она-то как раз почти всегда и социальна!^[89]

Курбе является тем художником, который особенно интересен зрителю и читателю жизненной философией, позицией, а не перипетией его жизни... Конечно, женщины у него были, с этим у него все в порядке (камелии, розы, бланши, мины и т. д.). Но чувственная сторона может быть оттеснена на второй или даже третий план, ибо и сам он говорил: «Будучи убежден, что всюду на земле есть женщины, считаю излишним брать их с собой». Да и по части верности Бахусу он отнюдь не ангел... Когда директор изящных искусств г-н де Ньюверкерк от имени правительства пригласил его на официальный обед, но посмел потребовать от художника «разбавить вино водой», тот в гневе высмеял «наглеца». В итоге Курбе и его «Похороны в Орнане» с «Мастерской» так и не были допущены в отдел французской живописи на Всемирной выставке изобразительного искусства. Отношения художника с властью становились все более натянутыми. Ходил слух, что, посетив Салон-1853, возмущенный император ударил хлыстом «Купальщиц».

В своих оценках кесарей и «цивилизаторов Европы» Курбе язвителен и беспощаден. Скульптор Клезенже попросил его высказаться по поводу проекта монумента, заказанного Наполеоном III и призванного заменить известный Луксорский обелиск. Тот придиричиво осмотрел композицию, одобренную самим императором, и поинтересовался: «кто эти чудаки, будто сидящие на горшках по углам пьедестала?» Напуганный скульптор робко возразил: «Эти четыре чудака, как ты говоришь, – четыре кесаря, спасители мира: Юлий

Цезарь, Карл Великий, его дядя и, наконец, Его Величество!» Аргументация не убедила Курбе. Он заметил: «Вся эта идея мне кажется неудобоваримой, и если ты полагаешь, что эти молодчики спасли мир, то ты также силен в истории и в философии, как и твой император. Я лично считаю, что они его разрушили». Трудно не разделить позицию художника. Кстати, среди его полотен нет ни одного посвященного тем, кого он называл «солдатня Тюильри». Он хотел воплотить в жизнь памятник, названный «Последняя пушка». Не очень повезло и святым отцам. Полотно Курбе «Возвращение с конференции» (1863) изобразит пьяных служителей церкви («подрывная картина»).



Г. Курбе Похороны в Орнани. Фрагмент.

Курбе очень хотел создать школу. С этой целью он основал мастерскую, где пытался разрушить систему образования Школы изящных искусств. Четыре основные заповеди мастерской: «Не делай то, что делаю я. Не делай то, что делают другие. Если сделаешь то, что некогда делал Рафаэль, тебя ждет ничто – самоубийство. Делай то, что видишь, что чувствуешь, что захочешь». В письме-манифесте, адресованном ученикам, Курбе прямо говорит им, что каждый артист должен быть сам себе учителем. Там подчеркивается, что искусство – современно и абсолютно индивидуально. Каждая эпоха может быть понята и воспроизведена только художниками этой же эпохи. Школ не бывает, есть только художники. Сам же Курбе может объяснить другим

лишь метод, с помощью которого, по его мнению, можно стать настоящим художником... Увы, пони и быки, которые позировали тем 42 ученикам, что «учились» у него, не могли заменить последним таланта. Тем не менее, Курбе стал главой этой школы и открыл «Павильон реализма».^[90]

Курбе – реалист в живописи. Его работы оценила вся молодежь – от Мане и Уистлера до Ренуара и Моне. Уистлер именуется его «великим человеком». Писсаро включает это имя в перечень «великих стариков» (Давид, Энгр, Делакруа, Курбе). Его имя написано на знаменах реалистов других стран (Лейбль в Германии и Мункачи в Венгрии). При всей остроте его сюжетов, ни у кого (даже у буржуа и власти) нет сомнений в том, что они имеют дело с великим художником. Его работы ценятся высоко. «Дробильщики камня» куплены за 16 тысяч франков, а «Деревенская нищета» – за 4 тысячи. Однако далеко не всем художникам везло так, как Курбе. Впрочем, со временем и он испытал на себе «пылкую любовь» властей (тюрьму и изгнание). Курбе как-то признал, что «без февральской революции, возможно, моей живописи никогда бы и не увидели» (1868). Поэтому нас вряд ли удивит то, что художник встал на сторону Парижской Коммуны.

Показательным для характеристики идейно-политических воззрений позднего Курбе стал отрывок из черновой рукописи, который мы приводим: «... В век идей коммунизма, в котором мы живем, что может быть более грустным для художника, как не эти ежегодные выставки картин. Что может быть более грустным, чем эти скопления людей, которые смотрят, не видя (будто упали с облаков), и которые думают только о делах. И, однако, это показывается для них, ибо художник при соприкосновении с этим миром денежного мешка развратился и более не выполняет своего назначения. Это не художник кладет отпечаток на публику, наоборот, свет определяет художника, и с таким успехом, что теперь у нас мода заменяет искусство. Но в то же время – что делать в век, который находит утехи лишь в материальной стороне? И поскольку человека оценивают по его богатству, дух согнулся перед деньгами. Художник тоже стал торговцем...»^[91]

Если Делакруа, Коро, Курбе родились в богатых семьях, то иной была судьба живописца и графика Жана Франсуа Милле (1814–1875), автора известных «Сборщиц колосьев» (1857). Каково оказаться в Париже сыну простого крестьянина. Он вел повседневную, тяжкую

борьбу за место под парижским солнцем. Этот крестьянский Жан Вальжан чувствовал себя тут абсолютно чужим. Чего мог он ожидать от тех, кто позже презрительно будет называть его «Данте деревенщины, Микеланджело мужичья»?! Учеба у блестящего, но холодного Делароша, любимца высшего света, если что-то и дала ему, то лишь в профессиональном отношении. Он как был, так и остался «лесным человеком». Выручал его только Лувр... Как и Делакура, как многие художники до него и после него, он обретал здесь приют и душевный кров. Лувр заменял ему и родные пейзажи и родительское тепло. «Мне показалось, – писал он об этой «пальмире», – что я нахожусь в давно знакомой стране, в родной семье, где все, на что я смотрел, предстало передо мной как реальность моих видений». Позже Золя, уговаривая Сезанна перебраться в Париж, также уверял, что Париж предоставляет такое преимущество, какого не найти ни в каком другом городе («это музеи, где можно учиться на картинах великих мастеров»).

Необычность, ершистость, отчужденность Милле чувствовал и Делакура, записав в дневник впечатление от встречи (1853): «Утром ко мне привели Милле. Он говорит о Микеланджело и Библии, являющейся, по его словам, едва ли не единственной книгой, которую он читает. Это объясняет несколько натушливую осанку его крестьян. Впрочем, сам он тоже крестьянин и хвастает этим. Он, видимо, из плеяды или из отряда тех бородатых художников, которые делали революцию 1848 года или по крайней мере аплодировали ей, надеясь, по-видимому, что вместе с имущественным равенством наступит и равенство талантов. Милле как человек все же кажется мне стоящим выше этого уровня, и среди небольшого количества его довольно однообразных работ, какие мне довелось видеть, есть некоторые, проникнутые глубоким, хотя и претенциозным чувством, стремящимся прорваться сквозь его иногда сухую, а иногда смутную манеру».^[92]

Девиз его жизни – свобода и правда искусства. Хотя он видел, как многим художникам приходится приспособливаться, идти на сделки с совестью. Видел, как они угождают свету и сильным мира сего. Ведь, и тогда от мнения министра или банкира зависело очень многое. Они зачастую заказывали «музыку». Но истинный художник не будет «продаваться», не изменит своей «клятве Гиппократата»... Милле не раз повторял: «Меня никто не заставит кланяться! Не заставит писать в

угоду парижским гостиним. Крестьянином я родился, крестьянином и умру. Всегда буду стоять на моей родной земле и не отступлю ни на шаг». Так следует понимать Искусство – «стоять на моей родной земле»!

Родина и семья помогли ему выстоять в суровой борьбе. Хотя одной жене художника (П. В. Оно) пришлось заплатить смертью за полуголодную жизнь в нищете, другой (К. Лемэр) – долгими годами невзгод и лишений. Что значим мы, художники, без постоянного и чуткого внимания и заботы любимой женщины. Не случайно такой шедевр как «Собирательницы колосьев» посвящен женщинам и написан в годы самых тяжелых испытаний. Это своеобразное «свидетельство о бедности» художника, вынужденного питаться крохами со стола буржуазии... Вот и Милле пишет другу (1859): «Дров у нас осталось дня на два, на три, и мы просто не знаем, что делать, как достать еще. Через месяц жене родить, а у меня ни гроша...» А ведь он уже известный мастер. Вспомним, как другой художник, К. Моне, испытывал безысходную нужду и крайнюю нищету: вынужден был жить почти впроголодь (его и семью тогда спас Ренуар, принеся краюху хлеба). Моне писал (1869): «Положение отчаянное. Продал натюрморт и получил возможность немного поработать. Но, как всегда, вынужден был остановиться – нет красок».

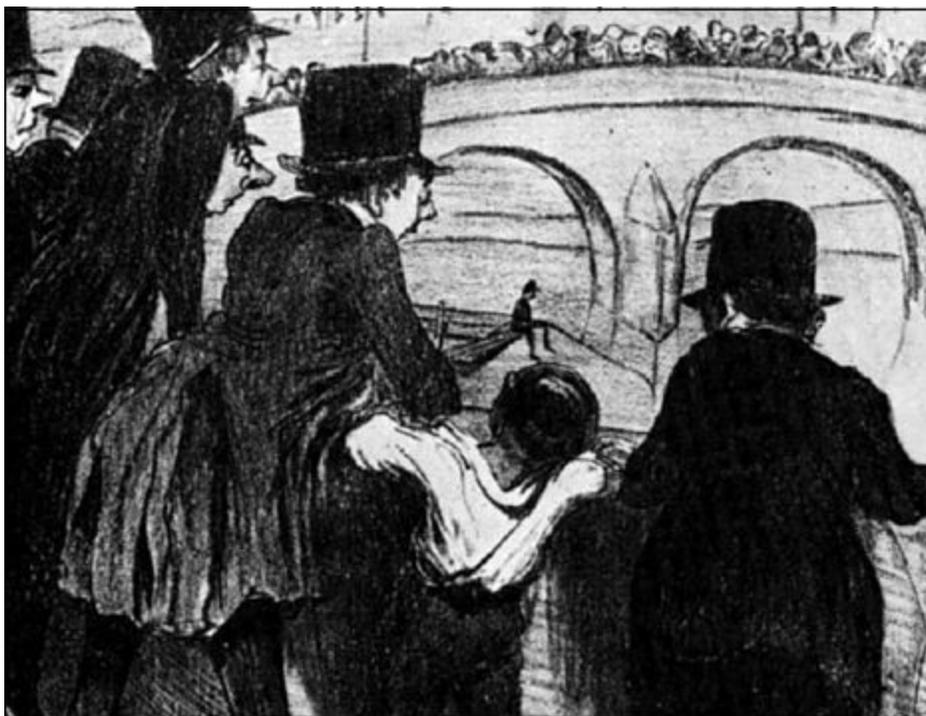


Ж.Ф.Милле. Автопортрет. 1841.

Кому-то, возможно, и покажется странным, что буржуазия постоянно ощущает инстинктивный, животный страх перед людьми труда... Вот и выставленный «Сеятель» (1850) назван прессой «угрозой простолюдина». В чем же эти господа узрели угрозу? А в том, что крестьянин, видите ли, разбрасывает зерна, которые у Милле, якобы, напоминают «картечь». Богачи презрительно назвали живопись художника «нищенским стилем». Со страниц желтой прессы то и дело раздаются истошные полные ненависти вопли, подобные тем, что пришлось однажды услышать Милле со страниц «Фигаро»... Некий журналист, посетивший Салон, так оценил работу художника: «Удалите маленьких детей! вот проходят сборщицы г. Милле. Позади этих трех сборщиц на мрачном горизонте вырисовываются лики народных восстаний и эшафоты 93 года!» Как нам нужны сегодня художники типа Милле, Курбе, Домье, что поднимут свой голос протеста в защиту угнетенного и ограбленного народа. Ибо «сеятели» вновь ограблены и унижены!^[93]

В восемь лет прибыл в Париж и Оноре Домье (1808–1879), сын поэта и стекольщика. Таким и будет все творчество художника – поэтичным, ясным и прозрачным, как самое лучшее и чистое в мире стекло... В его лице страна обрела блистательного графика, мастера воинствующей сатиры. Его шаржи станут мощным и разящим оружием против плутократов, тиранов, империалистов. Этого великого сына Франции отличали, помимо его незаурядного таланта, две черты – огромная любовь к простому народу и ненависть к его угнетателям и эксплуататорам. Поводом для карикатур Домье были самые различные слои общества, однако особо доставалось тем, кто непосредственно стоял во главе государства (королю Луи-Филиппу и президенту Тьеру). Июльская революция 1830 г. сделала из журналиста Тьера заметную фигуру в политическом «зверинце». Поэтому в серии гравюр в «Карикатюр» он является главным объектом сатиры. В народе Тьера называли по-разному: «Маленький Никудышник», «Карманный депутат», «Директор карликовой труппы» и т. д. и т. п. В «Законодательном чреве» это наиярчайшая фигура. Одна из лучших карикатур Тьера, выполненная Домье – «Матереубийца» (Тьер наносит удар дубинкой прессе). Даже Бисмарк называл президента не иначе как «Адольф Первый».

Домье любил повторять: «Надо принадлежать своему времени»... Под его кистью оживал огромный, суетливый, прожорливый Париж... Одна за другой появляются серии ярких литографий: «Парижские переживания», «Наброски», «Парижские музыканты», «Парижские типы», «Супружеские нравы», «Купальщики». В его видении оказываются и достижения технического прогресса. Тогда уже появились железные дороги. Луи Дагер, декоратор Гранд-Опера, открыл способ механического изображения природы с помощью камеры-обскуры и специально обработанных пластинок. Домье говорит о новом искусстве: оно «все изображает, но ничего не выражает». И даже рисует поклонника дагерротипии, сопровождая литографию надписью: «Терпение – добродетель ослов».



Оноре Домье. Любопытные. 1839.

Одним из первых Домье понял, сколь страшными могут стать «орудия прогресса». Однажды он изобразил изобретателя «игольчатого ружья», средства массового убийства. Тот уподоблен чудовищу (отвратительное сочетание маньяка и палача), победоносно озирающему поле, покрытое сотнями мертвецов. После опубликования литографии Домье получил письмо Мишле: «Великолепно, мой

дорогой, великолепно! «Изобретатель игольчатого ружья!» Никогда Вы еще не делали ничего более великого и более своеобразного. Жму Вашу руку. Ж. М.» Он ненавидел войну и, как мог, старался уберечь людей от ее страшных объятий. Вот Европа небрежно балансирует на дымящейся, готовой взорваться бомбе. Вот женщина, олицетворяющая собой мир, проглатывает огромный клинок. Вот бог войны Марс пирует за столом или храпит на мешках с золотом (на заводах Рура тогда отливались новые пушки Круппа, ознаменовавшие «прогресс»). [94]

Мастер физиономического портрета, он старался отразить все слабости и пороки несовершенной человеческой натуры... Ненавидя мир условностей, презирая напыщенных буржуа, он высмеивал даже их науку. Вместо того чтобы говорить на злобу дня, та предпочитала прятаться в тени античных драпировок. Классика (столь им любимая) превращалась в товар в гостиных разбогатевших нуворишей. Домье создаст одну из самых едких и веселых своих серий («Древняя история»). В пятидесяти литографиях предстают «герои» нового времени. Все они уродливы, сами того не понимая... Костлявый Нарцисс, упиваясь своим отражением в воде, подобен смерти. Вот кентавр Харон, обряженный в ночной колпак, учит грамоте рахитичного буржуазного недоноска. «Прекрасная» Галатее напоминает перезревшую старую шлюху, нюхающую табак.

Особенно силен Домье в политических и социальных карикатурах. Недаром Бальзак скажет о нем: «У этого парня под кожей мускулы Микеланджело». Для него не прошла даром школа сатиры «Шаривари» (журнал основан в 1832 г.), где он проработал долгие годы. На страницах издания явился и образ Робера Макера («Сто один Робер Макер»), тип нового жулика. Тот пережил свое время и триумфально обосновался с тех пор во многих странах земного шара. Кто таков Макер? Он многолик и неуловим. Встречается среди недобросовестных финансистов, жуликоватых политиков, подлейших и беспринципных журналистов, продажных юристов и судейских, генералов и чиновников, обдeldывающих ловко свои «дела» под надежной защитой жалкого лилипута-президента... Стоит привести монолог «героев», что был опубликован в «Карикатюрне» вместе с рисунками Домье (20 августа 1836 г.)... Подлые актеришки (Робер

Макер и Бертран) размышляют о том, как бы им получше да половчее устроиться при нынешнем режиме.

В книге Р. Эсколье «Оноре Домье» приведены их незатейливые, но, надо признаться, более чем современные рассуждения: «— Бертран, я обожаю деловую жизнь, — говорит ему Макер, — хочешь, откроем банк, но, знаешь, настоящий банк! Капитал: сто миллионов, сто миллионов миллиардов акций. А потом — мы накроем Французский банк, накроем банкиров и банкистов, сиречь мошенников, накроем весь мир! — Да, — отвечает Бертран, — но вот только полиция... Но Робер с презрением обрезает его: — До чего же ты глуп! Кто посмеет арестовать миллионеров!..» Франция тогда только-только вступала в период коренной буржуазной «перестройки»... Эти запоминающиеся и яркие образы Домье, видимо, наш читатель согласится, и поныне преспокойно разгуливают повсюду.^[95]

Позавидуем Франции, у которой в сложнейший период истории нашлись великие и бесстрашные художники... Гоген прав, сказав по случаю столетия его рождения: «Домье изваял иронию»... Кстати говоря, нелишне напомнить, что это Домье мужественно вышел на баррикады с оружием в руках, отстаивая свои республиканские взгляды в дни Июльской революции (вместе с Дюма, Давидом д'Анже и другими). А в 1832 г. он же был приговорен к 6 месяцам тюрьмы за карикатуру «Гаргантюа». Так что, как видите, и в самом распрекрасном «демократическом обществе» журналисты и карикатуристы порой не минуют тюрем (если они, конечно, не жалкие трусы и дерзнут выступить против тиранов или толстосумов)... Как вспоминал один из современников, описывая церемонию арестованных «узников совести» в тюрьме Сент-Пелажи: «Сюда спускались все республиканцы, исповедовавшие идеи равенства, радуясь возможности поклониться своему знамени. Становились как попало и, вспоминая былые времена, хором повторяли вдохновенные стихи наших революционных поэтов... Затем пели другие гимны свободы. Сколь гордо, возвышенно, прекрасно звучали они! Разгорались патриотические чувства, заставляя живее биться сердце, возвышая душу». Полтора века спустя у других «узников совести» (в России) не будет ни совести ни чести, да и камеры свои они сменят на доходные места. Этому художнику («бичевателю зла») посвятит свой стих Бодлер.

Художник мудрый пред тобой,
Сатир пронзительных создатель.
Он учит каждого, читатель,
Смеяться над самим собой.

Его насмешка не проста.
Он с прозорливостью великой
Бичует Зло со всею кликой,
И в этом – сердца красота.

Он без гримас, он не смеется,
Как Мефистофель и Мельмот.
Их желчь огнем Алекто жжет,
А в нас лишь холод остается.

Их смех – он никому не впрок,
Он пуст, верней, бесчеловечен.
Его же смех лучист, сердечен,
И добр, и весел, и широк.^[96]

Перед огромным талантом Домье преклонялись Дега и Мане... В собрании картин у Дега насчитывалось 1800 его литографий. Когда Домье умер (февраль 1879 года), его прах вскоре перенесли на кладбище Пер-Лашез, где покоились любимые им Коро и Добиньи, и где некогда вели последний бой коммунары. Подобно Курбе, он остался верен идеям Коммуны. Отказался он и принять орден Почетного легиона из рук палачей своего народа. Художник, в отличие от иных продажных господ, заслужил ту скромную, но величественную надпись, что можно узреть на каменной кладбищенской плите: «Здесь покоится Домье. Человек доброго сердца. Великий художник, великий гражданин».



Оноре Домье. Ничего не скажешь, это я... 1864.

Искусство импрессионистов – это своего рода вторая волна романтизма в европейской культуре. Хотя для нас они, безусловно, уже «старые мастера», по праву обитающие среди плеяды величайших живописцев прошлого. И все-таки это искусство новое, новое как по стилю и манере, так и по содержанию... Давайте вспомним, что или кто прежде взирали на нас с полотен. В портретном ряду там были преимущественно фигуры из мифологии или древней истории (герои, библейские персонажи, кардиналы, короли, дамы света, инфанты). Позже появились торговцы, воины, кавалеры, врачи, бюргеры и состоятельные ремесленники. И лишь изредка в картинах появлялись люди из народа.

С появлением импрессионистов в живопись пришли мятежники (не случайно их выставка в 1874 г. так и будет названа – «Выставка мятежников»). Художники повернулись лицом к простому народу. Для них он куда более интересный предмет осмысления, созерцания, анализа и даже откровенного восхищения, чем светские шалопаи или сильные мира сего. В пейзаже они были ближе к реальной живой природе. Своим последующим названием течение обязано картине К.Моне «Восход солнца» или «Впечатление» (франц. *impression*). Появление этой картины вызвало у критика журнала «Шаривари» приступ отторжения. Он бросил презрительные слова: «Эти пятна были созданы тем же способом, что и при покраске гранитных опор фонтанов. Пиф! Паф! Бах! Шлеп! Расступись! Это неслыханно, это ужасно!» Главным в новой манере были отнюдь не световые гаммы, пятна или игра теней. Важную особенность творчества

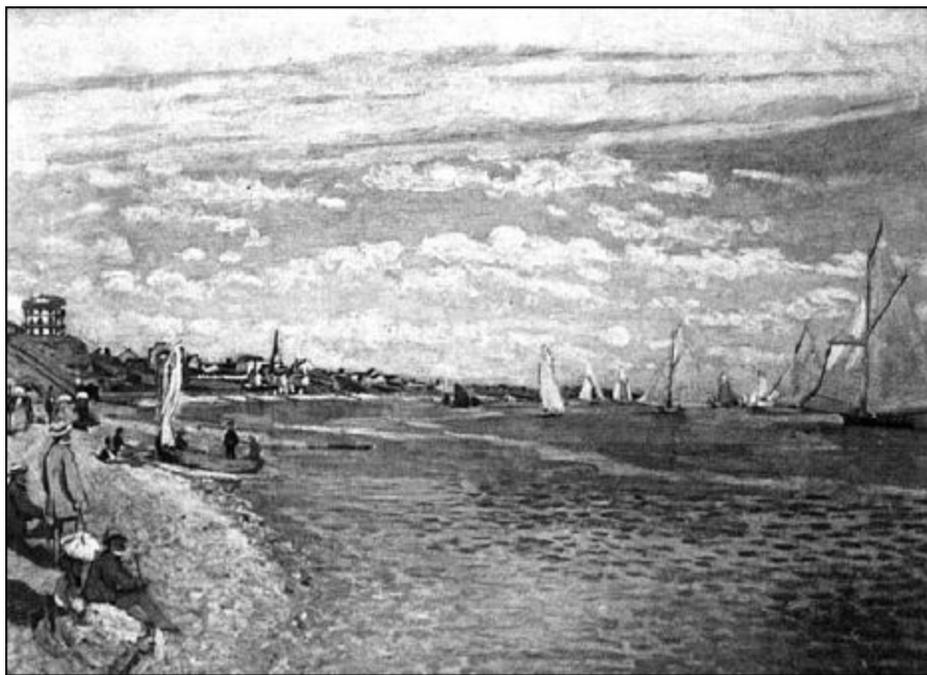
импрессионистов выразил Л. Вентури, сказав, что эти художники по-своему способствовали признанию человеческого достоинства обездоленных классов. Они выбирали самые простые мотивы, предпочтя «розам и дворцам капусту и хижины». Итак, вместо королей и президентов – хижины?!^[97]

Импрессионисты – это романтики в реалистических одеждах. В этой связи понятно, почему между ними и романтиками первой волны установились такие дружеские и родственные связи. При желании можно узреть схожие сюжеты и настроения в картинах у Мане, Дега, Милле с Ватто и Пуссеном, а у Писсаро, Моне и Ренуара с Коро и Констеблем. Ведь, именно Констебль и Коро первыми стали писать этюды на пленэре, пытаясь показать природу «такой, какой видит ее непредубежденный человек». Разумеется, все импрессионисты боготворили Делакруа, ставшего для них «явлением Христа». Тот был их оплотом, их знаменем, их манифестом. Этот художник был едва ли не единственным, кто не предал старые идеи. Он и через 20–30 лет не стал отказываться от убеждений своей молодости. И это когда предательство и переход в стан обслуги торговцев и спекулянтов стали почти повсеместным явлением... Ш. Делеклюз отмечал в дневнике (1828): «Делакруа – единственный, кто продолжает упорствовать в своих странных идеях».^[98]

Стоит ли удивляться, что импрессионисты, по сути дела, – его «дети»... Мане просит разрешения скопировать «Ладью Данте». Ренуар скажет, что для него в юности «Делакруа был Лувром». Милле пришел к нему на поклон, как к патриарху. Фантен-Латур в картине «В честь Делакруа» (1864) изобразил у портрета умершего Делакруа – Бодлера, Мане, Уистлера... Выученик «школы Энгра» Дега копирует его картины и собирает его полотна, словно это его собственные картины (у него было 60 картин, этюдов, акварелей и рисунков Делакруа). Поль Синьяк, отмечая его роль ведущего теоретика и практика романтизма, пишет книгу «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму».^[99]

Если Делакруа – их духовный отец, то Поль Дюран-Рюэль – отец «плотский»... Кто же это такой? Французский Третьяков или Мамонтов... Знаменательно это потрясающее сходство историй, культур, судеб, идей, революций, художественных течений двух стран. Разве Великая Французская революция не породила Великую

Октябрьскую социалистическую революцию?! Разве большевики не выросли в той колыбели, которую «качали» Фурье, Сен-Симон, Робеспьер, Марат и Бланки?! Да и судьбы русских художников-«передвижников» очень напоминают судьбы французских импрессионистов.



Клод Моне. Пляж в Сент-Адресс. 1867.

Воздадим должное той части буржуазии, которая сердцем и душой принадлежит все же к прогрессивному классу. Деньги для нее не главное. Они умны и могут оценить культурный и цивилизационный процесс в целом (это справедливо в отношении лучших из них). Вспомним, что практически едва ли не все крупные мыслители, толковые и дельные реформаторы, выдающиеся писатели, художники, музыканты, ученые свое происхождение вели от этих корней. Как бы мы порой не бичевали, не костили, не рубили «буржуа», будем помнить, что бичуем и проклинаяем мы зачастую лишь самих себя.

Поль Дюран-Рюэль (1831–1922) в юности мечтал стать миссионером или офицером, а в итоге обрел писчебумажную лавку и стал коммерсантом. Вначале он питал глубокое «отвращение к торговле». Сдав экзамены на звание бакалавра, он был принят в Сен-

Сирскую школу (1851). Болезнь помешала военной карьере. Это обстоятельство сыграло в будущем на руку искусству... Поль вынужден был заняться торговыми делами. Дела шли и раньше неплохо, если бы не революция (1848). Кредит был подорван и разразилась паника. Вскоре однако ситуация изменилась и торговля картинами вновь стала выгодным вложением денег... Всякое искусство должно иметь материальную опору в качестве источника своего творчества и существования... Увы, без римских пап не было бы Рафаэля, без Медичи не смог бы существовать Микеланджело, без испанских монархов не явились бы на свет Колумб и Гойя, без русских царей не было бы великолепия двух столиц, а без денежных субсидий и щедрой помощи меценатов не было бы и красоты.



О. Ренуар. Поль Дюран-Рюэль. 1910

В 1865 г., когда умер его отец (писчебумажная лавка которого превратилась в галерею), у Поля была солидная фирма по художественному бизнесу (покупка и продажа картин). Он скупает полотна Коро, Руссо, Милле, Курбе, Домье, Добиньи и др. Еще до того как любители оценили таких великих мастеров как Гойя, Веласкес, Греко, поздний Рембрандт, он стал активно приобретать их картины. Купил Дюран-Рюэль и коллекцию принца Наполеона. Затем он основал ряд художественных журналов. Этот предприниматель знал в своей жизни взлеты и падения, что, конечно же, абсолютно неизбежно.

К тому же, ему приходилось иметь дело с такой тонкой материей как живопись. Этот вид искусства более чем что-либо еще нуждается в тонких и чутких знатоках. Вкусы широкой публики всегда нуждаются в «шлифовке», а то и в самой элементарной «формовке».

Поэтому столь важное место занимали и занимают в жизни любого высокоразвитого общества просвещенные и богатые люди. К таковым, бесспорно, принадлежал П. Дюран-Рюэль, что вел нелегкую битву в массовом общественном и художественном сознании, утверждая идеи «реалистов» и «романтиков»... Кстати, он всегда считал именно их подлинно великими мастерами (Коро, Делакруа, Курбе, Милле, Руссо). Когда открылась большая Всемирная выставка (1855), где, наряду с Энгром, Верне, Руссо и другими, были выставлены работы Делакруа, торговец был потрясен гением этого художника. Он вспоминал: «Это была полная победа живого искусства над искусством академическим. Я до сих пор помню, какое впечатление произвели на меня создания великого мастера, собранные в этом зале. Они окончательно открыли мне глаза и укрепили меня в убеждении, что, может быть, и я сумею в своей скромной сфере сослужить кое-какую службу подлинным людям искусства, способствуя тому, чтобы публика поняла их и полюбила». Итак, он решил стать своего рода «учителем» и «воспитателем вкусов» общества.

Как только буржуа узрел в картинах «товар», в нем сразу же ожил природный инстинкт торговца и дельца. Подобно хорошей гончей собаке, преследующей дичь, тот почувствовал – дело пахнет большими деньгами. К. Писсарро в одном из своих писем к сыну четко выразил суть их мотивации (1896): «Ты совершенно прав, говоря, что искусство не нужно публике, но я думаю, что совершенно то же самое и в Англии и везде. Деньги – это все... Надо, мой милый, принимать вещи, как они есть, да еще уступать обстоятельствам, иначе будет еще труднее. Мы уже прошли сквозь все это, мы помним, с каким презрением все эти глупцы относились к нам, когда мы пытались выбраться из затруднений. И когда случайно найдешь человека, который будет тебя эксплуатировать, значит, тебе здорово повезло! Или же надо быть таким же ловким, как маршаны».^[100]

Буржуазия даже из воздуха делает товар... А уж о произведениях искусства и говорить не приходится. Динамика роста цен на

произведения искусства и в самом деле потрясает. За копию «Собирательниц колосьев», как пишет Дюран-Рюэль, некто Сансье заплатил «бедному Милле» всего 40 франков. За работу этого же художника «Женщина с лампой» Дюран-Рюэль платит 16 000 франков (а спустя годы эта картина будет продана в Америке за 400 000 франков). И все же скажем слова признательности этому торговцу картинами, что в тяжелые минуты жизни пришел на выручку талантам мирового значения. Вряд ли он, конечно, «в течение всей своей жизни» думал скорее об интересах других людей, нежели своих собственных. Но для искусства важнее итог его трудов. А он весьма впечатляющ. Кстати, после смерти маршана (1922) Моне, единственный из великих импрессионистов, тогда еще остававшихся в живых, писал Жозефу Дюран-Рюэлю: «Я всегда буду помнить, чем мои друзья и я сам обязаны вашему незабвенному отцу».^[101]

Усилия его дают плоды... Выставки собранных им работ художников (в Париже, Лондоне, Брюсселе, Нью-Йорке) вызвали немалый шум, хотя до устойчивого интереса к полотнам импрессионистов было еще очень далеко. Он стал «своим» среди отверженных художников. В воспоминаниях Ж. Ренуара (сына художника) о нем сказано с теплотой и признательностью: «В наших разговорах постоянно всплывало имя Поля Дюран-Рюэля. «Папаша Дюран» не боялся риска; «папаша Дюран» великий путешественник; «папаша Дюран» ханжа. Все это Ренуар подтверждал. «Нам был нужен реакционер, чтобы отстаивать нашу живопись, которую «салонники» называли революционной. Его, во всяком случае, не стали бы расстреливать заодно с коммунарами!» Однако чаще всего он говорил: «Папаша Дюран – славный старик!» Вспоминая выставку в Нью-Йорке, он также заметил: «Мы, может быть, обязаны американцам тем, что не умерли с голоду».^[102]

Показательно и письмо Дега, в котором тот, обращаясь к Дюрану, говорит (1884): «Сударь, Не откажите выдать немного денег моей прислуге – она явится к Вам. Сегодня утром она переслала мне налоговое извещение. Правда, больше половины налогов я уже заплатил, но государство, по-видимому, намерено немедленно взыскать остальное. На это хватит 50 фр., но если можете, дайте 100, чтобы ей было на что жить. Я оставил ей очень мало, а мне придется здесь несколько задержаться – тут так красиво. Ну, этой зимой я

засыплю Вас картинами, а Вы, со своей стороны, засыплете меня деньгами...»^[103]

У импрессионистов был свой глава, идеолог и «крестный отец». Если французская буржуазия захотела бы поставить в живописи овеществленный автограф, то, вероятнее всего, она бы поручила это сделать Эдуарду Мане (1832–1883). Среди предков Мане – судьи, прокуроры, казначеи, юристы, мэры, владельцы поместий и администраторы. Семейство Мане располагало 25 тысячами франков в год, что для того времени было вполне солидной суммой, означавшей, что Мане – это «типичные средние буржуа».

Среда, в которой рос Мане, может быть названа «культурной» (педагоги, переводчики), хотя жизнь юноши не назовешь разнообразной. Учеба не принесла ему удовлетворения (любил историю и гимнастику). Его записали «на рисунок». И здесь свершилась метаморфоза. Юноша увлекся этим занятием (по рисунку у него «очень хорошо»). Шли годы, когда он вдруг решил поступить в Мореходную школу. В этом видится желание уйти от ненавистной «школы». Последовало путешествие на торговом судне в Бразилию (Рио-де-Жанейро). Талант «художника» оказался там весьма кстати. Ибо прежде чем продавать сыры несчастным бразильцам, тем с помощью краски, содержавшей свинец, вернули их аппетитный вид. Все же это путешествие было очень романтичным – колибри, орхидеи, негритянки, люэс... Вспоминаются слова Шатобриана, сказанные им в адрес Парни: «все, что ему требовалось, – это южное небо, источник, пальма и женщина».

...Отец, выслушав страстные мольбы сына, без устали твердящего о стремлении заняться живописью, мудро решает: «Да будет так! Следуй своему призванию. Изучай искусство»... Мане поступает на обучение к Кутюру, самородку, убежденному в своей непревзойденности. У него он научится трудиться и быть искренним. Посещает свободную «академию» Сюисса. Строптивный характер юноши то и дело дает о себе знать. Его не устраивает и манера письма учителя. Кутюр, вспыхив, говорит: «Если сомневаешься в достоинствах учителя, проще подыскать другого». Эпоха была скандальной и тревожной. Франция беременна революцией (1848). Юношу больше волнует иная беременность (его возлюбленной Сюзанны). Чтобы как-то утешить сына, отец дал ему деньги на

путешествие в Италию. Здесь Эдгар Мане копирует все, что видит из работ великих мастеров прошлого (рафаэлевские «Станцы», фрески Фра Анджелико в Сан-Марко, «Венеру Урбинскую» Тициана). Наброски эти естественны, как сама жизнь. Живопись должна быть подвижной. Тут совсем иной подход, нежели у классиков и романтиков. Уже тогда он пришел к выводу, что «в искусстве следует всегда принадлежать своему времени».



Ивон Адольф. Человек нового времени. Наполеон III вручает барону Осману декрет.

Он восхищается Делакруа, копирует его, но при этом его не оставляет чувство некоего внутреннего протеста. Великолепен, что и говорить, но от него веет холодком: «Это не Делакруа холоден, это его доктрина обледенела...» Не смущайтесь противоречивыми оценками. Великие мастера часто воспринимают творчество соперника с едва скрытой неприязнью. Что поделаешь, конкуренция! Так, когда Делакруа все же выбрали в Академию, его вечный соперник Энгр с ужасом воскликнул: «Да это же волк в овчарне!»

В Париже открыта Всемирная выставка (1855). В специальном дворце предложено показать работы по искусству художникам разных стран (5 тысяч произведений). То было время, когда буржуазия проявляла творческую, конструктивную жилку. Барон Осман (префект департамента Сены) прокладывал новые улицы, разбивал скверы,

перестраивал кварталы. Прелестные женщины, разодетые в золото, драгоценности и меха, заполнили собой центральные улицы Парижа. Богачи охотнее заплатят содержанкам (дамам полусвета), нежели ученым и художникам, но и тут заметны кое-какие позитивные сдвиги.

Выставка даст толчок становлению нового жанра в живописи. Закономерно, что американский искусствовед Дж. Ревалд начнет впоследствии с нее и свою книгу «История импрессионизма». С другой стороны, есть свидетельства и иного рода. Скажем, Т. Торе в «Новых тенденциях искусства» твердо заявит: «Всемирная выставка 1855 года окончательно освятила великих художников романтической школы. Романтизм в живописи, как и романтизм в литературе, одержал триумф в общественном мнении. Отныне с этим покончено. Тот, кто победил, жизнеспособен». Очевидно, что речь шла о рубеже эпох.

Событием в жизни Мане стала его встреча с Ш. Бодлером (1858). Это были родственные натуры (ему – 26, Бодлеру – 37), сразу же почувствовавшие влечение. Бодлер видел, что под «гримом» художника таится талант, даже гений. Он сразу же поверил в будущее Мане, говоря о нем так: «Этот человек будет живописцем, тем настоящим живописцем, который сумеет ухватить в современной жизни эпическую сторону; он заставит нас увидеть и понять, как мы велики и поэтичны в своих галстуках и лакированных ботинках».

Этот вердикт знаменателен. Поэт понял, что в искусстве происходит смена стилей и подходов к изображению действительности. В итоге, на смену богам Энгра, кирасирам и маршалам Гро, античным богам, великим поэтам и страдальцам Делакруа должны вскоре прийти иные герои – в буржуазных котелках, галстуках и лакированных штиблетах. Пора кончать со всеми этими ходячими скелетами, мумиями, солдатней в доспехах или без них. Хватит уж лицезреть одни только пыльные исторические сюжеты. Нужно показать реальную жизнь – во всей ее простоте, открытости, естестве и порочности. Видимо, не без влияния Бодлера (с которым они просиживают дни и ночи в маленьких ресторанчиках) Мане пишет «Любителя абсента». И надеется покорить картиной Салон и своего учителя Кутюра. Кутюр действительно поражен, но – вульгарностью сюжета... «Друг мой, – говорит он, – я вижу только пьяницу – и создал эту гнусность художник». ^[104]



Э. Мане. Портрет родителей. 1860.

Но жизнь на каждом шагу заставляет нас сталкиваться с бесчисленными гнусностями. Разве в ней не переплетены теснейшим образом добро и зло?! Разве в реальных судьбах Бодлера и Мане счастье и любовь не шли нога в ногу с трагедией и ненавистью?! Разве экзотика и невинность не соприкасаются с прозой и пороком?! Их обоих преследуют «последствия» жарких любовных ночей в Бразилии и на островах Маврикии и Бурбон... Что поделаешь, за бездумные увлечения молодости надо платить. Вот и «цветы зла» надолго (иногда на всю оставшуюся жизнь) сохраняют свой приторно-сладковатый аромат.

Распутник! В этих тучах рваных
Есть сходство с жребием твоим.
В каких же ты смертельных ранах,
Каким отчаяньем томим?
— О днях неведомых и странных
Мой жадный бред ненасытим, —
Я не Овидий в чуждых странах,
Я не оплакиваю Рим.
Но в рваных тучах, в их тревоге
Я поневоле узнаю
И гордость, и печаль свою. —

Пускай, как траурные дроги,
Они влекутся в тот же ад,
В котором я погибнуть рад...[\[105\]](#)

С его именем закончился один период и начался другой («до Мане» и «после Мане»). Художник дал важнейший импульс к развитию нового искусства в живописи и гравюре. Он стал не столько «Домье своего времени» (Кутюр), сколь своего рода «французским Лютером в живописи»... Мане выставляется в Салоне 1861 г., после чего о нем все начинают говорить как о реалисте новейшего образца, как о «парижском испанце», связанным таинственной нитью с искусством Гойя («Испанский балет», «Лола из Валенсии»). Бодлер скажет об этой картине: «Лола – драгоценность, где розовый с черным в неожиданной прелести нам предстает». Переломным в судьбе художника стал 1863 год.

На Салон 1863 г. жюри приняло 988, исключив 2800 произведений. Это вызвало возмущение художников. Наполеон III, играя роль арбитра (Наполеон I изрек: «В Италии с художниками дело обстоит плохо. У нас во Франции есть лучшие») разрешил выставляться всем желающим. Так появился «Салон отвергнутых». Впрочем, свобода напугала иных и многие, боясь мести чиновников и академиков, забрали работы. Однако горстка смельчаков не испугалась и выставилась. Пресса вначале обозвала их «Салоном парий» и «выставкой комедиантов»... Но атмосфера скандала лишь усиливала интерес толпы.

Мане выставил в Салоне картину «Завтрак на траве», «Лола», «Махо»... Толпа была вне себя от возмущения. Казалось бы, буржуа должны были с восторгом воспринять обнаженную женскую фигуру среди одетых мужчин (на пленэре). Присущие им фальш и лицемерие повергли Мане в шок. Логика их поразительна. В бордель сходить и удовлетворить свои низменные инстинкты – это, как мы видим, у них в порядке вещей, но вот ловить их на содеянном!? Какой кошмар. Но все же признали наличие в картине блеска, вдохновения, пьянящей сочности. Сюжет картины был заимствован у Рафаэля («Суд Париса»). Ею восхищаются многие французы – К. Моне, П. Сезанн, Ф. Базиль, Э. Золя.



Поэт Шарль Бодлер.

Наконец, Мане пишет знаменитую «Олимпию»... Моделью для нее стала любимая натурщица, Викторина Меран (1863). О боже, что пришлось испытать художнику! Дамы норовились проткнуть картину зонтиками, мужчины грозили ей тростями, пресса выливалась на нее ушаты грязи. Некий Канталуб из «Гранд журнал» обозвал Олимпию «самкой гориллы, сделанной из каучука» и посоветовал женщинам, ожидающим ребенка, воздержаться от лицезрения картины. Вкус интеллигенции был избалован Венерами, а тут, господи прости мя – уличная девка... Во Дворце промышленности «посетители толпятся, словно в морге, перед смердящей, как труп, «Олимпией»» (П. Сен-Виктор). Просто чудо, что полотно не порвали в клочья. Служителей раз двадцать едва не сбивали с ног. Картину специально перевесили, чтобы ее труднее было разглядеть. Ничего не помогало. Публика словно обезумела и валила валом на вернисаж. Все желали получше и поближе разглядеть «прелести этой Венеры meretrix» (блудницы)... Полагаю, что Мане отдавал себе отчет в том, что обывателю как раз и необходима эта «срамота», «мощь отвратных секретов общества», из которого он и готов сделать себе идолище пустоты и экстаза.

Право же, иной общественный скандал для художника иной раз сто крат дороже ордена Почетного легиона, а, возможно, даже и Нобелевской премии... Не без зависти Дега бросает мастеру: «Вот вы

и знамениты, как Гарибальди». Мане, однако же, заметно нервничает и переживает. Бодлер успокаивает его, доказывает, что в первую очередь гениям достаются злоба и оскорбления: «Вы что, талантливее Шатобриана или Вагнера?» Интересно то, что к нему, который веровал лишь в живопись, чувствуют влечение люди разных течений и вкусов – от Готье до Бодлера, от Золя до Малларме, от Дега до Ренуара. Все они и в самом деле могли бы составить некую скульптурную группу в духе композиции «Триумф Мане», о чем и писал поэт П. Валери: «Вокруг Мане появились бы облики Дега, Моне, Базиля, Ренуара и элегантной, странной Моризо; каждый – весьма не похожий на остальных манерой видеть, приемами ремесла, складом натуры; все – не похожие на него. Моне – единственный по чувствительности своей сетчатки, высочайший аналитик света, так сказать – мастер спектра; Дега – весь во власти интеллекта, жестко добивающийся формы (а равно и грации) суровостью, безжалостной самокритикой.; Ренуар – сама чувственность и сама непосредственность, посвятивший себя женщинам и плодам: общим была у них только вера в Мане да страсть к живописи... Но в этой академической и триумфальной композиции должна была бы, со всей непеременимостью, найти себе место еще и совершенно иная группа, – группа других знаменитых людей... Это – группа писателей. В ней, несомненно, оказались бы Шанфлери, Готье, Дюранти, Гюисманс... Но прежде всего: Шарль Бодлер, Эмиль Золя, Стефан Малларме...»^[106]

К слову сказать, тот романтический дух, который пробудился во Франции в период с 1830 по 1838 гг. одновременно дал выход и такому значимому в истории европейского искусства феномену как «миф об Испании». В творениях Гюго, Мериме, Альфреда де Мюссе («Эрнани», «Театр Клары Гасуль», «Рассказы об Испании и Италии») эта прекрасная страна воспринималась через полотна таких величайших мастеров как Рибера, Мурилльо, Веласкес, Сурбаран, Гойя и другие. Между Францией и Испанией во второй половине XIX в. установились прочные культурные связи. Это особенно заметно в творчестве Э. Делакруа («Саломея»), Э. Мане («Лола из Валенсии»), Курбе и Доре.^[107]



Э. Мане. Лола из Валенсии. 1862.

Творческое наследие Мане огромно: сюда входит более 400 живописных произведений, свыше 100 акварелей, 85 пастелей, почти 100 офортов и литографий. Слава к нему пришла слишком поздно. Даже ценившие и глубоко понимавшие его творчество не всегда отдавали себе полный отчет в величии таланта Мане... Когда в день открытия Салона 1883 г. разнеслась весть, что Мане умер, все та же толпа, что поносила его, молча обнажила голову. Дега выразил, видно, общую мысль: «Мы не знали, как он велик!» Художнику Клоду Моне удалось собрать 20 тысяч франков, чтобы подарить «Олимпию» Франции... Только в 1907 г. многострадальная картина, по указанию премьер-министра Клемансо (друга К. Моне), заняла подобающее ей место в Лувре. Хорошо еще, что во Франции к тому времени появились просвещенные и культурные премьер-министры. [\[108\]](#)

То письмо, что отправил Клод Моне к министру образования Франции (7 февраля 1890 г.), в высшей степени показательно с точки зрения оценок компетентности и ответственности государственной власти. «Господин министр! Имею честь от имени группы подписавшихся предложить в дар государству «Олимпию» Мане. Споры, предметом которых являлись картины Мане, враждебные чувства, которые они вызывали, в настоящее время утихли. Но если бы снова была объявлена война против подобной индивидуальности, мы были бы не менее убеждены в значении творчества Мане и в его

окончательном торжестве... Вот почему нам показалось недопустимым, чтобы подобное творчество не было представлено в наших национальных коллекциях, чтобы мастер не имел входа туда, куда уже допущены ученики. Кроме того, мы с беспокойством наблюдаем непрерывное движение художественного рынка, ту конкуренцию в закупках, которую нам оказывает Америка, уход, который легко предвидеть, на другой континент стольких произведений искусства, являющихся радостью и гордостью Франции».^[109]

Не надо преувеличивать меру «культурности», «патриотичности», «демократичности» министров образования, премьер-министров, президентов... Так, когда художник Дега стал развивать перед Клемансо (сидя с ним в фойе Оперы) свои демократические убеждения, тот вылил на него «ушат презрения». «В другой раз, встретив Клемансо в Опере, Дега сказал ему, что был в этот день в Палате: «В продолжение всего заседания я не мог, – заметил он, – оторвать глаз от маленькой боковой двери. Мне все время казалось, что она вот-вот откроется и в зал войдет придунайский крестьянин». – «Ну что вы, мсье Дега, мы бы не дали ему слова...» – скажет Клемансо.^[110] Такова суть буржуазной культуры.

Мастера импрессионизма и постимпрессионизма явились сразу, словно выводок грибов после проливных дождей (это же говорил некогда Герцен, кажется, в отношении русских декабристов)... Может показаться, что «дождь революций», пролившихся на землю Франции в 1789–1848 гг., пропитал землю каким-то особо благодатным составом. Уж не была ли то человеческая кровь! Писсаро – 1830, Дега – 1834, Сезанн – 1839, Сислеи – 1839, Моне – 1840, Роден – 1840, Ренуар – 1841, Гоген – 1848, Ван Гог – 1853, Сера – 1859, Тулуз-Лотрек – 1864... Заметим, что вулкан, выплеснувший эту «лаву» во Франции, означал, что центр европейского искусства уже переместился тогда из Рима в Париж.

Некоторые знатоки называют «старейшим импрессионистом» Камилля Писсарро (1830–1903). Оценки критикой творчества и роли художников всегда, разумеется, крайне субъективны... Скажем, Ф. Фенеон (1886), полагал, что в могучей кучке ведущее место принадлежит отнюдь не Эдуарду Мане, «гибкому и театральному». Главные перемены в манере и стиле произошли благодаря Камиллю

Писсарро, Дега, Ренуару, особенно Клоду Моне. «Они были главарями революции, он же (Э. Мане) был ее глашатаем».^[11]



Эдуар Мане. Олимпия. 1863.

Камиль-Жакоб Писсарро (1830–1903) родился на Антильских островах (Сен-Тома). Возможно, романтическое место заставило сына торговца скобяными товарами обратить свой взор к живописи. Закончив коллеж, он до 1852 г. безропотно служил отцу на поприще торговли (занимаясь одновременно живописью). Затем взбунтовался и вместе с датским художником Ф. Мельби уехал в Венесуэлу (вспомним, что и Мане «сбежал» в Бразилию). Там он рисует пальмы, дома, горы, матросов, негров, женщин. Говорят, что его устремления были несколько иными, чем у Гогена, сбежавшего из Парижа на острова Полинезии. Мы же подчеркнем, что нельзя недооценивать того влияния, которое окажут на многих мастеров нового жанра буйство цветов и красок экзотических стран... По возвращении художник некоторое время учился в Школе изящных искусств, хотя и был несколько разочарован академическими методами преподавания. В 1859 г. он впервые послал в Салон свою картину. Его учителями можно считать Коро, Курбе, Мане.

К тому времени он перебрался во Францию (Париж, затем Понтуаз). Жизнь была трудной. Женитьба на простой крестьянской

девушке (горничной) поссорила его с отцом. Папаша-буржуа вознегодовал по поводу «неравного брака» и лишил сына ежемесячного пансиона. Живопись стала единственным пристанищем. Писсарро знакомится с Ренуаром и Сислеем, оказывается в Лондоне вместе с К. Моне, где изучает Тернера (позже он посоветует сыну «учиться, глядя на картины Тернера»), дружит с Сезанном.

Мы видим, что искусство импрессионистов, и в первую очередь их «вождей», вовсе не являлось сугубо замкнутым, так сказать чисто французским. Критики резонно отмечают: «Если свести воедино всех тех, у кого учился Писсарро – это немецкие пейзажисты дюссельдорфской школы, французские барбизонцы, Коро и Курбе, английские пейзажисты, – и прибавить сюда те черты голландского влияния, которые Клод Моне наследовал от Йонкинда, то придется признать, что двое главных зачинателей импрессионизма опирались на достижения всех ветвей европейской пейзажной живописи XIX века».

Писсарро можно назвать «певцом Парижа», как и Моне с Ренуаром. Их всех влечет не только пейзаж, но и рукотворная природа больших городов. Клод Моне пишет серию «Руанских соборов». Если для Моне пленэр был все же главным источником вдохновения, то Писсарро (особенно поздний) скорее был увлечен жизнью города, изображая уголки старого Руана («Руан. Мост Бозэльдь»). Затем он пишет картины рынков, парков, садов, бульваров, площадей («Оперный проезд», «Сад Тюильри», «Вид Сены»). Постепенно Писсарро стал зарабатывать «немного больше, чем только на жизнь», но гораздо позже Дега, Моне и Ренуара (все эти трое станут богатыми и вполне обеспеченными).

Художник вошел в Клуб социального искусства (1889), где шли споры о необходимости создания искусства для народа, о том, что художник не должен уединяться в башне из слоновой кости... Взгляды участников этих собраний родственны взглядам членов кружка английского социалиста У. Морриса... Писсарро и Синьяк также считали, что художник обязан просвещать массы. Нам же кажутся столь же важными и человеческие качества художника. Это о них позже с восторгом и восхищением напишет Ж. Леконт («Основатель импрессионизма, Камиль Писсарро»): «Великий Писсарро был – и остался таким до конца – очень молод душой и умом и своей верой в будущее; он любил быть окруженным молодыми. Не принуждая себя к

этому, он был снисходителен к промахам, ошибкам и преувеличениям молодежи... Проницательный и справедливый в оценке произведений искусства и людей и знающий, чего стоит творческое усилие, Камиль Писсарро был необыкновенно доброжелателен, особенно к молодым художникам... Никогда я не слышал, чтобы он смеялся над какой-нибудь неудавшейся попыткой; он никогда не говорил плохо о художнике в отсутствие его, он говорил о нем, только когда он был тут... Не поступаясь истиной, он старался похвалить за достоинства, чтобы придать мужества молодым творцам, подбодрить их. Чтобы помочь избавиться от недостатков и убедить в искренности своего суждения, он высказывал очень сдержанно и деликатно сомнение в том, что ему казалось ошибочным... В нем все было благородно – мысли, чувства, характер. Никогда он не произносил горьких слов или слов зависти и мелочной злобы. Несправедливое отношение, жертвой которого он долгое время был, только усиливало в нем стремление к справедливости. Бедняк, с трудом содержавший семью, он находил возможность делать добро – для него это было совершенно естественно – и помогать другим не только подбадривающим словом, но и делом. Несмотря на трудности, с которыми в течение сорока лет он боролся с помощью своей самой лучшей и самой мужественной из жен, этот философ-патриарх, мудрый, улыбающийся, был счастлив потому, что он мог свободно заниматься живописью – своей мечтой, и потому, что он спокойно жил, созерцая и изучая природу, источник великих радостей». [\[112\]](#)

Есть художники, которым достаточно видеть «источник великих радостей» в искусстве. Как правило, они стараются избегать света, шумных встреч, застолий, раутов, шумихи в прессе и даже в салонах. В их мировоззрении есть нечто от мысли Ф. Тютчева: «Молчи, скрывайся и тай и чувства и мечты свои». Таков Эдгар Дега (1834–1917), рожденный в семье парижского банкира. Трудно сказать, что сделало его столь замкнутым и отчужденным. Известно только, что он не писал статей и не вел дневник, как Делакруа, не знал долгих бесед с учениками, как Энгр, не выступал с декларациями и уж тем более не принимал участие в деятельности и борьбе Парижской Коммуны, как Курбе. Ему не посвящали исследований, не брали у него интервью. После Столетней выставки 1900 г. он вообще скрылся от глаз публики. Называть его «затворником» было бы неверно. В нем скорее жил

скептик и философ, «индивидуалист и отщепенец». Он желал, подобно Растиньяку, покорить Париж и весь мир, живя в уединении и оставаясь забытым. Как он однажды признался: «Я хотел бы быть знаменитым и неизвестным». Думается, что эта позиция была обусловлена стремлением видеть и подмечать то, чего не видят другие.

Никто так не знал Парижа, как он, никто не владел линией столь совершенно, никто не мог схватить с такой точностью движения балерин. Как он достиг такого мастерства? Копируя старых мастеров (Веласкеса, Рубенса, Пуссена, Гирландайо, Гольбейна). Однако его истинным кумиром станет Энгр, «фанатик рисунка», о котором он же сам с восхищением скажет: «Вот художник, который мог бы посвятить всю свою жизнь тому только, чтобы нарисовать одну женскую руку!» Тот советовал ему «рисовать контуры». Даже в «Молодых спартанках, борющихся со спартанцами» (1860) виден облик девушек парижских кварталов. В 1862 г. Дега знакомится с Мане (они сошлись в Лувре у картины Веласкеса, где познакомились и подружились). В их стилях есть некая интимная теплота, как и между Дега, Мане и Ренуаром. Дега рисует «Нищенку», входит в группу «Независимых» или «отверженных», будучи художником абсолютно современным.



К. Писсаро. Площадь Французского театра в Париже. 1898.

Оставив университет и выдержав битву с отцом, он весь отдался живописи улиц и характеров... Принятая им личная программа (1859) звучала так: «Претворять академические штудии в этюды, запечатлевающие современные чувства. Рисовать любые предметы обихода, находящиеся в употреблении, неразрывно связанные с жизнью современных людей, мужчин или женщин: например, только что снятые корсеты, еще сохраняющие форму тела, и т. д.». В его списке – булочные, дымы, вуали, похороны, музыканты, балерины, ночные кафе... Да, это была настоящая, подлинная, повседневная жизнь города, в котором «сходятся почти все стороны цивилизации» (П. Валери). Гонкуры отмечают как характерную черту Дега то, что, рисуя картины современности, он остановил свой выбор на прачках и танцовщицах. Танцовщицы и прачки порой интереснее иных лордов, министров или парламентариев. Гонкур пишет: «Своеобразный тип этот Дега – болезненный, невротический, с воспалением глаз столь сильным, что он опасается потерять зрение, но именно благодаря этому – человек в высшей степени чувствительный, улавливающий самую сокровенную суть вещей. Я не встречал еще художника, который, воспроизводя современную жизнь, лучше схватывал бы ее дух». ^[113]

То, что он сделал, было подлинной революцией в живописи. Дега в корне менял перспективу. Справедливы слова Ренуара, характеризующие творчество этого художника: «Дега был... прозорлив. Возможно, что он держался дикобразом, чтобы спрятать свою подлинную доброту. Не скрывался ли за черным сюртуком, твердым крахмальным воротничком и цилиндром самый революционный художник во всей новой живописи?» ^[114]

Вы скажете: «Но можно ли подсматривать жизнь из-за кулис, находясь за столиком кафе или ресторана? Где же тут высокое искусство? Чему здесь можно научиться?!» Конечно же, если вы лишены такта, если вас занимают одни лишь скандалы, если круг ваших слюнявых интересов не выходит за границы новостей «желтой прессы», ограничиваясь «грязным бельем» знаменитостей, вы – конченный человек и ничтожество. Но взор подлинного художника проникает в души людей всюду. Тогда перед нами и возникает шедевр («В кафе. Абсент», 1876)... Л. Н. Толстой, посетивший Францию,

восхищался Марселем и его культурой (1860). В кафе и на улицах он увидел настоящий народ («ловкий, умный, общительный, свободномыслящий, истинно цивилизованный»). Отвечая на вопрос, где же француз обрел все эти качества, он тогда ответил: «Француз обучается не в школе, где господствует нелепая система преподавания, а в гуще самой жизни. Он читает газеты, романы (в том числе романы Александра Дюма), посещает музеи, театры, кафе, танцзалы». К примеру, в двух крупнейших марсельских кафе ежедневно бывало около 25 тысяч человек (тогда в городе проживало всего 250 тысяч). И русский писатель делает отсюда вывод, что марсельцы пополняют свое образование, «подобно тому, как в амфитеатрах пополняли свое образование греки и римляне». Он утверждал с присущим ему максимализмом: «Вот она, бессознательная школа, подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем», записав в «Дневник»: «Школа – не в школах, а в журналах и кафе».^[115] И великие не застрахованы от глупости.



Э. Дега. В кафе. Абсент. 1876.

В кафе Гербуа собиралась группа импрессионистов (Мане, Ренуар, Моне, Сислей, Базиль, Роден, Дега). Мане прославил «Бар в Фоли-Бержер», а Тулуз-Лотрек – «Мулен Руж». Дега наблюдал эти «классы жизни» в событиях и сценках на улицах, в театре, цирке или

на ипподроме. Кто-то сказал, что в чисто художественном смысле он не видел большой разницы между грациозной лошадей и прелестной женщиной. И то и другое, согласитесь, очаровательно. Не случайно загадочный Восток всегда пленяли восхитительные чада Природы – женщины и лошади. Когда мы смотрим у Дега на лошадей в картине «Проездка лошадей перед скачками» или натуралистические сцены «работы» балерин, мы понимаем, что и тут мы имеем дело с «обнаженной правдой» жизни.

Конечно, у балета, как у всякого искусства, есть и поэтическая сторона. Подлинная правда этих воздушных созданий является в миг их звездного торжества, творчества балерины, когда она, подобно белокрылой чайке, парит над сценой пред восхищенным залом. Но без адского труда не было бы сказочной феерии («Танцкласс Меранта», 1872; «Звезда», 1876). Можно сказать, что Дега по-своему, в реалистичной манере, воспел красоту французских женщин. Поэтому критики и считают его наиболее «французским мастером» из плеяды 70-х годов. Он соединил романтизм с реализмом, дав толчок новому творчеству. У него каким-то непостижимым образом даже служанки, циркачки, натурщицы, модистки и танцовщицы превращаются в некую «Юнону своего Олимпа».

В очерке Я. Тугендхольда, посвященном искусству Дега и написанном почти сразу же после смерти мастера, подведен итог его творчеству: «Дега был слишком большим индивидуалистом, чтобы породить школу в прямом смысле этого слова... Но от него пошли и Тулуз-Лотрек, этот «жестокий талант», бытописец ночного и бульварного Парижа, и Вюйар с его мещанскими интерьерами, и Боннар с его будуарной наготой. Несомненное воздействие оказал Дега и на заострение выразительности Винцента ван Гога, Матисса, ван Донгена; едва ли также без влияния Дега создались бы и такие реалистические перлы скульптуры, как трепещущие жизнью обнаженные фигуры Родена»... Наконец, вовсе не будет натяжкой сближение с Дега и такого мастера, как Пабло Пикассо. [\[116\]](#)

Становление нового жанра всегда идет трудно... Вначале импрессионистов, как уже отмечалось, не выставляли. Что еще хуже – их почти не замечали и не покупали (Моне, Ренуара, Сислея, Писсарро и других). Дюран-Рюэль не раз отмечал эту печальную особенность вкусов публики. Его даже упрекали: «Как можете вы, вы, кто один из

первых оценил школу 1830 г., расхваливать нам теперь картины, в которых нет и намека на художественность?» Широкая публика если и готова признать талант, то только после его смерти. Хотя и смерть не всегда открывает ворота славе. Дюран-Рюэль пишет: «Так было с Делакруа, Коро, Домье, Бари, Милле, Руссо, Мане и всеми великими художниками минувшего столетия, так останется и впредь, пока мода будет определяться снизу, а не сверху, как это было в старину, когда вкусы диктовались просвещенной верхушкой».^[117]

Вкусы надо воспитывать. Ведь даже обладающие вкусом и пониманием искусства, увы, порой демонстрируют поразительную близорукость. Э. Гонкур позволил себе в отношении великих и вдохновенных художников употребить нелестный эпитет – «мазилка-импрессионист» (1889). В его «Дневнике» мы находим и такое признание: «...С Мане, чьи приемы заимствованы у Гойи, с Мане и его последователями умерла живопись маслом, то есть та благоуханная, прелестная своей незамутненной прозрачностью живопись, образец которой «Женщина в соломенной шляпке» Рубенса».^[118]

И это говорит образованнейший человек, сетующий на «упадок интеллекта и художественного вкуса у высших классов»... Высшие классы как раз и представляют собой порой рассадник мерзости и низкого вкуса! И даже Освальд Шпенглер, умело скрывающий за своей «всемирностью» узкий мирок европейского буржуа, не смог нас убедить в ничтожности импрессионистов, якобы, составляющих лишь «эпизод в живописи». Нет, это не «иллюзия большой живописной культуры», но настоящая и высокая культура.



Э. Дега. Звезда, или Танцовщица на сцене. 1878.

Впрочем, и Шпенглер вынужден тут же опровергать самого себя, соотнеся мастеров с самыми видными представителями европейской науки, культуры и искусства (хотя несправедливо лишает их полотна чувства и чувственности). Он пишет в «Закате Европы»: «Импрессионизм возвратился на земную поверхность из сфер бетховенской музыки и кантовских звездных пространств. Его пространство познано, а не пережито, увидено, а не узрено; в нем царит настроение, а не судьба; Курбе и Мане передают в своих ландшафтах механический объект физики, а не прочувствованный мир пасторальной музыки. То, что Руссо в трагически-метких выражениях возвещал как возвращение к природе, находит свое осуществление в этом умирающем искусстве... Опасное искусство, педантичное, холодное, больное, рассчитанное на переуточенные нервы, но научное до крайности, энергичное во всем, что касается преодоления технических препон, программно заостренное: настоящая драма сатиров, составляющая параллель к великой масляной живописи от Леонардо до Рембрандта. Только в Париже Бодлера могло оно прижиться... Пленэристы, истые горожане, переняли у холоднейших испанцев и голландцев, Веласкеса, Гойи, Гоббема и Франса Халса,

музыку пространства, чтобы перевести ее – с помощью английских пейзажистов, а позже и японцев, интеллектуальных и высокоцивилизованных умов, – в эмпирическое и естественнонаучное. Таково различие между переживанием природы и наукой о природе; между сердцем и головой, между верой и знанием». ^[119] Таковы были ощущения этого немца из высших элитарных кругов.

Это-то обстоятельство как раз и заставляет нас решительно потребовать от хваленых «высших классов», наливающихся жиром, словно капли на вертеле (в соку своих бесчестных капиталов), открывать дорогу талантам из народа... Там и только там обитают лучшие и самые яркие таланты! К их числу мы отнесем и Огюста Ренуара (1841–1919), художника радостного, светлого, поэтичного. Сын портного, он считал большой жизненной удачей то, что его деда усыновил сапожник. Люди труда стоят у него впереди всей сановной своры. Он восклицал: «Подумать только, что я мог родиться в интеллектуальной семье! Пришлось бы потратить годы на то, чтобы освободиться от ложных представлений и видеть вещи такими, какими они есть, да еще руки ничего не умели бы делать!» А когда ему пытались, было, доказать, что Наполеон – гениальный человек, он парировал тем, что это же можно сказать про крестьянку, делающую хороший сыр. ^[120]



Дж. Уистлер. Каприз в пурпурном и золотом. 1864.

Ренуар начал свой путь к живописи с 13 лет зарабатывая себе на хлеб насущный, расписывая фарфор. Затем фабрика закрылась. Он пошел учиться в мастерскую Глейра. Там он изучал модели, внимал учителю, захаживал в Школу изящных искусств. Ведь, если французская поговорка гласит: «Только в Школе изящных искусств и есть настоящее искусство», то надо знать, чему там учат... Картины он писал «в светлой гамме», ибо таково было его видение. Художник ощущал потребности своего времени. Его пытались напугать тем, что он может стать «вторым Делакруа». Но такая оценка звучала скорее как похвала (позже, приехав с Доде в Шанроз, где похоронен великий художник, он сорвет розу с могилы Делакруа, как память юности). Жизнь трудна, как и у всех его коллег. Преследуют долги, нет денег на марки и на краски. Он признается в письме к Базилю: «Мы едим не каждый день, но, несмотря на это, я счастлив, потому что, когда дело касается работы, Моне – превосходная компания». А в кругу друзей и голод не страшен.

В жизни этого художника были и удивительные приключения... Однажды находясь на пленэре в лесу Фонтенбло, он узрел какого-то изможденного незнакомца. Тот обратился к нему с просьбой: «Умоляю вас, дайте кусок хлеба, я умираю с голоду!» Это был преследуемый полицией Наполеона журналист-республиканец Рауль Риго. Тот уже двое суток бродил затравленно. Ренуар помог ему укрыться, а затем его переправили в Англию... Прошло несколько лет... Однажды Ренуар возвращался в Париж (незадолго перед концом Коммуны). Сам он был далек от политических битв и, как обычно, устроился с мольбертом на берегах Сены... То были суровые и жестокие дни. Коммунары приняли его за шпиона, отправив в мэрию, где круглые сутки дежурил «расстрельный взвод». И вот Ренуара уже ведут к месту казни... Вдруг, он видит старого знакомого («беглеца»). Тот опоясан трехцветным шарфом и окружен свитой. Им оказался знаменитый Рауль Риго, прокурор Коммуны, известный своей фразой: «Мне некогда думать о законности – я делаю революцию!» К счастью, он узнал Ренуара, сжал его в объятиях, и, представив возбужденной толпе, приказал своим национальным гвардейцам: «Марсельезу в

честь гражданина Ренуара!» Всегда возможны самые неожиданные повороты нашей судьбы... [121]

Полотна Ренуара будут стоять в одном ряду с самыми громкими именами в истории мировой живописи (Тициан, Рафаэль, Рубенс, Гойя, Рембрандт). Нужно ли говорить, что критики приняли его вначале очень холодно?! Глядя на прелестные образы женщин в «Купальщице», «Обнаженной», «Портрете актрисы Жанны Самари», «Танцовщице», «Инженю», «Мадемуазель Легран», «Площадь Пигаль», понимаем, сколь восхитителен и неповторим этот художник. Но почему именно ему, а не другим значительным талантам его круга удалось создать обобщенный образ «Мадемуазель Франция XIX века»?

Видимо, он тоньше остальных чувствовал волшебство женщин, этих воительниц любви, прелестных сабинянок, жаждущих вечного преклонения и похищения. Он умел наслаждаться, как они, быть радостными и мужественными, как они, тонко чувствовать, как они. Золотоволосая Деде стала моделью для более чем ста картин и эскизов Ренуара в последние годы его жизни. Он страстно любил жизнь. Знаменательно и признание Огюста Ренуара, касающееся секрета его искусства: «В искусстве необходимо еще нечто, секрет чего не откроет никакой профессор... тонкость, очарование, а это надо иметь в себе самом». Его француженка – это Венера Милосская, пришедшая к нам с улицы. [122]

О тело женское, ты – солнце и прохлада,
Улада ночи и опора дня,
Источник вечный счастья для меня,
Единственно желанная награда! [123]

Ренуар немало времени проводил, как и многие парижане, на островах на середине Сены, где обычно занимались греблей или плаванием. В той части острова Шату, что ныне называется Островом импрессионистов, частенько бывал и Ренуан. Здесь же, в ресторане «Фурнез», он напишет свою картину «Завтрак гребцов» (1880). Его влекли на этот остров красоты природы и прелестные женские лица. Он даже говорил: «Вы в любое время найдете меня у Фурнеза. Там

больше прекрасных созданий, чем я могу написать». Здесь он встретил двадцатилетнюю Алин Шариго, крестьянскую Венеру, что через 10 лет стала его женой, несмотря на то, что была моложе художника на 18 лет. Женщины его любили и в том было его великое счастье... Ренуан изобразил жену на картине «Завтрак гребцов» задолго до начала романа. В те времена картины художников-импрессионистов ценились не очень-то высоко, хотя у него была громкая слава. К нему с почтением относились даже местные бандиты. Но денег это, увы, не приносило. О том, какова участь художника, свидетельствует и такой факт. Ренуар решил подарить пейзаж «Завтрак гребцов» чете Фурнезов, заметив, что «никому он не нужен». Те успокоили его: «Нам надо что-нибудь повесить на стену, чтобы скрыть пятна от сырости».

[124]

Франция тем и великолепна, что она даже в плеее умеет воспитать любовь к прекрасному... Вот и замечательному скульптору Огюсту Родену (1840–1917) не смогло помешать на пути его восхождения к славе и то, что он жил в районе сплошных трущоб, населенных в основном племсом и проститутками. Единственным человеком в семье, кто умел хоть как-то писать, была тетя Тереза, в прошлом натурщица (один из художником и научил ее грамоте). Огюст Роден стал скульптором, вопреки мнению глупцов и силе обстоятельств. Вот что значит крепкая натура. В школе его, поймав за рисунком, каждый раз били линейкой по пальцам так, что он неделю не мог взять в руки карандаш. Однако рисование стало делом его жизни. Судьба словно нарочно испытывала его на прочность. Три года поступал он в Школу изящных искусств (на скульптурное отделение). И трижды его проваливали. В третий раз дряхлая бездарность в лице профессора Школы произнесла вердикт, упавший на Огюста словно нож гильотины. В экзаменационном листе рядом с именем «Огюст Роден» было записано: «Принять невозможно. Совершенно лишен способностей. Не имеет представления о том, что от него требуется. Дальнейшие экзамены будут потерей времени. По способности сорок первый в экзаменационном списке». Ему категорически запретили принимать участие в экзаменах.

[125]

Толковые учителя должны всегда помнить, что в их руках может оказаться судьба будущего великого мыслителя, ученого, писателя, инженера, художника, врача, артиста. Воспитывая и обучая детей,

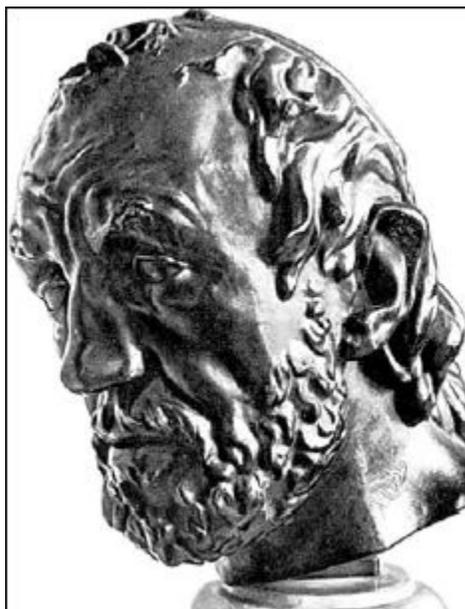
учителя во многом определяют и последующую судьбу детей. Пусть же они хоть иногда задумаются над тем, что скажут о них их подопечные.



О. Ренуар. Завтрак гребцов. 1881.

Тут возможны два варианта. Дети, повзрослев, тепло вспомнят ее (его), подобно великой итальянской актрисе Элеоноре Дузе (школьники презирали дочку «комедиантов», и единственным другом и собеседником для нее стала учительница), или же о нем (о ней) сохранят тяжкие воспоминания. Так было с французским художником А. Марке, для которого подлинной пыткой стали уроки, школьные перемены и общение с учителем. Он даже в старости вспоминал годы проведенные там с отвращением. В 60 лет при любом упоминании о школе его охватывало чувство ненависти. О своем учителе он позднее говорил так: «Перед лицом этого человека я познал жажду убийства»... Тот любил разглагольствовать с важным видом о пустяках. При этом считал себя пупом Земли, а всех учеников – осликами и лоботрясами... «Из-за него я в двадцать лет готов был взорвать все на свете», – честно признавался Марке. Возможно, каждому учителю нужно почаще вспоминать сакраментальную фразу-напутствие великого Гиппократа: «Не навреди!»^[126]

Вернемся к О. Родену, ушедшему в монастырь... В его стенах мудрый отец Эймар, увидев несомненный талант, посоветовал Родену оставить монастырь и служить богу своим творчеством. Действительно, разве талант не есть частица Всевышнего, дарованная нам для выполнения какой-то очень важной работы среди смертных! Повезло ему и с учителем Лекоком (Малой школой). Роден оказался в одном кругу с теми, кто вошел в группу «отверженных». Он решает представить в Салон бунтарей одну из его работ.



О. Роден. Человек со сломанным носом. 1864.

Единственный натурщик, который был ему по карману – это бродяга Биби. Он позировал за тарелку супа и стакан вина. В тот Салон Роден не попал, но работа продолжалась. Работая без отдыха 48 часов, он завершил свой труд – «Человека со сломанным носом» (1864). Вложил туда всю свою душу. Такого лица не видывали в скульптуре. В его чертах, как бы в смытом, сдавленном лице, он запечатлел муки и страдания. Салон 1864 года отверг бюст (якобы, из-за гротескности образа). Это было в конечном счете не так уж и важно. Полагаю, что с этим Сократом трущоб и родился великий скульптор Роден!

Скульптор понял смысл своего назначения на этой земле. Он словно говорит: «Наша работа – это наша жизнь, и мы должны оставить в мире свой след, даже если мир и не подозревает о нашем

существовании». Теперь осталось найти высшие ориентиры. Чтобы достичь мастерства, нужны гениальные учителя. Таковыми были для него Рембрандт и Микеланджело. Наконец, Роден смог позволить себе путешествие по Европе (Бельгия, Голландия, Швейцария, Италия). Создав «Побежденного» (1876), он словно вернул времена античности. Но и в Бельгии буржуазная публика, словно слепой крот, не желала видеть всего величия таланта мастера. Салон брюссельский ничем не отличался от салона французского. И там и тут насмешки, оскорбления. Что же за ничтожество представляет собой буржуазный обыватель!? Сам абсолютно ни на что дельное не способный, он выбрал своей профессией, своим хобби искусство оскорблений и попраiania талантов. Скульптура переехала в Париж. Вакханалия повторилась с точностью до деталей. Родена обвиняют в вульгарности, непристойности: «Какая похоть! Автор, должно быть, сошел с ума!» или: «Бронзовый век» – это изображение гермафродита». И опять эти полуживотные во фраках, считающие себя воплощением культуры и образованности, устраивают давку и массовку вокруг его работ – и хулят, хулят, хулят! Жюри Салона убирает скульптуру. И что же? «Бронзовый век» вскоре стал общепризнанным шедевром в мире.

Прошло не так уж много лет... Появились великолепные работы Родена – «Иоанн Креститель» (1878), «Данаида» и «Поцелуй» (1886), «Граждане Кале» (1884–1886), «Мысль» (1886), «Рука бога» (1897–1898), памятник Бальзаку (1897), портрет Гюго (1897), многие другие. Парижане станут говорить: ах, надо бы его посмотреть. Роден – «наш новый Гюго». Даже министры что-то стали соображать. Министр просвещения, осмотрев «Врата ада», заявил, что это «творение французского патриота». Президент республики, вспомнив молодость, иначе взирал уже и на роденовские любовные пары.

Коренной поворот в мнении общества о творчестве Родена произошел на всемирной выставке 1900 г. Павильон его работ посетили русский царь Николай II и принц Уэльский. Копенгаген купил его скульптуры и отвел им целый зал. Музей в Филадельфии приобрел «Мысль», а чикагский музей – «Поцелуй». Музеи Будапешта, Дрездена, Праги, Лондона устроили настоящие «побоища» из-за скульптур Родена. Даже находящаяся в состоянии войны с Францией Германия (правда, лишь на следующий день после смерти художника) заявит: «Хотя Огюст Роден, величайший из французских

скульпторов, и родился во Франции, он, как Шекспир и Микеланджело, принадлежит также и Германии».

Пираньи буржуазии тем не менее не могли отказать себе в удовольствии вновь наброситься на Родена – теперь уже на «Мыслителя» (1904). Сторонники Школы изящных искусств, вкуче с членами Института и Академии, не постыдились назвать эту работу «чудовищем, обезьяно-человеком». Начинаешь понимать, почему он неохотно работал над «Вратами ада» (1880–1917)... Вся его жизнь, видимо, и была этими «вратами ада», что открывались и закрывались при каждом очередном дуновении ветра общественного мнения. Понятно и то, отчего только после смерти Родена Французская Академия приобщила его к сонму «бессмертных». Жалкие фарисеи, они всегда ждут гибели великих, надеясь, словно шакалы, урвать если не кус вечности, то хотя бы часть их плоти. Впрочем, культурный мир, в целом, довольно быстро понял, какого гиганта он потерял. [\[127\]](#)



О. Ренуар. Обнаженная. 1876.

Видимо, Прудон был прав, опасаясь дурного влияния академий... Он говорил: «Больше всего художникам вредит солидарность незавидных талантов, кумовство и интриги, которых сама академия служит выражением (особенно Французская академия искусств и нравственных наук). Трудно решить, что более пагубно для искусства:

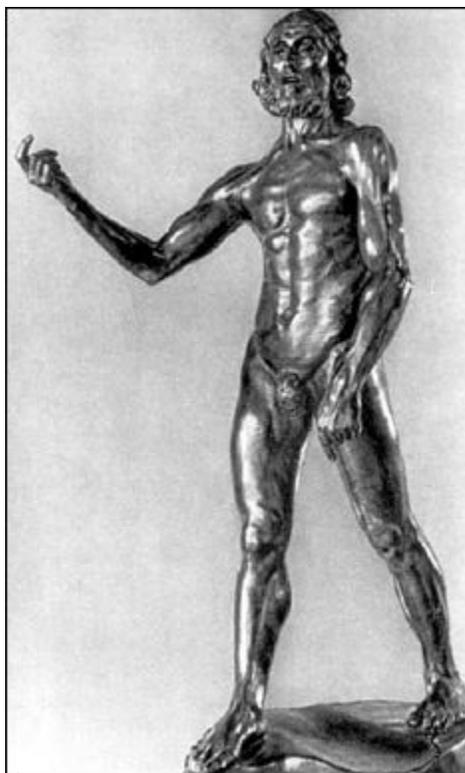
покровительство ли правительства или эти стеснения школы и академии? Я отрицаю всякую профессию и консерватории (страшное слово); я бы хотел только свободного обучения, свободных учеников и свободных учителей».^[128] Конечно, этот призыв довольно нелеп. Наука, культура, искусства, вообще-то, не приемлют безотцовщины. Стране, где они предоставлены сами себе, грозит полное одичание и гибель. Другое дело, что академический титул еще не означает, что боги сделали тебя художником, ученым. Во Франции немало тех, кто, подобно герою романа Доде, бездарному историку Леонару Астье-Рею («Бессмертный», 1888), стремились попасть в академики через приемную президента. А сколько деятелей искусств раболепно готово было обслуживать его причуды и капризы. Французская Академия по части непристойности деяний иных ее лидеров временами вполне могла бы соперничать с бесстыдством самых вульгарных особ из Мулен Ружа.

Судьба французского живописца и графика Анри Тулуз-Лотрека (1864–1901) словно свидетельствует: гигантом можно стать, даже оставаясь карликом. Жизнь его подтвердила не только суетность земного, но и то, что потомкам обязательно приходится рано или поздно платить за грехи своих родителей. Все отвечают за всех! Анри оказался без вины виноватым. Предки (графы и виконты, чьи имена вошли в многовековую историю Франции) славились своей энергией, необузданностью, дебошами и распутством. В их постелях перебивали представители всех классов и слоев... Один из Лотреков как-то даже заявил герцогине де ла Тремуай: «Гражданка герцогиня, не надо смешивать любовь с постелью». Граф Альфонс (любитель лошадей и хорошей кухни) женился на кухне. Итогом их кровосмешения стал Анри, которого в детстве звали не иначе как «маленькое сокровище»... Мальчик учился превосходно (в 1874 г. по четырем предметам получил первую премию, по другим – похвальные грамоты), но, увы, так и остался «малышом».

В течение всей последующей борьбы он старался удержать ощущение ускользавшей жизни (с ее чувствами, красками, ароматом)... Страшнее всего было презрение семьи. Властные и богатые уже по своей натуре всегда жестоки. Они и в детях хотят видеть лишь подобие, воплощение своих идей и замыслов. И горе ребенку, если он разрушит хрустальный замок их мечты. О,

разумеется, они будут кормить, давать кров и деньги. Но никакой любви и понимания от них не ждите. Ладно бы, если дело ограничивалось тем, что граф передал право первородства младшей сестре Анри, но он старался уязвить и убить сына полнейшим неверием в его талант... После смерти сына демонстративно называл его полотна «топорной работой» и «ученическими этюдами». Когда же (с выставки произведений Лотрека в 1907 г.) был создан комитет по установлению памятника художнику, граф Альфонс писал председателю комитета о том, что «его сын не обладал талантом» и что он будет «из всех сил бороться против осуществления этого проекта». Какая же бездна жестокости и тщеславия сокрыта в этой чванливой знати. Какое бессердечие движет ею, если она не может простить отпрыскам даже собственных грехов.^[129]

Путь Тулуз-Лотрека в живописи отмечен глубоким проникновением в мир и ощущения человека низов. Ведь, именно среди них он обычно находил куда больше сострадания и понимания. Простой человек чаще и ближе встречается с горем. А Лотрек знал, что это такое. Отец его «предал», школа не интересовала, женщины были пока недоступны. Живопись стала его единственным и верным другом. Учился он везде, где только мог, у всех (даже у японцев, пленивших его своими гравюрами). Великие мастера прошлого, правда, казались ему несколько отрешенными от жизни... Постепенно его собственная жизнь налаживалась благодаря матушке и дяде Шарлю, которые делали все, чтобы поддержать его. В то время проходят выставки импрессионистов. Несомненно, он посещал их, так как обычно любил бывать на всевозможных выставках, в клубах, на ипподромах и т. п. Кто же из них повлиял на него? Полагаю, что Дега он был обязан больше, чем кому-либо из импрессионистов. Тот сумел привлечь его внимание к яркому миру кабаре, театра, цирка. Видевшие картины этих мастеров наверняка отметили заметное сходство сюжетов или даже образов. Но образы Лотрека грубее, чувственнее, заземленнее.



О. Роден. Иоанн Креститель. 1878.

«Танцовщицы, жокеи, прачки, модистки привлекают его внимание вслед за Дега. Однако при очевидной близости темы и образы Лотрека нельзя назвать совпадающими с образно-тематическим кругом Дега. Образы Лотрека находятся как бы в сниженной степени социального и морального бытия. У Дега мы видим балерин Гранд Опера, у Лотрека – эстрадных танцовщиц кабаре и кафе-концертов. Дега показывает танец сценами репетиций или представлений классического балета, Лотрек – эстрадными «номерами» или общедоступными танцульками публичных балов, где наряду с профессиональными танцорами лихо отплясывают разношерстные посетители. Там, где Дега, трактуя психологическую ситуацию, покажет разобщенную пару из среды нищей богемы («Абсент»), Лотрек изобразит с разоблачающей остротой циничное сообщество сутенера и проститутки («Со своей милой»). Портреты Дега представляют людей из среды аристократии, богатой буржуазии или интеллигентов одного круга с художником. Лотрек начинает самостоятельное творчество решительным переходом к изображению моделей из низших социальных слоев. Наряду с профессиональными натурщицами он запечатлевает прачек, служанок,

проституток, проявляя особый интерес к приметам простонародности».^[130]

Местом привязанностей художника, а затем и «коронации» станет парижский Монмартр, обитель богемы и низов, куда он вскоре переселился. «Что такое Монмартр? Ничего. А чем он должен быть? Всем»... Он и станет «всем» для Тулуз-Лотрека. Тот проводил время в кабаре «Ша-Нуар» или в «Мулен-де-ла-Галетт». Сюда стекались со всего Парижа любители выпить и потанцевать. Плясали, спорили, сплетничали, смеялись, творили (молодые поэты и художники). Владелец кабаре «Ша-Нуар» Сали, сын фабриканта спиртных напитков, оказался ловким малым. Он сумел потрафить вкусам богемы, затронув тайную жилу ее мечтаний. Большой зал, где гуляли непризнанные поэты и художники, он с неким вызовом назвал «Институтом». Артистической молодежи тут прислуживали официанты в костюмах академиков, купленных по дешевке у старьевщика.

Какая это была восхитительная ярмарка низменных инстинктов и убогих нравов буржуазии. Особенно ликовал и веселился Лотрек, когда на месте псевдоаристократического «Ша-Нуара» (с его «графьями», «их высочествами» и «принцами») возникло «кабаре низов» – «Мирлитон». Здесь людей, все события и вещи называли своими именами... Шлюха была шлюхой, вор – вором, харя – харей. (Вспомним, что и Ван Гог однажды скажет: «Когда я пишу крестьянок, я хочу чтобы это были крестьянки, и по тем же соображениям, когда я пишу шлюх, я хочу чтобы они походили на шлюх»). Новый хозяин кабаре (Брюан) быстро смекнул, что нужно пресыщенной буржуазии, у которой всего уже вдоволь (денег и власти). Ей еще безумно хотелось, чтобы ее оскорбляли! У входа появилась вывеска-реклама: «В «Мирлитон» ходят те, кто любит, чтобы их оскорбляли».

С эстрады знатных тупиц и воров осыпали насмешками... И они были в полнейшем восторге. Исполнявший дерзкие куплеты А. Брюан говорил: «Я мщу им, понося их, обращаясь с ними хуже, чем с собаками. Они хохочут до слез, думая, что я шучу, а на самом деле, когда я вспоминаю о прошлом, о пережитых унижениях, о грязи, которую мне пришлось увидеть, все это подступает у меня к горлу и выливается на них потоком ругани». Эти же чувства испытал и Лотрек. Он лихорадочно набрасывал сюжет за сюжетом... Когда он появлялся

в кабаре, злой на язык, но, по сути, добрый и отзывчивый Брюан командовал залу: «Тише, господа! Пришел великий художник Тулуз-Лотрек...»

Конечно, чтобы талантливо воспеть эту «сладкую жизнь», художник должен быть готов и сам испить «чашу наслаждений», которая, увы и ах, не имеет ничего общего с чашей святого причастия. Между образом жизни ученого и художника такая же разница, как между образом танцовщицы-вакханки Ла Гулю и пресвятой девой Марией. Хотя чего в жизни не бывает (ведь, некая Валадон, натурщица, которую Дега назвал «страшной Марией», находилась с Лотреком в интимных отношениях). Лотреку в его служении искусству порой мешал (или и помогал?) алкоголь. Он одним из первых в стране освоил искусство приготовления коктейлей... Анри обожал потчевать гостей из своего бара, готовя порой редкостное пойло... Возможно, он отдавал себе отчет в порочности и гибельности этой своей привычки, когда писал композицию «Никчемные» (1891), где изобразил пару друзей (совершенно отупевших и разложившихся под влиянием алкоголя).

Лотрек верен своей теме: «Бал в Мулен-де-ла-Галетт» (1889), «Танец в Мулен Руж» (1890), «Мулен Руж». Ла Гулю» (1891), «Жана Авриль» (1893), «Салон» (1894), «Туалет» (1896), «Клоунесса» (1896). Возможно, он ощущал какую-то внутреннюю, тайную связь между собственным уродством и уродством буржуазного общества. Разве не оно мириадами бактерий ежедневно заражает и растлевет человеческую плоть! Это косвенно признала даже буржуазная газета «Тан», необычно похвалив художника: «Дорогой наш друг Тулуз Лотрек, вы циничны и суровы по отношению к роду человеческому... Вы воспеваете отбросы общества, обнажая все его язвы»... Стоит добавить, что в те годы бичевание пороков общества становилось даже модным. Все старались что есть сил «обнажать жестокую реальность». Дюма, с легкой руки которого в литературу и впорхнула дама полусвета, теперь уже готов «сокрушить адюльтер». Бичуют разврат Золя и Гонкуры.

Лотрека превозносят анархисты. Их бомбы то и дело взрываются в парижских гостиных, ресторанах, казармах, в помещениях администрации, в церкви (в Лионе анархист убил президента Карно за то, что тот отказался помиловать восставших против режима). Они

писали в «Пер Пенар» (1893) о его работах: «Вот у кого хватает смелости, черт побери! В его рисунках, как и в его красках, все откровенно. Огромные черные, белые, красные пятна, упрощенные формы – вот его оружие. Точно, как никто другой, он сумел передать тупые морды буржуа, изобразить слюнявых девок, которые лижутя с ними только ради того, чтобы побольше выжать из них денег. Ла Гулю, «королева радости», «Японский диван» и два, посвященных кабаку Брюана, – вот и все плакаты Лотрека, но они потрясают своей дерзостью, силой, злой насмешкой, от них, как от чумы, шарахаются всякие кретины, которым подавай розовый сироп!» Заглянувший на его персональную выставку Дега вынужден признать: «Да, Лотрек, чувствуется, что вы мастак!»



А. де Тулуз-Лотрек. Марсель Лендер в оперетте «Хильперик». 1895.

После осмотра его картин писатель и критик Жюль Ренар отмечает в «Дневнике» (1894): «Лотрек показывает нам свои этюды небезызвестных «домов», свои юношеские работы: он сразу начал писать смело и неаппетитно. Мне кажется, что больше всего его интересует искусство. Не уверен, что все, что он делает, хорошо, знаю одно, что он любит редкостное, что он настоящий художник. Пусть Лотрек-коротышка величает трость «моей палочкой» и, безусловно, страдает из-за своего маленького роста, – это тонко чувствующий человек, и он заслужил свой талант».^[131] Величина таланта не зависит от роста.

Замечательный художник, вошедший в плеяду мастеров постимпрессионизма, к несчастью кончил жизнь белой горячкой, пребыванием в психиатрической лечебнице, изнурительными болезнями... В последний период своей жизни он пытался работать, будучи членом жюри секции плаката, принимал участие во Всемирной выставке 1900 года. Его даже хотели наградить орденом Почетного легиона (для чего познакомили с неким министром). Лотрек дерзко бросил ему в лицо: «А вы представляете себе, господин министр, каково я буду выглядеть с орденской ленточкой, когда приду писать в бордель?» И рассмеялся... Он вновь начал пить и кончил параличом. Лотреку было всего 37 лет (как умершим в этом же возрасте Рафаэлю и Ватто). Так ушел из жизни этот Рафаэль кабаре и путан, жалкий калека и уродец, чья живопись тем не менее была прекрасной.^[132]

Всего 37 лет прожил и другой великий художник – Винсент Ван Гог (1853–1890). Родом он из семьи пастора. Среди его предков были священники, ремесленники, военные или торговцы картинами. Хотя один из них в XVII в. был главным казначеем Нидерландской унии, а другой генеральным консулом в Бразилии. Среди потомков отца – три поколения золотопрядильщиков (от них их гениальный предок, возможно, и унаследовал редкостное владение золотым цветом, столь ярко воплощенным в «Подсолнухах»). Возможно, было бы справедливее (с точки зрения роли наций в цивилизации и культуре) отнести разговор о Ван-Гоге в раздел Голландии. Однако учитывая, что речь идет о живописи постимпрессионизма, куда входят Лотрек, Ван Гог, Гоген и Сезанн, составляющим как бы единое целое, оставим его искусству Франции. Художник всегда чем-то напоминает бродяг. Поэтому и их картины, частицы их душ, столь широко разбросаны по

всему миру. Когда же в нем пробудилась эта волшебная художественная жилка? Возможно, когда он стоял перед собранием картин его дяди, открывшими ему волшебный мир. Кто знает?! Известно, что продавцом картин он стал в силу семейной традиции. В самом начале эта работа ему понравилась. Гаагу сменил Лондон, где он познакомился с английскими мастерами. Натура Ван Гога такова, что он часто говорил своим хозяевам все, что он о них думал. Однажды взял и брякнул: «торговля произведениями искусства – всего лишь форма организованного грабежа» (хозяева возмутились и уволили его).

Мятежный дух не давал ему жить спокойно. В душе бродили неосознанные порывы к бескорыстному служению человечеству. Он цитировал Ренана: «Чтобы жить и трудиться для человечества, надо умереть для себя». Уж не это ли толкнуло его на пасторскую стезю? Он, вдруг, решил стать проповедником Евангелия в угольном бассейне. Но его слишком страстная вера стала причиной болезни, уложив его в постель. Продавца книг из Винсента также не вышло. Тогда семейный совет решил отослать его в Амстердам, учиться на богослова. Целый год он штудирует книги, с упоением поглощая Библию, Гомера, Диккенса, Мишле. Будучи принят в миссионерскую школу, мыслями он так далек от тех сухих проповедей, что произносят церковники. Вся их велоречивая болтовня часто напоминает ему бесплодную смоковницу. Разве их жалкие утешения нужны нуждающемуся труженику и голодному угольщику? Винсент отправляется в Боринаж, центр добычи угля на юге Бельгии (1878). Когда на шахте Аграпп произошел взрыв и многие погибли, Винсент был один из первых, кто пришел на помощь несчастным раненым (он даже выходил одного безнадежного шахтера, дежуря у его изголовья днем и ночью). В нем уже проснулся не только великий художник («передо мной воскресший Христос»).



А. де Тулуз-Лотрек. Со своей милой. 1891.

Возможно, и в нем самом была частичка Христа... Он неутомимо помогал больным и сирым, когда в районе разразилась эпидемия тифа, отдавая беднякам то немногое, что у него было. После катастрофы на шахте он схватился с владельцами. Те назвали его безумцем. В книге А. Перрюшо так описан этот конфликт: «Весь дрожа от негодования, «пастор Винсент» решительным шагом направился в дирекцию шахты и потребовал, чтобы во имя братства людей, во имя простой справедливости были приняты срочные меры охраны труда. От этого зависит здоровье, сплошь и рядом даже жизнь тружеников подземного мира. Хозяева ответили на его требования издевательским смехом и бранью. Винсент настаивал, бушевал. «Господин Винсент, – крикнули ему, – если вы не оставите нас в покое, мы упрячем вас в сумасшедший дом!» «Сумасшедший» – снова выползло, издевательски ухмыляясь, это гнусное слово. Сумасшедший – ну конечно же! Только безумец может посягнуть на хозяйскую прибыль ради ненужных усовершенствований! Только безумец может потребовать отказа от столь выгодных условий – ведь из каждых 100 франков, вырученных за уголь, выданный на гора, акционеры получают чистыми 39. Достаточно сопоставить эти цифры, и безумие Винсента Ван Гога станет

очевидным».^[133] Великие мастера Европы всегда в жесточайшем конфликте с буржуазией.

Стало ясно – ни торговцем, ни учителем, ни проповедником ему не быть. У него иное предназначение – стать художником. Его все время тянет в родные места. Голландия, как он говорит, «страна картин». Вскоре он совершает паломничество во французскую провинцию Па-де-Кале, где находилась мастерская высоко ценимого им художника Бретона. Этот поход стал для него прорывом в живопись. Тут он обрел уверенность, что наконец-то и ему улыбнется удача. В 1880 г., когда Ван Гог было 27 лет, он сделал окончательный выбор. Художник напомнил нам святого Луку, покровителя художников (символом того был терпеливый вол). Ван Гог старается как можно скорее «стать хозяином своего карандаша». Он рисует углекопов, откатчиков, женщин рабочих поселков, рисует «людей из бездны», которая, увы, так хорошо ему знакома... После его возвращения отец, видя в нем лишь неудачника и закоренелого бездельника, выгоняет его из дома (1881). Но он не сдается. Работа и обучение продолжают. У кого учился Ван Гог? У соотечественников (мастеров гаагской школы), но более у Рембрандта, Милле, Домье, Делакруа. Пылкость и страстность его натуры побуждают во многом чувствовать себя духовным братом романтиков Монтучелли и Делакруа. Полотна импрессионистов ему пока неведомы. Фирма Гупиль, где он когда-то работал, их полотен не приобретала. Обучаться мастерству непосредственно ему пришлось у художника-традиционалиста А. Мауве. Тот поддержал молодого человека, хотя вначале и посчитал его «пустоцветом».

В живописи Ван Гог был реалистом. Свое кредо он выразил словами: «Я хочу, чтобы все мы стали рыбаками в том море, которое называется океаном реальности». Его отличало упорство в достижении цели. А это главное в судьбе любой творческой и дерзкой личности, выброшенной в жизнь, словно челн в разъяренное море. Судьба безжалостно швыряла его. Поэтому работы несут отпечаток этой жестокой борьбы – «Старый морской волк» (1883), «Вдова» (1882), «Шахтер» (1881), «Землекоп» (1882), «Одинокий старик» (1882). Чувствуя свою покинутость и одиночество, он взял в дом уличную женщину с двумя детьми, на которой собирался жениться. Дома его укоряли: «Ты не зарабатываешь денег», и вскоре выставили за дверь.

Винсент порвал с семьей и отказался от своей доли наследства. Главной темой его творчества был труд. Крестьяне на полотнах Ван Гога сажают картофель или едят (едят, как работают: угрюмо и сосредоточенно). Любил рисовать он и старую обувь, дороги, кладбища, церкви. Так, ведь, таков путь бедняков в этом мире. Винсент часто говорил: живи он в 1848 г., он обязательно был бы на баррикадах, среди восставших («Существует старое общество, которое, на мой взгляд, погибнет по своей вине, и есть новое, которое уже родилось, растет и будет развиваться»).

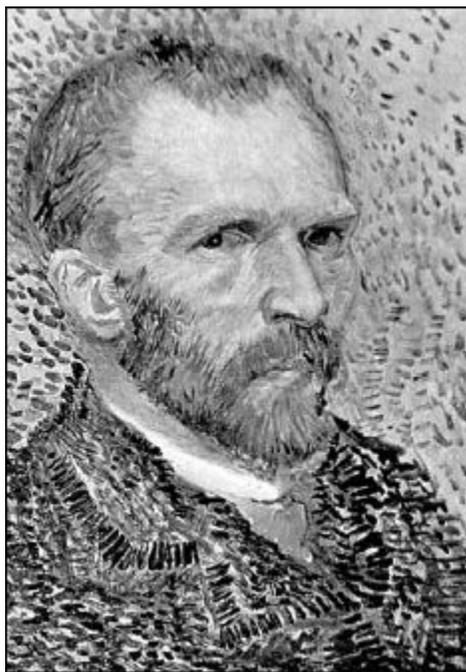
[134]

Достаточно сложным было и его отношение к современному обществу... С одной стороны, он терпеть не мог всю эту лживую и лицемерную буржуазную интеллигенцию. Она, видите ли, считает себя «цивилизованной»? Чушь... Ван Гог убежден, что «все эти цивилизованные люди рухнут и будут словно ужасающей молнией уничтожены революцией, войной и банкротством прогнившего государства». Внутренний социальный протест требует от него встать на сторону униженных и ограбленных. Однако, с другой стороны, он все же понимал, что мир его мыслей и чувств несравненно богаче мирка какого-нибудь шахтера или крестьянина. «Я часто думаю, – писал он, – что крестьяне представляют собой особый мир, во многих отношениях выше цивилизованного. Во многих, но не во всех, – что они знают, например, об искусстве и о ряде других вещей?»

Совсем отвергнуть каноны общества он не мог, поступив в Академию, где сдружился с Тулуз Лотреком. Обоих раздражает царящая тут атмосфера. Ван Гог возмущается: «В здешней мастерской учат писать так же, как и учат жить – подделываясь под правду и интригуя». Вместе с Тулуз-Лотреком они покидают этот «храм древностей». В 1887 г. в Париже он знакомится и с Гогеном, увидев в нем отражение своих надежд и идеалов.

Это обстоятельство породило в нем дружеские чувства к Гогену. Встреча двух великих мастеров в Арле, куда переехал Винсент, ознаменовала собой важный этап их творчества. Ван Гог и раньше мечтал о коммунах художников, где бы они могли работать вместе. Он желал убежать прочь от всех этих обывателей, именующих себя «культурными людьми» и уединиться для творчества. Наконец-то, Гоген приехал... Вначале все шло прекрасно. Они интенсивно работают. Вечером отправляются в кафе или в дом терпимости

(«ночные прогулки в целях гигиены»). Гоген ведет хозяйство и обучает друга своей манере. Ван Гог внутренне протестует, ибо классический стиль его не может удовлетворить. Да и Гоген вскоре начинает понимать, что между ними лежит пропасть: «Мы с Винсентом на все смотрим по-разному и вообще и в особенности в вопросах живописи. Он восхищается Домье, Добиньи, Зиемом и великим Руссо – то есть всеми теми, кого я не воспринимаю. Зато он презирает Энгра, Рафаэля, Дега – всех тех, кем восхищаюсь я». Уже и Арль не радует Гогена («самая жалкая дыра на Юге»). Винсент с ужасом начинает понимать, что в лице Гогена он обрел не друга, а врага! Впрочем, пока Гоген все же пишет его портрет, взглянув на который Винсент глухо скажет: «Да, это я, но только впавший в безумие». Вечером в кафе он швырнет в друга стакан с абсентом, а затем бросится на Гогена с бритвой. В ужасе от содеянного Ван Гог отрежет себе мочку уха. Разум покинул его. Буржуазная печать тогда впервые упомянула имя художника (1888).^[135]



Ван Гог. Автопортрет. 1887.

И все же именно 1888 г. стал во многом определяющим для его творчества. Ван Гог создал в этом году, пожалуй, самые известные полотна: «Подъемный мост около Арля», «Автопортрет», «Море и

лодки в Сен-Мари», «Портрет старика крестьянина», «Долина Кро», «Ночное кафе в Арле», «Больничный сад в Арле», «Подсолнухи», «Красные виноградники в Арле», «После дождя» и др. В этих картинах ощущается страстная любовь к людям. Однажды он скажет: «Самое художественное – это любовь к людям». В его пейзажах и портретах несетя бешеная лавина красок. Кажется, встреча с Гогеном действительно пробудила дремавший в нем вулкан. Видимо, и тот ощущал трагическое родство натур и характеров: «Один из нас вулкан, другой тоже весь клокочет, только внутри».

Как скажет уже в XX в. один из русских поклонников Ван Гога в своем стихотворении, посвященном этому художнику («Цветы в зеленой вазе»):

Подсолнух. Розы. Хризантемы.
Итак, зеленый пьедестал.
Дальнейшее развитие темы —
Как симфонический кристалл. [\[136\]](#)

Кем был Винсент Ван Гог? Иные называли его бродягой, отшельником, безумцем, заключенным. Возможно, что тот действительно ощущал в себе частицу того или другого («Прогулка заключенных», 1890). Ясно и то, что он видел вокруг себя незримую железную стену, через которую ему вряд ли удастся пробиться. Иначе бы не выстрелил себе в сердце. Нельзя жить в обществе и быть полностью свободным от него. Его щупальцы рано или поздно достанут тебя. Самоубийство Ван Гога не было простой случайностью. Безумие зрело в нем, наливалось отвратительной желчью. Мысли о самоубийстве посещали его и раньше, при столкновении с мерзкой жизнью. В одном из писем он признавался: «Видишь ли, дружище, беда в том, что Джотто и Чимабуэ, а также Гольбейн и Ван Эйк жили в обществе, попожем, так сказать, на обелиск, в обществе, так архитектурно рассчитанном и возведенном, что каждый индивидуум был в нем отдельным камнем, а все вместе они поддерживали друг друга и составляли одно монументальное целое... Мы же пребываем в состоянии полного хаоса и анархии...» Этот «звездный скиталец» все чаще смотрел в небо, как в бездну, ожидая

конца мучений («Звездная ночь», 1889). Воронье уже начинало кружить над его несжатым полем («культурное общество» при жизни самого Ван Гога соизволило приобрести лишь одну из 800–900 картин)...

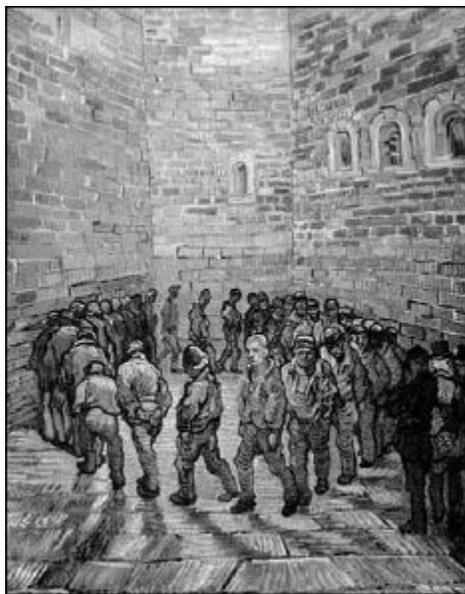
Художники рассматриваемого круга обретали пристанище в Париже и во Франции. Но был мастер, не удовлетворившийся знакомыми пейзажами. Он устремился в поисках далекой и «пленительной земли» (Таити). Им стал Поль Гоген (1848–1903), блестяще владевший не только кистью, но и пером. Судьба его представляется вдвойне интересной, поскольку он оказался своеобразным посланником в иной мир, иную цивилизацию. До сих пор мы не сталкивались еще с художником (писателем), который бы столь решительно порвал с культурной Европы, предпочтя ей мир Азии. Что же искал там Гоген?

О причинах этого на первый взгляд странного поступка мало что могут поведать внешние события его жизни (ученик штурмана, воинская повинность, работа на бирже, расклейщик афиш). Жизнь складывалась трудно. Женитьба и нищета ее усугубили. Каков главный мотив поворота в жизни? Об этом повествует автобиографическая книга художника («Ной Ноа»), где речь идет о пребывании Гогена на Таити (1891–1893). Как бы от второго лица говорится о его жизни и творчестве, объясняется интерес к Таити: «Он торопился прийти, страстно и, однако, с некоторым страхом стремясь увидеть новые творения Поля Гогена, его таитянские работы, плод трехлетнего труда и мечтаний там, на Острове, – и из осторожности он на всякий случай, даже на случай, если ничего не поймет (отсюда и страх), долгое время накладывал узду на свое воображение, чтобы от всевозможных предположений, неосновательных и нескромных, не увяла заранее его радость; он пришел с открытой душой, с непредубежденным взором, и вот теперь, перед этим праздником юности и солнца, с фонами, тревожащими даже в своей ясности, он стоял изумленный, ослепленный всем этим великолепием, странным и безмятежным, простым и совершенным, где нет больше ничего от нашего Запада».

[137]

Оказавшись на островах, удаленных на многие мили от Европы, он отмечает, что лишь на природе можно уйти «от европейской суеты и морали». Он с удовлетворением констатирует: «Цивилизация мало-

помалу выходит из меня. Я постигаю природу». Поближе познакомившись с островитянами, Гоген отмечает такие их качества как достоинство, независимость, гуманность, честность. Эти люди вызывают у него гораздо более положительные ассоциации, чем лживые и фальшивые европейцы. За этим, казалось бы, романтическим порывом стояли и материальные причины. Зимой 1885/86 года он узнал воочию, что такое жестокая нужда (холод и голод). Нужда страшно мешала работать, а «разум заходил в тупик». В Париже и больших городах в то время борьба за кусок хлеба занимала «три четверти вашего времени и половину энергии». В этих условиях Гоген вспоминал свои юношеские путешествия в Южную Америку и подумывал о том, чтобы стать «землевладельцем в Океании». В 1887 г. он отправился в Панаму и на Мартинику, где написал около дюжины картин. Свою роль в его таитянской эпопее сыграла семья Ван Гогов. Винсент убеждал его, что будущее принадлежит тропикам: «они еще никем не использованы, а этих глупых покупателей картин нужно расшевелить новыми мотивами». Тео Ван Гог также надеялся, что сможет вскоре продавать картины Гогена. [\[138\]](#)



Ван Гог. Прогулка заключенных. 1890.

Нужно ли давать характеристику картинам Гогена? Их лучше один раз увидеть, чем давать им словесные (в любом случае бесцветные в сравнении с его живописью) описания. Тем более, что

наш русский читатель имеет великолепнейшую возможность увидеть некоторые из его картин: «Женщина с цветком» (1891), «Беседа» (1891), «А ты ревнуешь?» (1892), «Дух умерших» (1892), «Гаитянские пасторали» (1893) и некоторые другие в музеях России. Возможно, имеется смысл обратиться к признанному мастеру рассказа, каким является английский писатель С. Моэм. Известно, что это он посвятил художнику роман «Луна и грош». Вот как описывает Моэм в романе натюрморт работы Стрикленда (Гогена): «Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов; на первый взгляд вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посетитель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы; но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, он с удивлением думал бы: почему, собственно? Но запомнил бы ее уже навек... Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие, непрозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпис-глазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскресавшей в памяти смутные видения Римской империи Гелиогабала; тона красные, яркие, точно ягоды остролиста, так что воображению рисовалось рождество в Англии, снег, доброе веселье и радостные возгласы детей, – но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые; в протiwоестественной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды? Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое, казалось, что они возникли в ту темную пору истории Земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны. Тяжелы от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды, отведать их – значило бы прикоснуться бог весть к каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли неожиданными опасностями и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в бога».^[139] Этот великолепный «анонс» английского

писателя вполне мог бы стать вступлением и приобщением любого к творчеству Гогена.



П. Гоген. Почему ты ревнуешь? 1892.

Художник Гоген обладал и глубоким видением мира. Сегодня особенно важно знать, а что же понимали под словом «демократия» в конце XIX-начале XX веков подлинные, великие мастера культуры (а не клоуны от искусства). Напомню, кстати, что предки Гогена по материнской линии принадлежали к старой арагонской знати, некогда поселившейся в Перу и занимавший там видные посты (в доме дона Пио и прошли детские годы Гогена). Предки же с отцовской стороны принадлежали к кругу средней буржуазии.

О своей исповеди он сказал:»Эти размышления – зеркало моего «я». Гоген пишет: «Да здравствует демократия! Нет ничего лучше ее... Но я ценю возвышенное, прекрасное, утонченное, мне по душе старинный девиз «Noblesse oblige». Мне нравятся учтивость и даже куртуазность Луи XIV. Выходит, я (инстинктивно, сам не зная почему) аристократ – поскольку я художник. Искусство существует для меньшинства, значит, оно должно быть аристократичным. Между прочим, аристократы – единственные, кто опекал искусство, под их эгидой были созданы великие произведения. Что ими руководило –

безочетный ли порыв, долг или тщеславие – роли не играет. Короли и папы обращались с художниками почти как с равными. Демократы, банкиры, министры и критики изображают опекунов, но ничего не опекают. Напротив, они торгуются, словно покупатели на рыбном рынке. А вы еще хотите, чтобы художник был республиканцем! Вот и все мои политические взгляды. Я считаю, что каждый член общества вправе жить и рассчитывать на жизненный уровень, отвечающий его труду. Художник не может прокормиться. Значит, общество организовано скверно, даже преступно. Кто-нибудь возразит, что от произведений художника нет пользы. Рабочий, фабрикант – любой, кто делает для общества что-то, имеющее денежную ценность, обогащает нацию. То ценное, что он создал, остается и после его смерти. Чего никак нельзя сказать о меняле. Скажем, сто франков обращаются в разную валюту. Усилиями менялы деньги переходят из рук в руки, потом оседают в его кармане. Нация по-прежнему имеет сто франков, ни сантима больше. Художник же сродни рабочему. Если он создал картину, которая стоит десять франков, нация стала на десять франков богаче. А его называют бесполезным существом! Бог мой, что за калькуляция!» Таково понимание ложной (истинной) демократии. ^[140]

Поворотным пунктом в истории живописи стал 1886 г. На смену импрессионизму шел неоимпрессионизм. Мы не хотим злоупотреблять профессиональными дефинициями. Они вряд ли расскажут нечто новое читателю. Заметим лишь, что неоимпрессионистов отличали большая «математическая строгость», большая систематичность и упорядоченность поиска. К неоимпрессионистам мы относим прежде всего Сера, Синьяка (и примкнувшего к ним Писсарро). Наиболее важным в их поисках была попытка осуществить синтез «с помощью методов, основанных на достижениях науки». Они развивали в живописи технику так называемого разделения, пользовались приемами оптического смешения тонов и цветов, заимствуя многое у Делакруа или у импрессионистов.

П. Синьяк (1863–1935) писал: «Было бы нелепо упрекать импрессионистов в том, что они пренебрегали этими задачами, ведь их целью было передать зрелище и гармонию природы именно в том виде, в каком они им являлись, без всякой заботы об упорядочении или аранжировке. «Импрессионист садится на берегу реки и пишет то, что находится перед ним», – говорит их критик Теодор Дюре. И они

доказали, что таким способом можно сделать чудеса. Неоимпрессионист, следуя советам Делакруа, не начнет холст, не решив заранее, как и что на нем разместить. Руководствуясь традицией и знанием, он будет компоновать картину согласно своему замыслу.... Произведение импрессиониста будет, вероятно, более гармонично, чем произведение импрессиониста, потому что благодаря постоянному соблюдению контраста все подробности в картине неоимпрессиониста гармоничны, а благодаря обдуманной композиции и эстетическому языку красок в ней будет и общая гармония и духовная гармония, о которой импрессионисты не заботились. Мы не собираемся сравнивать заслуги этих двух поколений художников: ведь импрессионисты – мастера законченные, славная работа которых завершена и признана; а неоимпрессионисты еще не вышли из периода поисков и понимают, сколько им еще нужно сделать... Неоимпрессионизм, который ищет полной чистоты и гармонии, является логическим следствием импрессионизма. Приверженцы новой техники только соединили, упорядочили и развили искания своих предшественников».^[141]



П. Гоген. Куда идешь? 1890.

Представляется, что это течение интересно не только своими техническим новаторством, но и идеями. В работах этой группы появились первые черты поп-культуры. Заметную роль здесь сыграл

художник Жорж Сера (1859–1891). Едва научившись рисовать, он обнаружил тягу к живописи и к научному поиску. Похоже, никто после Леонардо не пытался соединить в одном порыве живопись и научные знания... Обучаясь в муниципальной школе рисунка, юноша штудировал «Грамматику искусства рисунка» Шарля Блана (академика). Иные из его идей и привлекли внимание Жоржа. «Цвету, подчиненному четким правилам, можно обучаться, как музыке, – пишет Блан. – Именно благодаря тому, что Эжен Делакруа познал эти законы, глубоко их изучил, сперва интуитивно угадав, он стал одним из величайших колористов современности». Столь простая и очевидная мысль тем не менее глубоко поразила молодого человека. Не означает ли это, что и живопись нужно тщательно изучать и исследовать так, как исследуют под микроскопом микробы или ткани растений? Ведь и там и тут мы имеем дело с материей. Искусство также строится по своим непреложным законам. Их нужно изучать тщательно и кропотливо! Отсюда девиз: «Изображаю не только то, что вижу, но и то, что знаю».

Возможно, сыграло роль и то, что Сера обучался в Школе изящных искусств у немца Анри Лемана. Немцы уже по своей природе аналитики. Они буквально все готовы разложить по полочкам. Леман всячески приветствовал увлечение юноши теорией. Сера роется в библиотеке, время от времени выуживая из ее недр то одно, то другое сокровище... И однажды натывается на фолиант известного ученого М. Шевреля, изобретателя стеарина. Тому в то время было 92 года. Он возглавлял Музей естественной истории (а заодно заведовал красильным отделом на мануфактуре Гобеленов). Ученый, стремясь «придать красильному делу основания, коих оно было лишено» (завидная и достойная цель), знал все или почти все о красках. Вот этот-то труд Шевреля и дал Сера ключевые элементы для его теории. Художник понял, что с помощью науки можно поколдовать и над цветом. В нем проснулся древний алхимик, страстно желавший открыть секрет изготовления золота. «Золотом» в его понимании были картины. Дело в точном определении баланса цветов. Кажется, Делакруа был прав, говоря: «Дайте мне уличную грязь, и я сделаю из нее плоть женщины самого восхитительного оттенка». Разве не так поступали и Мане, Ренуар, Дега? Разве Золя не штудировал науку перед тем как писать свои натуралистические романы («Введение в

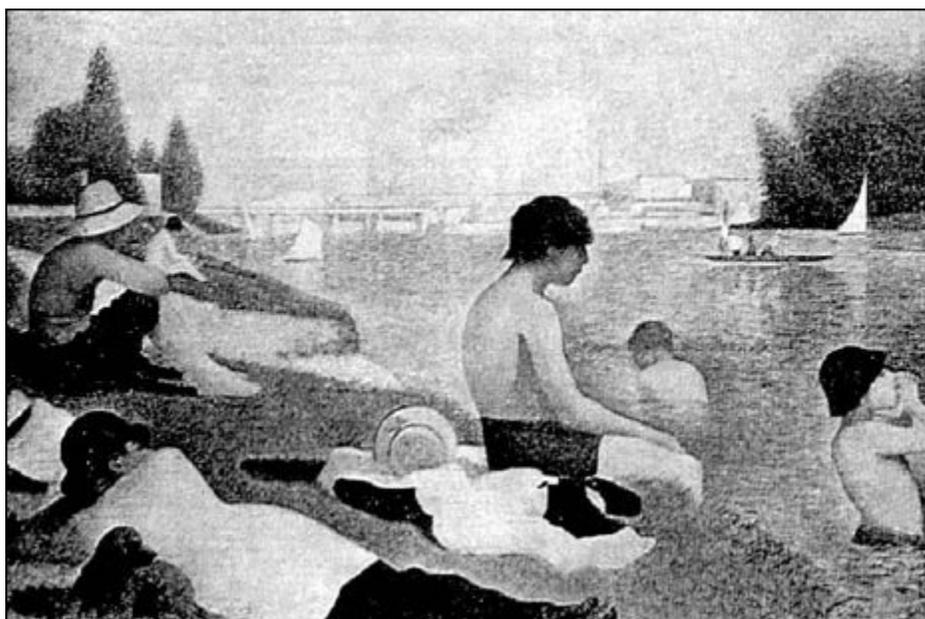
изучение экспериментальной медицины» К. Бернара)! Разве великий Флобер не восклицал: «Чем дальше уйдет искусство, тем более научным оно станет. Литература будет все больше принимать образ науки»?!

Наука должна сказать веское слово и в искусстве живописи. Сегодня уже недостаточно заявлять устами К. Моне, что, дескать, писать можно только по наитию, выражая сгусток эмоций, выплескивая потоки чувств («Я пишу, как птица поет»). Свое «пенье» художник должен обязательно проверять «гармонией чисел». Одним словом, вывод очевиден и ясен: «В искусстве все должно быть сознательным». Даже службу в армии он воспринял как сознательный и разумный акт... Французы не отсиживались трусливо дома, не уклонялись от выполнения своего долга. Вспомним, что во время войны 1870 г. Мане служит в национальной гвардии вместе с Мессонье, Дега был артиллеристом, Ренуар – кирасиром, а Базиль, автор картины «Мастерская художника», был убит.

В 1863 г. как протест против необъективности академиков и «культурных кругов» возникнет «Салон отверженных». В 1874 г. импрессионисты показали свою первую групповую выставку. Минуло десять лет – и вновь, иному поколению художников не дают ходу. Сера пытается выставить свою картину «Купанье в Аньере» в бараках Тюильри (1884). А устроители выставки отправляют 6-метровое полотно в буфет... Схожая судьба постигла и «Гранд-Жатт», которую сочли «египетской фантазией». В который раз публика презрительно плюет в художника словечками типа «шарлатан» и им подобными. Морщился и Верхарн, посетивший эту выставку... Защита пришла со стороны журналиста Фенеона, который терпеть не мог слащавых маэстро школ и вообще всех академий.

Это была неординарная личность... Служа в военном министерстве, он развешивал в своем кабинете полотна импрессионистов (вместо скучно-постных физиономий вождей и гнусных рож президентов). С одинаковой легкостью он готов был обучить анархиста, как точно и верно приладить к бомбе детонатор, или же «быстренько накропать сонет». Фенеон ненавидел толпы глупцов, что заполняют собой все ячейки общества... «Всякое новшество, прежде чем оно окажется воспринятым, – вещал он в 1889 г., – требует гибели множества глупцов. Мы очень хотели бы,

чтобы это произошло как можно раньше. И в этом пожелании нет ничего от милосердия, оно всего лишь практично»... Разумеется, эта философия (философия анархизма и экстремизма), что частично привела и к взрыву в Бурбонском дворце, где заседали депутаты (1893), не имела ничего общего с позицией художника Сера. Тот понимал, что нужно менять жизнь социума, но взрывы и теракты – эффектный, но далеко не всегда эффективный способ ликвидации глупцов.



Ж. Сёра. Купание в Аньере. 1883–1884.

Кисти Сера принадлежат работы – «Лодки в Гранкане» (1885), «Стоящая натурщица» (1887), «Сена у острова Гранд-Жатт» (1888), «Пудрящаяся женщина» (1888–1889), «Канкан» (1890), «Цирк» (1891) и многие другие. Его творчество отличает удивительно тонкое ощущение цвета и фона. Увы, «старики» вновь не смогли понять новаторов. Его критикуют Моне, Ренуар, Дега и Гоген. Ренуар даже насмешливо бросал Писсарро при встрече: «Здравствуйте, Сера». Однако большой мастер не свернет с истинного пути даже из-за брюзжания признанных авторитетов. Один из друзей в плане искренности сравнил Сера с Робеспьером: он «верил в то, что говорил (хотя говорил редко), а значит, и в то, что делал» (Ж. Кристоф). Сера особенно чутко улавливал веяния века. Вряд ли случайным было и то,

что он окажется первым из художников, запечатлевшим силуэт еще не достроенной башни Эйфеля (1889). К сожалению, мастер рано умер (в 31 год).^[142]

Постепенно один за другим уходили последние мастера «бунтарского века»... Вот ушел и Поль Сезанн (1839–1906), чье творчество оставило заметный след в живописи. Он учился в коллеже с Золя и Байлем. Все трое поклонялись одним и тем же богам (поэзия, литература, живопись). Между ними установилась тесная дружба, Золя вместе с Сезанном однажды даже принял участие в росписи ширмы. Его роман «Исповедь Клода» открывается посвящением друзьям... Позже их пути разойдутся, и Поль в одном из писем сообщит Золя, что встретил как-то Байля, у которого «вид хорошенького маленького судейского подлеца» (тот стал адвокатом). Золя же наречет себя и «духовным наставником» Сезанна... Любимыми художниками последнего были Делакруа, Домье, Курбе (Золя упорно «сватал» ему в учителя А. Шеффера). Сезанн находил учителей сам, в «соборе» всех художников, говоря: «Лувр – это книга, по которой мы учимся читать».

По творческой тропе Сезанн шел довольно осторожно, не будучи «революционером». Он желал писать вечное и прекрасное, в то же время отвечающее духу сентиментализма и таинственности. Как казалось самому художнику, он так и не сумел воплотить в жизнь свои мечты, как не смог завершить полотно «Апофеоз Делакруа». Ударом для него стал и роман Золя «Творчество» (1886), где тот вывел в образе художника-неудачника Лантье именно его, Сезанна (хотя детали брались из жизни Моне, Мане, Сезанна, Моро). Увы, Золя намекал «на бессилие» друга. Впрочем, жизнь доказала: живопись импрессионистов и Сезанна вовсе не была «мертворожденным ребенком». Роман Золя вызвал не только неприятие и гнев импрессионистов, но и разрыв с другом. Позже Золя в очерке «Живопись» (1896) повторил оценку его творчества, но не столь категорично: «Я вырос чуть не в одной колыбели с моим другом, моим братом Полем Сезанном, великим художником-неудачником, в котором только теперь разглядели черты гениальности».

И все же Сезанн был большим мастером. Хотя иные из его картин требуют размышлений и раздумья... Не зря, видимо, Гоген ассоциировал его картину «Горы Прованса» с восхождением на Голгофу, а некоторые искусствоведы готовы были привлечь для

анализа его картин методы Фрейда. После выставки его работ, устроенной у Волара, Писсарро скажет (1895): «Мое восхищение ничто перед восторгом Ренуара. Даже Дега – и тот подпал под чары дикой и в то же время утонченной натуры Сезанна, как и Моне и все мы». Им безгранично восхищался Гоген, всерьез говоря перед тем как копировать его пейзажи: «Идемте делать Сезанна»... Наконец, и предавший его Золя вынужден признать, что Сезанн – самый большой художник, когда-либо существовавший (1900).^[143]



К. Моне. Водяные лилии. 1899.

Дольше всех задержался на тропе жизни тот, кого многие считали вождем импрессионистов – Клод Моне (1840–1926), дивный певец природы Франции. Ныне о нем говорят как о самом оригинальном и искусном маринисте. Его почитали и корифеи, включая «папашу Курбе» (с которым он был близок). Но настоящая известность пришла к нему в 1866 г., когда он добился «сногшибательного успеха», выставив в Салоне «Камиллу». Моне называют «натуралистом», идущим на штурм будущего... Нашему читателю и зрителю он, вероятно, знаком своими «Скалами в Бель-Иль» и «Руанскими соборами». Последними восхищались многие, а Клемансо откровенно называл их «шедеврами».

Конечно, и его не миновали удары судьбы (отвергнутая Салоном картина «Женщины в саду», нищета и голод, бегство из Франции, пребывание в Голландии и Англии, возвращение). В Англии он

напишет серию «Лондон» (1899–1904)... Однако все острее старость. Обостряется болезнь глаз. Покидает вера в свои силы: «Я всегда верил, что со временем стану доволен собой и сделаю что-нибудь стоящее. Увы, эту надежду пришлось похоронить, и теперь у меня душа не лежит ни к чему». В значительной степени такие настроения объяснялись кризисом направления, которое связывали с его именем. Молодежь отходила от импрессионизма, бунтовала против него. Так что в каком-то смысле правы говорившие, что Моне «стал жертвой и могильщиком импрессионизма».^[144]

Жил он уединенно, не желая общаться с бульварно-салонной публикой, да и с художниками (исключение Боннар и Вюйар). Одной из последних его «весточек в мир» стала опубликованная беседа с Фельсом, в которой старый мастер вспоминал былые встречи (1825): «Цены, по которым продаются картины, – сущий позор. Каждый пачкун имеет журнал, газету, которые на него молятся. Все рассуждают и претендуют на понимание живописи, как будто нужно понимать, когда надо попросту любить. Торговцы, выбирая мои полотна, всегда проходят мимо лучших, не замечая их... Дело в том, что в наше время нас судили без снисхождения. Тогда не говорили «Я не понимаю», но – «Это идиотизм, это подлость» – это стимулировало нас, давало мужество, заставляло работать... Нашей силой была наша сплоченность, наша дружба. И затем, развитие живописи имеет свою судьбу: то, что сделали мы, то же самое сделали бы другие, подобно нам. Меня публика признала в 1889 г., во время моей выставки с Роденом... Нет больше никого из моего поколения... Исчез Мане, бывший нам дороже всех, и великий Курбе, наивный гигант, великолепный, полный великодушия и пыла, оптимист и немного шутник. В 1868 г. я был вместе с ним в Гавре. «Что здесь делать, чтобы развлечься?» – сказал мне Курбе. «Не пойти ли навестить старика Дюма?» (ни тот, ни другой лично его не знали). Дюма в кухне готовил себе обед. Он прибежал, как ветер; его седые кудрявые волосы были всколочены, рубашка распахнута, обнажая лохматую грудь. «Дюма!» – «Курбе!» – они обнимались плача. Сезанн приезжал в Живерни; мы работали вместе над одним и тем же мотивом. С Ренуаром тоже. Еще живы... Гийомен и Дюре, по просьбе которых Вы меня смогли увидеть, так как не хочу больше встречать незнакомых».^[145]

Однако интерес к искусству в Европе не исчез с великими мастерами. В XIX в. встречаются тени былого, кое-где как бы «продолжается античность». Духовные основания ее не исчезли... Пусть и не всегда заметно, но умножались познания в области классической древности. С 1733–1766 гг. велись раскопки Геркуланума, а с 1748 г. – раскопки Помпеи. «И как новый встает Геркуланум спящий город в сияньи луны» (Мандельштам).

Удивительное время – XIX век. Какие люди, какие судьбы! Наука раскинула перед человечеством скатерть-самобранку. Нужно лишь приложить усилия – и сокровища становятся достоянием пионеров-изыскателей. И вовсе не обязательно быть джентльменом. Эти пижоны с «жесткой верхней губой» вряд ли станут, засучив рукава, «вспахивать целину». Здесь нужны другие люди – отчаянные мечтатели, работяги и трудяги, вроде итальянца Дж. Бельцони (1778–1823), англичанина Г. Роулинсона (1810–1895), служившего инструктором в персидской армии и расшифровавшего ассирийскую клинопись, лондонского рабочего Дж. Смита (1810–1876), наборщика и гравера, ставшего одним из крупнейших ассириологов в мире. Сюда же можно отнести и упомянутого Э. Тайлора (1832–1917), формальное образование которого сводилось к средней квакерской школе.

Пионером в исследовании археологии Востока (в частности, Египта) стал Джованни Бельцони. Судьба его напоминает романы Жюль-Верна или Буссенара. По натуре он был авантюрист и герой-любовник. Природа щедро одарила юношу, явившего на свет в Италии. Он отличался невероятной силой и огромным темпераментом. В те годы, конечно, не было итальянца, который бы не мечтал о свободе. Будучи замешан в каких-то политических делах, он вынужден бежать из Италии. Так он оказался в Лондоне, где выступал в цирке как «величайший силач мира». Однако его поэтическая душа и жажда приключений толкнула его в Египет, куда он приехал уже не с цирковыми номерами, а с сконструированным им колесом для перекачки воды. Он показал свое изобретение владыке Египта М. Али. Жестокий и недалекий правитель не смог оценить по достоинству пользу от инструмента, что вчетверо эффективнее традиционных египетских журавлей.



Ж. Сёра. Цирк. 1890–1891.

Потрясенный красотами и величием легендарных Фив Бельцони решил остаться в Египте и заняться исследованиями древностей. На западном берегу Нила находилась Долина Царей. Бельцони пишет: «Кто же не задумался бы над судьбами народа, который создал эти замечательные сооружения, а потом погрузился в такой мрак забвения, что даже его язык и письменность сделались загадкой». Начались раскопки в районе городов Луксора и Карнака, представлявших мрачные, хотя и величественные руины.

Его труд был поистине титаническим. Он решил бросить вызов трехтысячелетней загадке и разгадать тайну Долины Царей. В конечном итоге, с помощью феллахов ему удалось открыть гробницу фараона Сети I, предшественника Рамзеса (кем-то уже ограбленную). Тем не менее, даже пустой саркофаг произвел страшный фурор в Лондоне. Как часто бывало в те времена, труды и славу Бельцони нагло пытались перехватить. Английский консул в Каире Генри Солт вел себя как истинный «джентльмен» (мерзавец). Он отправлял находки Бельцони в Лондон, рекламируя их как свои собственные. До

сих пор Британский музей хранит эту прекраснейшую коллекцию, фарисейски увенчанную табличкой «Г. Солт». Впрочем, Бельцони не смирился с наглым попранием своих прав и, вернувшись в Лондон, устроил в «Египетском зале» на Пикадилли выставку своих находок. Она имела у лондонцев потрясающий успех (папирусы, фигуры, сфинксы, саркофаги). Толпа валила валом. Все чаще встречались в ее рядах представители знати и элиты. Здесь же он издает книгу, пользовавшуюся огромным спросом. Это было первое популярное описание Древнего Египта, снабженное хорошими иллюстрациями. Помимо того, Бельцони смог продемонстрировать врачам и прекрасно сохранившиеся мумии. Однако вскоре мода на Египет стала проходить. Публика, охочая до различных зрелищ, увлеклась лилипутами и Бельцони был забыт. Тогда он решил отправиться в Африку на поиски города Тимбукту, где его и застигла смерть. Слава пионера осталась за ним.

В случае с Э. Тэйлором дело обстояло несколько иначе. Его отец, Тайлор-старший, был промышленником и запретил сыну учиться в колледже, рассчитывая на то, что сын в будущем подхватит его «эстафету». Но судьба распорядилась совсем иначе... Заболев, его сын попал на Кубу, увлекся археологией и этнографией и погрузился в самообразование (латынь, древнегреческий, древнееврейский). В итоге он напишет свой классический труд «Первобытная культура» (1871), став членом Королевского общества, создателем и хранителем Этнографического музея в Оксфорде, первым профессором кафедры антропологии там же. Он дважды был избран президентом Антропологического института Великобритании и Ирландии (в итоге, за его научные труды получил «сэра»).

В XIX в., бесспорно, есть своя прелесть. Он – любознателен, пытлив, неутомим, настойчив. Люди увлекались книгами и искусством. Их тянуло путешествовать и познавать мир. Европейцы старались овладеть сокровищами и знаниями прошлых культур в прямом и в переносном смысле. Поэт Р. Браунинг (1812–1889) так писал о своей учебе:

Отец мой был филолог-эллинист.
Я, пятилетний, раз его спросил:
«Ты что читаешь?» – «Про осаду Трои»...

Когда двумя-тремя годами позже
С друзьями я играл в Осаду Трои,
Отец мой увидал и не одобрил:
«Тебе пора бы самому прочесть
В подробностях о том, о чем когда-то
Я дал тебе начальное понятие...
Читай!» Я прочитал запоем Попа:
Что может быть прекрасней и правдивей?
Потом я с чувством взялся за учебник... [\[147\]](#)

В 1871–1890 годы немцем Генрихом Шлиманом (1822–1890) осуществлены были исследования легендарной Трои (в 1873 г. найден чудесный «Приамов клад», а в 1876 г. – сокровища Микен). Шлиман – фигура замечательная... С 14 лет он работал в деревенской лавке по 18 часов в день. Урывками учился в гимназии и в реальном училище, но вынужден был оставить их. За пять лет работы в лавке не прочел ни одной книги (работа не давала вздохнуть). Был безработным, голодал, попал в результате кораблекрушения в Голландию. В кратчайший срок не только изучил бухгалтерское дело, но и 7 языков (включая русский). Разбогател в России... Стал студентом Сорбонны, написал книгу «Китай и Япония в настоящее время», а затем приступил к самостоятельным археологическим раскопкам. Все, что он делал в жизни, он делал самозабвенно. Заметим, что в последнем случае (в археологии) ревнители официальной науки досаждали Шлиману, как могли. Гений повсюду найдет своего палача и завистника. Профессор Захау презрительно заявлял: «Шлиман пятьдесят лет был купцом, потом он стал по-школярски заниматься археологией. Это все, что приличия позволяли мне о нем сказать».



Генрих Шлиман (1822–1890)

Шлиману, не имевшему даже обычного университетского диплома, пришлось испытать со стороны официальной науки неприязнь и презрение. Одно только его имя, по словам Вирхова, действовало на немецких профессоров и филологов, как красная ткань на быка. Трагична судьба иных ученых-первопроходцев. Удивительно и то, что больше всего его обливали грязью не где-нибудь, а именно на родине, в родном «фатерланде», то есть, в Германии. Как только его там ни называли (дилетантом, профаном). Но именно «дилетант и профан» достиг вершин в археологии: нашел Трою, царские погребения в Микенах, поселение в Тиринфе, обнаружил следы крито-микенской цивилизации.

И все же исследования Шлимана стали возможны благодаря активной поддержке ряда могущественных лиц и государств мира (Гладстон, Бисмарк, послы Высокой Порты). Автор работы о Шлимане немец Г. Штоль пишет: «За спиной послов стоит еще большая сила – стоит Гладстон и рядом с ним, вероятно, в первый и единственный раз в истории Бисмарк. Дело в том, что рейхсканцлер, отдыхая на курорте Киссинген, высказал желание познакомиться с самым популярным человеком современности, который только что туда приехал. Бисмарк неоднократно беседовал со Шлиманом и даже развивал собственную

гипотезу о том, как обжигались огромные пифосы. Шлиман из дипломатических соображений изложил в своей книге и эту теорию, поддержав ее со всей мыслимой учтивостью. Но чтобы Бисмарк, заваленный делами, не забыл, что его пост, собственно говоря, может иметь только одно оправдание – добиться нового фирмана для доктора Шлимана, ему об этом каждый день напоминают Вирхов, Шене, генеральный директор берлинских музеев, и сам Шлиман».^[148] Европейские премьеры любят историю (хотя, увы, не помнят ее уроков). Великий энтузиаст своего дела, Шлиман сумел найти понимание в самых различных, порой очень высоких сферах, но только не в своей личной жизни.

Известен страстный коллекционер древностей англичанин Артур Эванс (1851–1941), археолог и нумизмат. Ему принадлежит заслуга исследования минойской культуры на острове Крит. Семья его многими корнями связана с Оксфордским университетом и Королевским научным обществом в Лондоне. Отец – известный геолог и собиратель памятников древности. С детских лет Артур впитал атмосферу горячих научных споров и дискуссий. Закончив университет, он получил должность преподавателя истории в Оксфорде. Перед ним лежала вполне накатанная и удобная дорога. Однако неисповедимо сердце жаждущих приключений. В нем «дремала натура пламенная, непокорная, жаждущая романтических приключений». Он восстал против рутины и мертвящего консерватизма, которые, увы, был довольно частым явлением даже в славном Оксфорде. К тому же, его подлинной страстью стали путешествия по Европе. Эванс буквально вымерял дороги Англии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Румынии (пешком или верхом).

Значение такого рода путешествий исключительно велико... Путешествуя, ученый или даже обычный обыватель получают возможность ближе познакомиться с образом жизни, культурой, нравами, привычками иных народов. Тем самым он как бы сравнивает одну модель развития и культурного обитания с другой. Это не только важно для верного восприятия идеи прогресса, но и не позволяет замкнуться в узких рамках национально-антропологического эгоизма. Еще в конце XVIII в. немецкий философ И. Кант в предисловии к книге «Антропология с прагматической точки зрения» (1798) писал, что «к средствам расширения антропологии относятся путешествия,

если даже это только чтение книг о путешествиях». В конце XVIII в. и уж тем более в XIX в. число путешествовавших с научными и культурными целями заметно возросло. Такими путешественниками стали немецкие ученые, историк И. Гердер и натуралист И.-Р. Форстер. И. Форстер вместе с сыном Г. Форстером совершил плавание вместе с капитаном Куком (1772–1775). Итогом его путешествий станут теоретические труды и богатейшие дневники наблюдений. Побывали они на острове Таити. Описание путешествия сделаны Г. Форстером в двухтомнике (1777). Мошотт так писал в 50-х гг. XIX в. об этой работе: «Описание путешествия Форстера – это эпическое стихотворение, и как всякое произведение искусства оно человечно в каждой строчке». Что же касается Гердера, то в его «Идеях к философии истории человечества» была сформулирована целостная программа наук о культуре и дана их разработка. В перечень важнейших задач ученого-культуролога Гердер включил: как можно более точное описание культур и народов; анализ разных культур как альтернативных ответов на требование приспособления человека к окружающему миру; познание самих себя (то есть собственной культуры) через познание других культур. Примерно такой же дорогой следовал в поисках Эванс.^[149]

В 1875 г. он посетил Балканы. В Боснии и в Герцеговине вспыхнуло восстание славян против турецкого владычества. Артур, вероятно, вспомнил о своем соотечественнике – поэте Байроне и встал на сторону повстанцев. Он принимал участие в партизанских походах и даже был лазутчиком на территории, занятой турками. О событиях, свидетелями которых он стал, он писал в английских газетах. В своих статьях этот великий англичанин прославлял героизм славян, клеймил позором турецких захватчиков, страстно обличал правительство Великобритании за его равнодушие к освободительной борьбе славянского народа. Английский консул выгораживал зверства турок, как мог. Как видите, и тогда позиция британского правительства резко отличалась от мнения народа. Пресса, в лице «Манчестер гардиан», публикуя статьи Эванса, тогда смогла дать подлинную картину событий (массовые убийства, сожженные деревни, конфискации имущества у населения). Турки однажды чуть не вздернули его на виселице (спасло британское подданство). Он вел археологические раскопки, собирал старые монеты, писал научные очерки о

венетских памятниках. Когда же южные славяне восстали вновь, теперь уже против австрийцев (1878), он и на этот раз окунулся в самую гущу борьбы. Его дом стал местом конспиративных встреч, пристанищем для патриотов. Австрийцы выслали его. Как же с тех пор «выросли» англичане. Сегодня они уничтожают как славян, так и мусульман!

Эванс стал директором небольшого музея в Лондоне, окончательно связав свою жизнь с археологией... Будучи в Афинах (1882), он обратил внимание на неприметные кружочки, встречавшиеся в антикварных магазинах (их доставляли с Крита крестьяне). На каждом из каменных медальонов виднелись таинственные буквы, не похожие ни на египетские иероглифы, ни на клинообразные письмена ассирийцев. Эванс решил, что эти амулеты пришли из седой древности, когда на Крите расцветала неизвестная культура (с найденной им и еще не расшифрованной письменностью). Так, кружочки стали своего рода археологической нитью Ариадны, а гениальная догадка помогла ему сделать одно из самых значительных открытий за всю историю. В Афинах он познакомился с исследователем Трои и Микен – Шлиманом. Два одареннейших человека сразу почувствовали друг к другу взаимную симпатию, которая возникает между профессионалами.

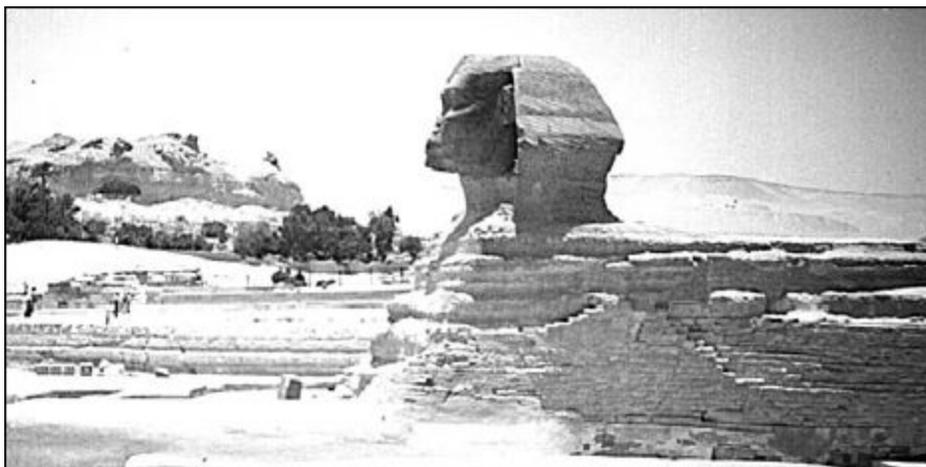
Эванса заинтересовали изображения женщин на микенских печатях... Их платья чем-то напоминали наряды придворных дам времен Людовика XV. Через несколько лет, когда Крит стал вновь греческим, Эванс вернулся туда и вновь начал раскопки. Можно сказать, что ему в некотором смысле повезло, как нередко везет ищущим и одержимым любимым делом: он обнаружил грандиозный ансамбль-дворец. «Уже не может быть никакого сомнения, – писал археолог, – что огромное сооружение, которое мы называем дворцом Миноса, тождественно с легендарным лабиринтом. Его горизонтальный план с длинными залами и слепыми коридорами, с путанными коридорами и сложной системой маленьких комнат, действительно, хаотичен». На цветной фреске был изображен благородный и статный юноша. Портрет критянина приоткрыл завесу тайны над «народом с острова» (народом кефтиу), представители которого отражены в рисунках египетских пирамид. Об увлеченности Эванса культурой говорит уже то, что свыше 30 лет он посвятил

раскопкам дворца Миноса (залы, кладовые, бассейны, ванны, водопровод, канализация). На эту тяжкую работу и ушло практически все полученное от отца состояние. ^[150]

Несмотря на героические и плодотворные усилия Бельцони, Шампольона, Эванса, Шлимана, всех знатоков древности, XIX в., конечно же, был веком сугубо буржуазно-обывательским. Да, были герои и подвижники нового времени, отдавшие полностью «культурно-научной литургии». Но Шампольон умер в Париже в результате полного истощения организма, вызванного тяжкими условиями жизни в ходе многолетних археологических раскопок. Шлиман также уйдет «в мир иной» совершенно неожиданно, в Неаполе, заболев воспалением мозга. По сути дела, он был погребен своей Троей (вдали от жены, дочери Андромахи, сына Агамемнона). Все те, о ком мы с вами говорили, по своей натуре были скорее романтиками. В душе они оставались враждебны утверждавшемуся миру цинизма, пошлости и плутократии, миру колониальных войн, захватов и грабежей. Навсегда канули в прошлое эпохи античности и Возрождения. Вскоре и последние романтические побеги будут безжалостно вытоптаны легионами торгашей.

Выразив свое восхищение создателям шедевров мировой культуры и их неустанным исследователям, нам не миновать, однако, и нескольких не совсем пристойных страниц истории. Они, видимо, лишний раз убеждают нас в сугубой относительности самих понятий «образование» и «культура». Сколько восторженных слов сказано в адрес сокровищ Древнего Египта и Греции. Иные склонны безмерно превозносить западную культуру («цивилизованных народов») как некий символ благородства и совершенства! Но давайте посмотрим, как вели себя просвещенные итальянцы, немцы, англичане, французы, американцы, голландцы в местах древних культур и цивилизаций? Они расхитили большую часть захоронений древнего мира, поощряя местных жителей к неприкрытой торговле своим бесценными сокровищами, являющиеся «национальным достоянием». Позорно и варварски вели себя «охотники за древностями» из тех стран, что сами же нарекли себя «оплотом цивилизации» (Англия, Франция, США и другие). Известно, к примеру, что наполеоновские солдаты старались поразить пулями глаза египетского Сфинкса, а английские лорды, что норовят ухватить самого Господа бога за бороду, для начала дерзнули

отбить каменную бороду у Сфинкса Херекмета («Хор на небосклоне»), увезя ее в Британский музей (кстати, сфинкс древнее пирамид). Хотя надо признать, что нос у древнего изваяния был отбит еще по приказу одного из правителей Египта. По оценкам, всего за один XX век он был повержен больше, чем за предыдущие 4000 лет.



Сфинкс у подножья пирамид в Египте.

Методы хищения произведений искусств совершенствовались и совершенствуются тысячелетиями. Тут нет ничего нового. В Египте профессия грабителя гробниц столь же древняя, как профессия бальзамировщика, художника, скульптора. В 1070 г. до н. э. верховные жрецы «Государства бога» Амона попытались, было, как-то остановить грабеж, прибегнув к переносу сокровищ и мумий из саркофагов и усыпальниц. Все напрасно... То, что было наворовано венценосными грабителями у других, становилось раньше или позже жертвой очередного грабежа. Знаменательный урок мировой истории!

Вспомним и язвительные строки русского поэта Михаила Кузьмина, в которых он описал тех, кто был прямо или косвенно заинтересован в Египте в ограблении гробниц:

Если б я был ловким вором,
обокрал бы я гробницу Менкаура,
продал бы камни александрийским евреям,
накупил бы земель и мельниц
и стал бы

богаче всех живущих в Египте... [\[151\]](#)

Кто первым стал на путь осквернителей могил? Жрецы и фараоны еще в XVI–XI вв. до н. э. (Рамсес IV – Рамсес XI). Затем из Египта понравившиеся им древности будут тащить все подряд – персы, греки, римляне, византийцы. Особо отличились на этом поприще персидский царь Артаксеркс II и римский император Август. Византийский император Константин I (306–307 гг. н. э.) вывез оттуда гранитные обелиски Тутмоса III. Их примеру следовали многие. По Нилу многоголосым эхом покатилося – «грабь веселей!».

Начало профессиональной торговли произведениями египетского искусства относят к эпохе Средневековья, когда народы еще верили в чудо (расчлененная мумия считалась надежным лекарством от полового бессилия). В эпоху Возрождения мода усилилась. Правитель Флоренции Медичи собирал различные раритеты и сокровища древности. Среди «поклонников старины» – имена кардинала Мазарини и Наполеона. С именем Наполеона специалисты связывают начало науки египтологии. Самой драгоценной добычей корсиканца стал знаменитый Розеттский камень (черная базальтовая плита, содержащая копию указа жрецов Мемфиса). Пожалуй, с «блистательной эпохи» Наполеона грабеж произведений древней культуры приобрел небывалый размах. Не зря же тогда многие прямо говорили о том, что им были свезены в Париж «сокровища ста царств»!

Все и вся перемешалось в этой безудержной погоне за богатством... Военные, дипломаты, чиновники, ученые наперебой спешили ухватить лакомый кусок. Ли Сотби выставил в 1837 г. для продажи на аукцион 900 вещей из Египта... Лощеные джентльмены и благородные господа вели себя как отъявленные бандиты или скупщики краденого. Английский герцог и барон Перси, «протестуя» против опустошения египетских некрополей, приобрел более 200 старинных вещей. «Игла Клеопатры» украсила набережную Темзы в Лондоне. Французский консул в Александрии Ж.Ф. Мимо, на словах резко осуждавший расхищение памятников, преспокойно сохранял у себя дома 588 предметов древнего искусства. Увы, несмотря на усилия знаменитого Шампольона и других воспротивиться этому процессу,

натуральные росписи оказались варварски разбиты, а иные изображения безнадежно испорчены (из-за тщеславного намерения увезти детали гробниц в Париж). Да и сам Шампольон был далеко не всегда щепетилен в этом вопросе. «Просвещенный Запад превратил Египет в арену деятельности заправил черного рынка, скромных воров сделал настоящими ганстерами. И все это в золотом XIX веке».

Особо большое рвение проявили властители всех времен и народов в стремлении вывести из Египта каменные обелиски, являвшиеся символами солнечного божества. Их стали возводить примерно с 2500 г. до н. э. Ими славится Карнак и Луксор, где древние зодчие воздвигали их попарно перед фасадами храмов. Считается, что уже ассирийский царь Ашшурбанапал (669–626 гг. до н. э.) положил начало их собиранию. Затем их будут вывозить византийцы, римляне, европейцы. В одном лишь Риме находится 13 подобных обелисков («вертелов»). Известен даже анекдот, когда супруга Наполеона I, Жозефина Богарне, при отъезде того в Египет, якобы, попросила возлюбленного: «Месье, привезите мне ез Египта обелиск. Только маленький!» индва десятка обелисков made Всего же на центральных площадях Европы и Америки высится Egypt. Такой обелиск высится перед нью-йоркским музеем, Метрополитен-музеем. Монумент из Гелиополя, чей возраст 3500 лет, доставлен сюда в 1880 г. Попимо иглы в Лондоне есть 30-метровый обелиск Рамсеса II в Париже (воздвигнут около 1285 г. до н. э.) на площади Согласия, доставленный из Луксора (на корабле «Луксор») морским инженером Ж.Леба в 1833 году.^[152]

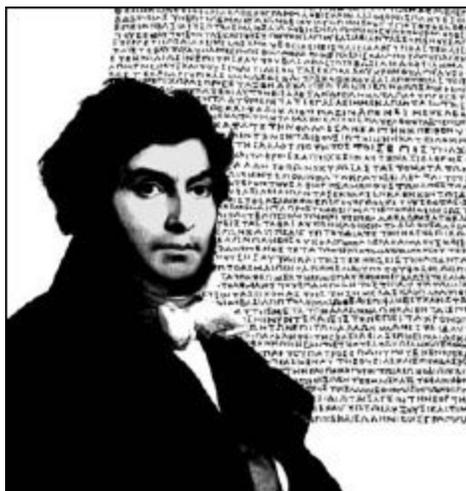


Ювелирные украшения из усыпальницы царицы Аманшакете.

Вспомним, пожалуй, и красноречивую фразу Бальзака: «Египетские походы принесли нам украшения в египетском стиле для Каирской площади. Еще не известно, превышают ли расходы на войну стоимость того, что она нам приносит». Наполеон, которому однажды намекнули на необходимость «реституции» картин и сокровищ, дерзко заявил: «Хотите вернуть, отвоюйте!» Почему-то ни в Европе, ни и США не слышно разговоров о возвращении украденных цивилизованными варварами сокровищ. А, ведь, страны, куда свозились реквизированные богатства, не были разрушены до основания теми, откуда эти раритеты изымались (как это было в случае гитлеровского нашествия Германии в Россию). Конечно, когда-то, в справедливом мире, многое вернется в родные пенаты.

Впрочем, стоит посмотреть на коллекционирование и с более оптимистичной и разумной стороны... Представьте на мгновение, что все произведения древнего мира, все, созданное художниками и ваятелями, все рукописи и шедевры остались бы вне музеев и коллекций... Что с ними стало бы? Какова была бы их судьба? Многие просто погибли бы. Коллекционеры подобны архитекторам. Они придают культуре особое качество и красоту пространства. Наполняют смыслом процесс собирания и отбора культурных сокровищ. Не зря,

видимо, Цицерон написал: «После того, как Тираннион привел мои книги в порядок, мне кажется, что мое жилище получило разум». Уже не говорим о том, что порой они просто сохранили для будущего все эти бесценные произведения. Вспомним, как английские ученые и коллекционеры (во времена засилья Оттоманской империи в Греции) фактически способствовали спасению фризів Парфенона, когда отправили в Британию 22 корабля, наполненные скульптурными изображениями с Акрополя.



Жан-Франсуа Шампольон, разработавший принципы дешифровки древнеегипетского письма

Менялся тип коллекционера. Если прежде, в классическую эпоху древности (вероятно, вплоть до конца эры Возрождения) коллекции собирали скорее из любви к искусству, то затем появились иные, алчные и фальшивые ноты. Известный богослов средневековья св. Иероним (347–420 гг. н. э.) говорил: «Не может один и тот же человек уважать и золото, и книги». В XIV в. на схожих позициях стоял английский епископ и государственный деятель Ричард де Бери (1278–1345), автор книги «Филобиблон, или о книголюбии». Он привел слова поэта: «Книгу и деньги любить одному и тому же неместно». С воцарением в Европе и мире буржуазно-купеческой и спекулятивно-ростовщической морали (особенно) изменилось и отношение к прекрасному. Книги, картины, антиквариат, марки и т. д. – все это стало вполне обычным, хотя и несколько рафинированным «товаром».

Впрочем, надо откровенно признать, что культура (особенно овладение ее материальными богатствами) всегда было уделом лиц с толстыми кошельками или высшего слоя... У этой страсти есть своя страшная и притягательная власть над человеком. Хорошо еще, если она служит людям. Но бывает и так, что коллекционеры (особенно из породы толстосумов) нередко теряют все человеческое в этом своем безумном увлечении. Они готовы даже на убийства и преступления. «В коллекционировании, как в любви и на войне, все дозволено», — утверждал, к примеру, французский библиотекарь Г. Ноде, грабя книжные лавки Италии для создания публичной библиотеки в Париже. Среди самых известных книжных воров и англичанин Томас Уайз, почетный магистр искусств Оксфордского университета, председатель английского Библиографического общества в 1923–1924 гг., член правления Уорчестер-колледжа в Оксфорде, член элитного Роксбергского клуба. Его называют «искуснейшим мошенником среди библиофилов и образованнейшим библиофилом среди мошенников». Помимо прочего сей уважаемый джентльмен, считавшийся гордостью всей «книжной Англии» (почетный магистр искусств Оксфорда), прославился тем, что напечатал 50 фальшивых переизданий классиков. Он даже объявил себя в дальнем родстве с великим английским поэтом Перси Шелли, что помогло ему вытянуть большие деньги у американских миллиардеров. [\[153\]](#)

Суть торгашеских взглядов и дух того, да и нашего безжалостного времени выразит О. Уайльд в сонете, посвященном продаже с аукциона любовных писем поэта Дж. Китса:

Вот письма, что писал Эндимион, —
Слова любви и нежные упреки,
Взволнованные, выцветшие строки,
Глумясь, распродает аукцион.
Кристалл живого сердца раздроблен
Для торга без малейшей подоплеки.
Стук молотка, холодный и жестокий,
Звучит над ним, как погребальный звон.
Увы! не так ли было и вначале:
Придя средь ночи в фарисейский град,
Хитон делили несколько солдат,

Дрались и жребий яростно метали,
Не зная ни Того, Кто был распят,
Ни чуда Божья, ни Его печали. [\[154\]](#)

Взаимосвязь между видами общественного и культурного прогресса выразил английский писатель и теоретик искусства У. Моррис (1834–1896). Сын богатого коммерсанта, выпускник Оксфорда, он понял: в обществе «зарождается революция», говоря правящим классам: «Действительно, всякий, кто утверждает, что «вопросы культуры и искусства – важнее требований желудка» (находятся и такие), не понимает, что такое искусство, не понимает и того, что своими корнями оно уходит в почву спокойной и благополучной жизни. К тому же надо помнить, что цивилизация свела жизнь рабочего к такому жалкому и полуголодному существованию, что он едва ли представляет себе вполне отчетливо, как это можно желать себе другой жизни – намного лучшей, чем та, которую он вынужден владеть. И задача искусства – дать ему идеал такой истинно разумной и полной жизни, что и понимание прекрасного и участие в его создании – а в этом заключено истинное наслаждение – станет ему так же необходимо, как хлеб насущный». [\[155\]](#)

Европейцы любят упрекать других в «варварстве». Но разве сами они меньшие варвары? У. Моррис в «Искусстве и жизни» не раз выражал огромное сожаление по поводу уничтожения в Европе старых зданий, являющихся великими памятниками культуры. Кто же виноват? Ведь, их уничтожали не филантропы, социалисты и коммунисты, а сами капиталисты. «Их распродали по дешевке, они впустую растрчены из-за безалаберности и невежества глупцов, которым невдомек, что значит жизнь и радость...» Сожалея о гибели всей этой красоты, он прямо называет виновника. Им является «чудовище», имя которому «коммерческая выгода». Далее он пишет: «Множество красивых и старинных зданий уничтожено в странах цивилизованной Европы и Англии точно так же. Посчитали, что эти здания создают неудобства для жителей, хотя элементарная сообразительность помогла бы избежать этих неудобств, но даже если эти здания покушаются на наши удобства, я утверждаю: если мы не готовы примириться с небольшим бытовым неудобством во имя

сохранения памятника искусства, который облагораживает и воспитывает не только нас самих, но и наших сыновей и внуков, то напрасны и праздны разговоры об искусстве и о воспитании. Дикость рождает дикость».^[156]

К началу XX в. на смену романтическим настроениям в культуре приходят иные устремления. И все же романтизм не умер, воплощаясь в самых разных сферах деятельности. Немало романтиков – среди литераторов, художников, ученых, инженеров, педагогов, врачей, изобретателей и музыкантов. Все они – «мечтатели»... Черты романтизма, присущие эмоциональной живописи импрессионистов, видны у композитора Дебюсси, чья школа была «импрессионистской». А разве нельзя сравнить картины Клода Моне (из серии «Руанские соборы») со стихами французского поэта Верлена («Ночное зрелище»):

Ночь. Ливень. Небосвод как будто наземь лег.
В него готический вонзает городок,
Размытый серой мглой, зубцы и шпиль старинный.
На виселице, ввысь торчащей над равниной,
Застыв и скорчившись, повисли трупы в ряд.
Вороны клювами их, дергая, долбят.
И страшен мертвых пляс на фоне черной дали...^[157]

Гоген уловил эту особенность эпохи, сказав в «Синтетических записках»: «Слушая музыку, как и смотря на картину, вы можете свободно мечтать. Читая книгу, вы – раб мысли автора. Писатель вынужден обращаться к уму, прежде чем поразить сердце, и одному богу известно, как мало действительно впечатление, пропущенное через разум. Только зрение вызывает мгновенный импульс. А литераторы сами являются критиками своего искусства; они одни защищаются перед публикой».^[158] Правда, когда однажды художник Дега попробовал, было, сам сочинять стихи, то вскоре вынужден был заявить Малларме: «Ваше искусство – адское. У меня ничего не получается, хоть я и полон идей»...

Появилось в эпохе нечто мрачное, напряженное, замогильное, что чувствовали гораздо острее художники и поэты. Далеко не случайно

оракулами и законодателями новой моды стали поэты Аполлинер и Жакоб, художники Пикассо и Модильяни. Это были художники низов. Они и ютились, как пролетарии. Центром их обитания и времяпровождения стал одноэтажный покосившийся барак на улице Равиньян, в Париже, известный как «Бато-Лявуар» («Плавучая мастерская»). Здесь жили поэты, художники, скульпторы, актеры, портнихи, белошвейки, мелкие торговцы, дрессировщики собак. Буржуазное общество проявляло жестокую изощренность по отношению к талантам, дрессируя их голодом и нищетой. Интеллектуальным центром и вожаком группы выступил Г. Аполлинер (1880–1918). Блестящая эрудиция позволяла ему охватить искусство и литературу едва ли не всех стран и народов. Он стал влиятельнейшим литературным критиком, а затем и одним из основоположников кубизма, написав книгу «Живописцы-кубисты».



Джемс Энсор. Собор. 1886.

Почему поэты и художники выражали все возрастающую тревогу? Потому что они ощущали всем своим нутром, что крупная буржуазия становится могильщиком культуры. Представляется знаковым в этом отношении (особенно сегодня) повесть Аполлинера «Убийство поэта»... Работа над ней шла с начала 1900-х годов, но издать ее удалось лишь в 1916 г. Сделана она в форме ироничной

философской повести (в духе Рабле или Вольтера). Главная линия в книге посвящена теме отчуждения свободных поэтов и художников властью и денежными тузами. Как те, так и другие решительно не желали дать простор истинным и великим художественным талантам. Сигнал к истреблению поэтов подал некий немецкий «ученый-агротехник» Гораций Тограт... Он угрожающе бросает в адрес деятелей литературы и поэзии: «Существование всех этих людей больше не имеет смысла. Премии, которые им присуждают, украдены у тружеников, изобретателей, ученых, акробатов, филантропов, социологов и у других. Поэты должны исчезнуть с лица земли». Этот призыв был благосклонно встречен всей «демократической» печатью. Поэтому уже в следующей своей статье Тограт воинственно заявил: «Мир, ты должен выбрать между жизнью и поэзией... С завтрашнего дня начнется новая эра. Поэзии больше не будет... Мы перебьем поэтов». Далее эта философия абсурда захватывает и правительства. Власти Франции, Италии, Испании, Португалии постановляют подвергнуть всех поэтов заключению, а иностранцев – казнить! Тогда лишь две страны составили исключение – и это были Англия и Россия! Наиболее жестоко повели себя кичившиеся своей свободой Соединенные Штаты. «В Америке, – пишет Аполлинер, – после казни на электрическом стуле известных поэтов, линчевали всех негритянских песенников и множество других негров, которые не имели никакого отношения к песням, затем репрессиям были подвергнуты белые, связанные с литературной богемой».

Презрение поэта, внебрачного сына польского эмигранта и российской подданной, к буржуазии было вполне обоснованно и оправдано. Знаменательно, что именно его в 1911 г. арестовали по обвинению в похищении из Лувра картины Леонардо да Винчи «Джоконда» (позже по ложному обвинению к ответственности привлекли и Пикассо). Попытка получить французское подданство не удалась. Словно жуткий дамоклов меч, его преследуют придирки властей и брань буржуазной прессы. Отсюда ясны и его строки: «Я... среди врагов», а также начало «Зоны»: «Ты от старого мира устал, наконец».^[159]

Поэтому считаю совершенно естественным, что и в конце XIX в. и явились певцы красоты и гибели, «новые язычники искусств». Таков Обри Винсент Бердслей (1872–1898), гениальный английский график,

восхитительный маг рисунка и прирожденный язычник (лат. Anima Natuliter Pagana), чья жизнь ярко осветила небосвод Европы, но быстро угасла. Прежде чем говорить о нем как о «человеке упадка», скажем о его высочайшем культурном потенциале. Мне он видится скорее человеком Позднего Возрождения. Отмечалось, что Бердслей немало почерпнул у Поллайолы и Мантеньи. Показательна и его карикатура на самого себя, на которой он изобразил, как Рафаэль, Тициан и Мантенья спускают его с лестницы Национальной галереи, в то время как Микеланжело замахивается молотом на дерзкого юношу. Символичный образ, ибо он не стеснялся брать сюжеты для картин всюду, где мог. Как писал анонимный автор: «XVIII век, Китай, Япония, даже чистейшее эллинское искусство – все побывали у него на службе...»

Будучи с детства физически хрупким, словно редкий и изысканный цветок, юноша вырос в оранжереях «Детского сада» и английской Grammar School (гимназии). Там проявился гений будущего художника. Мудрый директор школы м-р Маршалл всячески приветствовал его художественную активность (рисунки, карикатуры на учителей и на него, увлечение театром, участие в ученическом журнале). В дальнейшем Бердслею везло на людей, умевших по достоинству оценить его талант. Это был утонченный и изящный ум, читавший греческих и латинских авторов в переводах, музицировавший, тонко разбиравшийся в искусстве. Звезда его славы зажглась в 1894 г., когда появились его поразительные рисунки к «Саломее» О. Уайльда. Вскоре он стал настолько популярен в английском обществе, что ему многие стали подражать. Хорошо знавший его лично Роберт Росс так вспоминал о той поре: «Бердслеевский «тип» сделался прямо модным и во многих театрах служил предметом пародии; имя и произведения его были на устах у всех. Он подружился со многими современниками, отличившимися в области искусства и литературы». К сожалению, его болезнь (простуда сделала его с 1896 г., по сути дела, инвалидом) и преждевременная смерть оборвали полет этой восхитительной «птицы».

В творчестве Обри Бердслея, в его фантастических реминисценциях на темы «Смерти Артура» Томаса Мэлори, «Саломеи» Оскара Уайльда, «Лисистраты» Аристофана, «Манон Леско», «Опасных связей», «Мадам Бовари», рассказов Эдгара По, не

только оживали литературные образы, но и происходила некая почти мистическая «выгонка душ». Бердслей – чудо-сказочник из королевства кривых зеркал. В его героях отражена вся наша цивилизация – порочная, алчная, жестокая, жуткая, смертельно-упоительная.



Оскар Уайльд. 1895.

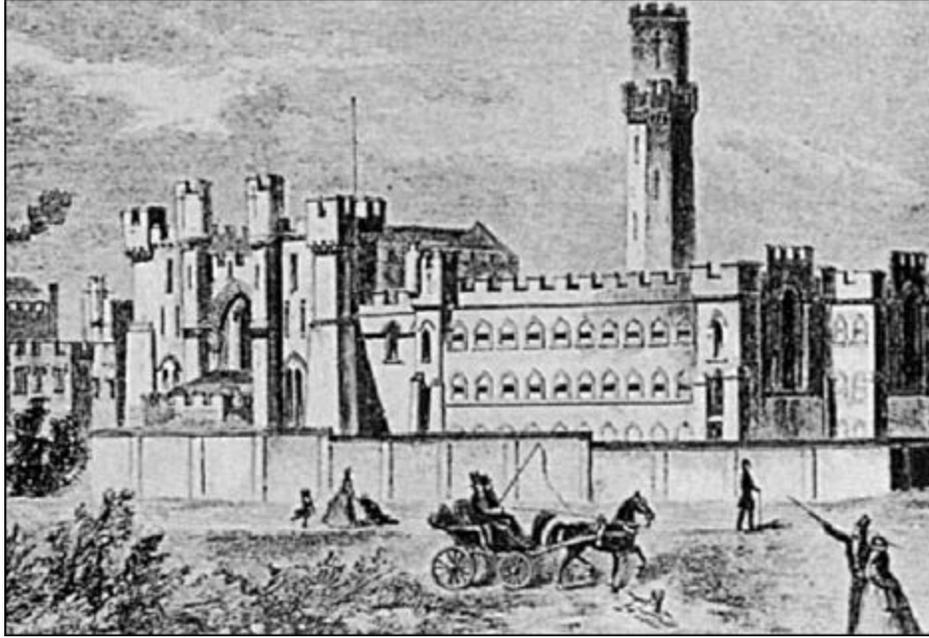
В них – «тонкий яд любовных ласк» и жуткие гримасы человечества. Мне он кажется фигурой эпической. Век синтезировал в нем свою сущность, подобно алхимику, выплавляющему в тигле некий дьявольский металл. Недаром говорили, что в творчестве Бердслея есть некий сатанинский искус. Его мастерство в гротескной форме показывало всю извращенность буржуазии, не верящей ни в Бога, ни в Дьявола. Символично, что художнику однажды приснилось падающее со стены огромное распятие, на котором изображен весь в крови Христос. Русский критик С. Маковский так писал о нем: «Но при всем этом Бердслей всегда остается художником «своей эпохи», современником до мозга костей, эстетом «конца века», *par excellence* (франц. «по преимуществу») прославляющим тот культ красоты, которому служили и Флобер, Готье, Россетти, Бодлер, Уайльд, все

изысканные поэты нового возрождения или так называемого упадка». [160] В жизни никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Ave Atque Vale («Здравствуй и прощай»).



Д. Росетти. Beata Beatrix. 1864.

Замысловаты и неисповедимы пути культуры. В умах английских, французских, итальянских поэтов и художников рождались самые дерзновенные идеи. Все это каким-то таинственным образом влияло на события, факты, на ход времени. Возникновение кубизма стало знаком ломки старого мира. Кубизм – это обобщенный образ индустриального мира, где живой человек становился все более похожим на арку, треугольник или куб. Кубизм – живая душа, раздавленная и превращенная в слизь непрерывным потоком толп, машин, химии и денег, функция человека вместо самого человека. За сменой стилей и сюжетов в искусстве скрывается нечто важное и таинственное. Это не просто формалистические устремления.



Тюрьма Холлоуэй, куда был заключен Оскар Уайльд.

С середины XIX в. отход от реалистической традиции ускорился. Стремление, присущее Ван-Гогу («выразить в грубой манере суровую и грубую правду»), у Пабло Пикассо (1881–1973) приняло болезненные формы. Если у Курбе и Милле трудовой народ все же полны достоинства и человечности, хотя и подавляемых тяжким, каторжным трудом, то «Девочка на шаре» (1905) или «Авиньонские девицы» (1906–1907) Пикассо лишены человечности и похожи скорее на идолов с острова Пасхи.



Обри Бердслей. Похороны Саломеи. 1894.

Впрочем, об этом известном художнике, которого французские друзья будут величать «Маленький Гойя», нельзя упоминать походя. Пабло Руис Пикассо родился в испанской Малаге, городе, где сохранялись следы финикийцев, римлян и мавров. Среди его предков были рыцари, государственные служащие, служители церкви, дипломаты. Родовые корни будущего художника якобы прослеживались в Африке, среди кочевников и цыган (легенда говорит о некоем принце Пикассо, сыне короля мавров Альбуасемы). Так что не случайно кастильский поэт, друг юности художника Р. Серна писал: «Среди великих цыган в искусстве Пикассо – истый цыган». Эти слова следует понимать фигурально, как символ свободы и независимости натуры самого Пикассо. Отец его стал художником, что в те времена рассматривалось как жизненная неудача. Для самого Пикассо большой удачей стало уже то, что он вообще появился на свет. Дело в том, что акушерка сочла его мертворожденным и забыла о нем, уделив все

внимание матери. Его спас дядя, дон Сальвадор, присутствовавший при родах.

Мать утверждала, что первым словом будущего художника стало слово «карандаш». Он начал рисовать задолго до того, как стал говорить, выводя фигуры на песке площади Мерсед. Там палило жаркое солнце и вокруг сновали сотни и сотни голубей, ставшие в дальнейшем символом, фирменным знаком художника.

В характере Пикассо с ранних лет стало проявляться сочетание черт бесстрашного рыцаря, дерзкого тореадора и бродяги-цыгана. Упомянутый Серна говорил, что почти все из того, что он будет делать в жизни, «представляло, по сути дела, корриду». Как истинный цыган, он ненавидел школу. С немалым трудом он постигал основы чтения, правописания и сложения. Он сам признался, что так и не выучил в школе алфавита. Зато он великолепно рисовал голубей, к 14 годам превзойдя отца в художественном мастерстве. В его ранних картинах чувствуется влияние Веласкеса и Гойи (в 1895 г. он посетил Прадо, где впервые увидел картины великих испанцев). Пабло внимательно гляделся в мир своими огромными черными глазами, которые, как у кошки, могли видеть в темноте.

Переезд семьи в Барселону принес новые впечатления. Это город космополитов, где сильны были связи с французской и европейской культурами (Вагнер, Ибсен, Метерлинк, Ницше, Карлейль). Пикассо приняли в Школу изящных искусств, где преподавал и отец. В мастерстве он превосходил всех учеников школы, проявляя черты юного гения. Он знал почти все, не учась этому, что, по словам Мольера, есть «признак великого художника».

Первой значительной работой того периода стала картина «Наука и милосердие» (Музей Пикассо). За нее художника наградили золотой медалью. С работами европейских художников он знакомился по журналам. Однако академиста из него не вышло. Буйной натуре цыгана и «деревенщины» была ближе жизнь модерниста и авангардиста, попирающего все старые истины.

Тогда стало модно выступать в роли «кликушествоющего поэта» или «отверженного художника». Испания брала тут пример с Франции. В душе Пикассо находили отклик слова писателя-анархиста Х. Бросса, призывавшего к «беспощадной борьбе со снобизмом в искусстве и в жизни». Позже и сам Пикассо признал разрушительный характер

своей живописи: «Мои творения – это итог разрушения». Он чувствовал себя ближе к простым бедным людям, нежели к богачам. Несправедливость мира была для него очевидна, это находило выражение в тематике его первых работ («Старик с больной девушкой», «Сумасшедшая женщина»). Нищету же он в те времена изгонял с помощью волшебства кисти, зарисовывая стены студии роскошной мебелью, полками с изданиями, столами с горами фруктов, цветов.

Путь художника лежал в Париж. Город вначале мыслился им лишь как промежуточный этап на пути к Лондону. Пикассо идеализировал Англию, считая ее не только родиной романтизма, но и местом обитания прекрасных англичанок. Преклонение перед Англией передалось ему от отца, любившего английскую мебель и одежду. Он еще не знал, что Париж покоряет вернее, чем любой иной город. Стоило ему очутиться на Монмартре, где обитали эмигрировавшие из Испании художники, и он был пленен Парнасом славы. Тут буквально все было наполнено красками, поэзией, романтикой, жизнью и творчеством. На каждом шагу можно было увидеть шедевры Энгра, Давида, Делакруа, Дега, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека (первые его картины этого периода – «Канкан» и «Мулен де ля Галет» – несут отпечаток влияния Лотрека). Тут состоялась крупная выставка (в 1900 г.).



П. Пикассо. Наука и Милосердие. 1897.

Он посещает Лувр, где долго и тщательно изучает предметы древнего искусства египтян, финикийцев, греков, готику, работы импрессионистов в Люксембургском саду, японские эстампы. Разумеется, он становится посетителем известнейших кафе, театров и кабаре на Монмартре («Шат нуар» и «Мулен Руж»). Он наблюдал за буйной жизнью вечернего и ночного Парижа, выискивая героев за столиками кафе, в цирке и в стенах кожно-венерологического диспансера, перенося все увиденное вокруг на полотно. Так появились «Куртизанка с дорогим ожерельем», «Свидание», иные картины. Он создавал их, находясь в состоянии, «близком к трансу». Брал кисть, сосредоточенно и молча работал, оставляя на полотне «не краски, а его кровь». В 1901 г. появляются «Арлекин», «Ребенок с голубем», автопортрет и другие работы. В автопортрете перед нами предстал грустный молодой человек, который уже не столь категоричен в своих оценках мира. По словам профессора Боека, «художник, очевидно, испытывал чувство стыда за былое критически-неуважительное отношение к обществу. На смену ему пришло глубокое сострадание к страждущему человечеству». Устав от Парижа, он вернулся в родную Барселону, продолжая работу над картинами «голубого периода» («Голубые крыши», «Мать и ребенок на берегу» и др.). Художник считал, что самым лучшим цветом является «самый голубой среди голубых». Большинство картин до 1909 г. писаны им при свете керосиновой лампы или свечи (часто из-за отсутствия денег). «Голубой мир» был миром изгоев и отверженных. Затем в его творчестве наступает «розовый период» («Актер», «Арлекин»). Трудно сказать, что привело его к кубизму, но уже с 1905 г. он порывает с традиционными понятиями красоты и правды. В «Авиньонских девушках»-нашли отражение «признаки ада и рая». Большинство отвергло его манеру письма. Брак сказал, можно подумать, что «вместо обычной еды нам предлагают съесть свечку». Русский коллекционер Щукин с некоторой грустью воскликнул: «Какая утрата для французского искусства!» Следствием написания этого новаторского полотна стала атмосфера отчуждения и одиночества вокруг Пикассо. Один из критиков (Дерен) заметил: «В один прекрасный день мы обнаружим Пикассо повесившимся под этим выдающимся полотном».



Модель, портрет и Пикассо.

На наш взгляд, кубизм – это катастрофизм в живописи. Ощущался кризис западной цивилизации. Величие Рафаэля не в том, чтобы «измерять расстояние от носа до рта». Сила художника не в том, чтобы демонстрировать по частям куски тел и предметов. Картины Пикассо вызывали в людях кошмары, тревоги, ужасы, но их приобрели богатые русские – Щукин и Морозов. А он женился на балерине из труппы Дягилева, Ольге Хохловой, и даже оформил спектакль «Парад». Впереди его ожидала полная ярких событий жизнь. ^[162]

Нельзя не заметить общности кризисов в развитии культуры и цивилизации, с одной стороны, и художественного мастерства – с другой. Один из российских исследователей искусства объяснял причины изменения стиля Пикассо тем, что тот отдал дань греческой архаике, этрусскому и египетскому искусству, иберийской скульптуре и кикладским «идолам». О «Портрете Гертруды Стайн» (1906), представляющим собой некую маску, В. Мариманов пишет: «Это было начало глубокого кризиса, причем это не были обычные для художника трудности воплощения замысла. С самого начала своей изобразительной деятельности Пикассо в совершенстве владел мастерством: об этом говорят его юношеские работы... дальнейшая эволюция его творчества показывает, что это был момент радикального изменения и концепции изображения, и концепции человека... Вряд ли художник отдавал себе отчет в том, что речь идет о преображении картины мира, радикальном переосмыслении ее центрального образа – ее эстетики». ^[163] И тут важна не формальная сторона вопроса. Суть в ином: в идолизации ценностей и устоев мира.



Пикассо. Портрет Ольги Хохловой.

Если почти все великие художники прошлого считали важнейшим критерием искусства «правду», то Пикассо, следуя уже за установками нашего лживого времени, и к искусству предъявляет иные требования. В своем интервью с С. Фельсом (1923), часто беседовавшим с художником, Пикассо говорил так: «Мы знаем теперь, что искусство не есть правда. Искусство – это ложь, которая позволяет нам приблизиться к правде, по крайней мере к той, которая нам доступна. Художник должен убедить публику в полной правдоподобности своей лжи... Кубизм – это не зародыш искусства и не искусство в периоде беременности, но искусство первичных форм, и эти формы имеют право на существование».^[164] Это даже и не поиск новых форм, но, скорее, обращение к варварству как к форме и норме бытия.

Пикассо как-то заметил: «Надо потратить много времени, чтобы стать, наконец, молодым». Для XX века, насыщенного катаклизмами, войнами, террором и ненавистью, как нам кажется, более верной и точной была бы иная формулировка: «Нужно быстрее состариться, чтобы успеть умереть молодым». Новые поколения учатся быть стариками уже едва ли не с колыбели, поскольку они попадают под

пятью плутократии (финансовой, политической, культурной), которая, по сути, античеловечна и лишена всякой романтики, поэтики души.

В этом смысле показательна судьба итальянца Амедео Модильяни (1884–1920). Красавец, талант, искренний и обаятельный человек, которого безумно любили женщины, не мог не привлечь внимания ценителей. Может быть, именно судьба Модильяни наиболее выразительна. Он всегда сам выбирал модели для картин и терпеть не мог никаких официальных заказов. Это был художник-поэт, своего рода духовный исповедник с мольбертом. Жан Кокто сказал о нем: «Его рисунок был молчаливым разговором». Ему абсолютно чужда идея быть чьим-то раболепным слугой. Он «судил, любил или опровергал» все, что привлекало его взор (или вызывало гнев и ненависть).

Модильяни с особой любовью относился к простым людям (горничным, консьержкам, натурщицам, модисткам, рассыльным и подмастерьям). Его можно назвать «сыном простого народа». После того, как он решительно оставил лицей, заявив матери, что отныне и впредь будет заниматься только своей живописью, Модильяни верой и правдой служил этому призванию, следуя совету Цицерона: «Кто знает какое-либо искусство, пусть в нем и совершенствуется».

Никто из современников не владел так дивно линией рисунка (разве что Обри Бердслей). Дочь Жанна назвала линию в живописи отца своего рода «диалектической связью между поверхностью и глубиной». Это, видимо, так (вспомним и образ Ахматовой, созданный им одной линией в 1911 г.).

Однако линия его жизни прервалась катастрофически быстро. Затрудняюсь сказать, что сыграло тут решающую роль: любовные приключения, пристрастие к вину и гашишу или легенда о «проклятом художнике» («*peintre maudit*»), постоянные перемены жительства, напоминающие бегство, нападки полиции на портреты его великолепных «ню», обвинения прессы в адрес Модильяни, что он, дескать, «оскорбляет нравственность». Причину его трагедии выразил писатель И. Эренбург, посвятивший целую главу «другу далекой молодости»: «Пишут, пишут – "пил, буянил, умер"... Не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других, и, если кто-нибудь захочет понять драму Модильяни, пусть он вспомнит не гашиш, а

удушающие газы, пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, об извилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяни, вокруг которой уже сжималось железное кольцо». Эренбург увидел в нем Личность. И в разговоре очень точно добавил, что личность – довольно редкое явление среди художников. Не только среди художников, но и среди всей интеллигенции. [\[165\]](#)



А. Модильяни. Виолончелист. 1909.

Пусть же люди художественного и творческого склада (а это, вероятно, далеко не худшая часть человечества) воспримут как святой завет наказ художника Модильяни, однажды высказанный им другу (Оскару Гилья): «Мы – извини меня за мы – имеем иные права, чем все другие, ибо имеем обязанности, отличные от обязанностей других, обязанности, которые выше – надо думать – произносимых ими речей и их морали... Твой истинный долг – спасти свою мечту. Красота также имеет мучительные обязанности, требующие лучших сил души. Каждое преодоленное препятствие означает укрепление нашей воли, дает необходимое и освежающее обновление нашего вдохновения. Свято преклоняйся – я это говорю тебе и себе – всему тому, что может возбудить и пробудить твой разум. Старайся вызвать, продлить эти

радостные стимулы, потому что только они могут дать толчок твоему уму, привести его в состояние высшей творческой мощи. Именно за это мы должны бороться. Можем ли мы замкнуться в темный круг их узкой морали? Человек, который не умеет приложить свою энергию, чтобы дать волю новым стремлениям или уничтожить все то, что устарело и сгнило, – не человек, а буржуа, торгаш, все, что хочешь». [166] Эти слова Модильяни должны были бы стать девизом творческой Личности.

Итак, подведем некий итог размышлениям. Романтизм и реализм являются в искусстве родными братьями. Если взглянуть в разные школы и направления, легко увидеть: большие мастера обязательно отражают действительность. Разница в том, чьими глазами и откуда смотрит деятель искусства на жизнь. Одни взирают на нее издалека, словно из эмиграции, не желая входить в суть повседневных проблем отечества. Другие занимают активные жизненные позиции, борясь за правду, душу и разум человека. Одних темперамент заставляет взирать на жизнь умиротворенно, подобно пастве церковного прихода, других – с вершины баррикад и трибун. Между ними немало общего. Один из героев И. Тургенева в романе «Новь» характеризует другого героя: «Знаете, кто он, собственно, был? – Романтик реализма». Да сольются они воедино в обетованной земле поэзии и искусств!

Великие художники любили людей и страдали им. Одни бичевали пороки, другие воспевали красоту, третьи – раскрывали всю сложность и многообразие жизни. Все они продолжали верить в человеческий род... Как скажет Ален в отношении Бальзака: «Я заметил, для того чтобы правильно понимать людей, нужно любить их той суровой любовью, которой учит нас Бальзак».

Где есть любовь – там будет клевета.

Где дружба чистая – злословье яд свой льет.

Где бьет родник – там грязная вода.

Где гений трудится – там ненависть живет. [167]

Романтизм стал целой эпохой, вместившей в себя многие страны и континенты. Он дал цивилизации шанс встать во главе мира как цивилизации, высоко художественной, творческой и гуманной. Этому

не суждено было случиться, ибо наступал век модерна. «Необычайный трепет пробежал по мозгу Европы». В течение столетия сменились цвета знамен, философия и даже лексика. Наиболее чуткая часть сообщества понимала, сколь пестра и неоднозначна «цивилизация», сколь противоречивы ее процессы на Земле. Эта неоднозначность и многоликость культур заставила художника Э. Делакруа записать в своем «Дневнике» (23 ноября 1857 года): «Как много ступеней в том, что принято называть цивилизацией, как много их между патагонцами и одним из тех людей, которые сочетают в себе все, что может дать моральная и интеллектуальная культура в соединении со счастливыми природными данными. Можно сказать, что более трех четвертей земного шара пребывает в состоянии варварства. Немногим больше, немногим меньше – вот и вся разница. Варвары – это не одни только дикари: сколько таких дикарей во Франции, в Англии, во всей Европе, столь гордящейся своим просвещением. Ведь вот спустя полтора века после утонченной цивилизации, напоминающей лучшие времена античности (я имею в виду эпоху Людовика XIV и несколько более раннюю), человеческий род (под этим именем я разумею небольшую группу наций, несущих ныне факел света) снова спустился во тьму новейшего варварства. Меркантилизм, жажда наслаждений при нынешнем состоянии умов являются наиболее действенными пружинами человеческой души. Молодежь обучают всем европейским языкам, а родного языка она никогда знать не будет... Их обучают наукам не для того, чтобы просветить их или выправить их воззрения, но дабы помочь им производить вычисления, помогающие составить себе состояние.

Становится страшно, когда, глядя на карту земного шара, видишь эту массу невежества и одичания, которые царят на земле. В чем состоит заслуга или в чем состоит отсутствие заслуги так называемой духовной стороны бесчисленного количества существ, носящих имя человека, но не имеющих представления, что есть добро и что есть зло, не заботящихся, откуда они пришли и куда идут, – крадущих, обманывающих, убивающих при удобном случае не диких врагов, а таких же людских особей, сотворенных по их же образу и подобию?». [168] Верно заметил Делакруа: Европа, гордящаяся ее просвещением, фактически как бы вновь опускается «во тьму новейшего варварства».

Ощущение страха и неуверенности поразило самую сердцевину общества в конце века. Может, причина была в том, что оно уже видело на горизонте «миллионы призраков»?! Эти «призраки» пока еще преспокойно расхаживали по улицам и площадям Европы, не ведая того, что их ожидает. Коренным образом менялся не только образ жизни людей, но мировоззрение элиты, типы людей. Капитализм агрессивно вторгся в душу человека. Он заметно изменил поведение.

Новый тип, что явился на земле, был крайне агрессивен, неустойчив, лицемерен, фальшив.^[169] В своем очерке «Становление цивилизаций» А. Тойнби писал: «Будущие историки скажут, мне кажется, что великим событием XX века было воздействие Западной цивилизации на все другие жившие в мире того времени общества. Историки скажут, что воздействие было столь мощным и всепроникающим, что перевернуло вверх дном, вывернуло наизнанку жизнь всех его бесчисленных жертв, повлияв на поведение, мировоззрение, чувства и верования отдельных людей – мужчин, женщин, детей, – затронув те струны человеческой души, которые не откликаются на внешние материальные силы, какими бы зловещими и ужасными они ни были».^[170] Из Манифеста 20 февраля 1909 г. Ф.Т. Маринетти: «Мы молоды, сильны, живем в полную силу, мы футуристы» А ну-ка. где там славные поджигатели с обожженными руками. Давайте-ка сюда! Тащите огня к библиотечным полкам! Направьте воду каналов в музейные склепы и затопите их! И пусть течение уносит древние полотна! Хватайте кирки и лопаты! Крушите древние города! <...>

Не где-нибудь, а в Италии провозглашаем мы этот манифест. Он перевернет и спалит весь мир. Сегодня этим манифестом мы закладываем основы футуризма. Пора избавить Италию от всей этой заразы – историков, археологов, искусствоведов и антикваров <... > Не существует красоты вне борьбы, нет шедевров без агрессивности. Мы на мысе веков <... > Пространство и время умерли вчера. Мы прославляем войну – единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительный жест анархистов, жест, обрекающий на смерть и презрение к женщине <...> Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтарский рев толпы, пеструю разноголосицу революционного вихря в наших столицах, ночное гудение в портах и на верфях под слепящим снегом электрических лун. Пусть заводы

привязаны к облакам за ниточки вырывающихся из их труб дыма. Пусть мосты гимнастическим прыжком перекинутся через ослепительно сверкающую под солнцем гладь рек. Пусть пройдохи пароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть аэропланы скользят по небу, а рев винтов сливается с плеском знамен и рукоплесканиями восторженной толпы".^[171]

В то же время очевидно, что XIX в. стал важным аккордом в симфонии модернизации буржуазных порядков и стран. В Англии завершался «викторианский век» (королева Виктория умерла в 1901 г.). Франция, пережив героическую трагедию Парижской Коммуны, обратилась к науке и образованию. Германия выдвинула Бисмарка, человека, которого «Господь Бог сделал в своих руках инструментом для реализации бессмертной идеи германского объединения и величия». Япония входила в эпоху революции Мэйдзи. Везде на первые роли выходят наука, индустрия, образование – святая троица прогресса.

Нельзя не заметить общности кризисов в развитии культуры и цивилизации, с одной стороны, и художественного мастерства, с другой. Один из российских исследователей искусства объяснял причины изменения стиля Пикассо тем, что тот отдал дань греческой архаике, этрусскому и египетскому искусству, иберийской скульптуре и кикладским «идолам». О «Портрете Гертруды Стайн» (1906), представляющим собой некую маску, В. Мариманов пишет: «Это было начало глубокого кризиса, причем это не были обычные для художника трудности воплощения замысла. С самого начала своей изобразительной деятельности Пикассо в совершенстве владел мастерством: об этом говорят его юношеские работы... дальнейшая эволюция его творчества показывает, что это был момент радикального изменения и концепции изображения, и концепции человека... Вряд ли художник отдавал себе отчет в том, что речь идет о преображении картины мира, радикальном переосмыслении ее Центрального образа – ее эстетики».^[172] И тут важна отнюдь не формальная сторона вопроса. Суть в ином: в идолизации ценностей и устоев мира.

Если все великие художники прошлого считали важнейшим критерием искусства «правду», то Пикассо, следуя за установками нашего лживого времени, и к искусству предъявляет иные требования.

В своем интервью с С. Фельсом (1923), часто беседовавшим с художником, Пикассо говорил так: «Мы знаем теперь, что искусство не есть правда. Искусство – это ложь, которая позволяет нам приблизиться к правде, по крайней мере к той, которая нам доступна. Художник должен убедить публику в полной правдоподобности своей лжи... Кубизм – это не зародыш искусства и не искусство в периоде беременности, но искусство первичных форм, и эти формы имеют право на существование».^[173] Это не поиск новых форм, но скорее обращение к варварству как к форме бытия.

Пикассо как-то заметил: «Надо потратить много времени, чтобы стать, наконец, молодым». Для XX века, века насыщенного катаклизмами, войнами, террором и ненавистью, как нам кажется, более верной и точной была бы иная формулировка: «Нужно быстрее состариться, чтобы успеть умереть молодым». Новые поколения учатся быть стариками уже едва ли не с колыбели, поскольку они попадают под пяту плутократии (финансовой, политической, культурной), которая, по сути, античеловечна, лишена всякой романтики.

В этом смысле показательна судьба итальянца Амедео Модильяни (1884–1920). Красавец, талант, искренний и обаятельный человек, которого безумно любили женщины, не мог не привлечь внимания ценителей. Может быть, именно судьба Модильяни наиболее выразительна. Он всегда сам выбирал модели для его картин и терпеть не мог никаких официальных заказов. Это был художник-поэт, своего рода духовный исповедник с мольбертом. Жан Кокто сказал о нем: «Его рисунок был молчаливым разговором». Ему абсолютно чужда идея быть чьим-то раболепным слугой. Он «судил, любил или опровергал» все, что привлекало его взор (или вызывало гнев и ненависть). Модильяни с какой-то особой любовью относился к простым людям (горничным, консьержкам, натурщицам, модисткам, рассыльным и подмастерьям). Его можно назвать «сыном простого народа». После того, как он решительно оставил лицей, заявив матери, что отныне и впредь будет заниматься только своей живописью, Модильяни служил верой и правдой этому призванию. Дальнейшая его жизнь была полна приключений, взлетов, падений.

Никто из современников так не владел линией рисунка (разве что О. Бердслей). Дочь Жанна назвала линию в живописи отца своего рода

«диалектической связью между поверхностью и глубиной». Это, видимо, так (вспомним и образ Ахматовой, созданный им одной линией в 1911 г.). Однако линия его жизни прервалась катастрофически быстро. Затрудняюсь сказать, что сыграло тут решающую роль: любовные приключения, пристрастие к вину и гашишу, легенда о «проклятом художнике» («peintre maudit»), постоянные перемены жительства, напоминающие скорее бегство, нападки полиции на портреты его великолепных «ню», обвинение прессы в адрес Модильяни, что он, дескать, «оскорбляет нравственность». Причину его трагедии выразил писатель И. Эренбург, посвятивший целую главу «другу далекой молодости»: «Пишут, пишут – «пил, буянил, умер»... Не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других, и если кто-нибудь захочет понять драму Модильяни, пусть он вспомнит не гашиш, а удушающие газы, пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, об извилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяни, вокруг которой уже сжималось железное кольцо». Эренбург увидел в нем Личность. И в разговоре очень точно добавил, что личность – довольно редкое явление среди художников. Не только среди художников, но и среди всей интеллигенции. ^[174]

Пусть люди художественного и творческого склада (а это, вероятно, далеко не худшая часть человечества) воспримут как святой завет наказ художника Модильяни, однажды высказанный им другу (Оскар Гилья): «Мы – извини меня за мы – имеем иные права, чем все другие, ибо имеем обязанности, отличные от обязанностей других, обязанности, которые выше – надо думать – произносимых ими речей и их морали... Твой истинный долг – спасти свою мечту. Красота также имеет мучительные обязанности, требующие лучших сил души. Каждое преодоленное препятствие означает укрепление нашей воли, дает необходимое и освежающее обновление нашего вдохновения. Свято преклоняйся – я это говорю тебе и себе – всему тому, что может возбудить и пробудить твой разум. Старайся вызвать, продлить эти радостные стимулы, потому что только они могут дать толчок твоему уму, привести его в состояние высшей творческой мощи. Именно за это мы должны бороться. Можем ли мы замкнуться в темный круг их узкой морали? Человек, который не умеет приложить свою энергию,

чтобы дать волю новым стремлениям или уничтожить все то, что устарело и сгнило, – не человек, а буржуа, торгаш, все, что хочешь». [175] Эти слова Модильяни должны были бы стать девизом Личности.

Итак, подведем некий итог размышлениям. Романтизм и реализм являются в искусстве родными братьями. Если взглянуть в разные школы и направления, легко увидеть: большие мастера обязательно так или иначе отражают действительность. Разница в том, чьими глазами и откуда смотрит деятель искусства на жизнь. Одни взирают на нее издалека, словно из эмиграции, не желая входить в суть повседневных проблем отечества. Другие занимают активные жизненные позиции, борясь за правду, душу и разум человека. Одних темперамент заставляет витать на жизнь умиротворенно, подобно пастве церковного прихода, других – с вершины баррикад и трибун. Между ними много общего. Не случайно один из героев И. Тургенева в романе «Новь» характеризует другого героя этого произведения – «Знаете, кто он собственно был? – Романтик реализма».

Великие художники (будь то романтик или реалист) любили людей и сострадали им. Чувства они выражали творчеством. Одни бичевали пороки, другие – воспевали красоту, третьи – раскрывали всю сложность и многообразие жизни. Порой они гениально умели совмещать и соединять все элементы творчества. Однако все они были преданы своей профессии и людям (несмотря на все их недостатки), продолжая верить в человеческий род... Как скажет Ален в отношении Бальзака: «Я заметил, для того чтобы правильно понимать людей, нужно любить их той суровой любовью, которой учит нас Бальзак».

В течение столетий сменились цвета знамен, лексика и философия, но нравы народов, «культурные принципы», которыми руководствуются в жизни страны и люди, остались по сути дела неизменными... Наиболее разумная и чуткая часть сообщества понимала, сколь пестра и неоднозначна «цивилизация», сколь противоречивы ее процессы на Земле. Эта неоднозначность и многоликость культур заставила великого французского художника Э. Делакруа записать в своем «Дневнике» (23 ноября 1857 года): «Как много ступеней в том, что принято называть цивилизацией, – как много их между патагонцами и одних из тех людей, которые сочетают в себе все, что может дать моральная и интеллектуальная культура в соединении со счастливыми природными данными. Можно сказать,

что более трех четвертей земного шара пребывает в состоянии варварства. Немногим больше, немногим меньше – вот и вся разница. Варвары – это не одни только дикари: сколько таких дикарей во Франции, в Англии, во всей Европе, столь гордящейся своим просвещением. Ведь вот спустя полтора века после утонченной цивилизации, напоминающей лучшие времена античности (я имею в виду эпоху Людовика XIV и несколько более раннюю), человеческий род (под этим именем я разумею небольшую группу наций, несущих ныне факел света) снова спустился во тьму новейшего варварства. Меркантилизм, жажда наслаждений, при нынешнем состоянии умов, являются наиболее действенными пружинами человеческой души. Молодежь обучают всем европейским языкам, а родного языка она никогда знать не будет... Их обучают наукам не для того, чтобы просветить их или выправить их воззрения, но дабы помочь им производить вычисления, помогающие составить себе состояние. Становится страшно, когда, глядя на карту земного шара, видишь эту массу невежества и одичания, которые царят на земле. В чем состоит заслуга или в чем состоит отсутствие заслуги так называемой духовной стороны бесчисленного количества существ, носящих имя человека, но не имеющих представления, что есть добро и что есть зло, не заботящихся, откуда они пришли и куда идут, – крадущих, обманывающих, убивающих при удобном случае не диких врагов, а таких же людских особей, сотворенных по их же образу и подобию...?»^[176] Удивительно верно было подмечено Э. Делакруа, что Европа, столь гордящаяся своим просвещением, фактически вновь опускается «во тьму новейшего варварства.....»

Глава 8

Прогресс науки, индустрии, образования в Европе. Время и нравы

Каждая эпоха выписывает на своем «щите» тот или иной девиз... Формы и содержание их, естественно, различны... В одном случае – это «властитель небосклонов» Pa, в другом – Pax Romana, в третьем – Holy Bible, в четвертом – Caesar, в пятом – Magna Charter (Великая хартия вольностей), в шестом – Vox Populi и т. д. и т. п. Подобно тому, как раньше многие явления Вселенной объяснялись действиями ньютоновского закона тяготения, примерно с середины XIX в. зримее и ощутимее действие закона образовательного тяготения. Так наука и образование становятся в новые времена «главными героями». Если XVIII в. ознаменовал собой начало борьбы с привилегиями аристократов и невежеством масс, то XIX в. выявил инекоторые новые черты. Наука становилась основным движущим моментом эпохи.

XIX в. стал веком бурного подъема промышленности, развития науки и техники, роста культуры и просвещения. Учения философов и экономистов выступают в роли «тяжелой артиллерии» революций, труды инженеров и изобретателей становятся ее «ядрами», проекты педагогов – тонким и эффективным «инструментарием» грядущих перемен. Та эпоха предопределила многое в веке двадцатом (техника, культура, образование). Странно, что иные еще и ныне с трудом понимают столь простую и очевидную мысль: лишь собственная эффективная промышленность может сделать державу крепкой, а народ – процветающим.

Лидером выступила Англия. Что способствовало превращению ее в цитадель промышленной революции? Среди причин этого: завершение политических преобразований, свобода торговли и т. п. О совокупности благоприятных условий говорят английские историки Дж. и Б. Хаммонд. Во-первых, Атлантика стала столь же важной для торговли, как в древности – Средиземное море, а после Колумба самыми активными купцами, искавшими выход из Атлантики, были англичане. Во-вторых, среди торгующих народов XVIII в. позиция

англичан оказалась наиболее благоприятной (благодаря географическому положению, климату и ходу истории). Испанцы использовали свой контроль над Новым Светом исключительно в политических целях, а вывозимое из Америки богатство тратилось ими отнюдь не на развитие промышленности. В-третьих, английские колонисты в Америке оседали в местах, где было мало золота и серебра, что вынуждало их заниматься производством. Форпосты стали разрастаться в общины, которые нуждались в британских потребительских товарах. Домой колонисты посылали продукты промышленности, что давало стимул производству. В-четвертых, события в Европе способствовали быстрому развитию промышленности Англии, поскольку европейские войны причинили здесь меньший ущерб, чем на континенте, а религиозная и политическая борьба в Англии XVII века завершилась принятием конституции и установлением правительства, весьма благосклонного к торговле. Среди других преимуществ Англии по сравнению с Францией – гражданское право, свобода внутренней торговли, заинтересованность аристократии в коммерции, недоверие у деловых людей со времен Стюартов к государственному контролю и терпимость в религии. Менялся и жизненный уклад. Ускорился процесс концентрации английской промышленности. В свою очередь эта концентрация открывала дорогу новым техническим изобретениям, чему сопутствовали достижения в области математики и важнейшие открытия в физических науках. Вот почему Англия и оказалась, пожалуй, наиболее подходящей ареной для промышленной революции. [\[177\]](#)

В этой стране даже короли и королевы вынуждены были так или иначе, но работать на развитие науки и производства... Когда Уильям и Мария взошли на престол в Англии в 1689 г., они обозначили начало царствования тем, что отменили известный Акт короля Генриха IV (усопшего короля), провозглашавшего *приумножение металлов* преступлением против короны. Однако прагматизм британской короны в том и состоял, что она всегда стремилась «приумножить металлы», а не свертывать их производство. В Своде законов, изданных Уильямом и Марией уже в первый год их правления, было ясно сказано о поддержке наук и исследований: «Ведь сей закон привел к тому, что многие искатели в ходе своих исследований, опытов и трудов, проявив

великое умение и совершенство в искусстве плавки и очищения металлов, улучшая их и *приумножая* их и соответствующие руды, которых здесь изобилие, получили золото и серебро, но из-за страха наказания, предписанного указанным законом, не посмели проявить свое искусство полностью и демонстрировали его в иностранных государствах, чем нанесли ущерб и потери нашему государству. Посему Их Величества, с совета и согласия Лордов, Владык духовных и земных, а также Палаты Общин, представленных в этом парламенте, постановили, что любое предложение из упомянутого закона, каждое слово из него должно быть аннулировано, отменено и превращено в пустой звук»^[178]



Рынок серебряной руды в Чехии. XVI в.

Столь же похвальную позицию преклонения лишь перед истиной и фактом, а не перед той или иной корпорацией (партией), проявили академические учреждения Англии и Франции. Так, два самых знаменитых философских учреждения Европы, парижская Академия Наук и лондонское Королевское Общество, не захотели (исходя из соображений пользы науки) придерживаться какой-то одной системы в естествознании... В соответствии еще со взглядами канцлера Бэкона эти учреждения решили твердо не присоединяться ни к одному из течений или к школе научной мысли, опасаясь, «что желание во что бы то ни стало оправдать какую-нибудь систему может замутнить взор

исследователей и заставить их увидеть в своих опытах не то, что там есть на самом деле, а то, что должно было бы там быть...»^[179]

Первой страной в Европе, вставшей на путь промышленной революции, считают Бельгию. Вскоре благодаря высоким темпам индустриализации на первые роли вышла Великобритания. Сегодня нелишне вновь подчеркнуть важную мысль: индустриализация, представляющая собой одновременное развитие человека, техники, науки, производства, энергетики, сырьевых отраслей, делает подлинно великой любую страну. Концентрация новых машин на заводах наряду с высокой дисциплиной труда позволила наладить новый уровень производства. К 1850 г. британские паровые машины производили энергию мощностью 1,2 млн. л.с., то есть более половины всего европейского производства. Великобритания стала выплавлять 2,5 млн. т. железной руды, что в десять раз превышало аналогичные показатели в Германии. На ее долю приходилось примерно половина мирового рынка промышленных изделий и около одной трети мирового промышленного производства. Показателем прогресса стало и то, что к середине XIX в. половина всех железных дорог мира находилась в Англии.

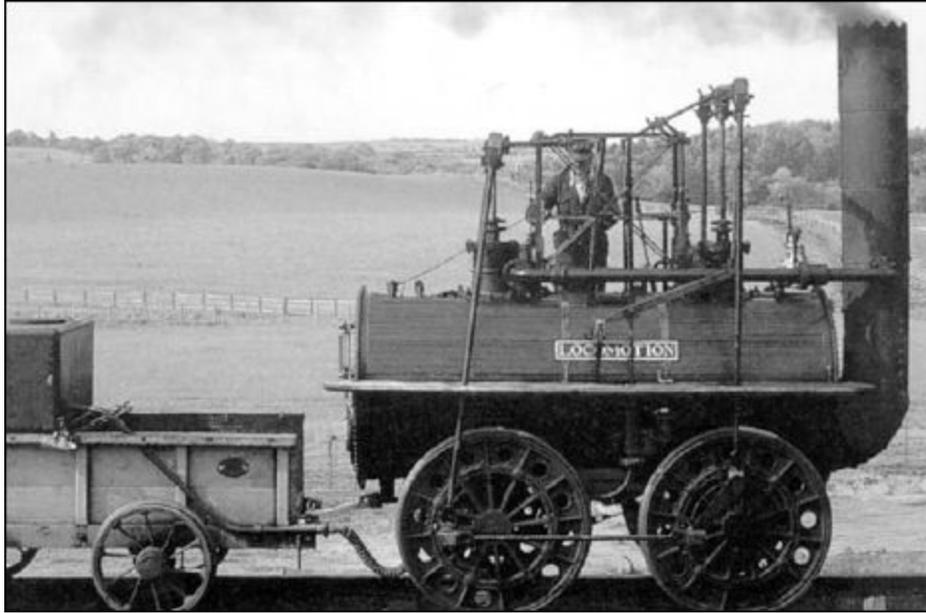
«Мастерской мира» принадлежала половина тогдашних судов дальнего плавания. Успеху британской торговли способствовали и более низкие тарифы на перевозку сырья, промышленных изделий и людей. Свою лепту в успехи экономики и торговли внесли, естественно, достижения научно-технического прогресса. В 1829 г. скорость поездов достигала лишь 25 км/ч., а всего через шесть лет, в 1835 г., она уже достигла фантастической цифры в 100 км/ч. Важнейшим событием стало изобретение паровоза. Как мы знаем, в России это же осуществили Черепановы – отец Е. А. Черепанов (1774–1842) и сын М. Е. Черепанов (1803–1849).^[180]



Изобретатель Дж. Стефенсон.

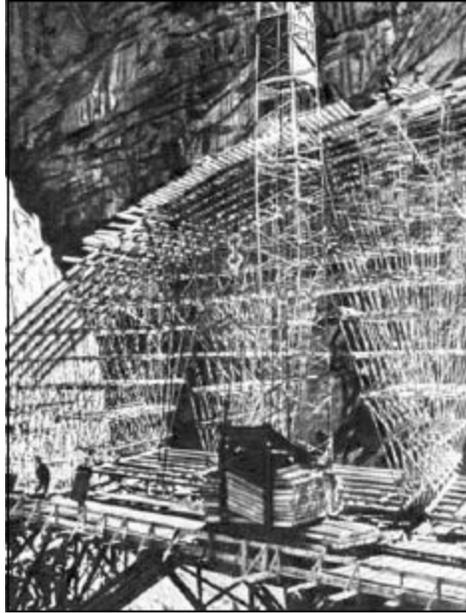
Джордж Стефенсон (1781–1848) – англичанин, родившийся неподалеку от Ньюкасла, центра английской угольной промышленности. Его предки откачивали воду из копей. В восемь лет мальчуган стал уже зарабатывать. Ни о каком образовании и речи быть не могло. Вся деревня была неграмотной... Правду говорят, что в самом детстве скрыты золотые крупницы наших талантов. Спрашивается, что заставляет крох во время игр мастерить мельничные колеса, пускать их в ход над ручьем, создавать «паровые машины», модели подъемных машин и т. п. Мальчик проявил редкий дар. Со временем научился читать и писать. Стефенсон не знал, что его на жизненном пути поджидают не только бедность, болезни, безденежье, но еще и зависть людская. Мастерство его все совершенствовалось. Вскоре он стал разбираться в машинах не хуже инженеров и даже починил насос, перед которым спасовали опытные механики и инженеры. Теперь он имел деньги и время. И то и другое было брошено на овладение научными познаниями. Вместе с другом они проводили все часы за опытами, решением математических и практических задач. Спиртных напитков они не употребляли. Своего сына (жена умерла) он отдал учиться в инженерную школу. Важную роль сыграла и поддержка его работ главным инженером компании, высоко ценившим механика-самоучку.

Это был отважный, благородный и гуманный человек. Однажды он спустился в шахту во время страшного пожара и, закрыв ход пламени, спас многих горняков. В другом случае он создал специальную лампу, закрытую металлической сеткой. Лампа предотвращала страшные взрывы рудничного газа, которые то и дело уносили жизни рабочих. Почти одновременно схожую лампу изобрел знаменитый химик Хэмфри Дэви, именем которого она и была названа. В это время Стефенсон чуть было не перехал в Америку, так как его изобретения в области железнодорожного дела не находили должной оценки в Англии. Америка уже тогда была известна как страна изобретателей. Его туда приглашали. Однако он предпочел строить железную дорогу на родине. В данной области не обошлось без предшественников. В 1759 г. некто Робинзон попытался применить пар к движению колес обычной повозки. В 1763 г. французский инженер Кюньо построил паровую повозку для доставки снарядов. В 1170 г. Кюньо повторил попытку, но машина не стала слушаться изобретателя, налетела на стену и ее разрушила. В 1787 г. американец Эванс изобрел свой локомотив. Известны имена англичан Тревитенка и Вивиана, испытавших паровую карету на улицах Лондона. Некто Мэрдок пустил паровоз ночью по малопроезжей дороге. Узревший его священник чуть не умер от страха. В другом случае подъехавший к заставе паровоз заставил сторожа возопить: «Господин дьявол, умоляю, проезжайте скорее». Первый локомотив построен Стефенсом в 1815 г. Последовало ряд улучшений. Дорога Стоктон-Дарлингтон возникла благодаря его гению и финансовой помощи (1825). Затем пришел черед линии Ливерпуль-Манчестер. [\[181\]](#)



Паровоз Стефенсона в музее под открытым небом (Англия).

Многие открытия были сделаны талантливыми британцами. Видимо, не случайно историки Тьерри и Гизо называли Англию «предшественницей и эталоном для Франции». Да и Виктор Гюго, обращаясь к англичанам в ноябре 1855 г., вполне искренне восклицал: «Англия – великая и благородная нация, в которой пульсируют все животворные силы прогресса, она понимает, что свобода – это свет». Англия занимает весьма почетное место и на Олимпе мысли. О роли и месте ученых в Англии точно сказал писатель М. Нордау: «Ни один народ не сделал так много для своих ученых и не ставил их так высоко, как англичане».



Строительство нового «чертова» моста через Сен-Готард.

Можно перечислить целую вереницу важнейших изобретений, пришедших к нам «с берегов Темзы»: в 1668 г. И. Ньютон изобрел отражательный телескоп, в 1680 г. английский купец У. Докур основал в Лондоне Penny Post («письмо за пенни»), в 1709 г. А. Дарби построил коксовую печь, в 1712 г. Т. Ньюмен – первую паровую машину с использованием поршня, в 1718 г. Дж. Пакл создал первое автоматическое ружье, в 1792 г. впервые был использован газ для освещения помещений, в 1771 Р. Аркрайт, с помощью изобретения Т. Хайкса, получил патент на ватермашину и применил ее в производстве, заработала паровая машина Дж. Уатта, в 1790 г. построен первый железнодорожный мост в Кольбрукдейле, в 1795 г. появилась первая железная дорога на конской тяге, в 1804 г. – первый паровоз Р. Тревика, в 1814 г. – паровоз Т. Стефенсона, в 1825 г – первая пассажирская железная дорога между Стоктоном и Дарлингтоном, в 1811 г. был открыт первый консервный завод. Стали печататься первые бумажные деньги, фунты стерлингов. Британии принадлежала пальма первенства и в изготовлении астрономических инструментов. Когда Гершель сделал свои громкие открытия, оказалось, что во Франции никто не смог их проверить (не было инструментов).

Прогресс промышленной революции в Англии стал очевидным фактом. За 25 лет тут было построено 600 пароходов, 2200 миль

каналов, 1800 миль судоходных рек. В Шотландии с 1803 г. сооружено 900 миль шоссейных дорог, свыше 1000 мостов. Говоря об Англии, Энгельс назвал ее страной, непохожей ни на какую другую, со столицей в 2,5 млн. жителей, с огромными фабричными городами, с индустрией, снабжающей весь мир изделиями, и производящей почти все при помощи сложных машин, с трудолюбивым, интеллигентным населением, 2/3 которого заняты в промышленности, составляющим совершенно другую нацию с другими нравами и с другими потребностями, чем раньше.^[182] К середине XIX в. Англия стала снабжать мир новостями. Сюда из Парижа перебрался немец Дж. Рейтер, доставлявший купцам и деловым людям с помощью голубей и гонцов самую оперативную информацию о событиях в мире, ценах на биржах и т. д. Он был незаменим для Англии, ставшей торгово-промышленным лидером в мире. В 1851 г. он основал информационное агентство «Рейтер», сообщения которого любила читать королева Виктория, называя его «Тем, кто знает все».

Во многом схожую картину можно было увидеть и в Ирландии. Хотя восемь веков продолжалась колонизация «Зеленого острова» англичанами и было пролито много крови. Масса жертв было принесено на алтарь капиталистического молоха, но однозначных оценок тут быть не может. Так, успехи индустриальной революции оказали заметное влияние и на Ирландию. К середине XIX в. здесь бурно развивается судостроение. После создания первого ирландского парохода на металлической основе «Принцессы Каледонии» (1838) в Белфаст из Глазго прибыл молодой шотландский инженер Э. Харланд. Вместе с предпринимателем из Ливерпуля Дж. Вольфом он приобрел тут небольшую судостроительную фирму (1858). Так была основана всемирно известная судовой верфь «Харланд энд Вольф», одна из крупнейших не только в Ольстере, но и на Британских островах. Количество занятых на ней рабочих увеличилось с 500 до 9 тысяч человек. В создании фирмы приняли участие как английские, так и шотландские капиталы. Фирма специализировалась на постройке крупных судов водоизмещением свыше 10 тыс. тонн. Со стапелей ее судовой верфи сошли такие известные океанские лайнеры, как «Титаник», «Олимпик», «Келтик», «Океаник». К началу XX в. «Харланд энд Вольф» построила 40 океанских лайнеров (тогда как все остальные судовой верфи мира – 60). Таков вполне очевидный успех

интеграции капиталов.^[183] Вспомним и о том, что примерно к 1870 г. Бельгия, Германия, Франция, Швейцария догнали Великобританию в своем промышленном развитии. Происходит и заметное выравнивание уровней жизни этих стран.

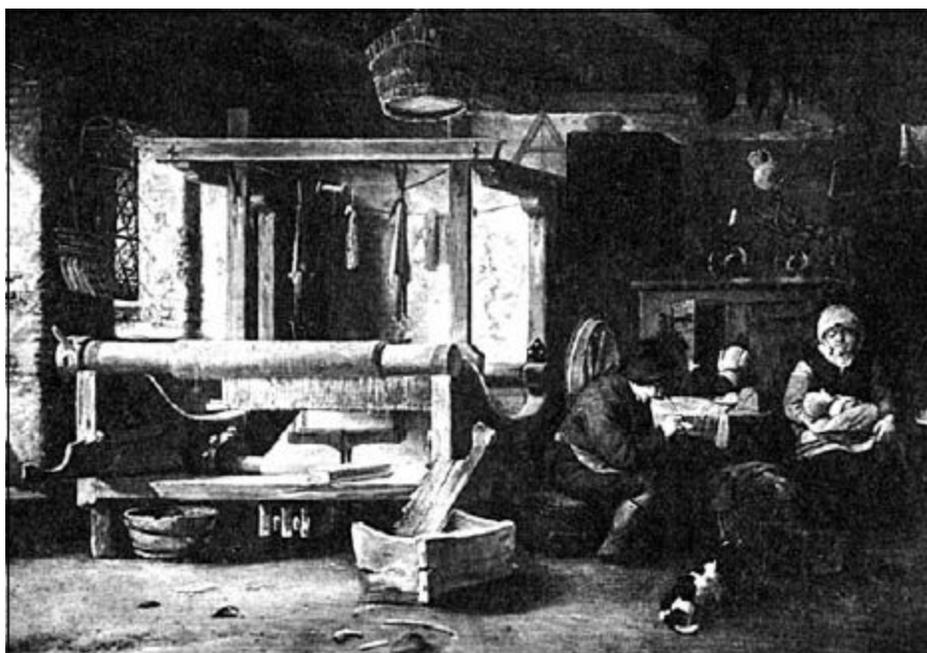
Что явилось первопричиной столь потрясающих успехов европейской промышленности? Не вызывает сомнений, что в основе всего лежала чудовищная интенсификация труда. В работе Ф.Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» (1845) дано полное и исчерпывающее описание условий жизни и труда рабочих. Тот знал эту ситуацию не по наслышке, а в результате личного знакомства с положением. Для этого Энгельс, по его словам, «оставил общество и званые обеды, портвейн и шампанское буржуазии и посвятил свои часы досуга почти исключительно общению с настоящими рабочими»... Скопление людей труда в таких городах как Лондон, Манчестер или Ливерпуль создавало уникальную возможность для капиталистов умножить производительные силы миллионов людей, а заодно и получаемые им прибыли. Экономист сумел подметить не только внешний лоск и декор столицы и других крупных английских городов, но и то, скольких жертв это стоило обычным труженикам.



Выход из колледжа. Гравюра Сент-Облена.

Описывая «трущобы» Лондона, Энгельс писал, что «лондонцам пришлось пожертвовать лучшими чертами своей человеческой природы, чтобы создать все те чудеса цивилизации, которыми полон

их город, что заложенные в каждом из них сотни сил остались без применения и были подавлены для того, чтобы немногие из этих сил получили полное развитие и могли еще умножиться посредством соединения с силами остальных». Взгляните на любую из капиталистических столиц и вы увидите, как и здесь осуществляется «раздробление человечества на монады», увидите признаки и черты жесточайшей социальной войны... «Война всех против всех провозглашена здесь открыто», – подчеркивает Ф. Энгельс. ^[184]



А. Ван Остаде. Отдых ткача.

Труд, упорный, изматывающий, тяжкий и однообразный, и стал тем средством, с помощью которого ковалось величие Британской империи. Если приглушить сторону социальных конфликтов и заострить внимание на профессионально-трудовой этике, окажется, что у этого подвига народа были и свои позитивные стороны. Научившись умело и качественно трудиться, англичане создали, если угодно, базис высокой конкурентоспособности товаров, а значит обеспечил успех рынка. Конечно, этот мир очень суров, если не сказать более – жесток... Вот что писал по поводу работы англичан Герцен: «В Лондоне надобно работать *в самом деле*, работать безостановочно, как локомотив, правильно, как машина, если человек отошел на день, на его месте стоят двое других, если человек занемог

– его считают мертвым – все, от кого ему надобно получать работу, и здоровым – все, кому надобно получать от него деньги».^[185] Так ведь не зря пословица гласит: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда».

Процесс изобретений и модернизации фабрик был широко подхвачен Францией и другими странами. Хотя тут все началось задолго до описываемых нами событий, еще во времена «короля-солнца» Людовика XIV и Кольбера, когда были сделаны важные шаги в направлении повышения качества производимой во Франции продукции. Историк Ф. Блюш пишет: «Знаменитый эдикт от августа 1669 года, регламентирующий текстильное производство, опрокидывал множество привычек, ломал рутину и совершенно напрасно заставлял прибегать к драконовским мерам: «Через четыре месяца после опубликования уставов все прежние станки должны были быть уничтожены и перестроены в соответствии с указанными габаритами. Продолжительность промышленно-технического обучения, присуждение звания мастера были строго определены. Реализация этих мер и контроль за их выполнением были поручены мэрам и городским старшинам или, за отсутствием оных, полицейским судьям...»».^[186]

Позже работали уже иные, капиталистические стимулы... В 1783 г. во Франции появился первый пароход, Л. Ленорман совершил первый успешный прыжок с парашютом, братья Монгольфье совершили перелет на воздушном шаре. В 1794 г. был изобретен телеграф в виде семафора, в 1808 г. появилась первая печатная машинка, а в 1811 г. Ф. Кениг изобрел паровой пресс для печати. В 1795 г. во Франции введена новая метрическая система мер и весов (литр, грамм, метр), существующая и поныне. Прокладываются новые дороги. В 1888 г. Восточный экспресс связал Париж и Константинополь. Все машины и изобретения не перечисть. Они стали «живым воплощением революции»... Как скажет Ф. Лассаль, машина Аркрайта воплотила в себе «полный переворот всего этого общественного строя». В 1834 г. француз Луи Дагер сделал первый фотографический снимок, а в 1839 г. астроном и историк науки Д. Араго сообщил Парижской Академии наук об изобретении Дагера («с помощью светового луча получать прочное изображение на серебряной пластинке в камере-обскуре»)^[187].



Француз Дж. Перроне – организатор первой инженерной школы в мире (1747).

Разумеется, многие изобретения имели предшественников... В частности, так было и с камерой-обскурой, сделанной еще в XVI столетии итальянским физиком Джованни Баптиста Порты. Попытки перенести получаемые с ее помощью изображения на бумагу, если и были, то оказывались бесплодными до появления на свет «изобретателей светописи» Л. Дагера (1787–1851) и Ж. Ньепса (1765–1833). Первый был художником и в 1822 г. изобрел так называемую диораму (от греч. «видеть насквозь»). Дагер изготавливал прекрасные декорации для парижских театров. Будучи одержим идеей воспроизвести и удержать изображение, которое он получал на камере-обскуре, Дагер оставил свое почтенное и прибыльное ремесло декоратора и весь отдался изобретательству. Химик Дюма, секретарь Академии наук, затем вспоминал, что к нему даже приходила жена изобретателя и пыталась его, не следует ли ей озаботиться лечением «безумца». А в это же самое время к решению проблемы подходил Ж. Ньепс (на другом конце Франции). Их познакомили... На пути открытия фотографии стояло немало препятствий (смерть Ж.Ньепса, пожар диорамы, уничтоживший все имущество Дагера, безденежье, что хуже любого пожара и т. д. и т. п.). Наконец, на помощь изобретателю пришло правительство Франции. Все беды остались позади. Успех был полнейший (1839). Заинтригованная публика

скупала все приборы, напоминающие камеру-обскуру. Сбивались слова фельетониста Ж.Жанена, предрекавшего изобретению колоссальный триумф. В самом деле, всем хотелось запечатлеть образ самих себя, своих близких и любимых. Даже Бальзак, бывший противником фотографии (он считал, что с каждым таким снимком из нас улетучивается частичка души-призрака), не удержался все-таки от посылки фотоизображения красавице Ганской (хотя он почему-то счел более экзотичным показать себя перед возлюбленной не во фраке, а в панталонах). Практические стороны применения фотографии оказались, как мы теперь знаем, просто необъятны (от снимков небесных тел до тел и лиц человеческих).^[188]

Не меньшее число триумфов имело место и в теоретической научной сфере. С 1789-го по 1815 гг. совершила колоссальный рывок математика. Француз Лазарь Карно (1753–1823) был «организатором побед» не только на военно-политическом, но и на научном поприще: «Геометрия положения» и «Исследование секущих» – исходные пункты современной геометрии. Гаспар Монж (1746–1814) становится одним из основателей Политехнической школы, выпустив из ее стен блестящую плеяду геометров. Он же заложил основы науки о машинах и механизмах. Ему удалось сохранить верность науке как своей единственной возлюбленной (в отличие от Лавуазье, в котором откупщик на какое-то время взял верх над химиком). Карл-Фридрих Гаусс (1777–1855) написал «Теорию движения небесных светил» и, посвятив себя обсерватории в Геттингене, отказался от профессуры. П. Лаплас (1749–1827) создал его классические труды «Аналитическая теория вероятностей» и «Трактат о небесной механике».



Лазар Карно увлекает за собой войска в атаку.

Политические революции не только не помешали, но еще и подхлестнули процесс открытий и изобретений... Показательна личность А. Лавуазье, о котором уже говорилось ранее. Он стал одним из первых героев научно-технической революции. И хотя его отправили на гильотину, но его труды как ученого и изобретателя заслуживают высочайшей оценки. Лавуазье принадлежал к семейству крупных буржуа. Родители желали увидеть сына адвокатом. Антуан поступил учиться в Коллеж четырех наций (Коллеж Мазарини), где учились аристократы, дети крупной буржуазии и высоких чиновников. Здесь сильны были схоластические порядки, неплохо обучали древним языкам (латыни и греческому), но пренебрегали современными иностранными языками. Лавуазье так и не смог выучить английский или немецкий (но отлично знал латынь). В коллеже Антуан возмечтал о литературной карьере и даже что-то начал сочинять (в духе «Новой Элоизы» Руссо). Впрочем, молодости свойственно увлекаться всем без разбора. Принимал он участие в различного рода конкурсах и даже был награжден премией за красноречие. Затем поступил на юридический факультет и закончил его, получив звание адвоката (1764). О том, что перед нами бесспорно выдающийся молодой человек, свидетельствуют его успехи на ниве наук. Учиться на юриста

тогда было очень непросто, ибо программы были весьма насыщенными. Так вот мало того, что он успешно закончил обучение, но ухитрился параллельно пройти и курс физико-математических, химических и естественных наук. Его учителями и наставниками были астроном и физик аббат Ля-Кай, известный геолог и минералог иезуит Геттар, химик-экспериментатор Руэлль-старший.

Первым успехом молодого ученого-естественника можно считать его победу «в конкурсе фонарей»... В год, когда Антуан торжественно облачился в адвокатскую мантию, Королевская Академия Наук объявила конкурс на тему «Найти наилучший способ ночного освещения улиц большого города, соединяющий в себе яркость освещения, легкость обслуживания и экономичность» (1764). Это была самая насущнейшая проблема столицы. Ведь, даже свет, излучаемый «королем-солнце», не мог рассеять того ужаса и мрака, что царили в те времена на улицах и площадях Парижа, напоминавшего собой скорее унылое и печальное кладбище. Редкие фонари со свечами гасли через час-другой и только усугубляли безрадостную картину. О том, что представлял собой тогдашний Париж, вы знаете из воспоминаний Н. Карамзина. Однако тут уместнее напомнить слова другого русского писателя, Д. И. Фонвизина, сообщавшего родным из «столицы мира»: «Париж может по справедливости назваться сокращением целого мира. Сие титло заслуживает он по своему пространству и по бесконечному множеству чужестранцев, стекающихся в него со всех концов земли. Жители парижские почитают свой город столицей света... Зато нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно... на скотном дворе у нашего доброго помещика чистоты гораздо больше, нежели пред самыми дворцами французских королей».^[189]

Лавуазье как раз и взялся за решение этой важной и насущнейшей задачи. Дело было не только важным, но и весьма почетным. Власти Франции уже не могли себе позволить, чтобы Париж, куда съезжались иностранцы со всего света, выглядел мрачно-грязным, как это бывало на протяжении многих веков, когда от деда к внуку передавалась поговорка: «Он пристаёт, словно парижская грязь». Передвигаться по такому городу было трудно и опасно (в вечерние часы пешеход мог попасть под колеса мчавшейся кареты или в спину ему запросто могли всадить нож). К тому же, извечная соперница, Англия, уже имела

добротные тротуары и фонари. Так что «фонарный вопрос» стал делом и национального престижа. Власти решили установить в Париже несколько тысяч фонарей... В лице Лавуазье Франция обрела не только «отца светотехники», но и провозвестника новых технических знаний.

В 1768 г. Лавуазье избирают в Академию Наук. В 1782 г. он пишет сочинение, в котором, по сути дела, нашли выражение будущие методы использования кислородного дутья в технике («Мемуар о способе значительного усиления действия огня и тепла в химических операциях»). Вскоре он изобрел некий «аппарат для маневрирования различными видами воздуха» (вместе с инженером Менье). Таким образом, Лавуазье стал изобретателем первого в мире практического аппарата для кислородного дутья. Этим его заслуги перед наукой не ограничились. Написав «мемуар о транспирации», он вторгся в биологию и медицину, изыскивая «причины большого числа болезней». Русский ученый И. М. Сеченов, отмечая в 1894 г. заслуги Лавуазье, называл его человеком «с умом глубоко проницательным, точным и прямолинейным»: «Ему больше, чем кому-нибудь, принадлежит великая заслуга систематического приложения физико-химических способов исследования к области биологии». Лавуазье низвергал любые ложные кумиры науки, не взирая на авторитеты. Так было и с некогда модным «витализмом». Поэтому столь высоко оценил деятельность французского ученого и К. А. Тимирязев: «С той поры, как дыхание, – эта, казалось, сущность жизни, – было сведено гением Лавуазье на химико-физический процесс, витализму был нанесен роковой удар».

Представляется весьма важной и та роль, которую он сыграл как один из идеологов роста фундаментальных научных знаний. Подчеркивая исключительное значение наук для дальнейших судеб человечества, сам Лавуазье говорил: «Вовсе не необходимо, для того чтобы заслужить благодарность человечества и выполнить свой долг перед родиной, быть призванным к исполнению публичных и громких обязанностей по организации и возрождению государств. Физик в тиши своей лаборатории и своего кабинета может также выполнять свои патриотические функции: он может надеяться уменьшить, посредством своих работ, массу горестей, досаждающих человеческому роду и увеличить его радости и его счастье. И если бы

это удалось, благодаря открытым им новым путям, удлинить среднюю продолжительность человеческой жизни лишь на несколько лет, даже на несколько дней, разве он не мог бы также претендовать на славное звание благодетеля человечества». [\[190\]](#)

Эпоха Просвещения, как вы могли уже убедиться, сделала из образования своего рода культ, Верховное Божество. Когда еще министр Тюрго (при Людовике) создавал проект конституции, он в ней прежде всего говорил о значении образования, потом о роли коммун, уж затем – государства... Все умные люди понимали, что влияние образования и воспитания в долгосрочном плане оказывается куда более сильным и прочным, чем действие всяких прочих законов. Историк Мишле писал в середине XIX в.: «Я слишком хорошо знаю историю, чтобы верить в силу законов, если их введение недостаточно подготовлено, если люди заблаговременно не воспитаны так, чтобы любить законы, хотеть их иметь... Не столько законами укрепляйте принцип законности, прошу вас, сколько воспитанием: сделайте так, чтобы законы были приемлемы, возможны; воспитайте людей, и все будет хорошо». [\[191\]](#)

Во Франции в посленаполеоновскую эпоху произошли перемены в образовании. Университету вернули его название (1822). Глава Университета (великий магистр) стал «министром духовных дел и народного просвещения». Университет занял одно из самых важных мест в системе других государственных учреждений. Отныне это была сфера (или «отрасль») центральной власти, мозговой центр ее «орудий властвования». В 1830 г. произошло и другое знаменательное событие – отделение высшей школы от церкви. Университет включал ныне и все ступени образования (высшее, среднее и низшее). Высшее образование давалось на богословском, юридическом, медицинском, естественном, литературном факультетах. Правда, более или менее процветали тогда лишь юристы (3000 слушателей в 1814 г.) и медики (1200 слушателей). Естественный и литературный факультеты в те времена почти не имели слушателей. Плюсом было уже то, что эра строгостей миновала. Возник эмбрион Нормальной школы. Однако были и минусы. Если высшей школой власти еще интересовались (попытки основать в провинции четыре-пять крупных центров), то среднее образование оставалось таким же, как и во времена Империи (лицей получили лишь новое название – коллежи).



Дж. Рейтер. Будущие солдаты. 1848.

Внесен законопроект, цель которого обеспечение большей свободы образования (1835). Политехническая школа, закрытая на время из-за опасений ее чрезмерного свободомыслия, перешла в ведение министерства внутренних дел, а затем военного ведомства. Но разве призвание инженера в том, чтобы ходить строем и четко исполнять военные команды?! Кстати говоря, когда выпускники Политехнической школы без особого восторга отнеслись к факту провозглашения Наполеона императором и даже отказались приносить тому свои поздравления, тот чуть не прикрыл школу. Тогда их директор, отважный и мудрый Г. Монж, выступил в защиту своего детища. «Однако твои политехники открыто воюют со мною», – недовольно заметил император. На это Монж ему ответил так: «Государь, мы долго старались сделать их республиканцами, дайте им, по крайней мере, время превратиться в империалистов. Вы поворачиваете слишком круто»... Повороты в ориентации молодежи следует делать крайне осторожно, иначе могут сбиться с курса, а то и вообще потеряются в океане жизни.

Создан ряд специальных учебных заведений (вне рамок Университета). В 1819 г. происходят преобразования и в Школе изящных искусств и Консерватории искусств и ремесел. Возник дополнительно ряд высших учебных заведений: Школа хартий (Ecole

des Chartes) для изучения отечественных древностей (преобразована дважды – в 1829 и 1846 гг.), Центральная школа искусств и мануфактур (1829) для подготовки гражданских инженеров, две Школы искусств и ремесел, Французская школа (в Афинах) для изучения греческого языка и древностей, наконец, «всеобъемлющее выражение французской научной мысли» – Французский институт, состоявший из Французской академии и Академии моральных и политических наук. Знаменитую «Эколь Нормаль» вскоре станут называть «инкубатором интеллигенции». В ее стенах немало будущих талантов Франции получают возможность, говоря словами французского математика Ж. Пуанкаре, «восторгаться изящной гармонией чисел и форм». [192]

Некоторый прогресс заметен и в области среднего и начального образования. Министр образования Ф. Гизо в 1833 г. провел в жизнь закон, создавший весьма эффективную и надежную для того времени систему обучения. Каждая коммуна обязана была содержать светскую или конгрегационную школу на свои средства или сообща с другими коммунами. Учителя народных школ должны были в обязательном порядке иметь аттестат учителя, в противном случае государство просто не допустило бы их в классы. Кроме того, по закону местные власти обязаны были предоставить им квартиру и жалованье, обеспечить пенсией.

Восхищение, преклонение перед учителем, профессором в крови у поколений французской интеллигенции. Р. Роллан, хотя и отвергал мысль о возможности своей преподавательской деятельности (считая, что нет таланта), тем не менее, охотно признал: «Преподавание – благороднейшее дело, и я понимаю, что, несмотря на все его трудности, оно может доставлять большую радость тому, кто умеет пробуждать молодые умы. Я помню, чем обязан своим учителям. Порой довольно одного случайно оброненного слова учителя, и вся наша жизнь озаряется новым светом! А ведь казалось, его как следует и не слушал или над ним смеялся! В ту минуту этого слова как будто и не заметил. И лишь много лет спустя обнаруживаешь в себе его плоды. Я люблю и с уважением отношусь к добрым служителям просвещения. Они создают кадры для армии духа. Думаю, что и сам тоже служу в рядах этой армии». [193]

Пройдет немного времени – и кропотливая работа поколений французских профессоров, ученых, преподавателей превратит Францию в одну из самых передовых и культурных стран мира. Если английский школьный учитель победил при Ватерлоо, немецкий – под Седаном, то французский одерживал сокрушительные победы в ходе культурных битв XIX века. Это было тем более важно, что ученый-гуманитарий является не только воспитателем, но и «главным терапевтом нации». Франция потерпела весьма ощутимое, болезненное поражение от Германии (1870), результатом чего стал беспрецедентный моральный кризис общества. Кто же в состоянии восстановить надломленный дух великой нации? Прежде всего историк, философ, деятель культуры. Чрезвычайно показательно, как вели себя французы в условиях поражения. Если в России столичная интеллигенция (в основе своей, русофобская) устроила после 1991 г. шабаш и пляску Святого Витта (напоминающие скорее танец «шесть-сорок»), торжествуя и кликушествуя по поводу поражения, разгрома СССР и России, то французская интеллигенция встала на защиту отечества. И решающую роль в битве за Францию сыграли видные историки (Ж. Мишле, Э. Лависс, Г. Моно, И. Тэн, Э. Ренан и др.). Они не побоялись поднять знамя историзма и национализма (в лучшем смысле этого слова). Вот как сказал об этой битве за честь родины директор Высшей школы исследований по социальным наукам Жак Ревель: «Существенную роль роль в успехе реформы сыграла история как предмет, и не только потому, что историки занимали заметное место в выработке новой политики в сфере высшего образования. Эта дисциплина играла важную идеологическую роль на протяжении XIX в., давая пищу самым различным и противоречивым общественным настроениям эпохи: ностальгии, пророчествам, сциентизму. Однако во Франции травма, вызванная военным поражением, оказала особое влияние на историческую дисциплину. История стала хранилищем оскорбленной национальной гордости, ее целью стало содействие гражданскому перевооружению нации. Лависс в этом смысле представлял своего рода воплощение союза исторической науки с политическими воззрениями Третьей республики в критический период жизни страны: он был не просто одним из духовных отцов «новой Сорбонны», но и автором знаменитой серии учебников по истории для начальной школы,

крестным отцом грандиозной «Истории Франции» – полуофициального пособия по национальной истории. В период, когда страна сомневалась в себе и обязана была найти в прошлом источник возрождения уверенности, историописание было поставлено на службу учителю. Помимо прочего, идеологическому влиянию истории в неменьшей степени содействовал и академический престиж, которым она пользовалась». [\[194\]](#)



Дж. Райт. Философ читает лекцию. 1765.

Сможет ли российская историческая наука, когда придет момент истины и народ потребует у нее ответа на вопросы, сказать: «Да, я сделала все возможное и невозможное, защищая Россию, СССР против лжи и ненависти?»

...Разрушаются некогда прочнейшие перегородки между отдельными науками. Возникают новые специальности и направления. Умножается число научных терминов. Заметно больше стало и профессиональных ученых. Высшее образование стало сближаться с потребностями науки и производства. Писатель П. Анненков (в Париже) с изумлением отмечает удивительные перемены, происходящих в Сорбонне, определяя их как «нечто серьезное» (1847).

«В Сорбонне произошло нечто посерьезнее. Знаменитый Дюма (ученый-химик), вероятно, уже снесясь с администрацией, предложил от собственного имени (совету) факультета des Sciences, где он старшина, просить совет университета об образовании третьего факультета – механических искусств, ремесел и земледелия, студенты которого могли бы получать все ученые степени первых двух факультетов. Так и сделано. Вы понимаете («друг мой»), что утвердительный ответ на эту просьбу будет одним из самых важных происшествий нынешнего года во Франции. Впервые промышленность и земледелие станут наравне со всеми другими научными занятиями, почислятся детьми современной цивилизации, и снимается с них последнее урекание в корыстности и неблагородстве, оставшееся от средних веков... Едва разнесся слух о нововведении, как партия («National») объявила, что им оскорбляется величие науки, принужденной заниматься теперь торгашами, спекулянтами, фермерами вместо того, чтоб смотреть в небо, открывать идеи, совершенствовать человечество».

[195]

Эпоха в культурно-просветительском отношении представляет собой довольно впечатляющее, хотя и противоречивое зрелище. Миллионы людей, до того ни разу не державшие в руках книги, начинают читать и получать от чтения большое удовольствие. В это же время, как отмечали другие, несмотря на то, что были сделаны выдающиеся физические, химические и биологические открытия, открывателей и провозвестников нового нередко встречали в штыки, бросали в тюрьмы или осмеивали. Несмотря на активное применение в медицине новых лечебных средств, в Европе и в XIX в. еще было немало стран, где духовенство и знахари, как ни в чем ни бывало, продолжали изгонять из больных бесов, врачую их главным образом молитвами и ладанками. Люди умные и одаренные стремились вперед, тогда как отсталая масса, косная в силу своей инерции, тянула общество назад, сковывая и ополчаясь на таланты, стараясь избавиться от них любым способом. Эти тенденции и противоречия мы наблюдаем почти повсюду – в Англии, Испании, Франции, Австрии, Германии, Италии.

Ранее уже говорилось о большом, позитивном вкладе церкви в мировую культуру и цивилизацию, но в её действиях известны примеры иного рода. Когда религии много, это создает проблемы. Как

пишет Л.М.Баткин, в XIV–XV вв. итальянское духовенство было многочисленным. В Италии (без Сицилии, Сардинии и Корсики) насчитывалось 266 епископств, из них 109 на Севере и в центральной части страны (без Рима), в то время как в Германии, Франции, Англии, Шотландии, Испании и Португалии, вместе взятых – 267. Во Флоренции в XIV в. духовенство составляло 3 % населения, в то время как в Англии в 1377 г. – 1,5 %.^[196] Несомненно то, что засилье духовенства сыграло свою роль в декадансе, а затем и в распаде Италии. Подчеркнем и еще одно: ведущие страны Европы, вероятно, не случайно сделали мощный рывок вперед в области науки, промышленности и техники. Ведь здесь влияние церкви было гораздо меньше, нежели на юге Европы (в Италии, Испании, Португалии).



П. Берругете. Инквизиция.

Инквизиция запрещала смелые, яркие, интересные произведения. В Испании всех тех, кто преступал этот запрет, выставляли к позорному столбу, били кнутом и бросали в темницу, а в монархии Габсбургов даже крупных чиновников увольняли, если было доказано, что они читают запрещенные сочинения. Многие выдающиеся деятели культуры решительно противились реакционному духовенству (Гойя). Один из самых серьезных протестов против церковного воспитания

прозвучал и из уст Виктора Гюго, говорившего, что свет цивилизации можно потушить лишь двумя способами – нашествием солдат или нашествием священников. Если первое угрожает матери-Родине, то второе – нашему Будущему (ребенку).

Полагаю, что в тут вполне уместно привести и слова английского мыслителя и публициста Э.Бёрка (1729–1797), известного своими «Размышлениями о французской революции»(1790). В сочинении «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1757) он указал на те препятствия, что всегда мешали Просвещению: «Для того чтобы сделать любую вещь очень страшной, кажется, обычно необходимо скрыть её от глаз людей, окутав тьмой и мраком неизвестности (obscurity)... Те деспотические режимы правления, которые держатся на аффектах людей, и главным образом на аффекте страха, прячут своего главу насколько можно дальше от глаз народа. К тому же самому во многих случаях прибегали и в религии. Почти все языческие храмы были погружены во мрак»... [197]

Таково же было и мнение Гюго. Религии не объединяют, а разобщают людей. У каждой из них своя истина и каждая считает ее наипервейшей, не останавливаясь перед казнями, преступлениями ради ее возвеличивания (примеров тому немало – «Варфоломеевская ночь» во Франции, жестокость Кальвина и Лютера, инквизиция в Испании). Истина Талмуда враждебна истине Корана, католик ненавидит протестанта и т. д. и т. п. В итоге, будучи сами по себе, возможно, очень неплохими людьми, церковники тем не менее «плавают в волнах этой взаимной ненависти». К тому же, истина, как признают они сами, зачастую скрыты от непосвященных глаз. Отсюда частые столкновения между верой и рассудком. Церковь стремится одержать верх в споре идей и обрести новые сферы влияния. Как этого добиться? «Захватить в свои руки народное образование, завладеть душой ребенка, формировать по-своему его сознание, начинять его голову своими идеями – таков способ, применяемый для этой цели; и он ужасен. У всех религий одна задача – силой завладеть душой человека» (В. Гюго). Силой или обманом... Будьте уверены, что там, где они воцаряются всевластно, несправедливость, ложь и угнетение простираются буквально usque ad caelum (лат. «до самого неба»).

Эта опасность угрожала и Франции. Бог дал человеку способность к познанию, но церковь вламывается в слабую детскую душу и воспитывает в ней «веру в заблуждения». (Веру в заблуждения, как известно, столь же эффективно может насаждать и государство, так что и оно не является бесспорным гарантом истины). В этом вопросе нужен разумный и сбалансированный подход. Гюго, следуя за Голбахом, считает: церкви нельзя доверять воспитание народа. Сам священник вполне может быть человеком искренним, достойным, убежденным, знающим. Но, глядя на итоги обучения и воспитания этой системы, видим и серьезные пробелы и просчеты. Хотя мы и не вправе умолчать о триумфах и успехах святых отцов в деле воспитания (вспомним достижения протестантов, иезуитов, нашей православной церкви).

Надо, конечно, иметь в виду и то обстоятельство, что люди не нашли еще безошибочного способа обучения и воспитания. Сей процесс подобен изготовлению высокосортной стали. Всегда были, есть и будут «отходы» и «брак». Как нельзя требовать от простого клирика быть большим святошей, чем папа Римский, так нельзя к обычному церковному учителю предъявлять требования быть св. Франциском, Руссо, Паскалем и Ньютоном одновременно.

В. Гюго говорил и о другом. Его особенно волновало то, что церковь зачастую насаждала духовную и интеллектуальную несвободу. Он писал: «Воспитание, осуществляемое духовенством, означает осуществляемое духовенством правление. Правление этого рода осуждено. Это оно воздвигло на величественной вершине прославленной Испании ужасный алтарь Молоха – кемадеро Севильи. Это оно создало после античного Рима папский Рим – чудовищное удушение Катона руками Борджа... Правители-священники оказываются несостоятельными с обеих точек зрения: вблизи видишь их пороки, сверху видишь их преступления. Они держат взрослых в тисках, они накладывают свою лапу и на детей. Историю, которую творил Торквемада, излагает Лорике. Вершина – деспотизм, основание – невежество».^[198]

Далеко не со всем в этой филиппике Виктора Гюго можно согласиться... Но нельзя не признать, что в них все же есть существенная доля истины. Мы не раз еще убедимся в том, что устами священников глаголет тирания, а с амвонов идет несусветный обман

униженных, попранных и обобранных. Примеров тому немало и в XIX веке... Более того, в середине века папизм, как писал Э. Геккель, сбросил «старую маску поддельной просвещенности» и объявил независимой науке решительную войну не на жизнь, а на смерть. Тогда им были предприняты три мощные наступательные кампании, целью которых было восстановить свою пошатнувшуюся власть и свой авторитет в массах. Первой акцией стало обнародование декрета «о непорочном зачатии Марии» (1854). Десять лет спустя, в 1864 г., папа публикует энциклику, где объявляет «полное проклятие всей современной цивилизации и духовной культуре» (в приложении он перечислял отдельные достижения разума, философии, наук). Еще через шесть лет князь церкви изрек и самое последнее слово «христианской истины». Ватикан торжественно объявил о непогрешимости всех пап в истории церкви, включая и ныне живущих (1870). При этом на Ватиканском совете три четверти из присутствовавших князей церкви (451 из 601) дружно проголосовали за догмат непогрешимости церковной власти. [\[199\]](#)

Однако в конце XIX века уже и бастионы церкви выглядят не столь несокрушимыми. О возросшем авторитете знаний и точных наук свидетельствует случай, описанный в книге русского ученого Ф. Зелинского «Из жизни идей». Вот что произошло (в XVIII в.) с неким берлинским пастором. Тот, будучи в дружеских отношениях с великим математиком и механиком Эйлером, однажды пожаловался ему на плохое внимание прихожан к проповедям. Он поведал ученому о том, каким образом он общался со своей паствой в ходе проповеди: «Я представил им мироздание, с его самой прекрасной, самой поэтической, самой чудесной стороны; я приводил древних философов и даже библию; и что же? Половина моей аудитории меня не слушала; другая половина дремала или оставила храм». Иначе говоря, старые методы обучения и назидания не помогали. «Что делать?» – спрашивал он, чуть не плача.

Эйлер посоветовал изобразить мироздание не по библии или другим древним источникам, а по данным новейшей астрономии. «Скажите им, – говорил он, – что по точным, не допускающим сомнений вычислениям наше солнце в миллион двести тысяч раз больше земли... Планеты в вашем изложении только своим движением отличались от неподвижных звезд; предупредите ваших слушателей,

что Юпитер в тысячу четыреста раз больше Земли, а Сатурн – в девятьсот...» Названы и другие поражающие сознание прихожан цифры. Пастор последовал совету Эйлера. Итог был внушителен. Но потом пастор сокрушенно сказал Эйлеру: «Люди позабыли о почтении к святому храму: они провожали меня аплодисментами!»

Ф. Зелинский не разделял восторгов этих «неофитов науки», говоря: «Трудно сказать, как отнеслась бы античная аудитория к первой проповеди нашего пастора; зато несомненно, что на второй она бы заснула. С ее точки зрения, только грубый, варварский ум может приходить в восторг от одной громадности цифр, от этого серого тумана бесконечности, в котором всякий образ, всякий цвет расплывается, в котором ничто не дает пищи ни нашему воображению, ни нашему сердцу. Если мы справедливо видим признак упадка художественной эстетики в увлечении колоссальными формами, то мы с таким же правом можем признать упадком – не науки, разумеется, а научной эстетики, если этот термин допустим, – это бессмысленное преклонение перед миллиардами миллиардов простых и кубических миль...»^[200]

Тем не менее столь важный, кардинальный сдвиг акцентов в убеждениях и настроениях людей симптоматичен. Письмо Флобера к некой де Женетт (1878) одно из бесчисленных свидетельств такого рода. В нем он как нечто вполне естественное констатирует, что смерть папы не произвела абсолютно никакого впечатления на общество... «Церковь ныне утратила значение, какое ей придавалось когда-то, и папа перестал быть Святым Отцом. Лишь небольшое число светских лиц составляет ныне церковь. Академия наук – вот вселенский собор, и смерть такого человека как Клод Бернар (авт. – известный французский физиолог и патолог, один из основоположников экспериментальной медицины), куда важнее кончины престарелого господина вроде Пия IX. Толпа превосходно понимала это во время его (Клода Бернара) похорон! Я присутствовал на них. Было как-то благовейно и очень красиво!»^[201]

Яростные споры вокруг места и роли образования, культуры, религии в судьбе народа понятны. Веками тупость, алчность, невежество соседствовали с прогрессом, ведя с ним непримиримую борьбу. Оттого Гегель столь расплывчато и объясняет смысл «образования»: «Образование является, правда, неопределенным

выражением. Но более точный его смысл состоит в том, что то, что должно быть приобретено свободной мыслью, должно проистекать из нее самой и быть собственным убеждением. Теперь уже не верят, а исследуют; короче говоря, образование – это так называемое в новейшее время просвещение».

Во Франции (как и в Европе), несмотря на заметные успехи наук и высшей школы, средняя школа, особенно в глубинке, продолжала пребывать в полусне. В середине XIX в. еще немало учителей, подобных бальзаковскому дядюшке Фуршону («Крестьяне»). Будучи учителем в Бланжи, он потерял свое место «вследствие дурного поведения и своеобразных взглядов на народное образование». Он охотнее и чаще помогал ребятишкам делать из страниц букварей кораблики и петушков, нежели обучал их чтению... Когда же его любезные чада воровали фрукты, он истово, хотя и весьма оригинально, брал их, не забывая при этом поделиться воспоминаниями о своем искусстве в этой области. Его наставления скорее походили на уроки на тему «Как ловко и быстро обчистить чужой сад?» Беседы же его с учениками служили верхом античной, буколической простоты... Однажды, как пишет Бальзак, в ответ на попытку мальчугана, опоздавшего в школу, оправдаться: «Да я, господин учитель, гонял по воду телят», Фуршон возмущенно произнес: «Надо говорить: «телят», животная!»

Среди академиков и чиновников министерств полно людей, имевших формальное отношение к науке и образованию. Они чем-то напоминают одного из героев Мопассана, что с детских лет мечтал об ордене. Хотя даже его жена, к которой тот обратился с вопросом «Не удостоят ли меня знака отличия по народному просвещению?», с крайним удивлением заявила ему: «По народному просвещению? А что ты для этого сделал?» («Награжден»). Эти слова вполне можно обратить и к некоторым бывшим российским министрам образования. Вспомним, что и об иных академиках тогда говорили так: «Они обладают хорошим желудком, но плохим сердцем». Вдобавок, иные из них еще и продажны... Как знать, возможно, Бриссо и Спиноза были правы. Первый сравнивал академии с аристократиями, тормозящими полезные нововведения и начинания, видя в них лишь царство мелких интриг. От академиков страдали Бейль, Гельвеций, Руссо, а Спиноза писал: «Академии, основываемые на государственный счет,

утверждаются не столько для развития умов, сколько для их обуздания. Напротив, в свободном государстве науки и искусства достигают высшего развития тогда, когда каждому желающему разрешается обучать публично, причем, расходы и риск потери репутации – это личное дело». Разделял некоторые из этих опасений и Ж.-П. Марат, считавший, что значительная часть научной «знати» выродилась в касту, обслуживающую власть.

Если для красивой и пустой девицы великим соблазном являются экран или подиум, то для ученого опасной искусительницей стала Академия... К ее стопам готовы прильнуть тысячи и тысячи слуг науки... Она – высший жрец, который определяет, кому вознестись в лучах славы, а кому стать жертвой. Во всем мире после того, как академии вошли в моду, многие стали домогаться их ласк. Хотя были и такие, о которых Альфред де Виньи (шедший и сам на всяческие унижения, дабы заполучить титул академика) говорил: «Но в наши дни вряд ли кто-нибудь даст за это такую цену». Все перипетии этих страстей познал и французский писатель А. Доде. Интриги и возня, которыми сопровождался процесс выбора в члены Академии, вызвал у него отвращение. Он опубликовал в «Фигаро» письмо: «Я не выставял, не выставяю и никогда не выставяю своей кандидатуры в Академию». В итоге появился роман «Бессмертный» (1888). Хотя академиком так называли, но Доде понимал: бессмертие даруют боги, а не люди! В черновой тетради, относящейся к роману, Доде делает такую заметку: «В академическом романе прежде всего дать почувствовать ничтожность всего этого. Полную ничтожность. А ведь это стоило стольких усилий, низостей, мешало говорить, думать, писать. И все, едва они туда попадут, испытывают то же чувство пустоты, не скрывают его от самих себя, строят из себя счастливых, твердят повсюду: «Даже представить себе нельзя, как это прекрасно» – и подыскивают, вербуют новых приспешников. Комедия, которую они ломают для окружающих. Это еще и идолопоклонство женщин, которые создали их, ползанье на брюхе перед куском дерева, из которого они своими руками вырезали бога».^[202]

Проблемы науки тем не исчерпывались... Центробежные силы разбросали ученых по различным направлениям наук. Тенденции к специализации вели к тому, что вместо чувства всеобщности явственнее стала обозначаться дискретность научного знания. Ученые

стали разбредаться по отдельным направлениям и разделам, как дервиши в пустыне. В годы, казалось бы, всеобщего подъема науки английский ученый Ч. Бэббидж публикует книгу «Размышление о закате науки в Англии» (1830). Он высказал серьезную озабоченность тем, что возникающая узкая специализация неизбежно затруднит взаимопонимание ученых, в результате чего возрастут разобщенность и отчуждение между научными дисциплинами. Так может исчезнуть наметившееся коммуникативное единство наук и увеличиться разрыв между наукой и высшей школой. При этом неминуемо пострадают промышленность и торговля. Надо отдать должное английским предпринимателям и бизнесменам, быстро осознавшим всю серьезность возникшей угрозы (для их прибылей и стабильности экономики).

Тогда-то в спешном порядке была создана Британская ассоциация развития науки (1831). Её главная задача – способствовать популяризации знаний и выработать критерии научности... Если Лондонское Королевское общество (Академия наук) являлось как бы «палатой пэров» Англии, то данная Ассоциация должна была выполнять роль «нижней палаты». С ее помощью намеревались дать мощный импульс и развитию естественнонаучного образования. Вскоре в английских колледжах и университетах началась перестройка преподавания естественных наук и математики. Многие ведущие ученые страны выступили в защиту научного воспитания, выпустив сборник «Новейшее образование. Его истинные цели и требования» (в числе авторов – М. Фарадей, В. Уэвелл, Д. Тиндаль и другие). В английском обществе постепенно стало формироваться то, что позже назовут «научным сознанием». В то же время сделаны попытки расширить круг лиц, проявивших повышенный интерес к научным изысканиям. Так, английский астроном Джон Гершель (1792–1871) в «Философии естествознания» прямо и откровенно заявит: знания не смогут развиваться должным образом, если круг их адептов чрезмерно ограничен. Верно и точно сказано... Ведь, знание, как и красивая женщина, вянет, если на него не устремлены вожаделенные взоры многих поклонников.

Гершель писал: «Оно (знание), может быть, не приобретет высшей степени достоверности от всеобщего содействия, но приобретает по крайней мере большое доверие и становится

прочнее... По мере того как число занимающихся отдельными отраслями физического исследования увеличивается и все более и более распространяется в различные страны земного шара, необходимо соответственное увеличение легкости в сообщении и взаимном обмене знаний». Предложено создать ряд важных специальных учреждений, способствующих развитию и прогрессу наук, а также изданию книг, научных журналов, рефератов и учебников.^[203]

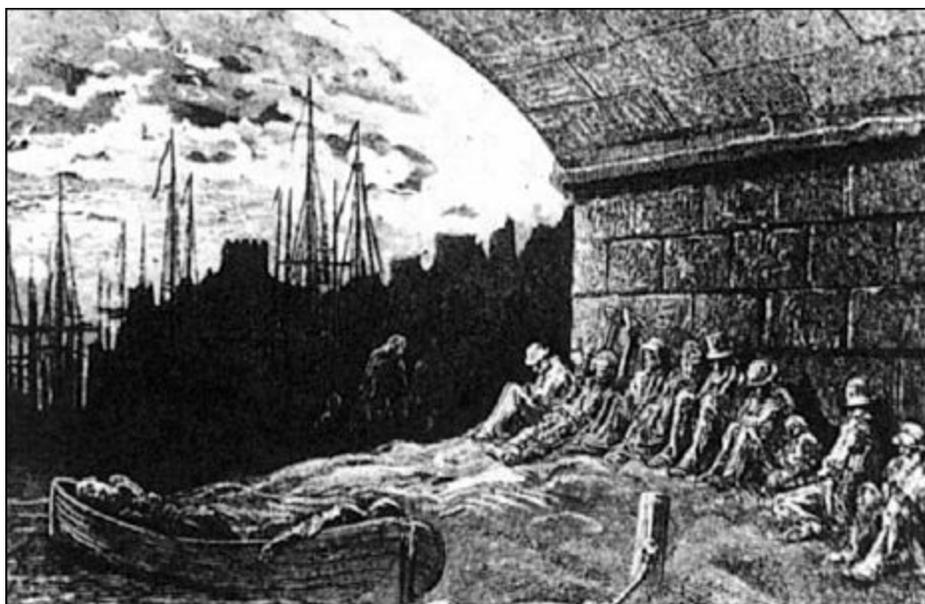
Казалось бы, англичане, столь ярко проявившие себя в самых разных областях, просто обязаны были безоговорочно лидировать и в образовании. Однако это не везде было так. Традиционные учебные заведения становились (в известном смысле) даже препятствием для подлинного образования. Препятствуя всему новому, они всячески мешали улучшению содержания программ и внедрению новой учебной методы. Столь похваляющиеся своей грамотностью высшие классы «не умели писать сколь-либо грамотно» и были убеждены, что правописание является никчемным педантством. Почти до середины XIX в. даже многие зажиточные фермеры и люди их класса не умели ни читать, ни писать. Фанатическая вера в специализацию обучения со временем также сыграет довольно злую «шутку» с британской наукой и высшей школой. По мнению писателя Ч. Сноу, ахиллесовой пятой английских университетов стало то, что образование здесь на протяжении многих лет получали лишь по одной строго ограниченной специальности (математика, древние языки, литература, естественные науки). «Математический трипос», конкурсные экзамены по математике, держались в Кембридже с XVIII в. Да и прогресс в обучении бесспорно мог бы быть заметнее. Лекции Гексли были недоступны «низшему сословию». Уровень подготовки учителей, их педагогическое мастерство также весьма далеки от совершенства. Слова Попа, обращенные к учителям, казалось, падали в пустоту: «Нужно учить людей так, чтобы они не замечали, что их учат, а думали, что они только вспоминают, забытое ими». Усилия графа Румфорда учредить институт для подготовки механиков (в конце XVIII в.) создали фактически «игрушку для снобов». О техническом образовании речь всерьез не шла до начала XX в. Общение ученых также продолжало осуществляться преимущественно в рамках «невидимого колледжа».^[204]



В трущобах Лондона.

XIX век стал свидетелем появления и некоторых новых черт, что далеко не всем могли нравиться. Как известно, в Англии в первой трети XIX в. пребывал в качестве посла Франции писатель Ф. Шатобриан (1768–1848). Он тогда считался одним из высших литературных авторитетов Европы. Его ностальгический взгляд на Британию свидетельствовал о значительных переменах в жизни англичан: «Обозревая историю Альбиона, вспоминая знаменитостей,

которых родила английская земля, и видя, как все они один за другим уходят в небытие, я испытываю горестное смятение. Что случилось с теми блестящими и бурными эпохами, когда на земле жили Шекспир и Мильтон, Генрих VIII и Елизавета, Кромвель и Вильгельм, Питт и Берк? Все это в прошлом; гении и ничтожества, ненависть и любовь, роскошь и нищета, угнетатели и угнетенные, палачи и жертвы, короли и народы – все спит в тишине, все покоится во прахе... Сколько раз в течение какой-нибудь сотни лет Англию разрушали! Сколько революций довелось ей пережить, пока не настала пора самой великой и глубокой революции, действие которой продлится и в будущем! Я видел прославленный британский парламент в пору его расцвета: что станет с ним? Я видел Англию в ту пору, когда в ней царили старинные нравы и старинное благоденствие... Ныне над лугами стелется черный дым заводов и фабрик, тропы обратились в железнодорожные колеи, по которым вместо Мильтона и Шекспира скитаются паровые котлы. Рассадники наук, Оксфорд и Кембридж, пустеют: их безлюдные колледжи и готические часовни производят удручающее впечатление; в их монастырях рядом со средневековыми надгробьями покоятся в безвестности мраморные анналы древних народов Греции – руины под сенью руин». ^[205] Из картины, нарисованной им, было ясно: многое менялось в повседневной жизни и обычаях Великобритании.



Бездомные бродяги под мостом Ватерлоо.

При всем «ущемлении бедностью» наиболее способные ученики из бедных семей попадали в английские школы и вузы. Бедняки знали, как писал Арнольд Тойнби, что нужно заслужить право на стипендию, ибо их родители не имели возможности поддерживать их материально в дальнейшей жизни. Это означало, что для продолжения учебы необходимо было добиваться незаурядных успехов. Выходцы из низов обычно остро ощущают и переживают ущербность своего положения, что заставляет их совершенствоваться и развивать интеллектуальные способности. «Таким образом, бедность – это постоянно действующий стимул к преодолению трудностей, если не считать тех случаев, когда стимулирующим фактором являются честолюбие, корпоративный дух или интеллектуальные искания личности. Честолюбие, корпоративный дух и интеллектуальные искания – дары богов. В английском университете можно заметить, что студент, зачисленный решением совета графства, ущемленный в социальном плане, учится еще старательнее, чем ученик общественной школы, ущербность которого сводится лишь к его экономическому статусу».^[206] Post scriptum. Бедность, возможно, в иных случаях и была стимулятором. Но общий ее итог плачевен, трагичен и ужасен.

Поэтому большое значение приобретал социальный аспект образования. Попытки буржуазии ограничить образовательную и культурную тягу народа натолкнулись на упорное сопротивление чартистов и профсоюзов. В резолюции чартистского Конвента (1851) были, к примеру, выдвинуты такие требования: обязательное бесплатное среднее и высшее образование, создание технических школ взамен ученичества, открытие промышленных школ для рабочей молодежи, отделение школ от церкви. Как ранее отмечалось, те же принципы проповедывали радикальные слои французских революционеров и мыслителей. Это вынудило буржуа в Англии дать выход благотворительной деятельности (смесь забытой совести и страха).

Изменения частично затронули и положение женщин, хотя известно то пренебрежение, которое долгие годы ощущали женщины со стороны «сильной половины человечества». О, разумеется, в их адрес сказано немало высокопарных и, казалось, искренних фраз. «Без женщин заря и вечер жизни были бы беспомощны, а ее полдень – без

радости» (Буаст). Но улучшило ли это хотя бы на йоту их положение? Нужно ли доказывать, что в рассматриваемую нами эпоху буржуазия вовсе и не думала превращать дам в героинь. Успехи их на ниве образования также довольно скромны. И в XIX в. к женщинам можно было отнести слова Шекспира, говорившего, что в его времена дамы считали «низостью уметь хорошо писать».



Ж. Беро. Велосипедная станция в булонском лесу.

Нелишне взглянуть шире на положение женщин в те времена. Даже в передовых странах Европы (Англия и Франция) общий уровень их жизни и образования низок. Отмечалось их всеобщее недоедание и малый вес. На фабриках этих стран женщины-работницы считались самой низкой из каст. Феминистка Х. Робинсон писала: надзиратели смотрят на нас «как на животное, на рабу, с которой можно было обращаться как угодно – толкать, щипать, бить». Жили женщины тогда недолго, в брак вступали поздно – между 25–28 годами. Выйдя замуж, они оказывались вынуждены тянуть лямку до могилы. Реальность была довольно мрачной.

Хотя условия существования женщин в различных общественных слоях и разных странах отличались (дворяне, буржуазия, крестьянство, ремесленники, рабочие), существовали и региональные различия. Так, положение женщин-крестьянок на юге Франции, на юге Средиземноморья, было более подчиненным и даже подневольным. Там в ходу были пословицы: «Шляпа должна командовать чепцом»

или «Недостойн быть мужчиной тот, кто не является господином своей жены». В Бретани и Лотарингии женщины играли более заметную роль в рыночных и семейных отношениях, что сказывалось и на их положении. Само понятие «материнства» возникло довольно поздно (в конце XVIII-начале XIX вв.). Дети воспитывались в крестьянской среде главным образом как работники. Они учились в поле, за ткацким станком и веретеном, «не столько говоря и слушая, сколько непосредственно участвуя».

Но если представительницы высших и средних классов все же как-то еще проявляли некоторый интерес к образованию и культуре, то среди бедных слоев наблюдалась иная картина. Буржуазный мир чаще всего их закрепощал и растлевал. Женщинам же из необеспеченных семей вообще некогда было думать о серьезном обучении. Их приниженность и отчужденность, в основе которых лежала страшная нищета, часто вынуждали их идти на панель.

Это, пожалуй, и не мудрено, если учесть ту степень фарисейства, что всегда была присуща британскому обществу. Уже с конца XVI в., когда буржуа стали обладателями немалых богатств, а аристократы обеднели, оба этих слоя сделали женщину и брак предметом купли-продажи. Богатые торговцы обычно женились на молодых. Соответственно те вскоре становились вдовами. Перед этим они вынуждены были заводить себе любовников или выходили замуж за молодых помощников (бывших престарелых супругов). Широко были распространены и тайные браки. Столь обычными становились эти нарушения, что лондонский Совет даже решил запретить ранние браки (до 24 лет). Итогом попытки укрепить мораль стал стремительный рост числа подкидышей и мертвых младенцев. Картина этого падения нравов была бы неполной без упоминания о ночных обитательницах столицы. Их царство было своеобразной любовным адом, «купелью греха». Женщины эти заняли вполне «достойное место» в британской «цивилизации» (в бесчисленных борделях и клубах). Если те обслуживали публику на высоком профессиональном уровне, не работали по выходным и праздникам, вовремя показывались врачу, Англия готова была закрыть глаза на их деяния. Жрецы буржуазной морали в оправдание позорных порядков приводили слова Фомы Аквинского, сравнившего публичные дома со сточными трубами: если, вдруг, убрать эти трубы, дворцы будут захлестнут потоками нечистот.

Умерших проституток хоронили отдельно от приличных особ. Попытки закрыть вертепы в 1546 г. (после бурного распространения сифилиса), к успеху не привели. Отмечают, что яркие и броские вывески этих домов бросались в глаза любому, прибывавшему в Лондон. Вскоре те гордо расположились в центре.^[207]

Английские мужчины (как, впрочем, все европейцы) были не прочь воспользоваться услугами проституток, а спрос, как известно, всегда рождает предложение. В Лондоне с населением в 475 тыс. человек насчитывалось 70 тыс. «жриц любви» (1801). Буржуазный мир все больше напоминал мир призраков, что встречается в творениях Кольриджа, автора «Сказания о Старом Мореходе» и «Кристабели». Кольридж так описал столицу Великобритании в конце XVIII в.: «Неподвижность всех предметов, мимо которых движется столько людей, – грубый контраст по сравнению с всеобщим движением, гармонической Системой Движений за городом и повсюду в Природе. – В этом туманном освещении Лондон показался мне словно огромным кладбищем, по которому скользили полчища Призраков».^[208]

Ничуть не лучше выглядел и «благословенный Париж». Во времена Директории улицы Парижа оказались буквально наводнены проститутками. А. И. Герцен в «Письмах из Франции и Италии» (1847) писал: «В Париже, как некогда в Афинах, а потом в Италии, почти нет выбора между двумя крайностями – или быть куртизанкой, или скучать и гибнуть в пошлости и безвыходных хлопотах. Вы помните, что речь идет о буржуазии; сказанное мною не будет верно относительно аристократии, но ведь ее почти нет. Кто наряжается, веселится, танцует? – *la femme entretenue* (франц. «женщина на содержании»), двусмысленная репутация, актриса, любовница студента... Я не говорю о несчастных жертвах «общественного темперамента», как их назвал Прудон; те мало наслаждаются, им недосуг. Вместе с браком французенка среднего состояния лишается всей атмосферы, окружающей женщину любовью, улыбкой, вниманием».^[209] Такая обстановка никак не способствовала росту культуры.

Схожие картины можно было видеть в Берлине, Амстердаме, Вене. Женщины низкого пошиба ввелись в самую сердцевину «приличных обществ». Стремительно росло число и малолетних

проституток в возрасте от 13 до 15 лет. Суть буржуазной культуры быстро вылезла наружу. Попытки хоть как-то обуздать её скотские нравы оканчивались полным фиаско. В Берлине дома терпимости, на время закрытые, в 1851 г. вновь открылись. Число их заметно превосходило количество школ и университетов. В Мадриде в 1895 г. насчитывалось 300 таких домов (за один лишь год их возникло 127). Направить бы столь бурный «прогресс» на ниву культуры и просветительства! Думаю, понятно, почему известный писатель-социолог П.-Ж. Прудон назовет продажную женщину «жертвой общественного темперамента».

Порядки, пришедшие на смену нравам XVIII в., принимали гротескные и дикие формы. В среде германского студенчества все, что хоть как-то напоминало петиметрство (т. е. претенциозные манеры молодых франтов, ухаживающих за дамами) отныне попало под запрет. К примеру, в Гиссенском университете лишь немногие молодые люди решались ухаживать за женщинами в духе старых манер. Буржуазные стереотипы поведения оказывались на поверку ничуть не лучше средневековых. Один из историков, говоря об уровне культуры тогдашней молодежи, иронически восклицал: «Кто обвинит гиссенских студентов в петиметрстве, тот будет несправедлив. Большинство вело себя – как говорили в песенке – как свиньи».

Из университетских городов Германии заслуживали особого упоминания Грейфсвальд, Фрейбург, Лейпциг, Бремен, Франкфурт и Гамбург (в последних целые улицы были заняты притонами). Повсюду царил дух наживы и эксплуатации. Не отставали ученые мужи: они «с честью» несли авторитет науки, становящейся, благодаря им, по сути, «служанкой капитала»... Так, некий почтенный профессор Ланде (мэр города Бордо) вынес постановление, по которому в праздничные дни проститутка должна была принять и обслужить до 82 мужчин. Да здравствует демократия, свободный рынок и конкуренция! В университетских городах практикуются целые групповые оргии: слуги науки, профессура, студенты «просвещают» жриц, которых и пользуют по очереди. Все почти по пословице: «Кто имеет, тому и дается».

Особое лицемерие в этих вопросах демонстрировали англичане с американцами. На людях они готовы были в морализирующем тоне проповедника рассуждать о пользе трезвости, а дома, втайне от общественного мнения, как говорится, рады-радешеньки to be on the

drunk («предаться беспробудному запою»). Сопернику же они перережут глотку за фунт стерлингов, но только самым что ни на есть конституционным и законным образом. Поэтому можно верить Фуксу: «Даже науке воспрещено в Англии свободно обсуждать половые вопросы...такое значительное исследование, как «Мужчина и женщина» Х. Эллиса, было запрещено как безнравственное, и ни один книгопродавец не дерзал продавать открыто его книгу».^[210]

Попытки феминисток уйти от представлений Руссо о роли женщин как существ совершенно иного склада, чем мужчина, чаще всего заканчивались явным поражением. Напомним, что прославленный философ считал: в отношении женщины гораздо важнее «всеобщее о ней мнение, нежели ее действительное достоинство». Отсюда последовал весьма странный его вывод: к девушке надо применять «совсем иную систему воспитания, чем к юноше».^[211]

Некоторые феминистки пытались отважно сокрушить давнюю, тысячелетнюю темницу... М. Уоллстонкрафт опубликовала работу «Защита прав женщин» (1792), в которой доказывала необходимость установления единых требований и стандартов в отношении как мужчин, так и женщин (посвятив свое сочинение Талейрану). «Первой целью похвального честолюбия является обретение человеческих качеств, невзирая на различия пола». Все разговоры мужчин об особых женских качествах и добродетелях, так сказать, о *femme de Cesar* (жене Цезаря), скрывают обычный мужской эгоизм и желание держать женщину в крепкой узде, как рабыню или лошадь. В итоге подобной многовековой традиции женщины были и остаются ничтожными объектами вожделения, а полученное воспитание подрывает их силы и способности, подавляя их таланты. Однако даже робкие попытки вывести новую, «женскую этику и философию» встречали яростное сопротивление на протяжении всего XIX в.^[212]

В пользу женского равноправия весьма решительно выступали еще плебейские дамы Парижа в годы Великой Французской революции (Общество революционных республиканок во главе с Клэр Лакомб и Полиной Леон). В 1793 г. именно их мужество спасло Республику. Один из лидеров «бешеных» Жак Ру даже заявлял, что «наша победа будет обеспечена, если женщины войдут в среду санкюлотов». Якобинцы же, как ни странно, оказались жесткими

противниками женского равноправия. Выступая в Парижской коммуне, Шометт с пафосом восклицал: «Ужасно и противно всем законам природы, когда женщина хочет превратиться в мужчину... С каких это пор считается приличным, чтобы женщины покидали священные заботы своего хозяйства и колыбель своих детей, чтобы являться в общественные места, подниматься на ораторскую трибуну и подходить к решетке Сената (авт. – Конвента)».



В. Пукирев. Неравный брак. 1862.

Ныне, когда в мире женщины возглавляют страны, правительства, министерства, парламенты, полная нелепость таких взглядов очевидна. Но тогда мир был «мужским». Поэтому воздадим должное энергии представительниц Общества революционных республиканок и, конечно, согласимся с их эмоциональной оценкой, когда, обращаясь к соратницам из секции Прав человека, они гордо скажут: «Вы порвали одно из звеньев цепи предрассудков: а именно, то, которое, заключая женщин в узкую сферу их хозяйств, тем самым превращало половину человеческого рода в пассивных и изолированных существ... Почему женщины, наделенные способностью чувствовать и выразить свои мысли, должны примириться с их устранением от политических дел? Ведь Декларация прав одинакова для обоих полов!»^[213]



Картинки из холостой жизни.

Отношения мужчин и женщин напоминают знаменитое «*nos amis les ennemis*» (франц. «Наши друзья – враги»). В конце XVIII-начале XIX вв. в обществе все больше появляется женщин, готовых к решительной борьбе за свои права. Их голос стал слышнее в политике, литературе и искусстве, талант их очевиден и даже недруги вынуждены воздать им должное.

Одной из таких выдающихся женщин была Жермена де Сталь (1766–1817). Казалось, все светила тогдашней Франции приняли участие в ее духовном и интеллектуальном воспитании. Она считала себя ученицей Монтескье. Ее крестным отцом был Шатобриан. Славе ее способствовало даже негативное отношение Наполеона, преследования и нападки которого сделали Сталь едва ли не самой знаменитой женщиной Европы. Наполеон говорил: «В мире существуют две силы – сабля и ум. В конце концов ум всегда побеждает саблю». Он оказался прав в одном: мадам и в самом деле справилась с ним при помощи ума, а не оружия. Хотя и не прибегла к традиционному оружию. Их битвы носили скорее словесный характер. Диктатор в отношении нее высказался так: «Это машина,двигающая мнениями салонов. Идеолог в юбке. Изготовительница чувств». Глядя на рост влияния в общественном мнении де Сталь, иные мужи

Франции чувствовали себя задетыми. Подумать только, эта женщина не только болтает, что ещё как-то можно перенести, но и осмеливается рассуждать. Иные даже стали высказываться в пользу мусульманской веры, которая держит женщину в заточении гарема.



Самый знаменитый из парижских загородных кабаков – «Куртий».

Выход на культурную арену женщин типа г-жи де Сталь важен не только в социально-психологическом, но и в воспитательном плане. Ведь, у них тогда не было никакой иной трибуны (или кафедры). Сталь писала о многом и разном. Главные ее труды – «Размышления о роли страстей в жизни личной и общественной», «О литературе», «О Германии», «Размышления о главнейших событиях французской революции», роман «Коринна, или Италия» и др. В ней жила неумная душа путешественницы. Посетив ряд стран, она как бы старалась соединять и объединять народы посредством культурных связей. В романе «Коринна», героиня которого самая знаменитая женщина Италии (поэтесса, писательница, импровизаторша, красавица), мадам де Сталь выступила в роли учительницы нравов. Тут она изложила ряд интересных и глубоких мыслей (в духе романтизма). Недаром Белинский позже назвал Жермену де Сталь «повивальной бабкою юного романтизма во Франции».^[214]



Мадам де Сталь.

Высоко оценили её дарование Гете, Шиллер, Шамиссо, братья Шлегели. Стендаль хотя и бранил ее за скудость мысли, но перо считал талантливым... Байрон, как известно, вообще относился весьма скептически к «ученым женщинам». Но в данном случае делал исключение из правил. «Это выдающаяся женщина, – писал он в дневнике, – она совершила в умственной области больше, чем все остальные женщины взятые вместе; ей бы родиться мужчиной». Пушкин видел в ней свою единомышленницу. В черновых набросках романа, где речь шла об умственных интересах Онегина, были и такие строки: «Он знал немецкую словесность по книге госпожи де Сталь». В вариантах первой главы «Евгения Онегина» находим упоминания о популярности ее романов в России и даже ее педагогической значимости:

Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.
Мы алчем жизнь узнать заранее,
Мы узнаем ее в романе...

Знаменательно, что после того как Наполеон подверг ее долгому изгнанию (бросив на прощанье фразу: «Она вызывает во мне жалость: теперь вся Европа – тюрьма для нее!»), ей трудно было найти пристанище и в Европе. Ни в Австрии, ни в Швейцарии Жермена не чувствовала себя в безопасности. Оставалось последнее убежище – Россия, куда она и устремилась (по совету С. Уварова). Граф был невысокого мнения о венской аристократии, несмотря на то, что Вену называли «немецким Парижем»: «Они ведут замкнутый образ жизни, прозябая в своих огромных дворцах, куря и напиваясь в своей среде... они презирают литературу и образованность, необузданно увлекаясь лошадьми и продажными женщинами».

В год вторжения Наполеона, вместе с неразлучным А. Шлегелем, воспитателем ее детей, видным немецким философом (умной женщине всегда мало одной страсти, ей непременно нужен ещё и философ), она, наконец, прибыла в Россию (1812). Её встречали как триумфаторшу и знаменитость. Не мудрено. Женщины зачитывались ее романами, а мужчины испытывали к ней уважение (подумать только: мадам бросила вызов «самому Наполеону»).

Для нас важным и знаменательным представляется то, что Сталь пару веков назад сумела лучше разобраться в «тайне русского сфинкса», нежели иные нынешние российские политологи. Русский народ она никак не относила к «забитым и темным», а страну не считала «варварской». Будучи умным и наблюдательным человеком, она сразу же отбросила предвзятое мнение о России и русском народе, бытовавшее тогда в Европе. Она увидела могучий народ, полный огня, душевной силы и живости, сказав, что этому народу можно верить. Хотя отметила детскую доверчивость русских. В Петербурге она встретила с Александром I, из разговоров с ним сделав вывод: «Александр никогда не думал присоединиться к Наполеону ради порабощения Европы». В русском языке она услышала медь боевого оркестра. О крестьянах же писала: «Есть что-то истинно очаровательное в русских крестьянах, в этой многочисленной части народа, которая знает только землю под собой да небеса над ними. Мягкость этих людей, их гостеприимство, их природное изящество необыкновенны. Русские не знают опасностей. Для них нет ничего невозможного». О визите высказался и Пушкин («Рославлев»). Помимо довольно грубой оценки её как «толстой бабы, одетой не по

летам», он вложил в ее уста слова: «Народ, который сто лет тому назад отстоял свою бороду, в наше время сумеет отстоять и свою голову». Так хочется верить в то, что Сталь все-таки не ошиблась в определении достоинств нашего народа. Хотя чтобы сохранить голову, ее надо иметь.

Позже, когда Сталь покинет бранный мир (1817), досужая молва стала распространять о ней всевозможные сплетни (в ряду которых фраза поэта Батюшкова о ней выглядит невинной: «Дурна, как черт, зато умна, как ангел»). Тогда на её защиту встал А. С. Пушкин. Уже в 1825 г. в разговоре с князем П. А. Вяземским он скажет: «Мадам де Сталь наша – не тронь ее!»^[215]

Она бесспорно принадлежала к породе «мыслящих умов» (если применить к ней ее собственное выражение). Великим гением она не была, но в истории культуры и литературы Европы сумела занять достойное место. Литература обрела в ее лице поэтессу страсти. Пожалуй, Сталь сумела прочувствовать все страсти ее эпохи, как никто из женщин... Однажды она сказала о Руссо: «Он ничего не изобрел, но во все вдохнул огонь». Думаю, что эти слова вполне подошли бы и к ней самой. Что ее заботило больше – непрерывный прогресс человечества или же вера в отдельного человека (оставим мужчин) – наверняка сказать не берусь.

Возможно, то и другое одновременно. Иные увидели в ней символ нового времени. Французский писатель Э. Фагэ, давая серию портретов духовных вождей той эпохи, сказал о мадам де Сталь: «У ней у самой вырвалось глубокое замечание: «Отныне необходимо обладать европейским умом». Этими словами она дала возникавшему веку его девиз. При всей ее любви к великим делам и идеям родины, никто больше ее не обладал умом, доступным всей работе европейской мысли».^[216] Жизненная сцена Франции опустела с ее уходом. Глубоко уважавший и ценивший ее Шатобриан скажет: «Уход таланта потрясает сильнее, чем исчезновение индивида: скорбь охватывает все общество без изъятия, все как один переживают потерю. С госпожой де Сталь исчезла значительная часть моей эпохи: смерть высшего ума – невозполнимая утрата для века. На меня же ее смерть произвела особенное впечатление.»^[217]



Карикатура на Жорж Санд.

Другая «амазонка», Жорж Санд (1804–1876), с первых же шагов в литературе повела себя как воительница правды и справедливости. В ее происхождении можно найти наверняка и некоторые из особенностей ее характера. Аврора Дюдеван, урожденная Дюпен (Жорж Санд) происходила, по линии отца, от воинственного Мориса Саксонского, побочного сына польского короля Фридриха-Августа, а по линии матери – от простых парижских рабочих. Андре Моруа, который посвятил ей прекрасную книгу, так писал о ее предках: «Предки Жорж Санд – все из ряда вон выходящие люди. Там перемешались все: короли с монахинями, знаменитые воины с девчонками из театра. Как в сказках, все женщины носят имя Авроры; все имеют сыновей и любовников, и сыновья всегда на первом месте; внебрачные дети падают градом, но их признают, превозносят, воспитывают по-королевски. Все они мятежники, все обаятельны, все жестоки и нежны... В этой фамильной хронике есть что-то от изысканной комедии, от героической поэмы и от «Тысячи и одной ночи». Такова была эта Шахразада.

Ее прапрабабка, брошенная курфюрстом Саксонии Фридрихом-Августом (позднее королем Польши), превратило протестантское аббатство «в отель Рамбуе, в некий двор любви», где, как говорят,

однажды очаровала даже Петра Великого. Предки ее едва не породнились с русским двором (Морис Саксонский чуть не женился на Анне Иоановне). Так ли это, сказать трудно, но то, что будущая Аврора удачно сочетала в себе пылкую страсть прабабок и мужскую твердость и волю прапрадеда, точно. В то же время о своей матери Жорж Санд напишет: «Моя мать была родом из всеми презираемого бродячего цыганского племени. Она была танцовщицей, даже хуже этого – статисткой в самом ничтожном театрике на бульваре».

Воспитание девочки шло под влиянием матери и бабушки, которые любили ее безмерно, предоставляя максимум свободы. В поместье в Ноане ее приобщали к естественным наукам, музыке и литературе. Аврору рано увлекли книги (сказки Перро, «Илиада», «Освобожденный Иерусалим»). Затем ее направили на обучение в женский Августинский монастырь (английского религиозного братства, основанного в Париже). Тут ей привили хорошие манеры. Здесь же она обрела первые ощущения глубины и полноты жизни. Видимо, монастырь смог придать девушке ту каплю строгости, что вдвойне необходима для девиц столь развращенного века. Живя в легкомысленную эпоху, ее бабка тем не менее никогда не имела любовника. Он же приучил ее и к простоте. Выезжая на охоту, она одевала рабочую блузу и брюки.

Ее духовное вызревание шло под влиянием работ Шатобриана. Его учение пробудило в ней «все волшебство ума и все сочувствие сердца» и взволновало Аврору. Среди ее наставников было немало священников. Один из них, аббат де Премор, говорил ей: «Читайте поэтов, все они религиозны. Не бойтесь философов, все бессильны против веры». Она изучала усиленно Мабли, Локка, Кондильяка, Монтескье, Бэкона, Боссюэ, Аристотеля, Лейбница, Паскаля, Монтеня, а также поэтов: Данте, Вергилия, Шекспира. Большое впечатление на нее произвел «Эмиль» Руссо, который стал ее настольной книгой. «Для меня он звучал, как Моцарт: я понимала все» (Ж. Санд). Ее учителями на тот период стали Руссо, Лейбниц и Франклин. Одним словом 18-летняя девушка была вполне подготовлена к замужеству. Пропустим сладостно-горестные мгновенья брачной жизни. Ее брак с Казимиром Дюдеваном (1822) не был легким испытанием. Позже она посоветует своему брату Ипполиту, выдающему замуж невинную дочь: «Не позволяй своему зятю грубо обойтись в брачную ночь с

твоей дочерью. Мы воспитываем дочерей, как святых, а потом случаем, как кобылок...»

Начало ее литературной карьеры относят к 1831 г. Ж. Санд прошла школу журналистики у Латуша, стоявшего во главе газеты «Фигаро». Ее небольшие заметки постепенно стали замечать. К тому времени она уже жила с любовником, прелестным 19-летним Жюлем Сандо. Тот внешне походил на «маленького Иоанна Крестителя на рождественских картинках». Юноша, пылко влюбившийся, нашел в ней любовницу и мать. Вместе с ним она делила не только ложе любви, но и перо. Аврора, подписываясь Ж. Сандо, вскоре стала самостоятельным писателем. Сандо вначале ревновал, но затем признался ей: «Ты хочешь, чтобы я работал, мне тоже хотелось бы, но я не могу! У меня нет, как у тебя, стальной пружины в голове! Ведь тебе стоит только нажать кнопку, как сейчас же начинает действовать воля...» В 1832 г. она напишет свой первый серьезный роман «Индиана». О чем роман? О положении женщины, которая столкнулась с реальным миром, где все не так, как об этом ей внушали ее учителя и родители... Сама она так скажет в предисловии к роману: «Индиана, если уж вам так хочется все объяснить в этой книге, – это тип: это слабая женщина, полная страсти, которую она должна подавить в себе, или, если вам угодно, страсти, которая осуждается законом; это воля, которая борется с неизбежностью; это любовь, которая слепо натывается на все противодействия цивилизации». Успех романа был очевиден. Ж. Санд признал сам Бальзак.^[218]



Фредерик Шопен.

За ее внешне эпатажным обликом (курила сигары, любила мужские имена и костюмы и, разумеется, мужчин) скрывалась гордая, пылкая, независимая натура. Санд – первая писательница Франции, сумевшая заработать себе на жизнь литературным трудом. Она широко распахнула перед женщинами дверь в литературу. В целой серии своих романов она яростно сражается за свободу женщины («Индиана», «Лелия»). Как образно скажет В. Белинский, «Жорж Санд есть адвокат женщины, как Шиллер был адвокат человечества». Ею движет «ясно осознанное, пламенное отвращение к грубому животному рабству» и «протест против тирании вообще». В романах Санд выписаны романтические, загадочные, необыкновенные женщины. Их можно было бы назвать своего рода «исповедью дочери века». Но им для убедительности нужна была и социально-философская платформа. Если в области чувств женщина царит и властвует, то сфера мысли вот уже тысячи лет принадлежала мужчинам.

Жорж Санд увидела для себя «восход зари» в философской системе Пьера Леру. Тот утверждал идеи всеобщего братства и непрерывного морального прогресса (как смысла истории). Ознакомившись с теорией Леру, она лучше поняла все страдания и беды народа. Эта философия перевернула всю ее жизнь. Впоследствии

она скажет, что Леру спас ее от индивидуализма. Повлиял на нее и Ламенне. В нем она увидела «смесь силы и нежности». Санд помогала бедным народным поэтам (писала предисловия к их сборникам, посылала им деньги). В письме к Ш.Понси она скажет, что поэт народа должен дать развращенным классам буржуазного общества урок добродетели. Она старалась по мере сил помогать просвещению: издает вместе с Леру журнал «Независимое обозрение», участвует в выпуске газеты «Эндрский просветитель». Ее считали одним из создателей социального романа во Франции.

Социальным содержанием проникнуты такие ее романы, как «Мопра» (1837) и «Орас» (1842). В романе «Мопра» в образе крестьянина выведен народный мудрец, «деревенский философ», справедливый, благородный и полный достоинств. С помощью усилий любимой им и интеллигентной Эдме он знакомится с Гомером, Тассо и Руссо. Ж. Санд высказывает надежду на успех такого воспитания и образования: «Человек не рождается злым; не рождается он и добрым, как полагает Жан-Жак Руссо, старый учитель моей дорогой Эдме. Человек от рождения наделен теми или иными страстями, теми или иными возможностями к их удовлетворению, большей или меньшей способностью извлекать из них пользу или вред для общества. Но воспитание может и должно исцелять от всякого зла; в том и заключается великая задача, ждущая своего решения, – речь идет о том, чтобы найти такую форму воспитания, которая отвечала бы натуре каждого отдельного человека. Всеобщее и совместное образование представляется необходимым; но следует ли отсюда, что оно должно быть одинаковым для всех? Если бы меня десяти лет от роду отдали в коллеж, я бы, конечно, вырос вполне приемлемым для общества человеком; но разве удалось бы таким путем избавить меня от неистовых желаний и научить их обуздывать, как это сделала Эдме? Сомневаюсь... А пока будет разрешена проблема воспитания, общего для всех и одновременно приспособленного к особенностям каждого, старайтесь сами исправлять друг друга». ^[219]

Романы Санд («Лукреция Флориани», «Исповедь молодой девушки», «Нанон») это своего рода учебники по воспитанию чувств. В эпоху, когда нормальные человеческие чувства подвергаются эрозии и распаду, роль такого рода воспитания исключительно велика. Известно, что «Лукрецией» восторгался В. Белинский. Н. Гончаров

отмечал, что, читая этот роман Ж. Санд, он наслаждался «тонкой, вдумчивой рисовкой характеров, этой нежностью очертаний лиц, особенно женских, ароматом ума, разлитым в каждой, даже мелкой заметке».^[220]

Конечно, романы ее носят несколько схематический характер. В этом их слабость. Но в то же время в них читателей привлекает демократизм, свободолобие, отвага и трудолюбие ее героев. Выступая на страницах провинциальной газеты, она помещает статьи, изображающие бедственное положение городских и сельских рабочих. На нее тут же набрасываются клеветы и псы буржуазии, обвиняя в идеализации тружеников и «детей народа». Однако в ответ на нападки она резонно замечает: художник волен видеть в жизни то, что он считает важным. Жорж Санд говорит: «С каких пор роман стал исключительно картиной того, что есть, картиной жестокой и холодной действительности в жизни людей и современных вещей? Я знаю, что подобные картины возможны, и Бальзак – талант, перед которым я преклоняюсь, – дал нам «Человеческую комедию» («Comedie humaine»). Но мы с ним смотрим на вещи с разных точек зрения. «Вы хотите и умеете изображать человека таким, каким он представляется вашим глазам, – говорила я ему, – хорошо! А я стремлюсь изобразить человека таким, каким мне хочется, чтобы он был, каким, по его мнению, он должен быть». Разумеется, на писательницу тотчас же набросилась свора буржуазно-дворянских писак, обвиняя ее в том, что она проводит дни и ночи в рабочих кварталах, пьянствуя там с Леру.

Хотя даже в ее «социалистических» романах («Мельник Анжибо», «Путеводитель по Франции», «Грех господина Антуана» и др.) есть немало здравого. В последнем из них обличается алчный и корыстный промышленник, наживший миллионы несправедливым путем и предлагается устройство жизни на кооперативных началах. В «Мельнике Анжибо» герой рассказа, сын кулака, после смерти отца раздал богатство тем, кто некогда более всего пострадал от скарденности его старика. Он решил жить, зарабатывая собственным трудом. Вместе с тем слышен трезвый голос крестьянина, возражающего против «философии бедности». Тот даже недоумевал: «Что это за люди, которые говорят: если бы я был богат, я стал бы дрянью, и потому я очень рад, что беден. Да разве нельзя быть богатым и в то же время хорошим человеком? Если бы вы хоть просто

раздавали хлеб голодным, это все-таки было бы хорошо, и богатство в ваших руках принесло бы больше пользы, чем в руках какого-нибудь хищника».

Хочу обратить внимание, что методы запугивания и обмана народа «ужасами коммунизма» ничуть не изменились за полтора столетия! Вся эта ворующая, пирующая, жирующая клика и ныне, слово в слово, повторяет то, что она некогда обрушивала на одну из самых благороднейших и гуманнейших женщин, которых только знает история. Когда она перед выборами в Национальное собрание (1848 г.) выступила против режима «семнадцати лет лжи» и потребовала от властей реальных экономических реформ, которые дали бы ее народу лучшую жизнь, ее выбросили из официоза «Bulletin de la Republique», что она редактировала.

Процитирую одно из писем Ж. Санд, где она рассказывает, как работает механизм буржуазной клеветы, выворачивающий буквально наизнанку всю суть событий. Вот как подавала буржуазная печать ее позиции: «Во-первых, я принимаю участие в заговорах отвратительного старика, которого в Париже называют «Отец Коммунизм» и который мешает буржуазии продолжать осыпать народ ласками. Этот негодяй, узнав, что народ страдает от голода, придумал для уменьшения общественных бедствий убить всех детей моложе трех лет и всех стариков старше 60 лет; кроме того, он хочет, чтобы люди не заключали браков, а жили по-скотски. Затем, так как я ученица «Отца Коммунизма», то я выпросила себе у герцога Роллена все виноградники, все земли своего кантона и могу вступить во владение ими когда захочу. Я поселюсь в них с гражданином «Коммунизмом», мы убьем всех детей и стариков, установим во всех семьях скотский образ жизни, будем выдавать на пропитание земледельцам по 6 су в день, а сами станем кутить за их счет. Не думайте, что я преувеличиваю или что я шучу, все это буквально говорится... В 1789 году фантастический страх распространился, как электрический ток, по всей Франции: всюду говорили, что идут *разбойники*. В 1848 году место разбойников заняли коммунисты-людоеды; о них не только говорили, их показывали. Всякий кандидат, неприятный реакционерам, к какой бы республиканской фракции он ни принадлежал, превращался в коммуниста в глазах напуганного

населения. История отметит в свое время эту интересную фазу нашей эпохи. Потомство с трудом поверит ей».

Обращаясь к Национальному собранию своей страны, эта великолепная женщина, подлинная защитница трудового народа, пишет: «Мы надеемся, что народное собрание с самого начала своего существования откажется от этого преследования призрака коммунизма, который является для одних недобросовестным предлогом, чтобы в зародыше погубить лучшее будущее народа, для многих других – невежественным предрассудком, избавляющим от труда понимать истинное положение вещей. Если бы у нас спросили, коммунисты ли мы, мы бы ответили: если под словом коммунизм вы подразумеваете принадлежность к той или другой секте, мы – не коммунисты. Если вы называете коммунизмом слепое стремление бороться против всякой формы прогресса, которая не является непосредственным применением коммунистических теорий; если вы называете коммунизмом заговор для захвата диктатуры, мы – не коммунисты, так как мы убеждены, что идея о лучшем строе общества может войти в жизнь только путем убеждения. Но если под коммунизмом вы подразумеваете твердое желание, чтобы путем всех *законных* средств, признанных общественной совестью, установить человеческие отношения на началах справедливости и внести в них этический порядок, – тогда да, мы – коммунисты и смело заявляем это в ответ на ваш честно поставленный вопрос. Если под словом «коммунизм» вы подразумеваете, что для удержания непомерного роста эксплуатации мы признаем одно только средство: Государственное покровительство нуждающимся классам, – тогда да, мы – коммунисты, и вы сами станете коммунистами, как только потрудитесь изучить вопрос, грозящий существованию общества. Если под словом «коммунизм» вы подразумеваете со стороны государства просвещенную, добросовестную, искреннюю и энергичную поддержку всякого полезного коллективного труда как формы, наиболее широко и целесообразно охраняющей индивидуальную свободу и все законные интересы, – да, мы – коммунисты, и вы с каждым днем будете убеждаться, что должны также стать коммунистами!». ^[221] Хватит ли у нас ума, чести и мужества повторить ее слова?!

Нас ничуть не удивляет то обстоятельство, что даже К. Маркс закончил работу «Нищета философии», направленную против Прудона, цитатой из ее романа: «Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса» (Жорж Санд). [\[222\]](#)

Хоронили на маленьком кладбище в Ноане по католическому обряду. Когда провожающие ее в последний путь сказали прощальные слова (Флобер назвал ее «моей милой матерью» и «гением»), выступили Ренан и Дюма-сын, зачитали послание Гюго, тот заметил, что «Жорж Санд была мыслью», добавив: *Patuit dea*, то-есть, «Открылась богиня») – вдруг, в завершении всего над могилой, как вестник сказочного и прекрасного мира – дивно запел соловей...

В условиях возрастания роли женщины в культурной жизни особое значение приобретала воспитательная литература. Тогда писали «не для информации, а для просвещения»... Как в Европе, так и в Америке появился целый ряд талантливых писательниц, затрагивающих в своих произведениях проблемы педагогики и воспитания. Так, в увлекательный мир погружает читателей английская писательница А. Радклифф (1764–1823), автор «Удольфских тайн». Учительница Мэри Уоллстонкрафт напишет ряд работ по проблемам женского воспитания. Ей же принадлежит сочинение «В защиту прав женщин», посвященное Талейрану. [\[223\]](#)



Уильям Хогарт. Модный брак.

Примером яркого женского таланта стала и Мэри Шелли (1797–1851). Она – наследница двух славных и знаменитых в истории имен. Ее мать, Мэри Уоллстонкрафт, участвовала в революционно-демократическом движении в Англии, ее отец, Уильям Годвин, являлся видным философом и романистом, автором социально-утопических «Рассуждений о политической справедливости» (1793). Его учениками считали себя поэты Вордсворт и Кольридж. Он был одним из наиболее стойких борцов за справедливость, выступал в защиту руководителей «Корреспондентских обществ» (1794). Его труды были откликом на французское Просвещение и революцию. В своей работе «О собственности» он, в частности, писал о том, что «установившаяся система собственности душит большое количество наших детей уже в колыбели», и рассматривал существующую цивилизацию как систему, на пороге жизни уничтожающую 4/5 ее ценности и счастья.^[224] Мать же М. Шелли умерла сразу же после родов.

В дальнейшем жизнь Мэри пересеклась с жизнью поэта П. Б. Шелли, который станет пылким поклонником У. Годвина. Бунтарские мысли толкнули поэта на ряд опрометчивых поступков. Наследник

баронского титула и крупного состояния увлекся дочкой трактирщика. Влияние Годвина заметно и в творчестве Шелли. Тот написал брошюру «Необходимость атеизма», за что его исключили из Оксфорда... Все горести и неудачи тех лет скрасило их знакомство. Первые свидания Мэри и Перси Шелли проходили у могилы ее матери, М. Уолстонкрафт (там они и дали обет верности друг другу). Их сблизили ее труды «Права женщины» и «Политическая справедливость»... Поэт посвятил своей жене образ Цитны в поэме «Восстание Ислама» (1818). Ей было тогда 16, а поэту Шелли – 22. К сожалению, жизнь показала, какая пропасть существует между утопическими воззрениями и реалиями бытия (У. Годвин, подвергавший критике устои семьи, в реалии не смог перешагнуть через устои, и закрыл двери своего дома перед убежавшими из него дочерью и поэтом, вступившими в брак). Жизнь юной женщины, почти девочки, складывалась трагически... Шелли метался по Лондону, скрываясь от ареста за долги, в поисках средств к их существованию. Жизнь в меблированных комнатах. Первый ребенок Мэри и Шелли умер недоношенным. В дневник она заносит: «Нашла мою малютку мертвой... Весь день думаю о маленькой. Растроена. Шелли очень нездоров. Читаю Гиббона». Поэт назовет ее в поэме «дитя любви и света». Она стремилась к знаниям, читая труды по истории древнего и нового мира, трактаты философов и социологов, сочинения античных классиков, поэтов. После гибели мужа она пишет в дневник: «Умственные занятия стали для меня необходимее, чем воздух, которым я дышу».

Мы не раз убеждались, сколь несправедливы и подлы английские порядки. П. Б. Шелли, по сути дела, вынудили бежать из Англии. Канцлерский суд, возглавляемый лордом-канцлером Эльдоном лишил его права воспитывать своих детей – как опасного вольнодумца, проповедующего «весьма безнравственные» принципы. Случилось так, что Мэри Шелли пришлось воспитывать, наряду со своим сыном, и дочку Байрона Аллегру Байрон (от его мимолетного романа с некой актрисой). Все горькие переживания и жизненный опыт тех лет легли в основу романа М. Шелли «Франкенштейн» (1818), доставившего ей всемирную славу.^[225]

Выделялась в кругу писательниц и ирландка М. Эджворт (1767–1849), заслужившая похвалу Байрона. Ее талант отмечал и В. Скотт,

бывший ее другом. Русский писатель И. С. Тургенев, основавшийся в Европе, позже будет называть себя «бессознательным учеником» мисс Эджворт. Ее мать – дочь преподавателя университетского колледжа, отец – известный ученый, изобретатель, педагог. Этот просвещенный джентльмен (судья и землевладелец) дал дочери прекрасное образование в частных школах Ирландии и Англии. Там она преуспела в языках (французском и итальянском, испанский же язык изучила уже в 80-летнем возрасте, за два года до смерти). Затем девушка воспитывалась в доме друга отца, известного педагога Томаса Дея (горячего поклонника Руссо). Конечно, решающее влияние на воспитание Эджворт оказал ее отец. Из 22 его детей наибольшей славой добьется «просвещенная Мария». Первое ее сочинение написано в развитие отцовских педагогических идей. Она выступает решительной сторонницей предоставления женщинам серьезного образования. Нужно было обладать большой смелостью, чтобы в те времена требовать от общественности включение в круг «дамских предметов» механики, химии или физики. Переехав в Ирландию, она совместно с отцом работает над двухтомником «Практическое воспитание» (1798). Это руководство по воспитанию детей. В нем содержатся разного рода полезные сведения, даются толковые методические советы. Первый том написан был отцом, а второй – дочерью. Мария старалась развлечь и увлечь детей нравоучительными историями, взятыми из самой жизни. Ее книги коренным образом отличались от обычных работ подобного рода, созданных «перстами робких учениц» (в 1796 г. рассказы М. Эджворт вышли отдельным изданием). Историки отмечают, что «на них воспиталось не одно поколение английских и ирландских детей». Ее по праву считают одним из «пионеров» науки педагогики... Эджворт создала целую систему воспитания, широко известную ныне как «экспериментальная педагогика». ^[226]

Культурнейшей и образованнейшей женщиной своего времени была и Мэри Энн Эванс (1819–1880). Писательский ее псевдоним – Джордж Элиот. Закончив пансион, она с помощью книг получила познания не только в области философии и социологии, но и в естествознании, что в те времена было немалой редкостью даже среди мужчин. В ней удивительнейшим образом сочетались таланты писателя, редактора и переводчика. Известно, что на протяжении ряда лет Мэри редактировала литературный раздел журнала

«Вестминстерское обозрение». Она перевела на английский язык такие известные ныне работы, как «Жизнь Иисуса» Штрауса, «Сущность христианства» Людвиг Фейербаха, и даже «Этику» Спинозы. Этико-философские воззрения писательницы сформировались во многом под воздействием идей позитивизма и «органической» школы в социологии. Отсюда ею заимствована мысль о неизбежности эволюции общества и наступления в будущем эры «классовой гармонии». «Отцу позитивизма» Г. Спенсеру суждено было стать не только ее духовным, но и посаженным отцом. Ему была обязана девушка встречей с возлюбленным (ученым Дж. Люисом).

Романы Дж. Элиот были популярны как в Англии, так и за рубежом. На нее взирали «как на наставницу, учителя жизни, ее называли Сивиллой»... Даже королева Виктория считала себя ее ревностной почитательницей. В доме Эванс бывали многие писатели, лучшие умы времени (И. Тургенев, Г. Джеймс и др.). Первая биография писательницы за пределами Великобритании вышла в России (серия Ф. Павленкова «Жизнь замечательных людей»). Из иных романов можно узнать о состоянии наук и просвещения поболее, нежели из кипы научно-педагогических штудий. В романе «Мидлмарч» («романе воспитания») дана жизнь вымышленного провинциального городка. В уютной гостиной британские провинциалы ведут неторопливый разговор о пользе наук и просвещения. Ощущается дух и настроение той эпохи. В беседе речь идет о многом: о том, как некий баронет изучал «Основы земледельческой химии» в целях повышения урожайности почвы на ферме, поэте Вордсворте, священнике, читавшим прихожанам лекции по истории, о возможностях современных наук. Как мы увидим из романа, и тогда было немало пессимистов, считавших, что ничего хорошего из занятий науками «не выйдет». Правда, в этом теоретическом споре им противостоит одна из героинь, которая оказывается прогрессивнее и дальновиднее всей мужской половины, говоря, что по ее мнению, «нет греха в том, чтобы истратить даже все деньги на эксперименты во имя общего блага». Она опровергла утверждения скептиков, считавших, что женщине нечего рассуждать на эти темы, ибо дамы в политической экономии не разбираются. ^[227]

Стоит назвать имена еще двух ирландок – Шарлотты Бронте (1816–1855) и Эмили Бронте (1818–1848), перу которых принадлежат

столь любезные женскому сердцу романы («Джейн Эйр» и «Грозовой перевал»). Их отец – англиканский священник, сын бедного пастора, мать – из семейства скромных торговцев. Как и в первом случае с Мэри Энн Эванс, родители Шарлотты и Эмили Бронте также были не лишены талантов. Отец издает скромный сборник стихов – «Стихи для хижин», мать пишет эссе «Преимущество бедности в религиозных делах», в котором поднимаются весьма важные проблемы благотворительности и этики.

Семейство Бронте прожило безвыездно в угрюмой деревушке среди вересковых просторов Йоркшира. Оно многое повидало на своем веку (в том числе страшную безработицу и голод 1812 г.). На смену индивидуальной крестьянской мануфактуре шло крупное машинное производство. Все ощутимее становилась нехватка профессиональных работников. В этих местах особенно популярной стала идея образования взрослых. Вскоре здесь открылась школа механиков, при которой была создана вполне приличная библиотека, откуда семейство Бронте брало книги для чтения. Однако условия обучения были неважные. В школе, где училась Эмили (школа для детей духовенства в Коуэн-Бридже), царили нищета и убожество.

М. Спарк так описывает учебу сестер Бронте: «Не считая нескольких месяцев в школе, Эмили получала образование, слагавшееся из наставлений тетушки в начатках наук, а также в домоводстве, религиозных наставлениях и тетушки и отца, сведений, почерпнутых самостоятельно из отцовской библиотеки, а также у брата и сестер, и личных ее наблюдений. Образование это не только не было формальным, но и отличалось большой хаотичностью, однако по тогдашним меркам оно не считалось плохим, и у нас нет права оценивать его иначе. Шарлотта, жадно искавшая знаний, видимо, жаждала учиться систематически, в отношении Эмили впечатление создается обратное. Однако нельзя утверждать, что руководствовалась она здесь неверным инстинктом. Вернувшись из Роу-Хеда, Шарлотта взяла на себя дальнейшее образование Эмили и Энн, которым тогда было соответственно 14 и 12. «По утрам с девяти часов до половины первого я учу моих сестер и рисую, а потом мы до обеда гуляем», – пишет Шарлотта своей школьной подруге Эллен Насси». Некоторое оживление в этот довольно унылый распорядок дня вносят, видимо,

учителя рисования и музыки». Так воспитывались английские женщины, принадлежавшие к среднему сословию. [228]

Ш. Бронте, которая вынуждена была зарабатывать на кусок хлеба нелегким учительским трудом, писала о том времени как о горьких днях своей жизни. В 25 лет ее пригласили преподавать в Брюсселе в одну частную школу. Отсюда и школы чем-то напоминают пейзаж, часто виденный ими в детстве из окон отчего дома (хауордское кладбище). Эта страшная сказка, увы, была былью... Поэтому и в романе Ш. Бронте «Учитель» нет радости, но царит печаль и тяжкий безрадостный труд наставника. В нём очерчен и реальный круг тех нелегких и утомительных обязанностей, с которыми вынужден сталкиваться едва ли не любой учитель каждый день и час. Вот как описывала Ш. Бронте тех учениц, с которыми постоянно должен был работать учитель: «Нет, он видит ученицу в классной комнате, скромно одетую, с книжками и тетрадками, разложенными перед ней. Вследствие воспитания или врожденных склонностей, в книгах она видит одну досадную неприятность и открывает их с отвращением, в то время как учитель должен вложить в ее головку их содержание; при этом строптивый ее ум отчаянно сопротивляется введению в него скучных знаний, и сдвинутые брови, угрюмое настроение искажают симметрию ее лица, грубые порой жесты лишают утонченности ее образ, а вырывающиеся временами приглушенные реплики, сразу напоминающие о родине и неискоренимой вульгарности ученицы, оскверняют свежесть ее голоса. Когда темперамент живой, а ум, напротив, вялый – непобедимая тупость противостоит обучению. Когда же ум ловок, но энергии духа недостает – лживость, притворство, тысячи всевозможных уловок пускаются в ход, чтобы ускользнуть от требуемого прилежания». [229]

И все же женщины решительно и повсюду заявляют о себе, требуя эмансипации и предоставления им важнейших социальных прав. В Америке перед смешанной аудиторией выступает с лекциями шотландка Фрэнсис Райт (1795–1852). Она осуждает рабство, призывает к созданию рабочих объединений, к развитию свободного образования, к полному равенству женщин с мужчинами по всем вопросам (включая и сексуальную свободу). Поднимается вопрос о политической роли женщины. Кстати, именно Талейран был одним из первых, кто хотя и в характерном для него ироничном ключе, но все же

признал наличие такой проблемы. Когда Адольф Тьер, будущий глава правительства и президент Французской республики, спросил его: «Князь, вы всегда говорите мне о женщинах, я бы предпочел говорить о политике», великий дипломат серьезно ответил ему: «Но ведь женщины и есть политика».^[230]



Пьер Жан Беранже.

В 1824 г. Райт посетила США вновь, вместе с генералом Лафайетом. Тот познакомил ее с героями Революции (Джефферсоном, Мэдисоном). Получив богатое наследство, она осталась в Америке, где основала общину Нашоба. Она и в дальнейшем не прекращала своих усилий в социальной и воспитательной сферах (работая в паре с сыном Роберта Оуэна – Робертом Дейлом Оуэном). В своих выступлениях она не раз останавливается и на проблемах высшего образования женщин. Ф. Райт говорила: «Когда друзья свободы и науки год назад показали мне в Лондоне стены строящегося университета, я с улыбкой заметила, что строить начали не с того конца: «Вы бы тогда позаботились о просвещении в вашей стране, когда бы построили такое здание для молодых женщин». Уже было сказано, что женщины, независимо от того, на какой ступени

просвещения они находятся, держат в своих руках судьбы человечества. Мужчинам суждено то возноситься, то низко падать в зависимости от того, высоко или низко положение женщины; и даже облеченные властью, вооруженные знанием, они, в силу особенностей, присущих их полу, всегда находятся на поводу даже у самой заурядной женщины».^[231] Было немало и других героических женщин, поднявших знамя суфражистской (англ. suffrage – избират. право) борьбы против несправедливостей общества.

Женщины Америки одними из первых вольются в ряды мировых феминисток... Они острее других ощущали несправедливость старых порядков. Супруга президента США Дж. Адамса – Эбигейл Адамс (1744–1818) говорила: «Если хорошо не позаботиться о воспитании и образовании женщин, откуда взяться героям, государственным деятелям и философам?» В этой области американки покажут себя to the best advantage (англ. – «в самом выгодном свете»).

В роли «учителя нравов» выступал и Стендаль. Хотя его трактат «О любви» (1822) заметно отличается от знаменитых романов «Красное и черное» (1831), «Пармская обитель» (1839). В трактате «О любви», помимо прочего, есть любопытные страницы, посвященные проблеме женского образования. Стендаль считал тогдашний способ воспитания и обучения французских девушек никуда не годным. Даже в Париже главным достоинством девушки являются не знания и культура, а самые примитивные требования бытовщины («Резонно говорят, что образованна достаточно хозяйка, коль различает, где штаны и где фуфайка»). Если бы у общества хватило смелости, оно давало бы молодым девушкам такое же воспитание, как рабыням (довольно странный вывод). Однако, по мнению Стендаля, девушки, чувствуя себя в жизни рабынями, не имеют возможности получить достойное образование и воспитание.

Тридцатилетние женщины во Франции не имеют тех знаний, которыми обладают пятнадцатилетние мальчики... У женщин же пятидесятилетнего возраста «ум соответствует уму мужчины двадцати пяти лет». К сожалению, общественное мнение отнюдь не настроено в пользу перемен. Попрежнему дамам ничего не оставляют кроме как заняться пустым делом (ухаживать за цветами, составлять гербарии, разводить чижиков). Невежды и мужланы – прирожденные враги женского образования. Понятно, однако, что для получения должного

воспитания недостаточно прочесть десяток хороших книг. Нужен совсем иной подход к роли женщины в обществе. «Так как нынешнее женское образование является, быть может, самой забавной нелепостью в жизни современной Европы, то чем меньше женщины получают этого образования, тем они лучше»,^[232] – следует довольно парадоксальный вывод.

Как можно понять столь демонстративный афронт в отношении женщин того, кто так любил и знал их? Стендаль лучше других видел, как в песню любви вмешиваются циничные мелодии мира наживы. И все ж учил все влюбленные сердца быть искренними в своих чувствах. «В мире чувства есть лишь один закон – составить счастье того, кого любишь». Французы, как и Европа в целом, отводили женщине вполне определенное место в своей жизни.

Разумеется, были и те, что относились к ней с восхищением и преклонением. А. Франс считал женщину великой воспитательницей мужчин. Однако нельзя сказать чтобы ее воспитание было успешным. Очень немногие мужчины готовы были поставить женщину в умственном и интеллектуальном отношении в один ряд с собою в жизни. Достаточно сказать, что французская Академия отказала Жорж Санд в причислении ее к «бессмертным», о чем с возмущением писал А. Доде. Настрой же «просвещенной Европы» второй половины XIX в., как мне кажется, выразила и героиня романа Достоевского «Подросток» – Альфонсина: «Сударь, сударь! никогда еще мужчина не был так жесток, не был таким Бисмарком, как это существо, которое смотрит на женщину как на что-то никчемное и грязное. Что такое женщина в наше время? «Убей ее!» – вот последнее слово Французской академии!»^[233]

Высказался на эту актуальную тему и поэт Беранже (1780–1857), автор злых и вольных куплетов, которые распевала вся Франция. Газета «Трибюн» писала: «Во Франции насчитывается больше людей, знающих его песни, чем людей, умеющих читать, и любой мальчишка из церковного хора споет эти песни лучше, чем ритуальные псалмы». Его песни стали доходчивыми уроками для французских «гаврошей». Ни один из поэтов-романтиков не мог соперничать с ним в популярности. Он имел право сказать в автобиографии: «Народ – моя муза». Его любовь к родине была величайшей и единственной страстью жизни... Стендаль называл его «гениальным» и

«величайшим современным поэтом», а Жорж Санд относил к одному из самых «великих умов». Это был человек из самой толщи народных масс. Знания и образование он получал, в основном, из книг. Языков не знал. Мало был знаком с театром и музыкой. Однако французы ценили и обожали его, как, пожалуй, никого из классиков и всевозможных *maitre d'ecole* (глава школы или направления в искусстве или литературе). Простое, но величественное сердце! Однако и его взгляды на характер и состояние тогдашнего образования буржуазных девушек немногим отличались от оценок, данных выше Стендалем. В «Барышне» он показал, что представляло тогдашнее домашнее воспитание:

Что за педант наш учитель словесности!
Слушать противно его!
Все о труде говорит да об честности...
Я и не вспомню всего!
Театры, балы, маскарады, собрания,
Я без него поняла...
Тра-ла-ла, барышни, тра-ла-ла-ла
Вот они, вот неземные создания!
Барышни – тра-ла-ла-ла!
Что тут, маман! Уж учили бы смолodu,
Замуж давно мне пора;
Басня скандальная ходит по городу —
Тут уж не будет добра!
Мне все равно; я найду оправдание —
Только бы мужа нашла...
Тра-ла-ла, барышни, тра-ла-ла-ла!
Вот они, вот неземные создания
Барышни – тра-ла-ла-ла!

Далеко не все мужские особи относились столь уж пренебрежительно к прекраснейшей половине рода человеческого. Даже среди академиков были те, кто хорошо понимали высокую и ответственную миссию женщины как верной спутницы и подруги мужчин. И пусть она порой пребывает в тени своего знаменитого

супруга, без ее ласки и внимания, заботы и чуткости вся жизнь мужчины стала бы страшной каторгой... Академик Э. Легуве писал в середине XIX в. о созидательной роли женщин следующее: «Какого рода деятельность наиболее соответствует свойствам женской природы? Эта полутень соответствует её скромности, эта перемежающаяся деятельность – ее физической слабости, эти минутные порывы – ее способности увлекаться, эта бдительность – тонкости ее чувств, и роль утешительницы – ее душе! Карьеру истинной жены составляет карьера ее мужа. Возьмите ученого изобретателя. Его пылкий гений стремится объять совокупности вещей, его плодотворная деятельность, распространяемая сразу на все вопросы науки, пролагает в ней все новые пути. Какая слава! – подумаете вы. Да, но иногда – сколько горя! Слепая посредственность отрицает его, более зоркая на него нападает; непонимающие его тупицы и слишком хорошо понимающие завистники соединяют свои усилия, чтобы объявить его сумасшедшим... Он близок к унынию... Успокойтесь, он оживет, так как подле него женщина, жена его, которая его понимает и указывает ему на будущее. Она-то и вернет его к мощной работе... Он творит, рассказывая, а она, слушая его, растет, возвышается. Его охватывает энтузиазм, он снова бросается в борьбу, он торжествует, а для его жены главная радость в том, что остается неизвестным ее участие в победе, которой, не будь жены, он может быть и не одержал бы».^[234] Эти правила распространяются часто на жен художников и вообще людей творческих профессий.



Джон Стюарт Милль (1806–1873)

В числе защитников женского равноправия были и другие ученые. Джон С. Милль (1806–1873) пишет трактата «О свободе» и эссе «Порабощение женщин». В 17 лет он был арестован лондонской полицией за распространение информации о противозачаточных средствах. В искусстве воспитания одним из самых сложных моментов всегда было зарождение в умах людей ассоциаций. Отец Джона, Джеймс Милль (1773–1836), и был тем ученым, который дал XIX веку систему ассоциативной психологии, названную им «ментальной механикой» (духовной механикой). Семья Миллей – неплохая иллюстрация действия этой новой модели воспитания. Дж. Милль начал обучение сына с самого его рождения. На третьем году его сын уже изучал греческий язык (греческие вокабулы с их английским значением). В 4–5 лет младший Милль знакомится с баснями Эзопа, Геродотом, Платоном, Плутархом. В 7 лет он уже прочел «Робинзона Крузо», «1001 ночь» и «Дон-Кихота». Упражнялся юный Джон и в собственных сочинениях, всегда давая отцу скрупулезный отчет о них во время их ежедневных прогулок. Параллельно с греческим изучалась арифметика. Ей посвящались вечерние часы. Дж. С. Милль, правда, вспоминал, что испытывал при этом невообразимую скуку.

Не всем дано быть допущенными в платоновскую Академию... С 8 лет он приступил к латыни. Читает греческих поэтов (прежде всего Гомера). Несмотря на нелюбовь к математике, он берется за эвклидову геометрию и эйлеровскую алгебру. В 9 лет занялся дифференциальным исчислением, к 12 годам обратился к изучению сочинений по логике (аристотелевского «Органона» и схоластов), а в 13 лет познакомился с политэкономией. Правомочен вопрос: «Насколько полезна подобная обильная и смешанная «пища» для умственного и физического здоровья ребенка?». Конечно, всякое слепое копирование, как и вообще «механическая педагогика», вредны. Нужно учитывать склонности, способности и возраст обучаемого, а также его собственные интересы и побуждения. Сам Дж. С. Милль был «страдательным объектом педагогического эксперимента», навязанного отцом. Не оттого ли между ними всю жизнь сохранялись прохладные и натянутые отношения?! Однако подготовка младшего Милля дала свои плоды. Он стал ученым общеевропейского и мирового уровня. Кое-что нового привнес он и в педагогическую науку. Однако об этом поговорим чуть позже.

Сколько невидимых миру слез пролито детьми в угоду гордыне и тщеславию родителей. Зачастую все понапрасну... Однако случай с Дж. С. Миллем вряд ли подходит под эту классификацию. По общему мнению его биографов, он превзошел своего отца по вкладу в философию, логику, экономику, этику. Таким образом, мы видим, что в иных английских и европейских семьях бесспорно умели воспитывать и возвращать талантливую молодежь. [\[235\]](#)

К интригующей теме свободы женщины обращались многие ученые. Об этом писал Дж. Милль в «Порабощении женщин» (1861). Труд создан совместно с Е. Тейлор... Принципы, которыми все еще регулируются отношения между полами в обществе, в высшей степени несправедливы. Автор не желает отделяться общими фразами или ироничной шуткой Шамфора, в которой тот своеобразно «уравнивает» мужчину и женщину. Шамфор заметил, что «как бы плохо мужчина ни думал о женщинах, любая женщина думает о них еще хуже».

Автор решительно против того, что мужчины будто бы обладают неким высшим правом командовать женщинами, а те должны им беспрекословно повиноваться. Глубоко порочным считает он и другой принцип: мужчины, якобы, годятся для участия в управлении страной,

а женщины – нет... Позорно заявлять, что права и свободы, которыми успешно пользуются все мужчины, не должны распространяться на женский род. Институт мужского господства над женщиной Милль сравнивает с институтом рабства. Все знают, что рабство держалось очень долго, прежде чем было окончательно уничтожено. Перед этим, однако, шло смягчение его форм. Подобным же образом должна трансформироваться и система «мужского рабовладения». По мнению Милля, с ней пора кончать, ибо слепое господство одной половины человеческого рода над другой – это откровенный вызов свободе и гуманизму всех людей.

Как же видится Дж. С. Миллю великое освобождение женщин? В первую очередь, надо добиться, чтобы женщина и в домашних условиях перестала быть «рабыней» своего мужа. Вторым наиважнейшим шагом к подлинному освобождению станет предоставление ей в образовании равных прав с мужчиной... Дж. С. Милль прибегает к доказательству как бы от противного. Оппоненты утверждают, что женщины так и не сумели достичь выдающихся успехов в философии, науке и искусстве. Разве это не прямое свидетельство их несовершенств?! Автор не оставляет камня на камне от подобных инсинуаций... Если в таких оценках и есть некая крупица истины, следует все же учесть, что на протяжении нескольких тысяч лет именно мужчины всячески сковывали и обуздывали женскую энергию. Лишь за жизнь трех последних поколений (XVIII–XIX вв.) женщины получили ограниченную возможность изучать некоторые науки и искусства (в Англии, Франции и США). Да и то эти попытки, по зрелому размышлению, следовало бы оценить как весьма и весьма скромные.

Вспоминаются имена: древнегреческая поэтесса Сапфо, Коринна, что с успехом бросала вызов Пиндару, Аспасия, к которой обращался за советами Сократ, Жорж Санд и мадам де Сталь... Ныне же даже в такой области, как политическая экономия, появляются женские имена. Если же до сих пор среди них нет выдающихся историков или филологов, то ясно, что обществом не созданы должные условия для обучения женщин. Им просто негде почерпнуть фундаментальных знаний. Готовьте женщин на том же уровне, что и мужчин – и можно будет по достоинству оценить их способности. Путь к свободе лежит через интеллектуальное образование. Однако все-таки и этого

недостаточно. Как считал Дж. С. Милль, нужен третий компонент. В ряде стран женщины (из высших слоев) получили доступ к факультетам искусств, но при этом лишены права зарабатывать на жизнь какой-либо профессией, за исключением разве что самой древней (экономически они так и остались несвободны). Мужчины крайне заинтересованы в таком подчиненном положении женщины. Что же тогда они, если женщина станет умной и свободной, смогут ей противопоставить?!^[236]

Дж. Милль писал: «Жена, не ведущая мужа вперед, непременно толкает его назад». Все было чудесно и замечательно, но он так увлекся благородным делом женской эмансипации, что решил перевести дело на практические рельсы. В итоге, он «проэмансипировал» Г. Тейлор, жену энергичного, но совсем не интеллектуального торговца. Та оставила мужа и восторженно слушала речи Цицерона. Вот как описал пикантную ситуацию Карлейль: «Милль, который до этого времени ни разу даже не взглянул ни на одно существо женского пола – ни даже на корову, – оказался наедине с этими огромными темными глазами, которые, сияя, говорили ему невыразимые вещи». Что ни говори, а страшная сила эмансипация...^[237]

В XVIII–XIX вв. многие верили в умственное превосходство мужчин. Дж. С. Милль сумел-таки разглядеть за кипами книг дивный абрис «таинственной незнакомки». Более сурово обошлась судьба с немецким философом Артур Шопенгауэром (1788–1860). В юности его постиг страшный удар, когда отец, богатый купец, безумно любивший своего сына, в 1805 г. покончил с собой. Трудно сказать наверняка, что послужило причиной трагедии, но, вероятно, вину за происшедшее сын возложил на свою мать. В нем возникла стойкая неприязнь к родительнице, которая затем перекинулась на весь женский род. Судя по всему, особ женского пола он недолюбливал, относя их к «нечистой силе». Надлом во многом определил и основные направления мысли Шопенгауэра (опора на чистые Идеи, отказ от желаний, жизнь как страдание). В немалой степени подобные мысли и настроения подтолкнули к написанию эссе «О женщинах». Иные прямо указывают на эссе как на «симптом его невротической неприязни к собственной матери» (Я. Мак-Грил). Все ж тут чувствуется некая твердая позиция.

Высказывания его о женщинах подтверждают, сколь неохотно мужчина расстается с нелепой идеей своего умственного и общекультурного превосходства. В этих изречениях женщина предстает в довольно невыгодном и даже уродливом свете. Шопенгауэр пишет: «Достаточно одного взгляда на то, как она устроена, чтобы понять, что женщина не приспособлена к серьезному труду, будь то умственному или физическому». «Непосредственное предназначение женщин – служить няньками и наставниками в нашем раннем детстве, ибо сами они инфантильны, фривольны и недалновидны». «Мужчина едва достигает зрелости своих рассудочных и духовных способностей к двадцати восьми годам; женщина – к восемнадцати. И при этом женский разум весьма посредствен, его кругозор крайне жалок». «...Обнаружится, что основной порок женского характера заключается в том, что он лишен *чувства справедливости*... Они полагаются не на силу, а на ловкость; отсюда их инстинктивная способность к хитрости и их неискоренимая склонность к обману»... «Только мужчина с омраченным половой страстью разумом мог назвать *прекрасным полом* эти низкорослые, узкоплечие, широкобедрые и короткобедрые создания...» «Что по природе ее женщине предначертано послушание, явствует из того факта, что каждая женщина, очутившаяся в неестественном состоянии полной независимости, незамедлительно предается какому-нибудь мужчине... Если она молода, то им окажется любовник; если стара – священник». [\[238\]](#)

Самой известной и нашумевшей книгой, посвященной отношениям между мужчиной и женщиной в XIX в., стала книга австрийца Отто Вейнингера (1880–1903) «Пол и характер»... Это книга – роковая. Написав ее, автор покончил с собой, что заставляет нас считать проблему взаимоотношения полов трудной и небезопасной дилеммой. Автор рассматривает женский вопрос, не касаясь его «ни со стороны социальных наук, ни со стороны социальной политики». Безусловно, подобный подход сужает видение проблемы, но он справедливо отметил, что женщина под «эмансипацией» понимает не столько духовную и нравственную свободу, но ее внешние формы. В действительности, чтобы стать эмансипированной женщина должна выйти на бранное поле социально-культурных и экономических отношений и там попытаться в честном бою одолеть мужчину. В

умственных битвах это довольно затруднительно, как считает О. Вейнингер, ибо её мозг на целых 200 грамм легче мужского. Ну и что из того? Ведь, гиппопотам или слон также тяжелее человека. Разве они умнее его?! Такого рода взгляды и позиции никак нельзя назвать очень уж «прогрессивными».^[239] Вообще вес мозга понятие сугубо относительное. К примеру, мозг И.Тургенева был намного тяжелее веса мозга А. Франса, однако в силе таланта оба писателя ничем не уступали друг другу.

Аналогичным образом, если быть объективным и учесть все моменты как биологического, так и социально-политического характера, выясняется: женщины ни в чем наиболее важном и существенном не уступают мужчинам. Разговоры о том, что мозг женщины весит меньше, а размеры черепа уступают мужскому, просто смешны. Аналогии тут вообще неуместны. Ведь установлено, что у безграмотных крестьян из Оверни вместимость черепа значительно больше, чем у самых образованных парижан. Черепа примитивных особей из четвертичного периода (живших миллионы лет назад) более чем внушительны, тогда как, скажем, у Вольтера череп маленький. Это же можно сказать в отношении мозга. Выясняется, что мозг женщины (по отношению к росту и весу тела) больше соответствующего мужского. И уж вовсе нелепы разговоры о том, что, якобы, женский мозг не имеет такого количества извилин, как мужской. На это женщины вполне резонно могли бы возразить, что у кита, слона, барана, да и у массы других более мелких тварей имеются гораздо более сложные мозговые извилины, чем у мужчин. Мы уже не говорим о чувствах. Здесь женщина и вовсе выглядит на две головы выше мужчины, что подтверждено и доказано работами того же Ф. Гальтона.



Бонно. Дуэль.
В позу, сударь!

Наконец, остается последний, можно сказать, решающий аргумент, который и был выдвинут Шопенгауэром, утверждавшим, что женщины не обладают чувством и пониманием музыки, а еще менее способны понимать поэзию и пластические искусства. Во всем мире, говорил он, женский пол так и не смог явить ни одного великого ума, ни одного таланта в изящных искусствах, ни одного действительно ценного сочинения. Отдельные частные исключения не меняют положения дел в принципе... Этот взгляд соседствует и дополняется другим его признанием, где сказано: «...именно самые прекрасные творения каждого искусства, благороднейшие создания гения навеки остаются для тупого большинства людей книгами за семью печатями и недоступны для него, отделенного от них глубокой пропастью...»^[240]

Как же можно требовать от женщин триумфальных побед в сфере мысли и духа, если условия её обитания, её труд зачастую не позволяют ей ступить в этой области и шагу. Современное общество наглядно показало тут свое лицо. Собственник – это дикое и безжалостное животное, скрывающееся под покровом «цивилизации». Справедливо замечание и О. Уайльда о судьбе женщин в обществе: «История женщины – это история самой чудовищной тирании, какую

только знал мир, – тирании слабого над сильным. Именно такая тирания и долговечна». Даже в XVI в. женщину многие «считали способной, наравне с мужчиной, достичь высших ступеней образования». Т. Мор требовал полного уравнивания ее прав с мужскими, а Агриппина фон Неттесгейм ставил женщину выше мужчины. «Однако вся эта эпоха погрузилась в забвение, успехи женского пола погибли, и только XIX век снова пробудил мечты об этом, – пишет О. Вейнингер. – Нельзя не обратить внимания на то, что стремление к женской эмансипации появляется в мировой истории через определенные, одинаковые промежутки времени. В X веке, в XV и XVI веках и теперь, в XIX и XX, женщин эмансипированных оказывается больше и движение значительнее, чем в промежуточные эпохи».^[241]

Однако борьба шла нешуточная. И нынче еще нередко можно услышать, что одаренные женщины не выдерживают сравнения с мужчинами, будь они семи пядей во лбу. В XVIII–XIX вв. эта точка зрения широко распространена. Иные критики полагали, что «женское» и «деловое» начала несовместимы. Согласно их логике женские черты, якобы, лишь принижают, затушевывают творческое и деловое начала в дамах. В качестве сомнительного аргумента они приводят поговорку «Волос долог, да ум короток». Существует немало других пословиц и поговорок, где проявляется эта внутренняя настороженность, подозрительность и даже враждебность мужчин к женскому полу. Вот лишь некоторые из них: «Кто хочет скрыть свои деньги, тот не должен их класть под язычок своей жены» (дат.). «Не открывай сердца женщине, даже если она родила тебе семерых детей» (яп.). «Не всяку правду муж жене сказывает, а и сказывает, так обманывает» (рус.). «Если муж все рассказывает своей жене – значит он недавно женился» (шотланд.). «Не надейся на зверя, скачущего в горах, не доверяй своей тайны неразумной женщине» (киргиз.). «Лучше в утлой ладье по морю ездить, чем жене тайну поверить» (рус.). Но всего откровеннее, «демократичнее» и «гуманнее» выразили своё отношение к женщине евреи: «Доверь свою тайну жене, но вырежь ей язык» (евр.).^[242]

Хотя не только мужчины выражали известные сомнения в правомочности умственных притязаний женщин. Жорж Санд даже весьма безапелляционно утверждала, что женщина – «дура от

природы» («la femme est imbecile par nature»)?! Сегодня, чтобы опровергнуть столь категорический «вердикт», не нужны специальных научных изысканий. Скорее потребуются исследования, которые сумели бы доказать, что к этой категории не принадлежит иной пол.

Среди дам появились даже защитницы их превосходства... Дочь итальянского ученого Ч. Ломброзо Паола Ломброзо в книге «Женщина: ее физическая и духовная природа и культурная роль» задалась вопросом, а действительно ли превосходство мужчин подтверждается неопровержимыми аргументами. Да, мужчина обладает более крепкими мускулами, прочным скелетом и большим мозгом. Но что отсюда следует? Ведь в других областях он явно уступает женщине. Она гораздо легче приспосабливается к жизни и к условиям окружающей среды. Средняя продолжительность жизни у нее заметно выше, чем у мужчины (даже у низших животных). Она выносливее. Серьезное превосходство женщины заметно и в такой области как воспроизводство вида, где она создает потомству наиболее безопасные и выгодные условия развития. И если даже предположить, что мужчина чуть умнее, то и это качество далеко не всегда подкрепляется жизнью; тогда как каждая женщина может произвести на свет потомство, далеко не каждый мужчина способен, скажем, написать книгу или совершить аналогичного рода творческий акт. И уж никак нельзя утверждать, что мужчина рождается с лучшими чем женщина, способностями к чтению и письму. Столь же достойно выглядит женщина в сфере творчества и изобретений. Чем хвастаются мужчины? Да, они изобрели оружие и войны, алфавит и социальные законы, торговлю и денежную систему и т. д. и т. п. Но если заслуги мужчин лежат более в плоскости социальной и общественной жизни, то женщина стала законодательницей семьи и домашней жизни. Она «изобрела» дом, земледелие, медицину, искусство прясть, ткать, шить, готовить пищу, да и саму любовь.

Можно бы сказать и гораздо больше. Женщина сумела придать глубокий смысл мужскому существованию. Без неё общество лишилось бы основы, а цивилизация просто перестала бы существовать. Само появление прогресса полностью зависело и зависит от массы женских желаний и прихотей. П. Ломброзо так мотивировала свою апологию женщины: «Таким образом, женщина побудила к изысканию драгоценных камней в недрах земли и чудных

жемчугов на дне моря, поощряла ввоз и выделку самых редких и красивых тканей... находя им соответствующее применение, употребляя одни для торжественных нарядных платьев, другие для легких воздушных бальных костюмов и трети, наконец, для защиты от холода. Тысячи и миллионы рабочих и работниц во все времена и в течение всей своей жизни заняты были только производством того, что изобрела женщина для украшения своей личности и для убранства своего дома. И это – одна из главных заслуг женщины: она сумела выдумать и устроить свой «дом».^[243] Дом – женский Парнас! Не вступая в спор с учёной дамой, позиции которой в целом я разделяю, позволю заметить, что последний аргумент звучит не очень убедительно. Во-первых, «дом» не является прерогативой лишь женщин. Во-вторых, к концу XIX в. немногие трудящиеся имели «дом». Миллионы напрочь лишены возможности пользоваться таким благом, ибо «заняты были только производством» и их дома скорее можно было назвать «домами, где разбиваются сердца». В-третьих, даже если это так, надо спросить её: «А не совершила ли женщина (вместе с мужчиной) страшный грех, открыв этот «ящик Пандоры», который чуть позднее (уже в XX веке) получит наименование «эры массового потребления»?!» Во всяком случае это дало известное основание романисту С. Батлеру заметить, что если разбойники требуют кошелек или жизнь, то женщины – и то и другое.

В 1895 г. в Париже вышла книга Ж. Лурбе «Женщина перед судом современной науки». Все, о чем в ней говорилось (кое-что из аргументации ниже нами приведено) свидетельствовало в пользу женщины как существа абсолютно равноправного с мужчиной, а кое в чем заметно его превосходящего. В частности, Ж. Лурбе отмечал научные и вообще творческие заслуги известных женщин: «Не странно ли, что мы можем перечислять имена женщин, сделавшихся известными по своим научным познаниям, таких как Ипатия Александрийская, Мария Анъези, Эмилия Шателэ, Клотильда Тамброни, София Жермен, Мария Соммервиль, София Ковалевская, Джузеппина Катани, занимающая в настоящее время кафедру гистологии в Боннском медицинском факультете, Клеманс Ройе, прославившаяся в философии, Христина Франклин из Балтиморы, известная как математик, Мария Митчелл из Массачусетса, известная как астроном; и прочие; или женщин, известных своими

литературными трудами, как г-жа Сталь, Жорж Санд, Даниель Стерн, Джордж Элиот, Бичер Стоу, Кармен Сильва, или женщин, отмеченных в искусстве, как Роза Бонер в живописи, Августа Гольмес – в музыкальной композиции, Анна Уитней – в скульптуре». [\[244\]](#) С тех лет список удлинился.

Одним словом женщина в XIX веке стала занимать весьма почетное место не только в сердцах мужчин, но и в их умах... Все понимали, что века эволюции делают ее все более умной, энергичной, деятельной, талантливой. Интересно, что через сто лет причины бед людских объясняют тем, что «силы мужчин – и в биологическом, и в социальном плане – уже исчерпаны». Якобы, мужчины уже сказали все, что они могли сказать – и должны теперь уйти с исторической арены, ибо созданный ими мир ужасен... Поэтому и за обустройство будущего народов должны взяться женщины. «Может быть, женщины и сделают наш мир более счастливым и более красивым» (профессор Белградского ун-та М. Маркович). [\[245\]](#)

Число ее достоинств и преимуществ, действительно, оказывалось столь велико, что, казалось, стало угрожать уж и самому существованию мужчин, если бы... не почти равное число недостатков и слабостей... Позже З. Фрейд даже скажет, пытаясь проникнуть в тайну женской души: «Великий вопрос, на который никто не дал ответ и на который до сих пор не смог ответить и я, несмотря на мое тридцатилетнее изучение женской души, состоит в следующем: чего хочет женщина?» Сколько мужчин во всех странах мира задавали и задают себе один и тот же мучительный вопрос – и не находят ответа. Может быть, дело в том, что женщина – это некий волшебный сосуд, из которого в любое мгновение может появиться добрый или злой джин, а она сама даже и не знает, чего следует ждать от нее в следующую минуту?! Мы так много говорили об уме женщины, так сказать о высшей её половине, что оставили в преступном небрежении низшую, быть может, самую сладостную, роковую.



Г. Шик. Портрет фрау фон Готта. 1802.

Главное назначение женщины после материнства – это огромный мир любви и чувств. И тут ей нет равных. Поэтому не хотелось бы, чтобы впечатления об этих прелестных, опасных существах ограничивались одними милыми семейными историями, монастырями, школами, университетами и т. д. Наверняка многие из читателей были молоды, и приносили себя не раз на жертвенник женской страсти, ее причуд. Сколько прелестных учительниц обучало нас, нет, конечно же, не плутарховским историям и монтеневским заповедям, а иным упражнениям, проводя с нами «труды и дни»... Одна из таких особ Мари Дюплесси (1824–1847), родившаяся в крестьянской семье в Нормандии (ее бабка со стороны отца была проституткой, дед – распутным священником). Её образ запечатлелся в умах всех женщин, знакомых с ней по образу Маргариты Готье, героини романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Вот как описывает ее жизнь и судьбу Ирвинг Уоллес... Мари было 13 лет, она работала ученицей у прачки, когда пьяница-отец заметил, что у его дочери лицо ангела и тело Саломеи. Он решил на этом подзаработать и буквально за гроши продал ее своему другу – 70-летнему похотливому толстяку

Плантье, который попользовался ею, а через год вернул папаше. Какое-то время она была официанткой в таверне, а затем отправилась в Париж, где поселилась в Латинском квартале, где было полным-полно беспутных и распутных студентов, что проводили время в объятиях гризеток, а на лекциях утомленно отдыхали.

Вначале она служила в корсетной мастерской, была продавщицей в магазине шляп, промышляя проституцией. Она была столь прелестна, что, как позже скажут о ней, умела превратить порок в добродетель, «причем делала это с чувством собственного достоинства и необыкновенно красиво». А так как мужчины очень устают от своей политики, всяких там экономических и прочих забот, то, естественно, они порой попадают в тенета жриц любви, как несмышленные мотыльки, летящие на свет яркой лампы. Вскоре Мари Дюплесси встречаются уже в обществе герцога де Гиш-Грамона, который должен был войти в состав правительства. Имя Мари она себе выбрала, по ее собственным словам, «так как это имя Богоматери». Всего за четыре года она прошла путь от неотесанной деревенской девицы до утонченной дамы, являвшей собой «эталон хорошего вкуса в фривольном и пресыщенном Париже». У нее было шесть слуг, экипаж, она читала Гюго, Эжена Сю и Мюссе, развлекала общество и «разоряла богатейших мужчин Франции». Начав с бакалейщика, она вскоре проникла и в высший свет. Как же могли члены правительства миновать эту *goumande* (франц. – «лакомку»!). Аженор де Гиш нашел для нее приемных родителей, одарив ее ребенком. После этого его сделают министром иностранных дел при императоре Наполеоне III и герцогом. Впрочем, Франция давно всем известна как страна, где разврат считается чуть ли не национальной доблестью. Тут любовью предваряют католическую мессу и любовью же ее заканчивают. О том, чтобы следовать морали и нравственности речь вообще не идет в западной цивилизации. Поэтому и проституция здесь является почтенным ремеслом, хотя на словах и осуждается фарисейской буржуазией. Сама Мари Дюплесси так объясняла свое занятие: «Почему я продаю себя? Потому что труд работницы не принес бы мне той роскоши, неодолимую тягу к которой я испытываю. Я не жадна и не развратна, как это может показаться. Просто я хочу познать утонченные удовольствия, радость жизни в изысканном и культурном обществе. Я всегда сама выбираю себе друзей». Александр Дюма-сын

увидел ее в 1842 г. (ему, как и ей, было 18 лет, но он еще безвестен). Ее красота сразила его наповал.

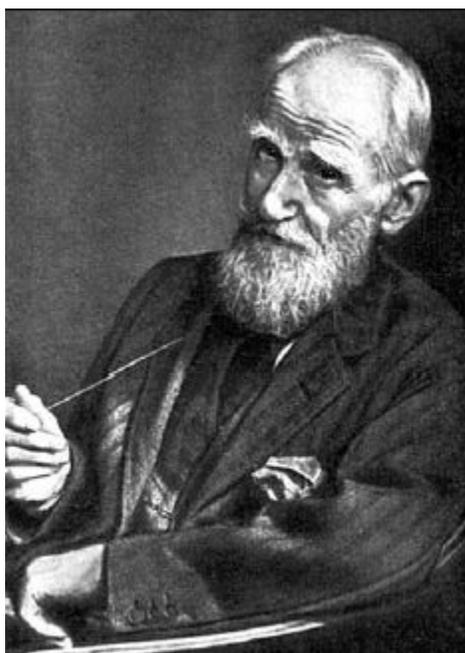


Дж. Э. Миллес. Офелия.

Что мог предложить юноша подруге миллионеров? Да, конечно, у него был великий отец, хваставшийся тем, что написал 12 сотен томов, дрался на 20 дуэлях и наплодил 500 детей, при этом заработав и потратив за свою жизнь сумму чудовищную по тем временам (5 миллионов долларов). Но он сумел завоевать ее внимание. Та подарила ему год страсти, разумеется, вытреся из него то небольшое, чем он владел, и заставив залезть в долги. Вероятно, это была потрясающая женщина. Ею пленился даже композитор Лист, позже признавшийся, что Дюплесси «была первой женщиной, которую я любил». Читатели обязаны ей не только появлением романа «Дама с камелиями», но, думаю, многими бессонными ночами, во время которых иные предавались греховным мечтам, переживая любовные похождения Мари.

Альфонсина Плесси умерла в 1847 г., когда ей исполнилось 23 года. После ее смерти буржуа набросились на аукционе на принадлежавшие ей вещи, как стая прожорливых аллигаторов (драка шла за ее драгоценности, портреты, любовные письма, пряди волос, туфли, старые шали, даже за попугая). Через пять месяцев после ее смерти Дюма приступил к работе над романом «Дама с камелиями», где вывел ее и себя под именем Маргариты Готье и Армана Дюваля. Через пять лет пьеса того же наименования станет событием, а итальянский композитор Дж. Верди, вдохновленный ею, напишет свою

известнейшую оперу «Травитату» (премьера в Венеции в 1853 г.)... Престарелый Дюма-сын, после двух неудачных браков, пришел к мысли о греховности продажных женщин. Он предложил правительству выявлять всех незамужних женщин и обучать их ремеслу в государственных школах, а проституток безжалостно высылать в колонии. Образ прелестной куртизанки, видимо, с теплотой вспоминают ее бесчисленные подруги, у которых хватает ума и сердца для прочтения романа. [\[246\]](#)



Бернард Шоу.

Свою лепту в тему женского освобождения внес и неистовый ирландец Бернард Шоу (1836–1950), популярный драматург, являвшийся к тому же одним из основателей «Фабианского общества». Философия не помешала ему практически жениться на богатой ирландке, «зеленоглазой миллионерше». Не отрицал он ни притягательности богатств, ни имперских устремлений отечества... Нормальный человек, которому не чуждо ничто человеческое. Видимо, в том и состоит специфика переходных эпох, что порой в судьбах и личностях мы наблюдаем удивительное смешение цветов и стилей. Возможно, прав был английский поэт Поп, заявив в «Опыте о человеке» – «Истинная наука для человечества – это сам человек». [\[247\]](#) Он пишет об «английских пережитках гарема» и «несчастных

пленницах» семейных устоев Альбиона. «Никто еще в полной мере не оценил, до какой степени современная образованная англичанка ненавидит самое слово «дом»!» – писал он. Свобода порою обреталась женщиною только на панели. Отсюда появление серии так называемых неприличных пьес писателя. В комедии «Профессия миссис Уоррен» в уста главной героини (содержательницы сети публичных домов в Европе) вложены слова, раскрывающие философию этого, по сути, лицемерного и циничного мира. Миссис нравоучительно изрекает: «Единственный способ для женщины прилично обеспечить себя – это завести себе мужчину, которому по средствам содержать возлюбленную... Спроси любую даму высшего круга, и она тебе скажет то же, только я тебе говорю прямо, а та начнет разводить турусы на колесах. Вот и вся разница».

Возможно, необходимостью борьбы с подобными установками и настроениями и было вызвано появление, пожалуй, самой популярной пьесы Шоу – «Пигмалион». Задуманная еще в 1897 г. специально для актеров Форбс-Робертсона и Патрик Кэмпбелл (в последнюю драматург был влюблен), пьеса была поставлена «Театром его величества» в 1914 году. В ней, как помнит зритель, обычная девушка-цветочница, дочь мусорщика Дулиттла («ист-эндская девка») усилиями профессора Хиггинса превращается в шикарную светскую даму. В это же время ее родня, голодранец Альфред Дулиттл, совершает головокружительную карьеру, становясь проповедником. Но даже правильная речь и внешне безукоризненные манеры Элизы, увы, не могут «уничтожить пропасть, которая отделяет класс от класса и душу от души». Писатель привлек внимание зрителя к порокам буржуазного мира, указал на его прямую и личную ответственность за установленные в стране порядки, выступая против «самих» буржуа, а не против «персонажей». Саркастичный смех этого мудреца, одного из основателей известного «Фабрианского общества», автора пьес «Дома вдовца», «Профессия госпожи Уоррен», «Пигмалион», «Ученик дьявола», «Цезарь и Клеопатра» основательно потряс незыблемые устои английского общества, выявляя многочисленные «гнилые местечки» Британии. Неистовый ирландец, социалист-одиночка (кстати, так называлась и одна из его литературных вещей) увлекся социалистическим учением, говоря: «Маркс открыл мне глаза на факты истории и цивилизации, открыл цель и смысл жизни». Шоу –

активный социальный реформатор. Его лозунгом было, как он сам говорил, «пропитывание либерализма социализмом».

Немало сделала для повышения уровня образования женщин в Германии и во всем мире книга социалиста Августа Бебеля (1840–1913) «Женщина и социализм» (1879). Эта «от начала до конца ненаучная книга», как говорили критики, имела колоссальный успех и была издана только в Германии свыше 50 раз. Речь в книге шла о положении женщины в истории обществ. Большое внимание уделено и вопросам высшего образования. Во второй половине XIX в. число государств, допускающих женщин к занятиям в университетах и иных высших учебных заведениях, стало быстро расти. Ни одна из стран, считающих себя культурными, уже не могла противиться этим требованиям. Впереди всех шли Соединенные Штаты, за ними следовали Швейцария, Германия и Россия. Бебель писал в работе, что быстрое развитие промышленности и культуры, произведенный ими переворот в общественных и производственных отношениях во второй половине XIX века, в области образования привели, как ни странно, к тому, что в средних и высших классах многие девушки продолжали оставаться необеспеченными. Тем самым не востребованы весьма ценные женские силы. К тому же, перевес женского населения над мужским и возрастающее безбрачие мужчин (в высших слоях общества) принуждают даже девушек образованных классов к отречению от естественного призвания быть женой и матерью. Для исправления подобного тревожного положения необходимо проложить путь к соответствующему воспитанию и профессиям. Это позволило бы им получать необходимые средства к жизни не только учительским трудом, но и другими общественно-полезными занятиями, имеющими в основе университетское образование. Таким образом, и Германия к концу XIX в. уже стала рассматривать высшее образование женщин как важнейший этап социализации всего немецкого общества. [\[248\]](#)



Чарльз Диккенс.

Правительства Европы и представители капитала вынуждены были прислушиваться к голосу писателей, выдающихся художников, талантливых публицистов. В частности, благотворную роль в деле вспомоществования образованию сыграл Диккенс. Во-первых, он как истинный self-made-man (англ. «человек, всем обязанный самому себе») сделал героями его романов тружеников, и даже «человека бездны» (то, что в России гениально осуществил великий Достоевский). Во-вторых, он раскрыл перед читателем прелести нормальной семейной и домашней жизни. А это очень и очень важно, ведь не каждый же день мы выходим на баррикады! В-третьих, он сумел задеть в сердце богачей и властителей струну сострадания. Дело почти невысказанное, зная натуру этих господ. Вот что писал по поводу его роли С. Цвейг: «И о Диккенсе, как ни о ком другом из писателей девятнадцатого века, мы вправе сказать: он приумножил радость мира. В миллионах глаз, смотревших в его книги, блеснули слезы; в груди сотен и сотен людей, где отцвели или заглохли цветы веселья, он их снова взрастил – его влияние вышло далеко за пределы литературы. Находились богатые люди, которые, прочитав о братьях Чирибл, одумались и основали благотворительные учреждения; жестокосердные бывали тронуты; детям – это достоверно известно – после выхода «Оливера Твиста» стали подавать больше милостыни,

правительство взялось за улучшение приютов для бедных и стало контролировать частные школы. Благодаря Диккенсу в Англии стало больше жалости и сочувствия друг к другу, смягчились судьбы многих и многих бедняков и неудачников. Я знаю, что такие чрезвычайные последствия не имеют ничего общего с эстетической оценкой художественного произведения, но они важны как свидетельство того, что каждое подлинно великое произведение, выходя за пределы мира фантазии, где творческая воля художника может свободно придать событиям любой поворот, преобразует и реальную действительность».

[249] (Где же в русской литературе, всегда славившейся глубоким сочувствием униженным и оскорбленным, столь же сильный и гневный голос писателей?!)

Свою лепту внес и упомянутый Б. Шоу... Он едко высмеивал идеологию денежных воротил, их незыблемые догматы (поклонение золоту и т. д.). Разумеется, писатель-социалист никак не мог обойти стороной тему образования... В пьесе «Мезальянс», дополненной трактатом «О родителях и детях», читаем: «Из всего, что предназначается на земле для людей невинных, самым ужасным является школа. Начать с того, что школа – это тюрьма. Однако в некоторых отношениях она является еще более жестокой, чем тюрьма...тебя заставляют сидеть взаперти, и сидеть не в удобной и красиво убранной комнате, а в каком-то загоне для скота, где ты заперт вместе с множеством других детей, где тебя бьют, если ты заговоришь, бьют, если пошевелишься, бьют, если ты не сможешь доказать, отвечая на idiotские вопросы твоего тюремщика, что даже в те часы, когда ты убежал из этого стойла, из-под надзора тюремщика, ты не переставал терзать себя, склоняясь над ненавистными школьными учебниками, вместо того чтобы отважиться жить». Такого рода «воспитательная философия» выглядела достаточно жутко. В «Майоре Барбара» фабрикант оружия утверждает, что он-то и есть «правительство страны». Он говорит: «Учить детей, что грешно стремиться к деньгам, это значит доходить до крайних пределов бесстыдства в своей лжи, растленности и лицемерии. Всеобщее уважение к деньгам – это единственное в нашей цивилизации, что имеет надежду, единственное здоровое место в нашем общественном сознании. Деньги важнее всего, что есть в мире». Убийственная идеология, которой и поныне поклоняются сильные мира сего. На пути правильной системы

воспитания и создания здорового общества лежат резкие классовые различия, несправедливое распределение национального дохода и т. п. [250]

Необходимо заметить, что если городское население в большей или меньшей степени испытывало на себе все возрастающее влияние города и культуры, то этого нельзя сказать о крестьянстве (лишь в Голландии 50 процентов населения жило в городах, в Англии – 30, во Франции – 15–17 процентов). А ведь крестьянство в конце XVIII в. составляло даже в наиболее крупных европейских странах от 70 до 90 процентов населения. Суровая жизнь, нужда и тяжелая работа просто не позволяли крестьянам отвлекаться на «второстепенные вещи». Крестьяне вынуждены были трудиться от зари до зари. Поэтому им была куда ближе и понятнее «культура скотного двора». Беспросветный труд не способствовал расцвету физических и умственных качеств (документально известно, что период особо тяжелых трудов в деревне совпадал с периодом повышенной младенческой смертности), как и росту образования.

Доцент Венского университета Р. Зидер, автор известной работы по истории семьи в Западной и Центральной Европе, так охарактеризовал отношение крестьянства к школе... Школа до конца XIX в. оставалась совершенно чуждой принципам крестьянского мира, будучи не связана непосредственным опытом с этой формы обучения. Можно сказать, что школа и в дальнейшем считалась малозначимым и второстепенным делом. Повсюду действовало правило: детей лишь тогда посылали в школу, когда было свободное от работы в хозяйстве время. Регулярное посещение школы происходило только зимой, хотя в альпийских регионах этому часто препятствовали трудности зимнего времени. Администрация в сельских районах приспособлялась к условиям сельского хозяйства. На время сбора урожая школьные занятия прерывались («каникулы на время страды», «летние каникулы»). Подобно другим группам населения, чьи дети были заняты «на производстве», крестьяне нередко относились к школе с явной враждебностью. Только в конце XIX в. после длительного сопротивления родителей-крестьян и родителей-надомных рабочих в большинстве стран Центральной Европы все же удалось ввести регулярное посещение школы сельскими детьми. [251]

Система образования начинает перестраиваться... Англичанин Дж. Беллерс (1654–1725) разработал проект организации трудовых колледжей и преобразования общества. Прогресс стал заметнее к концу XVIII в., когда Райкс основал воскресные школы в Англии (1771), а Ланкастер учредил «ланкастерские школы» (1796), впоследствии ставшие знаменитыми. Имело значение и то, что с 1811 г. прекратилась всякая оппозиция со стороны церкви делу народного образования. А вскоре и церковь приняла деятельное участие в воспитании детей бедняков. Всего за полстолетия невежество было побеждено. Уровень английских педагогов был высок, несмотря на ироничную оценку требований к ним Ч. Лэммом («Школьный учитель прежде и теперь», 1821 г.): «От школьного учителя нашего времени требуется знание всего понемногу, ибо его воспитаннику не подобает ни в чем оказаться полным невеждой. Учитель обязан быть поверхностным всезнайкой, если так позволительно выразиться. Он должен кое-что разуть в науке об атмосфере и газах, в химии, во всем, что любопытно и способно заинтересовать юный ум; желательно также знакомство с механикой, а отчасти и со статистикой, умение разбираться в качестве почв, ботанике, государственном устройстве родной страны *cum multis aliis* (лат. – «и многим другом»)». Лишь самая незначительная доля возлагаемых на него обязанностей должна выполняться в часы школьного обучения. Он должен внушать знания в *mollia tempora fandi* (лат. – «спокойное время беседы»)).^[252]

В 1840-х гг. созданы «школы для оборвышей», чему способствовал Диккенс. В Большом Лондоне в 1862–1864 гг. насчитывалось около 190 дневных школ такого типа (18,7 тыс. учеников). По закону 1870 г. часть школ была упразднена, а часть реорганизована в индустриальные школы. Улучшается система и средних школ, в программу которых (с 1869 г.) включены математические дисциплины, естествознание и предметы эстетического цикла. Актом Форстера в 1870 г. положено начало государственной школьной системе (тогда только 42 процента детей до 12 лет посещало школу). Плата за обучение в начальной школе была отменена в 1891 году. В конце века создается и Ведомство просвещения (1899). XIX век стал свидетелем зарождения воскресных школ для взрослых (первая школа такого рода возникла в Ноттингеме в

1798 г.). Возникли механические институты (1789–1796), в которых ремесленники и рабочие обучались прикладным знаниям. Наиболее крупные из них располагались в Лондоне и Манчестере. В дальнейшем их преобразуют в технические колледжи (в конце XIX в.). В сфере высшего образования прогресс обычно связывают с инициативой Оксфорда и Кембриджа, которые возглавили в 1873 г. движение за распространение университетского образования в Великобритании (University Extention). С тех пор в университеты стали допускаться вольнослушатели, а профессора стали читать публичные лекции в провинции. Рост знаний и образования стал возможен благодаря увеличению и объемов финансирования... В 1834 г. возникла система государственных субсидий на обучение. Менее чем за 30 лет суммы, выделяемые правительством Англии на эти цели, увеличились с 20 тыс. ф. ст. до 1 млн. ф. ст. с лишним (это распространялось в основном на университетское образование).

Понятно, что человек с классическим образованием имел больше шансов в жизни. Оно вооружало его инструментами познания и понимания мира... Однажды знаменитый Сесил Родс, «строитель империи», пытаясь объяснить, почему он столь страстно желал попасть учиться в Оксфорд, произнес: «Вы задумывались когда-нибудь, почему это во всех сферах общественной жизни так много выпускников Оксфорда? Оксфордская система выглядит, казалось бы, весьма непрактичной, но ведь вот, куда ни глянь, – кроме области научной – выпускник Оксфорда всегда на самом верху».^[253] Классическая школа и рождает homo classicus!

Философы, писатели, ученые, полководцы выходили из стен английских школ и колледжей (Мальборо, Нельсон, Веллингтон). Веллингтон имел право заявить: «Победой над Наполеоном я обязан игровым площадкам Итона...» Показательно и высказывание виднейшего политического деятеля Великобритании У. Черчилля, который, хотя и не блистал в школах, тем не менее, всегда испытывал к британскому образованию если уж не нежные, то по крайней мере почтительные чувства. Он как-то заметил: «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министрам остается только мечтать». Наибольшим престижем пользуются 260 частных школ (где учится 4 % школьников) – старые школы типа Итона, Винчестера, Регби, Харроу. Итон, основанный в 1441 г., наиболее близок к

королевскому двору (сам монарх назначает туда главу совета попечителей). Из стен Итона вышло 18 премьер-министров. Поэтому за школой закрепилось прозвище «кузницы премьеров и министров». По сути дела, мы имеем дело с «наследственным клубом» английской политической элиты. Здесь преподают лучшие педагоги, выплачиваются самые высокие зарплаты, царят строгие и жесткие порядки. Регулярные занятия спортом и строгий режим питания («Чем хуже питание, тем лучше воспитание»). Англичане, пожалуй, не выберут главу кабинета или министра, если он не является выходцем из Оксфорда или Кембриджа... В. Овчинников писал: «Если Итон – самое династическое из частных учебных заведений, то Винчестеру свойственно уделять большее внимание отбору по способностям. Там строже и сложнее вступительные экзамены. Зато студентами Оксфорда и Кембриджа становится потом вдвое больший процент выпускников Винчестера, чем Итона. Если итонцам прививают находчивость профессиональных политиков и уверенность, что их удел – руководить другими, то Винчестер дает более основательную подготовку для университета, а также славится воспитанием «жесткой верхней губы», то есть таких высокочтимых качеств джентльмена, как самообладание и невозмутимость. Мечтая о «подобающей школе», обивая пороги Итона или Винчестера, Харроу или Регби, английский отец или мать думают прежде всего не о том, чему их отпрыск выучится на уроках, не о классическом образовании, сулящем сравнительно мало практической пользы. Они думают о воздействии, какое окажет публичная школа на характер их сына, о манере поведения, что останется с ним до конца дней, как и особый выговор, который проявляется с первого же слова и который можно выработать лишь в ранние юношеские годы. Они думают о друзьях, которых обретет их сын, и о том, как эти одноклассники и сам «старый школьный галстук» (эмблема школы) помогут ему в последующей жизни».^[254]

Заметные подвижки происходят во второй половине столетия и в системе женского образования. Благодаря усилиям «социальных романтиков» и социалистов к концу XIX в. в Европе и Америке сформировалась (в общих чертах) идеология и практика женского образования... В индустриально развитых странах все заметнее усилия по созданию систем обязательного, а затем и всеобщего начального образования. В начальных школах устанавливается совместное

обучение детей обоего пола. Как отмечают современные исследователи, среднее женское образование в мире развивалось двумя путями. В США, Нидерландах, скандинавских странах, в некоторых кантонах Швейцарии девушки были допущены в общие средние учебные заведения. Огромный прогресс, если учесть то обстоятельство, что еще недавно доступ женщин в школы и университеты той же Шотландии и Ирландии был закрыт.



О. Ренуар. Ловля устриц. 1879.

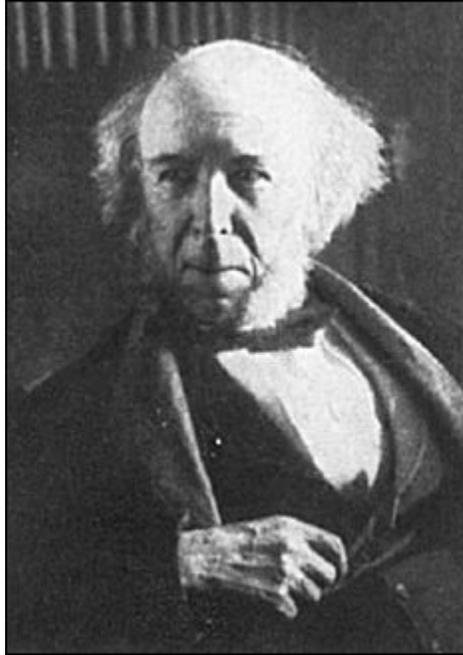
В Европе наибольший успех в этой области достигнут Швейцарией, открывшей женщинам двери университетов. Число слушательниц там достигло 8,5 тысяч (1907). К слушанию лекций в университетах допущены и женщины Англии (хотя доступ в Оксфорд и Кембридж ограничен). В последние годы открыли дорогу в высшую школу своим женщинам Бельгия, Голландия, Дания, Швеция, Норвегия, Австро-Венгрия, Италия, Франция, Турция и Россия. К концу века вступила на прогрессивный путь Германия. В ряде немецких городов были основаны женские гимназии и реальные училища. В зимнем семестре 1901–1902 г. в университетских списках числилось 1270 слушательниц. Наконец, Министерство народного просвещения Германии официально высказалось в поддержку нового курса (1902). Во Франции, Германии, Великобритании упор был

сделан на создание специальных учебных заведений для девушек (частного характера). К примеру, в России первые женские частные пансионаты появились в середине XVIII в. Начался процесс создания и высших учебных заведений. Первым открыл двери для прекрасного пола небольшой колледж «Оберлин» в американском штате Огайо (1833). Но только с 1860-х гг. высшее образование становится доступно женщинам (ряд университетов США начнут принимать женщин наравне с мужчинами). В Европе первым открыл дверь дамам Цюрихский университет в 1867 г. (там учились и русские студентки). С 1869 г. часть женских школ финансируется государством, а в 1872 г. возник даже отдельный трест женских дневных «паблик скуулз» (в 1891 г. – 30 школ). Борьба женщин-суфражисток принесет-таки свои плоды. В Англии и в ряде других стран женщины, являющиеся самостоятельными и достигшие 30-летнего возраста, получают право голоса, добившись избирательного права. Но произойдет это уже в XX веке (1918 г.). Жизнь жестоко посрамила сторонников мужского превосходства. Хотя удивительно было уже то, что женщине удалось чуть ли не усилием одного поколения перескочить через тот ров отчуждения, которым окружал ее мужчина на протяжении десятков столетий или даже тысячелетий.

Лихтенберг как-то заметил, что «воспитание есть особого рода рождение». Поэтому детство стали воспринимать как специфичную воспитательно-образовательную пору. Свои коррективы в идеи детского воспитания вносили, конечно же, и романтики. Н. Я. Берковский писал: «XVIII век до них понимал ребенка как взрослого маленького формата, даже одевал детей в те же камзолчики, прихлопывая их сверху паричками с косичкой и под мышку подсовывал им шпажонку. С романтиков начинаются детские дети, их ценят самих по себе, а не в качестве кандидатов в будущие взрослые. Если говорить языком Фридриха Шлегеля, то в детях нам дана как бы этимологизация самой жизни, в них ее первослово... В детях максимум возможностей, которые рассеиваются и теряются позднее. Внимание романтиков направлено к тому в детях и в детском сознании, что будет утеряно взрослыми». Романтизм и психологизм вдохнул новую жизнь в воспитание ребенка, дав его впечатлительной душе крылья фантазии. Возникла специальная детская литература, преследующая назидательные и дидактические цели. В Англии между

1750 и 1814 гг. выпущено 2400 названий книг. Появляются «воспитательные романы». Повышенный интерес к детской литературе объясняется пониманием того, что природа и обстоятельства порой весьма и весьма несовершенны.

Вряд ли можно считать случайным, что в XIX веке позитивизм развился в двух наиболее передовых в научном и культурном отношении странах Европы (Франции и Англии). Там существовала жизнеродная идейная плацента. Представленный именами Дж. С. Милля, Г. Спенсера, О. Конта, позитивизм оказал, вероятно, наиболее заметное воздействие на развитие науки, образования и культуры. В философском смысле он представлял собой мощное здание прогресса, выстроенное на почве фундаментальных (или точных) наук. Историк философии Дж. Льюис полагал, что «позитивная философия» должна включать в себя, во-первых, создание общей системы законов, охватывающих все сферы человеческого знания и сводящих их воедино, и, во-вторых, обеспечить построение стройной системы представлений на основе всеобщих и обязательных научных данных. Суть теории позитивизма (в общепринятом смысле слова) в требовании предоставить массам некую достаточную сумму идей и научных данных об обществе, человеке и природе. Таковая и должна, в конечном счете, стать главной мировоззренческой базой, создающей общий дух потомков. Речь шла в том числе и об утверждении в обществе рациональной системы всеобщего образования.



Герберт Спенсер.

Герберту Спенсеру (1820–1903) принадлежит десяти томная синтетическая философия (физиология, история, психология, педагогика). Странник эволюции, он полагал, что ей подвластно буквально все – от неорганической природы и судьбы народа до жизни индивидов. Ведь, развитием человека управляет внешняя среда, а науки с их взаимообусловленным, синтетическим характером оказывают наибольшее воздействие на мозг человека, поведение и инстинкты. Поэтому ключевая роль в его развитии и отводится научному воспитанию и образованию. Грандиозный спенсеровский труд «Воспитание умственное, нравственное и физическое» способствовал утверждению в XIX в. культуры науки. «Знания мир столиц – как двойственность, как мощь реки великой», – писал поэт Шелли. Спенсеровский «закон постоянства количества силы» – интерпретация закона преобразования знаний. Дж. Рэмни увидел в философии Г. Спенсера лишь «очищенную экономику Манчестерской школы». Нам же видится в нем нечто большее – триумф идеи науки и высшей школы. Г. Спенсер высказал убеждение, что науки – в особенности «социальные», остро чувствующие ритм мировой жизни – лучшие воспитатели человечества. Он приводил в качестве примера старинное восточное сказание о Сандрильоне... Смысл этой истории в том, что в ней в роли «горемыки» выступает наука, на которую все

валят грязную работу. Ей же достаются одни невзгоды, власти ею пренебрегают. Вскоре, однако, полагает ученый, обстоятельства должны измениться самым кардинальным образом и наука станет хозяйкой в обществе. Все увидят, сколь прекрасна и незаменима она. «Наука – это организованное знание», – писал Спенсер.^[255]

Спенсер считал необходимым дать адекватную и точную картину развитию обществ и человека. Пока же уроки напоминают басни и мифы, которыми учителя пичкают молодежь. Кому интересно то, как Авраам препоясал свои чресла, Самуил поведал о деяниях Божьих, Саул отличался дурным поведением, а Давид прославился беззакониями. Все эти библейские рассказы не несут серьезных знаний. Или чего стоят все эти бесчисленные подвиги правителей (какой царь на троне, кто кого убил, какую войну и с кем вел). Забава дикаря! Кому интересны любовные приключения Зевса? Не лучше ли обратить взор на безнравственных политиков. В школах и институтах Англии, Франции, Германии насаждается «культ личности» (источается неумеренная похвала жрецам, царям, королям, полководцам). Почти не видно даже робкой попытки вскрыть социальную подоплеку явлений и событий. Подлинная история и философия заменяются пустой болтовней. Ход цивилизации невозможно понять, ограничиваясь легковесными рассказами и простыми формулами общественного развития.

Спенсер не отрицал и роли религии, он скорее наделял ее высшим разумом. Разумный общественный порядок должен явиться в итоге не борьбы или вражды науки и религии, но союза между ними. Он ратовал за высоко образованное духовенство, которое овладеет всеми достижениями современных наук. Обнадеживающе звучала и мысль о рационально-прагматической религии, взявшей на вооружение все достижения науки, культуры. Мысль о духовном реформаторстве актуальна и сегодня, когда иным из современников впору перечитать «Новое христианство» (1825), ставшее духовным завещанием Сен-Симона. Вспомним, что идея «верховного существа» увлекала в конце XVIII-начале XIX в.в. многих мыслителей и революционеров, от Робеспьера до Конта.^[256] Чем различаются взгляды Спенсера и Конта? Во-первых, Спенсеру принадлежат едва ли не все основополагающие идеи позитивистской науки. Во-вторых, по мнению русского ученого Л. Мечникова, он разнится от Конта не только более солидной

ученостью, но и тем, что пытался изгнать всякую теологию и предвзятую целесообразность из исследований. Говоря о влиянии позитивизма в России, Мечников писал в статье «Школа борьбы в социологии» (1884): «Значительно высшую ступень научного развития выражает собою английский эволюционный позитивизм, до сих пор сосредоточивающийся почти исключительно в высокодаровитой, блестящей личности Герберта Спенсера. Учение этого замечательнейшего из современных мыслителей пользуется у нас такую известностью, что нам нет надобности излагать его здесь в сухом и сжатом извлечении. Вооруженный неисчерпаемым множеством самых разнообразных знаний, светлый ум Спенсера одним орлиным полетом охватывает всю бесконечную цепь космических явлений и улавливает то их органическое единство, которое О. Конт видел как бы сквозь сон».^[257]

«Дитя» Политехнической школы Огюст Конт (1798–1857), этот «блудный сын» Спенсера, многое перенял у Сен-Симона, сторонника создания «всемирной Академии наук». Дж. Милль и Спенсер ставили учение об истине в зависимость от уровня научных знаний и образования. Однако и Конт не был наивным мечтателем. Вначале сторонник и приверженец либеральных идей, он затем разочаровался в демократии и в ее политических механизмах. Разочаровался настолько основательно, что во время государственного переворота Наполеона III отнесся равнодушно к ликвидации всей этой мишуры во Франции... И даже обратился письменно к русскому царю (без страхов и колебаний), предлагая взять на себя лидерство в установлении позитивного строя. Так француз (социалист, позитивист, эволюционист) понял, что нужна абсолютная власть в руках царя Российского, чтобы установить порядок!^[258]

Об огромной, во многом определяющей роли знаний на ход эволюции говорили все (Спенсер, Конт, Милль). Дж. Милль писал, что «развитие всех сторон жизни человечества зависит, главным образом, от развития умственной жизни людей, то есть от закона последовательных изменений в человеческих мнениях».^[259] Процесс сей, как увидим, вовсе не является ни обязательным, ни непрерывным в отсталых обществах. Образование предстает как основа будущей универсальной (положительной) философии. Стремительная социализация и политизация общественной жизни, активизация

действий широких народных масс (в результате революционных потрясений и роста культуры) потребовали уделять социальным наукам больше внимания. Встал вопрос и о единстве сферы знаний. Хотя позитивисты отдавали себе отчет в необратимости специализации, в ходе которой каждая отрасль человеческого знания, отделившись от общего ствола, разрастается и расцветает отдельно, и даже признавали за этим явлением позитивную сторону, все же их беспокоило подобное положение. Разделение труда неизбежно влекло за собой сужение человеческих возможностей, а с ним неотвратимо возникала и узость мыслей, занимавших «каждый отдельный ум». ^[260] Благодаря позитивистам и утилитаристам в английские университеты получила доступ экспериментальная наука. В шотландских вузах наиболее сильными оказались позиции естественников. Возможно, поэтому здесь и возникла идея «идеального университета». По словам Э. Эшби, эти университеты никогда полностью не подчиняли идею человека Возрождения идее научного исследователя. Более того, они всегда пытались совместить локковский «культ ученого джентльмена» и смитовский «культ практического человека» (дельца в смокинге). В каком-то смысле ученые и профессора Шотландии следовали тропой английского премьера Биконсфильда, говоривавшего: «The flag follows the trade!» («Флаг следует за торговлей!»).

Джон Ньюмен (1801–1890), впоследствии кардинал, сыграл важную роль в судьбах образования. Он и возглавил католический университет в Дублине. В прошлом воспитанник Оксфорда, Ньюмен выступил перед общественностью с циклом лекций («Лекции по университетскому образованию», 1853). Позже их опубликуют под общим названием «Идея университета» (1873). Отвечая на вопрос, каким видится ему новый образец университета, Ньюмен говорил: «Если бы меня попросили разъяснить насколько это возможно кратко и популярно, что такое университет, я бы вывел свой ответ из его древнего наименования – «studium generale» или «школа универсального обучения». Университет видится своеобразным аналогом «светского общества», где создана неповторимая интеллектуальная атмосфера ученых. В его стенах индивид должен прежде всего иметь возможность окунуться в мир «чистой и ясной мысли». University (университет) – это «совокупность», очаг мудрости,

быть может, даже своего рода светоч вселенной, «альма матер возвышающегося поколения».^[261]

В каком-то смысле Ньюмена можно было бы назвать «дедушкой» современного интеллектуализма. Он – ярый сторонник гуманитарно-либерального образования. Цели университетского курса понимались им широко: «Процесс подготовки, при котором интеллект вместо того, чтобы оказаться принесенным в жертву какой-либо частной или случайной цели, какому-нибудь специальному ремеслу или профессии, исследованию, науке, тренируется ради себя самого, ради самовоспитания и ради собственной высшей культуры, такой процесс и называется либеральным образованием». Этот «великий ирландец» многое предвидел из последующего невиданного взлета высшей школы. Такова, скажем, его идея Университета как культурного центра Вселенной. Нетрудно заметить, что это совершенно иной подход к высшему образованию, нежели, скажем, тот, что сформулирован Наполеоном. По мысли императора, «Университет должен быть прежде всего орудием правительства». Ньюмен же считает необходимым сверять научный и учебный прогресс прежде всего с вопросами нравственности и этики. В то время как человечество превозносило до небес интеллект и науку, он сумел увидеть их уязвимые места... За сто лет до трагедии Хиросимы и Нагасаки он утверждал: физическая наука «опасна, потому что она обязательно пренебрегает идеей морального зла» (1851). Ньюмен писал: «Интеллект беспомощен, потому что он неуправляем и саморазрушителен, если не руководствуется моральным правом и богооткровенной истиной». Время по праву закрепило за Ньюменом посмертную славу «отца классического университета». Можно сказать, что он создал основы концепции университета будущего.^[262]



Обучение «вкусной профессии».

О воздействии Дж. Ньюмена и его научно-педагогических взглядов на культурную жизнь Великобритании можно говорить довольно долго. Одним из косвенных примеров влияния этих идей стал роман ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941), родоначальника литературы «потока сознания», «Портрет художника в юности»... В этом экзистенциальном «романе воспитания» отражены жизненные дороги нового поколения британских юношей (в судьбе Стивена Дедалуса). Вспомним, что в Англии, Ирландии, Шотландии, Уэльсе и в самом деле очень многое определялось уровнем образования. Не случайно эта тема присутствует у многих английских писателей (Скотт, Диккенс, Теккерей, Кронин). Не стали исключением и герои Джойса, ощущающие на себе все проблемы при выборе жизненного пути.

Путь в университетскую «обитель» отнюдь не выглядел легкой прогулкой. Возможно, поэтому Стивену Дедалусу, прекрасно представляющему себе все муки получения диплома, слышались в юных голосах студенческой братии «отголоски спазм будущей усталости и даже боли». При этом юноша вспомнил, что об этих же трудностях предупреждал и Ньюмен в эссе о воспитании («Эссе в помощь грамматике согласия», 1881). Герой романа встал перед необходимостью сделать серьезный выбор (накануне поступления в университетский колледж Дублина). Правда, учеба в университете

видится ему как новое, чрезвычайно занимательное приключение. Занятия в его стенах ассоциируются у него со звуками прерывистой музыки. В эту музыку властно вплетаются слова Ньюмена («a proud cadence from Newman»).

Немцы к середине XIX в. добились заметных успехов в науке, промышленности и образования. Поэтому становится популярной гумбольдтовская идея университета как исследовательского центра. Берлинская «модель» завоевывает признание. Дж. С. Милль, анализируя взгляды философа и педагога В. Гумбольдта, ратует за большую степень свободы в обучении: «Я утверждаю: экзамены на высшей ступени должны быть добровольными. Крайне опасно позволять правительству отчуждать человека от профессии. Если даже речь идет о тех учителях, которые имеют якобы недостаточную квалификацию. Подобно Вильгельму фон Гумбольдту полагаю, что научные степени, любые профессиональные сертификаты должны выдаваться всем, кто потребует аттестации и сумеет выдержать экзамен».

Модели Ньюмена и Гумбольдта были попыткой создания целостного университетского образования. Модель Гумбольдта заметно повлияла на развитие американских, канадских и японских университетов, практически не получив отклика в системах университетского образования Франции и России. Ньюменовская же модель (в плане успешного воплощения основополагающих идей) так и оставалась по преимуществу национальным достоянием, хотя отдельные элементы и усматриваются в тех или иных элитарных высших учебных заведениях Европы. Каждое высшее учебное заведение со временем выбирало свой путь.



И.Г. Песталоцци.

Заметных успехов достигли мыслители и других стран. Выдающийся швейцарский педагог-демократ И. Г. Песталоцци (1746–1827) родом был выходцем из зажиточной интеллигентно-разночинной семьи (отец – хирург, дед – пастор, мать – крестьянка). Когда умер отец (Иоганну было 5 лет), попечение за ним взяли мать, дед и крестьянская девушка Бабэль. Именно этой простой девушке, ставшей подлинным ангелом-хранителем, обязана семья Песталоцци тем, что их жизнь удалось сделать вполне сносной (несмотря на недостаток средств). Дети, как известно, являются во многом «продуктом» семейных и общественных отношений. И в том и в другом отношении юноше повезло. Семья отдавала ему свои любовь, внимание и ласку. Начальное образование он прошел у деда, который в нем души не чаял, передавая ему доступные знания. Что же касается общественной атмосферы, то Швейцария не знала крепостного права. Хотя крестьянство и испытывало определенный гнет со стороны горожан, однако все же тут были более человеческие порядки, чем где-либо еще.

Затем его отдают учиться в одну из школ Цюриха. Привыкнув к свободной и гуманной манере обучения у деда, Иоганн был потрясен методами, царящими в казенных учебных заведений. Впоследствии он охарактеризует их как «искусственные машины, которыми душат все следы силы и опыта, влагаемые в детей природой» и даже сочтет такое обучение «убийством». Его отталкивало в этом «жалком школьном

учении» и то, что детей скучивают, как толпу овец, в замкнутом пространстве душной комнаты, и то, что их обучают «путанице отдельных изолированных наук». Процесс обучения шел трудно. Пытливый и одаренный юноша не мог удовлетвориться общими стандартами. К тому же, он дерзнул давать советы педагогам, как им лучше преподавать. В итоге, обе стороны возненавидели друг друга. Пользы юноше сие обстоятельство не принесло. Он позже скажет, что «главное в человеке – голова, а пудру можно купить в каждой лавочке». Однако, согласитесь, знание орфографии – вовсе не пудра (а в этой части Иоганн остался слаб на всю жизнь). Возможно, эти грустные воспоминания и заставили его выступить в пользу полного уничтожения казенных начальных школ и замены их обучением в семьях. Уже в школе проявилась замечательная черта будущего гуманиста: он всегда вставал на сторону слабых, бедных, угнетенных. Это вызывало к нему искреннее уважение и любовь одних людей, и бешеную ненависть – других.

Песталоцци поступает в Цюрихский коллеж, где обстановка была близка скорее духу эпохи Просвещения, нежели эпохе утилитаризма. Он так описывал установки и настроения этого учебного заведения: «Независимость, самостоятельность, благотворительность, самопожертвование и любовь к отечеству были лозунгом нашего общественного образования. Преподавание, которым мы пользовались в живом и привлекательном изложении, было направлено к тому, чтобы поселить в нас равнодушие к богатству и почестям. Нас учили верить, что бережливость и ограничение личных потребностей могут заменить богатство и что совсем не нужно большого состояния и высокого общественного положения, чтобы пользоваться и домашним счастьем, и гражданской самостоятельностью... Обладая только самыми поверхностными школьными познаниями о великой гражданской жизни Греции и Рима, мы мечтали насадить порядки этой гражданственности в родном кантоне... Желание противодействовать нравственному упадку моего отечества было присуще каждому истинно благородному гражданину и исходило из сердца, полного любви к родине».^[266]

После окончания коллежа перед ним встала серьезная проблема. Что делать дальше? Сегодня кое-где пораженная раковыми метастазами меркантилизма и практицизма молодежь пытается

«вычислить»: а где бы ей так устроиться, чтобы одновременно сытно, денежно и бесппроблемно было. И как уж здорово, если бы с них вообще сняли всякую обязанность думать и решать самостоятельно. Одним словом, идеальные условия для жвачных животных!

Швейцарцы так не думали. Оттого они, вероятно, и живут в сто раз лучше нас, россиян. Песталоцци ни минуты не сомневается, что вся его деятельность должна быть направлена на дело служения простому народу. Позже он сам в сжатой форме выразит устремления своей жизни в посвящении, которым открывается одна из его книг: «*Низшему классу населения Гельвеции*» (авт. – Швейцария). Я долго смотрел на твое жалкое, тяжелое положение, и сердце мое исполнилось скорбью. Дорогой мой народ, сказал я себе, я помогу тебе. У меня нет искусства, я не вооружен наукой, в этом свете я ничто, совсем ничто, но я хорошо знаю тебя и отдаю тебе все, что успел приобрести в течение моей трудовой жизни. *Я отдаю тебе всего себя.* Читай, что я предлагаю, без предрассудка, и если кто-нибудь даст тебе лучшее, брось меня; пусть в твоих глазах я превращусь в то же «ничто», каким я прожил всю мою жизнь. Но если тебе не скажет никто того, что говорю я, никто не скажет так доступно и пригодно, как говорю я, то подари мою память, мою жизнь, мою угасшую для тебя деятельность *слезою – одною только слезою*... Вот это Личность! Вот – Гражданин! Вот – Друг народа!

В дальнейшем он создаст нейгофское «Учреждение для бедных», одно из первых в истории экспериментальных учебно-воспитательных заведений такого рода. В основе его лежала более совершенная система образования, нежели существовавшая тогда в фабричных центрах Европы. На фабриках и заводах подавляющее большинство тружеников все еще оставалось чуждо «духу мастерства» и «умственному образованию»... По мысли педагога, поправить дело можно было путем предоставления работникам всей суммы профессиональных, общекультурных, гражданских навыков и знаний, которая бы открыла им дорогу в жизнь.

Он одним из первых использовал антропологический подход. Современное общество не могло предоставить людям должного образования: «В фабричных центрах большинство людей также заняты лишь механическим выполнением какой-либо изолированной производственной операции... Эти люди лишены какого бы то ни было

умственного образования, ограничены ничтожно узкими рамками своих технических навыков и чужды, абсолютно чужды даже самому духу мастерства и свойственным ему свободным и разумным взглядам». Предстояло осуществить кардинальные перемены в системе, чему и были посвящены его усилия.^[267]

Песталоцци поймет с годами, что крайне сложно впрячь в одну телегу два столь разных побудительных мотива как экономический рационализм и всестороннее развитие человека. В 1797 г. он публикует «Мои исследования путей природы в развитии человеческого рода». Это стало внутренним мотивом к действию. Начался эксперимент в Станце. Затем были созданы Бургдорфский институт и педагогическое заведение в замке Ивердон (1805). Сюда стекались толпы посетителей. Большими партиями приезжали учителя из Пруссии, Франции, Англии, желая обучиться «методу Песталоцци», но никаких уловок или особых методик они не находили. В педагогической технике он ничего нового не изобрел («даже грифельной доски»). Песталоцци лишь аккумулировал полезный опыт времен и народов.

В его учебном заведении он попытался не только соединить теорию и практику, но и, что быть может самое трудное, постарался оживить «тот механизм, что столетиями превращал ребенка в послушное орудие проверки предвзятых идей». Очень скоро выяснилось, что это крайне трудная задача. Многие готовы были охотно порассуждать о «свободе», «индивидуальном развитии ребенка», даже о «христианском воспитании», но тут же забывали обо всех благих устремлениях. Ведь, для этого нужны были немалые силы, средства, время и желание, а это-то как раз всегда в большом дефиците... Педагогу и мыслителю пришлось столкнуться с массовым уходом учителей и детей из стен заведения. Тогда-то и родился его знаменитый принцип, нашедший выражение в «Лебединой песне»: «Эту истину (ее можно назвать «принципом Песталоцци») можно сформулировать так: обучение приобретает и сохраняет свой смысл постольку, поскольку проводится и сохраняется разграничение между общими законами развития природы человека по трем направлениям – ума, сердца и руки – и способами применения этих законов, особенно в конкретных практических ситуациях и в борьбе с трудностями повседневной жизни» (М. Сетар).^[268]

Конфликты не миновали Швейцарию, хотя в последние пару столетий она была и остается неким мирным и благословенным оазисом в безумной Европе... Однако политические битвы и ее не обошли стороной. Страну раздирала борьба партий (централистов и федералистов). Наполеон, тогда еще первый консул, ввел в Швейцарию 40-тысячную армию «для поддержания порядка». Среди уполномоченных, посланных в Париж местной властью, был и Песталоцци. Труднее всего ему было пережить закрытие нейгофского приюта. Он отдал ему все свои душевные силы и средства. Пришлось заняться литературным творчеством. Его сентиментальная повесть «Липгардт и Гертруда» имела некоторый успех. Одна из глав была озаглавлена так: «Не искусство, не книга, а жизнь должна быть основанием всякого воспитания и образования»... Только после долгих 20 лет он смог вернуться к своей любимой педагогике. Французские войска сожгли в 1798 г. город Станц (кантон Унтервальдене). Там оказалось масса бесприютных детей. Так всегда бывает, когда какой-нибудь негодяй встает во главе могучей державы и начинает проводить в жизнь свои «доктрины демократии». Разрушать и убивать охотников масса, а вот талантливых учителей и врачей найти нелегко.

Песталоцци отправили спасать несчастных. Он собрал их в полуразрушенном монастыре. А уже через полгода вчерашних оборванцев (все они, кстати, отпрыски низов) уже было не узнать. Он научил их читать, писать, считать. Как скажет о нем Виланд: «Его ситема пригодна для всех времен и народов. Она проста и последовательна, как природа. И при помощи ее возможно образование не ученых, а людей...» Увы, в 1824–1825 гг. учебные заведения в Клинди и Ивердоне были закрыты (не хватило средств на образование). Песталоцци умер в возрасте 82 лет. Тогда в память об этом великом человеке его ученики выгравировали на монументе слова, право на которые имеют немногие: «Все для других, ничего для себя!»^[269]

Все же в Швейцарии вопросам управления, образования, воспитания и культуры уделялось внимание. Этому способствовала большая близость правящих классов к народу. В статье Даламбера (1757), автора знаменитой «Энциклопедии», ставилась в пример Женева, где умное, истинно демократическое правление приносило позитивные плоды. Женеву в те времена не случайно называли

«протестантским Римом». В ней обитало всего 24.000 душ, но это был уже тогда один из процветающих городов Европы. О порядках, царивших в Швейцарии, говорил еще Вольтер. «Мыслящие существа, – писал он в мемуарах, – предупреждаю вас, что нет ничего приятнее, как жить в государстве, правительству которого можно всегда сказать: приходите завтра ко мне обедать». Сюда же устремится впоследствии и Ж.-Ж.Руссо.

Даламбер так описал эти порядки: «Управление Женевы обладает всеми преимуществами демократии без единого ее недостатка: все находится под руководством синдиков, все исходит от Малого совета на решение и все возвращается к нему для выполнения. Таким образом, кажется, что Женева взяла в качестве примера некогда столь мудрый закон правления древних германцев: «О делах, менее важных, совещаются их старейшины, о более значительных – все, впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу». При этом в Женеве никто не кичится родовитостью. Если сын высшего чиновника не отличается достоинствами, он так и остается среди общей массы граждан. Дворянство и богатство не дают особого ранга, прерогатив, легкости в продвижении к должностям. Интриги запрещены. Должности настолько мало доходны, что не возбуждают жадности. Они могут соблазнить лишь благородных людей благодаря их значимости. Там мало и судебных тяжб... Законы против роскоши запрещают ношение драгоценностей и позолоченных украшений, ограничивают издержки на похороны и обязывают всех граждан ходить по улице пешком. Экипажи имеются лишь для поездок в деревню. Эти законы (во Франции они показались бы слишком суровыми, почти варварскими и бесчеловечными) вовсе не мешают истинным удобствам жизни. Вероятно, нет города, где было бы столько счастливых браков; в этом отношении Женева на двести лет впереди французских обычаев.

Особенно благотворное влияние на умы оказывают здесь образование с культурой. «В Женеве есть университет, который называется академией, где молодежь учится бесплатно. Профессора могут стать чиновниками, и многие из них действительно становятся, что немало поддерживает соревнование и славу академии. Вот уже несколько лет, как там устроили также школу рисунка. Адвокаты, нотариусы, врачи и т. п. образуют цехи, куда они допускаются лишь

после общественного экзамена; все ремесленные цехи также имеют свои уставы, учеников и созданные их искусством шедевры. Хорошо снабжена публичная библиотека, в ней 26 000 томов и довольно большое число рукописей. Книги выдаются всем гражданам, так что каждый читает и просвещается. Поэтому народ Женевы гораздо лучше образован, чем во всех других местах. Там это не считается злом, как принято считать у нас... В Женеве так хорошо развились все науки и почти все искусства, что можно лишь удивляться перечню ученых и разного рода художников, которых в течение двух веков дал этот город». [\[270\]](#)



Дорожное сообщение в Европе.

Швейцария по праву тогда считалась меккой педагогов. Здесь процветали учебные заведения (пансионы) Песталоцци, Фелленберга, Жирара, институт Тепфера. О последнем стоит сказать как о примере благодатного воздействия на юные души нравов и порядков республики. Писателя и художника Родольфа Тепфера (1799–1846) называли «швейцарским Руссо». Закончив Женевскую Академию, он,

обожавший книги и учебу, вскоре сам стал учителем. С 1824 г. он возглавил «институт» (в котором было около 40 воспитанников из Англии, Германии, Франции, Греции, России и даже Америки), живя вместе с воспитанниками, совершая с ними походы, никогда не расставаясь с карандашом и бумагой. Он любил «радоваться жизни, а не страдать от нее». Его перу принадлежат иллюстрированные им же «комические романы», объединенные в «Женевские новеллы». В одной из своих новелл («Библиотека моего отца») Р. Тепфер, говоря о смысле и целях воспитания молодежи, обращается к родителям с весьма разумным и толковым напутствием: «О, сколь трудное дело воспитание! Исполненные самых благих намерений, следуя советам друга или книги, вы направляете ум и сердце вашего сына к избранной вами цели, а в это время уличные сценки, уличный шум, соседи, неожиданные происшествия вступают в заговор против вас, или же играют вам на руку, и вы бессильны против их враждебного влияния или непрощенного содействия. Правда, позднее – лет после двадцати, двадцати пяти – жилище уже не играет такой роли. Оно может быть мрачным или светлым, уютным или неубранным, но теперь это школа, где учение кончилось. В этом возрасте человек уже избрал себе поприще, достиг того туманного будущего, которое еще недавно казалось ему столь отдаленным. Душа его уже не столь мечтательна и послушна: предметы отражаются в ней, но не оставляют отпечатков».

[\[271\]](#)

Наиболее полно эта бесконечная вера в позитивное развитие и прогресс, упование на могущество школ и университетов были выражены в работах философа-идеалиста и педагога Наторпа. П. Наторп (1854–1924), один из лидеров марбургской школы неокантианства, развивал в своих трудах социальную педагогику, напрямую связывая ее с этическим социализмом. Его любимейший герой – Платон... Кульминационными пунктами развития мировой педагогики он считал фигуры Платона и Песталоцци... Его главные идеи, развитые им в «Sozialpädagogik», говорят о том, что любая педагогика должна быть социальной и философичной, т. е. воплощать в тех или иных формах социальное устройство мира и населять этот мир значимым смыслом и духовностью. Русский философ-идеалист Г. Шпет, последователь Гуссерля, назвал его одним из самых талантливых выразителей «истинного идеализма». На ряде идей

Наторпа нам, пожалуй, стоит остановиться особо. О чем же говорят его работы? В книге «Философия как основа педагогики» (1910) Наторп убеждает своих читателей в том, что рост и развитие народа никоим образом нельзя отдавать на волю голой практике. Она слепа и беспомощна, ее действия хаотичны и бессмысленны. Нужно сначала проложить реформам разумную и верную дорогу. Лишь глупцы говорят: «не надо теорий». «Быть может, думают, что теория придет сама собой, вместе с практической работой. Но она не придет, если с самого начала неизвестно, куда вообще направлен путь и как туда добраться». Вопрос создания здоровой, верной, нравственной теории и есть вопрос духовной свободы. Без разумной теории человек – раб и слуга дьявола... В качестве довода он указывает на коварную подсказку Мефистофеля своему ученику: «Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни» (Гете. «Фауст»). Ну к чему же тогда возводить «здания теорий»? «Совсем ненужное занятие». За этим дьявольским соблазном слепота, невежество недалеких «реформаторов» и «революционеров». А что же дальше, господа?.. Что станет с народом, что доверился вашей тупости, жажде самовластья!? Дальше мрак, кровь, обман, сатанизм, страдания и полное порабощение народов... Мефистофель говорит «студенту»: «Лишь презирай ты разум, знания луч, чем человек один могуч... тогда ты безусловно мой». Знакомы и нам эти чванливо-бездарные недоучки-министры, иные премьеры и президенты, усвоившие советы «школы Мефистофеля». Асмадей говорит: «Я выдохся как педагог и превращаюсь в чёрта снова».

Здесь нам хотелось бы обратить самое пристальное внимание читателя на прямую и безусловную взаимосвязь между положением школы-института и государства. Что такое школа? Это – главная ячейка и опора государства. Тот, кто разрушает школы и университеты, тот (даже если он честно и открыто не признается в этом) ставит своей целью уничтожение данного государства! Палач школ, больниц, научных центров – палач нации! Его или их нужно убирать. Иначе нация погибнет, у нее не будет будущего... Пауль Наторп видел в образовательных учреждениях «острова будущего в мире настоящего» и «очаги юности».

Как педагог Наторп, конечно, не верил во всемогущество методик. Если ты лишен духовно-нравственного содержания, никакая методика не

спасет. Труд напрасен и даже вреден. Техника преподавания превращается в мертвую передачу, в «тупое, бестолковое и бессмысленное занятие». Чтобы избежать этого, нужно изменить всю систему подготовки педагога. «Теоретическую подготовку к учительской должности должен будет, таким образом, взять на себя в конце концов университет, и она не может быть различной по существу для народных учителей и учителей высшей школы, потому что и от народного учителя с полным правом требуют философски углубленной теоретической подготовки, основанной на самостоятельных взглядах, т. е. на научном изучении». Таков заключительный вердикт П. Наторпа.^[272]

Особый интерес представляет его социальная педагогика, в которой он объясняет связи школы и общества. Наторп утверждает: экономика с политикой в системе ценностей вторичны, первичны – образование с воспитанием. Главное в системе обучения – человек как воплощение духа, интеллекта и морали. Все остальное в образовании представляет собой лишь частные и второстепенные направления (научное, техническое, художественное обучение). Какова цель любого воспитания? Вырастить здоровое и красивое существо. Но за этим неизбежно встают чисто философские, моральные задачи – «проблема долженствования, или цели, или, как мы предпочитаем говорить, идеи». Как создать из хаоса человека совершенного или даже просто-напросто достойного? Предоставить его самому себе? Пусть выбирается и находит свой путь сам? Неужто бросить его в полную свободу, как в омут!? Наторп убежден: «Отдельный человек не может достигнуть высоты своего человеческо-нравственного назначения иначе, как только построив человеческо-нравственно свои отношения к общности». Чтобы человек поднялся на высоты духа и нравственности, нужны усилия общества и его социальных институтов. И здесь особенно велика и даже решающая роль высшей школы... Личность – это всегда организованное начало. Хотим мы того или нет. Только одно из двух: или организация уродует и калечит человека, или она его бережно и умно направляет, одухотворяет и возвышает. «Что возможна организация свободной, не принудительной образовательной деятельности, тому доказательный пример дает высшая школа. И она уже со времен Платона признана за необходимый, скорее даже за собственно центральный орган

социально-педагогической организации». Однако до сих пор высшее образование рассчитано, как считает Наторп, во-первых, лишь на привилегированные слои и, во-вторых, преследует узко прикладные цели научно-технического образования. Это и глупо и опасно. В результате, у кормила власти могут оказаться «технари». Последствия их власти скажутся трагически. Человечеству придется еще пожалеть об этом. Но проблема не только в этом. Нужно широко раскрыть двери вузов перед народом. Речь идет о «народной высшей школе» или, в самом широком смысле, высшей школе для всех». Только в этом случае вы получите истинно демократическое общество («образовательная работа будет демократической, или ее совсем не будет»). Такого рода задачи стоят перед нами и в конце XX в. [273]

XIX в. породил и такое важное явление как научная популяризация. Из увлечений чудаков-одиночек и мечтателей наука превращается в достаточно распространенное занятие. Естественно, это вызывало повышенный интерес у широкой публики. В особенности, если она давала пищу сенсации. Когда английский ученый Дж. Гершель отправился на мыс Доброй Надежды для наблюдения Южного неба, подлинный ажиотаж вызвала корреспонденция газеты «Нью-Йорк сан». В сообщении говорилось, что ученый, наблюдавший за лунной поверхностью, не только обнаружил, что Луна обитаема, но и якобы увидел в телескоп ее жителей. Тогда многие в Европе и Северной Америке поверили этому. Наступало время перемен.

Пальма популяризаторской деятельности принадлежала давним соперникам – Англии и Франции, где ее развитие шло по двум путям – организация издательств, выпускающих научно-популярную литературу, и публичные лекции. В Англии широкой известностью пользовались лекции физика М. Фарадея, включая и его «Историю свечи», с которой он выступал много раз (в том числе и для детей на Рождество). Большое впечатление производила и лекция Т. Гексли «О куске мыла». Это наиболее известные лекции в викторианскую эпоху... Блистали не только мужчины, но и женщины. Одной из таких «научных амазонок», к примеру, слыла М. Сомервилл, автор ряда книг, обобщавших в доступной форме знания того времени. Кстати, в ее честь будет впоследствии назван и женский колледж в Оксфорде. [274]

В Англии популяризация научных знаний являлась предметом особых забот властей еще с XIX в. Велики заслуги в деле популяризации биолога, президента Лондонского королевского общества Т. Гексли (1825–1895). Умелый популяризатор науки Гексли предложил в «Гуманитарном образовании» учебную программу, по которой английские дети, по сути дела, занимаются по сей день (история Англии, грамматика, словесность, география, рисование, начала физики и т. д.). В 1869 г. на обеде, устроенном ливерпульским Филоматическим обществом, он произнёс знаменитую речь «О научном образовании». В ней, в частности, говорилось: «По мере того как все выше поднимается в своем развитии производство, совершенствуются и усложняются его процессы, обостряется конкуренция, – в общую схватку одна за другою вовлекаются науки, чтобы внести свою лепту, и кто сможет наилучшим образом ими воспользоваться, тот выйдет победителем в этой борьбе за существование, бушующей под внешней безмятежностью современного общества так же яростно, как меж дикими обитателями лесов». Гексли где только мог отстаивал идею эволюции, выдвинутую Дарвиным, заявляя во всеуслышание о связи между человеком и антропоморфной обезьяной (в научном споре он не щадил ни епископов, ни премьеров).^[275] Наука заговорила, «нормальным человеческим языком». Физик Дж. Максвелл (1831–1879) писал: «Для развития науки требуется в каждую данную эпоху не только, чтобы люди мыслили вообще, но чтобы они концентрировали свои мысли на той части обширного поля науки, которое в данное время требует разработки». Научные отрасли тогда были доступны мало-мальски образованному читателю. Считалось, что геология и биология совершенно понятны даже непосвященным. Ч. Дарвин верил, что книги его не стоит труда прочесть и неспециалисту. Конечно, это было заблуждение. Пропасть между знающими и невеждами расширялась. Процесс специализации и профессионализации ставил всех перед дилеммой: чтобы лучше узнать свой предмет, приходится сужать круг иных познаний. Даже самые просвещенные могли сказать в отношении усвоенных ими знаний: «То, что мы знаем, – ограничено, а то, чего мы не знаем, – бесконечно».



Гюстав Флобер.

Естественно, что и тут вклад литературы в просвещение и воспитание был велик... Один из крупнейших ее представителей, Гюстав Флобер (1821–1880), стал новым типом писателя. Этот популяризатор науки называл себя «человеком-перо». В нем словно ожил наследник древнего мира, мира античности. Флобер совершает путешествие на Восток (1849–1851). Если иные уже предпочитали Венере Милосской горн завода Крезоса, то он видел в индустриализации лишь «дьявольский шум» и горько сожалел, что больше не слышно грохота колес Гекторовой колесницы. Были у писателя и свои политические пристрастия. Идеальную форму политической власти Флобер видел в приходе к управлению страной научной олигархии, говоря: «Правительство страны должно быть не чем иным, как одной из секций Академии» (1869). Возникновению воспитательно-научной линии в его романах способствовало то, что Флобер в душе все же свято верил: хорошие романы могут изменить ход событий и жизни людей. При виде развалин королевского дворца Тюильри он скажет: «Если бы «Воспитание чувств» было понято, ничего подобного не произошло бы». Франция обрела в нем истинного романтика науки. Он напишет Л. Коле (1853): «Ах, как бы я хотел быть ученым! Какую прекрасную книгу написал бы я, озаглавив ее «Об истолковании античного мира»... Нет атома материи, который не содержал бы

поэзии; приучим себя рассматривать мир как произведение искусства, в котором надо отразить все мировые явления».^[276]

Культура и наука придали шарм европейцам. Им уже недостаточно благополучия и покоя. Всем предыдущим развитием они приучены к софизмам, к игре ума, к книгам, к работе воображения. Когда-то они, подобно флюберовскому Сенекалью, изучали Мабли, Морелли, Фурье, Сен-Симона, Конта, Кабе, Луи Блана, труды гуманистов, властителей дум. Разбойная жизнь извратила их нравы. Вспомним гротескный характер «добродетельной демократии» у Флобера в «Воспитании чувств». Там герой романа (Сенекаль) в мыслях создал «своего рода американскую Лакедемонию, где личность существовала бы лишь для того, чтобы служить обществу более всемогущему, более самодержавному, непогрешимому и божественному, чем какие-нибудь далай-ламы и Навуходоносоры». Герой рассуждал как математик и верил в божественную идею как инквизитор. Современный европеец все делает наоборот: он создал уже не в мыслях, а в реалиях, в Европе, образец чудовищного американского левиафана, и ныне верит лишь во всемогущую мощь оружия и денег, а поступает как палач и инквизитор.^[277]

Наука выступает в качестве едва ли не главной героини романа Г. Флобера «Искушение святого Антония» (1874). В художественной форме тут представлен апофеоз наук, выведена монументальная фигура Илариона, воплощающего Знание. Позже Мопассан охарактеризует это произведение, как самое мощное усилие, когда-либо предпринятое писателем в области научной популяризации. На страницах романа пустынною Антонию являтся, искушая его, не только обнаженные женщины и пышные яства, но все доктрины, верования и суеверия, среди которых когда-либо блуждал человеческий ум... Мечтатели, священники, философы, политики, банкиры пытаются соблазнить «святого Антония», но тщетно, ибо у него всегда был свой идеал, которому он и остался верен – идеал умудренного жизнью человека.

Интересен замысел книги «Бувар и Пекюше». Ее герои пытаются сдвинуть воз фундаментальных и гуманитарных наук. Флобер так сказал об этой книге: «Критическая энциклопедия в форме фарса». Купив ферму, два буржуа решили уединиться от мира, погружаясь в изучение наук, в производство опытов, стремясь охватить все отрасли

знаний. Главное в книге – острая критика научных систем, опровергающих и разрушающих друг друга. Выясняется, что «путеводная нить наук» никуда не ведет, поскольку все доктрины не могут выдержать столкновения с жизнью. Вавилонская башня науки рушится... В словах Буvara содержится смелая догадка: «Наука построена на основании данных, добытых в одном из уголков мира. Быть может, она не соответствует остальной части мира, неизмеримо большей, нам неведомой и нам недоступной». Вопрос будущего человечества всерьез занимал воображение Флобера. Будучи идей фикс, он будоражил его долгие годы («полжизни обдумывал замысел»): «Нужно быть сумасшедшим, чтобы засесть за такую книгу». Труд Флобера стал величественным «надгробным памятником» всем известным и неизвестным труженикам от науки и образования, утопистам и мечтателям. В каком-то смысле он предвосхитил усилия и иных авторов, не убоявшихся работы с «устрашающим тиглем» различных наук во имя прогресса.^[278]

Деятельность Жюль Верна (1828–1905) в истории популяризации науки стоит отдельной главой. За свою долгую жизнь он опубликовал свыше 65 научно-фантастических, приключенческих, географических романов, повестей и рассказов... Будучи постоянным автором «Журнала воспитания и развлечений», рассчитанного на широкий круг юных читателей, он выразит душу юношества второй половины XIX века. Кто-то представлял себя юным капитаном Грантом, кто-то – таинственным и отважным Немо, кто-то – Мишелем Арданом, первым космонавтом, кто-то – добродушным профессором Паганелем. Все они были неутомимыми «капитанами», дерзновенными первопроходцами, мужественными «рыцарями науки». Трудно себе представить более притягательные и волнующие образы того времени!

Спросим себя: «Что лежало в основе феноменального успеха Ж. Верна? Может он просто угадал вектор времени?» За его популярностью сокрыт долгий и тяжелый труд. Его рабочий день подчинялся строго заведенному порядку. Словно рудокоп, вгрызаясь он все в новые и новые пласты наук. А затем «вымывал» из ценных «пород» крупинцы золотых знаний. Сам романист не раз подчеркивал исключительную важность такого непрерывного поиска. «Я предварительно исследую все доступные мне источники и делаю свои выводы, опираясь на множество фактов». Он регулярно прочитывал 20

с лишним газет, изучал потоки научных сообщений, делал многочисленные выписки из книг, газет, журналов, рефератов и отчетов.



Иллюстрация к книге Жюль Верна. Капитан Немо.

Своеобразной кузницей Вулкана стала библиотека Ж. Верна. Здесь были представлены труды по многим областям наук, записки путешественников, мемуары ученых, атласы, справочники, всевозможные энциклопедии. «Его библиотека служит исключительно для пользования, а не для любования. Тут вы встретите сильно подержанные издания сочинений Гомера, Вергилия, Монтеня, Шекспира, Мольера, Купера, Диккенса, Скотта. Вы найдете тут и современных авторов» (М. Беллок). Библиотека – его «храм», а, точнее говоря, «конюшня» (ведь, не зря он величал себя, довольно прозаично, «першероном», ломовой лошадыю). Создание подобных романов – и в самом деле «ломовой труд». Он схож с трудом ученого-экспериментатора. Тому нужно провести тысячи опытов в лаборатории, прежде чем забрезжит вероятность некоторого положительного результата. Груды выписок и карточек, подобранных по томам, составили тетрадки разной толщины. По словам Ж. Верна, у него накопилось около 20 тыс. таких тетрадок! К нему вполне можно

было обратить латинскую фразу: «Semper novarum rerum cupidus!» (лат. «Всегда страстно жаждущий нового!») Подобных масштабов самообразования, пожалуй, еще не знала история мировой цивилизации. [\[279\]](#)

Он осведомлен о достижениях космографии, физики, математики, химии. Материалом для романов служили научные доклады, отчеты научных экспедиций, статистика, картография. Моряки называли его произведения «лучшим бортовым журналом», инженеры использовали идеи «Наутилуса», ракетчики взяли на заметку тот факт, что снаряд снабжен ракетными тормозами («С Земли на Луну»). Идея снабдить межпланетный корабль реактивными двигателями в качестве средства передвижения в космосе принадлежит другому – Ашилю Эйро («Путешествие на Венеру»). Астрономы наверняка вспомнят историю об установке в Скалистых горах телескопа с диаметром 16 футов (4,9 м.) для наблюдения за звездами. Много лет спустя (не чудеса ли, право) похожий телескоп пятиметрового диаметра установят в тех же самых горах, на вершине Паломар!.. Сознавая это или нет, но многие являются его наследниками и духовными детьми. [\[280\]](#) Поэт И. Северянина писал о нем так («Жюль Верн»):

Он предсказал подводные суда
И корабли, плывущие в эфире.
Он фантастичней всех фантастов в мире
И потому – вне нашего суда.
У грез беспроводны провода,
Здесь интуиция доступна лире.
И это так, как дважды два – четыре,
Как всех стихий прекраснее – вода.
Цветок, пронизанный сияньем светов,
Для юношества он и для поэтов,
Крылатых друг и ползающих враг.
Он выше ваших дрызг, вражды и партий.
Его мечты на всей всемирной карте
Оставили свой животворный знак. [\[281\]](#)

В конце начале XX в. французские приключенческие романы у нас очень популярны. Говоря о творчестве поэтов Н. Гумилева и др., у нас отмечали: «В предыстории тихоновского творчества вырисовываются фигуры Жюль Верна, Гюстава Эмара, Майн Рида»; «писатели Гумилева в этот период – Майн Рид, Жюль Верн, Фенимор Купер, Гюстав Эмар».^[282]

Появление Ж. Верна обусловлено прогрессом. В 1803 г. парижане с изумлением взирали на «речную повозку, движимую огнем», что бороздила Сену. Там американский инженер Р. Фултон представил свой пароход. Об изобретении доложили Наполеону. Однако тот не проявил интереса, не веря в будущее «повозки». Англичане вначале отреагировали равнодушно на это известие. Первыми уловили суть дела американцы. Пароход (стимер) прошел по Гудзону в 1807 г. путь в 250 км. (от Олбани до Нью-Йорка). В 1816 г., наконец, англичане наладят пароходную связь между Лондоном и Гавром. А в 1819 г. паровой парусник «Саванна» впервые пересечет Атлантический океан. К концу XIX в. трансатлантические пароходные рейсы станут довольно обычным явлением как в Европе, так и в Америке.^[283] В 1830 г. А. Шамиссо создал один из первых образов «машины времени», сочетающий идеи научной фантастики и реальные черты научно-технического прогресса («Паровой конь»).

«Кузнец, поживее! Подкуй мне коня,
Чтоб ночь не застигла в дороге меня!»
«Как пышет паром твой конь чудной!»
Куда ты скачешь, о рыцарь мой?»
«Кто сможет, спеша, земной шар обогнуть,
Держа с востока на запад путь,
В награду, согласно науке, тот
На сутки раньше в свой дом войдет.
Конь мой железный непобедим,
Не может время поспеть за ним,
И если я нынче помчусь на закат —
Вчера с восхода вернусь назад...»^[284]

Новые настроения находили отражение и в живописи... Ведущий художник в тогдашней викторианской Англии, У. Тернер (1775–1851), чей феноменальный труд потрясает воображение (280 картин, 20 тыс. акварелей и рисунков), о котором ранее уже говорилось, первый отразил в живописи образы железной дороги, паровоза и парохода. Его картины «Дождь, пар и скорость» и «Пароход, буксирующий по Темзе на слом старый фрегат» стали как бы символами грядущей эпохи технического и научного прогресса.

Неужто, в самом деле, нет иной премудрости, кроме премудрости, полученной в стенах колледжей и университетов, и нет иных уроков, кроме тех, что суждено выслушивать в душных классах изрядно нам поднадоевших школ или дома?! А если ты с детства только и мечтаешь о бескрайних морских просторах! Если тебе грезится волшебное море днем и ночью?! Еще великий Байрон однажды выплеснул эту страсть юноши к приключениям:

Хочу я быть ребенком вольным
И снова жить в родных горах,
Скитаться по степям раздольным,
Качаться на морских волнах... [285]

Путешествия и приключения стала для многих *alma mater*, «университетом». Для этого все же придется поучиться. Море не любит невежд. XIX в. – время битв, путешествий, романтики открытий... Поэты и писатели с особой страстью и увлечением воспевают море, приключения, капитанов («Сказание о Старом Мореходе» Кольриджа, «Отважные капитаны» Р. Киплинга, «Капитан Сорви-голова» Л. Буссенара, «Пятнадцатилетний капитан» и «Дети капитана Гранта» Ж. Верна). Эра отважных первопроходцев, инженеров, изобретателей! Знаменитый Джузеппе Гарибальди (1807–1882), борец за дело освобождения Италии, в юности мечтал стать моряком. Он писал в «Мемуарах»: «Нужно признать порочной систему, при которой молодых людей, решивших посвятить себя мореплаванию, обучают в Турине или Париже, а затем, когда им уже минет двадцать, посылают на корабли. Я считаю более разумным, чтобы они обучались на кораблях и одновременно практиковались бы

на них в мореплавании». [286] Молодые люди все чаще находили дорогу к морским учебным заведениям.



И. Ильинский. Иллюстрация к роману Стивенсона.

Одним из примеров воздействия на судьбы поколений стал Роберт Стивенсон (1850–1894). Автор будущего «Острова сокровищ» с детства готовился к профессии писателя. Хотя его в детстве и считали лентяем, это было не так. С книжками он никогда не разлучался: одни из них он читал, в другие заносил географические и природные особенности местности, стихотворные строчки или впечатления. Юноша, по сути дела, «так жил, со словами». Говорят, он подражал многим – Вордсворту, Дефо, Готорну, Монтеню, Бодлеру. Он и сам признавал за собой эти попытки «обезьяничанья» (скелет взят им у Э. По, попугай – у Дефо, сундук Билли Бонса заимствован у В. Ирвинга). Однако то, что в уме ничтожном и пустом рождает ужимки да гримасы, для серьезной и крупной личности становится школой опыта и материалом для творчества. Роберт сменил в своей жизни несколько школ и в 17 лет поступил учиться в Эдинбургский университет. Дело в том, что отец видел в сыне продолжателя семейной традиции инженера (строителя маяков). Однако, полное отсутствие в нем стремления к приобретению инженерных навыков вынудило семью

отказаться от этих планов. Тогда решают сделать из него адвоката. В конечном же итоге получился прекрасный писатель, выстроивший, быть может, самый яркий из «маяков». Его «Островом сокровищ» (1883) зачитываются с тех пор многие поколения читателей по всему миру. Этим романом искренне восторгался никто иной как премьер-министр Гладстон. И даже, казалось бы, столь непохожие герои одноименного романа Стивенсона, как Джекил и Хайд, эти антиподы Запада, и поныне составляют, по сути дела, совершенно неразрывные части «английского джентльмена».^[287]

В ряду известных авторов, писавших на тему науки, упомянем еще одного француза, Камилла Фламариона (1842–1925). Созданная им в 1880 г. «Популярная астрономия» получила известность во многих странах мира. Как следствие ее появления повсюду стали возникать кружки любителей астрономии и астрономические общества. Книга поэта-астронома неоднократно издавалась в России. В 1889 г. он был избран почетным членом Нижегородского кружка любителей физики и астрономии. Фламарион, поблагодарив волжских любителей астрономии за оказанную честь, написал им: «Вся моя жизнь была посвящена прогрессу»... Можно сказать, что уже в 6 лет его увлекли звездные проблемы. Учитель в школе дал своему лучшему ученику, досаждавшему бесконечными вопросами, трактат по космографии. Мальчик весь ушел в этот необъятный мир... Дальше будет немало горестей и смертей близких, упорная учеба, ночные бдения за книгой (чтение при свете Луны), работа над собственной книгой «Всемирная космогония», гравюры к которой выполнены им самим.

Будучи выходцем из народа, он приложил немало усилий для просвещения простых людей. Он понял, что говорить с ними нужно исключительно на языке им понятном и близком. Многим маститым ученым не грех было бы чуть почаще вспоминать мудрое напутствие Фламариона: «Светильник науки и разума нужно держать высоко над головой, чтобы его пламя разгоралось, надо вынести его на многолюдные площади, на широкие улицы и в самые глухие закоулки. Все одинаково призваны к свету, все жаждут им насладиться, и в особенности все обиженные, обойденные судьбой, потому что они больше думают, энергичнее мыслят, потому что они сильнее жаждут знания, чем довольные мира сего...»^[288]

XIX век стал «читающим веком». Всех охватила пандемия чтения. Вот, что писал о формировании культуры чтения критик Дж. Рескин (1819–1900): «Случилось так, что я имею самое непосредственное отношение к школам с разным социальным составом обучающихся; так вот, я получаю множество писем от родителей, озабоченных образованием своих детей. Подавляющее число этих писем поражает тем, что родители, в особенности матери, в первую очередь озабочены одним – «местом в жизни»... Действительно, в общественном сознании нашего неугомного народа в ряду наиболее распространенных побудительных устремлений намерение добиться успеха занимает первое место». Он положительно оценил появление на рынке самого разнообразного чтения (рассказы, документы, тексты). Вспоминается известный тезис историка Фюстель де Куланжа – «Тексты, тексты, ничего, кроме текстов!» Рескин полагал, что любая книжная «пища» должна найти потребителя, способствуя росту образования и культуры (даже книги-однодневки): «Все эти книги-однодневки, множащиеся с общим ростом образования, составляют характернейшую особенность и достояние нынешнего века; великое спасибо, что они есть, стыд и позор, если мы не сумеем должным образом воспользоваться ими».^[289] На первых этапах познания и создания элементарной культуры чтения любая «пища» хороша. Однако с годами примитив создает убогую нацию!

Книги и газеты заметно влияли на развитие личности. Ум выглядел богаче в эвристическо-логическом отношении. Это придавало ему способность лучше ориентироваться в сложных реалиях жизни. Хотя это же делало его в ряде случаев уязвимым к ложным посылкам болезненного воображения. Мы еще увидим, что случается с массами в результате поражения их сознания теми или иными модными идеями. Так, сентиментальный роман Гете (1749–1832) «Вертер», герой которого кончает жизнь самоубийством из-за любви к Шарлотте, вызвал в Германии эпидемию самоубийств. Книга – опасный инструмент: тысячи людей на земном шаре убегают из родительского дома, начитавшись Жюль Верна, Майн Рида, Густава Эмара. Детективные романы К. Дойла привили страсть к приключениям такого рода.

Умственные движения связаны и с экономическими проектами и процессами. Эпидемии были вызваны, например, «проектом

Миссисипи» (1717), «химерой Южного моря» (1729), Панамским процессом (1893), процессом Дрейфуса (1894–1895), процессом Сакко и Ванцетти (1927). Весь мир пережил эпидемии «радиомании» (1924–1925), «Линдбергомании» (1927), «спасения Нобиле» (1928) и т. д. История науки богата примерами и того, как часто та или иная теория охватывала умы ученых, овладевала ими до порабощения. Эта тирания продолжается иногда довольно долго, пока, наконец, либо угасает, либо сменяется новой теорией или идеей. О некоторых сторонах психокосмического, массового влияния идей писал русский ученый-биолог А.Л.Чижевский (1897–1964) в книге «Земля в объятиях Солнца». [\[290\]](#)



Город Манчестер.

Все заметнее признаки активизации научной и культурной жизни... В Манчестере возникают Общество любителей естествознания и ботаники, Королевский манчестерский институт искусств, Институт механики, крупнейшая в стране общественная библиотека. Активными членами Литературно-философского общества стали инженеры и ученые-химики. Промышленники, нуждаясь в квалифицированных кадрах, проявляли особый интерес к

молодым людям, получавшим добротную подготовку в лабораториях немецких университетов. Подготовка инженеров шла и в новом Лондонском университете. Повышенный энтузиазм в отношении возможностей науки, образования, культуры вообще характерен для поздней викторианской эпохи. Одним из примеров родства промышленности, науки, культуры, образования мог бы послужить английский город Манчестер. В течение последних двух веков связь эта становилась все более прочной и плодотворной. В конце XVIII в. вокруг Кинг стрит, Пиккадили и площади Св. Анны обосновались здания ассамблеи, церкви, торговые ряды. Тут сложился интеллектуальный и профессиональный костяк манчестерской элиты. Хирург Персиваль решил учредить научное общество, которое позднее трансформируется в Литературно-философское общество. Он способствовал также созданию больницы и колледжа. В этом колледже обучалась часть мирян и те, кто избрали карьеру священника.

По мнению многих исследователей, именно Т. Персивалю и его друзьям (Т. Генри, Дж. Дальтону и др.) принадлежала заслуга разработки схем высшего образования для промышленности. Напомним, что когда Дж. Пристли стал проводить эксперименты с углекислым газом, его энергично поддерживали промышленники и аристократы (в доме и лаборатории, предоставленной ему лордом Шельберном, он открыл кислород, что и принесло ему всемирную славу). Поддержка энтузиастами науки и друзьями-промышленниками ткача-квакера и манчестерского учителя Дж. Дальтона (1766–1844) привела к обоснованию им атомистической теории химии. Тогда наука еще существовала неразрывно с педагогикой. «Ученые были вынуждены заниматься другим делом, чтобы существовать, – как Джон Дальтон, который должен был учить детей грамоте, – и им было весьма трудно получить в свое распоряжение приборы и инструменты для своих занятий» (Дж. Бернал). В 1851 г. торговец Дж. Оуэн отдал все состояние на создание колледжа, который должен был, по его мнению, стать в один ряд с Оксфордом и Кембриджем. Вначале дела шли хуже некуда. Отцы Манчестера не возражали против краткого курса лекций по тому или иному полезному предмету (с их точки зрения). Но их не прельщало то, что их сыновья в течение трех лет должны будут тянуть университетскую «лямку». Колледж выжил лишь благодаря поддержки со стороны состоятельных людей округа (что

характерно скорее для Шотландии и Германии). Напомню, то был год знаменитой выставки в Лондоне (1851), показавшей, что немецкая наука в чем-то стала превосходить английскую. Это подхлестнуло англичан. В итоге, решено было ускорить развитие высшей школы «по немецкому образцу». Профессор Г. Роскоу призвал промышленников Манчестера срочно раскошелиться на эти цели. В 1880 г. Оуэнс колледж, совместно с новыми колледжами в Лидсе и Ливерпуле, становится основой Викторианского университета, образуя новый «интеллектуальный центр» всего промышленного региона.^[291] Не менее впечатляющими были успехи представителей науки и в других странах Европы.

Научные изыскания начинают приобретать соревновательный характер... Английский химик Джозеф Пристли, открывший кислород, впервые получивший хлористый водород и аммиак, показавший благотворную роль зеленых насаждений, «автор» сельтерской воды, знавший семь языков, вступает в переписку с блестящим итальянским ученым Алессандро Вольта (1745–1827), создателем первого в мире источника постоянного тока (вольтова столба). Этот выходец из бедной семьи станет затем сенатором и графом при Наполеоне. О «химии пневматической» напишет шотландский профессор Блэк из Эдинбурга. В противостоянии сходятся теории, за каждой из которых свой национальный флаг. Старую теорию флогистона отстаивает Англия, за новую пневматику ратует Франция. С обеих сторон Ла-Манша бушуют амбиции. Лавуазье даже составил памятную записку секретарю Парижской академии, в которой говорилось: «Сейчас идет научное соревнование между Францией и Англией, это состязание стимулирует проведение новых опытов, но иногда приводит ученых той или иной науки к спору о приоритете с истинным автором открытия» (1772). Впрочем, как Вольта, так и другие ученые внутренне понимали, что наука по своему главному предназначению призвана быть интернациональной, ибо у нее нет очерченных границ.^[292]

Однако в реальном мире, где все и вся подвержено жесточайшей борьбе за выживание, где каждая страна борется с другой страной, отрасль промышленности с иной отраслью, компания или группа компаний с соперничающей стороной, человек с человеком, лишь откровенный глупец, платный агент, наивный идеалист или научный импотент будут разглагольствовать об «общечеловеческом значении

науки». (Кстати говоря, никто и не отрицает наличия такого момента и его безусловной важности.) Дело, конечно, в ином: наука в современных условиях вынуждена преследовать абсолютно ясные и четко фиксированные цели. Перед ней стоит ряд национальных или корпоративных приоритетов. Иного нет, да и быть не может... В мире побеждает тот, у кого лучше работает наука и техника, у кого мощнее исследовательская и лабораторная базы, кто быстрее внедряет достижения науки в производство. Лишь злейший враг страны и своего народа стал бы не развивать, а уничтожать и свертывать эти базы, которые я называю самыми главными «бастионами цивилизации».

Это прекрасно понимали англичане, ставшие уже с конца XVIII в. мировыми лидерами в области промышленности и машиностроения. Знаменательно, что на Всемирной промышленной выставке 1851 г. в Лондоне побывало 6 млн. человек (все население Англии тогда не превышало 27 миллионов). И хотя некоторые эстетствующие личности, вроде писателя У. Морриса, еще молодого человека, сочли выставку в творческом отношении «восхитительно уродливой» и даже отказались посетить знаменитый «Хрустальный дворец», это было скорее проявлением снобизма. Абсолютное большинство населения страны выражало свой восторг по поводу выставки, будучи согласно со своей королевой. Виктория, посетив промышленную выставку, отметила небывалый триумф Британии и с чувством законной гордости сообщила представителям прессы: «Выставка показала, что мы способны сделать почти все». [\[293\]](#)

Конкуренция в промышленности становилась все более острой. К примеру, стоило Великобритании поразить воображение европейцев Хрустальным дворцом (1851), выстроенным архитектором Джозефом Пакстоном (1801–1865), как Франция поспешила устроить у себя Всемирную выставку (1855). Это, бесспорно, был ответ вызову англичан. С середины XIX в. такого рода выставки станут традицией в передовых странах Европы и Америки. Каждая из стран пытается сказать веское слово в науке и технике. На возведение англичанами Хрустального дворца французы ответили башней Г. Эйфеля (1832–1923), вариацией Вавилонской или Пизанской башен. Конечно, нашлись и откровенные недоброжелатели, увидевшие в башне Эйфеля образ новомодной блудницы, «отвратительную тень знатной дамы».

Мопассан высказался так: «Впрочем, что мне за дело до Эйфелевой башни? Она была, по сакраментальному выражению, лишь маяком международной ярмарки. Я далек от мысли критиковать это колоссальное политическое начинание – Всемирную выставку, которая показала всему свету, и притом в самый нужный момент, силу, жизнеспособность, размах деятельности и неисчерпаемые богатства... изумительной страны, которая именуется Францией».^[294]



Эйфелева башня.

Показательно, что первые заметные успехи развития британской промышленности сразу же сказались на положении системы образования страны. Львиная же часть доходов первой всемирной промышленной выставки (1851), где Англия продемонстрировала единство индустрии, мануфактур и науки, пошла на создание научно-педагогического центра (Королевского научного колледжа в Саут-Кенсингтоне). Английская королева Виктория открыла в Гайд-парке павильон «новых технологий и новых отраслей промышленности», а британский капитал активно способствовал росту индустрии, науки и образования. Это же мы вправе сказать в отношении французского капитала. Ведущие французские банки – «Креди мобилъе» братьев

Перер, «Креди фонсье», «Креди лионне» – всячески способствуют развитию тяжелой промышленности. Французы одними из первых дали толчок развитию автомобилестроения в мире. В 1880-е гг. внук Жана-Пьера Пежо Арманд переориентировал производство деда на выпуск велосипедов с деревянными колесами. В 1890 г. на «Пежо» был построен первый автомобиль, в 1900 г. уже выпускалась одна машина в день. Девиз «Пежо» – «Лев идет от мощи к мощи». В 1890 г. была создана и другая автомобильная компания – «Рено».

В науке и технике вперед вырываются молодые капиталистические страны. В 1900 г. Германия заняла ведущее место в Европе в области электротехники и первое место в мире в развитии химической промышленности. У П. Лафарга есть интересная статья «Буржуазия и наука», где раскрывается механика того, как и с помощью чего Германия заняла «первое место по эксплуатации математиков, физиков, химиков и техников». Он говорит, как на одной из немецких фабрик анилиновых красок служат 55 химиков, занятых изысканием новых веществ, и 33 техника, чтобы немедленно применить сделанные учеными открытия в немецкой промышленности. На другом заводе работают 145 химиков и 175 техников. Другие предприятия также не жалеют средств на лаборатории, библиотеки, больницы и иную социальную инфраструктуру. «Все это, правда, стоит дорого, – пишет профессор Липман, – но зато эти крупные фабрики дают от 20 до 33 процентов дивиденда. Германия вывезла в 1904 году на 156 миллионов анилиновых красок, то есть в 195 раз больше, чем Франция. Ее математики, физики и химики, ее лаборатории для исследований, оборудование при заводах стоят миллионы, но зато дают ей валового дохода на 1.250 миллионов». Во Франции эти процессы выражены гораздо слабее. Глупее и капиталисты, ибо промышленники уклоняются от выплат заработанных денег ученым и отсылают их в лаборатории университетов. Профессор (его цитирует П. Лафарг) прямо обвиняет французскую буржуазию в отсутствии «научного духа» и говорит, что она стоит рангом ниже не только немецкой или американской, но и японской, «только-что приобщившейся к капиталистической цивилизации».

Упреки направлены и в адрес английской буржуазии, поскольку факультеты английских университетов фактически не выпускали

химиков-техников. Их попросту вывозили из Германии. Немцы же понастроили, пишет автор, научные «племенные заводы», которые, вместо лошадей и мулов, «фабрикуют химиков, электриков и инженеров». Статья содержит целый ряд критических высказываний и замечаний. В ней показана эксплуататорская сущность капиталиста, что платит ученому или инженеру скромное вознаграждение за открытие, приносящее ему миллионы. Тот же Ротшильд платит повару куда больше, чем инженеру. Подобным же в Риме (времен упадка) опытный в кулинарном деле раб стоил дороже, нежели раб, обладающий литературными или медицинскими познаниями... А я почему-то подумал о российских капиталистах, что держат инженеров, рабочих, врачей, учителей на положении рабов эпохи Древнего Египта или Рима (к строителям пирамид отношение было лучше).

Акцент статьи абсолютно ясен... Ее цель – убедить французскую буржуазию в необходимости поддержать науку не в силу какого-то там патриотизма, а ради выгоды таких капиталовложений. Поэтому Лафарг делает акцент именно на прибыльность от внедрения науки и выводит заключение: «Но современная промышленность не терпит такого скряжничества; ей нужно производить все новое и новое; научные применения множатся с чрезвычайной быстротой и ставят задачи, которые не могут быть разрешены иначе, как путем лабораторных исследований. Если промышленники Германии и других стран платят ученым и сооружают лаборатории, то делают они это не из любви к науке, но из алчности к наживе».^[295]

В положении стран были свои нюансы, своя специфика... Англия достигла феноменальных успехов при островной экономике, лишенной богатых природных ресурсов! А. Тойнби подчеркивал, что обстоятельства, касающиеся внутренней истории Англии, сделавшие ее индустриальной страной, являются специфически английскими. Однако полагаю, что разум английской буржуазии частью не мешает позаимствовать и нашей элите.^[296] Хотя вряд ли для нас приемлем тот путь, которым британская внутренняя и внешняя политика обеспечивала интересы крупных собственников-англичан. И все-таки подобная идеология капиталистического прогресса, по крайней мере, хотя бы понятна. Их капитал, по пословице, предпочитал to shake the pagoda tree («трясти дерево у пагоды»), богател за счет колониаторства в Индии, а не вытрясал душу у своего собственного

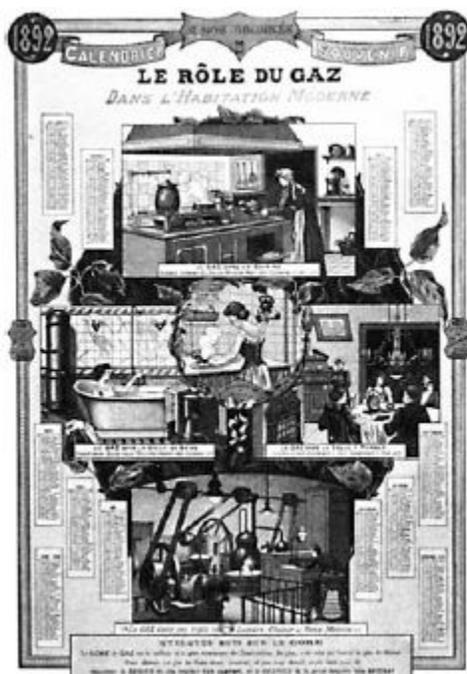
народа, как это делают «реформаторы» в России, оставляя народ без элементарных средств к существованию, ставя людей труда на грань нищеты, голодной смерти. Такого оголтелого и беспардонного «капитализма», что демонстрирует российская младобандитская (и контрреволюционная) буржуазия, свет еще не видывал!

Нам представляются знаменательными уроки, преподанные миру европейской буржуазией. Капитал лишь тогда имеет право на жизнь, когда он является носителем культуры, а не варварства, когда он активно укрепляет её бастионы (науку, технику, образование, медицину, культуру). Флобер с иронией писал о торжествах по поводу столетия Вольтера, коих устроителем и распорядителем был шоколадный фабрикант Менье (1878). Его ирония не вполне уместна. Во-первых, мы помним фразу Вольтера: «Я не знаю, однако, кто полезнее государству: напудренный сеньор, знающий с точностью, в котором часу ложится и в котором встает король, или негоциант, который обогащает свою страну, посылает из своего кабинета приказы в Сурат и Каир и содействует счастью всего мира» (хотя «счастье всего мира» это уж чересчур). Во-вторых, глядя на хамско-пренебрежительное отношение к культуре, науке, технике, образованию иных отечественных нуворишей, невольно завидую странам Европы. Было бы неплохо, если бы мы так же развивали свою страну, культуру и промышленность.



Джамболанья. Меркурий.1580.

Правду этих слов наиболее остро ощущали ученые и врачи, посвятившие себя задаче сохранения жизни и здоровья человека. Казалось, ещё недавно медицина представляла собой (за редким исключением) сборище шарлатанов подобных тем, что встречаются в комедиях Мольера. Иные ощущали себя в положении бедного господина де Пурсоньяка, которого врачи намеревались залечить при полном его здравии. Они предлагали ему вскрыть «лобную вену с широким отверстием в оной», «опорожнить его внутренности», сделать «нечетное число кровопусканий», надеть на лоб повязку с солью, развлечь больного приятною беседою, пением, танцами, выбелив стены его комнаты, дабы рассеять мрачные мысли. С течением времени ситуация меняется... Появились действительно грамотные и опытные врачи, практики и экспериментаторы, продолжатели дела великих врачей древности. Первым в их ряду следовало бы назвать А. Левенгука (1623–1723), натуралиста, понявшего суровый закон природы: «Жизнь существует за счет жизни»... Он, правда, никого так-таки и не выучил, говоря, что если бы «я стал учить одного, мне пришлось бы учить и других». Это означало бы рабство, а «я хочу оставаться свободным человеком»... Рядом высится грандиозная фигура Луи Пастера (1822–1895), основоположника современной микробиологии и иммунологии.



Использование газа. 1892.

Это была чрезвычайно яркая и одаренная натура. В детстве он очень неплохо рисовал (эти рисунки юноши приводили близких в восторг, сверстники звали его «художником»). Отец, наполеоновский солдат и кожевник, мечтал увидеть сына учителем. С момента пребывания в коллеже страсть учить мальчишек была у Луи в крови. Хотя в коллеже по химии он получал только «удовлетворительно», именно этот предмет увлечет его, станет призванием на всю жизнь. Слушая лекции известного химика Дюма, Пастер, по его же словам, и «заразился» энтузиазмом настоящего ученого. Затем последуют годы в старейшей Нормальной школе (Grande Ecole Normale de Paris), куда он был принят 4-ым по конкурсному списку. В 1847 г. он защитил целых две докторских диссертации (по химии и физике), посвятив их родителям. Это открыло ему путь к званию профессора (в Страсбурге и Лилле). Главной страстью ученого были лабораторные изыскания. Работал он увлеченно (не зря химик Балар ходил к министру просвещения, упрашивая его закрепить ученого за своей лабораторией). Позже Пастер так говорил о своих изысканиях рацемической кислоты: «Никогда ни за каким сокровищем, ни за какой обожаемой красоткой не гонялись с такой горячностью по всему свету». Свою громкую известность он приобрел, изобретя способ

пастеризации вин и тем самым доказав Франции и миру не только научную, но и коммерческую пользу от науки.

Микробы Пастера стали в то время столь же популярны, как сыры и вина. Хотя ничуть не меньшими были его заслуги в медицине. Пастеровские прививки (вакцины от бешенства) спасли жизнь многим (первым был 9-летний Ж. Мейстер). Он фактически как бы пересоздавал многие науки, работая на их стыке. Не случайно за право и честь вручить ему звание член-корреспондента Академии вели спор физики и химики. О его заслугах в области медицины один из тогдашних авторитетов (Бруардель) говорил: «Колоссальная революция в самих основах врачебной науки за тридцать веков ее существования произведена человеком, чуждым врачебной профессии – Пастером». Стоит сказать и о гражданской позиции ученого. В наше время иные ученые меняют убеждения с легкостью, как и родину. Пастер же достоин восхищения. И дело не в формальном отнесении к лагерю патриотов. Хотя даже в импульсивных жестах порой проглядывает личность (во время революции 1848 г. ученый, увидя вывеску некоего общества с громким названием «Алтарь отечества», не задумываясь, пожертвовал туда все свои сбережения – 150 франков). Гораздо существеннее то, что он принес на алтарь отечества свой огромный талант. Пастер часто любил повторять: «Я всегда соединял мысль о величии науки с величием родины». Ныне же иные маститые мэтры полагают, что два эти понятия вполне могут существовать отдельно. Они заблуждаются. [\[297\]](#)

Он пылко обращался к правителям со словами: «Я умоляю вас, уделяйте больше внимания священным убежищам, именуемым лабораториями! Требуйте, чтобы их было больше и чтобы они были лучше оборудованы! Ведь это храмы нашего будущего, нашего богатства и благосостояния». Да и сам он отдавал большую часть своих заработков и премий на эти цели. В частности, он занялся изучением болезней вина, чтобы восстановить погибающую винную промышленность. Затем он помог и уксусной промышленности страны. Французские промышленники, понимавшие толк в бизнесе, быстро ухватили суть идеи Пастера о том, что маленькие микробы смогут принести им «своей работой миллионы франков прибыли». И отметили труд ученого. В XIX в. эту истину понимали лучше, нежели в иных странах в конце XX в. Пастер предсказал: «Человек добьется

того, что все заразные болезни исчезнут с лица земли». Все, кроме человеческой глупости! Одним словом о нем можно сказать словами Тимирязева: «Это был гений, само воплощение экспериментального метода».



Луи Пастер в лаборатории.

Таковые гении тогда появлялись повсюду. Немец Р. Кох (1843–1910) откроет возбудителя туберкулеза («палочка Коха»). П. Эрлих (1854–1915), выдающийся немецкий врач и исследователь в медицинской биологии, химии и терапии, создаст свои удивительные «магические пули» (из мышьяка «гениальный алхимик» создал лекарство от сифилиса). Вскоре он станет директором института сыворотки в Пруссии. Затем он переехал во Франкфурт-на-Майне, где расположены мощные химические фабрики. Там жили богатые евреи, финансировавшие науку... Одержимый многими идеями, ученый точно определил четыре требования научного прогресса как четыре больших «G»: Geld – деньги, Geduld – терпение, Geschick – ловкость, Gluck – удача. Так как учиться в свое время ему было некогда, Эрлих почти все свои знания и идеи черпал из книг. Вот что пишет Поль де Крюи в книге «Охотники за микробами»: «Вся его жизнь протекала

среди научной литературы; он выписывал химические журналы на всех известных ему языках и несколько – на неизвестных. Его лаборатория настолько была завалена книгами, что, когда входил посетитель и Эрлих говорил ему: «Садитесь, прошу вас!», то садиться было некуда. Из всех карманов его пиджака – если только он не забывал его надеть – торчали журналы, а приносящая ему утром кофе горничная спотыкалась и падала на невероятные горы книг, наполнявших его спальню. Из-за своей страсти к книгам и дорогим сигарам Эрлих всегда был в нужде. Мыши устраивали себе уютные гнезда в огромных кучах книг и в старом диване, стоявшем в его кабинете». Знаменитый препарат «606» (сальварсан), ставший смертельным для бледной спирохеты, возбудителя «веселой болезни», принес бацилле гибель, а его создателю – славу «охотника за микробами».^[298] То были, совершенно бесспорно, люди огромного трудолюбия, долга и высочайшего мужества. Немецкий гигиенист из Мюнхена М. Петтенкофер, отвечавший за систему здравоохранения города, во имя науки и в опытных целях (1892 г.) выпил на глазах у всех холерный вибрион. Его примеру последовали российские ученые И. Мечников и Н. Гамалея. В историю борьбы с малярией вписали свои имена шотландец П. Менсон, англичанин Р. Росс и итальянец Дж. Грасси. Число ученых и врачей, отважно сражавшихся с болезнями в различных странах, было огромно.^[299]

Писатели и поэты Европы, еще вчера настороженно взиравшие на научный прогресс (известный английский историк и критик Т. Маколей даже утверждал, что «с расцветом цивилизации приходит упадок поэзия»), ныне уже открыто и довольно шумно славят его, видя торжество цивилизации в постоянных открытиях человеческого разума... Э. Золя заявит: «Ветер дует в паруса науки». Он же в нашумевшем романе «Творчество» (где весьма резко критиковал импрессионистов) устами одного из героев убежденно говорит: «Сейчас есть только один источник, из которого должны черпать все – и романисты, и поэты, этот единственный источник – наука»... Ги де Мопассан напишет: «Утверждается аристократия иного порядка, которая, по всеобщему признанию, только что одержала победу на Всемирной выставке; это аристократия науки, или, вернее, аристократия научной промышленности».

В свою очередь, научно-технический прогресс служит стимулятором идей, подталкивая воображение писателей, ученых, мыслителей. Если в романах Ж. Верна многие его выдумки питались вчерашними достижениями «старой науки», то писателем нового склада стал Г. Уэллс (1866–1946). В отношении его книг Жюль Верн говорил, что они «очень заняты», хотя при этом признавал, что оба они идут разными путями. Классик фантастического романа утверждал, что в романах Уэллса «нет настоящей научной основы» (1903). Английский журналист Р. Шерард так отразил эти «разночтения»: «Он (Уэллс) выдумывает, я пользуюсь данными физики. Я отправляюсь на Луну в снаряде, которым выстрелили из пушки... Он летит на Марс на воздушном корабле, сделанном из металла, неподвластного закону притяжения. «Занятно у него получается! – воскликнул мосье Жюль Верн, развеселившись. – Пусть покажет мне этот металл! Пусть его изготовит!»» Дело тут не в специфических особенностях воображения англичан. Наука уходила вперед... Перед ней вставали иные потребности и задачи. Возникли и новые возможности научно-технического прогресса. Так, к примеру, физик-атомщик Фредерик Содди в своей книге «Интерпретация радия» (1908) уже говорит о «возможностях совершенно новой цивилизации», возникающей с открытием ядерной энергии. Довольно образно он пишет: «Сегодня мы находимся в том же положении, что и первобытный человек, открывший энергию огня»... Уэллс тонко улавливал эти временные моменты... Так, в романе «Освобожденный мир» он с большой тревогой изображает Европу 50-х гг. XX в., опустошенную ядерной войной. Напомним, что в 1844 г. появилась и книга Ч. Хинтона «Что такое четвертое измерение». В известном смысле книга Уэллса «Машина времени»(1895) предвосхитила и частную теорию относительности, созданную в 1905 г. [\[300\]](#)

Если ранее народы старались выйти на новые рубежи бытия с помощью, как тогда казалось, абсолютно надежных и действенных инструментов развития (политика, экономика, техника, наука), то вскоре в умах иных мыслителей появляются известные сомнения и колебания при определении целей и задач современной цивилизации. Знание ищет ответы на наиболее трудные «головоломки», связанные как с устройством социального порядка, так и с возможностями индивида. В то же время вопросы культуры все очевиднее напрямую

зависят от уровня общественного развития, что опять же во многом определяется состоянием экономик, науки и образования в странах. Французский философ, историк и теоретик культуры Мишель Фуко (1926–1984) писал: «Таким образом, вновь сталкиваясь с конечным человеческим бытием в самом вопрошании о первоначале, современная мысль замыкает тот обширный четырехугольник, который она начала чертить в тот момент, когда в конце XVIII века была опрокинута вся западная эпистема (ред. – «знание», «эпистемология» – теория познания): связь позитивностей с конечностью человеческого бытия, удвоение эмпирического в трансцендентальном, постоянное отнесение *cogito* к немислимому, отступление и возврат первоначала определяют для нас способ бытия человека. Именно в анализе этого способа бытия, а не в анализе представления рефлексия начиная с XIX века стремится философски обосновать возможность знания. Ум вгрызается в эту новую квадратуру круга».^[301] Истинная «квадратура круга» заключается, по моему, в столкновении низших умов человеческих, имевших в древности численный эквивалент 666 (знак Антихриста), и высшего ума, выраженного другим священным и секретным числом – 888 (знак Иисуса), проявляющегося в разных обликах (в том числе, всадника на белом коне, называемого «Верный и Истинный»).^[302]

Стоит бегло обозреть часть истории науки, как становится понятным, что вышеназванные начала находятся в постоянном, непрекращающемся противоборстве. Силы зла, что ютятся, словно змеи или ядовитые тарантулы, в расщелинах власти и пустынях невежества толпы, не упускают случая преследовать и казнить великие умы. Боясь света и разума, они руководствуются кличем Кальвина: «Лучше невежество верующего, чем дерзость мудрствующего» или «Лучше осудить невиновного, чем оставить безнаказанным виновного.» Жестокость пронизала всю историю. Напомним, что протестант Кальвин, следуя закону «Консистерии», что написан «кровью и огнем», сжёг Мигуэля Сервета (1509–1553), образованнейшего человека того времени, занимавшегося врачебной практикой и читавшего лекции по географии, астрономии и математике в Париже. Всё в той же «свободной Швейцарии» был подвергнут остракизму профессорской братии великий Парацельс (1493–1541), что взывал к всеобщему братству и распространял

брошюры против сильных мира сего и схоластов («профессора-схоласты высиживают свои толстые, никому не нужные труды»). Можно понять, что в отношении светочей разума низкий и тупой ум всегда испытывает дикую ненависть или полнейшее равнодушие. Но они еще и судят, сажают в тюрьмы, убивают, сжигают, преследуют, травят, гонят, лишают средств к существованию, делают все, чтобы забыть гения. Сервета и Бруно сожгли, Рамуса убили, Пристли отравили, Спинозу прокляли, Парацельса изгнали.^[303]

В новые времена положение инженеров и ученых тоже далеко не безоблачно. Их, правда, уже не казнят, не сжигают на кострах, однако сколько бед, разочарований, горестей, отчаяния, трагедий видим мы, к примеру, на пути создателей паровой машины, пароходов, подводных лодок и т. д. Потребовались усилия целых поколений инженеров-механиков, чтобы мы нынче могли спокойно и с комфортом путешествовать по земле, воздуху, морям, океанам. Приведем лишь некоторые примеры этой одиссеи... Одним из первых назовем француза Дениса Папина (1647-?), изучавшего в Париже медицину, но затем отдавшего жизнь точным наукам и прикладной механике. Первое его исследование носило название «Новый опыт над безвоздушным пространством». На него обратила внимание Академия наук, недавно созданная Кольбером. Ему покровительствовали Гюйгенс и Роберт Бойль, основатель Лондонского Королевского Общества. Три года Папин работал в Англии, путешествовал, возвращался.



Горас Верс ищет смерти в собственном открытии.

Здесь он и изобрел первую машину, которая привела его к открытию – применению пара в качестве механического двигателя... После целого ряда усовершенствований он издал во Франфурте маленькую книжку под заглавием «Новый способ поднимать воду силою огня» (1707). Как он сам говорил в одном из писем, в его планы входило снабдить судно таким механизмом, который бы позволил при помощи огня одному или двум рабочим вести его «с большей быстротой, чем это могли бы сделать несколько сот гребцов». Изобретатель решает пуститься в плавание на таком судне вместе со своим семейством. Однако президент Мюнхенского округа отказал ему в пропуске (несмотря даже на просьбу великого Лейбница). Тем не менее, Папин решил пуститься в плавание на свой страх и риск, без «соизволения».

Путешествие по реке закончилось успешно и он прибыл в Лоху. Тут же собралась огромная толпа. Президент другого округа пожелал узнать, каким образом маленькая машина смогла заставить корабль двигаться без мачт и парусов. На следующий день толпа судовладельцев, смертельно напуганная перспективой конкуренции нового типа

кораблей, угрожает ему захватить чудо-корабль и продать его с публичного торга по частям (как металлолом). Собственники-судовщики натравили толпу рабочих и жителей предместий Лоха. Невежественные люмпены, коим абсолютно наплевать на прогресс техники и науки (а заодно впридачу и на всех изобретателей), со свирепостью дикаря набросились на пароход и разломали его. «Так совершился этот возмутительный факт варварского разрушения, – пишет Г. Тиссандье, – который, отодвинув на целое столетие применение пара к водяному сообщению, быть может, изменил судьбы народов!» Конечно, идеи Папина не могли погибнуть. В 1784 г. американский строитель Дж. Фич показал Вашингтону модель судна, которое приводилось в движение паром. Во время одного из испытаний пассажирами судна были Вашингтон, Франклин, члены конгресса. Пароход мог двигаться и против течения со скоростью 5,5 миль в час. Успех был полный. Изобретателю были выделены небольшие деньги американским правительством и построен паровой гальот, покрывший расстояние между Филадельфией и Трентоном (6–7 верст). Однако до того, чтобы «переплыть Атлантический океан», был ещё очень долгий путь. К тому же практичные янки сочли, что с финансовой точки зрения предприятие не может принести немедленной и большой прибыли. Вскоре Фича все бросили.

Над ним смеялись, откровенно издевались. Тогда он решил уехать во Францию, где надеялся найти поддержку. Францию эпохи революций волновали иные проблемы. Его покровитель Бриссо умер на гильотине. Фич и тут оказался никому не нужен. Он вынужден был выпрашивать деньги на возвращение в Америку у консула Соединенных Штатов. Вернувшись, он понял, что все его мечты и надежды на буржуазию самых передовых тогда стран мира, как на спонсоров научно-технического прогресса, бессмысленны и лишены основания. Обреченный на нищету и забвение, изобретатель стал пить... И однажды вечером, обуреваемый горькими и мрачными мыслями, он бросился с вершины утеса в воды Делавара, проклиная людей, элиты и всех богачей мира. Хотя это не смогло остановить ход научного прогресса. Вскоре появился другой изобретатель, ирландец Роберт Фултон... Но и ему прежде чем добиться успеха пришлось метаться в отчаянии между США, Англией, Францией, Голландией,

тщетно пытаясь привнести в мир свои изобретения (пароход, торпеду, подводную лодку).

Многие учёные и врачи становились жертвами своих клиентов. Был застрелен в Генуе германский анатом Георг Вирзунг, таким же образом погиб хирург Дельпех (1832). Не менее трагичной оказалась судьба врача-дантиста Гораса Вельса из США, вклад которого в медицину и стоматологию велик. Однажды он, будучи наслышан об опытах Дэви с закисью азота (тогда повсюду в Англии и Франции явились желающие дышать ею в медицинских целях), впервые применил усыпляющее действие эфира. Химик Дэви предугадал перспективы использования газа: «Закись азота, по-видимому, имеет способность уничтожать боль. Вероятно, им можно будет с успехом пользоваться при хирургических операциях, не сопровождающихся обильным истечением крови». Вельс проверил это на себе, надышался азота и велел вырвать себе зуб (при этом он не почувствовал никакой боли). Тогда он направился в Бостон, где сообщил об этом потрясающем факте членам медицинского факультета. К сожалению, во время опытов больной, употребив газ, стал истошно кричать (та смесь была неудачной). Но его компаньоны, Мортон и Джаксон, продолжили опыты и добились успеха.

Так анестезирование больных при операции вошло в обиход медицины. Но итог дела лично для Вельса оказался печален... Напрасно он колесил по Лондонам и Парижам, пытаясь доказать приоритет своего открытия. Всё было напрасно. Ловкачи перехватили у него его славу и деньги. Джаксон получил Монтионовскую премию Французской академии наук, а Мортон подсчитывал баснословные барыши, «полученные им от продажи *своих прав на открытие*». Столкнувшись с нищетой и с вопиющей несправедливостью «цивилизованного мира», он кончил жизнь самоубийством, вскрыв вены. Рядом с трупом нашли склянку с эфиром.^[304]

Есть немало иных, возможно, менее катастрофических, но никак не менее трагических судеб. Всем без исключения будущим знаменитостям приходилось прокладывать путь к признанию и славе, концентрируя всю свою волю и упорство. Нищета долгое время преследовала Дж. Уатта, создателя паровой машины. Химика и проповедника Дж. Пристли, создавшего в Бирмингеме «Лунное общество» (в 70-е годы XVIII в. оно было научным и философским

центром средней Англии) чуть не сожгли в его доме. Пристли едва успел спастись. Затем ему пришлось переселиться в Америку, где он и умер в 1803 г. Сколько таких ученых и изобретателей страдало в тисках нищеты, преодолевая немыслимые препятствия на пути. Д'Аламбер был незаконорожденным (младенцем его бросили на рынке, у входа в церковь). Однако из него вышел энциклопедист. После выхода из печати книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление» до первых откликов на неё прошло 166 лет. Автору пришлось испить горькую чашу разочарований и унижений, когда издатель сообщил ему, что весь тираж его книги (не нашедшей тогда спроса у читателя) сбыт по бросовым ценам в макулатуру. Однако даже эта новость не отвратила его от занятий философией, а лишь укрепила в цели.

Ещё печальнее оказалась судьба английского математика индийского происхождения Рамануджана (1887–1920). Он просил лишь немного денег, чтобы «существовать и заниматься исследованиями». Однако ни индийские магараджи, ни владельцы лондонского Сити ничего так и не сделали, чтобы серьезно помочь этому гению. Хотя крупнейшие английские математики всё же поспособствовали тому, что он стал получать небольшую стипендию от Мадрасского университета. В 1918 г. его избрали членом Английского королевского общества, а в 1920 г. он умер от туберкулеза (прямое следствие многих лет нищеты и бедности). Бернар Палисси верно говорил: «Бедность умерщвляет гений». Писатель Т. Гарди скажет: «Судьба Рамануджана – худший известный мне пример вреда, который может быть причинен малоэффективной и негибкой системой образования. Требовалось так мало, всего 60 фунтов стерлингов в год на протяжении 5 лет и эпизодического общения с людьми, имеющими настоящие знания и немного воображения, а мир получил бы еще одного из величайших своих математиков. Притом Рамануджан был человеком, в обществе которого вы могли получить интеллектуальное удовольствие, с которым вы могли за чашкой чая беседовать о политике или математике, умного человека, который, кроме того, был еще и великим математиком».^[305]

Противоречия и пороки буржуазной цивилизации были настолько очевидны (даже в развитых странах Европы и в США), что Т. Пейн как-то заметил: «Представляется весьма спорным, больше всего

способствовал или больше всего вредил человеческому счастью порядок, который гордо, но, быть может, ошибочно назван цивилизацией. С одной стороны, наблюдатель (этого порядка) ослеплен внешним великолепием, с другой стороны его шокируют крайности нищеты; то и другое создано цивилизацией. Самые богатые и самые жалкие представители человеческого рода встречаются в странах, именуемых цивилизованными». [306]

Таким образом, было бы величайшим заблуждением представлять развитие науки и техники в XVIII–XIX вв. как торжествующе-победоносное движение. В тот период ни у государства, ни у общества ещё не сформировалось чётких представлений о науке, технике, образовании как о важных, а тем более главных факторах богатства и развития. Консервативно-негативистские взгляды на науку характерны для неразвитой, примитивной буржуазии, что ходит ещё в «первые классы цивилизации» (что мы воочию и видим на примере России).

Чего достигла цивилизация в ходе своего «победоносного шествия»? Бродель характеризует цивилизацию в целом как «мощные оковы и каждодневное утешение». В XVI–XIX вв. у людей складывалось о ней двойственное представление. Вряд ли буржуазная цивилизация могла быть каждодневным утешением для народа. Дело в том, что, несмотря на многочисленные триумфы науки и промышленности, большинству населения её плоды пока еще были недоступны. Ведь, жизнь народных масс протекала все еще в условиях далеких от плодов достижений науки и техники. Масса крестьянства обитала вне города, а где город, там и культура. Перепись же населения Англии (1851) показывала: главными занятиями трудоспособного населения по-прежнему оставалось сельское хозяйство или работа по дому. В Бельгии, наиболее индустриальной стране континентальной Европы, половина жителей принадлежала к крестьянству (середина XIX века). Во Франции в 1850 г. из всего 23-миллионного населения около 20 миллионов продолжали жить в сельской местности. В Германии даже и в 1895 г. куда больше её обитателей занято было в сельском хозяйстве, а не в промышленности. [307] Поэтому люди чаще воспринимали мир буржуа как оковы каторжника, трудясь ради удовлетворения нужд меньшинства. Возникала нешуточная угроза «опрокидывания» и краха буржуазной

системы ценностей, её институтов, да и представлений о разумности их мира.

Достигнутые успехи в различных областях знаний и культуры также еще не означали бесспорного торжества мудрости, просвещения и справедливости. Хотя идея прогресса и «стала почти символом веры» (Р. Коллингвуд), заметнее становились язвы и пороки буржуазного общества. Далеко не везде образование было на уровне требований века. Даже о просвещенной Франции В.Гюго с горечью писал (1834): «Знаете ли вы, что по сравнению с другими европейскими странами во Франции больше всего неграмотных. Возможно ли? Швейцария умеет читать, Бельгия умеет читать, Дания, Греция, Ирландия – умеют читать, а Франция не умеет! Какой позор!»^[308] Энергия позитивных идей часто гасилась при столкновении с препятствиями социального характера. Без решения коренных политико-социальных вопросов, связанных с раскрепощением и просвещением людей, даже знания, образование и современные технологии не обладали достаточной силой, способной разорвать путы, сковывающие общество. «Социальный ум» человека не желал более творить себе кумира из фетиша «прогресса знаний», «прогресса промышленности», «прогресса образования» и т. д. и т. п.



Дж. Линнелл. Портрет. Т. Мальтуса.

Таким образом, перед нами предстала довольно пестрая и очень неоднозначная картина буржуазного прогресса... С одной стороны, наблюдался довольно энергичный рост населения, увеличение богатства части нации, развитие сети дорог, рост городов, прогресс науки и техники. С другой, стремительно росли налоги и национальный долг, множились социальные язвы, в ряде стран заметнее стали черты пауперизма. Фарисейство и пороки пронизывали ткань буржуазно-монархической Британии (и всей Европы) сверху донизу. В то время как английский экономист Т. Мальтус (1766–1834) убеждал бедняков в необходимости ту же затягивать пояса, говоря об опасности бурного роста народонаселения, что, якобы, серьезно подорвет «основы цивилизации», буржуа не желали ни в чем себя ограничивать, занимаясь неприкрытым обогащением за счет народов... Хотя сделаем оговорку, приведя мнение его биографа, Н. Водовозова, бросавшего упрек ученикам: «...мы склонны думать, что более половины тех постоянных нареканий в *жестокости* и *безнравственности*, которые всегда в таком изобилии расточаются по

адресу Мальтуса, обязаны своим происхождением не «Опыту о народонаселении», а уже позднейшим вольным его толкованиям и комментариям. Обвинять Мальтуса в безнравственности – значит обнаруживать прямо свое незнание с «Опытом о народонаселении». Однако наш автор признает безотрадность данного учения.^[309]

Знаменательно и то, что даже благотворную для развития общества промышленную революцию не все восприняли однозначно. Писатели, художники, ученые оказывались порой «луддитами»... Ректор одного из английских колледжей говорил: «Это равно не угодно ни богу, ни мне». Теоретическими проблемами, связанными с задачами образования и воспитания также в XIX в. интересовались очень немногие. Хотя схожими проблемами «мучились» еще древние, начиная с Платона и Сенеки. Сенека вопрошал: «Для чего мы образовываем сыновей, обучая их свободным искусствам?» С тех пор прошли века... И вновь возник спор о проблеме выбора. Вопрос не в том, учиться ли «по Гумбольдту, Ньюмену, Песталоцци». Правильнее было бы сказать: «Давайте учиться по жизни». В этом и состоит истинная мудрость, которая, по словам Сенеки, отнюдь не только «кузнец необходимейших орудий»: «Зачем приписывать ей так мало? Перед тобой та, чье искусство – устраивать жизнь».^[310]

Прогресс науки, образования, индустриализации в рассматриваемую эпоху, тем не менее, несомненен. Цивилизация приобретала иные очертания, нежели те, что она собой представляла на протяжении столетий или тысячелетий. Поэтому нельзя принять категорического и сурового приговора критика и эссеиста С. Конноли (1903–1974), заявлявшего: «Цивилизация – это зола, оставшаяся от горения Настоящего и Прошлого». Тут подошла бы иная метафора. Цивилизация – это своего рода «хворост», что приходится всё время подбрасывать в костер человеческих знаний и открытий, чтобы тот горел всё ярче. Согласимся с выводами авторов коллективного труда «История Европы», принадлежащего видным европейским историкам, когда они говорят: «Индустриализация совершила такой же глубокий переворот в истории человечества, как появление земледелия в эпоху неолита за восемь тысяч лет до того. Никогда еще в Европе не происходило таких внезапных и значительных изменений».^[311]

Постараюсь теперь набросать социокультурный портрет немецкого народа и его героев. Это – народ реформаторов, музыкантов, философов и солдат, знавший удивительные взлеты и падения, мгновения высшего триумфа и трагической катастрофы. Сей народ, когда он откровенен в своих суждениях и взглядах, считает себя центром мира, во всяком случае того мира, который принято называть «культурным». С великолепной прямоотой и откровенностью об этом сказал Ф. Ницше в «Казусе Вагнера»: «Надо прежде всего быть «немцем», «расой», тогда уже можно принимать решения о всех ценностях и неценностях in historicis – устанавливая их». И пусть для нас с вами, дорогой читатель, «немецкое» еще не есть аргумент, пусть даже мы не очень уверены, что нам когда-либо удастся добраться до сути и основания вопроса, поскольку, по признанию того же Ницше, у «немца, как у женщины, не добраться до основания, он лишен его: вот и все», мы все же предпримем такую попытку.^[312] Что же важнее всего для немца – культура, мещанское благополучие или могущество? В чем высшее предназначение немецкой расы? Осталась ли у немецкой научной молодежи, да и у зрелых маститых ученых ныне та самая страсть к духовным вещам, которая выносила их на некогда недостижимую высоту? Есть ли у немецкой нации «ученики чародеев», которые некогда завораживали Европу, да и весь мир звуками их философских или музыкальных «волшебных флейт», или же они уже навсегда потеряли власть над формулой, которую сами же некогда и вызвали (Горнфельд)!?

Подводя сугубо предварительные итоги состоянию науки, культуры и образования в Западной Европе, можно констатировать, что: 1) рост знаний, в целом, способствовал улучшению состояния дел человечества, отвечая важным, насущным целями и задачам сообщества; 2) торговля с индустрией все заметнее воздействуют на состояние науки, образования и культуры в ряде стран Европы; 3) наука и образование – мощные факторы, влияющие на уровень политической, социальной и культурной зрелости народов; 4) талантливейшие деятели искусства, каковы бы ни были их взгляды, если они только обладали умом и чувством социальной ответственности, всегда стремились выразить в идеях и образах нужды своего времени и народа; 5) неравномерность развития капитализма вела к обострению конкуренции между различными странами и

регионами мира; 6) вместе с тем довольно заметные успехи наук, образования и производства всё-таки были ещё очень ограниченными в масштабах мира; 7) не могли они заменить заметное ослабление нравственных, религиозных, духовных устоев обществ, называвших себя «цивилизованными»; 8) это подвело ряд ученых (Спенсер, Конт, Маркс, Энгельс, Дюркгейм и др.) к необходимости поиска сил, которые бы организовали и оформили «позитивные процессы» эволюции рода человеческого в конкретные формы. Наиболее отчетливо эти тенденции проявились в Германии, США и Японии.

Неравномерность развития капитализма выталкивала вперед «новые страны». Среди лидеров этих держав оказалась к концу XIX в. и Германия. Немцы получали в университетах солидное и добротное образование. Пользуясь этим, многие наживали в Англии огромные состояния, как будто, шутит Ч. П. Сноу, «находились в богатой колонии, где никто не умел ни читать, ни писать».^[313] Иные из них становились богачами и в США. Видимо, им это удавалось по той причине, что они умели увязать теоретические знания с их практическим применением. В немецкой политике и мысли мы увидим как бы некое завершение торжества фаустовского духа: «Что надо знать, то можно взять руками. // Так и живи, так к цели и шагай».

Глава 9

Германия и Европа – цитадель науки, культуры и литературы

Уникален и интересен путь Германии... Немцы имеют богатейшую историю культуры. У древних германцев, кельтов, скандинавов, как писал Гегель, «была своя Валгалла, населенная их богами, их героями, жившими в их песнопениях, подвиги которых вдохновляли их в битвах или же на пиршествах наполняли их великими помыслами; у них были священные рощи, где эти божества были ближе к ним». И хотя с приходом христианства опустела мифическая Валгалла и были вырублены священные рощи, но фантазия и дух народа нашли для себя новый объект приложения сил – культуру, образование, философскую мысль, государственное и военное строительство... В то время как древние, Соломон и Давид, Цезарь и Александр, уйдя из жизни, безмолвными тенями пересекли Стикс и канули в Лету забвения, на смену им явились герои-немцы – Карл Великий, Фридрих Барбаросса, Лютер, Дюрер, Вагнер, заняв в сердце немца и во всемирной истории места библейских и античных героев.

Однако мы вовсе не обещаем вам современной версии «Песни о Нибелунгах», которая начинается столь яркими и интригующими строками (наши сказания проще и прозаичнее):

Полны чудес сказанья давно минувших дней.
Про громкие деянья былых богатырей.
Про их пиры, забавы, несчастья и горе
И распри их кровавые услышите вы вскоре... [\[314\]](#)

Хотя именно с кровавых битв, как собственно и считалось в XIX в., и начиналась германская история. В 9 году н. э. князь из германского племени херусков Арминий одержал победу в Тевтобургском Лесу над тремя римскими легионами. Он и стал первым

немецким национальным героем (в 1838–1875 гг. в Детмольде ему был сооружен внушительный памятник). В отношении же самого немецкого народа можно сказать вкратце следующее: народность эта формировалась веками. Возникновение слова «немецкий» относят к VIII в., когда под ним подразумевался язык племен, обитавших в восточной части франкского государства. При Карле Великом в него входили народности, говорившие частично на германских, частично на романских диалектах. Переход от восточно-франкской к германской империи, как считается, произошел в 911 г. Тогда после смерти последнего Каролинга королем был избран франкский герцог Конрад I. Его-то и называют первым германским королем. Характерно и то, что с XI в. империя называлась «Римской империей», с XIII в. – «Священной Римской империей», а в XV в. к этому названию добавили «германской нации». Немцы с давних пор полагали себя наследниками Римской империи, что ко многому их обязывало.^[315]

Отношение римлян к германцам следует признать сложным и неоднозначным. В частности, великий римский историк Тацит (ок. 55–ок. 120 н. э.), в трудах которого встречаем описания поступков императоров, их действий и мнений, говорил так о землях германцев и их нравах: «Сам я присоединяюсь к мнению тех, кто думает, что народы Германии не смешивались посредством браков ни с какими другими народами и представляют собой особое, чистое и только на себя похожее племя; вследствие этого у них у всех одинаковый внешний вид, насколько это возможно в таком большом количестве людей: свирепые темноголубые глаза, золотистого цвета волосы, большое тело... Хотя (их) страна и различна до некоторой степени по своему виду, но в общем она представляет собой или страшный лес или отвратительное болото... Германцы любят, чтобы скота было много; в этом единственный и самый приятный для них вид богатства. В золоте и серебре боги им отказали, не знаю уж по благосклонности к ним или же потому, что разгневались на них».^[316] Тем не менее, в битвах германцы не уступали римлянам. Арминий, указывая на алчность, жестокость и надменность римлян, призвал их: «Отстоять свою независимость или погибнуть, не давшись в рабство».^[317]

Ясно, что взаимоотношения римлян и древних германцев были далеко не идеальными (как, впрочем, и с бриттами). Могучее северное племя решительно не желало принять господства Римской империи, их

нравов и языка. Философ И. Г. Гердер в «Фрагментах и приложениях к письмам, касающимся новейшей литературы» (1793-97) отмечал, что древние германцы называли язык римлян варварским, ужасным, высокомерным языком. С его помощью те устанавливали в покоренных странах деспотические законы. Прибегая к латыни, римляне стремились вырвать с корнем ростки немецкой храбрости, свободы и воли, а также загнать обитателей этих лесов «в города и школы, одарив их учёностью и несчастьем». Германцы испытывали настоящий ужас от латыни и яростно противились ее внедрению. Борьба была долгой и упорной. Когда же они приняли эти оковы свободы, то «наполовину по принуждению, наполовину по своей воле». К чему это привело народ Германии в итоге?

В нее вторглись орды католических священников (с мечом в одной и с крестом в другой руке). Гердер писал: «Латинская религия учила бездумной настойчивости, латинская литература стремилась обуздать дух нашей нации, пробудила вкус к бессмысленным спекулятивным рассуждениям, а монашеский язык пытался закрепить в нашем языке вечное варварство... Нельзя нанести больший вред нации, чем отнять у нее национальный характер, своеобразие ее духа и языка». Философ пишет, что для судеб немецкой нации было бы куда лучше, если бы она продолжала идти своим путем в культуре. Даже в том случае, если бы при этом более бедным оставался образ их мышления, нация в целом оказывалась бы в выигрыше. [\[318\]](#)

Своеобразие положения германского мира после периода войн с римлянами состояло в том, что он оказался в учениках у тех, с кем сражался не на жизнь, а на смерть. Такое случается в истории. Гегель говорил, что греки и римляне достигали внутренней зрелости уже после того, как устремились в другие страны, вначале обретая величие. Германцы же начали с того, что «разлились, как поток, наводнили мир и покорили одряхлевшие и сгнившие внутри государства цивилизованных народов». Затем началось их развитие, вызванное соприкосновением с чужой культурой, религией, государственным строем и законодательством. Казалось, германцы усвоили «как готовые римскую культуру и религию». Однако это было чисто формально. Они усвоили элементы их культуры, быта, организации. В душе же проявляли своенравие, считая язык, искусство, философию и религию римлян чужеродными.

Разумеется, не сразу явилась на свет и великая Германия, «смело выплывающая в открытое море мысли, чтобы открыть Атлантиду абсолютного» (как скажет Энгельс о молодом Шеллинге). Не могла она сразу же во всеоружии вступить и в «царство мирового духа» (Гегель). Понадобились столетия после того, как «имена Алариха, Гензериха и Атиллы пронеслись беспокойными кометами» (Н. Гоголь), и прежде чем воинственный германец, некогда громивший римские легионы Вара и ценивший свободу дороже жизни, вышел из лесов и ущелий и занялся мирным трудом. *Was er gesollt, hat er vollendet!* («Он совершил то, что ему следовало совершить!») – И. Гете). Хотелось бы особо отметить, что ряд черт германского народа (в тех исторических обстоятельствах, в которых ему приходилось утверждать и отстаивать себя) в дальнейшем привел к трудному, но успешному восхождению его на олимп Европы. В их числе: удивительный сплав свободы и воинственности, собственности для всех или большинства (земля раздавалась сообразно с заслугами, вожди получали лишь небольшую часть, эти владения не облагались налогами и т. д.), общинного мировоззрения, в основе которого лежат общие выгоды и опасности, религиозной свободы и т. д. и т. п. С другой стороны, у германских племен было немало достоинств. Главные из них – большое мужество, стойкость, любовь к свободе и общественному благу. У того же римского историка Тацита находим характеристику племен как "свободных среди свободных". Они говорили: "Земля, как воздух и свет, не может быть достоянием одного человека – воздух и свет принадлежат всем, земля – доблестным воинам". Такой народ, конечно же, и свободное знание должен был сделать общим достоянием, ибо *scientia potestas est* (знание – сила).^[319]

Более тысячи лет тому назад в Европе явился державный гений – Карл Великий (742–814), совершивший и первую «культурную революцию». Не зря его, короля франков, создателя обширнейшей империи, впоследствии назовут «отцом» идеи всеобщего образования. В 787 г. он издал предписание о заведении школ при монастырях, а в 789 г. опубликовал свой знаменитый капитулярый об учреждении народных школ – «эту великую хартию европейской цивилизации» (Т. Н. Грановский). Эти школы утверждались при церквях. Священники обязаны были в них безвозмездно обучать народу искусству чтения и пения. В Германии существовало два типа школ: латинские

общественные школы (официальные), где учили "одной латыни, а не немецкому, греческому или еврейскому", и протестантские немецкие школы (народные), рассматривавшиеся вначале как "горькая необходимость". В официальных уставах XV–XVI вв. о них почти ничего не говорится. Власти относились к народным школам как к своего рода "подпольным училищам". В тех и в других главной воспитательной заповедью служила максима "Учись слушаться", а самым универсальным средством стимулирования обучения были розги. Можно сказать, что с их назидательной помощью и осуществлялось постепенное восхождение индивида "по историческим ступеням культуры" (Гегель).



Бюст Карла Великого.

Карл Великий отдавал себе отчет и в том, какую роль играет в деле улучшения нравов эстетическое воспитание. Поэтому он (в целях просвещения и воспитания народа) выписал хороших певцов, создав при дворе певческую школу. Он же вызвал известного монаха Алкуина для устройства всего, что касалось дальнейшего развития образования. Одним словом подобно тому, как Диоген в древности был известен девизом «Ищу человека!», так и Карл искал и находил сподвижников

делу цивилизации и образования германского народа. Им была создана знаменитая *Scola Palatina* (лат. «школа при дворе») и организовано ученое общество, своего рода придворная академия. Кстати, большая часть сподвижников Карла состояла из итальянцев и англосаксов. Грановский подчеркивал: он «не щадил ничего, чтобы образовать еще при себе деятельных сподвижников цивилизации и образования».^[320]

Как видим, Германия связана с Европой довольно тесными культурными, экономическими и образовательными узами. Король немцев Фридрих I Барбаросса (1125–1190), краснобородый император «Священной Римской Империи», предоставил университету Болоньи привилегии («университас сколарум»). Другой выдающейся личностью по праву считается германский король и император Фридрих II Штауфен (1194–1250). Выросший на юге Италии, где тогда говорили по-сицилийски и по-арабски, он мог свободно изъясняться по-арабски, отлично разбирался в арабской культуре. Он одинаково хорошо знал латынь, греческий, даже древнееврейский, говорил по-провансальски и по-тоскански (на южнофранцузском и североитальянском тогда сочиняли стихи едва ли не все поэты Европы). Чаще всего Фридрих говорил по-французски, а немецкий знал плохо, так как редко бывал в Германии. Это был, вероятно, один из самых первых знатных европейцев (оставим в стороне пока русских князей), кто сумел проложить дорогу к цивилизациям Востока. У современников он получил почетное прозвище – «чудо мира». Немецкое образование возникнет не на пустом месте.

Заслугой европейских реформаторов было и то, что они способствовали избранию (примерно восемь веков тому назад) их народами «срединного пути цивилизации». Суть этого процесса состояла в яростном стремлении всех слоев общества уравновесить на весах битв и сражений чашу человеческих сущностей (прав и обязанностей). Ле Гофф пишет: «Запад сделал верный выбор, когда предпочел срединный путь». Это выразилось в завоевании всеми классами и слоями тогдашнего общества (без исключения) достойной социокультурной ниши. Правда, сразу же возникал вопрос: «Когда и за счет чего (или кого) это было сделано?» В конце концов, кто разграбил богатства древнего Рима как не дальние предки нынешних народов Европы!? Да и в какой мере европейским державам удалось все эти

«срединные решения»? К данной проблематике мы подойдем чуть позже. Пока же лишь наметим путь.

Народам Европы удалось создать надежные общественно-политические институты. Вглядитесь пристальнее в абрис мировой истории, ускользящий в дымке времени, и вы, возможно, уловите некоторые черты современности. Знаменитый девиз Великой Французской революции – «Свобода, равенство, братство!» – берёт свое начало в том числе и в философии граждан средневековых коммун... Хотя церковный хронист XII в. Г. Ножанский и будет утверждать, что «Коммуна – отвратительное слово», идея эта пронизала всю органику городской жизни Европы, а в более широком плане – всю канву последующей цивилизации.

В упомянутом ранее труде Ле Гоффа «Цивилизация средневекового Запада» читаем: «В этом городском движении, продолженном в деревнях созданием сельских коммун, революционный смысл имело то, что клятва, связывающая членов первоначальной городской коммуны, в отличие от вассального договора, соединявшего высшего с низшим, была клятвой равных. Феодалной вертикальной иерархии было противопоставлено горизонтальное общество. «*Vicinia*», группа соседей, объединенных вначале лишь пространственной близостью, была преобразована в братство – «*fraternitas*». Это слово и обозначаемая им реальность имели особый успех в Испании, где процветали «германдады», и в Германии, где клятвенное братство – «*Schwurbruderschaft*» – вобрало в себя всю эмоциональную силу старого германского братства. Клятва устанавливала между бюргерами отношения верности («*Treue*»). В Зосте в середине XII в. бюргер, нанесший физический или моральный ущерб своему «*concivis*» («собюргеру»), лишался бюргерских прав. Братство сменилось общиной, скрепленной клятвой: *conjuratio* или *communio*. У французов или итальянцев такая община называлась коммуной, а у немцев – «*Eidgenossenschaft*». Она объединяла равных, и хотя неравенство экономическое оставалось неискоренимым, оно должно было сочетаться с формулами и практикой, сохранявшими принципиальное равенство всех граждан. Так, в Нейсе в 1259 г. было провозглашено, что если надо будет произвести сбор на нужды коммуны, то бедные и богатые будут присягать *equo modo* и платить пропорционально своим возможностям». ^[321] Этот более или менее

разумный баланс возможностей и обязательств общества, в различных социальных слоях, и стал стимулом развития, наиболее благодатной почвой прогресса.

Такова в общих чертах средневековая Германия. Специальное исследование тут неуместно. Скажем, пожалуй, лишь о том, что из средневекового гомеостаза немецкие княжества вышли заметно обновленными. Процветали торговля с ремеслами. Повсюду разворачивалось городское строительство. В 1237 г. основан был Берлин. Возникали школы, университеты, академии. Культурная инфраструктура Германии своим созданием в немалой степени обязана бюргеру, осуществляемой им обширной торговле и коммерческо-финансовой деятельности... Стоит вспомнить и о том, что в Германии со времен раннего средневековья существовали крепкие общинные и соседские связи. Это способствовало развитию у немцев «чувства локтя». Хотя имелось существенное различие в статусах и имуществе все же особый смысл приобретало возникновение союзов между индивидами, что были равны в имущественном и социальном отношении. Эти союзы и товарищества, возникшие еще в XII веке, назывались по-разному («союзы равных», «марки», «Светский общинный союз» и т. д.). Внутри такого рода союзов действовала и общинная философия, единый корпоративный интерес. [\[322\]](#)



Уплата десятины.

Как видите, одной храбрости и воинской доблести было бы недостаточно для обретения Германией в будущем статуса мастерской и научной лаборатории Европы. Германский воин стал еще и искуснейшим ремесленником, а немецкий бюргер привил вкус к книгам и образованию. С крестьянской войны в Германии (XVI в.), которую называют «буржуазной революцией N1», крестьяне, ремесленники обрели большую свободу. Еще ранее, в XIII–XIV вв., стали независимыми города Германии. Рост ганзейских союзов способствовал подготовке грамотных и умелых работников, техников, ученых, педагогов. Развернувшаяся между королевской и церковно-католической властью борьба, казалось, наруку силам Реформации.

Но Реформации выявила и обнажила соперничество меж различными властными, религиозными, народными силами. Классовая борьба достигла апогея во время восстания Мюнцера. Восставшие крестьяне и городские низы, приняв участие в великой крестьянской войне (1524–1525), были разгромлены ландскнехтами Карла (с благословения папы, да и того же Лютера). Жизнь простого человека в Германии в то время была страшной. Средневековье – эпоха сложная, трудная, порой даже гибельная. Свирепствовали эпидемии, войны, инквизиция... Достаточно сказать, что до Тридцатилетней войны (1618–1648) население Германии насчитывало 16–17 миллионов, а уже в 1648 г. (после войны) число жителей не превышало 4 миллионов. Прежде всего, пострадали крестьяне, чьи селения уничтожались сотнями. Резко сократились производство и сбыт сельскохозяйственной продукции. Во многих местах наступили голод и мор. Люди, не успев вырасти, погибали в возрасте 25–30 лет. Прав тот, кто выжил. Для полного восстановления былой немецкой житницы потребовалось 100–150 лет. Такова суровая плата за преступления феодалов. Стремясь восполнить людские потери, нюрнбергский крейстаг (районный совет) вынужден был принять весьма необычное решение: «Ввиду того, что в кровавой 30-летней войне население погибло от меча, болезней и голода и интересы Священной Римской империи требуют его восстановления... то отныне в продолжение следующих 10 лет каждому мужчине разрешается иметь двух жен» (1650).^[323]

Германия до войны переживала расцвет ремесел, экономики, культуры. И опять же стоит поразмышлять над тем, сколь жуткие последствия приносят длительные войны для экономики и будущего любой страны. Уже говорилось о той поистине чудовищной катастрофе, которой закончилась для немцев Тридцатилетняя война. В результате алчности и непомерных амбиций правителей народ лишился большинства умных и деятельных людей. Если бы немцы вовремя догадались вздернуть на виселице или упрятать в тюрьмы иных князей, дворян, всех тех, кто втравил их в бойню, они не потеряли бы свой генофонд, а заодно и экономическую самостоятельность... Ф. Бродель в «Играх обмена» непрозрачно намекнул на то, чем же в итоге закончились для большинства немецкой нации её опасные «военные игры».



Карель ван Мандер. Избиение младенцев.

Мир эпохи позднего средневековья был суров и жесток. К тому времени в худшую сторону изменилось экономическое положение всего региона. Если в XV в. Германия опережала Англию, то с открытием Америки центр торговых операций переместился на запад Европы. Традиционно мощные немецкие города оказались отрезаны от главных торговых путей цивилизации. В итоге страна приблизилась к черте банкротства (XVI в.). Дикие и бесконечные войны вконец разорили Германию. Сотни тысяч людей испытали на себе ужас деклассированной морали. Мужчинам остался один путь – в банды и войска, женщинам – во всевозможные «женские переулки» и дома терпимости. Разумеется, все это подрывало сами основы общества.

Фукс писал: «Неисчерпаемое гигантское войско проституток представляло собой женское pendant (дополнение) к войскам ландскнехтов. Те же причины (выше они были выяснены), почему в XV и XVI вв. наемные армии состояли в большинстве случаев из немцев, объясняют нам и тот факт, что во всех «женских переулках» мира встречались немки, в особенности уроженки Швабии. Рядом с этими побудительными причинами мудрость нравственных трактатов была бесплодна. И все-таки постепенно – особо заметным это становится со второй половины XVI в. – люди становились нравственнее». Quimodo? (Каким образом?). Вы думаете, наука с образованием постарались? Боженька помог? Воздав им должное, скажем: лучшими «учителями» и «священниками» оказались – нужда и сифилис.

О том, что Германия являла собой тогда отнюдь не самое райское место на земле, говорит и судьба немецких евреев. В эпоху Реформации, при германском императоре Максимилиане I, издан указ об уничтожении еврейских книг (1509). Духовным властям приказали отобрать у евреев их религиозные книги и предать сожжению те, где были бы найдены противные христианству выражения. Против еврея Пфеекорна выступил гуманист Иоанн Рейхлин. Однако того обвинили в распространении иудейской ереси, призвав на суд инквизиторов. С приходом Лютера ситуация изменилась. Вначале он отнесся к евреям лояльно и даже поддержал их, говоря: «А ведь евреи – наши кровные родственники и братья нашего Господа. К ним надо применять закон не папской, а христианской любви, принимать их дружелюбно, давать им возможность работать и промышлять рядом с нами». Однако спустя некоторое время Лютер резко переменял позицию. Почему? Говорят, что он увидел воочию, к чему ведет их господство и чему научает немцев их религия... Это его потрясло настолько сильно, что он стал призывать к их преследованию, как злейших врагов Христовых. Он даже потребовал разрушить синагоги, «во славу нашего Господа и христианства», отобрать у них книги Талмуда и молитвенники и запретить раввинам обучать закону веры. А еще он призвал стеснять их в промыслах, отправляя всех здоровых на принудительные работы (1543).

Более того, перед смертью Лютер слезно молил и заклинал своих последователей, чтобы во имя спокойствия Германии и ее

многострадального народа они или поголовно окрестили всех евреев, или изгнали всех из государства. Начались погромы еврейских общин и кварталов в Вормсе, Франкфурт-на-Майне и т. д. Власть еврейского капитала была самым решительным образом подорвана (а Франкфурт-на-Майне стал экономической столицей не только Германии, но и всей Европы). Наконец, Леопольд I изгнал евреев из Вены и Нижней Австрии (1670), а все синагоги обратил в протестантские церкви. Тогда евреи перебрались в Пруссию (Берлин). Там их вначале дружелюбно и милостиво встретил Фридрих Вильгельм. С воцарением в Пруссии Фридриха I, опубликовавшего книгу Эйзенменгера «Разоблаченное иудейство», положение евреев и тут ухудшилось. Их обязали носить особую одежду: «Евреи должны иметь желтый кружок, служащий им отличием, нашитый на кафтан или шапку на видном месте». Причем в уставе одежды, введенном Карлом V (1548), статья о евреях (XIII) шла после статьи о палачах и живодерах (XII) и публичных женщинах (XI)... Тогда германо-австрийские евреи сделали духовным и умственным центром столицу Богемии – Прагу.^[324]

С конца XVII в. заметную роль в Германии стал играть еврейский капитал. В итоге амбиций и распрей князей реальная власть в стране перешла в руки «придворных евреев», что не преминули с триумфом утвердиться в княжеской Германии (XVIII в.). И это был отнюдь не спонтанный натиск, но хитрая и тщательно просчитанная и продуманная акция. Читаем у автора: «В Германии, которая в большинстве утратила свои капиталистические кадры во время кризиса Тридцатилетней войны, создалась пустота, которую в конце XVII в. заполнила еврейская торговля, чей подъем стал видимым довольно рано, например на лейпцигских ярмарках. Но великим веком ашкенази станет век XIX с сенсационным международным успехом Ротшильдов».^[325] В качестве комментария позволю лишь напомнить читателю: передравшимся немцам после бранных подвигов гражданской войны понадобилось 250 лет для объединения Германии и установления в ней хотя и жесткого, но все же немецкого правления (капитала) и немецкой культуры. Такова плата за роковые ошибки властей Германии!

Это прямая плата за раскол и развал союза! Энергичный, талантливый, сильный народ – и столь плачевный итог: «Целыми толпами уходили немцы в чужие страны, на Севере, Западе, Востоке

они становились учителями других народов в разного рода механических искусствах; они были бы учителями и в науках, если бы строй их страны не превращал всякое ученое заведение, находившееся притом в руках духовенства, в колесо запутанной машины политики, тем самым отнимая его у науки». [326] Это стало причиной падения и развала страны.

И всему виной «немецкая смута», то есть внутренняя политика немецких правителей и епископов (сепаратизм, местечковый эгоизм, грабеж народа, роскошный образ жизни). Масса князей и церковников жила, в основном, за счет ограбления своих и чужих подданных. Немецкие князья и дворяне любили щегольнуть золотыми безделушками и роскошными костюмами. Так саксонские и маркские дворяне украшали себя золотыми кольцами. Немецкий костюм стал популярен в Дании и Швеции. Шведскому королю Густаву Эриксону граждане даже подали протест на то, что при его дворе стали носить вырезанные платья на иностранный манер, на что тот философски заметил: «всякий волен портить свои платья». О немцах же Себастьян Франкен высказывался так: «Одежду они меняют каждый день, долго не носят. Еще все помнят длинноносую обувь, короткое и узкое платья и шапки с бахромой, теперь же носят все наоборот – просторное, длинное, широконосое. Женская одежда теперь богаче, но приличнее». Мода отражала, разумеется, и существенный подъем в уровне жизни (по крайней мере, у высших слоев общества). Швейцарский хронист И. Штумпф, жалуясь на вторжение иностранных обычаев в Швейцарию, говорил: «Древние гельветы и в пище, и в одежде были просты и умеренны. Теперь же у нас тот живет неприлично, кто не пользуется иностранной одеждой и пищей. Наши предки одевались плохо, материю для одежды ткали сами, некоторые из чистой шерсти, некоторые пополам со льном. Теперь нигде не одеваются так нарядно, как в Гельветии. Золото, серебро, бархат и шелк видишь на людях всех званий. Военные, возвращаясь с войн в чужих краях, приносят с собой новые обычаи, а также новые пороки и напасти, как, например, оспу, богохульство, пьянство, моду на рассеченные платья (с разрезами) и т. д.». Появился у немцев и обычай вновь отпускать бороду (1498): «Есть такие дураки, которые носят половину бороды вместо целой, другие только усы, третьи оставляют по кусочку на каждой щеке – каждый хочет носить что-нибудь особенное». [327]



Немецкая и швейцарская мода.

За счет чего знать позволяла себе иметь нарядные платья и украшения? Ф.Меринг считал, что они жили за счет торговли металлическими товарами, а главное за счет огромных субсидий, получаемых от продажи «права на кровь и плоть своих подданных» для участия в войнах. По подсчетам историков, только с 1750 до 1815 гг. немецким князьям уплачено было Францией 33, а Англией 311 миллионов талеров – сумма, которая делает понятным, каким же образом могли «многочисленные мелкие князья столь бедной страны состязаться в пышной расточительности с французскими королями». Нередко они, подобно Фридриху II, готовы были ввязаться в смертельную «игру», в результате чего судьба земель висела на волоске. Жизнь многих немцев (пруссаков и проч.) стала сплошным военным походом. [\[328\]](#)

Однако отвлечемся от войн, мод, князей... Куда интереснее проникнуть в лабораторию философов, писателей, поэтов, педагогов Германии, где «мозг мыслителя искусный» мыслителя искусно создает (перефразируем «Фауста»). Для ясного ума Германия всегда была и будет колыбелью Лютера, Дюрера, Винкельмана, Гуттена, Гете, Шиллера, Гейне, Форстера, Бетховена, Баха, Гегеля, Канта, Гердера, Фихте, Шеллинга, Гербарта, Вагнера, Гумбольдтов, Шлимана,

множества ярких и замечательных творений народа. Таковы и немецкие песни, о которых Гейне сказал: «Тому, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, советую прочитать их народные песни». Воспитание в Германии неотделимо от того общего духа пиетета к знаниям, что всегда царил в учебных заведениях. Признанными центрами образования станут Йена, Гейдельберг, Берлин, Лейпциг. С этими городами связаны многие славные имена.

Столь же важные последствия для истории становления немецкого народа имела Реформация – народная революция в грубоватой рясе священника. Ее духовно-нравственной составляющей стала свобода мысли и вероисповедания. Замечу, что её кодексы и законы отстаивали крестьяне, монахи, рыцари (каждый по-своему, действуя вместе или порознь). По условиям Аугсбургского мира (1555) было решено, что каждый германский князь свободен в выборе религии. Отблеск этой религиозной свободы распространился даже и на их подданных. Хотя это обстоятельство и способствовало расколу Германии, оно давало важные права и возможности городам, в том числе проживающим в них гражданам. Затем в этой средневековой свободе профессий увидят исток будущей научно-технической революции.

Немцы создали свой облик Бога, обогатив религию новыми образами и канонами, и, похоже, вдохнув в нее свою фаустовскую душу. Все это произошло далеко не сразу. Стоит ли удивляться, что в будущем из германских земель выйдут и наиболее яростные ниспровергатели основ буржуазно-обывательской цивилизации?! Немец в решающие моменты истории приучен действовать в духе *Sturm und Dranger* (нем. «сторонник сокрушительной борьбы с отжившим прошлым»). Германский этнос при всех различиях в политике, старался сохранять единство в морали, традициях, культуре, религии. Гегель был прав, говоря, что религия и основы государства – «одно и то же: они тождественны в себе и для себя». Не забывая о религиозной ортодоксии, о неисчислимых пороках церкви, зададимся и таким вопросом: «А что представляло бы собой это самое дикое и кровожадное из всех известных зверей существо (человек) без её воспитывающе-умиротворяющего влияния и участия?» Поэтому мы вынуждены (особенно в отношении диких эпох) согласиться с

мнением: «Народ, имеющий плохое понятие о боге, имеет и плохое государство, плохое правительство, плохие законы». [329]

Роль протестантских проповедников в этих условиях особенно значима. Одним из них был патер М. Экхарт (1260–1327). Он впервые заговорил с немцами на их родном языке о философии, упорно призывая соотечественников к овладению всеми премудростями наук. В одной из своих проповедей, отвечая на упреки знати, зачем, дескать, посвящать толпу в столь высокие материи, Экхарт вызывающе заметил: "Если не учить невежественных людей, то никто не станет ученым. Затем и учат невежественных, чтобы они из незнающих стали знающими. Затем и врач, чтобы исцелять больных". Позднее его идеи нашли воплощение и получили развитие в деятельности германских гуманистов из ордена "Братьев общей жизни" (И.Вессель, Р.Агрикола, А.Гелиус, И.Рейхлин, Я.Вимпфелинг). Последний из них, Вимпфелинг (1450–1528) заслужил, как и знаменитый Меланхтон, почетное звание "наставника Германии". Будучи ректором Гейдельбергского университета, он одновременно являлся крупным общественным деятелем, выступая в роли советника короля по вопросам образования. В числе его заслуг – создание многих школ, распространение новых правил обучения, написание ряда учебников. Одно из наиболее известных пособий – первый немецкий систематический трактат по воспитанию "Руководитель для германского юношества" (1497). [330]

Исключительно велика роль Лютера, продолжившего дело реформатора Яна Гуса (1371–1415 гг.), великого мыслителя и ректора Пражского (Карлова) университета (в 1402–1403 и 1409–1410 гг.). Осужденный церковным собором в Констанце и сожженный, этот просветитель проложил путь Лютеру (спустя 100 лет тот добьется того, что не удалось Гусу).

Мартин Лютер (1483–1546) рос в простой и религиозной семье, ощутив на себе суровый дух времени. Мать пугала его «геенной огненной», отец с раннего детства приучал к книге, но за малейшую провинность или непослушание наказывал.... "Надо было учиться, терпеть, надеяться на бога, прижаться и молчать", – вспоминал Лютер впоследствии. Natürlich! (нем. "Естественно!"). Этот сын простого рудокопа прожил трудную жизнь. Он зарабатывал на хлеб пением хоралов и одно время даже был вынужден просить подаяние, однако не только не оставил сферу знаний, но и стал затем профессором

Виттенбергского университета. В этом ему помог курфюрст саксонский Фридрих, прозванный в народе за его ум «Мудрым».

Было в Лютере нечто такое, о чем римляне обычно говорили так: "Sunt quaedam vitiorum elementa!" (лат. "Есть задатки пороков!"). Он ниспроверг идолов ханжества, лицемерия, католицизма, папизма, цезаризма. Как писал в наше время один из зарубежных авторов: "Мартин Лютер прибил свои девять тезисов к церковным воротам Виттенбергского университета в 1517 г., он в буквальном смысле пригвоздил триумф университета над средневековой церковью, отрекаясь от средневекового мирового порядка".^[331] На сейме в Вормсе (1521) Лютер восстал против папских нунциев, немецких принцев и даже императора Карла, заявив: «Я не могу идти против совести, не отрекусь от слов моих». Еще раньше он сжег при огромном стечении народа буллу Папы, его осуждавшую... «Это – опергаментившаяся ложь!» – воскликнул он к восторгу онемевшей от ужаса толпы своих приверженцев. Каждый из его тезисов был наполнен революционным духом. Действия реформатора вполне соответствовали научно-проповеднической традиции, характерной для Европы. К примеру, когда слушатели и профессора университетов желали вызвать оппонента «на бой», они бросали тому вызов в виде кратких тезисов. Но вот то, о чем говорилось в этих тезисах, нарушало все «нормы приличия». Лютер нанес удары в наиболее уязвимые места римско-католической церкви: «Христиан следует обучать и воспитывать согласно заповеди – тот, кто дает бедным или помогает нуждающимся, поступает куда лучше, нежели покупающий индульгенции». ^[332]

Его речи и проповеди взорвали политическую атмосферу Европы. Не зря о языке Лютера говорили, что "слова его – это полусражения". Сражением стала и вся его жизнь. Томас Карлейль в книге "Герои, почитание героев и героическое в истории" так описал эту выдающуюся личность: "Характерная особенность Лютера заключается в том, что он мог сражаться и побеждать, что он представлял истинный образец человеческой доблести. Тевтонская раса отличается вообще доблестью, это – ее характерная черта, но из всех тевтонцев, о которых имеются письменные свидетельства, не было человека более отважного, чем Лютер, не было смертного сердца действительно более храброго, чем сердце великого реформатора". ^[333]



Лютер сжигает в Виттенберге папскую буллу.

Значительны его заслуги и в деле просвещения. Образованию он уделял особое внимание в спорах, дебатах, переписке с друзьями, видными государственными деятелями. Лютер говорил: даже не будь неба, ада или души, потребность в школах все равно существовала бы («для земных дел»). Большим культурным вкладом стал его перевод на немецкий язык сначала Нового, а затем и Старого Завета. По сути дела, они и легли в основу стандартного немецкого языка. Противоборство последователей и противников Лютера (протестантов и католиков) находило отражение в школьной практике. В городе Виттенберге, где проповедовал Лютер, ученики иезуитской гимназии, встречая сверстников из протестантской школы, дружно дразнили их, скандируя латинские фразы типа: «*Quid est Lutheranus? – Anus. Quid est Lutheri aemulus? – Mulus*». В свою очередь, ребята из протестантских семей отвечали в таком же духе соперникам: «*Nonne nequam est Jesuita? – Ita. Quid est Jesuitulus? Vitulus!*»^[334]

Светила педагогической мысли Германии (Лютер, Меланхтон, Штурм) старались реформировать старую латинскую школу в лютеранском духе. Благодаря их усилиям удалось изгнать оттуда формализм, превращавший питомцев школ и монастырей "в ослов и болванов". Мир изменился, доказывал Лютер, а потому нет необходимости держать молодых людей в школах по 20–30 лет, где они

день и ночь зубрили труды схоластов. Нужна подготовка грамотных проповедников, юристов, врачей, учителей. Правительство должно заботиться об этом, для чего надо направлять детей в школы на более короткие и разумные сроки. Лютер считал учительство самым полезным и важным после проповедничества родом занятий.

С эпохи Лютера средние века переходят в фазу современного мира... Тогда же заметно усиливается роль средней и высшей школы в Германии. Утверждая в умах людей девиз «Возвращение к истокам», Лютер понимал, что наибольший отклик на него он встретит среди образованных сограждан. В их среде влияние реформатора было наиболее велико. Что же до низших классов, то им он предполагал давать лишь минимум образования: «Молодой и глупый народ следует учить всегда в одних и тех же выражениях; в противном случае неизбежны заблуждения... Кто не хочет учиться, того не допускать к Святому причастию; детей его оставлять некрещеными». Значительно более либеральным было его отношение к знати. Но и в этом случае его страстная натура не всегда позволяла удерживаться в разумном равновесии, нанося немалый ущерб делу просветительства. Полагая, что устами его глаголет сам Господь, Лютер, пусть невольно, в ряде случаев оказывался как бы «слугой дьявола».

Однажды он набросился с нападками даже на университеты, называя их «разбойничьими вертепами, вратами ада, синагогами дьявола». Правда, нападки эти направлены, в основном, лишь против схоластики и Аристотеля («слепого язычника»). Всякое неразвитое общество напоминает скорее мясника, чем хирурга. Большинство людей не поняло, куда он клонит. Родители стали отзывать своих детей, университеты пустели. Поправить дело не смогла даже профессура. Школы повсеместно закрывались. Хорошо, что он вовремя спохватился, доказывая необходимость народных школ и университетов. В университетах, по его мнению, больше внимание должно было уделяться историческим, естественным, светским наукам.^[335]

Однако во взглядах, оценках, политике реформатора были видны и некоторые противоречия. На словах он говорил одно, а делал совсем другое. В теории Лютер торжественно декларирует свободу веры и поступков. Однако по поводу восстания крестьян, вызванного преступными действиями князей и епископов, он яростно кричит:

«Уничтожьте и раздавите гадину!» В трактате «О рабстве воли», направленном против Эразма, Лютер весьма пессимистически взирал на будущее немцев. Его идеалы неприхотливы и суровы. Человек никак не может быть творцом своей судьбы! Но если это так, то зачем же ему учиться, к чему овладевать инструментарием знаний?! От народа он желал лишь единомыслия: «В каждой местности должен быть распространен только один единственный тип проповедования». Выходило как бы по пословице *Cuius regio, huius religio!* (лат. «Чье правление, того и религия»).^[336]

Пуританское отношение к жизни, труду, обществу, наконец, к вере имело серьезную основу, откуда народы черпали свою энергию и мотивацию. В частности, об этом будет писать психолог С. Московичи в книге «Машина, творящая богов» (1988), говоря о чувствах и настроениях верующих: «Между тем, они вполне приложимы к нашему рассмотрению того, как действуют пуританские секты и церкви. В большинстве своем они ссылаются на первых христиан и надеются вновь обрести первоначальную Церковь. Когда она еще не превратилась в дворец со стенами, украшенными картинами из жизни святых, с ларцами, переполненными драгоценностями, с мраморными полами. Когда еще священники не пристрастились к коррупции, не надевали на себя кричащих украшений, не образовывали иерархии. Все это внушало верующим мысль, что коррупция, если она выставляет напоказ такие роскошные уборы, теперь уже является не грехом, а странной христианской добродетелью. И приводит целые поколения христиан к поклонению тому, что, вероятно, вдохновило Лютера на знаменитое резкое восклицание: «Вы – отбросы, падающие в мир из ануса дьявола».^[337]

Хотя эти выпады вовсе не означали, что он стремился сокрушить опоры церкви. Совсем наоборот. Лютер напал на некоторые из ее пороков во имя укрепления религии. Поэтому справедливы слова Ницше, сказанные в его адрес: «Лютер, невозможный монах, который по причине своей «невозможности» напал на церковь и – следовательно! – восстановил ее... У католиков было бы основание устраивать празднества в честь Лютера... Лютер – и «нравственное возрождение!» К черту всю психологию! Без сомнения, немцы – идеалисты».^[338]

Великому проповеднику Германия обязана и еще одним своим завоеванием. В нравственном кодексе нации он укрепил дух профессионализма. По мнению иных, Лютер утверждал в сердцах верующих вместо Бога веру в профессиональную этику. В каком-то смысле это и предопределило судьбу немцев. Немецкий народ воспринял библейские каноны не в созерцательно-умозрительном, религиозном, а в созидательно-прагматическом смысле. С эпохи Лютера немцы как бы обожествили идею профессионального труда (как важнейшую земную миссию). В его трактовке Бог завещал человечеству работать ради мирского блага других. Достичь же намеченной цели можно только с помощью профессионального призвания (Beruf). Поэтому люди должны овладевать знаниями вполне осознанно, выполняя предназначение Господа. Так труд становился святым делом, а учеба ступенью на пути овладения истинным вероучением. «Профессиональное призвание есть то, что человек должен принять как веление Господне, с чем он должен «мириться»; этот оттенок преобладает у Лютера, хотя в его учении есть и другая идея, согласно которой профессиональная деятельность является задачей, поставленной перед человеком Богом, притом главной задачей». Одним словом, как сказал о вкладе немецкого мыслителя писатель Л. Толстой – «Велик Лютер!»

Специфику призвания протестантских народов выразил крупнейший социолог XIX–XX вв. М. Вебер в труде «Протестантская этика и дух капитализма» (1905). Он резонно заметил, что не может быть речи о внутреннем родстве лютеровских взглядов с «капиталистическим духом». Протестантизм – не капитализм с его спекулятивным духом. Против ростовщическо-махинаторских манипуляций банкиров и дельцов выступал, как известно, и идеолог английской буржуазии Кромвель, говоря в обращении к парламенту (1650): «Прошу вас прекратить злоупотребления внутри всех профессий; если же существует какая-либо профессия, которая, разоряя многих, обогащает немногих, то это отнюдь не служит благу общества». Таким образом бриттов и немцев (особенно немцев) три века приучали к созидательному, высокопрофессиональному труду, а не к ростовщичеству и спекуляциям.^[339] Этого, судя по всему, совершенно не понимают (или, что вернее, делают вид, что не

понимают) правители иных стран, злонамеренно толкающие народы к воровству и спекуляциям, а не к честному труду.



Альбрехт Дюрер. Апокалипсис. 1490.

Ветер восстаний и революций проникал и в педагогические пенаты. В эпоху Крестьянской войны в Германии (XVI век) реформаторское движение возглавили народные вожди (Мюнцер и др.), пытавшиеся просвещать массы на свой манер. Если роль Мюнцера ограничилась «фанатичной проповедью», то иные из революционных анабаптистов отличались образованностью и красноречием... О Штюбнере (бывшем студенте Виттенбергского университета) слушатели говорили: «Кроме того, прибыл к нам какой-то человек, всесторонне одаренный и настолько искусный в священном писании, что сам Меланхтон не мог с ним справиться».^[340]

Одной из самых заметных фигур немецкого протестантизма стал и Яков Беме (1575–1624). Если Лютер подобен испепеляющему и жаркому солнцу, то Беме – звезда полярная. Родившись в Силезии в семье зажиточных крестьян, он хорошо знал жизнь и вкусы народа. Его образование ограничилось начальными классами деревенской школы (закон божий, чтение, письмо, счет). Мальчиком он был отдан учеником к сапожнику в соседний город Герлиц, где и прожил

практически всю жизнь. Чем любопытен и интересен для нас Беме, которого позже цитируют классики марксизма? Тем, что он открыл дорогу в науку и литературу простым мастеровым. Беме решительно восстал против утверждения "Sutor, ne ultra!" ("Я сапожник, и не более!"). После того как он пережил внутреннее озарение, в результате которого ему открылись "тайны сокровенной природы", он решил окунуться и в литературу.

Вначале Беме сделал предварительные наброски (так появилась "Аврора или утренняя заря в восхождении"). Затем последовала целая серия написанных им книг, начатая в год Тридцатилетней войны (1618). Среди них: "О трех принципах божественной сущности", "О тройкой жизни человека", "О воплощении Слова", "Путь ко Христу", "Об обозначении вещей" и т. д. Отмечается, что в его творчестве сошлись различные истоки немецкой и европейской мысли: обращенная в прошлое, идущая от Экхарта мистическо-средневековая, ренессансная линия, и религиозно-реформаторская, романтично-модернистская линия, обращенная в будущее. Меньший интерес представляет его философия (метафизика и учение об абсолюте), напоминающая поиск алхимиками тайны "философского камня". Однако наиболее важен сам факт приобщения ремесленника к науке, просвещению и литературе. Уже то обстоятельство, что в Германии это стало возможным в XVI–XVII вв., говорит о многом. Не так уж плохи времена, когда сапожник имеет шанс стать философом (а не наоборот).

Беме – «простак», чей ум и талант, пожалуй, превосходит иных ученых. Некоторых из них он высмеивает, говоря: "когда ныне кто-нибудь больше успел в мирской науке, или побольше учился, нежели простец, то уже никакой простец не может с ним равняться, и не уметь с ним говорить по-ученому, и не уметь так гордо ступать, как он. Словом, простецу приходится быть его посмешищем..." Беме был популярен среди немцев. Ему посвящались многие стихи и мадригалы. Немецкий поэт-романтик Новалис так написал о его книгах:

Лежала книга. Златом схвачен
Полуистлевший переплет.
Раскрыл: душе глагол прозрачен,
И нов божественный полет.
Вселенной образ светозарной

Хранит письмен живой кристалл:
И на колени, благодарный,
В молитве пламенной упал...^[341]

Путь к образованию и просвещению народов Германии, конечно, был труден. Распад Священной Римской империи германской нации (Вольтер считал, что та не была ни священной, ни римской, ни германской) раздробил страну на множество мелких государств. Это сделало её уязвимой не только в военно-политическом, но и в культурном отношении. Поэт-сатирик XVII в. Ф. Логау отразил в стихотворении чувство «культурного провинциализма», охватившее тогда многих немцев: «Германия бедна... О, горестный удел! Немецкий наш язык настолько оскудел, что у французского он занимает ныне». А в конце XVIII в. Гете, едва сдерживая отчаяние, и вовсе воскликнет: «Германия? Где же она? Где мне найти такую страну?»^[342]



Бёме за письменным столом. Из голландского издания. 1686.

В немецкой культуре XVII–XVIII вв. главенствующей была роль французского языка (это же можно сказать и о других европейских странах). Вот что писал один из представителей эстетики французского Просвещения Ж.-Б. Дюбо (1670–1742): «Молодые люди,

получившие образование в Гааге, Стокгольме, Копенгагене, Польше, Германии и даже Англии... помнят наизусть не меньше Французских стихов, чем Латинских.... Многие немецкие государи пользуются Французским языком, когда дают письменные указания своим министрам, хотя те тоже являются немцами. В Голландии все маломальски образованные люди с юных лет умеют говорить по-французски... Когда какому-нибудь Немецкому Министру случается иметь дело с Английским или Голландским Министром, то не возникает вопроса, каким языком пользоваться для переговоров. Это давно уже решено. Они говорят по-Французски. Иностранцы жалуются даже, что наш язык, так сказать, заполоняет другие языки...»^[343]

Вспомним, как у Гриммельсгаузена («Симплиссимус», 1668) рисуется, хотя и несколько иронично, «чудесное будущее немцев», которое, якобы, обещал им ниспослать Юпитер... Тот обещает: упразднить во всей германской земле крепостную неволю, пошлины, налоги, подати и оброки; перенести сюда Геликон; создать исключительное изобилие; восстановить священную Римскую империю германской нации; устроить каждому немцу королевскую жизнь; построить в центре страны город, более блистающий золотом, нежели Иерусалим во времена Соломона; воздвигнуть храм из чистых алмазов, рубинов, смарагдов и сапфиров; учредить кунсткамеру, полную чудес и т. д. Для реализации некоторых из вышеупомянутых политэкономических и социокультурных устремлений немцев понадобятся века. Другие останутся несбыточной мечтой в силу своей невыполнимости и утопичности. Но немцы упрямо шли вперед.^[344]



Жан Кальвин (1509–1564) – видный деятель Реформации.

Поэт Георг Векерлин (1584–1653), обучавшийся в Тюбингенском университете и знавший ряд языков, писал (после поражения протестантов в битве при Белой горе в 1620 г. он покинул страну, найдя приют в Англии, где занимал до конца жизни пост государственного секретаря):

Проснись, Германия! Разбей свои оковы
И мужество бывшее в сердце воскреси!
От страшной кабалы сама себя спаси,
Перебори свой страх! Услышь свободы зовы!
Тиранов поборошь твои сыны готовы!
Не снисхождения у недругов проси,
А подлой кровью их пожары загаси,
И справедливости восстанови основы!..

Германию иногда называют лишь «страной тевтонов, бюргеров, буршей и пива». Такой подход несправедлив хотя немцы несут в себе все достоинства и пороки Запада. Деятельный характер нации реализуется в образовании, науке, культуре. Словно из рога изобилия, являлись все новые и новые таланты. Казалось, боги перенесли философский центр мира из древней Эллады и Рима на берега Рейна. Вскоре здесь возникнут свои титаны в сфере искусства, науки, философии, техники, образования. Великий римлянин Тацит

заблуждался, говоря об отсутствии у них золота и серебра: золото немцев – их руки, а серебро – их головы... Для того, чтобы в этом убедиться, вовсе не надобно призывать на помощь Юпитера.

Неутомимый, умелый, квалифицированный, грамотный, упорный труд, в конечном счете, и дал немецкому народу почти всё из того, о чем он только мог мечтать! Это было и продолжает оставаться главным в философии и этике «западного человека». Голландский исследователь Й. Хейзинга писал в «Homo Ludens»: «Уже в XVIII веке духом общества стали завладевать трезвое, прозаическое понятие пользы... и идеал буржуазного благополучия. К концу того же столетия началось усиление этих тенденций благодаря промышленному перевороту с его постоянно растущей технической эффективностью. Труд и производство становятся идеалом, а вскоре и идолом. Европа надевает рабочее платье. Доминантами культурного процесса становятся общественная польза, тяга к образованию и научное суждение». Таковы слагаемые прочного успеха.^[345]

Выстроят немцы и сияющие чистотой города, создадут кунсткамеры, университеты и библиотеки. Все это станет возможным благодаря труду, книгам и знаниям. Особенно показателен был рост печатных изданий в стране в Новое Время. Это более, чем что-либо, свидетельствует о возросших культурных «аппетитах» нации. Пройдет немного времени и германские земли станут центром образования. А ведь, казалось, не столь уж и давно великий Цезарь упрекал древних германцев в варварстве и невежестве. Немцы же оказались трудолюбивыми и упорными учениками. Сюда словно перекочевал «дух» Священной Римской империи. Римские просветительские традиции утверждались здесь всерьез и надолго. Глядя на эти успехи, невольно вспоминались и строки римского историка Тита Ливия: "Открывшееся зрелище ясно предвещало, что быть этому месту оплотом державы и главой мира..."^[346]

Система образования в Германии становилась центром, в недрах которого и ковалась мощь немецкой нации. Немецкая «школа» стала пользоваться громкой славой в последующие века, и это не случайно. Немецкое образование всегда было основательным и добротным, прививая гражданам трудолюбие, любовь к знаниям, навыки пунктуальности и дисциплины. К чести самих немцев, они и сами оказались превосходными учениками. Классический и глубочайший

смысл приобретала в умах отныне знаменитая немецкая триада – Studieren, propagandieren, organisieren! (Изучать, пропагандировать, организовывать).

Революция, каковой по сути дела и являлась Реформация, развернулась в тогдашней Германии на базе не только научно-религиозных или национальных движений, но и на почве культурной революции. Великую роль в деле воспитания поколения сыграло книгопечатание. Вот что писал в этой связи русский историк Т. Н. Грановский: «Новое учение распространилось быстро, доказательства в статистических фактах, взятых из книг торговых. Известно, что еще 60 лет до того было книгопечатание, но число вышедших книг было еще незначительно; большей частью выходили книги филологического содержания, некоторые народные книги, некоторые пьесы сатирического содержания, число их было весьма ограничено. В 1517 году число вышедших книг стало значительнее, в 20-м году число книг в десять раз превосходило число вышедших с 16-го года по 20-й за четыре года. Большая часть их носит характер полемический, и здесь числительно можно определить, на чьей стороне перевес. Книг против католицизма выходило вдвое и втрое больше (так неудержимо расходилось это учение). Самые сильные умы в Германии стали на сторону Лютера. Рейхлин при всей осторожности показал ему сочувствие. Эразм сначала был также на его стороне, впоследствии отказался. Еще решительнее ринулся в борьбу Ульрих von Hutten, несмотря на глубокую, трагически сознательную опасность, с какой он вступил на (это) поприще».^[347]



Иоганн Гутенберг (1396–1486).

Иоганн Гутенберг (1396–1486), родившийся в Майнце, принадлежал к роду патрициев. Говорят, что в течение столетий этот род держал управление городом. Власть в Майнце, как это нередко бывало в Германии, порой переходила от старинных родов к бюргерам, купцам и ремесленникам. Очевидно, отношения эти никак нельзя назвать идеальными. В итоге, после одной из кровавых схваток патрициям пришлось бежать из города. Изгнанники Гутенберги поселились в Страсбурге. Былое благополучие и роскошь остались позади. Пришлось думать о куске хлеба. Йоган стал учиться ювелирному искусству (шлифовка драгоценных камней, изготовление зеркал и т. д.). Он действовал не один, а в компании со страсбургскими ювелирами. Первые опыты Гутенберга в области книгопечатания относятся к 1440 г. Тогда он пришел к идее разрезания голландских досок, решив вырезать на деревянных столбиках литеры (изображение буквы) и соединять их в типографский набор. Так с помощью подвижных литер и составлялись тексты. Если согласиться со словами Гете, что гений созревает в тиши кабинета, а характер образуется среди шума светской толпы, то Гутенберг избрал первый путь. Он жил в загородном монастыре в отдельной келье, где ему никто не мешал заниматься любимым досугом. После того как изобретение явилось на свет, предстояло внедрить его в жизнь, на что нужны деньги. Он

столкнулся с обычным в подобных случаях непониманием и предвзятостью богачей, не желавших давать кредит, и вернулся в Майнц.

Наконец, в 1450 г. ему повезло и он заключил договор с богатым бюргером Иваном Фустом (почти Фаустом, ибо и он, как мы увидим, заложил душу Мефистофелю). Тот ссудил ему 800 гульденов под 6 процентов и при этом обещал оплатить Гутенбергу прочие расходы (труд рабочих, квартиру, бумагу, краски). «Идея, орудия и труд принадлежали Гутенбергу, а капитал – Фаусту». Изобретатель заложил ему все, чем владел (станок и материалы для печатания). Будущие же выгоды от книгопечатания должны были делиться пополам. Первой книгой, напечатанной Гутенбергом, была «Латинская грамматика» Элия Доната. Несколько ее листов хранятся теперь в Национальной библиотеке (Париж). Возможно, изобретение Гутенберга еще ждало бы своего часа, если бы не удачное стечение обстоятельств.

Народ еще не имел привычки к чтению. Однако тут помогли важные события. В 1453 г. турками был взят Константинополь. Римский папа воззвал христиан к крестовому походу против мусульман. В преддверии будущих грехов и неминуемой геенны огненной стали распространяться индульгенции. Церковь всегда умела делать деньги на греховности рода людского. Тут-то и оказалось как нельзя кстати новое изобретение. Несколько экземпляров подобных индульгенций дошло до современников. Впрочем, Гутенберг еще в 1450 г. приступил к печатанию первой «Библии», и процесс этот занял у него целых пять лет. В 1455 г. работа была закончена (той «Библии» осталось 16 экземпляров). Однако вскоре компаньоны забрали у Гутенберга его типографию, материалы и инструменты. Плоды его многолетних трудов были присвоены другими. В дальнейшем он нашел другого компаньона (К. Гумери), однако побоялся уже выставить свое имя на печатаемых книгах («страха ради иудейска»).

А в это время Фуст успешно торговал книгами в Париже... Своих рабочих он запирали в мастерских, в темных подвалах, брал с них страшные клятвы на Евангелии, дабы сохранить в тайне изобретение Гутенберга. Тому были основания. Церковь не верила, что такое чудо возможно. Последовали преследования и судебные процессы. Монахи считали, что тут не обошлось без вмешательства Сатаны. Кстати говоря, Фуста схватили и заключили в тюрьму, где он умер в 1465 г.

(хотя и избежал костра). Погиб и другой компаньон, Шеффер, в руки которого перешла типография. Наборщики («дети Гутенберга»), взяв шрифт, разбежались кто куда, разнося с собой сведения о великом изобретении. Наконец, в том же 1465 г. курфюрст Адольф Нассауский принял к себе Гутенберга на вечную службу «как своего любезного и верного слугу, оказавшего ему многие услуги». Тот стал камергером у курфюрста, получая ежегодно одежду, 20 четвериков муки и две бочки вина. Прожив спокойно остаток жизни, Гутенберг почил. Похоронен в Майнце, на кладбище доминиканского монастыря. Могила его не сохранилась, хотя памятников воздвигнуто немало (в Страсбурге, Майнце, Франкфурте-на-Майне). Великий человек так и не успел увидеть полных итогов его трудов.



Типография

Они, безусловно, привели к широкомасштабной культурной революции в Европе... Рукописные книги сменились печатными. Это сразу же сказалось на цене. Цены на книги понизились практически в пять раз. В свою очередь, дешевые книги, отпечатанные, как тогда говорилось, *manu stannea* (лат. – «оловянную рукою»), порождали все новые и новые ряды читателей. Поняли все преимущество новой технологии и церковники. Французский король Людовик XII даже

заявит в указе 1513 г., что книгопечатание – это скорее дело Божеское, чем человеческое. С помощью книг знание шагнуло с профессорской кафедры в массы, из церкви, где оно нередко становилось жертвой схоластов, вышло на белый свет. Еще при жизни Гутенберга открылись первые типографии в Бамберге, Кельне, Гарлеме. Затем наступил черед Италии (1464), а потом – Франции (1470). Надо быть справедливым и воздать в этом случае должное духовенству Италии и Римскому папе. Новое изобретение они встретили с энтузиазмом. Отсюда печатные книги проникают во все государства Европы (на западе и востоке). В Италии с 1470 по 1500 гг. было напечатано до 5400 сочинений, из них в первое десятилетие – 1500 книг. В 1563 г. в Венеции появились и первые газеты. С 1500 по 1536 гг. в Европе вышло из печати порядка 17,5 млн. экземпляров книг. Это был триумф!^[348]

Вот как Запад сумел воспользоваться давним изобретением Востока, превратив оное, по выражению М. Маклюэна, в "галактику Гутенберга"... Ф. Рабле резонно заметил, что едва ли когда-либо, даже во времена Платона и Цицерона, в руках человечества оказывалось столь мощное средство просветительства людей. Книгопечатание быстро делает заметные успехи. Флорентинец М. Пальмиери всего сорок лет спустя имел основание заявить: "Насколько все люди, занимающиеся наукой, должны благодарить немцев, можно сказать, не будучи мудрецом. Ибо Иоганн Гутенберг цум Юнген, рыцарь из Майнца на Рейне, прилежным умом своим в 1440 году открыл искусство книгопечатания, которое ныне распространилось по всей земле. Это позволяет потомкам читать размноженные во многих томах произведения античных писателей и покупать эти тома по дешевой цене".^[349] Книга стала орудием Разума!

Все более заметное и прочное место в немецкой публицистике в XVII веке начинают занимать и газеты. Подобные издания пользовались большой популярностью у читателя. В Германии между 1660 и 1700 годом выходит 50–60 газетных изданий одновременно. Средний тираж газеты составлял 350–450 экземпляров. Печатались газеты в форме книжицы, на плотной бумаге, что делало его удобным для читателя. То была подлинная Volksbuch (Книга для народа). Газеты выписывались всеми епархиями и общинами. Чтение по праву считалось актом торжественным и богоугодным. Книга или газета

выступала в виде «органа чистого разума». В этих массовых изданиях объединялись и соединялись Бог, свобода, школа и просветительство. Только за последнюю четверть XVII в. немецкие типографии выпустили около 25 тысяч печатных изданий (газетный абонемент принадлежал обычно 15–18 лицам, распространявшим газету далее). Уже к середине века здесь сформировался широкий круг читателей из разных социальных слоев. Иные газеты содержат не только чистую информацию о событиях и фактах, но и выступают в качестве «наставников» и «учителей» (дают практические советы и наставления в различных сферах познания). Напомним лишь, что у нас, на Руси, первая печатная газета («Ведомости») появится только в 1702 году. Есть все основания называть подобные издания не только «газетами для удовольствия и пользы», но и газетами для массового обучения и воспитания. Значение этой периодики для развития массовой культуры трудно переоценить. Ими пользовались все важнейшие общественные институты (магистраты, церкви, школы, семьи). Вместе с читающим населением общая цифра этой аудитории в Германии приближалась уже к четверти миллиона.^[350]

Ранее мы отмечали значение монастырей как своеобразных центров просвещения. Германия активно включилась в процесс создания подобных культурных очагов. В истории культуры (Kulturgeschichte) монастыри сыграли заметную роль (школы, библиотеки). В кельях денно и нощно трудились копиисты, составляя списки с языческих и христианских трудов. Эти помещения превратились в залы, отведенные специально под книги. Уже средневековье видит в *littera* подход к *sensus* (Жак Ле Гофф). Между монастырями шел очень оживленный обмен рукописями. Так постепенно составлялись монастырские библиотеки. Что такое библиотека для средневековой Европы? Окно в мир. Их значение для образовательных институтов того времени поистине огромно. Юрген Хербст пишет: «На совокупность хранящихся в библиотеках знаний опирались средневековые школы и учебники. Без библиотечных собраний просвещение в Европе было бы невысказано». Одной из самых значительных немецких библиотек средневековья считают библиотеку монастыря в гессенском городе Фульда. Ее расцвет приходится на первую половину IX в., т. е. на раннее средневековье. Основу хранилища составляли рукописи с Британских островов и из

Италии, а также книги, полученные в результате обмена с другими немецкими монастырями. Впрочем, львиная доля книг была написана и переписана самими послушниками монастыря. Здесь записаны такие памятники древнегерманской литературы, как «Песнь Гильдебранда» и «Мерзебургские заклинания». К сожалению, Фульдская библиотека (1000 рукописей) уничтожена шведами во время разрушительной и кровавой Тридцатилетней войны. В начале XVIII в. в Германии создается одно из самых значительных библиотечных зданий на европейском континенте – Библиотека герцога Августа в Вольфенбюттеле. Это – первое со времен античности самостоятельное библиотечное здание (сама же библиотека зародилась в 1572 году). В XVII в. в ней насчитывалось 135 тысяч трактатов. Позже ее всячески опекали и пополняли Лейбниц с Лессингом. [\[351\]](#)

Германия давала пристанище многим европейским талантам, как некогда это делала Италия. На ее земли в поисках счастья пришел А. Дюрер-старший. Предки Дюреров разводили скот на венгерских равнинах. Отец великого художника был златокузнецом. В их обычаи и практику входили странствия, ибо это давало не только заработок, но и позволяло повысить уровень профессиональных знаний и мастерства. Поговорка подмастерьев гласила: «Чему не научился дома, то перейму на чужбине»... В маленьком венгерском городке вскоре и явился на свет замечательный художник Альбрехт Дюрер (1471–1528). Нюрнберг, куда переехала семья, слыл городом ремесленников. Здешние умельцы могли делать все или почти все (рисовали, чертили, пилили, сверлили, строили модели, чеканили медали, создавали приборы). Видимо, не случайно знаменитый астроном и математик И. Мюллер или Региомонтан (1436–1476), автор первых печатных астрономических таблиц и одной из первых европейских обсерваторий, избрал местом своего проживания Нюрнберг, где его работа находила спрос.



Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1498.

Можно с уверенностью сказать, что жизнь семейства Дюреров была отнюдь не из легких. Из 18 детей в живых осталось трое. В «Семейной хронике» А. Дюрер так вспоминал о тех суровых временах: «Этот вышеназванный Альбрехт Дюрер старший провел свою жизнь в великом старании и тяжком труде и не имел иного пропитания, чем то, которое он добывал своими руками себе, своей жене и детям. Поэтому он имел немного. Испытал он также немало огорчений, столкновений и неприятностей». Можно сказать с уверенностью, что он вел жизнь честного христианина, был терпеливым, добрым и благожелательным человеком. Будучи далек от общества и мирских радостей, он был в меру религиозен. Отец положил немало труда на воспитание детей и весьма в этом преуспел. Во всяком случае, Альбрехт Дюрер-младший был усидчив и прилежен в ученье. После школы, когда он выучился читать и писать, его стали обучать ремеслу золотых дел мастера. Когда же он овладел должными навыками, у него возник большой интерес к живописи, нежели к золотых дел мастерству. Далее Дюрер пишет: «Я сказал об этом моему отцу, но он был совсем не доволен, так как ему было жаль потерянного времени, которое я потратил на обучение золотых дел мастерству. Все же он уступил мне...»^[352] В этом отрывке документально воспроизведены лишь некоторые стороны обучения и воспитания немецкого юношества в эпоху Реформации.

Широкое дарование художника, отличавшее его впоследствии (гравер, живописец, теоретик фортификации, знавший латынь, изучавший математику и естественные науки, писавший стихи) дает право считать его своего рода Леонардо да Винчи Германии, столь многогранен был его талант и многообразно творчество. Вполне закономерна и обоснована его поездка в Венецию и Болонью, эти своеобразные «живописные академии» Европы.

Путь к книге и рисунку А. Дюрер нашел во многом благодаря своему крестному отцу – А. Кобергеру. Тот владел крупной типографией и сумел заинтересовывать юношу интересной и увлекательной работой. Он же побуждал его упорно учиться. Все свое свободное время Дюрер отдавал рисунку – портретам и пейзажам. Вскоре ему предоставилась увлекательная возможность путешествия по Европе. Он посещает Нидерланды, Испанию, Германию, Италию. Являясь родиной науки и искусства, Италия произвела на Дюрера неизгладимое впечатление. Хотя, разумеется, можно согласиться и с немецким писателем Л. Тиком (1773–1853), восклицавшим в неоконченном романе «Странствия Франца Штернбальда» устами своего героя: «Взгляните на вашего Альбрехта Дюрера; разве не стал он самим собою, помимо всякой Италии (в Германии), ибо короткое пребывание в Венеции нечего брать в расчет...»^[353]

После путешествия Дюрер еще более укрепился в своем намерении стать художником и гравером. В этих устремлениях его поддержал друг – гуманист В. Пиркгеймер, чей дом считался своеобразной местной академией. В ту пору в Германии почти все дороги искусств, ремесел, просвещения вели в Нюрнберг. Вспомним, что здесь жили и творили: изобретатель карманных часов Петер Хенлейн, поэт и мейстерзингер Ганс Сакс и др. Одним словом, то были немецкие Афины своего времени. Ульрих фон Гуттен, один из идеологов Просвещения, в письме к Пиркгеймеру называл сей град «первым из всех городов Германии, который наполнился наилучшими дарованиями и на протяжении многих лет изобилует ими, в отношении же исключительного богатства различными искусствами долгое время был единственным»... Здесь в дальнейшем и предстояло Дюреру совершенствовать свое мастерство.

После возвращения из Италии Дюрер приступил к работе над гравюрами по дереву, уделяя пристальное внимание человеческим

страстям (ненависть, зависть, грехопадение, раскаяние). В 1500 г. он создал и свой удивительный автопортрет, в общих чертах чем-то напоминающий образ Христа. Можно утверждать, что это именно тот случай, когда великий художник отошел от буквальной детализации и копирования и возвысился до обобщающей духовной сути образа. В нем мы видим Дюрера, словно озаренного неким внутренним светом. Перед зрителем предстал провидец, учитель, боец за правое дело, всевидящий пророк. Вероятно, он внял словам философа Н. Кузанского, считавшего величайшим благом подражание Христу и следование его великим и благородным заповедям. В работах немецкого художника часто присутствует он сам: то в облике Христа («Автопортрет»), то в облике блудного сына («Возвращение блудного сына»). Веруя в могущество науки и знания, он старался защищать их. Поэтому ему близки такие образы как дочь императора Александрии Екатерина, что согласно легенде в ходе диспута превзошла в учености 50 самых знаменитых философов, посланных римским императором (за это предана мучительной смерти).

В сюжетах художников тех лет вообще часто встречаются темы смерти и страдания. Так, иллюстрации к Виттенбергской библии XVI в. заполнены сценами убийств, казней, войн и пыток. Все объяснялось довольно просто: выбор сюжета художниками был созвучен тому, что происходило вокруг, в окружающем их мире. Поэтому и гравюры Дюрера не являлись исключением. Его картина «Мучения десяти тысяч христиан», к примеру, демонстрирует, как римляне подвергают пыткам и казням епископа Агатия и христиан. Римляне сбрасывают их со скал, распинают, всюду – отрубленные головы. Во время Великой Крестьянской войны в Германии (1524–1526 годы), симпатии художника были на стороне восставших... Дюрер оказался вполне достоин своей высочайшей миссии творца. Он – единственный из тогдашних художников-интеллектуалов, кто сожалел об их разгроме и сочувствовал мукам казненных. В этом решающее отличие «богемы», готовой при всяком удобном случае оплевать, оскорбить, а то и казнить народ (мужланов), от великих художников и поэтов, старающихся защитить эксплуатируемых от своры тиранов и их прихвостней. Кто же иначе защитит народ от власти, действующей *contra jus et fas* (против права человеческого и божеского)?!

В своих работах он напоминает мне мага и психолога, проникающего в самые глубины человеческой натуры (часто в её бесовской части). Перед нами предстают люди, охваченные страстями и пороками, палачи и жертвы. Профессор истории искусств В. Любке пытался понять, почему Дюрер окружил себя фантазмагорической толпой персонажей его отечества, а отнюдь не «прекрасными, благородными и культурными представителями южной расы». Это не кажется странным. Напротив. Было бы неестественным и недостойным великого художника, если бы он, вдруг, стал искать типажи где-то ещё, а не на родине. Понятно и то, почему его «святые» – обычные граждане Нюрнберга его времени. Будь иначе, он мог бы и не остаться навечно в памяти своего народа. Ведь, и сам Любке признает: «Дюрер действительно является любовью и гордостью немецкого народа», воплощая «все его достоинства и добродетели», хотя и несет в себе при этом многие «слабости и ошибки этого же народа».^[354]



А. Дюрер. Мучение святого Иоанна. Гравюра на дереве. 1498.

В жизни народов особое место принадлежит пророкам... Не поэтому ли последним крупным произведением Дюрера стала картина, получившая название «Четыре апостола» (1526). Написанная на двух досках, она изображает трех апостолов (Иоанна, Петра, Павла) и

одного евангелиста (Марка). Это удивительная картина, потрясающая человечностью и глубиной замысла. Перед нами люди, полные достоинства и веры в свои силы, хотя и различные по темпераменту (вероятно оттого картину называли еще «Четыре темперамента»). Как кому, а мне она показалась своеобразной аллегорией, с которой Дюрер решает обратиться ко всем будущим пророкам – учителям человечества. Что же он хотел сказать нам, изображая апостола Иоанна – сангвиником, погруженным в чтение мудрой книги, Петра – флегматиком, держащим в руках ключ от небесных врат, Павла – меланхоликом, с мечом и томом в руках, бросающим на зрителя недоверчивый и косой взгляд, Марка – холериком с неким свитком, похожим на свод законов?! Мне кажется, что он словно завещает тем пророкам, которым будет суждено вести человечество в пределы новых тысячелетий: «Будьте мудрыми и образованными, ясными в мыслях и помыслах своих, подобно Иоанну; те же, кто обладает ключами власти, держитесь с подобающим вашему сану и положению достоинством и благородством, подобно апостолу Петру; избранные стоять на страже законов и правосудия, твердо следуйте духу и букве законов, подобно гневному Марку; тем же, кто говорит с врагами родины, следует обратить против них два орудия, с помощью которых можно просветить и образумить – мудрые книги и меч в руках у Павла, пристально всматривающегося в лица и раздумывающего, с чем же ему обратиться к тем или иным слоям или странам!»

Дюрер работал целых 20 лет над темой апостолов и порядка 10 лет над соответствующей композицией. Эти образы – его завещание. Знаменательно то, что хотя тематика досок сугубо религиозная, отданы они *светской власти* города Нюрнберга. По мысли художника, это назидание власти, правителям города. Мысль его поняли. Картины постоянно находились в городском зале Совета (иначе говоря, в мэрии – перед глазами руководителей родного города художника!). Замысел Дюрера очевиден: высшая власть должна себя «чистить под апостольские образы»... Каждый чиновник должен на своей шкуре чувствовать испытующий взгляд апостолов, дабы всегда быть в ладах с законом и справедливостью. Как заметил однажды швейцарский искусствовед Г. Вёльфлин (1864–1945), «кто хоть однажды постоял перед этим взором апостола, тот знает, что у зрителя невольно

возникает ощущение не только святости, но и подлинного величия человека». Таковую бы картину – да в российский Кремль!

Его отличал демократизм в искусстве: «И это также большое искусство, если кто-либо в грубых мужицких вещах сумеет высказать и правильно применить истинную силу и мастерство». Грядущим поколениям он советует не останавливаться в своем развитии: «Желание много знать и через это постигнуть истинную сущность всех вещей заложено в нас от природы. Но наш слабый разум не может достигнуть полного совершенства во всех науках, искусствах, истине и мудрости. Это не значит, однако, что нам вообще недоступна мудрость. Если бы мы захотели отточить учением наш ум и упражнялись бы в этом, мы могли бы, следуя верным путем, искать, учиться, достигать, познавать и приближаться к некой истине». ^[355]

Дюрер имел немало учеников, прибегал к их услугам и поэтому, конечно же, прекрасно понимал необходимость создания школ, сожалея, что юноши обучались искусству «без всякой основы», вырастая «в невежестве, подобно дикому, неподрезанному дереву». Он был убежден, что «самой природой в нас заложено то, чтобы мы учились много и с удовольствием». В таком же деле как живопись особенно необходимы помощь науки и знающих учителей. Поэтому в «Руководстве» (наставлении для молодых художников) Дюрер советовал достигать свободы рук благодаря постоянным упражнениям. Тогда художник сможет создавать картины полные силы и экспрессии. При этом действовать следует обдуманно, а не руководствоваться собственной прихотью. В учителя следует брать лишь тех, кто владеет в совершенстве наукой. Ведь, она является истинной основой всякой живописи. Дюрер решил изложить ее начала и основания для всех жаждущих знаний юношей. ^[356]

Помимо сугубо профессиональных навыков мастерства он считал необходимым развивать у молодежи эстетические вкусы и культуру. Формулируя новое понимание сущности искусства, он советует следовать заветам гуманистов и обращаться к источникам («ad fontes»). Сам он обожал древних авторов, полагая, что целью искусства как раз и является «вызывать у людей радость и сохранять в их памяти прошлое». Искусство обладает огромной силой и способно коренным образом изменить психологию людей. Дюрер пишет: «От многих дурных вещей, наличествующих в жизни, можно было бы избавиться,

если заниматься искусством». Учитывая, что Дюрер работал в эпоху Реформации, когда почтение к богатству стало уже нормой, он не мог обойти вниманием и эту сторону проблемы. Можно сказать, что он не пренебрегал и экономической стороной вопроса (важна и престижность профессии художника). Призывая заняться художественным ремеслом, он говорит: «Если ты беден, то смог бы посредством этого искусства заполучить крупное состояние». [\[357\]](#)

Проявил он и математический талант, близко подойдя к открытию науки, известной ныне, как начертательная геометрия. В трактате «Четыре книги о пропорциях» (1528) он обосновывает теорию перспективы и приводит примеры проектирования фигур на плоскостях. Свои геометрические познания Дюрер продемонстрировал и в «Руководстве к укреплению городов» (1527), в котором получила свое развитие теория фортификации. Такое типично возрожденческое сочетание различных интересов в одной личности характерно для Дюрера, ощущавшего близость к великим итальянцам. Позже иные из его идей разовьёт Г. Монж. [\[358\]](#)

При близком знакомстве с немецкой живописью трудно удержаться от мысли, что она представляет собой живое существо, чья «кровенная система» имеет интернациональные корни. Взять хотя бы известную аугсбургскую художественную школу в Германии, главой которой был Ганс Гольбейн-старший (1460–1542). Взгляните, сколь тесно сплетаются школы и судьбы. Специалисты говорят, что аугсбургская школа многим обязана голландцам Ван Эйку и Ван дер Вейдену. Голландцы активно влияли на англичан, немцев, французов и испанцев. Фламандский живописец Ван Дейк (1599–1641) работал в Италии и Англии. Сыном Ганса Гольбейна-старшего был Ганс Гольбейн-младший (1497–1543), величайший представитель реалистической школы и замечательный портретист, учитель английских живописцев. Родившись в Аугсбурге, он работал в Люцерне, а затем переехал в Базель. Здесь он совершенствует свое мастерство, о чем говорят фрески, выполненные им для городской ратуши Базеля (его «Страсти» хранятся в городском музее). В 1526 г., не без помощи и влияния Т. Мора, он поступает на службу к королю Генриху VIII. На какое-то время Гольбейн-младший едет в Базель, но затем вновь возвращается в Лондон, где и остается до конца своих дней. По уровню мастерства, силе проникновения в характер человека

его сравнивают с Рафаэлем. Возможно, несколько уступая великому соотечественнику Дюреру в силе экспрессии и воображении, он безусловно превосходит его в колорите, в ощущении природной красоты и гармонии. Среди наиболее известных его работ – «Последний ужин» (галерея Базеля), так называемая «Мейерская мадонна» (галерея в Дармштадте), серия гравюр, известных как «Пляска смерти». Последний цикл был назван английским искусствоведом Дж. Рескиным образцом гротеска в живописи. Как пишет исследователь Н. Энверс, его портреты отражают такую степень восприятия характера, такое глубокое понимание личности и психологии героев, такую чистоту красок и тонов, что это превосходит всё, созданное немцами. ^[359]

Поскольку подспудной целью книг является проникновение в «души народов и рас», мы уделяем внимание не только культурной или научной, но и социально-экономической стороне. В Германии деятели искусств нередко работали в нескольких «жанрах», соединяя художественную, экономическую, государственно-административную деятельность... Возьмем ту же эпоху Дюрера и посмотрим, как в немецких землях XV–XVI вв. работали скульпторы и художники. Обратим наш взор на север Германии. В городе Любеке, ставшим посредником между Нидерландами и балтийским ареалом, скажем, работал интереснейший мастер Бернт Нотке (умер в 1509 г.). Специалисты считают Нотке чуть ли не первым художником нового времени на севере Европы (В. Паатц). Будучи уроженцем Любека, он прошел обучение в Турнэ, центре нидерландского ковроткачества. Среди первых его работ был огромный фриз «Пляска смерти» для одной из капелл церкви Марии (длиной в 30 м.). Его мастерская делала резные и живописные алтари, рисунки, модели для ювелирных изделий и бронзового литья. Ему принадлежат и такие работы как «Триумфальный крест в соборе Любека» (1477), «Алтарь церкви св. Духа в Таллине» (1483), «Св. Георгий в Стокгольме» (1489) и другие. Его художественная деятельность приходится на последнюю четверть XV-начало XVI вв. Обратим внимание и на то, что он почти 20 лет занимался не столько искусством, сколько деловой, предпринимательской деятельностью, выполняя ответственную работу монетария (то есть, был городским чиновником и негоциантом и вел рискованные торговые операции). Автор книги «Немецкая скульптура»

М. Либман подчеркивал, что в этом выразилась сословная сущность общества позднего средневековья и зарождающегося нового времени. Ремесленник стремится стать купцом и получить доступ в более высокую социальную сферу.



Фейт Штосс. Алтарь с «Поклонением младенцу» (1520–1523). Бамберг.

Это же можно отнести и к судьбе Тильмана Рименшнейдера (1460–1531). В его художественной мастерской работали резчики по дереву и каменотесы. Среди его работ: удивительный «Мюннерштадтский алтарь» (1490–1492), фрагменты которого находятся в Мюнхене, в Баварском национальном музее («Алтарь Магдалины») и в Берлине, каменные статуи Адама и Евы (1491–1493), прекрасный «Алтарь кладбищенской церкви в Креглингене» (1505–1510) и т. д. Заметим: этот мастер не только сумел быстро стать богатым человеком, но и неоднократно избирался на высокие городские должности (в 1520/21 г. даже был бургомистром Вюрцбурга). В период Крестьянской войны (1525) он встал на сторону восставших крестьян и оказался одним из руководителей антиепископской «партии». После разгрома восставших его бросили в тюрьму, подвергли допросам и пыткам. Но он выстоял и отделался лишь частичной конфискацией имущества. В последние годы жизни он практически отошел от дел.

Нельзя не упомянуть о такой выдающейся личности как Фрейт Штосс (1447–1533). Штосс мощно повлиял на творчество скульпторов и архитекторов ряда стран (Польши, Пруссии, Чехии, Венгрии, Словакии, Трансильвании). Он родился и прошел обучение в Швабии, но расцвел его талант в польском Кракове. Затем он вернулся в Германию и поселился в Нюрнберге. Ему принадлежит «Алтарь церкви Марии в Кракове» (1477–1489). Спор о его «принадлежности» к тому или иному народу (поляк или немец) не прекращается и по сей день. Краковский алтарь, поздняя его работа Алтарь с «Поклонением младенцу» в Бамберге (1520–1523), как и «Благовещение» в хоре церкви св. Лаврентия в Нюрнберге (1500), по мнению искусствоведов, стоят в одном ряду с самыми выдающимися работами итальянских мастеров Возрождения. Не буду описывать полную злосчастную жизнь великого мастера, замечу лишь, что в его творчестве соединились культура немцев, голландцев и поляков. [\[360\]](#)

Вернемся к теме образования, ибо без него нет высокого профессионализма. Даже талант в нем нуждается. Немецкая школа сумела выработать в человеке и то, без чего ни одна самая превосходная методика не даст положительного результата: дисциплину и самодисциплину. То, что впоследствии будет отлито в чеканно-бронзовую фразу – «Ordnung und strenge Disziplin» («Порядок и строгая дисциплина»). Порядок – первое условие внутренней свободы.

Заметьте: те, кто достиг наиболее заметных успехов в культуре, науке, технике и экономике, государственном строительстве воздают должное системе образования как фактически главной силе цивилизации. Немецкие учителя старались выработать в учениках привычку к самостоятельному мышлению, умение свободно и логично рассуждать, стройно излагать мысли и учиться осмысленно. Благодаря их неустанной заботе и вниманию получили прекрасное образование и воспитание Фихте, Шиллер, Гете, Гегель, Шеллинг, Кант, Бисмарк. Не случайно Бисмарк впоследствии выскажется в том духе, что Германия своей мощью и славой обязана в первую очередь школьному учителю. В Германии насчитывалось немало самых превосходных учебных заведений. Характерен пример КарлсшULE. В XVIII в. она занимала видное положение среди школ Германии, будучи для своего времени самым современным воспитательным учреждением и университетом

широкого профиля. Здесь преподавали такие известные педагоги как Абель, Дрюк, Шотт, Наст, Молль, Шваб и многие другие. Хотя на пути высшей школы, разумеется, встречались и серьезные препятствия. Если церковники все же нередко угнетали дух, то светские властители стремились подчинить себе весь процесс. Этой участи не избежал даже знаменитый Гейдельберг, который одно время после превращения из католической в евангелическую высшую школу (1556), пережил бурный расцвет. В его стенах обучались многие яркие личности и великие умы Европы.



Мостовая башня в Старом Месте в Праге. 80-е годы XIV в.

Ярким образцом торжества наук стал принадлежащий к плеяде наиболее прославленных немецких высших учебных заведений знаменитый Гейдельбергский университет. Основан он был в середине XIV века пфальцграфом Рупрехтом Рейнским. Этот славный университет продемонстрировал образцы духовной стойкости и несокрушимости... В его стенах преподавали лучшие иностранные ученые. Здесь нашли приют многие выдающиеся мыслители нового и новейшего времени. Первые профессора прибыли сюда из Праги и Парижа, двух самых почитаемых учебных центров Центральной Европы. Директором-основателем университета был голландец Марсилиум фон Инген, что в немалой степени объясняется высоким авторитетом голландского образования и ее учебных центров. Это

учебное заведение изначально отличалось свободолобивым духом, новаторскими идеями и новыми научными подходами. Вначале в его стенах были сильны позиции римско-католической церкви. Затем широкое распространение получили прогрессивные идеи Реформации. Яростные лютеровские наскоки (а в те времена говаривали: «Где Эразм кивает, там Лютер бросается») на эту цитадель наук ничуть не испортили репутации Гейдельбергского университета. Его успех, скорее, говорил о крепости и надежности немецкого высшего образования.



Адриан де Врис, Рудольф II – покровитель искусства и науки. 1603 г.

Однако с началом Тридцатилетней войны (1618 г.) на заведение обрушились многие беды. Студенты и профессора вынуждены были прервать занятия и свою работу. Тяжелейший удар, как отмечают, был нанесен в один из печальных дней, когда весь университетский фонд, всемирно известная «Biblioteca Palatina» была захвачена и вывезена в Рим... Университет без достойной библиотеки подобен киту, выброшенному на берег... Огромных, поистине титанических усилий стоило как-то возобновить учебный процесс. Но в 1693 г. случилось новое несчастье – французские войска разрушили весь комплекс

зданий университета, который пришлось в итоге закрыть. Наступил заметный спад в его деятельности, который продолжался до конца XVIII в. Лишь с 1803 г., когда Гейдельберг вошел в состав земли Баден, а университет был преобразован в финансируемое государством учебное заведение, все изменилось, как по волшебству. Слава его неуклонно растет. В этих стенах преподавал великий Гегель. Юридический факультет Университета считался самым престижным в Германии, а возникшая здесь «гейдельбергская школа политической истории» пользуется немалым авторитетом в Европе. Уже в XIX веке на родину вернулась и знаменитая Гейдельбергская библиотека. Так что в отношении этого почтенного и славного вуза вполне применимо латинское изречение – «Post tot discrimina rerum» (лат. «После стольких превратностей судьбы!»).^[361]

Культурная атмосфера Германии уже тогда была богата на имена. Выдающийся немецкий поэт М. Опиц (1597–1639), теоретик и реформатор стиха, лидер поэтов Первой силезской школы, посещал Гейдельбергский университет. Известным его сделали стихи. Ему принадлежал и трактат, в котором он призывал отказаться от латыни в пользу немецкого языка. Сборники стихов «Немецкие поэмы» и «Книга о немецком стихотворстве» на полтора столетия вперед определили пути развития немецкой поэзии. Один из стихов посвящен пользе учености и тому, как скрасить нелегкий труд ученика, постигающего знания.

Я тоскую над Платоном
Дни и ночи напролет,
Между тем весна поет
За моим стеклом оконным.
Говорит она: «Спеши
Вместо шелеста бумаги
Слушать, как звенят овраги!
Ветром луга подыши!»
Многомудрая ученость!
Есть ли в ней хоть малый прок?
Отвратить никто не смог
Мировую обреченность.
Роем взмыленных гонцов

Дни бегут, мелькают числа,
Чтобы нам без чувств, без смысла
В землю лечь в конце концов.
Эй ты, юноша, глубоко
Объяснивший целый мир,
Объясни мне: где трактир
Тут от вас неподалеку?
До тех пор, покуда мне
Нить спрядет старушка Клото,
Утоплю свои заботы
В упоительном вине!
Вот оно – бурлит в кувшине!
Можно к делу приступить.
Да! Совсем забыл!.. Купить
Надо сахару и дыни.
Обладатель сундуков,
От сокровищ ошалевши,
В кладовых торчит не евши,
Наш обычай не таков!
Грянем песню! Выпьем, братья!
О стакан стакан звенит.
И пьянит меня, пьянит
Жизни светлое приятье!
Груды золота ценней
Провести с друзьями ночку!
Пусть умру я в одиночку —
Жить хочу в кругу друзей!^[362]

Несколько иначе складывалась судьба Йенского университета, что в начале XVIII в. ещё не пользовался славой. Здесь царили варварские нравы воинственных студенческих землячеств. Власти пытались их распустить, но безуспешно. Некий магистр Лаукхард так описывал тогдашние нравы ученой молодежи (1776): «Впоследствии я наблюдал куда более тонкое обращение в Геттингене, узнал я изысканную вежливость лейпцигских студентов, а все же милее всех мне мои йенцы... Мне уже говорили, что в Йене нередки драки, и я и впрямь

убедился, что здесь куда как легко попасть в переделку. Разрешались споры, правда, схваткой на шпагах, но, поскольку обычно отыскивали порядочных секундентов, стычки эти редко оказывались опасны для жизни». Куда опаснее для нравов молодежи были посещения зланных мест, где страшный урон кошелькам и нравственности наносили местные «нимфы».^[363]

Ошибка! Указано неверное имя файла.

Г. Бальдунг Грин. Ведьмы.

Как и всякая другая, немецкая система образования имела недостатки. Можно вспомнить о «скудоумных школярах» Ульриха фон Гуттена, о казарменных привычках, о фельдфебельском духе, о жалобах Шеллинга, говоривавшего: «Мне все тесно в этой стране попов и писак». Можно привести и ещё ряд уничижительных характеристик. Однако не это главное.

При взоре на Германию, удивляешься ее неукротимой жажде познания и совершенства. Она, подобно великому Гете, «стремится всё вперед и вперед, все учится и учится, тем самым доказывая свою вечную, несокрушимую молодость».^[364] Что следует отнести к важным элементам немецкого педагогического опыта? Немецкая мысль столь обширна и разнообразна, что просто невозможно ответить на все интересующие нас вопросы. Возможно, другие, «обернувшись Ариадной, тьмой ведя нас непроглядной, введут смертных в круг богов» (Шиллер)... В круг немецкой философской литературы, педагогики и культуры. Вспомним лишь некоторые яркие имена, оказавшие влияние на судьбы Германии и мира.



Хендрик Гольциус. Ученые и философы под покровительством Юпитера.

В науке здесь высится гигантская фигура Лейбница... Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) жил в тяжелые времена. Как мы помним, только что закончилась Тридцатилетняя война. Германия в политическом отношении оказалась раздроблена. Это накладывало отпечаток и на общественную жизнь... Готфрид получил образование в Лейпцигском и Йенском университетах, где изучал юриспруденцию и философию. Кстати, и родом он – из семьи профессора Лейпцигского университета. В 1666 г он получает степени магистра и доктора (докторская – «О запутанных судебных случаях»). Затем служит в Майнце у курфюрста (дает предложения по реформе законодательства и суда). Направленный с дипломатической миссией в Париж в 1672–1676 гг., он получил возможность стать вровень с достижениями передовой европейской научной мысли. На обратном пути в Германию он знакомится со Спинозой (в Голландии), узнает об открытиях Левенгука. С 1676 г. поступает на службу к ганноверским герцогам в качестве библиотекаря и историографа. Талант его чрезвычайно многообразен (философ, ученый, математик, физик, юрист, историк, языковед, изобретатель). Известно, что он открыл дифференциальное и интегральное исчисление (независимо от Ньютона), создал счетную машину, занимался вопросами экономики и

инженерной деятельностью. Особо следует отметить его заслуги в деле разработки и создания проекта Берлинской Академии наук, президентом которой он затем и становится (1700). Он составил проект организации Российской Академии наук (по просьбе Петра I), а также Академии наук в Вене.

Философско-литературное наследие его огромно (одних писем свыше 15 тысяч). Среди главных работ – «Рассуждение о метафизике» (1685), «Новые опыты о человеческом разуме» (1705), «Теодицея» (1710), «Монадология» (1714). Лейбницем впервые в Новое время выдвинута идея универсальности развития. Совершенствование мира, идущее постоянно, достигает своей вершины в познающем человеческом духе. Ученый немало сделал для развития логики, которую понимал как науку о всех возможных мирах. Им выдвинуто учение о двух истинах (истина факта и вечная истина). В трактате «Теодицея» («Оправдание Бога») им сформулирована знаменитая теория оптимизма. Хотя мир содержит много зла и крайне несовершенен, это все же, по-своему, наилучший из миров. Девиз выльется в максимум: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Бог, являясь основанием сущности и существующего, действовал «физически и свободно». Поэтому он и не мог сотворить более лучшего мира, чем тот, что существует. Мир, по Лейбницу, это удивительная машина и «наилучшее государство, где обеспечены все возможное блаженство и всякая возможная радость, составляющая их физическое совершенство». Казалось, нужно было быть в высшей степени наивным или безмерно оптимистичным человеком, дабы прийти к подобному выводу в мрачное время Фридриха-Вильгельма I, известного тем, что приказал покинуть пределы Пруссии под страхом виселицы философу Хр. Вольфу (чьи идеи господствовали в немецких университетах до появления «критической философии» Канта). В отношении же самого Лейбница король высказался и вовсе грубо и непочтительно, заявив, что «этот парень» непригоден даже для того, чтобы стоять в карауле. Солдафонам казармы дороже наук и университетов.^[365] В эти минуты Лейбниц, видимо, должен был бы всерьёз усомниться в том, что иные короли и их окружение в состоянии обладать даже низшими формами знания, каковые присущи низшим животным. Правду говорят: *Qualis rex, talis grex!* (лат. – «Каков царь, таково и окружение»).

Л. Фейербах не зря называл Лейбница первым человеком в Германии, отличившемся «на поприще самостоятельной, положительной философии». Пример Лейбница вдвойне поучителен и в том смысле, что ученый напоминает нам порой героев античного склада. В нём словно сочетаются иные из талантов и достоинств Пифагора и Аристотеля. Лейбниц видит мир во всей его сложности. «Лучший» – не значит «самый счастливый». Мир прекрасен необычностью и полярностью. Добро и зло, красота и уродство, счастье и страдание – все вместе создают его неповторимость. Культура также играет заметную роль. Человеческое бытие подчинено закону «красоты и общего совершенства божественных творений». Этому же подчинен весь универсум, в котором «...совершается известный непрерывный и свободный прогресс, который все больше продвигает культуру (cultum). Так цивилизация (cultura) с каждым днём охватывает все большую и большую часть нашей земли». Что же до наблюдаемого одичания, разрушения, гибели, краха тех или иных народов, цивилизаций, культур, людей, то даже в их гибели есть некий смысл, с помощью которого совершается преодоление имманентного зла (болезни мира и индивидов). Отсюда очевидная необходимость наличия разумной и осознанной человеческой свободы. Пусть спонтанны действия Бога, но человек обязан тщательно взвешивать свой выбор и отвечать за последствия учиненных ими же действий. Для того ему и дан Разум. Человек сам должен и создавать наилучший мир. [\[366\]](#)

Для большей убедительности дадим волю lyrisch schwung (нем. – «лирическому порыву») Фейербаха. Вот как описывает тот его роль в работе «Изложение, развитие и критика философии Лейбница» (1837). Философия и математика – науки, которым Лейбниц главным образом обязан своей бессмертной славой, не были, однако, тем единственным, что привлекало к себе и занимало его в юности и в последующие годы. Его интересы прямо-таки безграничны. Его занимали все науки. Немалую помощь в становлении Лейбница как мыслящего и просвещенного человека сыграли домашние возможности самообразования. Библиотека отца, состоявшая из книг по различным отраслям знаний, уже в школьные годы давала ему возможность удовлетворять свою любознательность, всегда ненасытную и ищущую.

Где бы он не находил источник знаний, Лейбниц всегда «учился с жадностью», с неутомимой энергией продолжая обогащать свой ум... Потенциальное знание нужно сделать реальным. Плодом этого многостороннего и всестороннего образования и был его неизмеримый, повсюду успевающий, удивительный энциклопедизм. Этот энциклопедизм поражал не столько своим охватом, сколь качественно, ибо это не было многознайством, как мертвое достояние памяти, как некий «продукт» очередного zitatenprofessor (нем. «поверхностного ученого»). Это была гениальная творческая энциклопедичность. Его голова вовсе не походила на гербарий; его знания были осмысленны, они побуждали его к плодотворной работе. В нем все было и дух и жизнь. Он стал живым воплощением научной поэтики и интеллекта.

Лишь в эпоху античности, а затем и Возрождения (в Италии) рождались столь одаренные и цельные натуры. Все духовные дарования, говорит Фейербах, которые обыкновенно встречаются по частям, в Лейбнице объединялись: способности ученого в области чистой и прикладной математики, поэтический и философский дар, дар философа-метафизика, философа-эмпирика, историка и изобретателя. Добавьте сюда и многие иные качества: подобный микроскопу, глаз ботаника и анатома, широкий кругозор обобщающего систематика, терпение и чуткость ученого, энергия и смелость самоучки и самостоятельного исследователя, и, вдобавок ко всему этому, поразительная память, избавлявшая его от утомительного труда перечитывать то, что было уже однажды написано. Истинная предустановленная гармония.

Лейбниц выделял две главные особенности своего «ученичества» – то, что он был «почти что самоучкой», и «склонность искать новое во всякой области знания», с которой он приходил в соприкосновение. Это помогало ему избежать опасности быть похороненным под лавиной «авторитетных» учительских доводов. Всё легкое казалось ему трудным, а все трудное – легким. Остается добавить, что этому богатству научных познаний Лейбница соответствовал размах и многообразие жизненных навыков. Чем больше кто-либо знает, тем больше у него образуется связей. Так энциклопедизм Лейбница связал его со всем миром. Что же до его души, то она, говоря его же словами, сама себя творила, вполне того не сознавая. [\[367\]](#)

Признавая роль Лейбница как мыслителя и просветителя, иные утверждали, что тот, несмотря все его способности и действия в пользу установления мира в Европе, «по самому существу своему представлял собой тип средневекового мыслителя». Ему в вину вменяли доктрину «предустановленной гармонии», а также уже известный тезис, что «все к лучшему в этом лучшем из миров», что, якобы, делает его подобным церковникам (Дж. Бернал).^[368] Односторонен такой подход умного британца, чья гордыня ну никак не позволяет ему признавать первенства немецкой нации в том, что вряд ли может быть оспорено временем.

Совершенно иначе (с пиететом и восторгом) восприняли Лейбница в России. Тут следует напомнить, что он и родился в семье, которая имела славянские корни (его фамилия звучала как Любениц). В первых же статьях, которые опубликованы о нем в России, его называли «патриархом германской философии, самым разнообразным гением, какого только до сих пор произвела природа». К примеру, Ф. Менцов охарактеризовал его так: «вместе математик и физик, философ и правовед, историк и отчасти политик». Его влияние ощущалось в разных отраслях наук – от естественников до философов и социологов. Говоря о требованиях, предъявляемых к званию историка, известный русский поэт-славянофил А.С.Хомяков, упоминал о «Лейбницеvской способности сближать самые далекие предметы и происшествия».^[369]

Лейбница воспринимали у нас восторженно, как божество, которому должно слепо поклоняться. Б. Костяковский писал, что интеллектуалы, даже не будучи его последователями, ничего не придумали такого, чего бы он уже не сказал («Социальные науки и право»): «Они только оставили в стороне те два мира – мир человека и мир вселенной, метафизическую сущность которых хотел постичь Лейбниц, и обратились к третьему – социальному миру. Но, стремясь понять социальный мир, они создали себе систему, которая возобновляла все слабые стороны системы Лейбница». Зачастую им при этом изменяла логика. Отсюда следовали и нежелательные выводы. Интеллигенция в России абсолютизировала значение своего класса: «Социальная среда, народ, крестьянство казались им носителями пассивных возможностей; личность и интеллигенция воплощали в себе активные возможности».^[370]

Лейбницу был предшественником целой плеяды немецких философов, одним из творцов классической механики. Известны его работы по гидростатике, изобретенный им арифмометр, попытки усовершенствования карманных часов. Он опроверг популярную теорию флогистона, подсказал Д. Папену идею применения цилиндра и поршня, обратил внимание ученых на физиолого-кибернетическую проблему «обратной связи», подробно описанную учеными лишь в 40-х годах XX века. В то время и в самой Германии наука все еще находилась как бы в эмбриональном состоянии... «Чем ночь темней, тем ярче звезды» (А. Майков).

Он первым осознал глубинную связь между географической средой и историей страны, между жизнью Земли и природы, и духовной жизнью человека. Борясь за чистоту немецкого языка, он был первым немецким ученым, писавшим по-немецки (впрочем, большая часть его трудов в духе правил того времени написана по-латински и по-французски). В нем соединились вместе таланты Спинозы, Декарта, Ньютона и Паскаля. Создавалось впечатление, что какой-то неведомый космический разум вселился в бренное человеческое тело. Он щедрой дланью рассыпал гениальные идеи, ничуть не заботясь об авторстве. Однако были у него и странности. Он не решался проезжать по одному очень уж коварному месту дороги. Дело в том, что опытный кучер уверял его, что на этом «чертовом месте», даже будучи абсолютно трезвым, никак невозможно не опрокинуть карету. Тут, несмотря на все аргументы ученейших мужей (геометрических и математических), он прислушался к гласу простого народа. Полагаю, тем и отличается великий ум от иных пустоголовых политиков, что прежде чем ехать по сложной, коварной дороге, он берет за правило прислушаться к голосу народа.

Его называли «последним из счастливых», которым удалось обозревать в своем уме обширное поле наук и содействовать развитию каждой из них (В. Герье). Казалось, в лице Лейбница человечество на мгновение остановилось в своем вечном движении, чтобы взглянуть на пройденный им путь, собрать в одно целое весь итог добытых результатов, а затем членить деятельность, развивая каждую науку особенным, свойственным ей путем. Лейбница по праву считают главой Просвещения, первым организатором немецкой науки. Это он объединил ученых в академии, которые он называл «живым звеном

между теорией и практикой, блюстительницей всех народных интересов, насколько они зависят от науки». [\[371\]](#)

Вместе с тенм он не боялся оценивать критически своих дорогих соплеменников. Так, ученый не мог простить немцам их страсть к обезьянничанью, что проявлялась в отдельные периоды истории. Ниже приводим написанную им сатиру на нравы, царившие в германском обществе, хотя описанная «болезнь» имела хождение не в одной Германии («Галломания»).

Французским винам честь, равно как и закускам,
Но лиха не исчесть – быть под ярмом французским!
А все к тому идет – и горе-патриот
По-галльски ест и пьет, по-галльски платье шьет,
По-галльски говорит и думает порою,
Став с головы до пят французского покрою.
Попали в кабалу, во всем – французский лад,
Уже и на балу – парижский маскарад,
Парижское словцо в ходу у мужепесов,
И каждый – острослов, насмешник и философ.
А шутки парижан – про что они? – Про нас!
Мол, немец – идиот. Мол, немец – лоботряс.
Сажаем их за стол и ждем от них совета —
Ужо они с лихвой отплатят нам за это:
Сперва пришли в наш дом морочить нам башку,
Заставят нас потом молиться их божку,
Захватят власть в стране от Рейна до Дуная, —
Компания у них изрядно продувная, —
Прогонят всех князей, князишек и княгинь...
Учи французский всяк! Не след учить латынь. [\[372\]](#)

Это критическое стихотворение ничуть не мешало ему высоко оценивать значение французской науки и культуры. Свои научные труды он писал по-латыни и по-французски (и лишь некоторые – на немецком языке). Лейбниц выполнял миссии тайных советников трех монархов (короля Пруссии Фридриха I, Петра Великого, Венского двора). Несмотря на все заслуги этого выдающегося ученого, он умер

одиноким. В последний путь его провожал секретарь. Интересно и то, что о его заслугах вспомнила одна лишь Французская академия.

Конечно, формулу о «лучшем из миров» трудно применить к Германии, которая в XVIII в. с трудом одолевала преграды и рвы эры средневековья. Феодалная раздробленность губительно сказывалась на духе и культуре народа. От «Священной империи» остались жалкие лохмотья. Между Верхней и Нижней Германией существовали разногласия не менее острые, нежели между Севером и Югом Соединенных Штатов Америки. Прусское государство было откровенно милитаристско-крепостническим, являясь «самой рабской страной в Европе» (Лессинг). Страна лежала почти что нагой. В то же время немецкие князья, писал Энгельс, «не способны на что-либо хорошее, даже когда они просвещены» («Заметки о Германии»).



Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1717).

Писатель Э. Гофман запечатлел в «Коте Мурре» картину той Германии. Иные государства можно обозреть буквально с бельведера дворца при помощи подзорной трубы (от края и до края). Владетельные особы забавлялись коллекционированием картин, слушали изысканную музыку, одевали «в кожу и золото всю

наиновейшую литературу». К тому же, имели свой придворный штат, канцлера, финансовую коллегия и так далее... Князю такого игрушечного государства, однако, ничто не мешало пользоваться в обществе «славой человека утонченной образованности, покровителя наук и искусств».^[373] Культура на рубище народа.

Конечно, эту фразу нельзя понимать буквально... И все-таки князья, герцоги, графы, бароны жили припеваючи, в основном, за счет своего народа. По рассказам современников, они каждый день меняли одежды. Любой князек, средней руки владетель округа, многие общины соревновались друг с другом на почве моды. А властительные особы заботились отнюдь не о благосостоянии жителей, и не о достижениях культуры, а о... лидерстве в области моды. Блистательная Франция, державшая тут первенство, не давала немцам покоя.

Магистр Вестфаль яростно возмущался отставанием Германии в данной области (XVI век): «У каждой нации, у каждой страны есть свой собственный костюм, только у нас, немцев, нет ничего своего. Мы одеваемся и по-французски, и по-венгерски, и чуть ли не по-турецки, а по глупости нашей ничего своего придумать не в состоянии. Чего-чего мы не делали за последние 30 лет! Кроили и перекраивали наши панталоны на разные манеры, и такая гнусная и омерзительная одежда вышла из них, что порядочному человеку становится страшно и возмутительно. Ни один висельник не мотается так отвратительно в своей петле, до того не истрепан и не растерзан, как наши теперешние панталоны... Тьфу, какая гадость!»^[374]

Однако несмотря на колоритные сценки и критику, у правителей малоземельной Германии был ряд достоинств. Курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм (1640) стал расселять на своих землях французских, голландских, швейцарских гугенотов, активно способствуя развитию торговли и ремесел. Принят «Потсдамский эдикт» (1685), предоставивший иммигрантам свободу вероисповедания. Это привлекало сюда многие умные головы и капиталы. О тех временах в Потсдаме напоминают «Голландский квартал» и «Французская церковь». Позже этот район станет резиденцией Фридриха Великого, где им заложен будет Сан-Суси.

Эпоха просвещенного Фридриха II (1712–1786) ничем не напоминала жуткие времена его отца, Фридриха Вильгельма I (1688–

1740), который, как известно, органически не терпел ученых, науки, высшую школу, равно, впрочем, как и культуру. Не случайно же он получил у современников малопочтенное прозвище – «фельдфебель на троне». К примеру, Фридрих Вильгельм мог с легким сердцем заплатить за великана-ирландца для своего полка 9 тысяч талеров, что значительно превышало годовой бюджет Кенигсбергского университета. Маневры он предпочитал научным поискам и диспутам. Единственный университетский диспут, который он почтил своим вниманием, был организован по его личному приказу на тему «Все ученые – болтуны и балбесы». Из книг он признавал лишь Библию и воинский устав.

Правда, он же первым в Европе создал профессиональную армию, в которой старался установить порядки и дисциплину римских легионеров. Войска его отличались невиданной маневренностью. Скорость их передвижения казалась немыслимой (лишь русские могли с ними соперничать). Заслуживало внимание и его отношение к армии. Фридрих обожал своих солдат, говоря, что добрый воин стоит дюжины «самых красивых девок». Молодцы были все как на подбор (6–7 футов ростом при 5-футовом короле). Театры же он называл храмами сатаны. Берлин перестали при нем именовать Афинами и прозвали Спартой. Он яростно ненавидел всех бюрократов, интеллектуалов, французов и евреев... Несмотря на создание мощной армии, прусскому королю так и не удалось всерьез опробовать её мощь. Эпоха была на удивление мирной. Можно сказать, что он угодил не в ту фазу (не в «фазу Марса»). Тем не менее, своему сыну, вступившему на царствование, он заповедывал: «Фриц, всегда держи наготове большую и хорошую армию, если хочешь сбересть свое королевство».

Его сын Фридрих II (1712–1786) был флейтистом и поэтом. Он ненавидел отца «как злейшего врага». И, согласимся, было за что... Фридрих-Вильгельм не жалел сил, чтобы сделать жизнь наследного принца сущей каторгой. Он запрещал сыну и дочери чтение свободной литературы, занятия музыкой, запрещал даже видеться с матерью-королевой. Обнаружив однажды потайные полки с книгами, французскими кафтанами, нотами и халатами, этот самодур в ярости побросал все это в огонь. Французов он считал безбожниками и старался оградить сына от влияния их культуры. Юношу обложили шпионами, которые следили буквально за каждым его шагом.

Однажды он застал сына в лавке книгопродавца Шпенера за изучением рисунков по искусству и «Исторического лексикона». Король рассвирепел, чуть было не устроил всеобщего погрома и заявил: «Все эти печатные глупости не должны занимать принца. Есть вещи гораздо более полезные для изучения – например, рекрутская школа и боевые порядки». Издателю же прямо было сказано, что, пока король жив, тот не получит разрешения печатать в Пруссии злостное французское чтиво. Принц после ухода Фридриха-Вильгельма ответил тому: «Ты получишь это позволение, когда Бог пошлет мне счастье лишиться отца». Юношу оскорбляли и унижали, как только возможно. Заставляли нести все тяготы капральской службы. При этом садист-папаша частенько подтрунивал над сыном в таком духе: «Если бы со мной так обходился мой отец, я давно бы убежал из Пруссии. Но для этого нужны твердость духа и сила воли, которой в моем наследнике нет». В итоге сын не выдержал всех этих иезуитских пыток и написал к английскому королю, прося дать ему при дворе приют и защиту. Однако попытка побега через Францию провалилась и принца схватили. Арестовали и казнили одного из его друзей – поручика Катте. Эта же участь ждала сына. Против казни принца воспротивилась вся Европа, да и собственная знать Пруссии. В итоге сын, будущий Фридрих Великий, сохранил голову, вместе с ненавистью к папаше. ^[375]

Впоследствии его назовут «эпикурейцем на троне». Он и в самом деле тянулся ко всему разумному и талантливому. Его посещал Вольтер. Здесь нашел прибежище гонимый Ламетри, обрели пристанище многие ученые века Просвещения. Он был невысокого мнения о европейских монархах (клея их как «жестоких тиранов»), а Александра Македонского так и просто считал разбойником. Фридрих преклонялся перед французской культурой (его воспитательница француженка). Гостивший у него Вольтер, обожавший распространять гадости о собеседниках, чьим покровительством он к тому же пользовался, скажет о дворе Фридриха II: «Здесь по-немецки говорят только с лакеями и лошадьми». При нем половину мест в Берлинской академии наук и словесности заняли выходцы из Франции и Швейцарии.

И все-таки было бы ошибкой связывать ход Немецкого Просвещения лишь с покровительством королей и властителей. Как

правило, их резиденции не всегда были культурными центрами страны. Таковыми были не Потсдам, а Берлин, не Дрезден, а Лейпциг (Штутгарт, Тюбинген, Геттинген, Гамбург). Достижения немецкой литературы нелепо увязывать с Фридрихом II. Немецкое Просвещение развивалось «вне сферы интересов государей, хотя и на их глазах». Правда, король Пруссии удачно сочетал литературно-музыкальные и военные способности. Он с лихвой сумел восполнить ратные томления своего батюшки, провоевав 28 лет подряд. Полки его, словно стальные смерчи, носились над полями сражений, повергая в трепет австрийцев и французов. Его батальоны вели огонь с немыслимой прежде скорострельностью (стрелок делал 6 выстрелов в минуту). Военно-тактические приемы Фридриха II до сих пор изучают в военных академиях всего мира. В одном из стихотворений этого талантливейшего полководца-поэта было сказано (очень верно и очень ко времени):

Чтобы государство не теряло своей славы,
И на лоне мира должно
Заниматься суровой военной наукой.

Колоссальные усилия по обустройству державы и прусской армии требовали огромных затрат (ему принадлежат слова: «Земной шар не крепче покоится на плечах Атласа, как Пруссия на своей армии»). Заметим, что он бросил на эти цели как государственную казну, так и собственное состояние (что совершенно немыслимо для наших правителей). Из казначейства на это ушло 6 миллионов талеров. Пруссия ввела и поземельный побор, давший еще полтора миллиона талеров. Вся серебряная утварь из дворца Фридриха (канделябры, люстры, камин, столы, духовые инструменты) была обращена в деньги. Глубокой ночью 12 гайдуков тайно переносили это в коробках и тюках в лодки, отправляя на монетный двор.

Его дипломатические усилия направлены на то, чтобы установить если не дружеские, то лояльные отношения с Россией. В те времена Россия в своей внешней политике стремилась опереться на «морские державы» (Великобританию с Голландией), господствовавшие на море, в чем крайне нуждался неокрепший еще торговый и военный флот

России. Несмотря на попытки прусского короля склонить русских на свою сторону, те устами канцлера А. П. Бестужева-Рюмина заявили, что видят во Фридрихе II соседа, что «всех опаснее» и что его «натуральным неприятелем России почитать должно». Мы первыми пошли и на разрыв. Психологически это можно объяснить недоброй памятью, сохранившейся в умах и сердцах нашего народа («подвиги псов-рыцарей»). Однако и надежды на то, что англичане будут надежными союзниками России, не оправдались. Все, чего желали тогда хладнокровные, хитрые и циничные британцы, так это заполучить в 1755 г. в распоряжение короля Георга II 60-тысячный русский корпус, который мог бы помочь им в соперничестве с французами. [\[376\]](#)

В то же время и политика прусского короля была захватнической. Страна вела постоянные войны и несла страшные потери. В итоге войн Пруссии со странами Европы (население Пруссии составляло 6 млн., у противников – 100 млн.) полмиллиона пруссаков были убиты, ранены, попали в плен. Однако при этом территория Пруссии в результате его правления почти удвоилась. Иные скажут: «Побед без жертв не бывает»... Столь внушительные горы трупов дают современникам «все основания» назвать его «Фридрихом Великим». Хотя совершенно ясно, что даже захват богатой Силезии не стоил столь чудовищных жертв. Однако политика завоеваний и господства была определяющей среди мировых держав в то время.

После сокрушительного поражения Пруссии, нанесенного ей русскими и австрийскими войсками, союзники вошли в Берлин. Фридрих удалился в Сан-Суси («Без забот»), где в загородной резиденции посвятил себя музыке, искусству, литературе (у него была прекрасная библиотека). Здесь им написана 36-томная история церкви, а одна из его мелодий на протяжении 50 лет была гимном Испании. В самом деле, лучше бы, если б «Старый Фриц» писал обычную музыку, а не предавался музыке сражений. Так он провел оставшиеся 20 лет жизни и ушел в иной мир с мрачным пророчеством: «Государство придет к полному разорению».

И все же его не случайно называют «Великим»... При его правлении стал наблюдаться рост торговли, обозначился расцвет промышленного и мануфактурного быта, улучшилось состояние дорог и водных сообщений. Науки и искусства, отмечает Ф. Кони, убитые в

Пруссии суровым царствованием Фридриха-Вильгельма, стали процветать... Со всех концов просвещенного мира сюда устремляются известнейшие ученые, литераторы, артисты. Король установил значительные денежные премии, дабы поощрить к труду и состязанию членов академии. Люди науки заняли самые почетные места в его королевстве. Умственный труд стал цениться тут чрезвычайно высоко и почитался как дело особой государственной важности. Вспомним, что Шопенгауэр выделял три вида аристократии: 1) по рождению и по чину; 2) денежную аристократию; 3) аристократию ума. Последних он считал наивысшей. Так, вот Фридрих Великий умел, как никто иной, воздать должное последней. Когда во время одного из празднеств, на которое был приглашен и Вольтер, гофмаршал предложил тому занять место рядом с министрами и генералами, король попросил Вольтера занять еще более высокое место, рядом с владетельными князьями и наследниками («царское место»). При этом он во всеуслышание заметил: «Выдающиеся умы стоят наравне с государями».^[377]

Он делал все возможное, чтобы улучшить положение народа. Фридрих издал указ, запрещающий помещикам присоединение крестьянских земель к так называемым фольварочным землям. Он заявлял: «Я не хочу, чтобы с моих подданных в провинциях сдирали кожу по произволу» (1764). Процесс обезземеливания крестьян тут не приобретал столь катастрофических масштабов, как в других странах. Те охотнее подчинялись королю, чем помещикам.



Фридрих II, король Пруссии (1712–1786)

Решительно он повел себя и в отношении чиновничества... В адрес генерал-директории им направлено строгое распоряжение, в котором было сказано: «До меня доходят частые слухи, что многие из подданных моих приносят самые горькие жалобы на бесконечные прижимки от чиновников, что они ими разорены вконец и часто приведены в такое положение, что не только должны отказаться от своей собственности, но даже бежать из отчизны. Притом эти люди тем несчастнее, что на все свои законные жалобы не находят суда и помощи в высших инстанциях, потому что кригскамера и палата уделов поставили себе за правило не исправлять, а защищать своих подчиненных. Я нисколько не расположен терпеть такое бесчинство и, хотя не хочу на первый случай лишать чиновников законных выгод купленных ими мест, но в то же время не дозволю им различными изворотами и под самыми бессовестными предлогами высасывать кровь моих подданных, не допущу, чтобы они доводили до нищеты, присваивали себе их достояние и даже изгоняли из родины. Посему повелеваю: генерал-директории впредь не смотреть вскользь на жалобы подданных, подаваемые на чиновников..., а виновных чиновников, несмотря на их звания, значение и место, тотчас бы

отрешали от службы». Мудрый приказ, который, конечно, не мог остановить всех злодеяний. Остерегался он выбирать неспособных министров «в качестве орудия своей воли».

Академия наук получила особый статус и большие привилегии... Первое заседание Академии было открыто в королевском дворце, в Берлине, под председательством главы государства. Как известно, и сам Фридрих был отнюдь не чужд литературных способностей. Он сочинил «Историю своего времени» (о войнах) и гораздо более мирный труд – комедию «Школа света», представленную в новом оперном театре. В письме к Вольтеру Фридрих выразил, если угодно, суть государственной политики. Он писал: «Много сделано и еще более замышляю. Работаю обеими руками: с одной стороны для войска, с другой – для народа и наук», и далее высказал свое видение роли правителя: «я весь принадлежу государству».^[378]

Однако и у Фридриха были существенные просчеты в политике... Во-первых, он так и не сумел (или не захотел) договориться с Россией. В итоге, русские войска (вместе с австрийскими) вошли в Берлин в 1760 г. Причем, сам Фридрих в откровенном разговоре с приближенными признался: «Спасибо русским. Именно они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице». В обычном для него льстивом и лживом духе высказывался и Вольтер. «Ваши войска в Берлине, – сообщал он русским друзьям, – производят более благоприятное впечатление, чем все оперы Метастазии». Более честно и откровенно сказал Л. Эйлер (скрипя сердцем): «Впрочем, я всегда желал, что если бы когда-либо суждено было Берлину быть занятым иностранными войсками, то пускай это были бы русские...»^[379]

Во-вторых, далеко не все в реформаторстве Фридриха можно оценить со знаком «плюс» (даже там, где он, казалось, мог рассчитывать на признание его заслуг). Ф. Меринг писал: «Наиболее резко проявилась недалёковидность внутренней политики Фридриха как раз в тех областях, в которых от него, как философа и поэта, можно было ожидать лучшего понимания своих обязанностей. Его отец презирал образование и науку, но он понимал, что духовное развитие содействует поднятию благосостояния и этим улучшает состояние финансов. Он основал военные и народные школы; он ввел, по крайней мере на бумаге, всеобщее обязательное посещение школ. При

Фридрихе все это поставлено было иначе и гораздо хуже. Он очень мало заботился о народных школах, так что можно сказать – он попросту уничтожил их. Незадолго до Губертсбургского мира он выписал из Саксонии, классической своего рода страны немецкого школьного дела, в Пруссию восемь школьных учителей... но потом король приказал, чтобы его солдаты-инвалиды занимали места школьных учителей, так что «если их предшественники были не совсем незнающими людьми, то ученики знали больше, чем учителя, поседевшие под ружьем». Все это не мешало новейшим византийцам провозгласить Фридриха «героем просвещения в области школьного образования».

Реформы в области высшего образования, действительно, оказались довольно куцыми и противоречивыми... Читаем у того же Меринга: «Высшие школы были так же жалки, как и народные. Достаточно бросить взгляд на нищенское положение четырех университетов, находившихся в стране. Дьюнсбург имел 5.678, Кенигсберг – 6.920, Франкфурт-на-Одере – 12.648 и Галле – 18.116 талеров дохода. Жалованье профессоров было жалкое, научные институты находились в совершенном упадке. Об единственном замечательном человеке среди прусских университетских профессоров, о Канте из Кенигсберга, Фридрих не знал, хотя не нужно забывать, что создавшее эпоху главное произведение Канта появилось только в 1781 году и сделалось известным только в 1789 году, то-есть после смерти Фридриха... Прусские подданные при этом должны были ограничиться этими четырьмя источниками научных познаний; по неоднократным приказам Фридриха занятия в не-пруссских университетах, даже если они продолжались лишь один семестр года, наказывались пожизненным запретом занимать какие-либо гражданские или церковные должности, а для дворян – даже лишением имущества».^[380] Говоря нашим языком, он поднял «железный занавес» в своих землях. И все же напомним, что именно с воцарением Фридриха II отменена была цензура, усилена поддержка университетского образования. В страну возвратился Х. Вольф, заслугой которого стала систематизация философских знаний. Вольф создал свою философскую школу, а его учение приобрело наименование «популярной философии», центром которой стал Берлин.

Вклад Фридриха велик. Ведь, далеко не в лучших условиях им создана основа для усиления Пруссии, а тем самым и для создания будущей единой Германии. Правильнее всего, если мы послушаем того, кто имеет больше чем кто-либо прав говорить о роли этого выдающегося политика. Отто фон Бисмарк писал: «Фридрих Великий не оставил потомства, но его роль в нашем прошлом должна действовать на каждого из его преемников, как призыв быть подобным ему. Он обладал двумя стимулирующими друг друга способностями: талантом полководца и здравым бюргерским пониманием интересов своих подданных. Без первой способности он не был бы в состоянии постоянно проявлять вторую, а без второй – его военные успехи не обеспечили бы ему того признания потомства, которым он пользуется ныне; хотя о европейских народах в общем можно сказать, что самыми популярными и любимыми королями считались те, которые завоевали для своей страны самые окровавленные лавры, – иногда вновь утрачивая приобретенное. Карл XII упрямо вел своих шведов к закату их могущества, и все же его портрет, как символ шведской славы, чаще встречается в домах шведских крестьян, чем портрет Густава-Адольфа. Миротлюбивые гражданские благодеяния, оказываемые народу, как правило, не так воодушевляют христианские нации Европы, как готовность победоносно жертвовать кровью и достоянием подданных на поле битвы. Людовик XIV и Наполеон, чьи войны разоряли нацию и завершились малыми успехами, остались гордостью французов, а гражданские заслуги других монархов и правительств отступают по сравнению с ними на задний план. Мысленно восстанавливая историю европейских народов, я не нахожу ни одного примера, когда честная и самоотверженная забота о мирном преуспевании народов оказывала бы на эти народы большее впечатление, чем военная слава, выигранные сражения и завоевания наиболее упорно сопротивлявшихся земель».^[381]

Такова историко-культурная обстановка в Германии в описываемую эпоху, которую немцы часто называют периодом «бури и натиска» (Sturm- und Drangperiode). Воздав ранее должное просветительскому гению Франции, всмотримся теперь чуть пристальнее в лик ученой Германии. Немцы по самой своей природе призваны быть учителями и учениками. И пусть им не все удастся, пусть сами они порой блуждают в потемках, но этот дух «идейного

пионерства» неотделим от них. Гердер говорил, что девизом немцев могли бы быть слова «Sic vos non vobis» (лат. «Так вы сделали, но не для себя»). Кому вручить пальму «отца немецкого Просвещения»? Если Лейбница считают «отцом науки», то «отцом» философского просвещения в Германии был Х. Вольф (1679–1754), хотя о его трудах и говорят иногда как о «поверхностной систематизации учения Лейбница». Его ученики и последователи занимали большинство важнейших кафедр в германских университетах, а вся система образования основывалась на его философских принципах. Популярности его работ способствовал их ясный доходчивый язык. В основе его философии лежала идея торжества разума. Заголовки трудов Вольфа начинались со слов «разумные мысли». В мыслящем рассудке и достигаемом им знании узрел он основное средство просвещения, образования и воспитания людей.

Вольф желал видеть в философах самых главных «учителей» рода человеческого, повернув философию в русло решения практических (прагматических) задач. Своим девизом он избрал латинское изречение «Ad usum vitae» («для житейской надобности»), призывая к самостоятельному применению разума (это выдвинуто им еще до кантовского «Sapere aude»). Фальшиво-благочестивой набожности церковников он предпочел разумно-чувственную жизнь (за что и был изгнан из Галле). Без Вольфа не появились бы Гердер, Фихте, Шиллер, Гете, Гегель, Бетховен. С его помощью удалось расколдовать опасные лютеровские чары. Если Лютер пытался удержать немцев в прокрустовом ложе протестантизма, то Вольф направил их внимание от путаника-Бога к «мировой мудрости» («Welt-Weisheit»). С его именем связывают начало умственного этапа, зрелой или высокой стадии немецкого Просвещения. Х. Вольф стал членом пяти крупнейших европейских Академий (включая и Российскую).^[382]

Имя Вольфа, философа-рационалиста, профессора университетов в Галле и Марбурге, было широко известно и в России... У Вольфа «учился» и М. В. Ломоносов. Перу этого немецкого философа принадлежали книги и руководства, по которым студенты обучались более ста лет. В 30-40-х годах XVIII века в Европе получил широкое распространение «математический метод» обучения Вольфа, основу которого составляло не механическое зазубривание, а логическое усвоение знаний. Ученый известен энциклопедической

образованностью. Его лекции по различным отраслям знаний, по общему мнению, были великолепны. Им создано и новое философское направление («вольфианство»). Ломоносов, взяв все самое ценное у своего учителя (когого он обычно называл «славным Вольфом» и замечал, что «многим ему обязан»), пойдет в науке все-таки своим путем. В дальнейшем Германия будет регулярно поставлять опытные кадры для молодой русской науки и высшей школы.

Германия в XVIII в. играет заметную роль и в вопросах теории искусств... Интересной фигурой стал Иоганн-Иоахим Винкельман (1717–1768), родившийся в прусском городе Стендале. Город испытал на себе трагические последствия войн, пожаров и контрибуций (в нем оставалось 3 тысячи жителей). Образование в ту пору не было массовым. Даже самой низшей ступенью образования, как отмечает Б. Пшибышевский, автор очерка о Винкельмане, охвачено немного людей. В основе преподавания лежало вызубривание церковных песен, катехизиса, библейских псалмов и изречений. Ввиду отсутствия опытных и подготовленных педагогов учителями нередко оказывались портные, кузнецы, ремесленники, инвалиды войны. В латинской школе, куда попадал ребенок, немецкий язык был запрещен. Считалось, что его изучение и использование в разговорной речи «само по себе легкомысленно и вредно детям». Министр просвещения при Фридрихе II Цедлиц в своей речи в берлинской Академии наук высказался весьма откровенно по отношению к образованию: «Нельзя метафизическое (sic!) воспитание народа развивать слишком далеко. Если бы народ начал постигать причины всего, то стал бы критиковать не одно распоряжение, рассматривая его со своей точки зрения. Необходимо простому народу внушать послушание и только».

Уже в средней школе Винкельман обратил на себя внимание учителей своими способностями и неутолимой жаждой познания. В те времена дети бедноты (его отец – мелкий ремесленник) сами зарабатывали на учебу, образуя «курренды», т. е. хоры, бродящие по улицам и зарабатывающие себе на жизнь и учебу песнями. Родители Винкельмана уже во время его обучения оказались в городском приюте для бедных, и юноша по сути дела был вынужден содержать их. Счастье, что на его успехи в науках обратил внимание сам ректор. Он же помог ему поступить в Кельнскую гимназию в Берлине. Тогда Берлин слыл культурной провинцией (1737). О городе

говорили, что изящные искусства «в нем погибают, а науки эмигрируют, в то время как место их занимают чванное невежество и грубость». Та же картина царила в Прусской академии и в Академии искусств и механических наук.



Лукас Кранах. Портрет дамы. 1564.

В Берлине Винкельман начал изучать греческие древности. Поклонником греков оказался и проректор гимназии Х. Дамм. Под его руководством Винкельман узнал не только язык Гомера, Анакреона, Софокла, но и язык своего народа. В 1738 г. он решил поступить в университет в Галле, считавшийся в то время едва ли не первым в Германии (широкой известностью пользовались также университеты в Лейпциге и Кенигсберге). В XVIII в. немцы говорили даже так: «Nalam tendis, aut pietista, aut atheista reversueris» («Поедешь в Галле, вернешься или пиэтистом или атеистом»). Здесь преподавали Х.Томазиус и Х. Вольф. Его очарованность античностью была столь велика, что он даже принял решение перейти в католичество (только за обещание иезуитов поселить его в Риме). Как видим, Рим стоит «обедни»! Винкельман затем пишет и свою знаменитую работу «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» (1754). Вот что говорит он о целях и задачах искусства: «Все искусства имеют двоякую конечную цель: они должны

услаждать, а вместе с тем поучать. Поэтому многие из величайших мастеров пейзажной живописи думали, что они лишь наполовину удовлетворяют требованиям своего искусства, если пейзажи их останутся без фигур. Кисть, которой работает художник, следует предварительно пропитать разумом, подобно тому как кто-то сказал про стилос Аристотеля: он оставляет для размышления больше того, чем показал глазу, и художник этого достигнет, если научится не скрывать свои мысли под аллегориями, а облекать их в аллегорическую форму. Если у него будет сюжет, избранный им самим или предложенный ему сюжет, который облечен или может быть облечен в поэтическую форму, то искусство вдохновит его и пробудит в нем тот огонь, который Прометей похитил у богов. У знатока будет над чем призадуматься, а обычный любитель научится думать». Быть может, это и есть самое важное – книга, картина, музыка, архитектура должны учить думать.^[383] Так греческое искусство целиком и полностью овладело им, подтверждая тем самым слова Франца Кафки: «Искусство всегда дело всей личности».

В немецкой культуре все заметнее критические настроения. Их выразил писатель К. Виланд (1733–1813) в «Золотом зеркале» (1772), этом немецком проекте «Декларации прав человека». Ж. Жорес видел в этой книге «отблеск учения Руссо». Известен и другой роман Виланда – «История абдеритов». Если быть точным (*ad unguem*, лат. «до ногтей»), «Историю Агатона» К. Виланда (1767) считают первым философско-воспитательным романом. Гете по поводу книг Виланда выразился так: «Это были нравы восемнадцатого столетия, но только перенесенные в страну греков или в страну фей». Знаток античности, Виланд, подобно Винкельману, считал древнегреческую культуру важной для немецкого искусства. В «Зеркале» содержатся самые общие мысли о воспитательных нуждах общества, которым управляет некий просвещенный монарх Тифан (Иосиф II), согласующий свои поступки с велениями разума и добровольно подчиняющийся верховной власти закона. «Права на счастье» лишена большая часть людей, чей удел – услужение богачам или работа на фабриках. «Золотое зеркало» немецкой буржуазии оказывалось на поверку (по Виланду) кривым зеркалом!

Виланд немало сделал для появления того немецкого литературного языка, который впоследствии был прославлен

Шиллером и Гете. Не будет большим преувеличением сказать, что Виланд совершил для Германии ту же работу, что некогда для Франции сделали Монтень с Лабрюйером. Виланд писал: «мои излюбленные характеры – Сократ и Арлекин». Жизнь дала ему богатый материал, ибо он служил в магистрате г. Бибераха. Там у него не было ни друзей, ни библиотеки. А это для пишущего и думающего человека – истинная трагедия. Профессорство в Эрфуртском университете также не радовало. Виланд не нашел в студентах отклика: «Что за люди, что за умы, какие нравы, какое невежество, отсутствие мысли и сердца, и вкуса! И мне надлежит образовывать из них людей, из этих людишек!»

В конце XVIII в. в области социальной и политической мысли Германия являла собой, говоря словами Гете, «рухлядью заваленный чулан»... Энгельс же характеризовал ее структуры этого периода как «разлагающийся труп отживших учреждений». Однако в области культуры намечались перемены. В «Истории абдеритов» (вымышленном государстве) Виланд едко высмеивал нравы современного ему немецкого общества. Позже он скажет: «Абдера везде... и все мы в какой-то степени дома в Абдере». В романе даны гротескные фигуры членов абдерского совета (сената), которые никогда не прислушивались ни к чьим разумным доводам, но «присоединялись к тому, кто дольше и громче кричал, или же к тому, чью партию они поддерживали». Во всем великолепии показан и славный институт советников архонта («множество толстых советников», одновременно потирающих «свои пустые лбы»). Хорош и правитель-архонт, что «ни одной книги не прочел за всю свою жизнь». Вопросами исключительной государственной важности заняты многие академики: им было поручено «скорейшим образом воспрепятствовать чрезмерному размножению лягушек». Главная заповедь академиков – «не касаться щекотливых вопросов», что повредило бы их положению. Эти мастера, охочие *wasser im morser stoben* (толочь воду в ступе), есть всюду. Они-то и вызывали его неприятие. Виланда в Германии называли «немецким Вольтером». [\[384\]](#)

В области педагогики в Германии заметное место занимали Базедов (1723–1790), Кампе (1746–1818), Мезер (1720–1794), названный «немецким Франклином» и другие. С именами Кампе и Базедова связывают систему образования, основанную на религии, морали, наглядности методов преподавания. Базедов внедрял ее в

основанном им учебном заведении – «Филантропиуме» (1774), который затем возглавил Кампе. Правила «Школы филантропии для учителей и учеников»: никаких линеек, никаких наказаний, царство дружбы и благожелательности, радостный труд, обучение путем игры, занятия, приносящие удовольствие и т. д. Отношение к новой системе было неоднозначным. Ф. Клопшток и О. Мирабо решительно ее одобряли, видя в ней живительный свет. С другой стороны, И. Гердер называл Базедова не иначе как «слепым Геростратом». Г. Форстер отозвался о Кампе столь же резко: «Удивительно, если с такими воспитателями в Германии еще останутся настоящие люди». В этой критике безусловно есть доля весьма обоснованного скептицизма по отношению к ценностям той прагматической буржуазии, что шли на смену феодальным установкам.^[385]

Таковой предстает Германия второй половины XVIII в. Вот как оценивал состояние ума и культуры в немецких землях Ф. Энгельс: «Признаки жизни только в двух областях: в военном искусстве и, с другой стороны, – в литературе, философии и добросовестном, объективном научном исследовании. В то время как во Франции уже в XVIII веке преобладают политические писатели первого ранга, – в Германии все сводится к бегству из действительности в идеальные сферы. Идея «Человека» и развитие языка; в 1700 г. – еще варварство, 1750 г. – Лессинг и Кант, а вскоре затем – Гете, Шиллер, Виланд, Гердер; Глюк, Гендель, Моцарт».^[386]

Готхольд Лессинг (1729–1781) – основоположник немецкой классической литературы, одна из главных фигур немецкого Просвещения. Его перу принадлежат: первая «мещанская» драма «Мисс Сара Сампсон» (1755), драма «Натан Мудрый» (1799), «Лаокоон» (1766). Он окончил одно из лучших немецких учебных заведений (в Мейссене). Учителя оценили его ум как «предрасположенный к живому восприятию и усвоению любой области знаний». Юноша подавал блестящие надежды и родители ожидали увидеть его профессором или пастором. Вскоре он поступил в университет Лейпцига, привезя с собой наброски комедии «Молодой ученый». Однако изучение классических древностей и философии не смогло вполне удовлетворить пылкую молодую натуру будущего литератора. Ей нужны любовь и страсти.

Лейпциг тогда называли «малым Парижем» (столько тут было всяких соблазнов). Гете назвал город «маленьким Парижем» в «Фаусте». Это видный культурный и торговый центр (более 800 лет знаменитой Лейпцигской ярмарке). До родителей доходят смутные слухи, что сын их напропалую волочится за актрисами. В письме к матери он откровенно скажет: «Я понял: книги делают меня ученым, но никак не человеком. Я решил покинуть свою келью и пойти ко мне подобным»... Вскоре он принимает решение отказаться от чиновничьей или академической карьеры, добывая хлеб насущный пером. Конечно, для человека, учившегося в Лейпцигском и Виттенбергском университете, не очень то славное занятие: служить секретарем прусского генерала во времена Семилетней войны. Немногим лучше и место библиотекаря в небольшом городке Вольфенбюттель. Однако первое его произведение «Сара» принесло громкий успех. Зрители на представлении пьесы лили потоками слезы по поводу смерти девушки из доброй семьи, отравленной соперницей. Тогдашний зритель мало чем отличался от нынешнего. *Beati pauperes spiritu!* (лат. «Блаженны нищие духом!»). В философии он был убежденным, но тайным последователем Спинозы, чьи книги были запрещены во многих немецких государствах. Лессинг полагал, что «каждый гений – прирожденный критик». Его великая заслуга состояла в том, что он сумел воспитать многие поколения поэтов, критиков и философов. «В великой борьбе, целью которой было возрождение немецкого народа, не только план битвы принадлежал ему, но и победа была одержана им», – писал Чернышевский. Представляется, что Ф. Меринг все же крайне необоснованно лишил его права называться «просветителем XVIII века» или, на худой конец, «культурником XIX». [\[387\]](#)

Для нас же он был и остается предшественником Гете и Шиллера... Лессинг обосновал законы поэзии, выделив оную в семье родственных ей искусств. Русский писатель Н. Г. Чернышевский считал, что со времен Аристотеля никто не понимал так верно и глубоко сущности поэзии, как Лессинг. С конца 1750-х гг. он приобрел славу первого литературного критика в Германии. Особый интерес представляет собой его труд «Лаокоон» (1766), о котором критик Н. А. Добролюбов сказал так: «С появлением «Лаокоона» жизнь в своем течении, а не бездушная форма признана существенным содержанием

поэзии». Лессинг вдохнул жизнь в поэтические формы (в «Лаокооне» ощущается влияние идей Э. Берка). Фигура Лаокоона (жреца, убеждавшего граждан Трои не вносить в город легендарного деревянного коня, в котором таилась гибель, и за это задушенного гигантскими змеями, посланцами богов) давно привлекала внимание писателей, художников, скульпторов древности. Родосские скульпторы Агесандр, Афинодор, Полидор воздвигли в память о герое скульптурную группу «Лаокоон и сыновья» (копия в Риме, в Ватиканском музее). Среди утраченных произведений Софокла была пьеса «Лаокоон». На этот же сюжет написана картина испанского художника Эль Греко. В плане воспитания вкуса «утонченных европейцев» значение работы Лессинга исключительно велико. Она приблизила античность к глазам современника, а современника к древним богам. В ней прямо были указаны ориентиры, к которым должны стремиться люди искусства и литературы, науки и педагогики, подпитки и экономики для воспитания должного вкуса. В оценке древнегреческого общества Лессинг перекликается с И.-И. Винкельманом, говоря о том, что в Греции «в одном лице соединялись художник и мудрец».^[388] И все же Лессинг как «наставник нации» представляется архаичным и тяжеловесным рядом с философом и историком Гердером. В нем вообще ощущается некая еврейская отчужденность от немецкой нации (знаменательна и его фраза, что «мы, немцы, еще не нация»).

Иное дело Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) – подлинный немец, настоящий Вotan. Окончив школу, он поступил в 1762 г. учиться на богословский факультет Кенигсбергского университета, где имел счастье слышать самого Иммануила Канта, восходящую звезду немецкой философии. Кант оказал на него огромное влияние. Гердер будет не раз вспоминать об этих лекциях: «Его (Канта) открытое, как бы созданное для мышления чело носило отпечаток веселости, из его уст текла приятная речь, отличавшаяся богатством мыслей. Шутка, остроумие и юмор были средствами, которыми он всегда охотно пользовался, оставаясь серьезным в момент общего веселья. Его публичные лекции носили характер приятной беседы». Право слово, с таким лектором и хлеб науки не покажется слишком черствым...



Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803).

Ясная и четкая логика рассуждений одного дополнялась общением с другим талантливым человеком – Иоганном Георгом Гаманом (неплохим литератором и теологом). В 1764 г. Гердер расстался с Кенигсбергом и переехал в Ригу, где стал помощником ректора церковной школы. Педагогическая деятельность его была столь успешной, что его пригласят преподавать в Петербург. Хотя он любезно и отклонил это предложение, с тех пор он уже станет, по выражению биографа, «горячим русским патриотом».^[389] Вообще говоря, в Гердере и в самом деле жил серьезный сторонник восточно-христианской цивилизации... Мы уже ранее отмечали его стойкую неприязнь к католическому Риму. Он считал, что «Германия больше других наций пострадала от этого папского варварства». В этом его взгляды наверняка сошлись бы с мнением Русской православной церкви, да и большей части русского народа. У Гердера мы встретили высказывание, которое никогда прежде не приходилось слышать из уст «западника»: «Если бы Европа была рабыней греческого Константинополя вместо латинского Рима?! – Все же это было бы куда лучше для нашей религии, учености и языка».^[390]

После того как он в течение пяти лет занимал пост помощника ректора церковной школы в Риге (1764–1769) и посещения им Парижа, где встречался с Даламбером и Дидро, Гердер возвращается в родную Германию. В Страсбурге он знакомится с Гете. Эта встреча имела для

обоих громадное значение. Гете позже признает, что благодаря Гердеру «познакомился со всеми новейшими идеями, со всеми направлениями, которые из этих идей проистекали». Центральное произведение Гердера – «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791). Гердеровская «История» стала первой основательной классической работой, с которой Германия вышла на арену мировой историко-философской науки. Немец стал вровень с французом, итальянцем, англичанином и в сфере мысли. Это – своего рода исторический Трафальгар, некие философские Канны, где немцы двинули вперед свои могучие когорты.

Перед нами предстает широкая картина истории человеческой культуры... Хотя сам автор и утверждал, что нет ничего менее определенного, чем слово «культура», и нет более обманчивого, нежели прилагать его к целым векам и народам, тем не менее, он неплохо справился со подобной грандиозной задачей. Попытка автора «измерить всю историю культуры» означала прорыв к общей концепции истории и философии развития. Значение книги Гердера огромно и в педагогическом отношении, ибо он вывел немцев из узкого мирка их крохотных княжеств и земель. Гете скажет о книге: «Это произведение, возникшее пятьдесят лет тому назад в Германии, оказало невероятно большое влияние на воспитание всей нации».^[391]

О том, как выглядел Гердер, можно судить по искусному словесному портрету, набросанному Н. М. Карамзиным, посетившим его в Веймаре в июле 1789 года. В «Письмах русского путешественника» тот так описывает его: «Гердер невысокого роста, посредственной толщины и лицом очень не бел. Лоб и глаза его показывают необыкновенный ум (но я боюсь, чтобы вы, друзья мои, не почли меня каким-нибудь физиогномическим колдуном). Вид его важен и привлекателен; в мине его нет ничего принужденного, ничего такого, что бы показывало желание *казаться чем-нибудь*. Он говорит тихо и внятно; дает вес словам своим, но не излишний. Едва ли по разговору его можно подозревать в Гердере скромного любимца муз; но великий ученый и глубокомысленный метафизик скрыт в нем весьма искусно».^[392]

Гердеровские «Идеи к философии истории человечества» читаешь, как поэму, написанную художником. Он кладет на полотно мазок за мазком – и, словно в волшебном сне, перед нами возникают

картины сказочных стран и народов. Королевство Кашмир, скрытое от глаз людских, похожее на рай земной. Здесь высятся горы, которые можно было бы назвать горами невинности (Бернье), текут молочные реки с кисельными берегами. Кашмирцы считаются самыми остроумными и мудрыми из индийских народностей. Они обладают массой талантов (поэзия, наука, художества, ремесла). Они стройны и красивы, а их женщины – идеал земной красоты. Гердер говорит: «История того, как удалось человеку достичь господства в мире, – это история человеческой культуры, и самые некультурные народы причастны к этой истории – вот, можно сказать, самая важная глава в истории человечества». Он определяет и цель нашего земного существования, видя ее в «воспитании гуманности». Что же касается смысла жизни, его ответ ясен и прост: «Человек создан, чтобы чаять бессмертия». [393]

Гердер для немцев стал учителем, спутником жизни, что один мог в вызвать из мрака небытия старые и любимые, казалось бы, давно уже забытые образы. Именно так или почти так его характеризовал немецкий писатель-романтик И. Рихтер, живший на рубеже XVIII–XIX вв. (1763–1825). Своим обращением к Гердеру он заканчивает свою «Приготовительную школу эстетики» (1804): «Он и Гете, только они двое, каждый по-своему, и были для нас воскресителями, или Винкельманами, *поющей* Греции, тогда как все пустословы прошедших веков не сумели развязать уста Филомелы. Гердер был поэмой, сочинен по-гречески, списан с жизни... Не многие отличались той широкой ученостью что он...». [394]

Еще одной заметной фигурой романтизма в литературе стал Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776–1822), автор «Житейских воззрений кота Мурра», «Дон-Жуана», «Щелкунчика», «Золотого горшка», «Крошки Цахес» и других произведений. Гофман на удивление талантлив. Он обладал дарами поэта, писателя, художника, музыканта, ученого. Фантастичный характер его работ закрепил за ним всякого рода странные прозвища («визионер», «сумасшедший», «спирит» и т. д.). Казалось, сама жизнь распорядилась, чтобы он превратился в некий живой призрак.

Родился он в Кенигсберге, и его семья принадлежала к старинному польскому шляхетскому роду (прежде чем стать немцами, они приняли венгерское подданство). Та же примерно история, что с

Дюрером и Ницше. Биографы утверждают даже, что в его жилах текла и капля цыганской крови. В семье – немало юристов. Отец был оригинальным и одаренным человеком, но, увы, награжденным многими пороками, из которых наихудший – пьянство. Мать посещали регулярные приступы истерии. В соединении с фанатичным немецким чистоплюйством это переносилось с трудом. Немцы из порядка сделали культ, но вероятно, даже тут могут быть какие-то разумные границы. Последовал развод. Эрнст остался с матерью. В дополнение ко всем несчастьям им приходилось жить в доме, где выше этажом обитала одна безумная, то и дело оглашавшая окрестности дикими криками. Безумец-сын стал позже писателем. Все это, вместе взятое, не могло не сказаться на состоянии образа мыслей и души Гофмана.

Можно сказать, что «его жизненный путь был предначертан уже в дни его детства». По его собственным словам, детство было подобно бесплодной пустоши. Однако позже он узнает радость творчества, дружбы и привязанности. Образование он получил в Кенигсбергском университете (в 1792 г. там преподавал Кант). Гофман рисует и шлифует свой музыкальный талант. Внешне он напоминал Гомункула – черная шевелюра, орлиный нос, большой рот, срезанный подбородок и проникающие в вашу душу глаза («глаза цвета лунного камня»). Тогда же его посетила и первая любовь.

Гофман много читает – Шиллер, Гёте, Стерн, Свифт. Ирландский писатель Л. Стерн, автор «Сентиментального путешествия по Франции и Италии», наиболее заметно повлиял на его творчество. Он был известен фразой, обращенной к тем, кто считает себя в здравом уме, покидая родину и уезжая за границу. Он объяснял тягу к загранице одной из трех причин: «немощами тела, слабостью ума или непреложной необходимостью».^[395]

Он владел редким даром сатиры. Примеры этого, как драгоценные жемчужины, рассыпаны по всем работам. Что сделало Гофмана столь ироничным? Можно привести десяток причин. Вероятно, сыграло роль стечение факторов и обстоятельств. На «отлично» закончив университет, он получил лишь должность неоплачиваемого ассессора, который должен был жить на скудные средства родни. Днем он судил мелких воришек, вечером писал музыку. Познань – это вам не Берлин, Лейпциг или Дрезден. В Дрездене он посетил картинную галерею, влюбившись в пейзажи Италии. Позже в совершенстве овладел

итальянским языком, выучив заодно венецианский, неаполитанский, сицилийский диалекты. В Берлине часто посещал театр. Как скажет один из его биографов, Гофман «дал Берлину его литературное лицо», через него город словно получил свой «характер». Одним словом, он сделал «для Берлина то же, что Бальзак, в чем-то близкий ему по духу, сделал для Парижа» (Э. Хейльборн). Можно лишь посочувствовать самому Гофману, которому, на наш взгляд, характера-то как раз и не доставало. Что сказать о его чиновничьей жизни? Она скучна и малоинтересна. Он ненавидел ее. Гораздо богаче и интереснее жизнь писателя, хотя подобная раздвоенность может свести с ума любого. Родители отличались различными характерами. Это развило рефлекс раздвоенности и в нем самом. Гофман вынужден вести двойную жизнь, любит двух женщин одновременно. На людях играет одну роль, наедине с собой – совсем иную. Раздвоенность вообще составляла как бы существо той эпохи. Как писал Ф. Шлегель, сами народы «пришли к сознанию своего внутреннего раздвоения», которое делает идеал недостижимым.

Закономерно, что он же первым ввел в литературу и образ двойника. Двойники у Гофмана имеют не только личный, но и социальный облик. Саламандры, вампиры, волшебники, коты, карлики, уродцы, повелители блох – все это чиновники, правители, почтенные члены общества. Кот Мурр не только умеет читать, писать, имеет острый язык и когти, но и обладает «неодолимым стремлением в высшие сферы», а пес Берганца, заимствованный у Сервантеса, любит салат из анчоусов и шампанское. Двойники, словно бесенята, мечутся по страницам его новелл и рассказов, лезут из всех щелей и ям, строят гримасы и рожицы из всяких колб и стеклянных сосудов. Гофман пытался слить воедино два мира – мир духовно-чувственный и мир физический.

Кстати, о «сосудах», которые играли в его жизни порой роковую роль.

Первый «сосуд» – сосуд любви и женского соблазна. Будучи женат, он любил многих. Жена Мария Тшиньска – дочь писаря, полнотелая и голубоглазая, не особо донимала его проблемами денег и быта (искушение, мимо которого не может пройти ни одна женщина). Но буйная его натура не могла удовлетвориться тихой обителью брачной жизни. Его очаровала дочь его же бывшей возлюбленной

(Мальхен Хатт). Гофман, чье сердце всегда открыто для друзей, принимает в свой дом маленькую дочь друга, вынужденного в результате клеветы бежать из города.

Отчего возникали частые любовные связи? Домашняя жизнь не ладилась. В дневник заносится лапидарная запись: «Обычный день. Обычный день с блондинкой». В любовных делах он жаден, хотя ни здоровьем, ни особой энергией не обладает. Гофман частенько посещает любовницу, жену крупного чиновника. Она старше его. С ней он чувствует себя легче и комфортнее, найдя в ней материнское тепло, которого ему так не хватало в детстве. К несчастью, «к этим благодетельным дарам она присовокупляет еще и подарок в виде сифилиса» (к концу жизни это приведет к заболеванию спинного мозга и параличу части тела). Писатель вывел некоторые черты своей пассивности в лице советницы Бензон из «Кота Мурра».

Гофман встречается со многими культурными деятелями той эпохи: Шамиссо, Новалисом, Фихте, Винзером, Вернером, Шлейермахером). Шамиссо одним из первых признает его гением, стихами Новалиса он зачитывается до глубокой ночи. Ему предлагают должность капельмейстера в Бамберге. Этот город и стал местом, где он становится великим писателем-прозаиком, а заодно переживает новый бурный роман с Юлией, в которой обретает своего «эстетического кумира». Тут он дает уроки пения. Здесь же он пишет свою первую новеллу – «Кавалер Глюк» (1809). Женские образы Гофмана, отмечает автор книги о нем Г. Виткоп-Менардо, олицетворяют мир любовной страсти и музыки. Юлия выходит замуж за «осла-купца». Он набросился с бранью на жениха, но оба упали, будучи пьяными. То, что писатели пьют, в этом нет ничего необычного.

Их влекут к выпивке либо компания друзей, забавляющих друг друга беседой и размышлениями, либо глухое одиночество, которое порой бывает трудно перенести импульсивным, холерическим натурам. Это стимулирует талант и электризует нервы. «После глинтвейна нервы напряжены до предела. Приступ предчувствия смерти» (1804).

Грохот пушек в сражении при Йене был заглушен грохотом кружек с глинтвейном и пуншем. Скорее всего, Гофману передалась по наследству болезнь от отца-алкоголика. Он пьет для того, чтобы, так сказать, разогреть воображение. Об этой его страсти биограф пишет:

«Но было бы грубейшим заблуждением хотя бы на мгновение предположить, что он стал писателем благодаря пьянству. Алкоголь пишет не вместо него, а внутри него, играя в некотором смысле роль микроскопа, позволяющего разглядеть реально существующие, но невидимые вооруженным глазом предметы». Видимо, алкоголь принял участие в создании фантасмагорических образов. Гофман заносит в дневник такую фразу: «Вечером с трудом себя завел – с помощью вина и пунша» (1812).^[396]

Теперь обратимся к некоторым из его произведений, в которых крепко доставалось филистерам, педантам, правителям, деятелям полиции, прочувствовавшим «до костей своих силу юмористического Гофманова бича» (В. Г. Белинский). Дело в том, что в октябре 1819 г. его назначают членом «Комиссии по выявлению изменнических связей». В Германском союзе, в который объединились земли и княжества бывшей империи, воцаряется реакция.

С одной стороны, реакционные князья и духовенство, с другой – фанатичная и националистичная молодежь. Возникает студенческий «Союз гимнастов». Они пропагандируют воинственный патриотизм. Начинаются облавы и аресты, студентов и недовольных заключают в тюрьмы. Гофмана возмущает нарушение элементарных прав человека. Он вступил в конфликт с начальником полиции фон Камптцем. Следует убийство Коцебу студентом Зандом. После этого писатель-сатирик выводит портрет начальника полиции в образе слабоумного шпики Кнаррпанти в новелле «Повелитель блох» (узнав об этом, его рукопись конфискуют).

Восхитительна и такая работа Гофмана, как «Житейские воззрения кота Мурра». Германия предстает в виде подобия «животного царства». Вокруг кота-котофеича собралась элита. Часто в одной компании оказываются бароны и их собаки, которые, право, порой выглядят гораздо человечнее и интеллигентнее людей. Гейне писал о Гофмане, что это был «чародей, превращавший людей в диких зверей, а последних даже в советников прусского королевского двора». Особенно поучительна новелла «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер». Сюжет новеллы прост. У бедной крестьянки, Цахес, родился сын. К ее несчастью, он уродлив. Положение семьи тяжелое: деньги украли воры, дом и овин сгорели дотла, хлеб градом в поле побил, и – дабы мера горя была исполнена – «Бог наказал нас этим

маленьким оборотнем». При этом окаянный уродец жрет так, что и здоровому за ним не угнаться.

Однако милость феи дарит крошке Цахес три золотых магических волоска (власть). Можно сказать, что он становится «рыжим». И вот, словно по мановению руки, все вокруг него чудесным образом меняется. Его принимают за необыкновенного красавца, мудреца, умелого государственного мужа. Он быстро поднимается по служебной лестнице, вскоре становясь даже первым министром двора целого княжества. В чем же дело? Что затмило глаза народу и обществу? Почему столица страны, да и вся страна стала напоминать «большой сумасшедший дом»? Неужто народ (немецкий, конечно) столь глуп? А фокус прост. Все делается с помощью денег, которых у «рыжего» ну очень и очень много («фея», понимаешь ли).

Один из чиновников заговорил и о причинах богатства Циннобера: «Но нет, нет, только людское безумие или, как я опасаясь, неслыханный подкуп – причина наших несчастий. Проклятый Циннобер, должно быть, безмерно богат. Недавно он стоял перед монетным двором, и прохожие показывали на него пальцами и кричали: «Гляньте-ка на этого крохотного пригожего папахена! Ему принадлежит все золото, что там чеканится!» Однако замечательнее всего конец истории. Наконец-то, народ прозрел, и сама же мать, породившая сына, можно сказать, его же и убила.

Она обратила внимание на ее уродца. И народ понял, что перед ними несуразный выродок. Даже камердинер увидел, что это не мудрый премьер государства, а «мерзкое чудище», «маленький ведьменьш». Все громче и громче шумела наконец-то прозревшая толпа: «Долой эту маленькую бестию! Долой! Выколотить его из министерского камзола! Засадить его в клетку!» И народ стал ломиться в дом премьер-министра. Камердинер мудро посоветовал тому спастись бегством. И как можно быстрее. Когда же возмущенный народ взломал двери опочивальни, «рыжего» нигде не нашли. Их превосходительства – Циннобера – нигде не было видно. «Исчез без следа, без единого звука». Когда же шум поутих, важного господина с золотыми волосками нашли – где бы вы думали? В туалете, откуда торчали его маленькие худенькие ножки (уже тогда, оказывается, «мочили в сортире»). Их рыжее превосходительство был мертв, мертвее просто не бывает.^[397]

Последний немецкий романтик умирал тяжело, будучи полностью парализован. Когда же он уйдет из жизни, у жены не окажется денег даже на могильную плиту. Его назовут «поэтом тоски по спасению». Гейне считал его значительнее Новалиса, ибо он «привязан к земной реальности». Жизнь показала, что этот романтик, принадлежавший «к вечной гильдии поэтов и мечтателей» (С. Цвейг), выдержал-таки нелегкое испытание временем, выдержал не только столетний, но и двухсотлетний экзамен. При анализе его произведений внимательному исследователю может многое открыться в характере поведения немцев, ибо, как пронизательно заметил Ф. Фюман, истории Гофмана можно назвать «моделями повседневности» общества.

Невозможно представить себе Германию без имени Гете (1749–1832). Родился Гете во Франкфурте-на-Майне. Этот город дал некогда мощный толчок развитию книжного дела. Город вырос из торгов, проходивших на устраивавшихся тут ярмарках, что проходили здесь в незапамятные времена (так, первое письменное упоминание о ярмарке относят к 1074 г.). Благодаря торговле здесь возникли банки и биржа. Сюда же свозились самые диковинные деньги для обмена. Старейшие банковские дома были основаны торговыми фирмами. Здесь с 1562-го по 1792 г. короновались германские кайзеры, а в 1848 г. состоялось первое заседание немецкого Национального собрания. Тут в некоем удивительном синтезе слились гений, капитал и культура. Посетивший в 1823 г. этот город американский писатель Ф. Купер выскажется о его жителях более чем снисходительно: «Они еще далеки от высот цивилизации». Но уже то, что здесь позже возникнет крупнейшая в мире Книжная осенняя ярмарка, говорит о том, сколь мощно и плодотворно поработал капитал на благо культуры. Поэт Ф. Штольце (1816–1891) имел полное право *singen und sagen* (петь и говорить): «Другого города на свете нет такого, который был милей мне Франкфурта родного. Умом я не могу понять и с мыслью примириться, что можно не во Франкфурте родиться».^[398] Тем не менее, вопреки мнению «цивилизованного американца», именно во Франкфурте и родился великий Гете.



Встреча с двойником. Иллюстрации Т. Хоземанна к «Эликсирам дьявола».

Родители его были умные и достойные люди. Мать была прирожденным педагогом и добивалась от него почти всего желаемого «путем поощрений». У семьи Гете превосходная библиотека (прекрасные голландские издания, книги о памятниках римской эпохи и т. д.). Отец изучал юриспруденцию в Лейпциге и получил степень магистра в Гисене. Учителям он не доверял и учил детей сам. Поводом к такому решению был «унылый педантизм учителей в казенных школах». Гете вспоминал, что уроки учителей и в самом деле мало что ему дали. А вот книги сыграли роль золотого дождя (под видом которого Зевс проник в покои Данаи и зачал Персея). Гете писал: «В те времена еще не существовали библиотеки для детей. Ведь и взрослым тогда был присущ детский склад мыслей, и они почитали за благо просто передавать потомству накопленные знания. Кроме «Orbis pictus» (лат. «Живописный мир») Амоса Коменского ни одна книга, пригодная для детского чтения, не попадала к нам в руки, зато мы часто рассматривали Библию с гравюрами Мериана. Готфридова хроника, иллюстрированная тем же художником, повествовала нам о примечательнейших событиях мировой истории; «Accera philologica» (лат. «Филологическая кафельница») расцветивала их всевозможными сказаниями, легендами и курьезами. А так как вскоре мне в руки попали Овидиевы «Метаморфозы» и я внимательно проштудировал

их, в особенности первые книги, и мой юный мозг наполнился целой массой картин, событий, значительных и оригинальных образов, то я уже никогда не скучал, непрестанно занятый переработкой этой поживы, повторением и воссозданием воспринятого. Куда более чистый и нравственный, чем нередко грубые и соблазнительные сочинения древних, «Телемах» Фенелона, впервые прочитанный мною в Нейкирховом переводе, несмотря на все несовершенство такового, произвел на меня сладостное и благоприятное впечатление. Стоит ли говорить, что за «Телемахом» последовал «Робинзон Крузо», а затем, уж конечно, «Остров Фельзенбург». В «Кругосветном путешествии лорда Ансона» достоверность сочеталась с причудливой фантастикой сказки, и в то время как мы странствовали вместе со славным мореходом, пальцем прочерчивая его путь по глобусу, нам открывалась вся широта мира. Но мне предстояла жатва еще более обильная, когда я наткнулся на множество писаний... Издательство, вернее, фабрика этих книг, впоследствии заслуживших известность, даже славу под названием «народных книг», находилась во Франкфурте. Из-за большого спроса они печатались со старого набора очень неразборчиво и чуть ли не на промокательной бумаге». ^[399] Таковы «первые университеты» Гете.

Впрочем, не следует думать, что в нем сразу же явился миру этакий «старец вдохновенный». Ничего подобного... Это было настоящее «дитя земное», с упоением отдающееся всем «гениальным безумствам». Поэтому в юности ему и досталось прозвище «сумбурная голова». Сотоварищи порой говорили, что у Гете «в котелке винтиков не хватает». Однако это не помешало ему пройти курсы обучения в Лейпцигском и Страсбургском университетах.



Променада в Лейпциге.

Гете при жизни стал живой легендой... Его возводят в ранг национального мудреца. С ним почитают за честь общаться короли и императоры. Его речам внимают мудрецы и поэты. Огромную роль в судьбе Гете сыграла личная дружба с молодым герцогом Веймара Карлом Августом. Карл был человеком широких культурных и естественнонаучных взглядов. В. И. Вернадский, посвятивший Гете свой очерк, называл герцога «редким типом натуралиста-правителя». Во всяком случае нет сомнений, что при нем Гете получил уникальную возможность свободно и активно работать, а Веймар стал мощным центром немецкой культуры.^[400]



Портрет Новалиса.

Сила и величие Гете, помимо наличия множества талантов, заключалась в том, что он с самого детства неустанно учился у природы, по-книгам, у людей. Биограф его Эмиль Людвиг писал: «Некогда Гете нашел и завладел Гердером, Шарлоттой, Шиллером, Мейером, он нуждался в них для своего самовоспитания. Сейчас он нуждается в музыке, и он завладел Цельтером». О его отношении к знанию можно было бы сказать так: «Он старался похитить во имя творчества всю музыку, всю поэзию, все знания мира!»^[401] Не был он равнодушен и к славе, часто говоря: «Прежде чем мы сломим себе шею, нам нужно покрыть себя славой».

В «Годах странствий» Гете высказал мысль о необходимости включения всех классов общества в производительный труд. На склоне лет он заявит секретарю Эккерману, что «не сочувствовал произволу власть имущих и всегда был убежден, что ответственность за революции падает не на народ, а на правительства». Вероятно, нужно пережить многое, чтобы стать на сторону угнетенных: «Революции невозможны, если правительства всегда справедливы, всегда бдительны, если они своевременными реформами предупреждают недовольство, а не противятся до тех пор, пока таковые не будут

насильственно вырваны народом». Увы, этого никак не могут понять иные власти, пока под ними почва не начинает уходить из-под ног.^[402]

Хотя Гете и занимал высокий пост в иерархии, идеи справедливости и творчества во имя людей не были чужды ему. В одном из своих писем (1782) он заметил, что за день «наверху» потребляют куда больше, чем крестьяне добывают своим тяжелейшим трудом в течение многих месяцев. Видимо, поэт и министр Гете (для Германии довольно естественное сочетание) не раз вспоминал строки «Гимна к крестьянству» Гриммельсгаузена (XVII в.):

На всей земле во все века
Клянут и давят мужика,
Но все, что пьем мы и едим,
Добыто не тобой, а им...

В социально-педагогическом смысле интересен роман Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796). Это – образная дидактика (понятие «воспитательный роман» возникнет позже). Главному герою книги, выходцу из купеческой семьи, становится тесно в том узком мирке, что представлен его родителями, не способными думать ни о чем, кроме прибыли. Учеба мыслится родичами как рог изобилия, из которого тотчас же должны посыпаться в их карманы деньги и всяческие блага... Мейстеру повезло, ибо он встретился с некими истинными друзьями науки, искусства и разума («Общество башни»), которые оказали на юношу благотворное влияние. Шиллер назовет Вильгельма Мейстера самым «олицетворением воспитуемости». Во многом в облике героя заметны черты и самого молодого Гете. Тем самым писатель пытался утвердить в умах немцев собственное идею долга, которая пронизывает философию образования и воспитания «идеального немца». Долг является неким внутренним законом, которому обязан подчиняться человек в большей части жизненных обстоятельств. Там, где есть чувство долга, есть культура, законы, цивилизация, личность. Воспитатель Ярно в романе настоятельно советует юноше ради его же блага умерить все эксцентричные и несбыточные желания. Он «много выиграет, если научится

растворяться в толпе, если научится жить для других и забывать себя, трудясь над тем, что сознает своим долгом».

Для русского читателя роман Гете может показаться сухим и педантичным, как немецкий унтер. Серьезные философы вряд ли найдут тут глубокий смысл. Гете, скорее, напоминает Периандра, коринфянина, оставившего нам в наследство изречение «В усердии – все». Педагогика же в романе зачастую заменяется обычной плоской афористикой. Но в ней все же, на наш взгляд, больше смысла, чем в иных очень толстых и весьма почтенных педагогических трактатах. Правда, в записках И. П. Эккермана Гете, в ответ на его слова о необходимости познакомить широкого читателя с «Вильгельмом Мастером», тот заметил с некоторой иронией и удивлением: «Милое мое дитя, я хочу открыть вам один секрет, благодаря ему вы сейчас многое поймете, да и впредь вам будет полезно это знать. *Мои произведения не могут сделаться популярными*; тот, кто думает иначе или стремится их популяризировать, пребывает в заблуждении. Они написаны не для масс, а разве что для немногих людей, которые ищут приблизительно того же, что ищу я, и делят со мною мои стремления».

[403]

Как волшебный талисман, означающий и символизирующий окончание ученического опыта, Мастеру передано некое «Наставление». Искусство вечно, жизнь коротка, суждение трудно, случай быстротечен. Действовать легко, мыслить трудно, претворять мысль в действие – нелегко. Всякое начало радостно, порог – место ожидания. Мальчик дивится, впечатление руководит им, играя, он учится, но суровая правда его пугает. Подражание присуще нам от рождения, но трудно распознать, что достойно подражания. Редко открываем мы прекрасное, но еще реже мы умеем его оценить. Нас манит скорее высота, чем ступени к ней; обратя взор на вершину, мы предпочитаем идти равниной. Преподавать искусство можно лишь отчасти; художнику оно нужно целиком. Кто научился ему вполовину, постоянно ошибается и много говорит; кто овладел им полностью, тот занят делом, а говорит редко и погода... Превыше всего дух, что вдохновляет нас к действию. Кто орудует одними знаками, тот педант, ханжа или тупица. Таких людей превеликое множество. Вместе им раздолье. Их болтовня отталкивает учеников, а упрямая их посредственность запугивает лучших. Учение же творца служит

вразумлению, ибо где недостает слов, за себя говорит дело. Настоящий ученик научается извлекать неизвестное из известного и тем приближается к мастеру.^[404]

Кто окажется смелым и толковым, тот осилит преграды и поднимется на «волшебную гору». Однако в Германии немало и тех, кто учился по системе и «на курсы логики» ходил, но кого все-таки, подобно Мейстеру, ожидало горькое разочарование «в латифундиях образцово-показательного мира» (О. Мандельштам). В конце жизни многие вынуждены признать, что искали образования там, где его не могло быть; уповали на таланты, каковых не было; стремились стать практиками, а остались бездеятельными, глупыми и жалкими существами. Увы, сколько подобных «мейстеров» и «вертеров» населяет и поныне несовершенный мир!^[405]



Фауст в своей келье.

Даже в свои восемьдесят лет Гете занимается не только писательским трудом, научными изысканиями, но и улучшением положения в образовании. Почти каждое письмо его заканчивается словами «занят до сумасшествия». *Zeit gewonnen, alles gewonnen*

(«Время выиграть, значит все выиграть»). В альбом внуку он собственноручно записывает шуточные строки:

Разбегаются минутки,
Циферблат торопит срок,
Час отсчитывают сутки —
Время береги, сынок.

Гете приветствовал все, что способствовало созидательной, творческой работе, в то же время отстраняя любое действие, ей мешающее. Верная позиция, ибо у зрелости и старости свой счет с Хроносом. Трудолюбие позволило ему создать внушительный памятник музе науки и творчества: из-под его пера вышли тысячи научных трудов, 50 томов писем, 13 дневников (по 400 страниц в каждом), десятки книг воспоминаний, записей бесед с ним. Он неустанно собирал наблюдения и факты, часто вспоминая слова французского естествоиспытателя Ж. Бюффона: «Собирайте, собирайте факты для того, чтобы получить идею».

Революционные настроения, проникавшие в Германию из Франции, доставляли университетскому начальству в Йене немало хлопот. В начале 90-х годов йенские студенты выступили с требованиями реформ. Министр Гете понимал, что нужно хотя бы частично удовлетворить их требования. Он говорил: «Если разумным молодым людям дать возможность частично участвовать при обсуждении отдельных вопросов, то мы увидим, как на всю академию прольется новый свет». Когда же летом 1792 г. в Йене возникли волнения и почти 500 студентов даже «эмигрировали», попытавшись устроиться на учебу в Эрфурте, министр и тут попытался уладить конфликт. Дело было серьезное, ибо университет существовал на деньги этих студентов. В итоге «эмигрировавшие» студенты получили сатисфакцию и вернулись. [\[406\]](#)

Новыми представлениями руководствуются ныне не только гении науки и литературы, но и венценосные особы. Они соревнуются в проявлении внимания к ученым, писателям, деятелям искусств и просвещения. С Оттона, Карла Великого и Фридриха II идет традиция привечать таланты. Не был исключением и Гете, занимавший пост

министра в Веймаре. В записках Эккермана упоминается разговор с Гете, во время которого тот много говорил о Йене, о преобразованиях и улучшениях, которые ему удалось провести в тамошнем университете. В частности, он учредил кафедры химии, ботаники и минералогии. Раньше эти науки рассматривались исключительно как вспомогательные дисциплины при изучении фармакологии. Сюда им приглашались лучшие умы Германии (историк Л. Окен, философ Ф. Шеллинг). Велики его заслуги и в деле пополнения музея и библиотеки университета.



Старый библиотекарь.

Вот как сам Гете описывает сцену (15 марта 1830 г.) отвоевания права на библиотечное помещение: «Библиотека... пребывала в совершенном упадке. Сырое и тесное помещение, никак не приспособленное для достойного хранения имевшихся в ней сокровищ, в особенности после того, как великий герцог приобрел Бюттенерову библиотеку числом в тринадцать тысяч томов, которые грудями лежали на полу, ибо, как я уже говорил, их негде было расставить. Я не знал, как выйти из этого затруднения. Пристроить новое помещение, – но для этого у университета не было средств, к тому же можно было обойтись и без пристройки, так как непосредственно к библиотеке примыкал большой, обычно

пустующий зал, который мог наилучшим образом удовлетворить все наши потребности. Однако этот зал принадлежал не библиотеке, а медицинскому факультету, который время от времени использовал его для своих конференций. Итак, я обратился к господам медикам с покорнейшей просьбой: уступить мне зал для библиотеки. Но они к моей просьбе не снизошли... Мне осталось только силой завоевать злополучный зал. Я велел позвать каменщика и подвел его к стене, отделявшей зал от библиотеки... Каменщик взялся за дело». [\[407\]](#)

К концу жизни из-под личины веймарского старца отчетливее выглядывает его министерская душа. Когда-то, в годы молодости и дерзновенных мечтаний, он стоял за свободные формы управления государством и приветствовал революцию. Но став министром, он стал врагом народа и народовластия. Он защищает диктатуру Веллингтона также, как некогда безудержно превозносил Наполеона, которого он нарек «квинтэссенцией человеческого». На этот дифирамб последний милостиво охарактеризовал самого Гете так: «Вот человек!» Тогда-то и рождается позорный афоризм, убивающий душу великого творца «Фауста»: «Обладатель высшей власти всегда прав – и перед ним следует почтительно склониться».



Иоганн Вольфганг Гёте.

Э. Людвиг так описал встречу Гете и Наполеона в Эрфурте. «Разговор был чисто духовный и демонстрировал равенство двух противоположных электрических разрядов»... Далее следует сцена в духе пьес Корнеля, Расина или, что ближе к истине, Мольера... Император сидит за большим круглым столом и завтракает. По правую руку – Талейран, по левую – Дарю. И вот появляется шестидесятилетний Гете, красивый, пышущий здоровьем. Затем следует фраза «Се человек!» (наверняка заготовленная и выученная, сцена, каких пруд-пруди в дешевых мелодрамах). Читаем у Э. Людвиг: «Ибо именно потому, что этот властитель мира не знает, что перед ним стоит другой властитель мира, это восклицание, которое Наполеон ни до, ни после не применил ни к одному человеку, доказывает божественное сродство гения с его собратом. Словно благодаря рассеявшимся облакам два небесных существа узнали друг друга в очистившемся небе и невольно простерли друг к другу руки, едва коснувшись кончиками пальцев. Потом туман времени, опустившись, вновь разделит их. Такой миг бывает раз в тысячу лет, подобно тому, как в легенде встречаются Диоген и Александр... Наполеон хвалит «Вертера», но «конец вашего романа я не люблю». – В это легко поверить, Сир: вам не нравится, что у романов вообще есть конец. Император спокойно проглатывает эту почти злобную эпиграмму... Счастлив ли ваш народ? – спрашивает император, не замечая, что вопрос сформулирован так, словно перед ним какой-нибудь местный князь – к ним обращаться с таким вопросом вошло у него уже в привычку. На самом деле его сейчас совсем не интересует Саксония, он думает: «Какую пользу может принести мне этот гений? Жаль, что он пишет не историю, а романы. Но и в этом случае он мог бы описать здешний конгресс, а как драматург мог бы изобразить моего римского брата. Он наверняка сделает то и другое лучше, чем наши, а кроме того, написанное иностранцем имеет двойную ценность». Поэтому он говорит: – Во время нашего пребывания здесь вам стоило бы остаться и записать, какое впечатление производит на вас все это грандиозное зрелище. Что думает об этом господин Гете? – Для этого мне недостает пера античного автора... Император думает про себя: «Это ответ политика»... И говорит: – Трагедия должна быть школой для королей и народов: это высшая награда, коей могут удостоиться поэты! Вы должны написать смерть Цезаря – достойно,

великолепнее, чем это попытался сделать Вольтер. Это могло бы стать прекраснейшей задачей, главным трудом вашей жизни. В этой трагедии нужно показать миру, что Цезарь осчастливил бы человечество, если бы ему предоставили время для исполнения его величественных планов. Приезжайте в Париж. Я требую этого!»^[408]

Одним словом, Гете принял знаменитое гегелевское «Was ist – ist vernünftig!» (нем. «Что действительно, то и разумно!»). Живя в мире силы и насилия, старый лис убежден, что только «держа саблю наголо и стоя во главе армии, можно повелевать и издавать законы в уверенности, что все станут повиноваться тебе». Итак, что же «через могилы, вперед!?» Но... если даже критики скажут: «не квиетизмом он закончит жизнь, а полнейшим равнодушием и цинизмом, близкими к мефистофелевским», возможно, мы и не сможем вам возражать, но уж обязательно заметим: «Сделайте хотя бы вполтину от содеянного им!»

Что бы о нем ни говорили и как бы к нему ни относились критики, как и в случае с Вольтером, в нем жила непреодолимая жажда жизни и вера в знания. Нужно познавать их до последнего дня: «И покуда еще можем творить, не сдадимся!» Он был врагом мистики и всяческих сект, соединяя знания и чувства для выполнения великой миссии: «Мыслить, знать, чувствовать, верить и как там еще называются щупальца, которыми человек нащупывает вселенную; они должны всегда работать во взаимодействии, только так мы и сможем выполнить свое призвание». Гете в старости – это прежде всего опыт и воля. Хотя вечерняя звезда светит уже отраженным светом. Знаменательны последние его слова – «Mehr Licht! («Больше света!»). Впоследствии их станут интерпретировать как призыв к Просвещению!»^[409]

Гете влекла Россия, этот гигант, раскинувшийся на Востоке. Велик был интерес к нему и в России. Историк Г. В. Якушева пишет: «Далеко заглянувший за границы собственного века, Гете с почтением и с восторгом был принят культурами многих стран мира – в том числе в России (к которой сам тоже не был вполне безразличен: по свидетельству современников, он знал «Древнероссийские стихотворения Кирши Данилова», труды М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина и, конечно же, А. С. Пушкина, которому через В. А. Жуковского, встречавшегося с Гете неоднократно, передал

в дар свое перо). Гете высоко оценивал реформаторскую деятельность Петра I, упоминая его, как и Наполеона, в ряду «демонических» (могучих, величественных, до конца не познаваемых) деятелей истории».

Многие говорят в применении к Германии о «веке Гете». Исследователь К.Свасьян пишет: «...Мы говорим о «веке Гете» – выражение это давно уже стало техническим термином историков культуры; но что это значит? Я выскажу это мифологемой – золотой дождь. Место действия – Германия. Время действия – вторая половина XVIII-начало XX вв. Действующие лица: Гердер, Гете, Шиллер, Лафатер, Виланд, Клопшток, Кант, Лихтенберг, Якоби, Фихте, Гаманн, Шеллинг, Крейцер, Гельдерлин, Жан-Поль, Карус, Гегель, Баадер, Новалис, Тик, Клейст, Гофман, Brentano, Моцарт, Бетховен, Шуберт и в удвоенном качестве, братья: Шлегели, Гумбольдты, Гримм (перечень неполный). На титульном же листе – «Век Гете».^[410]

Видимо, здесь нужно упомянуть и об исключительно высокой значимости так называемой «читательской культуры»... Страна, любящая умную книгу, умеющая оценить по достоинству как ее саму, так и ее создателя, непременно занимает лидирующее место в ряду мировых культур. И наоборот. Чем бездарнее и примитивнее народ, тем меньше он читает и тем более плачевная судьба его ожидает. Ведь, книга учит верно мыслить и упорно трудиться (ибо само чтение – прежде всего труд). Особенно заметным стало увеличение издательского книжного потока во второй половине XVIII века. Как пишет философ Г. Люббе, итогом стремительного прорыва книги к читателю стало появление такого феномена, как массовый читатель. Чтение для определенных кругов становится нормой жизни... Гете читал, по его собственному признанию, в среднем один том в день. Читающая публика быстро научилась повышать скорость чтения, что позволяло ей поглощать невероятное количество страниц. Говорят, что историк Ф. Шлоссер (1776–1861), знаменитый автор «Всемирной истории», будучи еще гимназистом во фризландском Эвере, прочитал за три года четыре тысячи книг.

И все же становилось очевидным, что бурный рост издательской продукции заметно опережает возможности даже наиболее подготовленных читателей. Возникла опасность быть раздавленным этой лавиной книг. Эрнст Роберт Курциус даже называл этот процесс

«разрушением авторитета книги» в эпоху Просвещения. Думается, что этот процесс стоит в одном ряду с массовым промышленным производством. И то и другое есть условие нового этапа индустриальной цивилизации, но имеет скорее лишь отдаленное отношение к собственно культуре. Если ранее (в эпоху избирательно-аристократической модели) общество имело довольно узкий круг адептов культуры, то ныне ситуация изменилась. Всякий графоман мог вклиниться в шеренгу бессмертных. Рост числа специальных произведений давал каждому свой шанс. Сфера культуры настолько расширилась, что уже трудно ее контролировать. Поэтому важнейшей задачей культуры стал отбор качественной литературы. А. Шопенгауэр выразил новые требования формулой: никогда не читать то, «что сразу привлекает широкую публику». Знатоки книг обращают внимание только на то, что уже выдержало испытание временем. Скажем, Шиллер говорил (1788 год), что в «в ближайшие два года» он вообще не будет читать «современных писателей», а только Гомера и других классиков. [\[411\]](#)



Петух приносит жалобу на Рейнеке-Лиса (Гёте, иллюстрация к «Рейнеке-Лис»).

Картина человеческой жизни, что предстает в творениях великих, дает нам уроки неудачников, победителей, ренегатов и героев... Личность Фридриха Шиллера (1759–1805) восхищает и потрясает. Подлинный литературный Брут! В этом человеке жил дух свободы и независимости, которому могли бы позавидовать все герцоги и короли. Друзья говорили о нем: «Страх он не знал никогда. Он отважно

поднимал голос протеста и против взрослых». В юности он попал в военную школу. Там Фридрих увидел жестокость царивших в стране порядков. Герцог Карл-Евгений поставлял за границу пушечное мясо партиями (наемников). Не из книг почерпнул Шиллер ненависть к униженному человеческому достоинству. Он оставил карьеру военного лекаря, так как его не привлекала ни высокая вероятность самому становиться этим пушечным мясом, ни удовольствие лечить всех «военных разбойников». Не лучше ли врачевать поэзией души! К тому времени он уже написал «Разбойников» (1781). Как скажет о Шиллере Гете: «Он обладал даром облагораживать все, к чему прикасался».

Война чаще всего – разбой. Но когда народы поднимаются на бой с реакцией и тиранией, это уже иное – «пламенный, дикий дифирамб» свободе и чести! Прообразом благородных шиллеровских разбойников и стали организованные отряды народных мстителей, действовавшие в Тюрингии, Богемии, Франконии и Швабии. Они выступали как мстители за народные страдания и горести (вспомним благородного разбойника из Шервуда Робин Гуда).

Этимология слова «разбойничать» означает: «промышлять разбоем, грабить, нападать, отымать силою», а «разбойное время» у Владимира Даля охарактеризовано как «суетливое, деловое, недосуги». Исходя из этих оценок, любые времена и любых правителей вполне можно зачислить в разряд «разбойников». Так оно, по сути дела, было и в Германии. Однако сановному, княжескому или чиновному разбою противостоит разбой народный, плебейский. Борцы за народную правду встречаются повсюду: в Англии – хозяин Шервудского леса Робин Гуд и Роб Рой у Вальтер Скотта, во Франции – капитан контрабандистов Мандрен, воевавший против сборщиков податей, в Италии – Фра Дьяволо и Ринальдо Ринальдини, в Испании – «почтенный разбойник» Гинарт у Сервантеса, в Венгрии – «добрый разбойник» Марци, в Закарпатье – Довбуш, в Силезии – гайдук Новак, в Словакии – Яношек, на севере Германии – Штертебекер, в Беларуси – Островский, в России – Пугачев, в Японии – защитник слабых Исикава Гоэмон, в Китае – Дао Чже, державший в страхе князей. В образе разбойников в те времена выступали отнюдь не вульгарные грабители или убийцы, но, скорее, отважные народные мстители. Поэтому их образы и привлекали пристальное внимание писателей и поэтов. Даже высший свет вынужден был относиться к ним с

известным почтением и неким трепетом. В повести А.С.Пушкина князь Верейский уважительно сравнивал Дубровского с немецким разбойником, а поэт Некрасов воспевал легендарного Кудеяр-атамана.

Шиллер слышал, что в соседней Баварии объявилась разбойничья вольница. Бедность народа толкала его на разбой. К примеру, аристократы за отстрел «аристократической живности» в их лесах отправляли крестьян на каторгу или лишали жизни, а вельможные особы убивали и травили зверье налево и направо... Еще в XVI в. в немецких землях появились «уравнители», оправдывавшие воровство на том основании, что «господь бог создал всех равными». Появились так называемые «злые» люди, что убивали и грабили богачей. Удалые атаманы Фридрих Шван по прозвищу Зоннервирт («Хозяин Солнца») и Матиас Клостермайер, по кличке Баварский Хизель, бросили вызов властям. Зоннервирт, о котором слагались песни и легенды, орудовал неподалеку от места проживания юного Шиллера и его семьи (отец его, напомним, был лесничим). Отец его учителя, Якоба Абеля, вел следствие по делу атамана, в 31 год схваченного и казненного. Ученик живо заинтересовался этой историей. Абель написал и психологический этюд – «История одного разбойника», а затем и новеллу.

Смелым и отважным борцом против тиранов и эксплуататоров выступал Хизель, знаменитый партизан швабских лесов. Он мстил властям и богачам за творимые ими беззакония и жесточайшее притеснение крестьян. Однажды ограбив оберфогта и чиновников, он презрительно и гневно бросил в их адрес: «Мы забираем деньги, бесчестно отнятые у бедноты». В нравственном отношении он стоял намного выше воров не только того, но и нашего времени. Как и шиллеровский Карл Моор, он мечтал «исправить свет злодеяниями и блюсти законы беззаконием». Можно сказать, что из этих двух образов (Зоннервирта и Хизеля) и появились на свет шиллеровские «Разбойники». Если другие знатные воры и разбойники набивали и набивают собственные карманы за счет трудов народа и мечтают только о личном обогащении, то Карл Моор не таков. Не принимая ни умом ни сердцем существующий миропорядок, он хочет «протрубить на весь мир в рог восстания». Политические идеалы его также вызывают у читателя симпатию. С юных лет он мечтает о том, что его

«длань отечество спасет», Германия станет подлинной республикой, а не царством угнетателей и плутократов.^[412]

Нельзя забывать, конечно, о том, что в описываемую эпоху разворачивалась грандиозное действие Великой Французской революции. Оно никак не могло оставить равнодушными сотни тысяч угнетенных крестьян и ремесленников в самой Германии. В 1790 г. один из руководителей восстания крестьян в Саксонии некто Шмидт заявил: «У нас должно быть то же, что и во Франции; все дворяне должны быть перебиты, недаром в библии сказано, что в поте лица ты должен заработать свой хлеб, дворяне же – бездельники». На землях Саксонии крестьяне перебили всю дичь, что по закону принадлежала помещикам. Кое-где нападали на имения дворян. Правительство Пруссии было вынуждено заявить об освобождении крестьян от крепостного права (1807). Важный шаг на пути капитализации сельского хозяйства.^[413]

Все это во многом и объясняет, почему немецкое общество будет тогда зачитываться «Разбойниками»... Студенты высших школ зубрили драму, как Библию. Молодежь твердо хотела знать, во имя чего стоит (или, напротив, не стоит) браться за оружие. Впервые посетивший г. Йену в 1787 г. Шиллер выделяет как наиболее примечательную черту немецкого студенчества их свободолюбие: «Что студенты здесь в почете, видно уже с первого взгляда. Впрочем, даже закрыв глаза, можно узнать, что находишься среди студентов, ибо все они шествуют победоносной походкой...» Разумеется, среди его аудитории немало студентов. Большими группами устремлялись они послушать лекции поэта, автора «Разбойников». В аудитории не хватало места для желающих. Толпы студентов бросались в спешке занимать места. Шиллеровский курс «Введение во всеобщую историю» слушали сотни студентов.

Лектор говорил, что изучение истории откроет немало поучительных страниц, что учебный план ученого, работающего только ради хлеба насущного, отличается от учебного плана, который составляет для себя пытливый философский ум. Шиллер характеризовал век как весьма гуманный, а европейское сообщество как миролюбивое. Представив Европу большой и единой семьей, он утверждал, что вражда более не сможет привести к кровавым потрясениям. Увы, великие драматурги и писатели, как это ни

удивительно, часто оказываются никудышными провидцами. Всего через семь недель после его пророчеств разразилась Великая Французская революция, открывшая десятилетие страшных и непрерывных войн.

Интерес молодежи был вполне оправдан, ибо в составе партизанского отряда главного героя «Разбойников» Карла Моора – в основном бывшие студенты (Гримм знает латынь, Роллер предлагает издавать альманах, Шпигельберг щеголяет французским и латынью). Сам Карл так формулирует цели своего отряда: «Поставьте меня во главе войска таких молодцов, как я, и Германия станет республикой, перед которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями». Однако суровая жизнь вскоре выучит их совсем иному, о чем и будут петь друзья-разбойники, расположившись в лесу близ замка Мооров. Кстати, второе издание «Разбойников» вышло с надписью по-латыни на титульном листе «In Tyrannos!» («На тиранов!»), а его стихотворение «Дурные монархи» и еще одно произведение, помеченное ложным местом издания «Тобольско» (Тобольск – место ссылки в России), невольно обращало читательскую мысль к далекой России. Мы приветствуем бунтарский дух борцов против тирании (в том числе и в России), но видим, что натворили государственные разбойники (из вчерашних тяжеловесов и полуученых), когда они, вдруг, оказались во главе государства:

Резать, грабить, куролесить
Нам уж не учиться стать.
Завтра могут нас повесить,
Нынче будем пировать!
Мы жизнь разгульную ведем,
Жизнь, полную веселья:
Мы ночью спим в лесу густом,
Нам бури, ветер нипочем,
Что ночь – то новоселье.
Меркурий, наш веселый бог,
Нас научил всему, как мог...

В духе времени написана и мещанская трагедия «Коварство и любовь» (1783 год), первая немецкая «политически-тенденциозная драма». Юноша из высших слоев общества готов уже попасть под безжалостное колесо власти и элитных амбиций. Отец (президент) уготовил ему карьеру в министерстве (чин тайного советника, службу в посольстве, необыкновенные милости). Его ждет завидное, обеспеченное будущее. Но Фердинанд покинул «их дом», говоря отцу: «Нет, потому, что мои понятия о величии и о счастье заметно отличаются от ваших... Вы достигаете благополучия почти всегда ценою гибели другого. Зависть, страх, ненависть – вот те мрачные зеркала, в которых посрамляется величие властителя... Слезы, проклятия, отчаяние – вот та чудовищная трапеза, которой услаждают себя эти прославленные счастливыцы. И не успеет у них пройти хмель, как они, шатаясь, уже отходят в вечность».^[414]



Фридрих Шиллер (1759–1805)

На философии Шиллера выросли целые поколения... В ознаменование его заслуг перед человечеством конвент Франции пошлет писателю патент на гражданство. Но, пожалуй, еще с большим упоением читали Шиллера в России. По словам Ф.М. Достоевского, он оказался здесь, среди наших берез, «гораздо роднее и гораздо национальнее». Чем привлек он русскую душу? Не тем ли, что в

разночинной русской интеллигенции кипела бунтарско-разбойничья кровь Ваньки-Каина, или яростным стремлением писателя к истине и правде?! Он говорил: «Прекрасное заключено лишь в правде». Особое место в воспитательно-педагогическом наследии занимает его работа «Об эстетическом воспитании человека» (1795 год). Статья включает ряд писем Шиллера к герцогу Гольштейн-Аугустенбургскому. В этих статьях, чрезвычайно богатых мыслью, Шиллер ставит положение культуры в прямую зависимость от воли государства. Его мысль проста и беспощадна: каково государство, каковы правители – такова и культура! Мерзавцы и ничтожества у власти неизбежно пестуют и поддерживают таких же ничтожеств и в сфере культуры. Читаем у Шиллера: «Теоретическая культура должна привести к практической, а практическая в то же время должна быть условием теоретической? Всякое улучшение в политической сфере должно исходить из облагорожения характера, но как же характеру облагородиться под влиянием варварского государственного строя? Ради этой цели нужно найти орудие, которого у государства нет, и открыть для этого источники, которые сохранили бы, при всей политической испорченности, свою чистоту и прозрачность». Весь вопрос и состоит в том, где искать эти «источники».

Казалось, вполне естественно было бы пытаться отыскать их в культурном классе. Не в президентах же, императорах, банкирах и военных, в самом деле! Увы, но уже в ту эпоху «культурные классы представляют нам еще более отвратительное зрелище расслабления и порчи характера, которые возмутительны тем более, что источником их является сама культура». Видимо, это обстоятельство и побудило Шиллера, воспевавшего «эстетическое государство», сомневаться в возможности его появления. Он удивительно точно сумел предвидеть трансформацию «культурной личности» в новейшую эпоху... В «Письмах об эстетическом воспитании человека» читаем: «Дитя природы, сбросив оковы, становится неистовым, питомец искусства – становится негодяем. Просвещение рассудка... в общем столь мало облагораживает помышления, что скорее оправдывает порочность своими учениями».^[415]

Поэтому Шиллер столь решительно отстаивал национальную культуру и широкое классическое образование всего народа, а не только узкого круга интеллигенции. И пусть Шиллер,

принадлежавший «к интровертному типу», ближе к идеям, чем к вещам внешнего мира, для нас именно это и ценно: мир идей должен стать, если угодно, тем «зрячим и мыслящим существом», что ведет «слепой материальный мир» к достойному человеческому существованию. С тех пор минуло два века, но значимость шиллеровских идей еще более возросла.

Кстати говоря, и немецкий философ К. Юнг, посвятивший в 1915 г. главу его работе, отмечал: условия индивидуальной культуры в буржуазном мире «не только не стали лучше, а напротив того, ухудшились; ныне ведь интерес каждого отдельного человека еще гораздо более поглощен коллективными занятиями, нежели во времена Шиллера; поэтому каждому в отдельности остается гораздо меньше досуга для развития индивидуальной культуры...»

Для поэта, как и для той эпохи, характерно обожествление разума, интеллекта, просвещения («современность достаточно просвещена»). Впрочем, это же провозглашали, этому поклонялись все без исключения герои своего времени. Юнг пишет: «В этих словах Шиллера мы чувствуем приближение эпохи французского просвещения и фантастического интеллектуализма революции: «Сам век достаточно просвещен!» – какая переоценка интеллекта! – «Дух свободного исследования рассеял пустые призраки» – какой рационализм! Живо вспоминаются слова проктофантаста в Фаусте: «Исчезните же! Ведь мы просветители!» Переоценивание значения и действительности разума, с одной стороны, вполне соответствовало духу того времени, совершенно не принимавшего в расчет, что если бы разум в действительности обладал такой силой, то давно уже имел бы широчайшую возможность доказать и проявить ее; с другой же стороны, нельзя терять из виду, что в то время так думали вовсе не все руководящие умы и что этот налет рационалистического интеллектуализма, вероятно, основан и на особенно сильном субъективном развитии этого элемента в самом Шиллере». Однако считаю, что не это самое главное в шиллеровском наследии. Важнее то, что он поставил власть в прямую и весьма жесткую зависимость от культуры (по крайней мере, в Европе) и даже обручил и повенчал (не желая того) интеллект с революцией и народом.^[416] Хотя и с грустью признавал: «Блаженны те, кто не заплатил за благо знания своим сердцем».

В дальнейшем интерес к лекциям Шиллера несколько спал. Причины этого довольно банальны: плохая дикция лектора, избыток патетики, пробелы в знании предмета. К тому же, всякий творческий энтузиазм, как известно, должен поддерживаться и материально, а должность профессора была неоплачиваемой. Не намного улучшило положение дел издание курса лекций. В одном из писем он признавал: «...весь этот образ жизни, все эти неизбежные обстоятельства, неотделимые от профессуры, глубоко мне противны, но если бы эта жизнь сулила хоть какие-то, пусть самые ничтожные, материальные выгоды, я бы считал обязанным с ней смириться». У Шиллера зреет понимание того, что все же не это попрание уготовила ему судьба. Кафедра – явно не его удел. Поэтому он и скажет вскоре: «У меня так же мало склонности к коммерческим делам, как к тому, чтобы стать капуцином». [\[417\]](#)

Судя по всему, Шиллера одолевали глубокие сомнения по поводу способности управлять народом на основе разума. Как и многие, он столкнулся с проблемой несоответствия идеальных устремлений уровню развития общества. Поэтому он считал, что век еще не созрел для прогресса. Перегибов революции Шиллер не принял, осудив казнь Людовика XVI, и стремился в Париж, намереваясь выступить его адвокатом. Хотя он и гордился патентом почетного гражданина Франции (декрет подписал Дантон), но его отношение к Великой Французской революции было сдержанным, можно сказать, даже прохладным. Почему автор «Разбойников», находившийся в полном расцвете жизненных сил (ему было 30 лет в 1789 г.), «не понял» или просто не принял величайшего исторического события той эпохи?

Он обвинил революционеров в том, что попытка восстановить священные права человека и завоевать политическую свободу выявила лишь бессилие народа и его непригодность к достижению этих целей. Вместо этого несчастный народы Франции и Европы «были снова свергнуты в варварство и рабство». Шиллер выражал опасение, что построенное десятью великими умами непременно будет разрушено пятьюдесятью глупцами. Он прозорливо заметит относительно будущего (1793): «Французская республика исчезнет так же быстро, как и родилась; республиканская конституция приведет рано или поздно к состоянию анархии, и единственное спасение нации будет в том, что откуда-нибудь появится сильный человек, который укротит

бурю, восстановит порядок и будет держать твердой рукой бразды правления, и, возможно, он даже станет абсолютным властелином не только Франции, но и значительной части Европы».^[418] «Сильный человек», как мы и показали, явился в лице Наполеона.

С поэзией Шиллера немцы впитывали бунтарский дух. Позже эти черты, в ином и уже трансформированном виде, оплодотворят всю революционную философию марксизма и социализма второй половины XIX-начала XX веков. Роза Люксембург в статье «О Шиллере» писала так: «Распространение поэзии Шиллера среди пролетарских слоев Германии, несомненно, способствовало их духовному подъему и революционизированию, и, таким образом, она до известной степени принимала участие в деле эмансипации рабочего класса».^[419]

История останется его возлюбленной (знал Шиллер и иную страсть, к Шарлотте фон Кальб). Он писал в 1786 г.: «С каждым днем все дороже мне делается история; мне хотелось бы лет десять кряду ничего не изучать, кроме нее». Он пишет фундаментальные «Историю отпадения Нидерландов от испанского правления» (1788), «Историю замечательных восстаний и заговоров» (1788), «Историю Тридцатилетней войны» (1793). Свой последний год жизни поэт и историк, этот «благородный адвокат человечества», как скажет о нем В. Белинский, проведет за написанием книги «История Московии», увы, так и не законченной.

Когда Шиллер заболел, это постарались скрыть от Гете. Смерть поэта приблизила и кончину Гете, и тот, узнав о кончине друга, сказал: «Я был уверен, что сам умру. Я потерял половину своей жизни». Соперничество казалось ему теперь смешным. В один из горьких вечеров он вспомнит слова Шиллера: «Этот человек, этот Гете стоит мне поперек дороги, и он часто напоминает мне, как круто судьба обошлась со мной». И станет гладить доставленный ему друзьями череп оставившего грешный мир соперника, приговаривая: «Бедный Йорик!» Им поставлен один памятник, где два великих сына Германии, примирившись, стоят вместе.

Свидетелем этих синтетических способностей немцев стал оригинальнейший немецкий писатель Георг Кристоф Лихтенберг (1742–1799), проживший всю жизнь в Геттингене. Силой и своеобразием его ума в свое время восхищались Кант, Гете, Герцен и

Толстой. Его литературный шедевр «Афоризмы», в котором ощущается Volksgeist (дух народа), стал известен широкой публике спустя много лет. Восемнадцатый ребенок в семье бедного пастора, он с огромным трудом попал в Геттингенский университет (мать выхлопотала у герцога стипендию). Юноша изучал математику, физику, астрономию. После университета он дважды посетил Англию по приглашению воспитанника-англичанина. Та поразила его успехами науки и промышленности. Он лицезрел все, что оказалось доступно его взору: ремесленников, грузчиков, моряков, игру актеров во главе с великим Гарриком, общество самого короля. Позже он скажет, что ездил в Англию, чтобы «научиться писать по-немецки». Он занял должность профессора физики Геттингского университета, исследуя электричество. Затем, независимо от братьев Монгольфье, приходит к идее воздушного шара. В 90-е годы XVIII в. Лихтенберг стал почетным членом Российской Академии наук. Его лекции вызывали восторг у студентов. Он редактировал два научных журнала, стремясь «хоть немного поднять тех людей, к которым спустился». В его обычай входило помогать бедным студентам и коллегам, хотя сам он, можно сказать, всю жизнь находился под пятой у нищеты. Болезни, внутренний разлад и бедность, в конечном счете, и доконали этот незаурядный талант.

Лихтенберг – поклонник Французской революции. В отличие от Гете и Шиллера, он оправдывал революционное насилие. Революция, что бы там ни было, «оставит после себя много хорошего». В полной мере ему ненавистны некоторые не лучшие качества немецкого бюргерства («варварский педантизм, скулящее смирение»). Он выступает сторонником революции, соглашаясь с Гердером, что «угнетают лишь тот народ, который позволяет себя угнетать». В нем мы увидим духовного сподвижника и друга Георга Форстера, вождя недолго просуществовавшей Майнцкой демократической республики («Коммуны»).

Главная цель, которой должен следовать художник – «Правда, образование и улучшение человека». От истории Лихтенберг требовал влюбленности, ненависти и страсти... Если ты равнодушен, не бери в руки пера. Трусливый писатель и историк – холуй в прихожей господина. Таких «ученых» и «литераторов» нужно отправлять на конюшню или в свинарник. Хватит описывать ничтожных правителей

и завоевателей. Дайте дорогу народу, его великим деяниям, говорил он. Глубоко интересовала его и теория познания. Ведь познание тесно увязано с жизнью народа. Немецкий публицист И. Г.Зейме (1763–1810), автор афоризма: «Любая хорошая книга должна быть более или менее политической», считал, что в политике и литературе не место равнодушным. «Ira facit poetam!» (лат. «Гнев рождает поэта»).

Лихтенберг писал о великих успехах просвещения, позволяющих человеку за шестьдесят лет жизни овладеть всем богатством культуры, создававшейся пять тысяч лет. В то же время он терпеть не мог отвлеченной науки и философии. Ученый должен видеть объективный мир через призму человеческой практики. Нет на свете ничего более жалкого, нежели историк, философ или педагог, укрывшийся за мертвой схемой или голыми дефинициями. Он писал: «В слове «ученый» заключается только понятие о том, что его много учили, но это еще не значит, что он чему-нибудь научился...». Эту «профессорскую философию», за которой сплошь и рядом сокрыта пустота мыслей и обычная гражданская трусость, следует гнать из всех университетов метлой, ибо она плодит тупиц, приспособленцев и мерзавцев. Ее лоб «следует заклеить раскаленным железом историка». В афоризмах Лихтенберга ни грана тяжеловесных рассуждений в духе Симплициссиума, где ученость скорее делает из героя дурня, выпирая наружу, подобно свищу или уродливой грыже. На его афористике училась молодежь, на ней выросли многие поколения ученых и мыслителей во многих странах, включая Германию («подлинный книжный рассадник для всего мира и его оранжерея»).

В то же время и он отдавал себе отчет в слабости тогдашней системы обучения и воспитания, а также, быть может в первую очередь, в несовершенстве самого человеческого материала, с которым приходится иметь дело учителям, профессорам, писателям: «Не думаю, что среди так называемой образованной немецкой молодежи когда-либо было больше пустых голов, чем теперь. Причина того, что сегодня так много юных Вертеров, объясняется не мастерски написанной книгой, а тем, что из таких бараноподобных ангелов можно делать, что угодно... У них нет характера. Инертность, неразумие и неопытность во всем, что называется серьезной наукой, сделало их тупыми ко всему, кроме отвлеченных размышлений об

инстинкте, из которого они создали себе естественную историю, эстетику, философию...»^[420]

В конце XVIII-начале XIX вв. немецкие обыватели и буржуа были вытряхнуты из своих «нор» революционной бурей во Франции, словно обитатели пылающего замка Кунигунды... «Буревестник» новой идеологии стал Георг Форстер (1754–1794), выходец из семьи энциклопедически образованного священника (его отец по просьбе Екатерины II обследовал немецкие колонии на Волге), прожил жизнь короткую, но яркую. В 13 лет он перевел на английский язык «Краткий российский летописец М.В.Ломоносова». Путешествие с отцом в кругосветном плавании Кука сделало его убежденным материалистом. «Турне» не преминули отметить и в Британии: англичане удостоили отца Форстера диплома почетного доктора Оксфордского университета, а затем не постеснялись бросить в долговую тюрьму Кингсбич.

В 1777 г. в Лондоне Георг Форстер издаст описание этого путешествия (двухтомник «Путешествие вокруг света»), который и принес автору европейскую известность. Молодого мореплавателя встречали торжественно в европейских столицах. Описанные им приключения иные называли не иначе как «эпическим стихотворением» (настолько красочным оно было). В Париже его принимают по-свойски престарелый Бюффон, Бомарше и Франклин. Среди публицистических работ Г. Форстера интересно и «Путешествие по Европе» (1790 г.), в котором во многих аспектах показан прогресс науки, искусства и образования в ряде стран. Ф. Шлегель скажет, что Форстер «ввел естественные науки в образованное общество».

Кредо Форстера нашло выражение и в его деятельности на посту вице-президента клуба «Общество друзей свободы и революции». Труден и тернист путь этого «самого смелого революционного борца Германии» (Ж. Жорес), чьи симпатии на стороне большинства. Автор убежден, что народ рано или поздно восстанет против «совершенно праздно знати». Масса возмутится – «и это вызовет революцию». Таков был и остается «обычный круговорот в жизни всех государств». Он яростно полемизирует с английским консерватором Э. Берком, противником Великой Французской революции, который отстаивал идеи реставрации старого строя. История предоставила Форстеру

редкую возможность утвердить свои взгляды. Он лично боролся за создание Майнцской республики, где сувереном стал бы народ, а затем и за ее присоединение к Франции. Власть светских и духовных феодалов в Германии должна была быть уничтоженной. Когда рейнские области были присоединены к Франции, его стали обвинять в предательстве. Зная давнее соперничество немцев и французов, нетрудно понять всю деликатность ситуации. Его осуждали даже некоторые друзья. Форстер, бывший якобинцем по духу и сути, писал: «Я принял решение бороться за дело, которому я должен пожертвовать своим личным спокойствием, научной работой, семейным счастьем, может быть, – здоровьем и всем состоянием, может быть – жизнью... я спокойно принимаю все, что меня ожидает». Вот оно величие таланта и мужество борца, вдохновленного идеей.^[421]

Идеи Шлегеля, Гофмана, Винкельмана подхватили и развили ученые-сказочники братья Я. Гримм (1785–1863) и В. Гримм (1786–1859). Сказки во все века играют важную роль в воспитании нравов и ценностных ориентаций народа. «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

Французский сказочник Ш. Перро начал спор «древних» и «новых» в литературе в конце XVII в. В частности, в Германии были хорошо известны «Немецкие народные сказки» И. Музеуса.

Братья Гримм, обладавшие ярким универсальным талантом, прославили себя в области языкознания, истории права, этнографии. Их считают также основателями комплексной науки – германистики. Ими на практике был реализован девиз теоретика йенского романтизма Ф. Шлегеля: «Всякое искусство должно стать наукой, всякая наука – искусством; поэзия и философия должны соединиться».^[422] Ученики романтиков, они выражали дух своего народа.



Братья Гримм у сказительницы.

Родина семьи братьев Гримм – земля Гессен. Со школьных лет они проявили себя прилежными учениками, лицей в Касселе закончили за 4 года, перескочив через несколько классов. Причем к 6 часам уроков в лицее добавлялись 4–5 часов домашних занятий. Позже братья скажут о серьезных перегрузках.

Любя книги, они старались покупать их всюду (насколько это позволял бюджет). В 1802–1804 гг. Якоб стал студентом Марбургского университета. Наибольшее влияние на братьев оказал профессор Ф. К. Савиньи, историк римского права, ставший впоследствии министром. Во многом благодаря его усилиям они приобщились к науке. Он учил: «Настоящее может быть понято только из прошлого». Якобу повезло: Савиньи пригласил его в Париж для работы в качестве помощника в Национальной библиотеке, где хранилось 160 тысяч рукописей.

Голубая мечта любого истинного ученого!

Я. Гримму доверили управление королевской библиотекой замка Вильгельмсхее (1808). Однако болезнь брата и французская оккупация несколько омрачили радость его работы. К этому времени познания братьев в области немецкой литературы значительно расширились, как и их коллекции.

И вот уже Гёте принимает у себя В. Гримма, а тот в свою очередь видит в великом немце «характер народа в полном его расцвете». Упоминание о характере народа важно, ибо немцы всегда отличались стойкостью духа, характером, как и русские. В годину испытаний,

когда родина была растоптана и унижена Наполеоном, империя (скорее формальная) германской нации распалась, а восстание против тирана не увенчалось успехом, немцы не опустили рук.

Что делать ученому и гражданину в годину тяжких испытаний отечества?

Этот вопрос мы то и дело задаем себе сегодня и в России. Якоб писал: «С невыразимой горькой болью я видел Германию, свою родину, униженную, лишенную всяких прав, потерявшую даже свое название. В то время мне казалось, что все надежды рухнули и все звезды закатились; и лишь постепенно, с трудом я пришел к мысли о необходимости вновь связать нити начатой работы и удерживать их в своих руках, как бы ни было печально вокруг. Это оказалось не напрасно – я как-то внутренне выпрямился, и моя работа стала продвигаться».

Ее итоги весьма впечатляющи. Братья Гримм издают: средневековые «Песнь о Гильдебранте» (VIII в.), «Вессобруннскую молитву» (IX в.), «Старшую Эдду» («величайшее и самое прекрасное из того, что когда-либо трогало человеческую душу»), а также «Песнь о Нибелунгах». В целях популяризации немецкой культуры и науки они стали издавать журнал «Старонемецкие леса» (1813).

Одной из важнейших задач всегда считали возрождение и сохранение для будущих поколений наследия народного творчества (сказок, легенд, песен). Гримм издают сборники «Детских и семейных сказок» и «Немецких преданий». «Мы старались сохранить сказки во всей их первоизданной чистоте. Ни один эпизод не выдуман, не приукрашен и не изменен», – писали они. Корректурой стилистическая работа делала их сказки понятнее и доступнее народу. Можно сказать, что благодаря их усилиям руда превращалась в золото. Действуя по правилу, запечатленному в одной из немецких сказок («Умный работник»), они скажут: «Как счастлив хозяин и как хорошо все ладится у него в доме, если есть у него умный работник, который, хотя и слушает его да поступает не так, как говорит хозяин, а следует своему собственному разуму... Берите пример с Ганса, не заботьтесь о своем хозяине и об его указаниях, а делайте лучше то, что вам вздумается, к чему будет охота, и вы поступите так же умно, как и этот вот умный Ганс».^[423]

После поражения Наполеона в немецких государствах стало больше прав и свобод, что в лучшую сторону повлияло на положение

науки и образования. В корпорациях студентов («буршенштафтах») и основанных гимнастических школах все громче лозунги единства и свободы. Устремления немецкого студенчества поддержат участники Вартбургского праздника 1817 г., где собрались представители всех университетов Германии (в честь 300-летия Реформации и 4-летия Лейпцигской «битвы народов»). В эти годы Гёте создаст ряд известных произведений, К. Brentano выпустит «Хронику странствующего школяра», появятся книги Гофмана, Гейне, Арнима, Эйхендорфа, Шопенгауэра. Историки Шлоссер, Раумер, Нибур, Дальман, Ранке опубликуют фундаментальные изыскания.

В этой атмосфере понятен и возросший интерес братьев Гримм к прошлому своего народа. В опубликованных ими томах «Немецких преданий» собрано 600 преданий и легенд.

Культурная «оттепель» была недолгой: карлсбадские постановления 1819 г. вновь ввели цензуру газет, надзор за университетами, запрет на студенческие корпорации, отстранили прогрессивных педагогов. Германия и Россия объявляют, что отныне крамольный Йенский университет – вне закона. Даже Гёте не может ничем помочь и спасти свое любимое детище. К тому же он между двух огней: с одной стороны, лидеры Священного союза, считающие Веймар рассадником революции, с другой – вольнодумные студенты, называющие его «герцогским холопом».

Значительны усилия братьев и в области языкознания. 20 лет создавал Я. Гримм «Немецкую грамматику» родного языка «для школы и домашнего обихода». Высоко отозвались о книге

В. Гумбольдт, Г. Гейне, А. Шлегель. В Марбургском университете Якоб получил ученую степень доктора философии. Редкий случай, когда литератор столь триумфально вторгся в область специальных наук. О заслугах Я. Гримма перед наукой поэт Гейне сказал: «Якоб Гримм сделал для языкознания больше, чем вся... Французская академия со времен Ришелье. «Немецкая грамматика» – исполинское создание, готический собор, под сводами которого все германские племена, словно гигантские хоры, поднимают голоса, каждое на своем наречии... Человеческой жизни и человеческого терпения не могло хватить, чтобы собрать эти глыбы учености и чтобы скрепить их воедино из сотен тысяч цитат». ^[424] «Глыбы учености» немцы очень ценят. Немец не ляжет с дамой в постель, не вспомнив цитату.

Постепенно на земле Германии складываются контуры такого наиважнейшего понятия в жизни современных народов, как «национальный дух»... Известный философ и психолог В. Вундт писал три четверти столетия спустя: «Но послужившая основой для этого понятия национального духа мысль, что язык не изолированное явление, что язык, обычаи и право представляют собой неразрывно связанные друг с другом проявления совместной жизни людей, – эта мысль и в настоящее время остается столь же истинною, как в то время, когда Якоб Гримм сделал ее путеводной звездой своих всю область прошлого германского народа охватывающих работ».^[425]

Центром романтических устремлений стал Мюнхен. Сегодня это самая большая по территории федеральная земля. Ее население гордится своей историей, берущей начало в VI веке. Нигде так тщательно не оберегают народные традиции. Тут находятся красивейшие места Германии (Альпы, предальпийское нагорье, дивные озера, баварский лес, парки).

Тут правил король Людвиг II, «сказочный король», желавший сделать столицу своеобразной витриной западного искусства. Архитекторы строили античные подобию в духе «Новых Афин» (Пропилеи), обращались к романскому зодчеству и средневековым образцам. Мюнхенские церкви, площади, дворцы были заселены тяжеловесными фигурами великих людей Германии («Галерея полководцев»). Художники покрыли стены историко-философскими композициями, ставя задачей выразить идеи «истории философии, поэзии, археологии, мифологии, сравнительной филологии» и отметить место, занимаемое Германией от ее возникновения до наших дней.

Корнелиус страстно мечтал воплотить в яркой художественной форме все национальное прошлое, таланты и заслуги немецкого народа. Картины Петра фон Корнелиуса к «Фаусту» и «Нибелунгам» сыграли роль в деле воспитания немцев и в утверждении немецкой национальной идеи. По мнению В. Любке, как только Корнелиус был поставлен во главе Мюнхенской академии, «в Германии наступила новая эра для истории искусств». Изображение образцов христианской морали и поведения (от сотворения мира до страшного суда) имело и воспитательный смысл. Наряду с Мюнхенской большой известностью пользовались Дюссельдорфская школа и академия. Их работы

отличались любовью к природе и красотой колорита. Заметную роль здесь играл внук знаменитого писателя Лессинга – живописец Карл Лессинг.^[426] В немецких землях повсюду строились здания новых университетов, школ и библиотек. Хотя давний критик немецкой культуры поэт Генрих Гейне не упустил случая с ехидцей высказаться в адрес этих масштабных работ и картин: «Если немцу-художнику надо написать верблюда, он станет искать прообраз в глубине своего духа, постарается воссоздать в очертании головы идею первобытных веков и Ветхого завета, и в каждый волосок он вложит особый символический смысл».^[427]

Эти огромные картины, порой напоминавшие настоящие ребусы, со временем были смыты дождем и непогодой. Но ничто – ни войны, ни ветры – так и не смогло поколебать другого выдающегося творения баварцев – знаменитого баварского пива (которое варят Бог знает с каких пор, бережно соблюдая Закон о чистоте пива 1516 г.). Немцы и в пиве видят *res sui generis* («настоящее произведение искусства» – лат.).

Европейцы отдают дань восхищения германскому гению. Шарль Гуно пишет лучшую свою оперу на сюжет гётевского «Фауста». Берлиоз с успехом выступает в Германии с «Фаустом». Другой известный француз Ипполит Тэн (1828–1893), родоначальник культурно-исторической школы, прямо заявит в своих лекциях по искусству о том, что Германия – самая ученая страна Европы.

В Северной Германии все умеют читать. Молодые люди проводят в университетах 5–6 лет. Правда, порой в их увлечении наукой немало педантизма и позы. Немцы готовы были нацепить очки, лишь бы придать своему облику «ученый вид». Тэн пишет: «Главное желание немецкого юноши в двадцать лет состоит не в том, чтобы играть роль в клубе или кафе, как это наблюдается во Франции; он стремится приобрести общее мировоззрение, охватывающее человечество, вселенную, сверхъестественное, природу и много других вещей словом, законченную философию. Не существует страны, где бы встречалось такое увлечение высокими абстрактными теориями, такая привычка постоянно заниматься ими, такое ясное понимание их. Это – родина метафизических систем.

Но избытие мышления высшего порядка было в ущерб пластическим искусствам. Немецкие живописцы стараются выразить на своих полотнах и в своих фресках гуманитарные или религиозные

идеи. Мыслям они подчиняют краски и формы; их творчество носит символический характер; они пишут на стенах курсы философии и истории, и если вы отправитесь в Мюнхен, то увидите, что величайшие из них не что иное, как философы, по ошибке занявшиеся живописью, более способные говорить разуму, чем глазам, орудием которых должно быть перо, а не кисть». ^[428]

На рубеже XVIII–XIX вв. Германия поделилась на два лагеря. В одном из них была умудренная опытом «Старая Германия», в другом – «Молодая Германия». Молодость бросала вызов и зрелым мужам, ее символом стал поэт Генрих Гейне (1797–1856). Пламенная и неукротимая молодость, быть может, хороша в любви, но не в политике, куда как раз и ринулись молодые гейневские «ослы»...

Что же представляла собой в нравственном, философском и политическом отношении Новая Германия? К религии равнодушна, дисциплину и порядок не приемлет, национальное чувство ей и вовсе чуждо. Таких «молодых ослов» можно увидеть в политических «стойлах» любой страны и в любые эпохи.

Радикализм Гейне вполне понятен, ибо многое объяснялось его еврейским происхождением, давней неприязнью немцев к этой нации. В глазах окружения Гейне патриотизм почему-то означал качество, «не признаваемое хорошим». Все эти радикалы-демократы относились с глубоким презрением к Германии (Пруссии). Понять подобные чувства можно (неприязнь рейнландцев к пруссакам и наоборот). Поэтому в отношении прусского орла Гейне писал: «Ты, безобразная птица! Если мне удастся когда-нибудь поймать тебя, я выщиплю все перья из твоих крыльев и отрублю тебе все когти... Повесив тебя на шест, я позову всех рейнландских стрелков из лука, чтобы они занялись веселой стрельбой по тебе». Резкий протест у него вызывала их губительная страсть к хаосу и беспорядку. Гейне ненавидел демократические сборища. Один только вид присутствующих там бездарных ничтожеств вызывал отвращение. Не желая общаться с «демократическим союзом», поэт держался от него обособленно и ни за что не соглашался вступать в дружбу и в тесные сношения «с первым попавшимся сбродом...»

Правда, немцы в ту пору не проявляли крайних националистических чувств. Сами условия их существования, когда приходилось постоянно перемещаться в поисках работы из одного

княжества или герцогства в другое, формировали и космополитический образ мыслей. Гёте посещал Францию, Форстер путешествовал по Европе, оставляя восторженные заметки о положении дел в Голландии и Англии, Шиллер искренне радовался диплому французского гражданина, считая, что тот может пригодиться детям, Бетховен написал посвящение Наполеону в «Героической симфонии» (затем его порвал), Гёте спокойно наблюдал за разгромом корсиканцем королевства Фридриха II, Ф. Шлегель выступал против попыток «ввести принцип замкнутой и изолированной национальной культуры». Я. Гримм путешествует по Италии и Швеции. В свою очередь и европейцы наводняли Германию. Приведенные примеры никоим образом не означают нашей поддержки космополитических устремлений. Любя весь мир, не забудь и о Родине!

Впрочем, Гейне, чей поэтический талант ни у кого не вызывал сомнений, был фигурой сложной и противоречивой. Современники свидетельствуют, что жизнь его внешне складывалась вполне благополучно (обеспеченные родители, выполняющие религиозные предписания иудаизма). В гимназии он – на хорошем счету. По настоянию семьи молодой Гейне поступает в торговую школу Фаренкампа, где штудировал коммерческие науки, охотнее переводя античных классиков на «милый сердцу диалект Иудеи» и изучая иного рода предметы.

Юность кончена. Приходит
Дерзкой зрелости пора.
И рука смелее бродит
Вдоль прелестного бедра.
Не одна, вспылив сначала,
Мне сдавалась, ослабев.
Лесть и дерзость побеждала
Ложный стыщ и милый гнев.
Но в блаженствах наслажденья
Прелесть чувства умерла.
Где вы, сладкие томленья,
Робость юного осла!^[429]

Перспектива работать в фирме состоятельного дядюшки его явно не прельщала. Во время приемных экзаменов в Боннский университет на факультет права он написал в сочинении: «Наукам, которые

преподают в этих аудиториях, нужны прежде всего скамьи с пюпитрами; ибо именно они суть опоры, носители и основы той мудрости, которая исходит из уст учителей и благоговейно переносится учениками в тетради». Даже после лекций Гегеля он не воспылал к наукам особой любовью. Зато поэзия грела сердце. Политические взгляды поэта не отличались последовательностью и постоянством. Одно из любимых его выражений: «Я не собираюсь спасти отечество». Позиция не вызывает восторга. А кто же спасет его!? Гейне презирал страну, считая ее домом умалишенных. Частично это объяснимо. Серьезные гонения на евреев имели в Германии давнюю традицию. Не стоит видеть в нем и революционера-бунтаря. В секретном донесении полиции австрийскому правительству читаем: «Как революционер Гейне во всех отношениях ничтожен, то есть в тех случаях, когда приходится действовать. Физически трусливый, лживый, он изменяет своему лучшему другу и не способен ни на какое проявление твердости, это человек переменчивый, словно кокетка, злобный, как змея» (1835).^[430]



Генрих Гейне.

О талантах Гейне писал Меринг: «Маркс сидел еще на школьной скамье, когда Гейне уже в 1834 г. открыл, что «свободолюбивый дух»

нашей классической литературы проявляется «гораздо менее в среде ученых, поэтов и литераторов», чем в «огромной активной массе, среди ремесленников и кустарей». Во время пребывания Маркса в Париже Гейне обнаружил, что «во главе пролетариев в их борьбе против существующего строя стоят самые передовые умы и крупные философы». Хотя еще глава романтиков Шлегель считал, что культура прошлая и нынешняя распространена главным образом среди среднего сословия – «самой здоровой части нации». Ясно одно: ни учителя (одно время он преподавал историю), ни политика из Гейне не получилось. Его назначение – поэзия, хотя у него были научные изыскания. Видимо, Гейне прав, сказав: «Где великий человек раскрывает свои мысли, там и Голгофа».^[431]

Своего рода философской Голгофой стала для поэта работа «К истории религии и философии в Германии» (1834). Такая тематика может показаться странной для поэта, если не вспомнить, что Гейне серьезно изучал право в Боннском, Геттингенском, Берлинском университетах и даже защитил докторскую диссертацию по юриспруденции. В этой работе он проявил себя как яркий мыслитель и блестящий стилист. Впоследствии эти таланты Гейне признавал даже Ф. Ницше, ставя в немецкой прозе рядом всего лишь два имени – «Гейне и я». Книга написана под влиянием французских событий и культуры (в 1831 г. Гейне эмигрировал в Париж, устав от цензуры и борьбы с преследованиями).

Понятны его антинемецкие высказывания типа: Германия – «заплесневелая страна филистеров», не создавшая «ни одного Голиафа, ни одного великого человека». Впрочем, в его представлении и весь народ Германии является «спящим сувереном, скипетром и короною которого играют мартышки». В книге Гейне попытался дать ответы на некоторые жгучие проблемы времени. Он, признавая наличие деизма и атеизма в сознании немцев, писал: «Как часто с той поры возвращаюсь я мыслью к истории того вавилонского царя, который возомнил себя Господом Богом, но позорно пал с вершины своего высокомерия, ползал зверем по земле и ел траву.

В великолепной грандиозной книге пророка Даниила рассказана эта легенда, и я рекомендую ее для назидательного размышления не только милейшему Руге, но и еще гораздо более непримиримому моему другу Марксу и даже господам Фейербаху, Даумеру, Бруно

Бауэру, Генгстенбергу и, как они там еще зовутся, все эти обожествившие себя безбожники!»

Далее Гейне обвинял большинство немецких ученых в трусости, не желавшей открыть народу правду и истину. Но главный грех в том, что язык их штудий непонятен. О своих же работах он говорил: «Народ алкает знания и благодарен мне за кусочек хлеба духовного, который я честно с ним делю. У меня же нет этого страха, так как я не ученый, я сам – народ. Я не ученый, я не принадлежу к семи сотням мудрецов Германии». Стоит ли удивляться тому, что процесс раскрепощения умов, равно как и прогресс в области науки, культуры, образования, нравственности столь медлен, а зачастую и ничтожен. Властям этого не нужно. Они с подозрением взирают на рост образованности среди простого люда. Вот и университеты они хотят уничтожить или превратить в обычные учебные заведения, где студенты не столько мыслят, сколько учатся искусству выжить. Читая Гейне, мы считаем иные из его высказываний своевременными и для России: «Да и какое дело государям до науки, учения и образования, раз затронута священная безопасность их престолов!»^[432]

Что же касается отношения Гейне к религии, он решительно выступил против ложных и лживых представлений, согласно которым, Господь оставил человеку на земле одну лишь функцию страдания, покаяния и терпения (вот и нам так же твердят: «Покайтесь!»). Гейне восклицает (в данном случае его чувства понятны): «Уже здесь, на земле, хотел бы я, при благодатном посредстве свободных политических и промышленных учреждений, утвердить то блаженство, которое, по мнению набожных людей, воцарится лишь на небесах в день Страшного суда». Хотя жаль, конечно, что такой значительный поэт не счел предосудительным призвать соорудить конюшню на месте строительства Кельнского собора, названного им «Бастилией духа» («Германия. Зимняя сказка»).

И это без учета мнения авторитетнейшего Ф. Шлегеля, считавшего Кельнский собор самым примечательным из всех немецких памятников. Если его закончить, писал Шлегель, то собор по праву занял бы достойнейшее место среди прекрасных творений человеческих рук (включая памятники Рима).

История возведения Кельнского собора такова. Он собирался, как у нас говорится, «по камешку, по кирпичику». Строительство

требовало немалых расходов. Поэтому, будучи начато еще в 1248 г., оно шло крайне медленно и с перерывами. Его возобновили спустя триста лет – в 1842 г. Собор представлял собой выдающийся пример готического зодчества (фигуры колонн, скамейки, «королевские окна» начала XIV в., крест Геро, богатая усыпальница трех королей). Наконец, в 1880 г. строительство закончили. Это было самое высокое архитектурное сооружение такого типа в мире (высота башен – 157 метров). На его сооружение израсходовано 20,5 млн марок. Завершение строительства собора стало символом единства Германии. [\[433\]](#)

Хотя евреям так и не удалось восстановить свой Храм Соломона, Гейне, не в силах сдержать переполнявшую его зависть и злобу, наносит немцам-работникам жестокое оскорбление:

Сетями гнусными святош
Когда-то был Кельн опутан.
Здесь было царство темных людей,
Но здесь же был Ульрих фон Гуттен.
Здесь церковь на трупах плясала канкан,
Свирепствуя беспредельно,
Строчил доносы подлые здесь
Гохстраатен – Менцель Кельна.
Здесь книги жгли и жгли людей,
Чтоб вытравить дух крамольный,
И пели при этом, славя творца
Под радостный звон колокольный.
Здесь глупость и злоба крутили любовь
Иль грызлись, как псы над костью.
От их потомства и теперь
Разит фанатической злостью.
Но вот он! В ярком сиянье луны
Неимоверной машиной,
Так дьявольски черен, торчит в небеса
Собор над водной равниной.
Бастилией духа он должен был стать;
Святейшим римским пролазам
Мечталось: «Мы в этой гигантской тюрьме

Сгноим немецкий разум».
Но Лютер сказал знаменитое: «Стой!»,
И триста лет уже скоро,
Как прекратилось навсегда
Строительство собора.
Он не был достроен – и благо нам!
Ведь в этом себя проявила
Протестантизма великая мощь,
Германии новая сила.
Вы, жалкие плуты, Соборный союз,
Не вам – какая нелепость! —
Не вам воскресить разложившийся труп,
Достроить старую крепость.
О, глупый бред! Бесполезно теперь,
Торгуя словесным елеем,
Выклянчивать грош у еретиков,
Ходить за подачкой к евреям...
И даже такое время придет,
Когда без особого спора,
Не кончив зданье, соорудят
Конюшню из собора... [\[434\]](#)

Пусть даже у автора строк и были основания написать столь злые и язвительные строки. За любой конфессией числится, разумеется, немало грехов... Но превращать соборы в обитель для скота?! Не слишком ли большая цена за прегрешения верховных иерархов! Почему бы тогда не взорвать все дворцы и банки Нью-Йорка и Лондона, Парижа и Франкфурта, опутавшие сеть паутины должников и весь мир! Ведь те совершили и совершают куда больше преступлений за годы своего правления. Радикальные последователи Гейне только в России взорвут храм Христа Спасителя, разрушат и превратят в склады тысячи церквей!



Пруско-гессенские войска изгоняют французов. 1792.

Ненависть их к Руси безгранична. Случайно или нет (в мире великих тайн, каковыми являются жизнь и смерть многое не познано), но в Екатеринбурге на обоях комнаты в доме Ипатьева, где совершено злодеяние (убийство Николая II и его семьи), на стенах обнаружат цитату на немецком языке из поэмы Гейне «Belsazer». Утверждают, что ее сделал еврей, прибывший в специальном вагоне из Москвы (в обстановке строжайшей секретности). Некто Энель позже расшифровал и смысл тайной кабалистической надписи. В переводе на русский язык текст гласил: «Здесь по приказу тайных сил Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы». ^[435] Так в веках отзываются ошибки поэтов.

Начало XIX в. в Европе ознаменовалось наполеоновскими войнами и пробуждением духа национального самосознания в европейцах. В умах немцев также зреет понимание неизбежности масштабных перемен. Революция во Франции лишь ускорила процесс осмысления этих новых целей. Однако политическое устройство Германии попрежнему выглядело анахроничным. Г. Форстер писал: «Я не могу переделать всю нацию, чья самая непоправимая беда заключается в ее отвратительном государственном устройстве». Со временем однако были даны иные, более позитивные оценки устройства самого сильного немецкого государства той поры – Пруссии... Так, известный американский социолог уже XX века Т.

Парсонс писал в «Системе современных обществ»: «К началу XIX в. самые большие достижения Пруссии были связаны с эффективностью управления; в военной, а также и в гражданской бюрократической администрации она создала эталоны для всей Европы. Безусловно, военные успехи Пруссии, учитывая ее размеры и ресурсы, сделали ее Спартой в тогдашней Европе. Все классы ее иерархически организованного населения пришли к принятию строгого понимания долга, во многом в духе Канта, но долга в основном в отношении государства... Эффективность Пруссии как суверенного государства обеспечила ей возможность расширить свое политическое господство на другие территории. Она установила контроль практически над всей Северной Германией... Почти совпадая по времени с прусской экспансией, в новой Германии началась вторая, главная фаза промышленной революции».^[436]

Рассмотрим каналы, по которым философская рефлексия «перетекает» в культуру и политику. Вся прелесть революционных эпох состоит в том, что огромная волна сокрушает все препоны на пути свободного духа. Мысль, как никогда прежде, бурно несется по стремнинам жизни. Борющиеся стороны вынуждены обращаться к услугам разума. Помимо решения узколокальных задач, все страстно желают и надеются, что разум утвердит перед «божьим судом» обретенные ими полномочия. В самом деле, только разум и сила в состоянии сделать это. О похожей ситуации в России XIX в. поэт Тютчев сказал («Князю Горчакову»):

Вам выпало призванье роковое,
Но тот, кто призвал вас, и соблюдет.
Все лучшее в России, все живое
Глядит на вас, и верит вам, и ждет.
Обманутой, обиженной России
Вы честь спасли, – и выше нет заслуг;
Днесь подвиги вам предстоят иные:
Отстойте мысль ее, спасите дух...^[437]

Эта мысль для немцев понятна – «отстойте мысль ее, спасите дух». Ведь, единой Германии еще не было и в помине. Рабство и

угнетение принимали совсем иные формы. Путь к свободе обязаны были проложить философы, писатели, ученые, композиторы. Как сказал поэт Дж. Китс, «произведение гения самое важное в этом мире». При мысли о культурном наследии Германии на ум приходят не только Дюрер, Лейбниц, Гете, Шиллер, Лессинг, Форстер, но и блестящая плеяда философов и музыкантов – Кант, Гегель, Фихте, Бетховен.

Иммануил Кант (1724–1804) родился в Кенигсберге в год, когда соперничавшие, враждовавшие поселения (Альтштадт, Лебенихт, Кнайпхоф) соединились в единый город. В Кенигсберге процветала торговля. Здесь был свой университет – «Альбертина», под своды которого стекалась талантливая молодежь из Германии и со всей Прибалтики. Его родителями были ремесленники. Они отличались глубокой порядочностью и честностью. Кант вспоминал, что хотя они не оставили ему денег, но зато не оставили и долгов, не говоря уж о том, что «дали воспитание, которое, с моральной точки зрения, не могло быть лучшим». Отец от детей требовал «труда и честности», а мать – «святости». Вот что говорил о влиянии матери сам философ: «Я никогда не забуду своей матери. Она насадила и взлелеяла во мне первый зародыш добра, она открыла мое сердце впечатлениям природы, она возбудила и расширила мои понятия, и ее поучения оказали непрерывное, спасительное влияние на всю мою жизнь»

Иммануил Кант учился в государственной гимназии, «коллегии Фридриха», на латинском отделении, яростно зубрил латынь и богословие. Его учителями были Шульц и Кнутцен. Шульц следовал правилу «вера без дел мертва». В школе Кант не обнаружил склонности к философии. Никто и помыслить не мог, что из него «выйдет философ». Этимология библейского имени «Иммануил» в переводе – «С нами бог». Однако он возлюбил не столько Бога, сколь римскую поэзию. В 16 лет он поступил в университет. На его духовное развитие оказал влияние пиетист М.Кнутцен, – талант, получивший звание профессора в 21 год. Первая кантовская работа – «Мысли об истинной оценке живых сил» – была откровенно слабой. Сделанные в ней промахи впоследствии были высмеяны Лессингом в известной эпиграмме:

Затея явно не под силу, —
Кант учит целый свет;
Живые измеряет силы,
А собственные нет.

После семи лет в университете Кант, не защитив магистерской диссертации, покинул город и работал учителем в глухих уголках Восточной Пруссии. Здесь он приобрел некоторые педагогические навыки, а, главное, получил достаточно свободного времени для размышлений. Накопив некоторый капитал, Кант вернулся в Кенигсберг, где защитил диссертацию и получил звание приват-доцента (внештатного преподавателя, труд которого оплачивался самими студентами). Его преподавательская деятельность в местной «Альбертине» продлится ни много ни мало 41 год. Однако пройдет 14 лет, прежде чем он получит звание профессора. Как видим, судьба его не баловала. *Per angusta ad augusta* («Трудным путем к славе»).

В 1758 г. русские войска овладели Пруссией и вступили в г. Кенигсберг. Влияние русских в городе было заметно: праздновали русские царские дни, управление краем и университетом перешло в руки генерала и барона фон Корфа, в честь Елизаветы слагались хвалебные вирши. Кант обратился с прошением к русской императрице в надежде получить кафедру логики и метафизики. Ее он не получил, будучи вынужден удовлетвориться тем, что давал русским офицерам целых 5 лет частные уроки по фортификации и пиротехнике.

Говорят, Кант с особой гордостью преподавал физическую географию... Не знаю, каковы были результаты, ибо передаваемые им знания нередко лишь вводили студентов в заблуждение. Из его лекции, к примеру, можно было узнать массу интересных подробностей о России: о рыбе белуге, глотающей большие камни в виде балласта, о Грузии с ее оранжереей красавиц, о людях «с небольшим отростком обезьяньего хвоста» и т. д. Трудно, согласитесь, одинаково успешно читать курсы лекций по столь разнородным и разноплановым предметам, как философия, эстетика, история, филология, астрономия, космогония, физика и математика (будь Кант, как говорится, даже и семи пядей во лбу). Впрочем, свои лекции он читал доходчиво и

понятно. Наиболее популярными были лекции по логике («Я стараюсь научить вас методически мыслить»). К этой стороне деятельности отнесем критическую оценку, высказанную в его адрес русским поэтом А. Белым спустя сто лет. Видимо, того явно смущала эта «абсолютная безбрежность» кантовского мира... В таком же плане он воспринял и его философию: «Кант ограбил нам мир; и похитил нам мысль: великолепные колонны соборов из мысли – 12 пустейших абстракций; вместо стен – две формальности: время, пространство. Вместо купола – форма: «Я – мыслю». Яркий мир заменен отвратительным миром».^[438] Мир Канта чист и величествен. Вероятно, без него не было бы Фихте, Шеллинга и Гегеля. Его по праву считают родоначальником немецкой классической философии.



Иммануил Кант (1724–1804)

Педагогические и общегуманитарные воззрения Канта представляют интерес. Известно, что Германия славилась знаменитыми педагогами. Так, просветитель И. Базедов открыл в Дессау (1774) на средства монарха учебное заведение под оригинальным названием – «Филантропин». Целью оно стала как бы полная реформация педагогического дела. Детей здесь воспитывали в

духе «естественной» религии, основанной на добродетели. Учили легко, но не легковесно, без надрыва и муштры, уделяя особое внимание точным наукам, природоведению, физической подготовке. За хорошее поведение отличившимся даже выдавали ордена. Заведение было закрытым, и обучение в нем стоило немалых денег. Детей из бедных семей если и принимали в эти «благородные стены», то лишь на правах прислуги. ^[439]

Канта заинтересовала эта форма образования и он в поддержку «Филантропина» пишет статьи в местной газете. В них философ предлагает не столько реформу, сколько настоящую революцию в педагогике. Заметим, что в том же 1774 г. педагогику начинают преподавать и в Кенигсбергском университете. Новый предмет читали, сменяя друг друга, семь профессоров. В их числе был и Кант, использовавший для подготовки своих лекций учебник Базедова. Туда он по обыкновению вносил существенные исправления и дополнения. Так возник и самостоятельный дидактический труд Канта «О педагогике» (1803). Философ И. Кант, «кенигсбергский отшельник», по которому местные жители сверяли часы, считал, что человек начинается с пунктуальности и дисциплины. Два эти качества незаметно, исподволь вырабатывают привычку к неустанному труду, способствуют крепости духа, позволяют закалить организм, и, в конечном счете, добиться почти невозможного в сфере духа. Дисциплина и выдержка выводят человека из животного состояния. Человек становится таковым только путем воспитания. Главная цель воспитания – научить думать. Образование включает в себя два важных фактора формирования личности – дисциплину и обучение. Природное назначение человека Кант видел в обретении высшей культуре (сам он редко пользовался ее дарами, так и не удосужившись выбраться в театры и галереи Берлина и Дрездена). Такая высшая культура, по мысли Канта, может быть достижима только в гражданском обществе.

Однако благотворное воздействие культуры возможно лишь при наличии морали. Это самая трудная ступень на пути воспитания человечества. Поэтому без упорнейшего личного труда и суровой самодисциплины напрасны попытки овладеть ею... «Многие, – добавляет Кант, – либо совсем просмотрели тот отдел морали, который содержит учение об обязанностях к самому себе, либо ложно

объяснили его». Школа, а уж тем более университет, чтобы там ни говорили глупцы, нуждаются в «принудительной культуре». Нельзя приучать детей смотреть на учебу, как на игру. В основе образования лежит нелегкий повседневный труд.^[440]

В 1780 г. Кант закончил свою знаменитую «Критику чистого разума». Философу, наконец, улыбнулась удача. Во главе прусского министерства, ведавшего делами образования, тогда стоял «просвещенный деспот» – министр и барон Цедлиц. Он был поклонником философии Канта и пригласил его в Галесский университет, обещая дать чин придворного советника и в три раза больший оклад (в Германии министры образования почитают таланты). Но Кант с благодарностью отказался, считая деньги, чины, награды – суетой сует.

Канта по праву называют родоначальником немецкой классической философии, но, как полагал Ортега-и-Гассет, он стал создателем и современной философии здравого смысла. В книге «Критика чистого разума» он нанес удар схоластической философии, что ведет к беспредметной болтовне, порождает догматизм, чья словесная шелуха выхолащивает живую душу. На базе такой философии нельзя построить нормальное общественное устройство. Спекуляции хороши для бирж, но не для университетов. В вузах дух и мысль должны быть ясны и прозрачны, как солнечный луч в морозное утро. Кант пишет: «Несмотря на эти важные перемены в области наук и на потерю, которую должен понести спекулятивный разум в якобы принадлежащей ему до сих пор сфере, все общечеловеческие интересы и все выгоды, которые до сих пор извлекались из учений чистого разума, остаются прежними, и потеря затрагивает только монополию школ, а никоим образом не интересы людей».^[441]

Кант формулирует, на наш взгляд, и важную мысль о том, что ему пришлось «ограничить *знание*, чтобы освободить место *вере*». Это значит, что образование и знание, лишённые веры, основанные на неверии, догматичны и аморальны. Впрочем, Кант настаивал на том, чтобы вера, и даже Господь свято следовали законам морали: «Страшен бог без морали».

Менее привлекательны его политические взгляды. Даже в случае жестокой нужды и притеснений он не признавал за народом права на сопротивление. В ход идут рассуждения о каком-то «правовом

контексте». Выходит, что власть имеет право грабить свой народ, тогда как у этого народа нет законных прав на сопротивление угнетателям. Говоря русским языком, он обычный «непротивленец». У него поставлена с ног на голову и социальная роль государства в защите слабого. Он считал, что изобилие социальных служб неизбежно плодят лень и паразитизм. Впрочем, известного рода выступления против аморального строя он все же признавал, ибо всякое государство, по его убеждению, «антропологически порочно».

Мы считаем, что можно и нужно быть лояльным к власти, но только тогда, когда власть к вам относится с уважением! Если же этого нет, если власть злоупотребляет своим положением, не признает законов, не может или не хочет защитить граждан, если она откровенно слаба, тогда о каком уважении и лояльности может идти речь?! Такую власть надо критиковать и бичевать, что есть мочи. И если ее нельзя направить на путь разума, добра, морали и веры, тогда такую власть нужно менять. Кант вывел некий абсолютный, всеобщий, необходимый нравственный закон, который звучал бы примерно так: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства».

И всё ж наилучшим способом исправления ситуации Кант считал обращение не к насилию, а к свободе слова и печати. Он именуется свободой слова даже «единственным палладиумом прав народа». С её помощью можно воспитывать как граждан, так и правителей. Главным оружием публициста или ученого-теоретика в их борьбе с несправедливой и порочной властью и является информационная деятельность (право «публично умствовать»).^[442]

Кант даже помыслить себе не мог (идеалист), что в условиях тоталитарной или демократической власти это хваленое «право свободы», во-первых, можно прихлопнуть как муху, и во-вторых, многих так называемых свободных и независимых журналистов просто-напросто можно купить (что называется, «с потрохами»). Подлость и лживость этих господ приобретет в наши дни такие масштабы, что народ возненавидит их как своих злейших врагов.

В творчестве Канта нам наиболее близки три момента его учения – доброта, долг, культура. В основу деятельности человечества должен быть положен «принцип добра». Что же касается индивидуального развития человека, то если он хочет стать достойным существом, он

должен следовать долгу: «Долг! Ты возвышенное, великое слово, в тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям...» Чувством долга должно быть присуще и правителям. В «Идее всеобщей истории» (1784) Кант ставит возможность движения общества «от грубости к культуре» и «достижение всеобщего правового гражданского общества» в прямую зависимость от ума, добросовестности, порядочности и чести правителей государства.

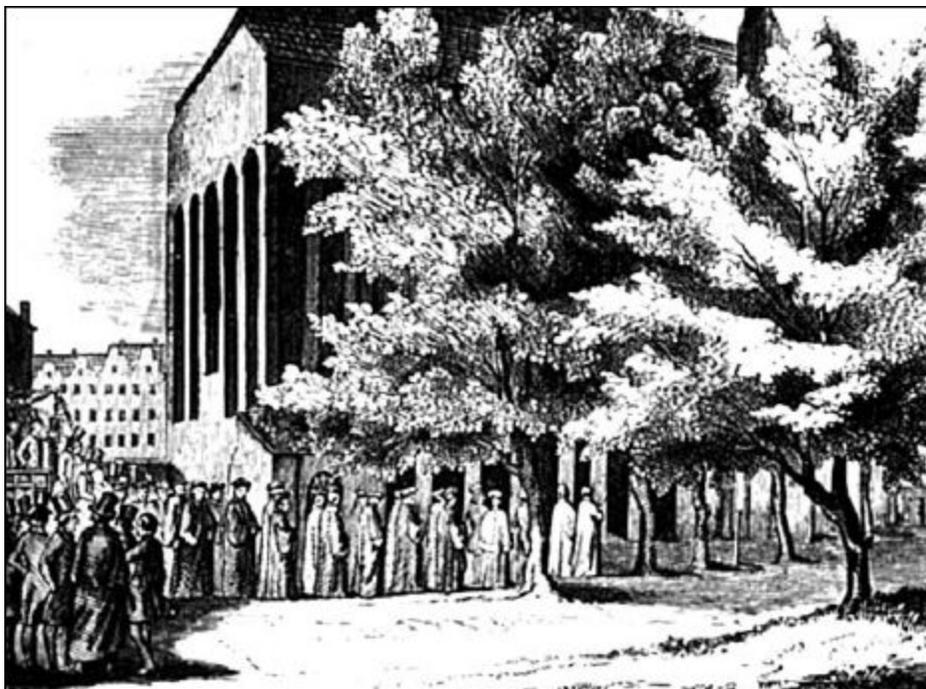
Кантовскую идею морального долга, морального закона надо обратить в сторону властей, ибо те ловко манипулируют фразой типа: «*A salus reipublicae suprema lex est*» (лат. – «Благо государства – высший закон»). В действительности, их заботит не благоденствие государства или народа, а собственное благополучие. Как заявил один такой «моралист» в России: «Свое мы, конечно, никогда не отдадим» (под «своим» эти имеют в виду украденное у народа).

Эрих Фромм, называющий И. Канта «наиболее влиятельным мыслителем эпохи Просвещения», писал о его взглядах так: «Несмотря на то, что Кант питал, безусловно, большее уважение к неприкосновенности личности, чем Кальвин и Лютер, он отрицал за человеком право протестовать даже в условиях наиболее деспотического правления; протест должен караться смертью, если он несет угрозу суверену. Кант видел в природе человека врожденную склонность к злу, для подавления которой необходим моральный закон, категорический императив, чтобы человек не превратился в зверя, а общество не вверглось бы в дикий хаос».^[443] Но разве правитель – не человек?! А если так, то, по логике Канта, и он склонен ко злу. Для воплощения зла у него имеется в миллион раз больше возможностей, чем у рядового гражданина. Поэтому протест против порочного, лживого «суверена», обманувшего доверие народа, должен приветствоваться обществом, а смертью должен быть наказан сам «суверен».

«Кант был не кабинетным мыслителем, а мудрецом в полном смысле этого слова» (М.М. Филиппов). Благодаря разумному образу жизни он никогда не был болен, ибо выработал ряд здоровых правил. Их он придерживался на протяжении всей своей жизни. Кант вставал всегда в пять часов утра (летом и зимой), спал не более и не менее семи часов, ложась спать ровно в десять вечера. Поднявшись, он садился за работу (до семи утра), затем шел на лекции. И вновь труд за

столом. Обед был не столько трапезой, сколь продолжительной беседой с приглашенными людьми (по несколько часов). За обедом (а это была его единственная трапеза) он никогда не пил пива, лишь воду и немного вина. О пиве говорил: «Это не напиток, а пища дурного качества». Кстати, он считал, что женщин лучше учить хорошим навыкам кулинарного искусства, чем философии. А как же культура? «Мне кажется, – говорил он, – что всякий муж предпочтет хорошее блюдо без музыки, чем музыку без хорошего блюда».

Отношение к женщинам его было вполне здравым. Он считал, что подоплекой всякой любви к женщине является половое влечение. Однако с сожалением восклицал: «Жаль, что лилии не прядут». Потом следовали обязательные прогулки, во время которых он обдумывал некоторые из идей. Кант до конца дней своих сохранил силу и свежесть ума. [\[444\]](#)



Формирование колонны для посещения могилы Канта.

Похоронят Канта в его любимом Кенигсберге, в профессорском склепе, примыкающем к собору. Вскоре тут соорудят прогулочную галерею, навевающую мысли о временах Древней Греции. Галерея получила название «Стоя кантиана». В дальнейшем тут шли знаменитые кантовские чтения. В музее Канта находится свыше

тысячи экспонатов. А. Шопенгауэр называл его «великим учителем человечества, который один только наряду с Гете составляет справедливую гордость немецкой нации». В конце галереи висит бюст мыслителя, воспевавшего Творчество как высшее назначение человека. Бюст этот увенчан двустешием:

Здесь увековечен достойно великий учитель,
Юноша, думай о том, как обессмертить себя!

Лев Толстой воздал дань уважения и восхищения ясному уму Канта. В одном из своих писем он прямо говорит: «Много испытал радости, прочтя в 1-ый раз Канта Критику практического разума. Какая страшная судьба этого удивительного сочинения. Это венец всей его глубокой разумной деятельности, и это-то никому не известно. Если вы не прочтете в подлиннике, и я буду жив, переведу или изложу, как умею. – Нет ли биографии Канта в Публичной библиотеке, попросите от меня и пришлите» (письмо П.И. Бирюкову). В другом месте читаем: «Только с помощью открытия Канта центр тяжести мира извне перешел в мозговой узел и получил там свои качества. До тех пор это было невысказано». Видимо, под влиянием учения Канта, ратовавшего за поиск фундаментальных оснований философии, он скажет: «Лиризм без kategorischer Imperativ (авт. – «Категорический императив») никому не нужен, а только потянет на глупость и бездарность ума».^[445] Кант полагал: вне цивилизации человек ничто, именно она учила и продолжает его учить, обращаясь более разумно с желаниями, потребностями, устремлениями («О предполагаемом начале человеческой истории»).

Имя Канта было на слуху и у русской интеллигенции, принадлежавшей к помещичьему кругу. У Пушкина в романе «Евгений Онегин» об одном из героев (Ленском) было сказано:

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал:
По имени Владимир Ленский,

С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном свете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды...

Немцы строят медленно и основательно. История возведения Кельнского собора такова. В ней прообраз создания Германии, что собиралась, как говорят, «по камушку, по кирпичику». Строительство, начатое в 1248 г., шло крайне медленно, с перерывами, и было возобновлено в 1842 г. (спустя 300 лет). Собор в архитектурном плане следует готическому стилю. К числу наиболее впечатляющих предметов внутреннего убранства следует отнести скамейки на хорах, фигуры колонн, «королевские окна» начала XIV в., крест Геро, богатую сокровищницу и усыпальницу трех королей. В 1880 г. собор был закончен. На его создание было израсходовано 20,5 млн. марок. Это – самое высокое архитектурное сооружение мира такого типа (высота башен – 157 м.). Завершение строительства собора стало как бы символом единства Германии. В пользу этого высказался дом Гогенцоллернов, властителей Пруссии.^[446]

Гораздо меньше времени потребовалось для возведения собора немецкой философии. Георг Вильгельм Гегель (1770–1831), некоронованный «философский диктатор» Германии, родился в Штутгарте. Это была Швабия, а немцы считали швабов медлительными, неуклюжими и тугодумами, хотя и воздавали должное их прилежности в занятиях, их основательности, изобретательности и остроумию. В школе ему привили любовь к латыни и античности, которая после Винкельмана, Лессинга и Гердера входила в моду. Красноречием он не блистал. В гимназический период о ничем особым не отличался от сверстников. Большую часть времени Гегель проводил за книгами, за что получил даже прозвище – «старик». Среди любимых его героев – персонажи римской и античной истории и литературы. Восторженно воспринял он и Шекспира, «срисовывая» с шекспировских драм характеры для некоторых гимназических речей. В остальном же вел себя как все сверстники: нюхал табак, играл в карты, попадал в карцер, при случае любил приударить за девицами.

Получил он и герцогскую стипендию для занятий в университете, в чем ему помогло хвалебное сочинение в адрес герцога Карла-Евгения (того самого деспота и солдафона, что прославился своими гонениями на Шиллера и Шуберта). В Вюртемберге тогда было два высших учебных заведения: академия имени Карла в Штутгарте (где готовили офицеров, медиков и юристов) и Тюбингенский университет, основанный еще в XV веке. Сюда и поступил Гегель на богословское отделение в 1788 году. Учится он блестяще. Тюбингенский период характеризуется активной работой Гегеля над философией (в университете была превосходная библиотека). Здесь происходит его знакомство с поэтом Гельдерлином и молодым философом Шеллингом.

Революция во Франции не оставила равнодушными тюбингенских вольнодумцев. Гегель с друзьями Шеллингом и Гельдерлином высадил символическое древо свободы. В его альбоме революционные лозунги типа – «Смерть мерзавцам», «Смерть политическим чудовищам, претендующим на абсолютную власть!» и «Да здравствует свобода!» В Германии явилась россыпь удивительных талантов! Шеллинг в 15 лет поступил в университет (на 3 года раньше положенного). Гегель стал в 20 лет магистром философии. Все они бредили незабвенным Руссо, а Гегель даже отправился в Швейцарию (мекку), на родину великого философа.

Революционный дух будет жить в их сердцах, сохранившись надолго. На исходе своих дней Гегель скажет о Французской революции как о «великолепном восходе солнца». Этот восход облегчил появление многих гениальных немецких голов. Маркс назвал философию Канта «немецкой теорией французской революции». Эти же слова с большим основанием можно отнести к работам Гегеля, штудирующего Фихте и Канта. «От Кантовой философии и ее высшего завершения я ожидаю в Германии революцию», – писал он Шеллингу. [\[447\]](#)

Бернский и франкфуртский период Гегеля отмечен вполне понятным радикализмом. Во-первых, уже сама молодость поддалкивала к радикальным оценкам и решениям. Во-вторых, в это время стало ощущаться влияние Великой Французской революции на умы. Как отмечают ученые, Гегель с восторгом приветствовал радикализм Французской революции, надеясь, что это подтолкнет к

преобразованиям и Германию. Он вместе с Шеллингом обрушивается на государственное устройство своей страны, клеймит официальную науку, выступает против диктатуры «философских ничтожеств». В этот период он ведет себя как сокрушитель старой системы. Гегель надеется, что «исчезнет ореол, окружающий головы земных угнетателей и богов», и после этого непременно восторжествуют свобода и личное достоинство людей. Лишь к 1795 г. эти надежды стали ослабевать. Выявились просчеты и пороки радикализма. Как и Шеллинг, он начал понимать, что реформы не могут быть следствием крайних, экстремистских воззрений и действий. Видимо, в силу наступившего разочарования он стал оценивать эпоху иначе, как сумеречную и разорванную. Вспоминается Шекспир с его «распалась связь времен». Его божеством становится не Эрос, а богиня мудрости Минерва.^[448]

В январе 1801 г. Гегель переезжает в Иену. К тому времени им получено небольшое наследство (3000 гульденов), что позволило подумать и об академической карьере. Иена выбрана была не случайно. Во-первых, за университетом в Иене утвердилась громкая слава (благодаря Фридриху Шиллеру, занимавшему здесь с 1789 г. должность профессора истории). В Иене тот написал свою знаменитую трилогию о Валленштейне, «Историю Тридцатилетней войны», «Письма об эстетическом воспитании». Во-вторых, здесь с 1794 по 1799 гг. читал лекции ни кто-либо, а сам Фихте. Безбожника Фихте удалили из университета, но слава-то осталась. В третьих, здесь действует кружок романтиков Фридриха Шлегеля. Тут же, вместе с Гегелем, обитает и неразлучный Шеллинг, который переводит на немецкий язык «Марсельезу» и создает кружок для изучения кантовской «Критики чистого разума».



Гегель на кафедре.

Прекрасные времена молодости, когда тебя окружают друзья, готовые разделить твои идеи. И не только идеи... Как-то так вышло, что милостивая вдовушка Каролина Михаэлис, рано овдовев, выходит замуж за уже упоминавшегося Г. Форстера, попадает в тюрьму, а после кончины мужа, откуда ее освобождает Шлегель, становится его женою, а уж под конец «достает» и Шеллинга (третьего ее мужа). Узок был круг ее «философских исканий». Понятно, почему и вся троица кончила религией. Философия, столь вольготно чувствующая себя в царстве абсолютного духа, как оказалось, запросто может запутаться в юбках возлюбленной. Никто и ничто не может сравниться с женщинами, политиками и профессорами в искусстве *wegschwätzen* («уничтожать посредством болтовни»). Однако что же происходит с Гегелем.

Каково вообще положение в образовательных «пенатах» Германии в эту пору? Возрастают требования к наукам, школам и университетам. Само обучение переходит из разряда индивидуально мотивированного акта в некий высший нравственный закон, поддержанный всей мощью государственного устройства. Гегель первым среди немцев (в «Философии истории») четко обозначил исключительную важность превращения интуитивного человеческого побуждения к разумной деятельности в непреложный закон. Он пишет: «Эти общие определения, основанные, таким образом, на наличном сознании, законы природы и содержание того, что справедливо и хорошо, называли разумом. Просвещением называлось признание значимости этих законов. Из Франции оно проникло в Германию, и в нем открылся новый мир представлений».^[449] Овладение знаниями становилось всеобщей потребностью.

Гегеля назначают приват-доцентом в Иенском университете. За малопонятные лекции студенты прозвали его «деревянным Гегелем». Он мог прийти на час раньше и начать читать лекции в пустой аудитории, не замечая конфуза. Начальство его недолюбливало и даже готовилось уволить, заменив доцентом Фризом. Гегель обратился к Гете за поддержкой (уже в наши дни выяснилось, что они были отдаленными родственниками). Великий поэт увидел в Гегеле достойного наследника Шеллинга и постарался помочь ему. Впрочем,

и министр Гете не был всесилен. Все же ему удалось выхлопотать ничтожную сумму для бедного профессора. Что поделаешь, великим редко везет с почетными титулами и академическими регалиями. Гегелю так и не удастся занять место в Прусской академии наук. Только накануне 60-летия его избирают ректором Берлинского университета. В своей речи по поводу вступления в должность Гегель назовет университет «живым зеркалом вселенной». Это сообщество – своего рода государство, где свобода и закон как бы сливаются воедино. В академической свободе учения и воспитания он видел прообраз и образец для всех других свобод.

Тацит называл германцев так: *Securi adversus Deos* («Равнодушными к богам»). Их бог – отвлеченное существо... Отношение Гегеля к религии выражено в его книге «Жизнь Иисуса» (1795). В ней вы не найдете прямых ответов и решений. Что же до его знаменитой фразы «Бог умер», то ее не стоит понимать прямолинейно (так, как это сделал Н. Бердяев, утверждая: «Философия Гегеля безбожна»). Думаю, что философ говорит тут скорее о смерти конкретного и земного бога, являющегося символом и детищем несправедливого, несправедливого мира. Он обращается к людям с горячей проповедью: «Не гоняйтесь за этими иллюзиями, не надейтесь увидеть царство божие во внешнем, пусть самом блистательном объединении людей, – ни в виде государства, ни в виде общества, подчиненного твердо установленным законам». Взгляните, как бы говорит Гегель, тот мифический земной Христос давным-давно пошел в услужение Сатане. Он захлебнулся в потоках крови всех прошлых и нынешних царствующих фарисеев! Если Бог где-то и существует, то только в вашей душе.

Глубоко знаменателен следующий отрывок из книги «Жизнь Иисуса»: «Поскольку Иисус отказывался от совместной жизни с иудеями и одновременно все время боролся с иудейской действительностью, противопоставляя ей свой идеал, гибель его была предreshена. Он не пытался уйти от этого предначертания своей судьбы, но и не искал ее. Каждый мечтатель, объектом мечтаний которого является только он сам, радостно приветствует смерть; но тот, кто мечтает об осуществлении великого начинания, с болью покидает место, где оно должно было воплотиться в жизнь. Иисус умер с уверенностью, что дело его не погибнет».^[450]

Умер, смертью смерть поправ... Какую же религию приемлет Гегель? Религию Разума? Но она ведь также опошлена толпами невежд и ученых фарисеев, политиков и профессоров, облачающихся в белоснежные одежды лишь затем, чтобы было сподручнее (под покровом ночи) совершать хищения из Храма мудрости и красоты. Сущность истинной религии обретет себя только внутри живого и конкретного человека, считал Гегель. Сколько людей – столько религий. Если же убрать субъективное, то следовало бы из всех религий оставить лишь одну единственную – религию человечности! Именно этим отличались древние греки – «самый человеческий народ» («все человеческое здесь утверждено, оправдано, развито и имеет меру»). Конкретный человек раскрывается в поступках. В поступках – все мы. Человек, осуществляя их, воплощает добро или зло. Далек не всегда эти поступки дружественны по отношению к людям и благосклонны к ним. Чаше мы видим горестную картину. Зло правит миром. Поэтому сегодня особенно нужны смелые люди. Лишь они создадут нравственный и человеческий мир, закрепив его в законах, религии, государстве, в душах человеческих. ^[451]

Всегда есть опасность того, что перемены в обществе, считающимся «демократическим», примут характер некой «сатанинской эволюции» (революции). Поэтому представляется крайне важным и даже абсолютно необходимым, чтобы суверен (народ) держал «в железной узде» всех радикалов и реформаторов, имея реальную возможность отправить их всех на плаху или в камеру в случае нарушения ими неписаных человеческих и божеских законов.

Полтора века спустя гегелевские размышления побудят высказаться философа Н. О. Лосского на тему о «нравственной ответственности» реформаторов... Он показал, как нередко за фразами о насущности реформ скрываются гордыня и эгоизм: «Якобинцы, инквизиторы, большевики, совершая бесчисленные убийства и жестокости, пытаются оправдать свои поступки великими благами и принципами, за которые они борются. И в самом деле, многие из них были воодушевлены пламенной любовью к подлинным объективным ценностям; тем не менее поведение их отталкивает своим нравственным уродством. Объективная сторона их поступков ужасна, и даже субъективная сторона, кажущаяся самому деятелю чистой, на деле нравственно несовершенна. В самом деле, узость сознания

ценностей, присущая всем нам, существам, отпавшим от Бога, достигает прямо-таки ужасающей степени у фанатиков церкви, у революционеров, у пылких поборников социальных реформ. Чаще всего эта узость выражается в том, что фанатик ставит отвлеченную идею, теорию, проект реформ выше живого человека и потому способен убивать, насиловать, коверкать жизнь людей ради осуществления своего идеала. (Много ценных мыслей о нравственной извращенности фанатизма высказано в «Назначении человека» Бердяева... См. также: Гегель. Феноменология духа. Гл. «Закон сердца и безумие самомнения»). Обыкновенно в глубине души таких поборников добра, считающих себя благодетелями человечества, а в действительности совершающих бесчеловечные поступки, таится гордыня, она побуждает их ценить выше живого человека выработанные ими идеалы и проекты. Сухость, замкнутость в себе, неспособность любить живую конкретную индивидуальность ближнего есть обыкновенный спутник гордыни, ведущий к фанатизму». ^[452] Просто удивительно, как убийственно и злободневно звучат порой и сегодня в России слова ученого – «проект реформ выше живого человека».

Гегель видел в лице государства всемогущее существо, почти что господина бога («Оно – земной бог»). Мы просили бы обратить ваше внимание на позднего Гегеля. В зрелости даже простой человек становится мудрым. Гений же часто поднимается к высотам божественного прозрения. Иные будут говорить, что он стал к концу жизни консерватором. Во-первых, он никогда либералом и не был. Даже его последняя неоконченная статья (в 1831 г. он умер от холеры) посвящена острой и злой критике английского билля о реформе (где была попытка демократизации жизни). Во-вторых, Гегелю стало ясно, что общественная жизнь, включая политику, экономику, культуру и т. п. не могут существовать сами по себе (вне контролирующей силы). В-третьих, поскольку главным звеном и ядром цивилизационного процесса является человек, а человек слаб, несовершенен, полон амбиций и эгоистичных желаний, он нуждается в «узде». В этой связи он приходит к идее, что «человек есть член государства, которое есть начало *«высшее сравнительно с личной жизнью»*. Даже в вопросах религии, которая остается делом личным, *вмешательство не только уместно, но и необходимо.* ^[453]



Нюрнбергская гимназия

Гегель занял пост директора гимназии в Нюрнберге (1808–1816). Любопытны его представления о том, каким должно быть правильное и добротное преподавание. Прежде всего ученики должны постигнуть духовный мир учителя. Они должны больше слушать и внимать, подобно ученикам Пифагора, которым в течение первых четырех лет вменялось в обязанность молчать, слушать и запоминать. Разумеется, послушание не самоцель. Главное – научиться использовать полученные знания для творческой, духовной деятельности. Нужно прежде всего пробудить в учениках веру в свои силы и способности. Этого можно добиться лишь при помощи истинных знаний. В письме к Нитхаммеру, основателю «Философского журнала Общества немецких ученых» (1808), Гегель подчеркивал всю важность того, что в немецких гимназиях придают первостепенное значение реальным научным знаниям.

В то же время, возражая оппонентам, он говорил: «Если кое-кому и покажется, будто реальное образование поставлено столь широко, что вызывает озабоченность судьба самой гимназии, то, во всяком случае, моя вера в превосходство классического образования столь велика, что надежду на его реализацию я связываю с той особой формой, в какой будет осуществляться это образование». Пройдут годы и Гете, наставник Германии, напишет в послании к Гегелю: «С

радостью слышу я из многих мест, что наилучшие плоды приносят Ваши усилия в завершении образования молодых людей».^[454] В то же время система воспитания в Германии отвечала и прагматическим критериям. Это – третий элемент триады. Сочетание классической широты ума и делового прагматизма и составляет, на наш взгляд, тайну из тайн неуклонного и постоянного успеха немецкой нации в науке, технике, производстве.

Важным элементом выступает общественная мораль. В работе «О научных способах исследования естественного права» (1802–1803) Гегель писал: «Однако положительное и сущность состоят в том, что ребенок вскормлен всеобщей нравственностью, живет в ее абсолютном созерцании, сначала как чуждый сущности, все глубже постигает ее и таким образом переходит во всеобщий дух... Применительно к нравственности единственно истинны только следующие слова мудрецов древности: быть нравственным означает жить согласно нравам своей страны; а применительно к воспитанию – единственно правилен ответ пифагорейца на вопрос некоего человека – какое воспитание было бы наилучшим для его сына? Ответ этот гласит: «Если ты сделаешь его гражданином народа, имеющего наилучшую организацию».^[455] Без этого нет мудрого воспитания, без организации нет и добрых свершений.

Заслуги Гегеля в создании Храма философских наук, куда с момента его создания не только «захаживали» все известные мировые величины, велики. Он соединил те части духовной субстанции, что блуждали в потемках субъективизма. Российский философ В. Канке писал: «В начале XIX в. не было человека, который мог бы самостоятельно составить энциклопедию всех наук, но был гений, который сумел представить энциклопедию философских наук. То, что сделал Гегель, по праву считают философским подвигом».^[456] Гете и Гегель стали духовными наставниками Германии. Преклонение перед ними было велико. Одного из них называли «абсолютным поэтом», другого «абсолютным философом». Их обожествляли, ставили в пример, старались во всем им подражать... Философ Шопенгауэр, назначенный доцентом в Берлинский университет (1819), попытался назначать свои лекции на те же часы, что и преподававший тут Гегель (попытка переманить студентов оказалась столь неудачной, что упомянутый философ навсегда отказался от профессии

преподавателя). Однако своего унижения Шопенгауэр, разумеется, не забыл, отомстив сопернику Гегелю в «Афоризмах житейской мудрости»: «Если слава померкла после его смерти, – значит, она была ненастоящей, незаслуженной, возникшей лишь благодаря временному ослеплению; такова например слава Гегеля, про которую Лихтенберг говорит, что она «громко провозглашена армией друзей и учеников и подхвачена пустыми головами; как рассмеется потомство, когда, постучавшись в этот пестрый храм болтовни, в красивое гнездо отжившей моды, в жилище вымерших условностей, найдет все это пустым, не отыщет ни одной, хотя бы мельчайшей мысли...»^[457]

Правоверные гегельянцы так не считали и усматривали перст судьбы даже в том факте, что Гегель родился 27, а Гете 28 августа. День их рождения справляли вечером, поднимая бокалы в час, когда вылетала сова Минервы (о чем говорится в «Философии права»). Богеме нужны жреческие ритуалы. Несмотря на усилия Гете и Гегеля, нигде не умели так готовить остепененную посредственность, как в Германии... Не всем удавалось «подавить в себе школьность» и выйти образованными людьми «из цеха в человечество». Тут наш Герцен, пожалуй, был прав, говоря: «Кто убил учение Лейбница и дал ему труповой вид школьности, как не ученые прозекторы? Кто из живого, всеобъемлющего учения Гегеля стремился сделать схоластический, безжизненный, страшный скелет? – Берлинские профессора».^[458]

В сознании иных критиков укоренилось впечатление (надо сказать, весьма ошибочное), что немцы – это одно сплошное «гегельянство», то есть, что им присущи абсолютизация воли государства и его институтов, а их педагогика – одна лишь педагогика прусского военного строя. Величайшее заблуждение, которого не избежали многие умы, включая испанского философа Ортега-и-Гассета, называвшего учение Гегеля философией Цезарей и Чингисханов. Впрочем, и на солнце есть пятна. Гегелевское «солнце» в молодые годы проявляло черты «душевной сухости и скрытого высокомерия». Хуже всего то, что Гегель продемонстрировал полнейшее равнодушие к судьбам родины. Я вполне могу понять, что он, голодая, находил вселенную прекрасной и гармоничной. В конце концов, некая толика голода прочищает мозги философа лучше грога или крепкого чая... Но вот падет римско-германская империя и на ее развалинах возникнет рейнский германский союз, который фактически

станет пешкой на «шахматной доске» французского императора (1805). Что же Гегель? Ни строчки о Германии или об участи бедного отечества. Мало того, он в восторге от Наполеона, увидев в нем «мировую душу» («Weltseele»). Если Фихте бросает кафедру в Эрлангене и бежит в Кенигсберг, разделив участь побежденных сородичей, то Гегель смиряется с победой силы. И даже заявит, что в победе французов видит «неотразимое доказательство победы образованности над грубостью и духа над бездушным рассудком и умничаньем». Потом Гегель в Йене сможет в полной мере убедиться в «образованности» солдатни. К нему в квартиру ворвутся французские солдаты, порвут его бумаги, обольют чернилами стены, заплюют все и вся, да и вообще натворят множество безобразий. Они опустошат весь его гардероб, залезут в любимую табакерку, а черновики «Феноменологии духа» и вовсе пустят на цыгарки. В итоге «мирный немецкий философ» оказался вынужден сбежать из дому (Е. Соловьев). [\[459\]](#)



Пожар в Йене после взятия города французами.

Один из наиболее ярких мыслителей того времени – Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814). Во многих отношениях это ключевая фигура немецкой классической философии. Певец свободы личности, свободы «чистого Я», Фихте говорил: «Вся моя система от начала до конца – лишь анализ понятия свободы». Из перечисленных нами

знаменитых философов лишь Гегель и Фихте создали «законченные и отличающиеся своеобразием философские системы» (А. Швейцер). Жизнь его резко разнится от жизни многих ученых и поэтов Германии, что вели вполне сытую бюргерскую жизнь. Что там ни говори, а, ведь, из условий жизни и складываются судьбы философов. Фихте был выходцем из простых крестьян, сыном ткача, познавшим нищету. Он скитался по городам в поисках средств к существованию. В его письме содержится признание: «Я все время свое должен употреблять на совсем посторонние вещи, чтобы быть в состоянии жить» (1781). Бывали в жизни философа и моменты, когда он находился почти что на грани самоубийства из-за одолевавшей его нищеты.

Фихте обладал феноменальной памятью. В свое время, еще в детстве, это сослужило ему добрую службу (барон фон Мильтиц, которому он воспроизвел на память всю проповедь местного пастора, был настолько потрясен его дарованием, что принял самое деятельное участие в судьбе юного Фихте). Закончив 6 лет спустя закрытое учебное заведение для дворян, он в 1780 г. поступил на теологический факультет Йенского университета. В силу материальных затруднений он вынужден был одновременно давать частные уроки. Конечно, это не всегда способствовало учебе. Продолжил курс в Лейпцигском университете, где изучал философию, классическую филологию, теологию. Это помогло будущей работе профессора.

Какое дело богачам до страданий талантов! Для них все одно – что Фогт, что Фихте... Их печень, производящая желчь, их худой умишко, суммирующий чистую прибыль, куда важнее всех самых наивеличайших открытий, мыслей, творений. Гейне так писал о юности Фихте: «История его юности представляет ряд огорчений, как бывает со всеми нашими замечательными личностями. Бедность садится у их колыбели, баюкает, пока они не вырастут, и эта тщедушная кормилица остается верной спутницей их жизни». ^[460] Что же это за проклятый и безумный мир, в котором бедности уготована роль кормилицы талантов?!

Особый интерес представляют взгляды Фихте на роль науки в обществе и положение ученого. Мировоззрение его испытало на себе влияние двух побудительных «величин» – Французской революции и Канта. Этика последнего увлекла его настолько, что он заметил: «Если только я найду время и покой, я тотчас же отдам их всецело

философии Канта. Забросить в сердце людей основоположение его морали в популярных лекциях с силой и жаром было бы, пожалуй, благодеянием для мира». Этой задаче была главным образом посвящена его преподавательская деятельность в университете. Из-за атеистической статьи Фихте вынужден был покинуть Йенский университет. В письме к Рейнгольду (1799 год) он скажет по поводу своего преследования со стороны властей: «Я никогда не думал, что они преследуют во мне свободного мыслителя, начинающего становиться понятным (счастье Канта была его темнота), и отъявленного демократа; их, как привидение, пугает самостоятельность, пробуждаемая, как они смутно предчувствуют, моей философией». Поэтому путь к реальной свободе народов начинается с самостоятельности мысли. Фихте был убежденным республиканцем (вспомним, что это его перу принадлежит «Республика немцев в начале XXII века»).

И все же «йенский период» по праву называют самым продуктивным и, вероятно, самым счастливым в жизни Фихте. Здесь он приобрел известность. Заметно поправилось его материальное положение. Фихте стал получать до 3000 талеров в год. В 1795 г. он вместе с издателем Нитхаммером выпускает «Философский журнал общества немецких ученых», где публиковались интереснейшие работы. Многие выдающиеся умы стали вначале приверженцами его наукоучения (Ф. Шиллер, Гете, Якоби, Вильгельм фон Гумбольдт, братья Шлегели, Тик, Новалис, К. Рейнгольд и др.). Йенские романтики разве что только не молились на его философию. Неожиданно прусский министр образования предложил Фихте переехать в Берлин. Там он с 1800 г. начал читать лекции, которые, увы, имели весьма и весьма ограниченный успех. Немецкие бюргеры и их жены совершенно их не понимали и все время возмущались: «Какое нахальство. Этот человек не видит, что мы существуем, мы, у которых больше мяса, чем у него, и которые по званию бургомистров и членов суда стоим даже выше его».

Не стану скрывать: нам очень близок дух мировоззрения Фихте, являющегося, по сути дела, оптимистическим рационалистом и пламенным энтузиастом науки и прогресса. И хотя едва ли не на каждом шагу (при столкновении с действительностью) приходится погружаться в мутные волны неверия, подлости, злобы, цинизма,

ничто не остановит нас в том жизнеутверждающем высшем рационализме, что зародился вместе с работой разума. Фихте занял гражданскую позицию в вопросе о назначении человека, ученого, деятеля искусства. Глядя на цинично-холерные физиономии иных служителей муз, науки и литературы, презрительно вещающих о том, что их, видите ли, не устраивает «народ», хочется, памятуя немецкое «Den Sack schlägt man, den Esel meint man» (По мешку бьют – ослу намекают), вбить в их пустые черепа слова Фихте: «Определенное сословие, дальнейшее развитие определенного таланта выбиралось для того, чтобы иметь возможность вернуть обществу то, что оно для нас сделало. Поэтому каждый обязан действительно использовать свое развитие для блага общества. Никто не имеет права работать ради самоуслаждения, отгораживаться от ближних, делать свое развитие для них бесполезным; ведь именно благодаря работе общества он получил возможность приобрести его; в известном смысле оно – продукт общества, его собственность, и он отнимает у него его собственность, если не хочет этим принести ему пользу». [\[461\]](#)

Чем сильнее духовная, умственная, волевая составляющая народа, общества, личности, тем выше степень вероятности приближения к этическому и социальному идеалу. Верно сказал о его учении А.Швейцер: «Фихте декларирует песню песней веры в прогресс, которую с начала эпохи Ренессанса сочиняет дух нового времени, живущий достижениями науки и практики». Не думаю, что он столь уж простодушен, чтобы видеть в природе «упрямого буйвола», на которого в конце концов «будет надет хомут». В то же время никогда не поверю и в то, что Фихте видел в человеке лишь «осла», который настолько упрям и глуп, чтобы в итоге не постараться прийти «к истинному совершенству и к состоянию вечного мира». [\[462\]](#)

Политические взгляды философа – это взгляды республиканца. Он создал такую философскую систему, с помощью которой, как он представлял, возможно было утвердить принцип свободы и достоинства человека. Его первый политический манифест, выпущенный анонимно в 1793 году, назывался «Востребование свободной мысли от угнетавших ее до сих пор государей Европы». В этой мало известной нам работе он бросает вызов монархам и королям, предлагая напечатать его работу и тем самым доказать, что у них даже в мыслях нет «подавить просвещение». Фихте принадлежала

и весьма радикальная мысль о том, что «если князья станут рабами, они научатся уважать свободу». Народам непременно следует подумать о карающих «мечах» для всех *rex tremendae majestatis* («владык, внушающих трепет»).^[463]

Он обрушился на государей, жестоких и алчных узурпаторов воли народа, что вешают «человечеству веревку на шею со словами: тише, все это на благо тебе». Нет, государь, говорит Фихте, ты не наш Бог! Однако ничуть не менее страстный упрек направлен и в адрес тех народов, что безропотно сносят преступления правителей: «Ужасны могут быть требования, которые предъявят вам последующие поколения, – вернуть им то, что передали вам для вручения ваши отцы. Если бы они были так же трусливы, как вы, не находились бы вы все еще в унижительном духовном и физическом рабстве духовного деспота? В кровопролитных битвах достигли они того, что вы можете сохранить, проявив лишь некоторую твердость. Только не ненавидьте из-за этого ваших государей; ненавидеть вам следует самих себя».

Сторонник Французской революции, он вместе с тем желал предостеречь Германию от ее крайностей. Фихте пишет книгу под названием «К исправлению суждений публики о Французской революции» (1793). В ней говорится: «Французская революция, как мне кажется, имеет огромное значение для всего человечества. Я не говорю об ее политических последствиях для всех стран, а также для соседних государств... Эти последствия очень велики, но они малозначительны в сравнении с другой, гораздо более важной вещью. Пока люди не станут более мудрыми и справедливыми, тщетны будут все их усилия стать счастливыми. Едва вырвавшись из тюрьмы деспотов, они начинают убивать друг друга обрывками своих разбитых цепей. Было бы слишком печально, если бы их собственные страдания или страдания других людей не сделали их более благоразумными и более справедливыми. Таким образом, все события в мире представляются мне лишь поучительными картинами, которые развертывает перед нами великая воспитательница человечества. Французская революция – это великолепная картина на тему «Права человека и человеческое достоинство». Цель этой трагической картины не в том, чтобы чему-то научить и наставить кучку привилегированных. Учение об обязанностях, о правах и назначении человека не школьная игрушка: должно прийти время, когда

воспитательницы наших детей будут объяснять обязанности и права человека юным существам, едва научившимся говорить, когда это будут первые слова, произнесенные ими; когда наибольшим наказанием будут слова: «Это несправедливо»».^[464] Революция неплохая воспитательница нации. Жаль, что ее уроки помнит лишь одно поколение.

Первая философская работа Фихте – «Критика всякого откровения» (1792), в которой развиты идеи Канта о теологии, вышла в свет отчасти благодаря тому, что читатели приняли труд за вещь Канта. Эффект от ее появления столь велик, что ему тут же дали должность профессора и магистра (без защиты диссертации и сдачи экзамена). Фихте было 32 года, когда он получил право преподавания и чтения лекций в университете. Ему дали кафедру в Йене (рекомендация Рейнгольда и Гете). Фихте мог сказать о себе словами Мефистофеля:

Как и всему, ученью есть свой срок.
Вы перешли через его порог.
У нас есть опыт, так что вам пора,
По-моему, самим в профессора...

В Фихте нас привлекает характер, высокий ум, честность, единство слова и дела. Все свои идеи он старался воплотить в жизнь, несмотря на трудности реальной жизни. Это был отважный человек, открыто говоривший все, что думает (даже в лицо сильным мира сего). Ему принадлежит великая фраза: «Пусть покинет меня все, только бы не покинуло мужество». Он бросал вызов всем и вся: назначал лекции во время богослужения, выступал против могущественных студенческих копораций. По словам современников, он приобрел славу «отважнейшего защитника прав человека». Популярность его была необычайно велика. Как говорили тогда: «Фихте хочет через посредство философии руководить духом эпохи».

Фихте становится одним из идеологов только нарождавшейся тогда буржуазной немецкой интеллигенции. Однако при этом он хорошо понимает ее двойственную и коварную сущность, говоря: «Итак, интеллигенция созерцает самое себя исключительно как

интеллигенцию или как чистую интеллигенцию, и в этом самосозерцании именно и состоит ее сущность. Это созерцание поэтому на случай, если должен существовать еще какой-нибудь другой род созерцания, с полным правом в отличие от последнего называется интеллектуальным созерцанием. – Вместо слова интеллигенция я предпочитаю пользоваться наименованием: яйность (Ichheit); ибо оно для каждого, кто способен хоть к малейшей наблюдательности, непосредственнее всего обозначает обращение деятельности на самое себя».^[465] Фихте еще в яйце обнаружил «яканье» интеллигенции, которое является как ее силой, так и ее кашеевой слабостью. Не мудрено, что и «яйца интеллигенции» будут трещать в жерновах истории... Вспомним В. Розанова, предлагавшего (в многострадальной России, раздираемой распрями) смешать «все партийные яйца», разбив их скорлупу (кадеты, либералы, националисты).

Нравственно-этические позиции ученого находят выражение в лекциях «О назначении ученого». Собственно, данный курс носил название «Мораль для ученых», что, бесспорно, ближе к самой сути его содержания. О чем же говорит Фихте в лекциях? Ученый, поскольку он лучше видит настоящее и будущее, обязан познакомить людей не только с их насущными потребностями, но и указать им средства, при помощи которых можно удовлетворить многие чаяния и надежды. Историк и философ видит, «куда человеческий род теперь должен двинуться, если он хочет остаться на пути к своей последней цели и не отклоняться от него и не идти по нему назад». Нельзя требовать от людей, чтобы род человеческий сразу очутился у цели. Вместе с тем никак нельзя, вдруг, изловчиться и «перепрыгнуть через свой путь».

Миссия ученого быть «воспитателем человечества». Ученый, если он находится «под властью нравственного закона», самым непосредственным и активнейшим образом влияет на жизнь общества. Как убедить людей в правоте его взглядов? Только с помощью моральных и интеллектуальных средств. Нельзя впасть в искушение насилия, полагая, что кому-либо удастся заставить людей принять те или иные убеждения принудительными мерами. Но одновременно величайшим грехом было бы вводить их в заблуждение. Недопустимо, чтобы идеологами общества выступали подлецы и прохвосты,

цинично сменившие маски. Еще вчера они цветисто болтали о «демократии», нравственном благородстве, отстаивании интересов народа, а сегодня обкрадывают и губят народ. Такого рода действия произведут эффект разорвавшейся бомбы. Народ их возненавидит и отомстит – и не будет им спасения.

Фихте учит тому, что должно стать правилом будущего общества: «Но никто не может успешно работать над нравственным облагораживанием общества, не будучи сам добрым человеком. Мы учим не только словами, мы учим также гораздо убедительнее нашим примером, и всякий живущий в обществе обязан ему хорошим примером, потому что сила примера возникает благодаря нашей жизни в обществе. Во сколько раз больше обязан это делать ученый, который во всех проявлениях культуры должен быть впереди других сословий? Если он отстает в главном и высшем, в том, что имеет целью всю культуру, то каким образом он может быть примером, которым он все же должен быть, и как он может полагать, что другие последуют его учению, которому он сам на глазах у всех противоречит каждым поступком своей жизни? (Слова, с которыми основатель христианской религии обратился к своим ученикам, относятся собственно полностью и к ученому: вы соль земли, если соль теряет свою силу, чем тогда солить? Если избранные среди людей испорчены, где следует искать еще нравственной доброты?). Следовательно, ученый, рассматриваемый в последнем отношении, должен быть нравственно лучшим человеком своего века, он должен представлять собой высшую ступень возможного в данную эпоху нравственного развития. Это наше общее назначение, милостивые господа, это наша общая судьба». В отношении настоящих ученых и писателей можно сказать словами Фейербаха: это укоры совести человечества.



Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814)

В 1794 г. Фихте в Йене приступил к чтению курса «О назначении ученого», имевшего колоссальный успех у слушателей. В письме к жене он сообщал: «Все приняли меня с распростертыми объятиями». Ученый полагал, что «наука должна быть единым, целым». Что же касается позиций философа, то для него крайне важно было обладать чутьем и любовью к истине. С кафедры философии Йенского университета он читал также и сложный курс лекций «О понятии наукоучения». В 1804 г. им создан новый вариант этого курса. Фихте приглашали читать лекции и в Харьковский университет. Европейцы сделали из науки и философии источник доходов. Таковы были нравы и эпохи Просвещения. Фихте, вполне в духе своего времени, проявлял (надо ли его осуждать за это?) завидные наклонности торговца знаниями. Когда родина не удовлетворила его финансовых запросов, он тут же проявил готовность продать «товар» России. В 1804 г., писал один из биографов, Э. Н. Андерсон, Фихте решил оставить службу в Пруссии и хотел принять приглашение из России. Прусское правительство не удовлетворило его финансовые запросы и он понадеялся на большее материальное вознаграждение в России. Фихте написал русскому правительству: «Я буду ваш до смерти!» За свою службу он запросил у правительства России сделать его членом Санкт-Петербургской Академии наук и заплатить жалованье не меньше, чем

четыреста рублей. Однако из торга, судя по всему, большого толку не вышло и двумя годами позже, как пишет Андерсон, трансформация Фихте-космополита в Фихте-националиста благополучно завершилась. [466] Все это ничуть не уменьшило его популярности в мире науки (скорее напротив).

Труды позднего Фихте – «Основные черты современной эпохи», «Речи к немецкой нации» и «Учение о государстве» (1813). В первой работе им выделены пять эпох всемирной истории: 1) эпоха безусловного господства разума через посредство инстинкта; 2) эпоха превращения разумного инстинкта в мощный принудительный авторитет; 3) эпоха освобождения от авторитета, а заодно и от разума, что ведет «к совершенной разнузданности» и «завершенной греховности»; 4) эпоха разумной науки или возвращения к истине, т. е. как бы «состояние начинающегося оправдания»; 5) эпоха разумного искусства или человечество, руководствующейся совестью и разумом («состояние завершенного оправдания и освящения»).

Метаисторическая схема Фихте весьма любопытна... Современную эпоху Фихте считал впавшей в полнейшую греховность. Это – безвременье, некий «промежуточный конец» истории. В чем его суть? Если говорить коротко, то народы подошли к пограничному рубежу культуры и цивилизации. Образ мышления этой третьей эпохи таков, что мы имеем в качестве лидеров – «военный лагерь формальной науки». Хотя он призван грамотно и разумно руководить массами, но он просто не в состоянии этого сделать, ибо своих мыслей у этих господ никогда не было. Поэтому все утверждения и лозунги «героев эпохи» (реформаторов) не могут никого убедить, поскольку «данная эпоха вообще не имеет суждений о важности или истинности». Идеологи этой «демократии» – псевдоученые, люди без знаний, убеждений. Из таких тупоголовых ослов и рекрутируют «вождей масс и элит» («в вожди масс годится здесь всякий»). Отсюда – полная бессмыслица в проводимых ими реформах. Движения тех, «кто командует в этом лагере», напоминают потуги горьких пьяниц, не выходящих из запоя.

Напрасны попытки увлечь народ. Все, на что способны эти «вожди»: принимать бездарные указы и законы... Фихте пишет: «Если же государство хочет изменить для своих выгод мнения народа, оно отчасти берется за невыполнимую задачу, отчасти же обнаруживает,

что его законы не приспособлены к установившемуся состоянию нации, включающему в себя и систему мнений последней, или же, что организованное им управление и надзор оказываются недостаточными и что, будучи не в состоянии собственными силами справиться со своими задачами, оно нуждается в посторонней поддержке, получить которую ему неоткуда. Наконец, государство – быть может, с самыми чистыми намерениями из истинного рвения правителей к осуществлению господства разума, – может начать борьбу с господствующими мнениями путем внешней силы; в таком случае оно ставит себе совершенно неосуществимую цель; ибо все проникается сознанием, что государство совершает при этом несправедливость в формальном отношении, и преследуемое воззрение приобретает, благодаря оказанной ему несправедливости и нарушению его права, новых адептов... и дело кончается тем, что государство вынуждается уступить, лишней раз обнаруживая этим свою слабость».^[467]

В отношении крепости жизненных убеждений человека он говорил ясно и недвусмысленно: «Нужно не обладать философией, а быть ею». К сожалению, современники не смогли понять всей глубины его философской системы (не только обыватели, но и философски изощренные умы). Его идеи не были должным образом оценены Кантом, Шеллингом, Гегелем, Рейнгольдом, Шлейермахером... Оставленный теми, в ком рассчитывал найти поддержку, Фихте, в ту пору ректор Берлинского университета, заразился тифом от жены, ухаживавшей в госпитале за больными и ранеными, и умер... Гегель, на словах постоянно критиковавший систему Фихте, тем не менее, завещал на закате жизни похоронить его рядом с могилой соперника. Заметьте, с великими мертвецами все готовы примириться. Пройдет не так уж много времени и немецкий поэт Гельдерлин назовет его «титаном, который борется за человечество и круг влияния которого совершенно определенно не ограничивается стенами аудитории». Да, это была личность вселенского масштаба. Недаром о них (Гегель и Фихте) говорят как о сопоставимых гигантах, в равной мере принявших участие «в этом немецком Возрождении». Титан, ожидающий часа торжества. Можно сказать, что вся жизнь была философом прожита в соответствии с заветом римского поэта Ювенала: «*Verba animi proferre et vitam impendere vero*» (лат. «Высказать слова души и за правду отдать жизнь»).



Портяжное искусство.... Карикатура (Фихте – Шеллингу)

К компании великих принадлежал и Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775–1854). Хотя Маркс писал, что философы не вырастают как грибы из земли, об этом забываешь, попадая в германский лес. Отчего же в разодранной на куски Германии (300 небольших и вовсе крохотных государств, герцогств, курфюрств) один за другим появляются гении – Кант, Фихте, Гегель, Гете, Шиллер, Гейне, Бетховен? Видимо, так бывает, когда во славу прогресса поработают «микробы истории», подготовив весьма плодородный интеллектуальный «гумус»...

Шеллинг происходил из семьи теологов... В 16 лет, получив специальное разрешение, он поступил учиться в Тюбингенский Теологический институт. Вместе с ним там учились будущий философ Гегель и поэт Гельдерлин, чьим духовным «вождем» он и стал. В институте состоялась и его проба пера (статья «О мифах, исторических сказаниях и философемах древности»). После окончания института ему, как в свое время Канту и Фихте, приходится впрячь себя в «учительский воз». В области научной мысли известен «философией свободы» и «философией откровения». Взаимосвязь жизни и учений немецких философов очевидна.

Еще Ф. Энгельс заметил, что ум Шеллинга рождал «светлые мысли», сослужившие службу молодому поколению. Нашего читателя также заботит судьба этой «поросли», ибо, в конце концов, ей строить

будущую жизнь и открывать «Атлантиду абсолютного». Ей менять не только «старое негодное судно», но и старую негодную команду, у которой отсутствуют совесть, мужество, честь и разум (в России). Менять ситуацию придется новой революционной интеллигенции. «Если интеллигенция сочетает и эту противоречивость между реальной и идеальной деятельностью, – пишет Шеллинг, – то для нее возникает понятие необходимости». Добавим, что Шеллинг, вместе с Фихте, Новалисом, Тиком и Вакенродером, входил в йенский кружок братьев Шлегелей, давших толчок зарождению «йенского романтизма».^[468]

В Вюрцбурге он начал зимний семестр 1803 г. с чтения курса, в основу которого легла книга, напечатанная им еще в Йене – «О методе университетского преподавания». Ранее увидела свет главная работа молодого Шеллинга – «Система трансцендентального идеализма» (1800). Его внимание привлекает проблема объединения наук в определенную систему. Тут он как бы дополнял усилия Канта и Фихте (с помощью «устремленной вперед истории самосознания»). Если мир является своего рода живым организмом, то и науки о мире должны быть объединены в органическое целое. Древо научного познания вырастает из философского корня («науки наук»). Что объединяет различные предметы и направления? Творчество – это «искусство в науке». Учеба в высшей школе предваряет главный жизненный этап – воплощение замысла. «Все правила университетского образования можно свести к одному: «Учись, чтобы творить», – говорил Шеллинг. Человек – высшая форма природы. За 60 лет до Дарвина и за 10 лет до Ламарка он говорил о единстве развития всех органических существ.

Примерно в 1802–1803 гг. он создает и свою философию искусства, которую пытался донести до студентов в лекциях (Йена, Вюрцбург). Она не была полной, ибо из отдельных видов искусств он немного знал живопись, был знаком с архитектурой, увлекался античной поэзией, но не знал музыки. Хотя то обстоятельство, что романтик Шеллинг обратился к искусству, вполне естественно. Романтизм стал тогда главным духовным движением века.

В Германии, где художественная и научная мысль была представлена столь разнообразными и блистательными именами, всегда шла тайная борьба за сферы влияния в этих областях. Кто же был духовным вождем народа? Художник или ученый? Немецкий

поэт-философ Новалис, к примеру, говорил: «Поэт постигает природу лучше, нежели разум ученого». Говоря иначе, «законы воображения» и «законы чувств» сильнее «законов логики» и «законов мышления». Вокруг этого и шла битва за тот или иной тип просвещения и мышления, что утверждался в школах и институтах, а затем в государственных учреждениях. Шеллинг считал, что художник творит «безотчетно», удовлетворяя «лишь неотступную потребность своей природы». Если философ стремится к истине, то художник – к красоте. Идеальным выражением творчества является красота, появляющаяся в результате почти бессознательных действий творца. Художник отличается от ремесленника только тем, что творит свободно.

Шеллинг-идеалист не признавал ни «экономически выгодных изобретений», ни участия искусства в делах практики, политики и морали. Искусство является лидером среди слуг разума и красоты. «Наука лишь поспешает за тем, что уже оказалось доступным искусству». По мысли Шеллинга, все науки вышли из поэзии. Поэтому когда-нибудь они вновь вольются «в тот всеобъемлющий океан поэзии, откуда первоначально изошли». Весьма важен идеал «единого абсолютного», где истина и красота являют собой нерасторжимую целостность, субстанцию «абсолютного человека». Шеллинг так понимал исключительную роль искусства в судьбах общества и государства: «Наконец, немалый позор для того, кто прямо или косвенно участвует в управлении государством, вообще быть невосприимчивым к искусству, равно как и не обладать истинным его пониманием. Ибо ничто так не украшает князей и власть имущих, как если они ценят искусства, чтят и умножают своими щедротами их творения; напротив, нет более печального и позорящего их зрелища, чем когда они, располагая средствами довести искусства до высочайшего расцвета, расточают эти средства на безвкусицу, варварство и лстящую им низость... Того, кто вообще не желает подпасть под влияние искусства и испытывать его воздействие, считают грубым и необразованным».^[469]



Фридрих Шеллинг (1775–1854)

Царство науки в его понимании аристократично... Здесь должны властвовать только лучшие. Известное противоречие с некоторыми идеями, высказываемыми им в «Системе трансцендентального идеализма», вызвано лишь иной выборкой ориентира. Хотя знание общедоступно, но оно еще не дает основания для обязательного успеха на поприще наук. Нужно владеть предметами высшего порядка (интуицией и творчеством). Простой механической суммы знаний недостаточно. Нужны «поэзия в философии», вся магия историзма, воплощенная во всеобщей истории как эпос... Шеллинг словно сзывает под знамена все возможные науки (философию, историю, юриспруденцию, естествознание). Он «изменил категории мышления природы», – писал о нем Гегель. Увы, труднее оказалось изменить мышление человека. В лекциях, на которых присутствовали обычно лишь 50–70 человек, он часто цитирует Горация: «Odi profanum vulgo et arceo» (лат. – «Ненавижу толпу невежд и сторонюсь ее»).[470]

После смерти Гегеля Шеллинга вызывают из Мюнхена в Берлин. Власти хотят, чтобы с кафедры Берлинского университета он провозглашал свое новое учение, которая закрепит за Германией славу «страны философов». Шеллингу дают жалованье, какого еще не получал ни один прусский университетский профессор. Достаточно сказать, что оно было столь же велико, как и жалованье примы-балерины в королевском балете. Однако Гегеля заменить не удается.

Вскоре мода на «шеллингианство» проходит (на философию также бывает мода, как на обувь или шляпки). Отречение от веры молодых лет не проходит бесследно для мыслителей и политиков. Расплатой за предательство для тех и других становятся забвение и презрение со стороны грядущих поколений. Фейербах назовет его философию теософическим фарсом, а самому мыслителю прикрепит ярлык «философского Калиостро XIX столетия».

Шеллингом в 20-е-40-е годы XIX в. всерьез увлеклось московское «Общество любителей». В Берлине побывали Станкевич, Грановский, Катков, Бакунин, Тургенев, Огарев, Одоевский. На первых страницах философского романа В. Одоевского «Русские ночи» читаем: «В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV, он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания, – его душу! Как Христофор Колумб, он нашел не то, что искал; как Христофор Колумб, он возбудил надежды неисполнимые. Но как Христофор Колумб, он дал новое направление деятельности человека! Все бросились в эту чудную роскошную страну, кто возбужденный примером отважного мореплавателя, кто ради науки, кто из любопытства, кто для поживы...» Многих ждало разочарование. Одоевский устремится дальше, говоря в примечании: «Эпоха, изображенная в «Русских ночах» – есть тот момент XIX века, когда Шеллингова философия перестала удовлетворять искателей истины и они разбрелись в разные стороны».^[471]

Среди немецких мыслителей первой трети XIX века видное место занимал и Фридрих Шлейермахер (1768–1834). В формировании его мировоззрения принимали прямое или косвенное участие такие мыслители как Спиноза, Кант, Якоби, Эбергард. Этот мыслитель интересен нам своим отношением к человеку, то есть прежде всего своей этической философией. Ф. Шлегель откровенно признавался ему: «Ты для меня в отношении человечности то же, что для меня были Фихте и Гете в отношении философии и поэзии». В самом деле, когда мы имеем дело со значимой известной личностью (будь то мыслитель, поэт, ученый, художник), мы невольно обращаем внимание на круг его идей, заслуг, званий, регалий и т. д. Но, ведь, куда большее значение в обыденной жизни значат обычные свойства характера, душевные качества человека. Знавшие близко Шлейермахера особо

ценили гуманность и душевность этого человека. Он не изменился даже тогда, когда стал профессором богословия, видным церковником, секретарем Академии наук и влиятельным государственным деятелем. Как о нем с восхищением и восторгом скажет одна знатная дама (Беттина фон Арним), кстати, прекрасно знавшая самого Гете: «Я не знаю есть ли он величайший человек (Mann) своего времени, но он несомненно есть величайшая человеческая личность (Mensch)».

Однако его вклад в историю немецкой культуры и мысли, конечно, не ограничивается тем, что он был «гением жизни» (С. Франк). Нет, его перу принадлежит еще богатое научное и эпистолярное наследие. Среди его главных произведений – «Речи о религии» (1798–1799) и «Монологи» (1800). Тот, кто полагает найти в «Речах» всего лишь обычную унылую и порой непонятную проповедь о греховности человека и необходимости соблюдения заповедей Божьих, будет приятно разочарован. Перед нами предстает яркая и взволнованная песнь во славу нравственных и гуманных деяний людей на протяжении всей истории... О его ярком и образном языке можно судить хотя бы на основании следующего отрывка: «Ибо величайшее художественное произведение есть то, материалом которого служит само человечество и которое непосредственно творит Божество; и это произведение многие уже скоро начнут понимать. Ведь Божество творит и теперь со смелым и могучим мастерством, и вы будете неокорами (авт. – блюстителем храма), когда новые творения будут установлены в храме времени. Вложите силу и дух в истолкование художника, объясняйте из прежних его созданий позднейшие и из последних – первые. Мы должны объять прошедшее, настоящее и будущее, созерцать бесконечную галерею возвышенных произведений искусства, умноженных тысячью блестящих зеркал. История, которой подвластны миры, должна с благодарностью обильно вознаградить религию, как свою первую воспитательницу, пробудить истинное и святое поклонение вечной силе и мудрости. Смотрите, как божественный росток созревает среди ваших насаждений без вашего содействия, свидетельствуя о благосклонности богов и о непреходящем значении вашей заслуги. Не стесняйте его роста и не выпалывайте его: он есть ваше украшение и спасительный талисман»... Мы же чаще посылали проклятья в адрес религии, не вполне отдавая себе отчет в ее высочайшей роли как учителя и

воспитателя человечества. Может быть поэтому мы и сегодня прочитываем с некоторым внутренним стыдом, но и надеждой такие его строки: «Смотрите же: хотите ли вы того или нет, но цель ваших высших современных усилий есть, вместе с тем, возрождение религии». Об этом мыслителе говорили, что он создал даже «не школу, а историческую эпоху». Это же справедливо и для педагогических взглядов Шлейермахера, выраженных в «Монологах».^[472]

Вера в силу образования в какой-то мере заменяла немцам даже их веру в бога. Философ В. Виндельбанд (1848–1915) так охарактеризовал настроения в Германии: «По воззрениям, господствовавшим в немецкой жизни того времени царство разума должно было осуществиться только при помощи образования. Нигде это не отразилось с большей отчетливостью, чем в блестящем изложении Шиллера, которым он начал свои «Письма об эстетическом воспитании человека». Оно показывает, с какой энергией и жаждой дела взгляд поэта-философа был обращен на политическую действительность его времени и как он пытался определить в ней задачу образования... Это была идеальная вера в силу образования, которая сделалась и осталась составной частью политической жизни в Германии – счастливой и плодотворной, но, с другой стороны, также и тормозящей и вредной: в ней сила и слабость либерализма. Ибо невозможно достаточно высоко оценить значение образования для общественной жизни; но фактическую власть, психическую мотивационную силу образования в политических движениях, ее власть над массами можно очень легко переоценить, и на таких иллюзиях покоятся большей частью ошибки либерализма и до настоящего времени».^[473]

Наличие тесной связи между философией и образованием, философией и культурой несомненно. Большинство проблем цивилизации являются проблемами культуры: политической, социальной, экономической, педагогической. О характере этой связи писал С. И. Гессен в «Основах педагогики»: «Если педагогика так тесно связана с философией и в известном смысле может быть названа даже прикладной философией, то следовало бы ожидать, что история педагогики есть часть или, если угодно, отражение истории философии. Так оно и есть на самом деле. Платон, Локк, Руссо, Спенсер – все это имена не только реформаторов в педагогике, но и

представителей философской мысли. Песталоцци был только самобытным отражением в педагогике того переворота, который в современной ему философии был произведен критицизмом Канта. Фребель, как это признается всеми, был отражением в педагогике принципов Шеллинговой философии. Конечно, и развитие психологии и физиологии не проходит бесследно для педагогической теории. Но почерпая свои руководящие принципы и самое свое расчленение из философии, педагогика в большой мере отражает на себе развитие философской мысли. То же самое можно сказать и про историю образования, только отображающую в себе развитие культуры в целом. Те задания-ценности, совокупность которых составляет культуру, далеко не всегда образуют дружное и гармоничное общежитие. Часто между отдельными культурными ценностями разгорается борьба, в результате которой какая-нибудь одна из них приобретает господство и налагает на всю культуру соответствующей эпохи свой отпечаток. Можно по-разному объяснять причины этой борьбы, но самый факт междоусобной борьбы в среде культурных ценностей несомненен». [\[474\]](#)

Идею близости школы и жизни отстаивал И. Ф. Гербарт (1776–1841)... Иоганн учился в Йенском университете, где слушал лекции Фихте, от которого и воспринял многие положения его философии. Во взглядах великого агностика его привлекало бережное отношение к прошлому. Гербарт, подобно Фихте, любил эту немецкую «старинную основательность» и попытался учесть ее в педагогике. От педагогики он требовал упрочения связей с философией, психологией, этикой. Решительно высказывался за приближение ее к нуждам общества. Правильным преподаванием, полагал он, является готовящее человека к тому, «что ему наиболее нужно знать». К группе самых необходимых предметов Гербарт относил знания по земледелию, ремеслам и торговле, а также знания, «дающие пропитание» искусствам и наукам. Особое значение придавалось религии, морали, знанию гражданских прав и обязанностей. Сокровищница его философии и педагогики недостаточно изучена нашим временем.



Иоганн Фридрих Герbart – профессор философии и педагогики.

Он возражал против «искусственно облегчающего и обходящего трудности метода обучения». Такое обучение «не вырабатывает ни настоящего мышления, ни сильных людей». Восставал он и против чрезмерной загруженности ума «классическим хламом». Нельзя всех вынуждать корпеть над греческо-римскими фолиантами: «Для большинства... с этим связаны не только большая потеря времени, но еще большая и более вредная растрата стремлений и сил. Напротив, все большее распространение науки и в особенности все возрастающее множество общепользных знаний все настойчивее призывают к наиболее экономичному использованию времени для преподавания действительно плодотворного и благодетельного».

Старая педагогика должна была уступить место более отвечающей духу современности молодой педагогике. Руками и умами уходящих с авансены истории уже нельзя было строить новую систему образования. В разные эпохи всегда познается нечто разное, поскольку каждое время и думает, и действует по-своему. Тот же, кто будет подходить к перестройке образования и воспитания, не опираясь на новую философию, как считал тот же Герbart, «легко может вообразить, что проводит широкие реформы, лишь немного улучшая методы преподавания». Хорошо бы, если дело обстояло именно таким

образом. Чаще же случается совсем иначе. Когда иные титулы, мнящие себя высокообразованными и просвещенными, берутся за реформы, получается изрядный конфуз. «Образование может превратить дурака в ученого, – заметил П. Бошен, – но оно никогда не изгладит первородного отпечатка». [\[475\]](#)

Школа должна была стать и местом высокой духовности. Если И.Гербарта считают основателем рационалистической традиции в педагогике, то Дильтей сторонник приоритета духовных начал в обучении. В. Дильтей (1833–1911), философ, психолог, историк культуры, учился в Гейдельбергском и Берлинском университетах. Человеческую жизнь он трактовал как культурно-историческое бытие. Отсюда и та огромная значимость, которую Дильтей придавал наукам о природе и духе. Школа в его понимании должна являться местом обретения некой высшей душевно-духовной целостности. Основные педагогические идеи Дильтея изложены в сочинении «О возможности всеобщей педагогической науки», написанном в 1888 году. Педагогика определяет цели воспитания исходя из содержания культуры народа. История формирует цели жизни индивида. Ученый выступал против создания «педагогике на все времена», то есть общезначимой, применимой всеми народами во все времена педагогике, ибо меняются и люди и миры. Вместе с тем, процесс ассимиляции и интеграции народов не позволяет забывать об их глубокой самобытности. По Дильтею, главная цель образования и воспитания – восхождение от природного начала к высшим свойствам человека.

Кто таков учитель? Это прежде всего художник, ваятель умов и душ. В конце XIX века, когда рационализм и прагматизм заполонили собой все закоулки учебных заведений (особенно в Америке), Дильтей публикует статью «Школьные реформы и школьные классы» (1890). В ней он выступал против крайностей. Деление на классическое и реальное образования вело к дегуманизации не только педагогического процесса, но и всего общества. Дабы избежать столь нежелательного развития событий, ученый настаивал на интенсивном изучении в школе гуманитарных предметов. Лекции по истории педагогики от античности до времен Коменского легли в основу «духовно-исторической школы» в педагогике. Эта школа получила широкое распространение и дополнялась школой духовно-художественной. Впрочем, новые методы постепенно внедрялись по всей Европе.

Духовное развитие молодежи шло таким образом параллельно с художественно-эстетическим, религиозным воспитанием.

В Германии к середине XIX в. деятельность педагогов, учителей, воспитателей приняла общенациональный масштаб. Велика была и роль Ф. Дистервега (1790–1866), прошедшего школу ряда университетов (Гейдельберг, Херборн, Тюбинген). Он сделал немало полезного для развития школьного дела. Преподавал физику и математику в гимназиях и образцовых школах. В Берлине им созданы четыре учительских общества. Его избирают председателем Всеобщего немецкого учительского союза (1848). Дистервег издает педагогический журнал под названием «Рейнские листки». Получила известность и его знаменитая «Записка 23», в которой он требует учреждения единой школы для всех детей нации без различия состояний и будущего призвания. Власти, настороженно относившиеся к его деятельности, увольняют педагога в отставку. Обычная судьба непокорных и дерзких умов. Дистервег по праву считается одним из талантливейших немецких педагогов-практиков (на его счету 20 учебников и руководств по математике, естествознанию, географии, астрономии, немецкому). Основным принципом, главным методом обучения он считал умелое сочетание в преподавании культуры и природосообразности. Сторонник метода развивающего обучения, Дистервег связывал успех школьного дела с самостоятельностью и творчеством учителей и учеников.



Фердинанд Вальдмюллер. Возвращение из школы.

Ранее отмечался тот внушительный вклад в культуру, что внесли университеты и профессиональные школы Германии... Они стали местом подготовки высококлассных профессионалов. Университеты в средние века возникают в Гейдельберге (1386), Кельне (1388), Лейпциге (1409), Ростоке (1419), Фрейбурге (1457), Тюбингене (1477), в Кенигсберге (1544) и других городах. Помимо философии и технологии, здесь преподаются математика, астрономия, физика, химия, картография, зоология, минералогия. Подобно тому, как среди бюргеров нет никого, кто бы не любил денег, с не меньшим уважением относились немцы к наукам и образованию. Если французы говорили: *L'argent n'a pas de maître* («Деньги не имеют хозяина»), то немцы утверждают гуманистический принцип: «Образование не знает границ».

Университеты – островки свободы, откуда поведут наступление лучшие немецкие умы... Век Просвещения ознаменован открытием целого ряда университетов (в Галле – 1694, в Геттингене – 1737, в Эрлангене – 1743, в Штутгарте – 1781). Иные из университетов порывали с традиционной университетской структурой, желая полнее отвечать требованиям времени. Штутгартский университет, сохранив общий статус, изменил структуру. Отныне цели «чистой» науки переориентированы на практические нужды общества. Созданы факультеты права, военных наук, экономики, медицины, администрирования, даже лесоводства. Даже само название университета приобрело прагматический оттенок («*Nohe shule*»).

Иным было назначение Кенигсбергского университета («Альбертина»), занявшего видное место среди немецких высших учебных заведений. В 1544 г. университет был открыт герцогом Альбрехтом Прусским, чье имя он и носит по праву. Это – подлинное дитя гуманизма. Здесь много внимания уделялось искусству. Этот университет был построен по проекту Иохима Камерариуса. Как и университет в Марбурге, он мыслился центром, совмещающим функции образования и очага распространения протестантизма. Первым ректором Альбертины стал зять просветителя Меланхтона – Георг Сабинус. Изданная в Нюрнберге по случаю основания университета грамота призвана была привлечь юношей соседних стран, желавших получить добротное образование. Немцы уже тогда

понимали выгодность политики привлечения в свои вузы лучших умов отовсюду. Герцог посылал приглашения в Польшу, Голландию, Швецию, Лифляндию, Россию, в столицы германских княжеств, в которых говорилось: «Мы также надеемся, что наша академия принесет пользу многочисленным великим народам, живущим на западе и востоке от прусских границ; если на нашей территории будут усердно изучать науки, то вы сможете располагать большим числом получивших образование пасторов для ваших церквей... Поэтому мы пригласили в Кенигсберг во благо Пруссии и соседних народов ученых и великих мужей». Герцог Альбрехт нередко и сам посещал лекции. И хотя университет считался государственным, юнкерство и купеческие семьи выделяли немалые средства на его развитие. Позже вуз объединят с Педагогической академией. Ужасы Тридцатилетней войны, к счастью, обойдут стороной Кенигсберг. С годами университет превратится в истинный Храм Науки. На стенах здания (проект 1844 г. Августа Штюлера) можно будет увидеть прекрасные настенные росписи в Старой Аудитории – «Смерть Сократа в застенке» (М. Пиотровски), «Одобрение архонтами и сенатом законов Солона» (Г. Греф), «Гиппократ», «Святой Павел, ведущий проповедь в Афинах». Как говорится: «Художественная форма – это ставшее зримым содержание» (И.Гофмиллер).



Александр Гумбольдт.

Подлинный взлет университета пришелся на начало XIX века. Вильгельм фон Гумбольдт в письме сообщает Гете, что он открыл в Кенигсберге пять новых кафедр. Укором невежественным политикам иных варварских стран должен был бы послужить тот факт, что даже в 1809 г., когда огромные платежи в пользу Франции привели Пруссию на грань катастрофы, университетский бюджет для Кенигсберга был увеличен почти вдвое. В это время был заложен ботанический сад, осуществлено строительство обсерватории, основана университетская библиотека. Здесь же возникли Кенигсбергское Ученое общество и Физико-Экономическое общество. Целая плеяда выдающихся умом прославляла сей город ученых, профессоров, студентов. Тут работали историк права Штоббе, пионер в области изучения культуры историк К. Гюльман, германист К. Лахман, не говоря уже о Канте и Фихте.^[476]

Вот как описывает историк науки ту особую атмосферу и некий живописный фон, что складывались вокруг университета: «Маленький Виттенберг и сегодня сохранил следы прежнего интеллектуального величия. Он как бы погрузился в глубокий сон, навевающий мысли о гигантах шестнадцатого века, – Лютере, Меланхтоне... И хотя многие его нынешние обитатели и не подозревают о прошлом величии города (так, на вопрос «Где был университет? группа молодых людей ответила: «Его здесь не было». «Как же так, он был основан в начале шестнадцатого века», возразили им. На что последовал ответ: «Так давно мы не жили»), следы тех времен остались: памятники реформаторам далекого прошлого, надписи, свидетельствующие, что Виттенберг был своеобразной Меккой интеллектуальной жизни на протяжении долгих лет (в частности, не миновал этот город и Петр Великий), архитектура гулких, узких улочек, выбегающих на простор реки, где в свое время со своим учеником Вагнером прогуливался бессмертный профессор Фауст». Со времен средневековья вокруг студентов и профессоров, школ, центров, университетов, в горниле пламени, насыщенного духовно-раблезианским «кислородом», складывалась особая культура, пронизавшая все общество. В ней есть своя элегическо-царственная прелесть. Вспомним, что Гамлет был студентом Виттенбергского, а Лаэрт – Парижского университетов. Возможно, и сакраментальная фраза «Быть или не быть?» вызрела еще в стенах университета. Вокруг университетов Европы активно бурлила жизнь. Нет, не случайно, что здесь рождается идея университета.

Тем временем наука, что подобна необъятному космосу, исторгала из своих глубин все новые «кометы». Александр Гумбольдт (1769–1859), великий естествоиспытатель, географ и путешественник, вырос, как и его брат Вильгельм, в обеспеченной семье (дом в Берлине, поместье в Рингенвальде, замок Тегель). Александр влюблен в ботанику и рисунок. Это ему пригодится, когда он отправится в путешествие по Южной и Центральной Америке. С детства он вступил на путь поклонения материализму и естествознанию, увлекшись мхами, лишайниками, папоротниками, водорослями – и всякого рода «тайнобрачными растениями».



Вильгельм Гумбольдт.

Братья Гумбольдты перешли учиться в Геттингенский университет (среди сокурсников два английских принца, сорок графов, юный князь Меттерних). Александр предпочел путь ученого-естественника. Биограф В. Гумбольдта имел в виду такого рода людей, когда говорил о «срединной мудрости», завладевшей всею немецкою умственною жизнью. «Ею жили, ею вдохновлялись: она господствовала в государственной, как и в частной жизни, в чиновничьей, как и в промышленной сфере... Она раздавалась с церковных и университетских кафедр; в ее духе государство писало законы, ее духом жила наука». На молодого человека повлияла судьба Иоганна и Георга Форстеров, видных натуралистов и путешественников.

А. Гумбольдт вместе с учителем Г. Форстером совершил поездку по странам Европы (1790). За год до смерти Гумбольдт писал: «Я употребил целое полстолетие, в течение которого все время продолжал вести беспокойную и сильно подвижную жизнь, чтобы сказать самому себе и другим, чем я обязан своему учителю и другу Георгу Форстеру в отношении обобщения взгляда на природу, укрепления и развития того, что брезжило во мне задолго до этой счастливой встречи». Далее его ждет работа в должности директора рудников. Исследуя горные породы и минералы, он составил карту соляных источников Германии.

В Америку он отплыл благодаря усилиям испанского правительства и лично короля Испании (1799). Невозможно описать его путешествие. Ибо, как говорил ссыльный декабрист Г. С. Батеньков, А. Гумбольдт имел одновременно «дар аналитический и поэтический». Лучше прочитать «Картины природы» и «Космос». Или, если сей труд труден, на худой конец, самому съездить на Тенерифе, то есть на Канарские острова, о красоте которых писал исследователь. Он сожалел, что народы Европы лишены такой природной роскоши и экзотики, какая существует в Латинской Америке. Однако европейцы компенсируют многое богатством культуры, фантазиями своих поэтов и живописцев. Все это время Гумбольдт упорно и настойчиво работает над первым томом «Космоса». Так космос природы пересекся с космосом науки. В письмах он отмечал, что его притягивают глубины России, как «неизъяснимая загадка».^[477] Во время поездок на берега Рейна у него появляется мысль о путешествии в Россию. Его необычайно влечет и манит к себе Сибирь, которая родственна Космосу. Науки же представляются ему единым континентом, связи между которыми прочны.

А. Гумбольдт – феноменальная личность (ученый, писатель, художник, администратор). В Америке он встречается с Джефферсоном, в России с Николаем I, Чаадаевым, Герценом (в Московском университете). Не зря же филолог Я. Гримм в 1862 году напишет: «Стоять рядом с Гете мог бы только один человек – Александр Гумбольдт». Каковы же его успехи на педагогическом поприще? Здесь стоит упомянуть о лекциях (цикл из 61 лекции, прочитанный в 1827–1828 гг.) в Берлинском университете. Лекции

стали важнейшим событием культурной жизни (они проходили в самом большом зале Берлина – в Певческой академии).

В них ученый показывал тогдашнее состояние всех наук, давая картину «физического мироописания» Земли и Вселенной. В ходе лекций он погружал слушателей в пленительный мир энциклопедизма, знакомя их с достижениями самых значительных умов всех времен и народов. На базе этих лекций и родилась идея известнейшего труда («Космос»). Велика его роль и как пропагандиста естественнонаучных знаний. Благодаря ему повсюду в Германии возникают «ферейны» (кружки или общественные клубы), целью которых было распространение новых знаний. Гумбольдт любил говорить: «Со знанием приходит и мысль, а с мыслью – сила и уверенность». Он прекрасно отдавал себе отчет, что только умный народ может завоевать себе достойную жизнь. Без толковых людей наверху государство обречено.^[478]

Велика в этом плане и заслуга Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835), философа, филолога, языковеда, государственного деятеля, брата знаменитого путешественника и географа Александра Гумбольдта. Вильгельм станет основателем Берлинского университета (1809). Его работа «Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства» (1792) известна своей педагогическо-воспитательной направленностью. Полностью напечатана была работа только после смерти автора в 1851 г. Гегелевская (гражданственно-государственная) линия воспитания в трудах дополняется гумбольдтовской (индивидуально-самостоятельной, личностной). В 1809 г. Вильгельм фон Гумбольдт, друг Гете и Шиллера, получил от короля Пруссии приглашение занять должность директора департамента исповеданий и народного просвещения. Он принял его и стал разрабатывать концепцию реформы среднего и высшего образования. Пруссия испытала всю тяжесть поражения от Наполеона. Гумбольдт понял тогда важное обстоятельство: определенно достичь возрождения страны можно только в случае, если удастся поднять дух народа. В нем всегда жил патриот (его биограф Р. Гайм писал, что он страстно «любил немецкий ум и немецкий дух»). В 1810 г. в записке, адресованной правительству, он решительно настаивал на том, что университеты требуют особого к себе отношения (как и вся высшая школа). Согласно его концепции Берлинский университет должен был

стать центром науки, культуры, образования и воспитания немецкой нации.

Мысль В.Гумбольдта понятна. Возрождение страны возможно только на пути укрепления духа немецкой нации. Это возможно путем создания мощной системы образования и культуры. У немцев есть все для того, чтобы подняться к вершинам национального величия. Успех возможен в том случае, если Германия не будет слепо и раболепно повторять чьи-то «зады». Поэтому в основу реформ должны быть положены, с одной стороны, дух протестантизма и нравственности, с другой, дух либерального образования, способствующего целостному развитию личности. В качестве главного ориентира им выбрана богатейшая народная культура, а не культура маргиналов (в лице мещан и узколобых «интеллектуалов»). «Идея университета Гумбольдта предполагает, с одной стороны, автономию, функциональную самостоятельность науки как системы, способствующей ее свободному развитию, и, с другой стороны, культуруобразующую мощь науки, в которой отражается в концентрированном виде вся мирожизненная реальность в ее целостности», – отмечает немецкий ученый Ю. Хабермас. Наука должна стать для нации своего рода «койнэ» (греч. «общий язык»). Подобно Гераклу, она должна совершить не один, а целых двенадцать великих подвигов (защита отечества, развитие наук, воспитание и образование умного и здорового поколения и т. д.).

Суть принципов единения, разработанная В. Гумбольдтом, заключалась в следующем. Во-первых, университет не имеет права допускать в свои стены примитивный утилитаризм. Во-вторых, опытная эмпирическая наука не должна противопоставляться фундаментальным исследованиям (он выступал против «высокомерия опытного знания»). Чтобы восторжествовало «истинно-интеллектуальное образование», он учредил при департаменте просвещения Научный комитет, куда вошли действительными членами ученые различных дисциплин (историки, философы, филологи, математики). В-третьих, университеты должны стоять на мощной гуманитарной основе. Гуманитарное образование должно лечь в основу развития личности в государстве. В противном случае специалисты-естественники всех рассадят по колбам и клеткам, как подопытных кроликов или мартышек. В итоге, в Германии могут

восторжествовать «духовный материализм» и «безыдейный элитаризм» (это и произошло).

В записке, адресованной правительству, В. Гумбольдт горячо отстаивал идею уникальности университета. Он всячески старался доказать властям, что это заведение особого рода – Олимп просвещения и науки. Гимназии и спецшколы, писал он, решают совсем другие задачи. Поэтому власти должны относиться к университету с большим почтением. Ведь университет отвечает самым высоким целям державы. Прежде всего в его распоряжении «находятся такие рычаги и силы, какими не располагает само государство».



Берлинский университет

Основанный в 1810 г. Берлинский университет стал новым типом университета, где можно было вести научную работу в свободном режиме. Гумбольдтова модель особенно привилась в Соединенных Штатах Америки и в России. По выражению Дж. Бернала, немецкие профессора установили своего рода научную империю, охватывающую всю Северную, Центральную и Восточную Европу и оказавшую исключительно большое влияние на развитие наук в России, США и Японии. Немецкие профессора отныне, с начала XIX в., становятся почти полновластными властителями многих научных собраний и академий. Поэтому со временем совершенно иной, содержательный и позитивный смысл приобретает и гетевская фраза из «Фауста»: «Was ihr den Geist der Zeiten heibt, Das ist im Grund der Herren eigner Geist» (нем. «А то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий»).

[479]

Следующий отрывок дает представление о позиции В.Гумбольдта в вопросе воспитания: «Общественное, то есть установленное или направляемое государством воспитание во многих отношениях вызывает сомнение... В развитии человека все зависит от величайшего многообразия; общественное же воспитание, даже если те, кто им руководит, будут стараться избегать односторонности и ограничатся только назначением и оплатой содержания воспитателей, неизбежно окажется в сфере применения какой-либо определенной системы. Тем самым в общественном воспитании проявятся все те недостатки, на которые мы... указали в первой части нашего исследования... и если вообще что-либо требует индивидуального воздействия, то прежде всего воспитание, которое ставит своей целью формирование отдельного человека... все это теряет свое значение в той мере, в какой гражданин уже с самого детства воспитывается только как гражданин. Конечно, хорошо, если условия жизни человека и гражданина, насколько это возможно, совпадают... Но упомянутое совпадение полностью перестает быть благотворным, когда человек приносится в жертву гражданину».^[480]

Стоит добавить, что Вильгельм фон Гумбольдт стал и родоначальником современной лингвистики. Язык является нашими глазами, обращенными в мир людских страстей и мыслей. Он придает человеку неповторимое обаяние и очарование. Хотя в иных случаях заставляет пожалеть о том, что природа наградила иных из нас речью. По речи мы узнаем не только мысли, но и чувства человека, его склад и даже национальный характер... Гердер утверждал: между языком и национальным характером имеется внутренняя связь. В конце XVIII в. обнаружили родство санскрита (языка древней Индии) с латынью, греческим, другими европейскими языками. Тут же стали высказывать идеи о наличии единого праязыка. Английский востоковед У. Джонс заявил: «Европейские языки, возможно, произошли от одного протоязыка, которого больше нет» (1786). Фридрих Шлегель работает над книгой «О языке и мудрости индусов» (1808). Якоб Гримм в «Немецкой грамматике» (1822) находит соотношения между элементами немецкого и индоевропейского языков. Вильгельм Гумбольдт образно характеризует природу языка: «Природа языка состоит в переплавке чувственной материи мира и слов в печать мыслей». Язык неизбежно несет на себе отпечаток взглядов народа.

«Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык».^[481] Значение языка как важнейшего фактора культуры в дальнейшем подчеркивалось многими. М. Хайдеггер даже скажет, что не человек говорит, а язык говорит человеку. Благодаря языку народы составляют тесное и органическое единство, связанное кровными узами, как братья-близнецы. Впоследствии известный языковед, физиолог, философ, психолог В. Вундт (1832–1920), создавший в 1878 г. первую экспериментально-психологическую лабораторию, ставшую своего рода «Меккой» психологов многих стран Европы, напишет: «Именно в этом пункте романтизм – в языковедении в лице Якова Гримма, в правоведении в лице Савиньи и Пухта – выступает против индивидуализма предшествующей эпохи и проводит ту мысль, что народ, порождающий язык, нравы и право, сам представляет собою личность, *«исторический индивидуум»*».^[482]

Нет, не случайно мысль Европы оказалась в тенетах немецкого «ловчего». Тот, кто знаком с многогранным процессом проникновения и взаимообогащения культур, не удивился бы этому «вторжению немцев»... Разве задолго до этого (XII в.) германцы Фридриха Барбароссы («Огнебородого») не восприняли как нечто привлекательное античные нравы и римскую культуру?! И хотя «кора германизации» спадала не столь быстро, как, скажем, смывается грязь с тела варвара-бродяги, процесс за века приобрел необратимость. Теперь же, по мере усиления влияния и роли немецкой расы, естественно, возник ответный интерес других европейцев и славян к великой немецкой нации. Особенно это заметно на примере тяги к наукам, что, подобно золотым монетам, имели хождение за рубежом... Ранее многие европейцы обучались живописи в Италии. Немцы учились у французов. Нынче же за познаниями в естественных науках все чаще направляются в Германию. Среди них были, конечно, и русские.

Здесь ощущается, как мы увидим, некая несхожесть и одновременно близость культурно-исторических типов русских и немцев. Чем это вызвано? Сказать наверняка не берусь. Но некоторые ученые прямо указывают, что в давние времена толпы германцев были вытеснены из их предполагаемой родины между Волгой и Уралом на берега Балтийского моря, где они и поселились. Об этом, в частности, упоминает историк Пифей (360 г. до н. э.), называя их гуттонами и

тевтонами. Они шли вдоль прусского берега, через Финляндию и Швецию, заняли всю Данию и северную Германию, перешли Рейн. Нации стремятся вернуться в лоно.

Интересно и то, как воспринимали немцев русские писатели. Замечательный писатель Н. В. Гоголь заметил в своей работе «О движении народов в конце V века» о появлении в Европе «нового невидимого мира», представленного германскими племенами, что переселились из Азии в отдаленные времена. Гоголь так описывает эти племена: «Физическая и духовная их природа носила резкий отпечаток самобытности и особенности. Их организация физическая совершенно спорила с организацией народов древнего мира... Их религия, их жизнь, их темперамент, первообразные стихии характера различались во всем от образованных тогдашних народов. Религия германских народов отличалась особенною оригинальностью. Их божество и предмет поклонения была земля. Казалось как будто мрачный вид тогдашней Европы внушил им идею этой религии... Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звуке ее, как молодые, исполненные отваги тигры. Думали о том только, чтобы померяться силами и повеселиться битвой. Их мало занимала корысть или добыча... Они были вольны и не хотели никакой иметь над собою власти. Правления у них почти не было... Они были просты, прямодушны: их преступления были следствие невежества, а не разврата. То, что было бесчестие и низость духа, называлось только преступлением... Таковы были народы германские – грубые стихии, из которых образовалась новая Европа». Интересно, что и он относил происхождение германцев в Азию, отметив их оригинальность и самобытность, мужество и смелость, неприязнительность и вольнолюбие. В его понимании германский мир очень близок славянскому миру, являясь миром «вовсе отличным» от католического, римско-европейского мира (или так называемого «образованного»).

[483] Возможно, так оно и есть.

Правда, Петр I, подчеркивая преемственность всей европейской цивилизации, в то же время говорил о поляках и немцах как о весьма невежественных народах (по крайней мере, в начальных фазах своего развития). В частности, Петр заметил: «...а Поляки, равно как и все Немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе, и только непомерными трудами

правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние Греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас...». [484]

Однако с такой оценкой были в корне несогласны как немецкие, так и некоторые русские ученые, писатели-энциклопедисты. К их числу принадлежал А. С. Хомяков, отличавшийся умом необыкновенным и колоссальными знаниями. Он решительно противостоял попыткам англосаксов и иудеев принизить роль этой нации в Европе, и даже ставил немцев на первое место среди европейских народов в области исторических наук, говоря: «За настоящими немцами тянулись с большею или меньшею ревностью их колонии, Франция и Англия». [485]

Откуда этот устойчивый интерес русских к Германии? Русские, сколь бы национальны и патриотичны они ни были, все же прекрасно отдавали себе отчет в том, что немец (вообще, европеец) живет в массе своей лучше, сытнее, комфортабельнее и удобнее. Понимание этого пришло к высшим кругам общества достаточно давно, во время официальных поездок, путешествий и военных походов. Цари это знали, а люди обычные, так сказать «невыездные», поняли сие после создания в Москве в 1570-гг., в годы Ливонской войны, иноземного поселения (за рекой Яузой). Здесь жили пленники из Прибалтики, а также иностранцы, принятые на «государеву службу». Поселение получило наименование Иноземской или Немецкой слободы. В начале XVII в. она, правда, сгорела (в Смуту), но идея оказалась весьма животворной. России были необходимы иностранные специалисты, а они нуждались в жилье, которое бы отвечало более или менее европейским стандартам. И хотя первоначально внешний вид домов и дворов восстановленной Немецкой слободы не очень-то отличался от русских, вскоре ситуация коренным образом изменилась. В ней появляется больше каменных домов, да и деревянные дома строятся по канонам европейской архитектуры. Уже с 70-х гг. XVII в. их, как отмечает В. А. Ковригина, стали строить «на немецкую и голландскую статью». И выглядели они, по свидетельству многих современников, и правда «красивыми, как игрушки».

Гораздо менее красиво выглядели картины увеселений «на западный манер»... Известно, что на Руси батюшка-царь – он тебе и закон, и судья, и властитель мод, и сам господь бог! Немецкая слобода

(как ее называли москвичи – Кокуй) стала тем «злачным местом», где в юные годы царевич проходил «первые университеты». Влияние слободы имело, как всегда бывает в подобных случаях, две стороны. Одна была позитивной. Царевич, будучи от природы человеком любознательным и пытливым, узнавал интереснейшие подробности о внешнем мире (о науках, успехах, достижениях Европы). Внешний ее облик был ярким и приметным. Патер И. Давид отмечал: Немецкая слобода была «более опрятная и нарядная, чем другие... много в ней красивых каменных палат, выстроенных немцами и голландцами недавно для своего жилья. Остальные строения деревянные, но достаточно просторные. Едва ли найдешь здесь дом без сада, притом сады цветущие, плодоносные и красивые». Жители слободы носили европейское платье «на образец немецких дворян». Немалое значение возымело то обстоятельство, что в слободе в дальнейшем (1696–1698 гг.) построен и Лефортовский дворец, ставший, по существу, неофициальной резиденцией Петра I. Здесь русский царь и устраивал приемы послов, проводил празднества и бурные увеселения своего двора. [\[486\]](#)

Вторая менее привлекательна... Вот как описывал идейную сторону западного влияния на царя историк В. И. Большаков: «Кого там только не было: кальвинисты, католики, лютеране, сторонники убитого во время великой английской революции короля Карла Стюарта, приверженцы короля Вильгельма Оранского, английских и шотландских масонов, иезуиты и всякого рода авантюристы. Были там и будущие «идейные руководители» Петра I – швейцарец Лефорт и Патрик Гордон. Международный сброд, живший там, отнюдь не отличался высокой нравственностью: имели место распущенность, кутежи и разгул. Но вся эта разношерстная масса была едина в своей враждебности ко всему русскому, патриархальному». [\[487\]](#)

Многое в деяниях великого царя так и не было до конца нами осознано. Наследница Петра, Екатерина I не очень-то стремилась поддерживать научные замыслы и планы своего мужа. В дневнике города Петербурга о событиях тех лет сказано так: «Государыня большую часть года проводила в стенах Летнего дворца в Летнем саду и выезжала очень редко. 15 августа (1726 г.) приглашены были во дворец и удостоены торжественной аудиенции члены Академии наук, учрежденной по мысли Петра Великого. Зять государыни, герцог

Голштинский, поддерживал иностранцев и влияние их в России; он склонил Екатерину к открытию академии наук. Сама государыня, в противоположность своему державному супругу, не любила и не могла любить ученых: их похвальные речи были непонятны ее величеству».

Полностью позитивные начала петровских начинаний вытравить все же не удалось. К примеру, вскоре стало прочной традицией направлять на стажировку за границу (особенно в Германию) способных академических студентов. Одновременно широко практиковалось и приглашение иностранных специалистов в Россию. В этом были свой резон и своя закономерность. В частности, советником Берг-коллегии Райзером русскому обществу была предложена обширная программа обучения. Особый упор был сделан на необходимость скорейшего прогресса страны путем изучения естественных наук (химии, физики, механики, гидротехники, физической географии). Осуществляется отправка русских студентов в Европу. Президент Академии наук России Корф просит немцев принять на обучение способных молодых русских (1735). Проучившись в Германии год или полтора, они по возвращении на родину могли бы «сами обучать других». В 1736 г. в Германию едет на обучение 25-летний Ломоносов с товарищами, став студентом известного в Европе Марбургского университета.

Цель поездки была ясно обозначена... Занятия начали с обучения основам арифметики и геометрии и с изучения немецкого. Ломоносов стал брать также уроки французского, рисования, танцев. Программа обучения постепенно расширяется, включая аэрометрию, маркшейдерское искусство, естественную историю. Во время обучения в Марбургском университете Ломоносов начнет собирать и свою первую библиотеку (за два года им куплено 59 томов). Здесь им будут приобретены: «Избранные речи» Цицерона, книги Э. Роттердамского, сочинения Овидия, Вергилия, Плиния, Сенеки. Видно, его впечатление от немецкой школы было довольно сильным, раз уж он рекомендовал немцев в Петербургскую академию, заметив: «Правда, что в Академии надобен человек, который изобретать умеет, но еще более надобен, кто учить мастер». Привлекала его также просветительская миссия немецких пасторов, что «в своих духовных школах обучают детей грамоте». Сравнивая их поведение с манерой нашего духовенства, Ломоносов писал: «Тамошние пасторы не ходят

никуда на обеды, по крестинам, родинам, свадьбам и похоронам, не токмо в городах, но и по деревням за стыд то почитают».^[488] Эта сторона культуры и поведения немцев также вызывала уважение.



Пауль Флеминг. Гравюра А. М. Шурмана. 1632 г.

А сколько немцев принимало самое деятельное, серьезное участие в подготовке кадров высшей и средней школы в России в дальнейшем... Граф Б. Миних (1683–1767) не только руководил строительством Ладожского канала, шлюзов на реке Тосне, был президентом Военной коллегии, но и основал в Петербурге Сухопутный шляхетский корпус (1731), где преподавали академики Г.Крафт и Г.Миллер. Приглашенный в директора корпуса Екатериной II граф Ф. Ангальт (1732–1794) всецело посвятил себя заботам о воспитании своих питомцев (они и стали ему семьей). В одной из своих речей он заметил: «Благоговейте к храму вашего воспитания. Да будут первым побуждением и первым началом всех ваших поступков: честность и доброе имя».^[489] И таких немцев немало. Стоит вспомнить хотя бы славное имя барона Н. А. Корфа (1834–1883), что был родом из остзейских дворян. Он по праву считается одним из виднейших деятелей русской школы, «охранителем» её лучших и добрых традиций.

Университеты в Германии стали для нас как бы «живым зеркалом вселенной» (Гегель), расширив представление о природе и Вселенной и превратившись в первоклассную кузницу научных и педагогических кадров. Число их неуклонно растёт (Геттинген, Эрланген, Йена, Киль, Марбург и т. д.). Здесь больше высших учебных заведений, чем во всех странах Европы, вместе взятых... Понятно, что сюда устремляется всё больше иностранцев (в их числе немало русских). Хорошо известно, что И. Тургенев отправился доучиваться в Берлин, всё лето путешествовал по Германии, слушал лекции в Берлинском университете, встречался с профессором философии К. Вердером и даже с превеликим рвением изучал Гегеля. После отъезда и путешествия по Италии он возвратился в Берлин, где вновь «предался науке». Увлекался он и философией Фейербаха, прочитав его труд «Философия и христианство».^[490]

И. Тургенев, проживший большую часть жизни за границей, хоть и оставался русским писателем, но, вероятно, уже не мог «не быть европейцем», перенявшим многие представления, вкусы, установки и оценки зарубежья. Поклонник демократии, он считал, что та является подлинным и чуть ли не единственным отечеством всякого «достойного человека». Когда у тебя нет родины (или ты её покинул по той или иной причине), вольно или невольно, а приходится искать ей замену. И тут уж хочешь-не хочешь, а приходится воспевать Европу и Америку! Вспомним, как заканчивается роман Тургенева «Отцы и дети». Там сказано о русских физиках и химиках, коими «наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютной ленью».^[491]

Немецкая наука и высшая школа стала для нас, русских (что бы мы там ни говорили), одним большим университетом, процесс обучения в котором длится вот уж три века! Кстати, даже и Н. Я. Данилевский признавал ту исключительно важную роль, что сыграли в научном прогрессе человечества три «главных народа» Европы – немцы, англичане и французы... Он писал в «России и Европе»: «Следовательно, первенство в сообщении плодотворного движения наукам вперед бесспорно принадлежит немцам. Но эта прогрессивная деятельность разных национальностей является весьма различною в

различные периоды научного развития. Именно обращая внимание лишь на народы, бывшие главными деятелями в науке, – на немцев, англичан и французов, – мы видим, что англичане более или менее содействовали возведению наук на все четыре ступени их развития; немцы приняли преимущественно участие в возведении наук на ступень частных эмпирических законов или более или менее участвовали в этом труде во всех науках, достигших этого периода развития; вместе с англичанами разделяют они славу возведения наук на высшую ступень их совершенства; в четырех случаях из восьми – были единственными деятелями или главными участниками в искусственной систематизации знаний, но *ни одной науки не ввели в период естественной системы*. Совершенно напротив того, французы были главными деятелями в сообщении движения наукам в периоде естественной системы, именно из девяти случаев в пяти, и ни в одной науке не установили искусственной системы». ^[492] «Три богатыря» европейской школы наук!

А разве наши музыканты не ездили в Германию? Вспомним визиты М. И. Глинки, родоначальника русской музыки, в Берлин, где он изучал искусство создания фуги, и учебу известного создателя русских романсов А. Е. Варламова, использовавшего при создании шедевров композиции И. С. Баха. С призывами учиться у немцев эстетическому вкусу неоднократно обращались к русскому читателю А. Н. Оленин, получивший эстетическое воспитание в Дрездене, городе, который Винкельман называл «Афинами для художников». Алексей Николаевич Оленин, создатель известного кружка поклонников античности, в дрезденской королевской библиотеке проводил дни и ночи, изучая сочинения по древней истории (1870-е гг.). Сюда же позже устремился и поэт К. Н. Батюшков, глава анакреонтического направления в русской поэзии. В очерке «Прогулка в Академию художеств» (1814) Батюшков восклицал: «У нас еще не было своего Менгса, который открыл бы нам тайны своего искусства и к искусству живописи присоединил другое, столь же трудное: искусство изъяснять свои мысли. У нас не было Винкельмана». К слову сказать, когда Оленина назначат президентом Академии художеств в России, Батюшков сравнит его с Винкельманом и Менгсом. ^[493]

Было чему поучиться у немцев и нашему народу... Достаточно почитать того же Ф. Н. Глинку или А. Ф. Раевского, оставивших воспоминания о походах русских войск в Европу 1813–1814 гг. Их больше всего поразили достаток и просвещенность средних и даже низших слоёв немецкого общества. Федор Глинка пишет, говоря об увиденном им в Силезии: «Посмотри на эти высокие каменные строения с огромными конюшнями, скотными дворами, огородами, прекрасными садами, цветущими беседками – как думаешь, что это? Верно господские дома, дома князей и баронов. – Нет! это деревня, где живут силезские крестьяне. Дивись, но верь». И дальше он описывает жизнь и быт рядового немца: «Вот прекрасная чистая комната, украшенная живописью, зеркалами и диванами. Хозяин одет очень опрятно; пьет по утрам кофе, имеет вкусный стол, ходит в театр, читает книги и судит о политике. Кто он такой? Угадай! – Дворянин? – Нет! – Богатый купец? – И то нет. – Кто ж? – Мещанин, цирюльник. Я предчувствую удивление твоё и разделяю его с тобою. Разве у нас нет цирюльников, но они живут в хижинах, часто в лачужках. Отчего же здесь люди так достаточны? Эта тайна *образа жизни* немцев» (Ф. Глинка. «Письма русского офицера»). Уровню культурного кругозора крестьян безмерно удивляется и А. Раевский («Воспоминания о походах»). Ему «кажется странным, что самые крестьяне с жадностью читают политические листки и рассуждают о происшествиях мира», что «имена Шиллера, Гете, Бюргера, юного Кернера и других великих писателей известны даже поселянам», что обычная «бедная саксонка» говорит, как благородная («с пленительным благоразумием»). Немного поразмыслив, наши офицеры не без оснований видят причины такого положения в готовности соблюдать законы всеми, включая правительство. Правительство даже подает народу пример в разумности, честности и точности соблюдения всех своих обещаний. Естественно, что народ доверяет такому правительству. Глинка пишет: «Так стремятся пруссаки защищать свое правительство. И как не защищать этого кроткого, на мудрости и точности основанного правительства? Представьте, что здесь не имеют даже понятия о взятках и о том, как можно разживаться должностью и как кривить весы правосудия за деньги!»^[494] Русские, хорошо знающие порядки в отечестве, где чиновник нередко мздою и живет, видимо, испытали потрясение.

Идёт и обратный процесс. Среди приехавших служить в Россию мы видим немцев, швейцарцев, голландцев, шотландцев и т. д. Любопытно, что в XVII–XVIII вв. процветающая ныне Швейцария с удивительным равнодушием относилась к наукам. В тот период там был всего один университет в Базеле. Этот город считался оплотом науки и просвещения, превосходя Женеву и сокровищами искусств. Казалось бы, швейцарцы должны были стремиться к наукам. Ничего подобного... В те времена их больше интересовали деньги и материальное благополучие. Оказывается и в столь почтенной стране, как Швейцария, можно услышать массу глупостей, вроде: «Пускай учатся немцы – это им идет, а у нас, швейцарцев, есть дела поважнее какого-то ученья». Эти настроения стали причиной того, что выдающийся талант Бернулли, Эйлера, Галлера не смог найти себе применения на родине. И, наоборот, в тогдашней императорской России привечали иностранных ученых. Скажем, математик Леонард Эйлер (1707–1783) был приглашен в Петербургскую Академию наук и на следующий год приехал в Россию (1726). Тогда город на Неве только ещё обретал черты будущего величия. Петербург решал свои первостепенные нужды (мостились улицы, строились караулки, крыши домов оборудовались бочками с водой из-за угрозы частых пожаров и т. д.).

В момент приезда Эйлера в Петербург ему было 25 лет... В России великий ученый проведет немало лет (до 1741 г., когда он переедет в Берлин, к Фридриху II, где примет участие в создании немецкой Академии наук). Вскоре Эйлер увидел, что Фридриха больше занимали войны, чем наука... Кроме того, немцы бывали и несравнимо большими скупердяями, чем щедрая и хлебосольная Россия... И после четверти века пребывания в Германии Л. Эйлер с сыновьями возвращается под крыло великой Екатерины II (1766). Можно сказать, что несмотря на слепоту, Эйлер именно в России достиг пика научной карьеры: тут он издает тома «Оптики», является душой Академии наук, пишет работы по математике и астрономии, получает премии Парижской академии наук (его перу принадлежат более 800 работ).^[495]

Была в немцах и некая ненасытная тяга к обучению, совершенствованию, которая не может не вызывать в нас искреннего восхищения. Эту их особенность подметил покойный профессор МГУ

А. В. Карельский в предисловии к собранию сочинений Э.Т.А. Гофмана. Он писал о своем любимом немецком писателе: «Одна из самых трогательных черт Гофмана – это его постоянная сосредоточенность на проблеме обучения, охранения – так и хочется сказать по-современному: охрана юности. Если учесть, что «учителя волшебники» у Гофмана в избытке наделены его собственными характеристическими чертами, то нетрудно догадаться, что и все студенты для него – ипостаси себя прежнего. Неведенье это блаженно, а мудрость горька».^[496] Такова и немецкая мудрость: с горькой примесью хмеля, от коего кружится глава.

Немало их, мастеровитых, трудолюбивых, верных слову, упорных и цельных немцев (Гегель написал в «Философии истории»: «Французы называют немцев *entiers*, цельными, т. е. упорными; им не свойственна и сумасбродная оригинальность англичан») устремилось в Россию по зову царя Петра, а затем и Екатерины... Как отмечают сами немцы (Э. Зигль), немецкие иммигранты строили в «Северной Венеции» (Петербурге) мосты, проектировали дома и дворцы, работали каменотесами и мастерами художественных ремесел, трудились в мануфактурах и оружейных мастерских... Хорошо известны и такие факты как восстановление сгоревшей Москвы графом А. Х. Бенкендорфом, строительство Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты, Храма Христа Спасителя архитектором К. А. Тоном и т. д.

Они учреждали в новой столице России и семейные предприятия. Великолепные фасады Невского проспекта пестрят немецкими названиями. Почти каждый четвертый магазин принадлежал тут немцам. Это было похоже на самую главную улицу в столице Германии, что тогда ещё не могла похвастать роскошью и великолепием. За первыми волнами немецкой иммиграции пришла еще одна, во второй половине XIX в. Немцев привлекал начавшийся тогда в России процесс индустриализации. Их страсть к созиданию, творчеству, изобретениям, торговле могла найти и находила в то время вполне достойный и эффективный выход.^[497]

Книга в России также создавалась при активнейшем участии немцев... К примеру, в 1909–1910 гг. возникла издательская компания «Мусагет», которую возглавил Эмилий Карлович Метнер, музыкальный критик и большой поклонник Гете, Вагнера и Ницше. В

России он намеревался публиковать книги в трех сериях: «Мусагет» посвящена литературе, «Орфей» – мистике и журнал «Логос» – вопросам философии культуры (международный ежегодник). Сам Метнер высказывал в своих статьях довольно интересную и не лишённую оригинальности мысль, что «Германия и Россия – двоюродные братья». Сюда же примыкали молодежь, прослушавшая курсы философии в немецких университетах, последователи Г. Когена, П. Наторпа, Э. Кассирера, Г. Риккерта и В. Виндельбанда, а также молодые литераторы, относившие себя к неокантианской школе (Б. Яковенко, С. Гессен, Ф. Степун и другие). Правда, финансировали журнал «Логос», судя по всему, немцы, требовавшие от издателя четко выраженной германофильской ориентации. Метнер позже признавал: «Направление журнала (по желанию издателя) должно быть германофильское (в широком неполитическом, нефанатическом, культурном смысле слова) и отнюдь не враждебное Вагнеру; вот и все».^[498]

Самая превосходная школа, университеты, искусства, философы и ремесла вовсе не гарантируют, что наряду с образованием и культурой в страну не вторгнутся дурные привычки. При всей симпатии к немецкому народу, не стоит относиться к нему как к высшему существу, добродетельно-непорочному Лоэнгрину. Тот ведь тоже желал, чтобы Эльза любила его «таким, каков он есть». Не хотелось бы, чтобы на основании сказанного кто-то пришел к выводу, что, дескать, и «Луна делается в Гамбурге» (Н. В. Гоголь. «Записки сумасшедшего»).

Ведь и в самой Германии, ясное дело, хватало разного рода убожеств. Немецкие учебные заведения, несмотря на прогресс, пахивали казармой, свобода там частенько заменялась муштрой, а творчество – педантизмом. Жесткая система воспитания порой подавляла в человеке все человеческое... Но давайте же тогда честно спросим себя, а какое из обществ не испытало на себе всей «прелести» плоских размышлений филистеров, разброда, путаницы, а то и подлости элиты в области теоретического мышления и практического воспитания?!

Еще Георг Форстер, друг выдающегося ученого Александра Гумбольдта, деятель Майнцской коммуны, как-то заметил, что если культивировать душу человека в учебном заведении механистически и

формально, подобно тому как выращивают «спаржу на грядках», итог будет трагичен и ужасен... Такие заведения выпускают в жизнь «отвратительные существа, лишенные соков и сил, не способные хоть на мгновение отойти от заученных правил и думать самостоятельно – машины во всех значениях этого слова». Далее он писал: «Создавать машины и людей, подобных машинам, нетрудное искусство».^[499] И очень опасное для мира.

Конечно и в Германии молодежь не всегда находила ответы на вопросы в школе. Попав в водоворот жизни, она тут же забывала своих шеллингов и гегелей, что для нее более недостижимы, чем лунные кратеры и «цветущие на Марсе яблони». Если Фихте высмеивал тех, кто готов был видеть в человеке лишь «кусоч лавы на луне», то Шлейермахер уже тогда обращал внимание на страшную опасность бездуховности и цинично-прагматического взгляда на жизнь... Философ писал: «Внешний мир – мир, лишенный духа – есть для толпы величайшее и первое, дух же – только временный гость в мире, неуверенный в своем месте и в своих силах. Для меня же дух, внутренний мир, смело противостоит внешнему миру, царству материи и вещей». Среди тех, кто рьяно и слепо поклоняется внешнему миру, есть и те, кто чему-то выучился и «гордо шагает по расширенным и заполненным житницам своих знаний». В действительности же, эти люди представляют собой лишь оболочку, лишенную смысла и божьего промысла. Это лишь подобия людей, ибо лишены жизни духа. Поэтому и мир их враждебен человечеству. Немецкий мир, как мы увидим, научился плодить негодяев.



Праздник дураков.

Может, поэтому Герцен, сравнивая качества французских и немецких ученых, отдавал предпочтение французской цивилизации, считая их наблюдателями и материалистами, а в германских ученых видя лишь схоластов и формалистов. Французы у него скорее специалисты, чем каста, немцы же – наоборот... «Во Франции ученые не стоят на первом плане и, следовательно, не имеют такого влияния, как ученые в Германии. Во Франции они все более или менее устремлены на практические улучшения – это огромный выход в жизнь. Если их по справедливости можно упрекнуть в специальности больше, нежели германцев, то, наверное, нельзя упрекнуть в бесполезности. Франция именно стоит во главе популяризации науки... Совсем не таковы цеховые ученые германские. Главный, отличительный признак их – быть валом отделену от жизни; это отшельники средних веков, имеющие свой мир, свои интересы, свои обычаи... Академический, ученый мир в Германии составляет особое государство, которому дела нет до Германии».^[500] Оценки немецкой мысли сначала Герценом, а затем Солоневичем, не должна отбрасываться (особенно немецкая идеология превосходства)... И. Солоневич писал в «Народной монархии» (напомню: в середине XX в., во время страшной войны с гитлеровской Германией): «Термин «ученого варвара» был впервые пущен Герценом – около ста лет тому назад. Это – очень точный

термин. Нельзя отрицать и немецкой одаренности и немецкой работоспособности и – еще менее – той чудовищной дрессировки, которой немцы подвергаются в семье, в школе, в армии, на службе, и так далее. Это – самый дрессированный народ мира. Они учатся так, как нам не снилось – поистине грызут волчьими зубами гранит науки. Но творят науку – все-таки другие нации».^[501] Все так, все верно, кроме, возможно, последнего. Немцы умеют творить науку, хотя способности русских повыше.

Тут мы решительно не согласны с В. Розановым, что говорил о соотношении талантов двух стран: «Вот перед великолепным здешним университетом (какое здание – дворец на «Unter den Linden») стоят статуи двух, можно сказать, «святых» братьев, Александра и Вильгельма Гумбольдтов. Известно всем, какие впечатления Александр Гумбольдт вынес из путешествия по девственной, в научном отношении, Южной Америке. И тогда он захотел писать свой «Космос». Вот как происходит вдохновение! Но позвольте: что же бы Александр Гумбольдт написал, если бы какой-нибудь министр-вахмистр заставил его «составлять историю Берлинской королевской академии по архивным документам, хранящимся при канцелярии этой академии?» Александр Гумбольдт просто подох бы, ибо послушаться нельзя, вахмистр сильнее его, или превратился бы в какого-нибудь Пекарского, Сухомлинова и пр. и пр., в знакомые тусклые фигуры... Сказать, что в России все-таки и не могло быть своих Гумбольдтов, Риттеров, Моммсенов, – невозможно. Но нужно вдохновение; нужна вдохновляющая культура: а у нас какая-то дикая азиатчина, что-то поистине нероновское или диоклетиановское в отношении к «Психее», «душе» человеческой, в смысле неуважения и презрения к ней, мучительства ее. Пример Пушкина неопровержим: почему пишу о Германии и Италии я, а не Пушкин? Пока это – так, а это – именно так, я неопровержим в той моей мысли, что русская культура просто раздавлена, как яйцо в руках самодура-силача. И ничего из этого яйца не вышло (кроме гадости), а может быть, вышла бы Жар-птица. Пушкин говорит и доказал собою, что могла бы родиться именно Жар-птица».^[502] В стиле Розанова скажем, что курица – не птица, а Розанов – не философ. А уж то, что у России есть, были и будут «свои Гумбольдты и Моммзены», несомненно и неоднократно доказано и подтверждено историей.

Позволю обратить ваше внимание и на то, что обычно относят к факторам быта, психологии, культуры нации. Жизненная философия у натуральных немцев иная, нежели у русских. В ряде случаев их рационализм и крайний утилитаризм, превосходящие все мыслимые границы, дают человеку большую степень материального богатства и жизненного комфорта. Однако нет в ней той широты и свободы, той душевности и сопричастности (при каком-то равнодушии к деньгам и житейским благам), что делает нас порой столь непохожими на Европу. Немец кажется нам сух и черств, как старый сухарь. Нынче бесшабашный русский тип уходит в прошлое. Жизнь вынуждает. Ну, может, и слава богу... Безусловно, в этом приобщении к рационализму Запада все же есть свой резон. Однако тут важно и не переборщить.

В этой связи уместно напомнить историю женитьбы Шлимана на Екатерине Петровне Лыжиной. Он прожил с ней 15 лет. В браке сошлись два типа, два характера. В их союзе было нечто роковое, лишний раз доказывающее, что науки, творчество, бизнес, подвижничество трудно уживаются с мирком прелестных дам. Хотя тут речь о жизненных понятиях и философии, которые у немца и русского очень различаются... Шлиман прибыл в Петербург в 1846 г., утвердившись среди именитого купечества. После ряда лет успешных деловых операций он стал состоятельным человеком. Россия многих сделала богачами (кроме русских). Поэтому Шлиман и полюбил Россию. После визита в Америку он решает вернуться в милый незабвенный Петербург, где «в очаровательной столице Руси» хочет провести остаток дней своей жизни. Конечно, он был всерьез очарован северной Пальмирой, это так, ибо тут он высказал твердое намерение жениться и свить семейное гнездо. Шлиман писал московскому купцу М. С. Малютину: «По приезде в Петербург я возьму себе хорошенькую русскую жену, хотя очень бедную, но лишь бы русскую и хорошо воспитанную... После того я никогда не оставлю Петербург, зная, что нигде нет лучше, чем в Петербурге». Это решение вызрело у Шлимана уже после того, как невесты-немки не оправдали его надежд (не сдюжили «фрау»).



Немецкие женщины в церкви.

Он знакомится с дочерью петербургского адвоката Е. Лыжиной (1849). О том, что представляла собой его избранница в интеллектуальном отношении, судить трудно. Ясно однако, что планка требований Шлимана к будущей супруге была высока. Лыжина была выпускница петербургской Петришуле. Когда в Россию собралась приехать его сестра Вильгельмина, он выразил пожелание, чтобы Катя поступила «под руководство и надзор» его сестры хотя бы на три месяца. Характеризуя все ее достоинства, он сообщал купцу С. А. Живаго, чьей племянницей и была Е. Лужина, и где должна была остановиться сестра Вильгельмина: «Минна Аристовна глубоко учена во всех науках, принадлежащих к превосходному образованию юности, за что она получила в нашем государстве премию первой степени. Географию, древнюю и новую историю, физику, арифметику, геометрию и пр. – все это она знает как профессор, тоже основательно знает она домашнюю экономию, которая, по мнению моему, составляет важнейшую и самую необходимую отрасль женской образованности».^[503]

При совершении брака не грех спросить совета и у сердца, но Шлиман руководствовался скорее рационализмом и фантазией, посчитав, что в безбрежной России он сумел раскопать еще один драгоценный «алмаз». Не нам судить о достоинствах этого «алмаза». Однако все говорит о том, что перед нами, скорее всего, обычный брак по-расчету. Катерина дважды отказывала Шлиману и дала согласие только после того, как жених разбогател в Америке. Как пишет А. Бракман: «Когда два года спустя он вернулся с Калифорнийского золотого побережья, позвякивая самородками в кармане, она тотчас же переменила свое мнение о нем».

В их трагической судьбе было нечто такое, что, как полагаю, не сможет оставить читателя равнодушным. Это имеет некоторое отношение и к вопросу о месте и роли Отечества в жизни человека. Будучи твердо убежден в превосходстве немецкого образования и культуры, Шлиман решительно потребовал от Екатерины Петровны (к тому времени у них уже было трое детей – Сережа, Наталья и Надежда) переехать в Германию, в город Дрезден, на постоянное место жительства (1867). В основе такого решения – его желание дать детям «лучшее в мире» немецкое образование, и, конечно же, иметь возможность видеть жену и детей чаще. На этой почве и произошел конфликт... Шлиман обещает жене и детям буквально золотые горы, только бы они уехали из России. Так, он просит своих петербургских друзей, чтобы те намекнули Екатерине Петровне, что она будет жить у немцев «как в раю» («иметь славный дом и экипажи и проживать 12 000 талеров», не считая дома в 100 000 рублей серебром в подарок еще до отъезда). Когда же семья воспротивилась его намерениям, он прибег к жестокому ультиматуму. И. А. Богданов приводит письмо Шлимана к кредитору семьи, барону Фелезейну, где тот требует не давать семейству «более ни одной копейки».

А вот и письмо Екатерины к мужу, полное упреков и сожалений: «Г. Шлиману, моему мужу. Хотя уже прошел 21 день, как Ты уехал из С. Петербурга, оставив меня больную, в продолжение всего этого времени Ты даже не осведомился у чужих людей о моем здоровье; и это есть любовь, о которой Ты так много толкуешь! До сих пор мало... от Твоей любви, и теперь я вижу, что мне в сем свете никогда не будет счастья от этой любви, ибо мы понимаем с Тобою любовь совсем различно. Я Тебе пишу все это, чтобы сказать Тебе в последний

раз мои мысли, хотя я знаю, что все это напрасно. Ты во все это не вникнешь и не поймешь, и потому... буду заботиться только о своем спокойствии. Ты мне часто говоришь, что Ты меня любишь... В продолжение двух лет как мы с Тобой знакомы, я не сумела приобрести Твоего доверия. Ты на меня смотришь, как на мотовку, а не как на друга, с которым муж охотно делится и с радостью доставляет удовольствие; Ты... назначаешь сумму, выше которой... приказчики; по-моему это низость, наконец, заказывать ливреи и тому подобные вещи чрез лакея; я в это не вмешиваюсь, и они могут заказывать их по вкусу. Неужели Ты думаешь приобрести этим любовь? Даже экономии Ты этим не достигнешь. Во всем Твоем поведении есть столько мелочного, пустого; Ты все смотришь на копейки, а пускаешь из виду рубли, это худой расчет, и в этом случае Ты мелочной купец и жалкий человек, самые лучшие минуты жизни Тебе никогда не будут известны, чтобы быть счастливой с Тобою, нужно непременно хитрить и хитрить на каждом шагу... Прощай, из уст моих Ты больше не услышишь ни обвинений, ни оправданий, ни изъяснений; время покажет все...»^[504] Хотя, как знать: возможно найденная им Троя стоила личного счастья жены. Но что женам до нашей Трои!

У его жены, вероятно, было немало недостатков, но одно бесспорно говорит в ее пользу – она умела быть русской. Да, ее можно упрекнуть в браке по расчету... Но когда на карту оказалась поставлена судьба ее детей, их воспитание, их духовная сущность, она все же не пошла на компромисс со своей совестью. Любопытно и письмо сына Сергея к отцу (Г. Шлиману), даже если оно и написано не без влияния матери: «Ты пишешь, что купил 5 домов в Париже и хочешь, чтобы я до 16 лет воспитывался в Дрездене, а потом в Париже, но ни мама, ни я, никто не хочет, ибо нам жаль покинуть отечество; кроме того, я в таких летах, что не могу быть без вреда взятым из одной школы и помещенным в другую, а как же можно из России во Францию; я далеко не знаю так хорошо язык, чтобы учить на нем все науки; мы бы страшно тосковали по родине, ведь людей за преступления высылают из родины... И ты пишешь, что люди, воспитанные в России, глупы и разоряют свое имение. Разве Барон К.Фелезейн глуп, а воспитывался в России..?» Попытки Шлимана привлечь на свою сторону родню жены также не увенчались успехом. П. Лыжин ответил ему, что уговаривать сестру оставить отечество

противно его убеждениям. Когда же Г. Шлиман стал намекать еще и о награде (в случае успеха миссии по выдворению жены из России), брат в гневе отписал ему: «Она (Екатерина Петровна) живет не в глуши, а в городе, имеющем все средства к какому угодно воспитанию (авт. – Сергея)... Мать не помешает воспитать в сыне... русского гражданина, а не космополита... Выйти же из Русского подданства и оставить Россию никакой закон не принудит – ни сестру, ни кого бы то ни было из детей ее». Следует добавить, что Е. П. испытывала при всем при том огромное уважение к немецкой культуре и желала, чтобы ее дети (Сереза) хорошо владели немецким языком, но тут же подчеркивала, что «при воспитании детей надо иногда забывать свою личность и иметь в виду только пользу детей»... [505]

Таким образом, на примере Германии и России видим наличие мощных и долговременных процессов серьезного обоюдного интереса и взаимопроникновения культур. Тут были и будут свои взлеты и падения. К слову сказать, многие русские деятели науки и культуры предшествующих периодов все же старались почерпнуть у немцев лучшее и полезное. Когда-то Солоневич писал: «Наше старое барство, ездившее в Германию, имея в кармане золотые рубли и в головах немецкую бумажную философию, – в Западной Европе не поняло ровным счетом ничего, а именно русское барство, включая сюда и Тургенева, и Чаадаева, и Плеханова и прочих, сформулировало наши взгляды на «страну святых чудес». Европу поняли мы, русская эмиграция времен советской революции. Ибо мы прибыли сюда и без денег и без философии». [506] Этого никак не скажешь о нынешних «барах-демократах»... В умной, серьезной, трудовой и безжалостной Европе эти не поняли ни черта, кроме последнего – того, что надо охаять Россию и раздеть ее до исподнего (в итоге всё вылилось в жульничество в невиданно крупных размерах: иные скоты пытаются спрятать подальше от людских глаз украденные у русского народа капиталы и побыстрее сбежать за границу, прося там убежище). Среди них – вчерашние «кумиры», «вершители судеб» народов России, не знающие всерьез ни славянской, ни западной культуры. Они едут туда с кучами денег, украденных у народа!

Интерес к Германии русских людей, обусловленный многими причинами, все-таки всегда (у наиболее дальновидной части русских) содержал элементы бдительности и критицизма: «Доверяй, но

проверяй»... Заядлый германofil Розанов, признавая, что Германия рвется к гегемонии в Европе и, вероятно, её достигнет, высказал предположение, что Германия, что ни говори, а поднялась в XIX в. в момент усталости гигантов, когда людям надоели всемирные и «общие «идеи, но она может отойти «на второе и даже десятое место», когда опять подыметься какое-нибудь всемирное течение, всемирное движение народов и идей, и явится подлинно всемирная личность... Розанов писал: «Сами немцы не решатся возражать, что все их успехи при Мольтке и Бисмарке суть просто удача успешных над неуспешными, трудоспособных над ленивыми, добропорядочных над безнравственными; и словом, «школьный учитель победил», – тот «школьный учитель», который бежал бы без оглядки перед такой «фатальной» личностью, как Наполеон, да и вообще перед истинно всемирною и таинственною личностью (бывают такие). Как и германская цивилизация, эта «честная немецкая культура» потускнеет, как сальная свеча, если (чего может и никогда не быть) появится когда-нибудь истинно прекрасное, истинно изящное в человеческом духе, в формах бытового, художественного, религиозного, но в основе всего – именно бытового творчества» (1905).^[507]

Взять у немцев лучшее в быту, технике, организации, разумеется, нужно. Но *в литературе и поэзии, пожалуй, им стоит поучиться у русских мощи, ясности, звонкой прозрачности и музыкальности слога!* Думаю, что историк В. Третьяковский имел все основания назвать одну из своих работ так: «О первенстве Словенского языка перед Тевтоническим» (1758). Вспомним и высказывание Батюшкова о немецкой прозе и поэзии (в письме к Вяземскому): «Но и согласен с тобою насчет Жуковского. К чему переводы немецкие? Добро философов. Но их-то у нас читать и не будут. Что же касается до литературы, их собственно литературы, то я начинаю презирать ее... У них все каряченье и судороги. Право, хорошего немного». Мысли Батюшкова имеют резон, как и мысли Гнедича (из записной книжки): «Германцы гораздо лучше судят об искусствах, чем их производят в действо. У них все впечатления искусств прежде анализируют, чем истинно их почувствуют... Вообще германцы сильнее в теории, чем в практике. Север весьма мало благоприятствует искусствам, можно сказать, что дух наблюдения дан ему единственно для того, чтобы быть созерцателем полдня».^[508] И все же, хотя немцы породили

филистерское государство, хотя в сфере политики тут всегда хватало и хватает «мерзавцев без характера и ума» (Гете), хотя духовный мир немца легко умещается в пространство 1 марки, а их идеализм никогда не выходил за границы веры в превосходство арийской расы, это еще не дает нам права втапывать в грязь *всю немецкую культуру!* Нет оснований выводить из негативных оценок и фактов целую Zusammenbruchstheorie («Теория краха») все той же расы. Привычка считать немцев тяжеловесными и угрюмыми педантами, что в состоянии засушить любую мысль, любой урок, также вряд ли правомочна. Немецкая мысль (в лучших ее образцах) сравнима с французской по остроумию, с английской по аргументации, с итальянской по экспрессии и с русской по аналитической глубине и мощи.

Итак: 1) Германия прошла сложнейший путь эволюционно-революционного развития; 2) долгий период раздробленности (после эпохи Священной Римской Империи) безусловно задержал развитие государства как единого целого; 3) немецкий талант вынужден был «уйти в себя», то-есть развиваться на личностно-индивидуальном уровне, что в известном смысле даже пошло ему на пользу, ибо позволило появиться на свет ряду первоклассных гениев (Бетховен, Гердер, Гете, Гегель, Кант, Шиллер, Бах, Фихте, Гейне), а также способствовало значительному росту культуры, развитию науки и промышленности, упрочению благосостояния как знати, так и рядовых немцев; 4) протестантизм придал германскому бюргерству ряд типологических черт, ставших как причиной многих ярких и великих достижений народа, так и серьезнейших нравственно-исторических провалов и поражений; 5) и все же немецкая школа и ее философия оказали заметное, а в ряде случаев и решающее влияние на все европейское сообщество, что дало основание Гегелю в «Лекциях по философии истории» сказать: «Германский дух есть дух нового мира, цель которого заключается в осуществлении абсолютной истины как бесконечного самоопределения свободы...», [\[509\]](#) хотя кое-где их плоды восприняты слепо и механистически; 6) при этом немецкий ум не избежал пагубной самонадеянности и гордыни, опасного головокружения от успехов и триумфов немецкой и европейской культур (тот же Ф. Шиллер, ничтоже сумняшеся, писал: «Лишь в Европе есть государства, которые удачно сочетают в себе

просвещенность, благонравие и дух свободы, тогда как в остальном мире дикость преспокойно уживается со свободой, а подневольность – с культурой»); 7) с капиталом и властью немец обрел грубость и пошлость обывательщины («плоскоманию Европы»), которая приобретала особенно зловещий характер в условиях милитаризма; 8) военные победы пьянили немцев почище хмельного вина; война – их Валтасаров пир, их песня и Голгофа; 9) как показала история, триумфы и поражения Германии каким-то таинственным, еще не вполне нами осознанным образом связаны с Россией; 10) и Германии придется искать выходы из тупика, преодолевать заблуждения, делать массу ошибок, совершать страшные преступления, продолжая движение *trotz alledem* (вопреки всему).

Глава 10

Европейские божества – симфония музыки, мысли и стали

Подлинным космосом предстало в сознании Европы и всего мира австрийско-немецкое искусство. Оно слито неразрывно. Здесь нет границ, которые пытался установить Лессинг между живописью и поэзией. Он повторял слова грека Симонида («греческого Вольтера»), что живопись – немая поэзия, а поэзия – говорящая живопись. Ранее мы не раз убеждались, сколь условны границы между искусством и наукой, и как часто один вид искусств вырастает из другого или соседствует с ним.^[510] Особое место в пантеоне искусств давно занимала музыка. «Из всех наук и искусств всех древнее музыка», – говорил Квинтилиан. Для немца и австрийца музыка почти равна Богу. И даже выше. В звуках органа и оркестра ловят они частицы жизненной энергии, как цветок – лучи раннего солнца... Философы пытались очистить ржавые мозги обывателей, а музыканты и композиторы ставили их на ноги, сделав многих из них настоящими людьми. Гении искупят и последующие грехи истории народов.

Мир давно живет согласно небесной мелодии, которую слышит ухо человеческое, но не вполне еще осознает наш разум. В эпоху средневековья Боэций писал об исключительном значении музыки в жизни человека («De institutione musica»). Музыка и в самом деле издавна сопровождала человека от рождения до смерти (от колыбельных песен до погребального плача). Поэтому раньше ее изучали вместе с грамматикой, геометрией, философией, теологией. На языке музыки, думается, говорит сам Господь Бог. Гете писал: «Мне всегда лучше работается после того, как я послушаю музыку». С кого ж начать наш выборочный историко-музыкальный анализ эпохи?

В немецкой музыке XVII в., как отмечает Л. Кириллина, были три великих «Ш»: автор органных композиций и возвышенных хоровых концертов С. Шейдт, прославленный сочинитель духовных произведений и светских песен И. Г. Шейн и мастер ораторий Г. Шютц. Впоследствии имя Г. Шютца (1585–1672) поставят в один ряд с

именем великого Иоганна Себастьяна Баха. Его творчество пришлось на эпоху Тридцатилетней войны. Сын богатого бюргера, он получил добротное образование (языки, наука, музыка), а затем штудировал юриспруденцию в Марбургском университете. Благоволивший к нему ландграф Мориц помог ему стипендией для поездки в Италию. Взяв более созвучную итальянскому языку фамилию Саггитариус, он совершенствовал музыкальное мастерство в Венеции.

Италия для многих стала школой живописи и музыкальных искусств. Наставником немца был итальянский композитор и органист собора св. Марка Дж. Габриели. Шютц восклицал: «Габриели, бессмертные боги, что за человек!». Службы оставляли неизгладимое впечатление у слушателей: «Казалось, что звучит весь собор, чуть ли не вся вселенная, и хору церковных певчих отвечает заоблачный хор ангелов».

Шютц усвоил многохорный стиль, помогавший в воспроизведении библейских сюжетов, в переложении им на музыку текстов Мартина Лютера и т. д. Первый его визит в Италию посвящен был церковной музыке. Во второй визит он познакомился с выдающимся итальянским композитором К. Монтеверди (1567–1643), автором опер «Орфей» и «Ариадна». Шютц и стал автором первой немецкой оперы – «Дафна» (либретто написал поэт М. Опиц). К сожалению, эта музыка, как и его балеты с пением «Орфей и Евридика» и «Парис и Елена» утрачены, но остались целые циклы сочинений: «Псалмы Давида», «Заупокойные песнопения», «Священные песнопения», три части «Священных симфоний», «Маленькие духовные концерты». Особую роль в истории музыки сыграл евангельский цикл, куда входят: «Рождественская история», «Страсти по Луке», «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», «Семь слов на кресте», «История Воскресения». Среди последних его работ: хвалебная песнь Девы Марии («Магнификат»), обращение к Христу: «Величит душа моя Господа». Помимо сочинительской деятельности Шютц вел и значительную работу по пропаганде музыкального искусства (организовывал капеллы в северонемецких городах, был капельмейстером при дворе Кристиана IV в Копенгагене). Рембрандт ван Рейн запечатлел его образ в портрете («Портрет музыканта»). Одним словом он прожил жизнь долгую и

плодотворную. На его могиле в Дрездене видна надпись: «Любитель чужестранцев, светоч Германии, магистр княжеской капеллы».

Европейскую известность обрело и имя Георга Фридриха Генделя (1685–1759). Перед ним впоследствии преклонялся и великий Бетховен. В нем чувствуется шекспировская мощь: таковы его эпические произведения – органные концерты, оратории «Мессия» и «Иуда Маккавей». Правда, с 1726 г. он перешел в английское подданство. Его гений стал интернациональным, а некоторые его арии сделались английскими народными песнями. Музыковед И. Розеншильд сравнил музу Генделя с творениями поэтов-музыкантов средневековья Рудаки и Джами, которых считали своими таджики, персы, арабы, все народы Востока и Запада. Первооткрывателями Генделя стали саксонская и прусская аристократия. Видно, не случайно даже термин «аристократия духа», как полагают, был введен в литературный обиход немецким писателем Стеффенсом.

В этих землях Гендель сложился как музыкант (как регент хора, виртуоз игры на клавесине и гобое и органист). В Галле он поступил в университет (юридический ф-т). Затем он решил переехать в Гамбург, где был оперный театр и где он создал свои первые оперы с либретто на немецком языке. Далее последуют Италия, Ганновер, Лондон. Рассказывая о жизни и творчестве музыканта, писатель Р. Роллан упрекал Генделя за то, что он был напрочь лишен немецкого патриотизма. Можно ли упрекать художника за то, что он предпочел иную страну? В отношении европейцев это вообще не очень понятно, поскольку у них миграция артистов, художников, музыкантов, ученых – дело обычное. Великий велик везде. Хотя родину от хорошей жизни не бросают. Гете, говоря о своем веке, писал: «А наш асвум (век)? Отрекся от своего гения, разослал сынов в разные стороны собирать чужеземные плоды – себе на погибель».

В Англии Гендель возглавил театр «Королевской академии», создал оперы «Радамисто» (1720), «Оттон» (1723), «Юлий Цезарь» (1724). Жизнь его и там не была легкой. После того, как его разбил паралич, театр прогорел, а все друзья покинули, композитор все же нашел в себе силы и написал шедевры в монументально-героическом стиле – это «Мессия» (1742), «Самсон» (1743), «Валтасар» (1744)... Во время стюартовского мятежа им были созданы вдохновенный гимн «Stand round, my brave boys!» («Вкруг становись, отважные парни!»),

патриотические оратории «На случай» и «Иуда Маккавей» (1746), завоевавшие Генделю общенациональное признание в Англии. Concerti grossi являются шедеврами оркестровой музыки XVIII в. Еще при его жизни их часто исполняли в лондонских парках. По словам музыковедов, Гендель – это «Томас Мюнцер немецкой музыки». Строки из «Мессии» – «Рвите цепи, рвите, братья!» – могли бы стать девизом того, да и нашего времени. Известно, что даже великий Бетховен страстно призывал музыкантов: «Гендель – несравненный мастер всех мастеров. Идите к нему и учитесь создавать великое столь простыми средствами!»^[511] О культурно-философской значимости музыки Генделя можно сказать его словами: «Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей: я стремился их сделать лучше». В этом заключается главное назначение всех искусств – сделать всех нас лучше! О той известности, которой пользовался в Англии Гендель даже после смерти, свидетельствует грандиозный генделевский фестиваль, проходивший в Вестминстерском аббатстве (1791). В нем приняли участие более тысячи певцов и исполнителей. В то время в Лондоне находился Й. Гайдн. Услышав величественное исполнение «Мессии», в особенности исполнение хором «Аллилуйя», Гайдн был потрясен музыкой и воскликнул: «Он учитель всех нас».



Вестминстерское аббатство и церковь св. Маргариты. 1793.

Воспитателям давно уж пора понять, что лучшей и надежнейшей школой является семья. Здесь рождаются и погибают личности. Наглядным примером верности данного постулата является судьба великого Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). Родился он в Эйзенахе. Ныне тут находится мемориальный Дом Баха... В зрелые годы музыкант вписал в тетрадь, названную «Происхождение музыкальной семьи Бахов», более 50 предков и сверстников, связанных с музыкантским ремеслом. В их роду были бродячие шпильманы, что кочуют из города в город, музыканты-любители, оседлые церковные органисты и городские музыканты. Полигимния (богиня танца и музыки) принимала самое деятельное участие в воспитании этого семейства. Говорят, что даже самый отдаленный родоначальник фамилии, Фейт Бах, который был булочником, очень любил музыку и играл на инструменте, подобном гитаре.

По улицам ночным,
По переулкам спящим —
Четыре дурака —
Мы инструменты тащим.
Почувствовав в груди
Любовную истому,
Мы с музыкой своей
Бредем от дома к дому.
Едва взойдет луна,
Мы серенаду грянем:
Пиликаем, бренчим,
Басим и барабаним...

Если Гендель нашел себе пристанище в Англии, то ни один из семьи музыкантов Бахов так никогда и не покинул пределов Германии. Тюрингия, родина Лютера, который ввел в церковные песнопения народные мотивы и мелодии, стала вотчиной Бахов. Семейство Бахов относилось к убежденным протестантам, исповедуя эту религию искренне и свято.

К несчастью, в девять лет молодого человека постиг страшный удар. Сначала умерла мать, а затем и отец. Себастьян осиротел и был

отданна воспитание к старшему брату, органисту города Ордруфа Иоганну Христофору Баху. Тот отдал его в гимназию, где преподавали по методу великого чешского гуманиста и педагога Я. Коменского. Возможно, уроки гуманиста нашли воплощение и в творчестве самого Баха. Обучение в ордруфской гимназии шло в духе старых традиций (латынь, чтение римской литературы, диспуты). Пять часов в неделю уделялось музыке. С детства проявилась его способность слышать музыку «внутренним слухом», ибо еще от отца, органиста А. Баха, ему передались похвальные качества – добросовестность, трудолюбие, самостоятельность. Брат старался всячески развить в нем эти начала.

О том, что представлял собой десятилетний С. Бах, свидетельствует следующий случай. Его описал в очерке о композиторе С. А. Базунов, к услугам которого мы будем обращаться. Старший брат учил Себастьяна искусству игры на клавесине, заставляя его играть скучные, но обязательные вещицы. В то же время живую и современную музыку прятал от него в шкафу за железной решеткой. Но, как известно, запретный плод особенно сладок. И юный Бах ухитрялся ночами вытаскивать сборник и 6 месяцев подряд при лунном свете переписывал полюбившиеся ему мелодии. Это послужило причиной преждевременной слепоты, хотя дало особо острое видение музыки.



«Малая» ночная музыка студентов лейпцигской «Музыкальной коллегии». 1732–1734.

Он становится сначала стипендиатом хора, а затем скрипачом школьной капеллы в Лüneбурге (1700–1703). Бах побывал в Гамбурге и Целле, где слушал итальянскую, немецкую и французскую музыку. К 1703 г. он уже искусный скрипач и клавесинист. Однако ему предстояло овладеть еще и искусством игры на органе, занимавшем в те времена «царственное место» среди прочих инструментов. За годы странствий побывал он в Веймаре, Арнштадте, Мюльхаузене. В 1704 г. он занял место органиста в городке Арнштадт. Игра на органе увлекла его. По тогдашним порядкам, органист должен был одновременно быть и преподавателем церковной школы, если таковая была. Чины консистории требовали от органиста совмещения обязанностей музыканта, педагога и воспитателя. Чиновники всегда почему-то стараются засадить гения за работу, которая ему внутренне чужда. Хотя такое случается, конечно же, не только в Германии.

Здесь появляется его первая собственная кантата. В Любеке судьба косвенно свела Баха с Генделем: оба получили напутствие маститого органиста Букстехуде. Затем путь лежал в Веймар, который

позднее назовут «германскими Афинами». В исполнении Бахом кантат уже чувствуется наличие у маэстро своей музыкальной философии и поэтики.

Бах обожал музыку, но ему не было дела до школьных сорванцов. Они же у него вместо того, чтобы заниматься ученьем, нередко играли в мяч, носились по улицам с рапирами или (того хуже, ходили ужасные слухи) заходили порой в некоторые неприличные места. Естественно, это не нравилось начальству, которое всегда хочет выжать из подчиненных все возможное. Потихоньку у обеих сторон накапливалось раздражение в отношении друг друга. После одного затянувшегося отпуска С. Баха, во время которого тот съездил в Любек и познакомился с известным композитором Букстехуде, церковное начальство подвергло его строгой критике. В вину ему ставилось: свободная манера исполнения церковных хоралов, некоторая вольность поведения учеников и даже допущение к участию в хоре женщин. Совет духовной консистории, ссылаясь на авторитет св. апостола Павла, требовал: «Taceat mulier in ecclesia» («Да молчит женщина в церкви!»). Это привело к тому, что в 1707 г. Бах решил перебраться в г. Мюльхаузен.

В том же 1707 г. он женился, так как его материальное положение заметно укрепилось по сравнению с недавним прошлым. Биограф Баха Ф. Шпитт сообщает, что в Мюльхаузене городской совет выделил ему на год целое состояние – три бочки хлеба, годовой запас рыбы, дрова для отопления жилища и 85 флоринов деньгами. Так что, сами понимаете, при таком богатом довольствии вполне можно заняться и поиском жены.

Жена Баха, Мария Барбара была его двоюродной сестрой. От нее в истории не осталось ни портрета, ни писем, ни даже какой-либо захудалой песенки, посвященной ей композитором. Второй жене, Анне Магдалене, повезло немногим более. Ей он все же посвятил ряд песен. Таков удел жен великих.

В Мюльхаузене он, по указанию властей, возглавил работы по переделке органа, пришедшего в ветхость. Все остальное время занимала музыкальная деятельность. Однако, на его беду, церковный настоятель был рьяным консерватором и не признавал художественной музыки в церкви. Бах же был к этому расположен.

Пришлось органисту перебираться в герцогство Саксен-Веймарское. К счастью, герцог оказался человеком высококультурным, любителем, знатоком музыки и патриотом, предпочитавшим немецкую музыку, а не чужую итальянскую. Это было особенно важно, так как в ту пору немецкое искусство в Германии приходило в упадок в силу засилья, как говорили, «итальянщины». Бах получил звание концертмейстера герцога и проработал тут девять лет. Именно здесь им будут написаны важнейшие произведения первого периода (хорал «Бог – наша крепкая твердыня» и другие). К слову сказать, впоследствии и его сыну, И. К. Баху, придется искать счастья не на родине, а в Англии, где он был капельмейстером королевы и сочинял оперы на итальянском языке.

В связи с вышесказанным нам хочется обратить внимание на то, что и сделало И. С. Баха одним из величайших музыкантов и композиторов. Да, он был истинный немец и как таковой выражал культурные предпочтения и страсти своей нации. Однако это нисколько не мешало ему прекрасно знать европейскую музыку и культуру. Бах изучал и собственноручно переписывал сочинения самых известных итальянских композиторов (Палестрины, Лотти, Кальдары, Вивальди и других). Наряду с итальянцами («законодателями мод»), он изучал и французскую музыку. В написанных им в Веймаре сюитах есть следы танцевальной музыки. Французский дух царил и в Дрездене, где правил и курфюрст Саксонский, и король польский Фридрих-Август, устроивший в Дрездене этаким «маленький Париж».



Последний прижизненный портрет И.С. Баха (неизвестный художник).

Туда приехал Бах с культурным визитом. Вот здесь и состоялось то, что можно назвать музыкальной дуэлью. В Дрезден прибыл французский органист Маршан, обвороживший своей игрой буквально весь beau monde столицы Саксонии. Всех интриговало, кто же лучший органист – француз или немец. Состоялась личная встреча Баха и Маршана. Маршан играл французские пьесы блестяще. Затем подошел Бах и заиграл... заиграл ту же французскую арию по памяти, передав ее намного точнее и богаче. Затем пошли собственные вариации. Потрясенная публика услышала 12 вариаций. Это был триумф.

Повторное состязание не состоялось. Маршан почти сразу же покинул Дрезден, даже забыв о весьма лестном предложении короля поступить на саксонскую службу.^[512] Мораль же сей битвы такова. Чтобы победить сильного и искусного противника, будь то сфера политики, науки, культуры, образования, экономики или высокого искусства, надо научиться бить его на его же собственном поле. Зная соперника, его силу и слабость – превзойдешь его!

Все грани творчества великого композитора и исполнителя объять и показать невозможно, ибо его мелос, его музыкальный гений столь же широк, как и безбрежный океан космоса. Позже Бетховен будет сравнивать произведения Баха с морем. Обыграв Bach, означающее

«ручей», он патетически восклицал: «Nicht Bach – Meer sollte er heißen» («Не ручей, а море должно быть имя ему» – нем.). Широта и мощь великолепных скрипичных сонат, вокально-инструментальных произведений, сюит, наконец, знаменитых фуг Баха заставили Бетховена произнести эти слова. Игравший прелюдию Пятой фуги – «ре мажор» А. Рубинштейн говорил: «Ничего подобного в мире нет. Это верх совершенства. В ней выразилось все величие, которого человек может достигнуть». На премьерах Баха в лейпцигских церквях присутствовали чиновники, купцы, ремесленники. Его музыка, хотя и была довольно трудна для понимания, постепенно проникала даже в заплывшие жиром сердца бюргеров. В Лейпциге образованным бюргером Земши было учреждено общество «Большие концерты».

Таким вот образом воплощалось баховское «воспитание чувств». Посредством музыки... Бах руководил студенческой Collegium musicum, да и вообще его дом всегда был полон учеников. Прекрасно сказал о педагогической стороне дара музыканта А. Швейцер: «Гении начинают поучать тогда, когда глаза их давно закрыты и когда вместо них говорят их творения. Бах, не уставая, твердил своим ученикам, что учиться надо на произведениях великих мастеров, он и не подозревал, что сам станет учителем только для будущих поколений».

Положение Баха в Лейпциге, где он занимал место кантора при церкви св. Фомы с 1723 г. до конца своих дней, с годами стало более прочным. И это несмотря на то, что чиновные стороны должности его очень и очень тяготили (как «музыкальный директор» он должен был управлять всей музыкальной «кухней» города). Здесь он создаст свое гениальное произведение «Passionmusik» («Музыку Страстей Господних»). Под таким названием до нас дошло три его произведения: музыка на тексты евангелистов Матфея, Иоанна и Луки. Его главным шедевром считают музыку, написанную на текст Евангелия от Матфея. «Только человек с такой чистой душой и мог взяться за высокую задачу – в мире звуков изобразить историю страстей и смерти Божественного Страдальца». Творение гения – высочайшего мирового класса.

И.-С. Бах немало сделал для славы Лейпцига, Германии и человечества. Это был виртуоз игры на органе. Когда же слушатели хвалили его, он сердился и искренне говорил: «Это вовсе не заслуживает особого удивления, нужно только попадать по

надлежащим клавишам и в надлежащее время, тогда инструмент играет сам».

Порой любил мистификации. Переодевшись бедным учителем, являлся в какую-нибудь захолустную церковь и просил органиста уступить ему место. Дивной игрой он всех приводил в глубокое изумление. Потрясенный слушатель заявлял: либо перед ним сам Бах, либо дьявол. Никто не мог так вдохновенно исполнять «Музыку Страстей». Он помогал всем (кому-то найденным местом работы и куском хлеба, кому-то бесплатными уроками, иной поддержкой). Бах обладал добрым и отзывчивым сердцем.

Как отреагировало знаменитое «культурное общество» бюргеров на величайшего мастера? Оно замечало его редко, будучи занято обогащением и накоплением. Одно из самых знаменитых его сочинений – «Kunst der Fuge» – не окупало даже издержек издания. А ведь автор достиг уже пика славы. Однако у него не нашлось денег заплатить даже за медные доски, на которых было выгравировано сочинение. И доски были проданы на лом. Ему платили всего сотню талеров да 16 мер ржи в год. Это был человек на удивление бескорыстный. В 1749 г. болезнь глаз усилилась. Двойная операция не удалась. Композитор ослеп, и прозрел только за десять дней до смерти. А как же вело себя в отношении него общество? Оно-то, казалось, было зрячим. Увы, люди эти были слепы душой. Лишь в день похорон о нем вспомнила местная элита. Похороны прошли при громадном стечении народа.

На них явились и многие знаменитости. Однако прошло не так уж много времени, и в начале XIX в. через кладбище, где был похоронен И.-С. Бах, пролегла новая улица. Все памятники и надгробные камни по этому случаю были снесены. Так затерялась в Лейпциге могила великого композитора и органиста.

Но, может быть, бюргеры сохранили дань уважения хотя бы к престарелой вдове композитора, Анне Магдалене Бах, которая осталась одна, с тремя незамужними дочерьми на руках. Увы, бедная женщина напрасно ожидала милости от властей города, уповая на их «совесть». Совет города ничего не предпринимал. Не помогли и молитвы, обращенные к Богу. Тогда она обратилась к Совету с элементарной просьбой – выделить ей хотя бы жалкие крохи на пропитание. И вновь власти Лейпцига ответили ей грубым отказом.

Целых три года она перебивалась кое-как, пока, наконец, власти выделили ей скудное пособие. Вскоре она умерла в нищете и бедности.

Таковы хваленые буржуа даже в такой, казалось бы, культурнейшей стране мира как Германия. [\[513\]](#)

Творчество гения опережает время. Они неизбежно вырываются вперед из шеренги признанных в свое время авторитетов, тем самым нарушая общепринятые критерии и вкусы. Отсюда их внутреннее одиночество и так называемые «загадки гениев». Иоганн Себастьян Бах, по словам некоторых современников-«экспертов», всю жизнь оставался провинциальным музыкантом средней одаренности и как композитор не привлекал к себе повышенного внимания.

Так, В. Любке в «Истории искусств», сравнивая Генделя и Баха, утверждал, что Бах «не был популярен уже по сложности своих творений, тогда как первый, вращаясь в живом водовороте света, пользовался влиянием в кругу высокопоставленных лиц; счастье избаловало его славой и богатством, сделало знаменитым среди чужого народа, высоко почитающего его». В свою очередь, сын И.С. Баха – Карл Бах, сегодня считающийся «очень средним», считался некогда выдающимся музыкантом и даже удостоился имени «Великий Бах». По поводу первых симфоний Бетховена утверждали, что у композитора «страдает первое и существеннейшее требование музыканта – тонкость и правильность слуха – благодаря рискованным сочетаниям и часто примешиваемому реву звуков». [\[514\]](#) Толпа начинает с поношений и оскорблений, а кончает раболепным почитанием гения.

Музыкальная культура Европы совершенно немыслима без Австрии. Издавна заселялись эти земли, где обосновалась гальштаттская культура, индогерманские племена иллирийцев (800–400 гг. до н. э.), позже основали свои поселения римляне – Виндобона (Вена), Ювавум (Зальцбург), Бригантиум (Брегенц). Со II в. н. э. в этих местах распространилось и христианство. В эпоху переселения народов тут сталкивались племена баваров, славян, аваров. Среди имен властителей, повлиявших на будущие судьбы Австрии, – Карл Великий, Отто Великий, Бабенберги и Габсбурги. Само название «Австрия» появилось в 996 г. В 1156 г. за Веной окончательно утвердился титул столицы. Ба-бенберги участвовали в войнах и крестовых походах (Леопольд V даже захватил в плен Ричарда

Львиное Сердце, а все деньги от выкупа пошли на укрепление Вены), строили монастыри, становившиеся культурными центрами.

С 1278 г. в Австрии воцаряются знаменитые Габсбурги. Отметим краткое, но успешное правление Рудольфа IV (1358–1365), получившего прозвище «Основатель» за учреждение им университета и начало строительства собора Св. Стефана в Вене. Империя Габсбургов укрепилась в XVII в. благодаря полководческим и государственным талантам Евгения Савойского. Когда мужская линия Габсбургов прервалась, власть в свои руки взяла Мария Терезия. Ей удалось достичь многого.

Вена становилась центром культурной жизни Европы. Тут творили Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен. Здесь выступал со своими лекциями о литературе А. Шлегель, а писатель-романтик Ф. Шлегель основал Германский музей. Как известно, уже с XII века Вена прославилась своей музыкальностью, когда Альберт I собрал тут группу инструменталистов (королевских музыкантов). В середине XVII в. музыкантов стали направлять на учебу в Италию, в Вене впервые ставятся итальянские оперы. «В течение следующих ста лет все австрийские императоры, – пишет П. Вудфорд, – всячески поощряли музыкальное искусство; их забота о его развитии нашла свое выражение в основании Музыкальной академии и поддержке, которую они оказывали хорошим учителям, в щедром вознаграждении придворных музыкантов и в поощрении оперы, а также в привлечении в Вену лучших европейских певцов и исполнителей». [\[515\]](#)

В XVIII в. именно Вена стала признанным музыкальным центром мира. Здесь собирается блестящее созвездие имен – Гайдн, Чимароза, Керубини, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Лист. Тут великий Моцарт проводил «академии» (так называл он дивные свои концерты). Ах, эти соловьи зальцбургских рощ... Благословенными стали венские пенаты для великих музыкантов. Конечно, немало и критики звучало в адрес Габсбургов, но, «несмотря ни на что, я влюблен в Австрию» (Ф. Грильпарцер).

При этом сразу же в нашем воображении возникают имена Моцарта, Бетховена, Гайдна... Судьба австрийского музыканта и композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791), глашатая Просвещения, стала наглядным примером как славы Австрии, так и горечи судьбы гения. Создатель волшебных и монументальных

произведений – «Похищение из сераля» (1782), «Свадьба Фигаро» (1786), «Дон Жуан» (1787), «Волшебная флейта» (1791), «Реквием» (1791) – познал на себе тяжесть сословного строя. Его отец Леопольд Моцарт (1719–1787)

был родом из семьи ремесленников-переплетчиков. Он стал придворным композитором и капельмейстером у принца-архиепископа Шраттенбаха в г. Зальцбурге. Известный музыкант неплохо играл на скрипке, органе, клавире и слыл автором известной в свое время книги «Скрипичная школа».

Семья выросла в лоне католической церкви. Любимцем матери, женщины красивой и доброй, был Вольфганг. Из семерых детей в живых осталось двое, он и сестра, Мария-Анна (Наннерль), отличавшаяся музыкальными способностями. Окружение и то, что отец сам был музыкантом, подготовили и детей к схожей карьере. Отец воспитывал сына в строгой традиции. Все игры ребенка сопровождалась музыкой. Он словно плавал в ее водах. Сестру учили игре на клавесине. Выяснилось, что сын наделен исключительным талантом, схватывая мелодии на лету. «Маленький волшебник» написал первый концерт в 4 года. Как сказал Шекспир, нет на свете живого существа, в котором хотя бы на один час музыка не свершила переворота. У Моцарта же не было часа, когда бы он не постигал музыки: «Тебе известно, что я, как говорится, всецело поглощен музыкой, что я занимаюсь ею весь день, все время размышляю о ней, постоянно разучиваю, обдумываю ее» (из письма отцу).

Он так стремительно двигался в музыкальном развитии, что уже к 6 годам был настоящим артистом. Моцарт мог, не учась на скрипке, сыграть с листа на ней сложную вещь. Он обладал необыкновенным слухом. Помимо музыки, он любил математику (даже испещрял мелом все стены, скамьи и пол, решая сложные задачи).

Отец решил показать его обществу. Следуют путешествия в Мюнхен и Вену (1762). С Вены началось триумфальное шествие Моцарта как мастера. Император Иосиф, большой любитель музыки, подверг мальчугана настоящим испытаниям. Тот вышел из них с честью. Его наградили прозвищем «маленький колдун». Семью музыкантов приняли как музыкальное диво. На нее просыпался денежный дождь, что заметно улучшило их материальное положение. Их окружили почетом.



Вена, Михаэлерплац и Бургтеатр.

Затем последовал Париж, где их также принимали видные сановники, включая короля и его семью. В Париже, который в то время не отличался особой музыкальностью, как мы позже увидим из истории с Берлиозом, Моцарта восприняли как некое диво. Тут произошел эпизод, когда Моцарт сделал выговор самой Помпадур за ее нежелание поцеловать его: «Это кто такая, что не хочет меня поцеловать?»

Париж ему не понравился. Принимали их неважно, хотя принцесса Мария Антуанетта, будущая королева Франции, казненная в годы революции, произвела на него неотразимое впечатление. Гораздо лучше встретили в Англии (1764). В Лондоне Моцарт увиделся с сыном знаменитого Баха. Англия процветала за счет торговли и колоний. Король Георг III и королева Шарлотта были заядлыми меломанами, еженедельно посещая оперу и концерты. Тут их встречали восторженно, одарив вниманием и золотыми гинейями. За 15 месяцев они заработали больше, чем за все предшествующие поездки. Моцарт написал тут и первые симфонии для оркестра, испытал заметное влияние И. К. Баха. Он признался сестре: «Ты знаешь, Иоганн Кристиан Бах – самый лучший из всех, кто мне известен. Я сочиняю симфонию в его стиле».

По словам отца, Вольфганг в его 8 лет знал куда больше, чем иной в 40 лет. Повинуясь просьбе епископа, Моцарт написал в 10 лет

ораторию. И получил место скрипача в Зальцбургской капелле. Вена стала местом постоянных визитов юного композитора. Тут он переболел оспой, в результате чего чуть не ослеп. Надо сказать, что отец сделал из гениального сына «рабочую машину». Визиты следовали за визитами, ни дня отдыха.

Отец повез Моцарта в Италию. Их выступления собирали толпы. Филармоническая академия в Болонье избрала Моцарта своим членом. Его способности и феноменальная память у многих вызывали нечто похожее на страх. Он легко решал самые сложные музыкальные задачи, делая все играючи. Раз прослушав исполнение в Ватиканской церкви *Miserere* (50 псалом Давида, переложенный на музыку), который запрещали переписывать и продавать под страхом отлучения от церкви, он легко записал его дома по памяти. Папа Римский, потрясенный божественным даром (иначе не скажешь), пожаловал ему орден Золотой шпоры, дающий в Италии права дворянства и свободный вход в его дворец.

Во время длительного путешествия, в которое его отправил отец, он побывал в Мангейме, «краю музыкантов». Однако там были свои интриги. Интриганы убедили курфюрста, предложившего ему место преподавателя, что Моцарт «не более чем шарлатан, изгнанный из Зальцбурга, потому что он ничего не знает». Он влюбился в 15-летнюю красавицу А. Вебер, обладавшую прелестным голосом. Отцу стоило немалых усилий оторвать его от девы и направить далее, в Париж (1778). Моцарту уже 22 года. Жизнь в Париже отличалась дороговизной. Моцарт был недоволен и отношением французов к музыке. Он говорил: «Что меня больше всего сердит, это то, что французы настолько лишь развили свой вкус, что могут теперь слушать и хорошее; но чтобы они сознали, что их музыка дурна – Боже сохрани! А их пение – «оймэ!» и если бы еще они не пели итальянских арий, я бы простил им их французское завыванье, но портить хорошую музыку – это невыносимо!». ^[516]

Каков же итог столь раннего и фантастического становления юного дарования? Всякое большое дарование, как удивительный феномен природы, вызывает у людей целый букет ощущений и реакций (удивление, восхищение, недоумение, зависть, неприятие, обиду, а порой и ненависть). Э. Шенк в книге «Моцарт и его время» писал: «В результате личных встреч с выдающимися музыкантами

Европы его (Леопольда) чудо-ребенок, проявивший поразительную музыкальность и виртуозность, за время их путешествий стал вполне зрелым, необыкновенно способным композитором...

Он и его семья общались с выдающимися личностями Европы, и те относились к ним как к равным, а не как к музыкантам, принадлежащим к более низкому сословию. В этом источник трагического конфликта Вольфганга с современным ему обществом, конфликта, начавшегося сразу же, как только юного музыканта перестали воспринимать как чудо, и в этом же, возможно, причина возникновения того чувства превосходства, которое молодой человек, совершивший путешествия в дальние страны, испытывал по отношению к скромной жизни в Зальцбурге».

Оставим эту сторону жизни великого композитора и обратимся к творческой стороне гения. Книга Г. В. Чичерина дает нам описание важных сторон его творчества. Это тем важнее, что часто рядом с именем Моцарта роятся какие-то призраки, а его судьбе сопутствует глухое непонимание «всемирно-исторической универсальной фигуры». Моцарту пришлось преодолеть сопротивление отца, чтобы отвоевать свободу творчества. Самые серьезные критики и слушатели обитают в пределах семейного круга. Старик Леопольд Моцарт был композитором XVIII века (средней руки). Он руководствовался критериями и установками своего круга. В его лице мы имеем ремесленника, «самоучку-просвещенца». Моцарт же – гений, «свободный художник, в качестве жреца человечества» (П. Беккер). Он не только произвел революцию в музыке, но и проник в душу живого человека глубже, чем кто-либо другой. Эта черта его нам особенно близка. В отличие от итальянских опер, где много ходульного, шаржированного (о героях опер-buffa говорили, что это не люди, но лишь маски примитивных народов), у Моцарта на оперную сцену выступил реальный, живой человек.

Во времена Моцарта многие пытались создать немецкую оперу, но это было непросто. В Вене полагали, что если люди идут в оперу, то они должны услышать там прекрасное итальянское «бельканто». Писатель А. Згорж в книге о Бетховене так характеризовал музыкальные настроения европейцев: «Сыны Рима, Неаполя и Венеции властвуют в европейской музыке, как некоронованные короли. Лишь немногие решаются иногда заикнуться, что пора бы со

сцены звучать родному языку вместо пришлой итальянщины. Но разве порядочное общество станет посещать театр, со сцены которого звучит плебейская речь!» Время говорило: *Veni creator!* (Гряди, создатель!)

А вот как говорит об этой стороне его творчества Г. Чичерин, приводя мнения иных знатоков творчества австрийского композитора: «Устанавливая в характеристике самого Моцарта «способность наблюдать людей», интуицию человеческой личности, как одну из главных черт, Аберт считает эту черту «истинным источником драматического искусства Моцарта».

Не религия и не природа стояли для Моцарта в центре всего: «В центре представлявшейся ему картины мира стояло нечто совершенно другое: человек. Он действительно для него – мера всех вещей». В этом, как и во многом другом, Моцарт – древний грек; но он и Шекспир, он и Бальзак, он предвестник психологического романа XIX века. Моцарт – композитор реального живого человека. Он ищет реального человека в его полноте жизни без всякого отношения к «добру и злу», он ни в малейшей мере не морализатор, не догматик, он их антипод, он реалист... За исключением «Волшебной флейты», где противостоят друг другу царства света и тьмы, у Моцарта – и все содержание человеческой внутренней жизни, и красота всеобщей жизни, и глубина проникающего все его творчество космизма – совершенно самостоятельны от какой бы то ни было догматической, теологической оценки, свободны, автономны, живут по-своему.

Аберт указывает, что нет большей противоположности Канту, чем Моцарт. Динамичный, вечно мятущийся, вечно изменчивый, реальный, живой человек в центре сценического искусства – вот сущность моцартовской революции музыкальной сцены... Это – «Права человека» в музыке. У Моцарта, продолжает Беккер, – «полная идентичность природы и человека... В его операх «Похищение из сераля», «Фигаро», «Дон-Жуан», «*Così fan tutte*, ossia *La scuola degli amanti*» («Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» – ит.), «Волшебная флейта» перед нами выступают впервые на оперной сцене типы, которые воспринимаются как подлинные люди». Произведенная Моцартом революция музыкальной сцены создала впервые музыкальную драму реального живого человека».

Моцарту в конце концов пришлось-таки встать перед выбором – как и для кого сочинять музыку. Вернувшись из Италии, он обнаружил

в своих композициях 1773–1774 гг. такой яростный и бунтарский дух, что напугал отца, порой ловившего себя на мысли, что чувствует ужас от «революционной, демонической сущности» сына.

Отцу хотелось, чтобы его сын писал сладко-приторную, спокойную музыку для салонов и «изысканной публики» (как он выражался, «для длинных ушей»). Поэтому он не уставал внушать сыну: «Только от твоего благоразумия и образа жизни зависит, будешь ли ты заурядным музыкантом, о котором позабудет весь мир, или станешь знаменитым капельмейстером, о котором последующие поколения прочтут в книгах; умрешь ли ты, связавшись с какой-нибудь юбкой, на соломенном тюфяке, в комнате, полной нищих детей, или после христиански, с удовольствием прожитой жизни скончаешься в чести и долговечной славе, в полностью обеспеченной семье, почитаемый всем миром».^[517]

Предостережения, несмотря на их меторский тон, не лишены оснований. Венцы, любившие музыку, более привыкли к итальянским мелодиям. Моцарта они не очень понимали, относясь к нему с прохладцей. Хотя он был придворным композитором, ему охотнее поручали писать танцы для балов. Это было в порядке вещей.

В целом Моцарт не создан для официоза, монархии, церкви и княжеских дворов. Свобода и творчество были его возлюбленными.

Последовал разрыв с архиепископом Зальцбурга, чья деспотия была для него невыносима. Цепи службы и отцовской опеки ему надоели. Он желал быть свободным художником, хотя свободный – это почти всегда голодный! Моцарт отказался от Зальцбурга, от отца, от архиепископа и веры. Подобно Шиллеру, он взял на вооружение дерзкий лозунг: «In Tirannos!» («На тиранов!»). Этого ему никогда не простят. Он не признавал никаких светских приличий и правил. Не прибавляла ему популярности и его склонность к сквернословию, сумасбродным и плоским шуткам, что особенно бурно проявлялось в моменты создания им самых значительных и крупных произведений.



Моцарт.

Но при этом он всегда оставался самим собой, «гениальным большим ребенком», как говорила его сестра. Ясно, почему первым музыкантом империи официально считался умелый и изысканно вежливый ремесленник Сальери. Даже если оставить в стороне фабулу с отравлением Моцарта «дьявольским Сальери», мастерски описанную Пушкиным, тема вечного соперничества гения и злодейства остается.

При написании им «Волшебной флейты» его обокрал антрепренер и автор либретто Э. Шиканедер.^[518] Во многом благодаря тому, что тот смог перепродать партитуру Моцарта, он и стал богачом. Успех этой оперы превзошел все ожидания. Многие считали «Волшебную флейту» масонским произведением, ибо сюжет повествовал о том, как волшебная флейта ведет героя Тамино к просвещению и как на этом пути его поджидают многие опасности и любовь. Что же касается жизненной философии композитра, то об этом прекрасно сказал великий русский поэт. Вспомним известные пушкинские строки о композиторе Моцарте:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.

Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов...

Надо признать, что как музыкант Моцарт порой довольно труден для массового восприятия. Его пониманию препятствует некоторая сложность произведений («громкая, неслышанная»). В его произведениях нет «прозрачности» и «легкости». Не по этой ли причине Моцарта забыли на целых два века? Стоит вспомнить и слова Г. В. Чичерина о нем: «Чем больше его изучаешь, тем больше обнаруживается эта сложность. Лишь тогда, когда очень глубоко в него вдумываешься, его внутренняя сложность начинает открываться. Что казалось веселеньким, оказывается глубочайшим пессимизмом и таинственной проблематикой. Поэтому изучение Моцарта требует очень серьезной музыкальной культуры. Массы его будут все больше понимать по мере того, как они будут все больше овладевать и общей культурой, и музыкальной...

Моцарт самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический из композиторов. Кто не сидел специально и долго над Моцартом, кто в него упорно не вдумывался, с тем разговаривать о Моцарте – как со слепым о красках... Кто снидет в глубину морскую...» Чичерин считает, что Моцарт, скорее, композитор XX века, чем XIX, и больше XIX века, чем XVIII века. [\[519\]](#)

Конечно же, это был «разум, увенчанный гением», как сказал о нем Э. Делакура. Австрийское божество, покинувшее тирольские Альпы ради утешения ничтожных смертных! Что же он получил в награду от сильных мира сего? Академические дипломы и орден Золотой шпоры, выданные ему еще в юности папой Клементом XIV. Однако за всем этим последовало абсолютное равнодушие «общества». Двор так и не пожелал создать ему сколь-либо сносных условий существования. Вельможи, чей уровень в целом был весьма низок, больше восхищались шпагоглотателями, плясуньями и чревовещателями.

И все же ему не следовало жаловаться на недостаток внимания. Его оперные произведения встречены были музыкальной публикой с восторгом («Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Дон Жуан»).

Хотя это далеко не единственные его творения, но они как ни что иное подтверждают правомерность следующей оценки: «за что ни брался Моцарт, из всего у него выходили жемчужины». Ему рукоплескали Вена, Болонья, Рим, Париж, Лондон, Прага... В Праге, по словам самого композитора, тогда говорили только о «Фигаро», слушали только «Фигаро», вечно все о «Фигаро». Одним словом, Фигаро тут, Фигаро там. Да и знаменитого «Дон Жуана» Моцарт, по его же словам, написал не для Вены, но для Праги, а еще больше для себя самого и для своих друзей.

Прага и стала городом, где его талант нашел свое призвание, где его оценили особенно искренне и восторженно. Говорят, услышав его «Похищение из сераля» (1783), пражане совсем перестали обращать внимание на других композиторов.

В личной жизни он не был счастлив. Из «сераля» похищал не столько он, сколь похитили его. Он влюбился в Констанцу Вебер. Ее мать сдавала комнаты в наем, будучи старой скрягой. Моцарт позже скажет о ней как о «лживом, злобном человеке». Имевшая четырех дочерей, она решила поймать его в сети супружества и стала распускать по Вене слухи, что Моцарт обесчестил ее дочь, не имея серьезных намерений жениться на ней. Впрочем, 18-летняя девушка в том была не виновата. Они поженились, но из шести детей выжили только двое (как у родителей самого Моцарта).

В его лице музыкальная мировая культура обрела не только гениального композитора, выдающегося исполнителя, но и смелого реформатора. Он во многом изменил итальянскую и немецкую музыку, стал создателем немецкой оперы, преобразовал игру оркестра, изгнал из музыки рутину и шаблон, и подготовил приход Бетховена. Когда же он пришел послушать репетицию «Фигаро» (в Мангейме), его приняли за ученика портного.

Восхищавшийся его творчеством Гайдн скажет: «Потомки не увидят такого таланта, как он, ближайшие сто лет». Моцарт умрет в возрасте тридцати пяти лет, завершив «Реквием», свою предсмертную песнь (1791).

Бетховен был потрясен этим событием и откликнулся на его смерть «Квартетом ля минор». О жизнь, тщета усилий наших! Останки Моцарта будут равнодушно сброшены в могилу для бедняков на кладбище св. Марка, без свидетелей. На ней даже не поставили креста

(уж не за то ли, что он был масоном?). Да и что такое смерть, как не перевоплощение!?

Он оставил нам в наследие 620 своих сочинений. Не все из них написаны на должной высоте. Но Григ прав, говоря, что его «Реквием» по-прежнему влечет нас за Моцартом в заоблачные сферы, а его жизнь обретает в наших глазах скорбный, но прекрасный конец... Was unsterblich im Gesang soil leben, Mub im Leben untergehen (слова Шиллера: «Чтоб бессмертным жить средь песнопений // Надо в жизни этой пасть»). Становится ясно и то, почему в далекой революционной России, спустя два столетия, нарком иностранных дел Г. В. Чичерин, эрудит и страстный поклонник музыки Моцарта, воскликнет: «Со мною – Моцарт и Революция!» Возможно, он был прав, говоря, что моцартовский Ренессанс еще впереди.

Чем же так потрясает и завораживает нас Моцарт? Вряд ли все же своим революционным пафосом. Тут уместно было бы упомянуть имена Бетховена или Вагнера. Если предположить, что музыка – это средство познания, то Моцарт учит нас познавать мир одновременно в его единстве и противоречивости. Он проникает в наше сердце так глубоко, что поселяется там навечно.

В очерке о великих музыкантах Н. Болдырев писал, оценивая его могучую и неотвратимо влекущую силу: «Моцарт, случается, доводит меня до слез. Он единственный. (Даже не Шуберт.) Что я могу сделать с его Сороковой симфонией или Пятнадцатым квартетом или Двадцатым фортепьянным концертом? Перед их метафизическим натиском я сдаюсь. На вопросы, которые они задают со всем нечеловеческо-прекрасным напором, у меня нет ответов. Только слезы». И далее: «В чем же особость божественности музыки Моцарта? Ведь божествен же Бах? В том, возможно, что здесь невероятно скрытое, невероятно необнаженное отчаяние дышит. Никто с таким достоинством и упоением, и величием, и грациозностью не отчаивается, как Моцарт. Его отчаяние так невыспренне, непатетично, так обескураживающе любовно, почти сверхчеловечески, что совсем-совсем не знаешь, что ответить ему, Моцарту». Он говорит, что тайна обаяния Моцарта столь же неразрешима, как и улыбка Джоконды. В звуках музыки Моцарта мы обретаем очищение. И волшебный экстаз одновременно. Как писал

Чичерин о ней: «Есть такие женщины: чистые и одновременно вакханки».

Моцарт говорил: «Музыка даже в самых ужасных драматических положениях должна всегда пленять слух, всегда оставаться музыкой». И он пленяет сердца при всех превратностях судьбы – в горе и счастье...

Как хорошо с подругой милой
Ненастный вечер коротать,
Музыке Моцарта внимать
И щедрой дланью наполнять
Сухим вином бокал искристый.
О Моцарт, гений серебристый,
Как эти звуки будят вновь
Воспоминанья: дни былые,
И встречи вечно молодые,
И вечно юную Любовь... [520]

Схожая судьба и у великого Бетховена... Представители семьи Бетховенов шестьдесят лет (1732–1792) состояли придворными музыкантами в Бонне, у кельнских курфюрстов. Дед композитора Людвиг ван Бетховен, фламандец по происхождению, занимал должность капельмейстера. Кстати, напомним, что от участников придворных капелл в те времена требовались довольно серьезные языковые знания (ведь каждый певец обязан был исполнять церковные арии на латыни, оперные партии на немецком, итальянском и французском).

Людвиг ван Бетховен (1770–1827) до десятилетнего возраста посещал школу, которая мало что дала ему. Среднего образования он так и не получил. В доме царила нужда. Юноша занимался самостоятельно, много читал, жаловался на свое плохое музыкальное образование, хотя и признавал: «Но все же я обладал музыкальным талантом». Талант его обнаружился уже в 5 лет. Отец решил сделать из него вундеркинда, «второго Моцарта». Яркие индивидуальности нередки в то время. Вспомним, как англичанин У. Кроч уже в 2,5 года играл на построенном его отцом органе, Моцарт в 6-летнем возрасте сочинял менуэты, Шопен в 5–6 лет считался вундеркиндом, Делакруа в 9 лет хорошо рисовал, Гендель писал мотеты в 10 лет.

В учителя Бетховену достался актер Т. Пфейфер, который жил в их доме. Человек не без способностей (играл на гобое и флейте), он, мягко говоря, не лишен был земных слабостей. После питейного заведения ночью он частенько поднимал спящего малыша и сажал за уроки. Затем актера сменил добродушный органист монах В. Кох.

В 8 лет отец уже заставил Людвига выступать с концертами. В нем проявился и талант импровизатора. Большое влияние на юношу оказал руководитель боннского «национального театра» Х. Г. Нефе, положивший на музыку стихи поэта Ф. Клопштока.

Конечно, Бетховена не отнесешь к энциклопедистам и корифеям просвещения. С трудом давались ему основные правила арифметики (особенно умножение). Он владел лишь родным языком, кое-как объясняясь по-французски и по-итальянски (по-английски знал несколько фраз).

В последние годы пребывания в Бонне Бетховен увлекался литературой: читал гомеровскую «Одиссею», «Жизнеописания» Плутарха, впитывал поэтику античных мифов. Позже у него возникла мысль положить «Одиссею» на музыку. Одно время Бетховен выражал желание написать оперу на сюжет «Макбета», как и на сюжет «Фауста». Прекрасно знал произведения Шиллера и Гете (цитировал по памяти их стихи и афоризмы). Шекспира знал, как собственные партитуры (четырёхтомник сохранил его пометки). Как видите, Бетховен умел черпать вдохновение из всех видов искусств. [\[521\]](#)

Интерес к творчеству Гете в нем подогрела юная Беттина Brentano, прекрасно знавшая поэта. Тот называл ее просто – «дитя». Бетховен желал встречи с Гете, говоря Беттине: «Стихи Гете сильно увлекают меня не только своим содержанием, но и ритмом. Его язык меня волнует и буквально понуждает к сочинительству. Из этого волнения возникает мелодия, и я должен разрабатывать ее.

Музыка – это как бы переводчик между духовной жизнью и нашими чувствами. Я хотел бы поговорить об этом с Гете, если бы мог рассчитывать быть понятым». Он закончил музыку к его трагедии «Эгмонт», которая должна была идти в венском театре. Побывав на исполнении его «Эгмонта», Беттина была потрясена последней частью, где исполняется монолог героя, призывающего поднять оружие против угнетателей страны (Нидерландов). Трагедию завершал победный и оптимистичный финал. Дирижировавший оркестром

Бетховен походил на полководца, бросающего в решающую битву победоносные когорты. «Когда я увидела того, о ком хочу теперь тебе рассказать, – писала она Гете, – я забыла весь мир... Я хочу говорить тебе теперь о Бетховене, вблизи которого я забыла мир и даже тебя, о Гете! Правда, я человек незрелый, но я не ошибаюсь, когда говорю (этому не верит и этого не понимает пока что, пожалуй, никто), что он шагает далеко впереди всего человечества, и догоним ли мы его когда-нибудь?» Слова, сказанные от всего сердца! [\[522\]](#)

В бетховенском творчестве нас привлекает характер его музыки – героический, возвышенный и одновременно трагический. Ее не спутаешь ни с чем. Он владел искусством говорить на этом языке. Нам близки великие, мятущиеся души, ибо в них чудятся низвергнутые, но не сломленные боги!

Исследователи отмечают, что в 1787 г. он был представлен Моцарту, который якобы тогда сказал: «Обратите внимание на этого человека, он когда-нибудь всех заставит о себе говорить». В его Первой симфонии заметно влияние Моцарта и Гайдна. Когда умер австрийский император Йозеф II, надгробие которого увенчает надпись «Здесь лежит тот, кто был несчастен во всех своих начинаниях», Бетховен откликнулся на его смерть кантатой, в которой уже слышны отзвуки его будущих симфоний.

В 1792 г. Бетховен переехал в Вену. То были годы франко-немецкой войны. В Вене он, видимо, окончательно понял глубокую истину: «Музыка – народная потребность» (Бетховен). Слушая его творения, понимаешь, что они «живой памятник науки и любви», науки потому, что он подходил к их написанию серьезно, как настоящий ученый. Первую симфонию он вынашивал девять лет.

Столь же бережно он носил в своем сердце любовь к Терезе Брунsvик. Мечта об этой женщине долгие годы сжигала его душу. Одиннадцать лет прошло после помолвки с нею, но их свадьба так и не состоялась. В конце концов, Тереза решила посвятить жизнь детям. В последнюю их встречу его «бессмертная возлюбленная» написала уже глухому Бетховену: «В моей жизни уже все решено. Если это не может быть Бетховен, значит, не может быть никто». Меломаны должны благодарить женщин за проникновенные, волшебные произведения Бетховена.



Людвиг Бетховен.

Соната до-диез минор *una fantasia*, названная «Лунной» (№ 14), посвящена дочери надворного советника Джульетте Гвиччарди. В письме Ф. Вегелеру он признавался, что эта 16-летняя девушка произвела в нем поразительные перемены: «У меня снова бывают светлые минуты, и я прихожу к убеждению, что женитьба может осчастливить человека». Посвящение «Лунной сонаты» Дж. Гвиччарди появилось зимой 1801–1802 года. В ней ощутимо слышится исповедь страдающего и любящего человека. Увы, его Джульетта изменила, предпочтя ему бездарного композитора, хотя и графа – Галленберга. Три дня гений бродил по лесу, ища одиночества, не желая есть или возвращаться домой. Такова же и его «Аппассионата» – вершина страсти, предсмертный клич орла, исповедь измученной души. Слушая эту музыку, слышишь пробудившийся вулкан. Кажется, что сама земля разверзлась.

Любовь гения осталась без ответа. «Гений среди общества – это страдание, это внутренний жар... если воздаяние славы не смягчит мучений». И все ж не стоит преувеличивать роли его возлюбленных. В жизни гения они пронеслись, словно причудливые тени, напоминая воздушные фантазии или сновидения. Возможно, это и к лучшему. Ведь та же Беттина, по свидетельству современников, была чрезвычайно экзальтированной особой, атакующей всех, кто

отличался мощью ума и таланта (Гете, Бетховена, Шлейермахера, архитектора Шинкеля, Людвига Баварского, генерала Гнейзенау, дипломата и ученого Вильгельма фон Гумбольдта, историка Ранке, братьев Гримм, Листа и т. д.). И каждому из них она намеревалась подарить миртовую ветвь «славы и любви».

Удивительно, но смертные готовы дарить великим лишь то, чего у них самих нет и никогда не будет. Порой ее даже вынуждены были выставлять за дверь. С пылкостью истерички и нимфоманки она всем предлагала «молоко своих грудей». Так что не будем тешить себя иллюзиями. Бетховен прекрасно понимал истоки своего одиночества, говоря в письме Глейхенштейну: «Для тебя, бедный Бетховен, совсем нет счастья во внешнем мире; надо, чтобы ты создал его в себе самом; только лишь в мире идей найдешь ты друга». Увы, это так. Хотя Т. Брунsvик была совершенно иной натурой – мечтательной, резкой, одинокой. В чем-то она была сродни самому Бетховену, заметив в одном из писем к нему: «Вслед за гениями идут прежде всего те, кто умеет ценить их». Музыка – единственная его опора.

Бетховен упорно и целеустремленно шел своей дорогой, хотя в 1802 г. в Гейлигенштадте обострилась его болезнь. Глухота лишала его многих человеческих радостей: «Я глух... Для меня нет отдыха в человеческом обществе, нет приятных бесед, нет взаимных излияний. Я должен жить как изгнанник». Изгнанник среди людей часто избранник небес! Вторая симфония и в самом деле, казалось, написана небожителем. В ней слышны отзвуки гнева богов. Она потрясает смертных. Говорят, что слушавший ее отрывки Крейцер в ужасе покинул зал. Бетховен посвятил ему «Крейцерову сонату».

Любопытна история и с созданием Третьей симфонии (1804 г.), посвященной им Бонапарту (кстати, мысль о ее создании возникла у него во время бесед в Вене с Бернадоттом). Когда Бетховен писал ее, перед ним как бы витал образ дерзкого республиканца, генерала, уничтожившего пытку, вернувшего сосланных, отменившего цензуру, основавшего ряд университетов, покровителя наук, искусств и литературы, образ отважного человека, некогда воскликнувшего: «Французская республика в Европе подобна солнцу на небосводе; она не нуждается в признании».

На самом деле уже тогда это был совершенно иной человек – Наполеон. Императоры гениев не любят. Гении отвечают им тем же.

Бетховен разорвал титульный лист с посвящением корсиканцу и дал своему произведению иное название – «Героическая». Для посвящения Наполеону больше подошла бы Пятая симфония, самая воинственная, названная самим Бетховеном симфонией судьбы. Кстати говоря, когда князь Лихновский пытался заставить его сыграть перед захватчиками-французами, Бетховен чуть не разбил стул о его голову, заявив князю: «Как жаль, что военным искусством я не владею так же, как музыкальным. А то я бы его (Наполеона) победил!»

Ромен Роллан безусловно был прав, поставив талант Бетховена гораздо выше талантов Наполеона. Он написал: «Какая победа может сравниться с этой победой? Какое сражение Бонапарта достигает славы этого сверхчеловеческого труда, этого блестящего успеха, который когда-нибудь одерживал человеческий дух! Страдающий, неимущий, больной и одинокий человек, которому жизнь отказывала в радостях, сам творит радость, чтобы даровать ее миру».

Австрия стала для композитора благодатной землей, «вторым отечеством» (хотя он и бранил ее на исходе своих дней). Здесь расцвел талант, как-то наладилась жизнь. Сколько несчастий, бед и разочарований выносит художник, преследуемый демонами нищеты. Но король Вестфальский предложил Бетховену пожизненное жалованье в 600 дукатов золотом и 150 дукатов на проезд с единственной просьбой – порой играть для него и управлять его придворными концертами. Ряд сановных особ (эрцгерцог Рудольф и другие) предложили ему контракт, по которому ему ежегодно выплачивалось бы 4000 гульденов. В документе говорилось: «Деятельность г. Людвиг ван Бетховена постоянно убеждает нас в необычайности его композиторского гения и внушает нам мысль о содействии ему... – Так как только обеспеченный в материальном отношении человек может посвятить себя искусству и только при этом условии может создать великие и вдохновенные произведения во славу искусства, то нижеподписавшиеся решили избавить г. Людвиг ван Бетховена от подобных забот и устранить жалкие препятствия, мешающие развитию его гения».

Замечательно, что венская аристократия в лице триумвиров поняла всю значимость пребывания в их стране гения такого масштаба. Отметим щедрость и благородство вельмож. В документе сказано, что если «неблагоприятные обстоятельства и старость

помешают ему заниматься музыкою, то нижеподписавшиеся обязываются выдавать ему эту сумму пожизненно».

Конечно, чтоб найти путь к сердцу рядовых австрийцев, приходилось писать не только гениальные произведения. Таково «Сражение при Виттории», написанное в честь победы Веллингтона над французами 21 июня 1813 г. История его написания такова.

В эпоху наполеоновских войн музыкальные изображения сражений были в моде. И вот к Бетховену обратился пианист и музыкант Мельцель, изобретатель многих приборов, привлекавших в его музей тысячи любопытных посетителей (тут был и автоматический игрок в шахматы Кемпелена, однажды обыгравший Наполеона). Тот изобрел пангармонику, огромных размеров шарманку с 42 инструментами, и мечтал удивить ею Европу, а заодно выгодно продать (первый инструмент продал в Париже, второй надеялся сбыть в Лондоне).

Для показа инструмента в действии ему нужна эффектная и шумная пьеска патриотического содержания, приятная слуху англичан. Он и привлек к делу Бетховена, пообещав изготовить для него слуховые приборы. Бетховен откликнулся, написав пьесу, которую потом сам же и назвал «вздорной».

Произведение, в котором слышны отголоски английских мелодий Rule Britannia и God save the King, неожиданно возымело бешеный успех у публики. Концерт имел благотворительную цель: помощь раненым солдатам австрийской и баварской армий. В нем приняли участие лучшие музыканты. Тогда же была исполнена и 7 симфония Бетховена. Это еще более упрочило его славу. Шиндлер писал: «Кроме некоторых специалистов, все, кто не признавал Бетховена до сих пор, находили теперь его достойным лаврового венка».

В обыденной жизни Бетховен, как и всякий смертный, был далеко не столь совершенен. Притчей во языцех стала его рассеянность. Он был очень забывчив, повсюду оставляя свои шляпы, кошельки и рукописи. Бывало, иные из нот («Торжественная Месса») оказывались отнюдь не в торжественном месте. Он был небрежен в одежде до такой степени, что однажды его задержали, как бродягу, продержав ночь в камере. Но он любил людей и был готов заключить в свои объятия «весь мир, друзей и братьев, и всю природу». Естественно, он готов был заключить в объятия и всех девиц, что попадались ему на пути.

Хотя женщин замужних обходил стороной, относясь к чужому браку с большим почтением (что не мешало ему испытывать глубокую страсть к замужней красавице Марии Биге). Единственная его опера написана им на тему супружеской любви, самопожертвования и верности. Бетховен очень обижался на Моцарта за то, что тот создал оперу на столь безнравственный сюжет, как «Дон Жуан» (хотя и боготворил его во всем остальном).

Из музыкантов преклонялся перед Моцартом, Генделем, Гайдном, знал произведения Баха, Керубини, изучал образцы древнееврейской музыки.

В пище земной он был непритворлив, обожая макароны с сыром-пармезаном, рыбу, кофе и чистую ключевую воду. Крепких спиртных напитков обычно избегал, ограничивая «сиесту» трубкой, кружкой пива или стаканом вина. В кругу друзей обсуждались новинки литературы, науки, политики. Иногда любил поболтать о политике и о будущем Европы. Слышались фразы: «Бог – всего лишь марионетка, которая никогда не спускалась на землю»; «Крупные банкиры держат в своих руках все правительства»; «Через пятьдесят лет будут лишь одни республики». По темпераменту Бетховен мог быть причислен к революционерам в культуре. Один из его друзей даже предрекал ему в шуточной форме: «Вы умрете на эшафоте!»

Бетховен питал глубокое уважение к героям Великой Французской революции, как и к героям Древнего Рима (Плутарху). Письменный стол композитора украшал бюст Брута, избавившего страну от деспотизма Цезаря. А над его письменным столом висели изречения, обнаруженные в древнем храме Египта Шампольоном. Если в Гете никогда не умирал хитрый, ловкий сановник, то в Бетховене жил бунтарь.

Однажды летом 1811 г. в Теплице собралось блестящее общество (императоры и императрицы, короли, герцоги, князья, сановники). Здесь и произошла долгожданная встреча двух великих. Бетховен считал себя почитателем Гете и ожидал с ним знакомства. В свою очередь и Гете был наслышан о Бетховене, чей образ к тому времени обрел ореол гения. Вот как описывает один из биографов знакомство: «После первых же встреч оба были разочарованы, каждый по-своему и в иной степени; царь поэтов оказался поэтом царей, чиновником, полным эгоизма, олимпийского величия в толпе и низкопоклонства

при дворе: шестидесятилетний сановник, бывший министр, щеголявший стилистикой своей часто напыщенной речи, не мог полюбить и расположить к себе свободолобивого и пылкого, несмотря на сорокалетний возраст, артиста, непринужденная речь которого была полна простонародных выражений рейнского наречия.

Спустя несколько дней после их первой встречи Бетховен уже проявил свою откровенность, оскорбившую веймарского министра. Гуляя с Гете по аллеям парка, композитор с увлечением рассказывал ему что-то и неохотно отвечал на поклоны знакомых своих, тогда как Гете исправно снимал свой цилиндр при каждом приветствии прохожих. Недовольный чрезмерным вниманием собеседника к публике, композитор взял его за руку и заметил: «Не беспокойтесь. Эти поклоны обращены ко мне». Это не было грубостью. Скорее, тут видим два типа отношения к жизни. Гете понял: Бетховен чужд нормам его жизни, и не упомянул в автобиографии имени композитора.^[523]

Большой талант должен пройти испытание славой. Премьер-министр Франции Э. Эррио (1872–1957), написавший увлекательную книгу о Бетховене, говорил в ней о влиянии этого композитора на жизнь эпохи: «Эпоха была словно испугана таким изобилием шедевров, задуманных и созданных всего только за три-четыре года; не кажется ли это каким-то человеческим чудом? И можем ли мы почерпнуть подобный пример в истории какого-либо искусства?

Слово гений, слишком часто опошляемое, на этот раз обретает весь свой смысл. Одиноким даже среди друзей, которых его нрав приводил в замешательство, то восторженный, то отчаивающийся, поставленный враждебной судьбой перед ужасной угрозой, поэт более глубокий, чем Шиллер и Гете, – он повелевает ураганными вихрями «Героической» или «Аппассионаты».

К 1814 году популярность Бетховена, казалось, достигла апогея. В Вене созывается Венский конгресс, и торжества предваряет исполнение бетховенского «Фиделио». Наполеон пребывал на Эльбе, а в Европе царил Бетховен. В Англии даже родился афоризм, быстро облетевший все страны: «Бог один и Бетховен один!». «Ни один царь, ни один король, – писала о нем уже упомянутая Б. Brentano близкому другу Гете, – не осознает так своего могущества, не чувствует, что вся

могучая сила кроется в нем самом, как этот Бетховен!» Весь мир лежал у ног Бетховена.

Но он знал цену всем этим придворным милостям. Сегодня ты угоден, а завтра? «Общество, – писал он, – это король, и оно любит, чтобы ему льстили; оно осыпает за это своими милостями». Подлинное искусство обладает чувством достоинства и не поддается лести. «Знаменитые художники всегда в плену, вот почему их первые произведения – самые лучшие, хотя они и возникли из тьмы подсознания». От щедрот власти лучше держаться подальше, если не хочешь погубить талант: «если у меня не будет ни единого крейцера и если мне предложат все сокровища мира, я не свяжу своей свободы, не наложу оков на свое вдохновение». [\[524\]](#)

Впрочем, нищета ему не грозила. Хотя Франц-Иосиф говорил, что короли нуждаются не в гениях, а в верноподданных, это, разумеется, не так. Грош цена любому монарху, если его правлению не сопутствуют слава и гений творцов и художников. Надо сказать, что некоторые коронованные особы это понимали. Р. Вагнер многим был обязан Людвигу II. Не был обделен вниманием и Бетховен. Известно, что композитора охотно принимал у себя во дворце даже русский посол в Вене граф А. К. Разумовский. По его заказу написаны квартеты (opus 59). Великолепный сибарит был меломаном, тонким ценителем музыки. Он дружил со стариком Гайдном, помогал Моцарту, приглашал того в Россию.

Квартеты Разумовского являются вершиной квартетной музыки. Вот как говорит об этой бетховенской вещи Б. Кремнев: «Работая над квартетами Разумовского, он как бы заглянул в душу незнакомого народа. Песни, с которыми он познакомился по сборнику Львова-Прача, отражали красивую и светлую душу русских. Некоторые из этих напевов он дословно использовал в своем сочинении. В Седьмом квартете звучит веселая русская песня «Ах, талант, мой талант», Восьмой квартет украшает торжественная величальная «Слава». Три квартета opus 59 открывают новую, знаменательную страницу не только в творчестве Бетховена, но и во всей мировой музыке. В них тонкий психологизм и эпическая широта сплетаются с философским раздумьем». Скажем и о том, что Бетховен посвятил Три сонаты для фортепиано и скрипки (соч. 30) русскому императору Александру I. [\[525\]](#)

В связи с судьбой великого маэстро уместно остановиться на том значении, которое люди вкладывают в слово «авторитет». Что же он собой представляет? Есть авторитеты политика, генерала, банкира, государственного деятеля, инженера, ученого. Многие из них ненадежны, хрупки и условны. Стоит политику потерпеть поражение в схватке за место – и он перестает существовать как личность. Если генерал или командующий проиграл сражение (или тем более всю кампанию), его отдадут под суд, или же, если он человек чести, ему остается одно – пустить себе пулю в лоб. Если банкир окажется несостоятельным, его ждут тюрьма или бега. Ученый-неудачник может запросто стать посмешищем научного сообщества.

А что происходит с художником, мастером культуры? Сложность его позиции в том, что ему все время приходится выбирать между верностью правде и народу, с одной стороны, и лояльностью к власти и деньгам – с другой. Редкий художник находит в себе достаточно сил, чтобы возвыситься над последними. Те же, словно чудовища Сцилла и Харибда, поджидают его на трудном пути к заветному «золотому руно». Большинство нынешних «мастеров культуры», напротив, словно безвольные овцы, готовы сами прыгнуть в пасть того или иного «чудища».

Чем масштабнее фигура, тем больше желающих принизить или оскорбить его творчество. Толпа не выносит ни духовного, ни умственного превосходства. Поэтому зачастую искусство выдающихся писателей, художников, музыкантов чуждо уму и сердцу обывателя. Тому мы имеем массу подтверждений.

Во французской прессе в конце XIX и в начале XX вв. даже возобладала точка зрения, согласно которой в лице Бетховена человечество обрело «великого, но громоздкого гения», с которым лучше не иметь дела (мол, мелкие, неинтересные темы и банальные гармонии). А композитор К. Дебюсси назвал Бетховена «варваром». Истина – пробный камень себя самой и лжи (Спиноза). «Бумага – не жид», она все стерпит (Бетховен).

В чем тут дело? Видимо, музыка должна быть созвучна времени. Композитор Г. Берлиоз в «Мемуарах», что порой сравниваются с «Исповедью» Руссо (о котором Флобер сказал Мопассану так: «Вот человек! Как он ненавидел буржуа! Почтище Бальзака!»), писал о том, как все эти господа встретили творения гениального Бетховена: «В

течение нескольких дней, которые я провел в Штутгарте в ожидании писем из Веймара, в большом зале Редут под управлением Линдпайнтнера был дан блестящий концерт, и я во второй раз имел случай убедиться в той холодности, с какой имущая немецкая публика реагирует на самые глубочайшие замыслы великого Бетховена. Увертюра «Леонора», произведение поистине монументальное, исполнявшееся с редким вдохновением и точностью, было принято сдержанно, и я сам слышал вечером, за табльдотом, как один господин выражал неудовольствие, почему не дают симфонии Гайдна вместо этой грубой музыки, где совсем нет мелодии!!!». [\[526\]](#)



Бетховен и Гёте.

Человек слушает музыку сердцем, а не слухом. Отсюда возможны и некоторые колебания в оценках. Порою роль может сыграть даже фактор «школьной традиции». Постепенно немцы и австрийцы стали охладевать к Бетховену. Г. Чичерин писал: «Я спросил однажды Отто Клемперера (выдающийся немецкий дирижер. – Авт.), чем объясняется охлаждение к Бетховену. Он ответил, что виноват школьный учитель, превративший Бетховена в нечто филистерское; задача его, Отто Клемперера, в том, чтобы раскрывать обществу живого,

бурнопламенного Бетховена. Вообще же холодное отношение многих новейших музыкальных эстетов к Бетховену нельзя считать непониманием, это нечто более серьезное и глубокое». ^[527] Великие музыканты не устаревают!

Совсем напротив! С годами его фигура выростала до исполинских масштабов. Обыватель же в сравнении с ним ощущал себя все ничтожнее. Да и Вена слишком была избалована известными музыкантами. Разумеется, критики в прессе не скупилась на похвалу. Несмотря на то что зал был полон, материальные плоды были ничтожны. Абоненты лож (богатеи) не заплатили ни гроша, двор отсутствовал, хотя Бетховен приглашал их лично. Платы ему на бенефис не прислали (1824). Многие говорили, что в Лондоне он собрал бы в 10 раз больше, а князь Голицын советовал покинуть Вену.

Увидев ничтожную горстку монет, полученных им за тяжкий труд, Бетховен даже пошатнулся. Его уложили на софу. До поздней ночи он так и лежал, не издав ни звука. Хотя, прослушав девятую симфонию, все понимали, что это – величайший современный музыкант, исполняющий свою лебединую песнь. Лишь незадолго перед смертью он получил крупную денежную сумму от Лондонского филармонического общества. В итоге, как отмечают, он смог позволить себе заказать любимое блюдо и купить удобное кресло. Каторжная работа и уроки всяким там эрцгерцогам (бесплатные) отнимали у него силы. На другой день он был «не в состоянии даже думать, не то что писать».

Такова плата сильных мира и богачей за труд. Что там говорить, если написанная его рукой партитура Пятой симфонии после смерти была продана всего за 6 флоринов. Впрочем, тому были и объективные причины. В это время уже шло имущественное разорение аристократов. Затем последует и упадок культуры.

Умирал он тяжело, ужасно. Казалось, и природа, преисполненная трагичности момента, хмурилась и скорбно рыдала у его ложа. Как вспоминают свидетели тех печальных минут: «Удар грома потряс комнату, освещенную зловещим отблеском молнии на снегу. Бетховен открыл глаза, угрожающим жестом протянул к небу правую руку со сжатым кулаком. Выражение его лица было страшно. Казалось, он кричал: «Я вызываю вас на бой, враждебные силы!..». И он победил, победил пошлость, цинизм, алчность, невежество. С ним пришли

проститься 20 тыс. человек (десятая часть Вены). Все школы были закрыты в знак траура.

В то же время у Бетховена всегда было немало преданных и верных сторонников. Отдавали ему должное и французские писатели-натуралисты. В романе Э. Золя «Творчество» один из героев, художник Ганьер, восторгаясь великим композитором, сравнивал его с виднейшими музыкальными фигурами эпохи: «Гайдн – это слегка напыщенная грация, дребезжащая музычка прабабушки в пудреном парике... Моцарт – гений, провозвестник, он первый придал оркестру индивидуальность... Но оба они продолжают существовать только потому, что благодаря им появился Бетховен...

О! Бетховен – мощь, сила и светлая печаль, Микеланджело у гробницы Медичи! Героическая логика! Он направлял умы, и все значительные композиторы наших дней пошли по пути его симфонии с хором!». Его посещает и Россини, «Европы баловень, Орфей», как написал о нем Пушкин.

Как уже говорилось, музыка Бетховена по своей силе, высоте и мощи поднимала человека на битвы, побуждала его стремиться ввысь, думать о возвышенных и великих идеалах. Поэт-воин д'Аннунцио, умирая, слушает музыку Бетховена – и «каждая нота переходит из одной вены в другую и так вплоть до самого сердца, до самого дна жизни... И вот она наполнилась до краев, она совсем близко. Сердце мое останавливается; затем внезапно неистовствует, переполненное, удовлетворенное». Не случайно Р. Вагнер, музыкальный реформатор, заимствует у Бетховена (в меньшей степени, у Моцарта) едва ли не целиком свою первую симфонию 1832 года.

Для нас Бетховен не только великий композитор, но и крупный философ... Его жизнь была вся подчинена мысли. Только его мысль облечена в музыкальную форму. Он и сам хорошо понимал родство, существующее между художником и ученым. По поводу судьбы своего племянника, которого он безумно любил, жертвуя ради его будущего многим, Бетховен говорил: «Мальчик должен стать художником или ученым, чтобы жить высшей жизнью и не погрязнуть в пошлости. Только художник и свободный ученый носят свое счастье внутри себя...». Увы, маленький Карл был лжив, ленив, бездарен. Из него не вышло ни музыканта, ни ученого. Зато он неплохо играл в бильярд, был завсегдаем пивных – и кончил службой в армии.

С конца XIX в. в западном обществе укрепляются иные, утилитарные идеалы и ценности. Такие понятия, как романтизм, идеализм, героика, духовность, – всё это уже в прошлом, кануло в Лету безвозвратно. Воцарялся совершенно иной человеческий тип, с иным образом мыслей и чувств (филистер и циник).

Р. Роллан прав, назвав Бетховена всеобъемлющим воплощением XIX века. Бетховен был одним из тех, кто направлял умы и повелевал ими. Под впечатлением от его музыки Л. Толстой напишет «Крейцерову сонату», сказав, что бетховенская музыка оказала огромное воздействие на него. Такую музыку можно слушать и играть лишь в решающие жизненные минуты, «когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки». Р. Вагнер, будучи потрясен мощью его творений, скажет устами своего героя: «Верую в Бога, Моцарта и Бетховена».

Вместе с Гёте, Фихте, Гегелем, Шиллером и другими Бетховен создал золотой век немецкого Просвещения, подняв на исключительную высоту авторитет всей австрийской нации. Композитор действовал согласно мудрому принципу великих творцов – «Bilde Kunstler! Rede nicht!» («Художник, создавай, а не разговаривай!»). И даже на смертном одре он думал о том, как жаль, что ему не удалось воплотить в музыке «Фауста»: «О, это была бы настоящая работа... Я надеюсь, что все-таки напишу то, что будет вершиной и для меня и для искусства – «Фауста»» (идею воплотил Ш. Гуно). Его волновали новинки истории и науки. В письме от 1 марта 1823 г. Бетховен скажет: «Развитие искусства и науки всегда было и останется лучшей связью между самыми отдаленными народами». Бетховен поднял музыку, всю музыкальную культуру на такую высоту, на которой она до тех пор никогда не бывала.

В лице Бетховена миру явился подлинный «Шекспир масс». В письме Балакиреву В. Стасов скажет: «У Моцарта вовсе не было способности воплощать массы рода человеческого. Это только Бетховену свойственно за них думать и чувствовать. Моцарт отвечал только за отдельные личности. Истории и человечества он не понимал, да, кажется, и не думал о них. Бетховен же – только и думал об истории и всем человечестве, как одной огромной массе. Это – Шекспир масс» (1861).

Ранее говорилось о философском звучании работ Бетховена. Передовая русская мысль восприняла его девятую симфонию как гимн свободе. На этой же позиции стоял и писатель Р. Роллан: «Поражает, что именно народ, а не избранные отводит особое место девятой симфонии, выделяя ее из всех музыкальных произведений...». Он объяснял, что это – «бессмертное свидетельство о великой Мечте, всегда таящейся в сердцах людей...».^[528] Девиз его жизни можно выразить одной фразой: «Seid umschlungen, Millionen!» («Обнимитесь, миллионы!» – нем.). Впрочем, было бы ошибкой видеть в нем только певца масс. Мне кажется, что он певец героев и выдающихся личностей. К нему они идут, как идут на исповедь к священнику, пользующемуся исключительным доверием и любовью. Бальзак сказал о нем: «Я изливаю свое горе в музыку. Бетховен и Моцарт часто были поверенными моих сердечных тайн».

Вена всегда находилась в объятиях музыки. И хотя знаменитый «Венский вальс» родился не в Вене, а в Баварии в начале XVIII в., именно Вена стала центром музыкальной жизни Европы. Сама атмосфера города делала людей музыкантами, певцами, танцорами. Ведь не случайно же Лист-старший, решив продолжить обучение сына музыке, решительно заявил: «Учиться музыке можно только в одном месте – в Вене».

Поэтому он так долго и добивался встречи с Бетховеном. Несмотря на то, что композитор уже почти ничего не слышал, он все же согласился выслушать юное дарование. После окончания концерта Бетховен (так гласит легенда) расцеловал Листа на глазах всех присутствующих, сказав ему: «Иди, ты счастливец и сделаешь других счастливыми». Критики заявят в газетах: «Бог среди нас». Об обстановке тех лет историк культуры писал: «Музыка буквально пронизывала атмосферу Вены и ее окрестностей. В то время когда большинство населения испытывало огромные материальные лишения, оркестранты и певцы в многочисленных ансамблях выступали с концертами в бесчисленных залах и винных тавернах».^[529]

По поводу места музыки в содружестве искусств Шопенгауэр сказал, что другие искусства «говорят лишь о тени, но музыка о сущности». О том, что значит музыка для австрийцев, свидетельствует и такой почти анекдотичный случай... Во время Дрезденского

сражения союзных армий с Наполеоном, когда во многом решалась судьба Австрии, император Франц как ни в чем ни бывало продолжал предаваться любимому занятию – музыке, не обращая внимания на стоны и страдания раненых австрийских офицеров, что разместились неподалеку, в одной из комнат занимаемого им дома.

Видимо, учитывая это обстоятельство, Бетховен однажды полушутливо заметил: «... я полагаю, что покуда австриец располагает темным пивом и сосисками, он на восстание не поднимется». В Вене, чтобы понять друг друга, слов не надобно, достаточно знакомых мелодий. Может, Гофман и прав: «Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник там, где речь умолкает». Музыка красноречивее слов!

Заметное место в истории музыки Европы и Австрии занял Йозеф Гайдн (1732–1809). Его детство и отрочество (родом он из семьи ремесленников-крестьян), обычно несущее с собой радости и забавы нежного возраста, омрачено вереницей смертей близких. Смерть забрала пятерых братьев и сестер.

И отец, и мать имели некоторую склонность к музыке. Отец пел и аккомпанировал себе на арфе, «не зная ни одной ноты». В австрийской деревне этого не требовалось, как и в городке Хайнбурге, куда отправили учиться юного Гайдна. Воздух пронизан звуками колоколов, труб, барабанов. Почти как в гоголевском «Ревизоре»: «барышень много, музыка играет, штандарт скачет». Однако пока ему было не до барышень. Приходилось постигать все премудрости знаний и музыкальных азов в школе, куда его забрал в возрасте 6 лет кузен отца, И. Франк, учитель и регент хора в Хайнбурге.

В старости композитор вспоминал, что получал в школе «больше колотушек, чем еды». Франк мог научить юношу разве что игре в фальшивые кости (за что привлекался к суду). И все же позже Гайдн скажет, что он благодарен тому до конца дней, поскольку он заставлял его упорно трудиться. Мальчик рос ершистым, подобно «маленькому ежу».

Благодаря придворному композитору и соборному капельмейстеру Г. Рейтеру-младшему (1708–1772) он попал в Вену, где стал певчим. Бытовая сторона жизни юноши была отвратительной. Его колотили, изнуряли частыми выступлениями, неважно кормили и почти не учили (за 9 лет пребывания Йозефа в капелле Рейтер дал ему

всего два урока композиции). Помимо того, он чуть не изуродовал мальчика, предложив тому стать кастратом (кастраты ценились за тембр и чистоту голоса). Вспомним, как Моцарт писал из Зальцбурга падре Мартини, жившему в Болонье (1776): «Недостаток певцов неблагоприятно сказывается на нашем театре. Кастратов (castrati) у нас нет и, по всей видимости, не будет, ведь им нужно хорошо платить, а щедрость нам не свойственна». Видимо, именно поэтому, когда у Йозефа стал ломаться голос, Рейтер попросту решил выгнать его на улицу. Но призыву родных стать священником Гайдн решительно воспротивился: «Есть Музы глас, то глас волшебный, он пересилит глас небес». Бог обитает в гениях.



Йозеф Гайдн.

О тех тяжелых и мучительных годах Гайдн так писал в автобиографической заметке: «Когда я наконец потерял свой голос,

мне пришлось целых восемь лет перебиваться обучением юношества (NB: этот жалкий хлеб ведет многих гениев к гибели, так как им недостает времени для совершенствования)). За все время службы в соборе он не получал от наставника никаких уроков: «У меня никогда не было настоящего учителя. Я начал обучение с практической стороны – сначала пение, затем игра на музыкальных инструментах и лишь потом – композиция. Я больше слушал, чем изучал... Вот так я приобретал знания и умения». Приходилось бывать при дворе в Вене, а также в увеселительных замках Шенбрунн, Лаксенбург. В капелле он пропел до 17 лет, изучив искусство пения, клавир и скрипку. Так, в муках и трудах он совершенствовался.

В дальнейшем Гайдн сумел заимствовать у эпохи все богатство мыслей, образов и звуков. Он черпал золотые крупицы знаний и опыта на музыкальных фестивалях и балах, в операх и дворцах, во время «застольных музык» и «ночных концертов», даже во время демонстраций марионеток на площадях и балаганных представлениях.

Напомним, что в 1749 г. юноша оказался на улице (без денег и жилья). Над ним нависла угроза нищеты. Строго говоря, нищета была повседневной. Но она же и активизировала все его внутренние силы и способности. Гайдну принадлежит откровенное признание: «Тем, чем я стал, сделала меня самая ужасная нужда». К счастью, на выручку пришел друг (М. Шпанглер), давший ему приют в убогой комнатке под крышей, где и сам ютился с женой и ребенком.

Свою карьеру композитора он начал в 1751 г. с написания музыки к опере «Кривой бес» (по «Хромому бесу» А. Лесажа). Она, говорят, имела успех, но была снята. В это же время он знакомится с Вагензейлем, Бахом, Глюком. То были годы бурного развития инструментальной музыки. Появляются его мессы и первый струнный квартет (1755).

Встреча с заядлым любителем музыки графом фон Морцином изменила жизнь музыканта. Гайдн получил у него постоянное место и жалованье. Тут он исполнил свою первую симфонию. Музыка Гайдна отличалась веселым, жизнерадостным духом. Отвечая на нападки ревнителей «суровой веры», он подчеркивал: «Когда я думаю о Боге, мое сердце так полно радости, что ноты бегут у меня словно с веретена. И так как Бог дал мне веселое сердце, то пусть уж он простит мне, что я служу ему так же весело».

Увы, личная жизнь его была менее радостной. В 1760 г. он, как и Моцарт, женился на сестре бывшей возлюбленной. Его избранницей стала дочка парикмахера (М. Келлер). Будучи старше его на три года, она вдобавок не выносила музыки и не могла иметь детей. Стараясь досадить бедняге-Гайдну, она использовала рукописи его произведений «как прокладочную бумагу для выпечки и делала из них папильотки». Ум иных дам устроен «по-парикмахерки».

В нашу задачу не входит описание музыкальной стороны его творчества. Эти сонатные и рондовые формы для тонких и глубоких знатоков. Они – «за пределом досягаемости». К 1761 г. он приступил к написанию симфоний («Утро», «Полдень», «Вечер», «Пасторальная», «Прощальная»), в которых, по его признанию, хотел изобразить моральные характеры. В первой половине 60-х годов имя Гайдна стало широко известно не только в Австрии, но и в Европе. Все чаще стали поговаривать о венском вкусе в музыке. Одна из газет писала тогда: «Господин Гайдн – любимец нашей нации, его мягкий характер запечатлен в каждой из его пьес. Его творчеству присущи красота, порядок, чистота, тонкая и благородная простота».

Вскоре он становится единственным руководителем капеллы знаменитого Эстерхази. О том, что представлял собой князь Николай Эстерхази (1766), свидетельствует его фраза: «Что доступно французскому королю, то доступно и мне». В 1764–1768 гг. князь возвел великолепный дворец с роскошной библиотекой, чудесным парком, дивными статуями, фонтанами, павильонами, храмами Солнца, Дианы, Фортуны... Здесь же им были выстроены оперный театр и Дом музыки – и Гайдн с женой получили в Доме музыки три комнаты. Стендаль скажет о нем: *veni, scripsi, vixi* (пришел, написал, прожил).

Дворянский род Эстерхази был широко известен не только в Венгрии и Австрии, но и в Европе (в 1625 г. Н. Эстерхази назначают пфальцграфом Венгрии). Семья владела 25 замками и дворцами и полутора миллионами акров земли. Это была одна из богатейших фамилий Европы. Гайдну, бесспорно, повезло, что он поступил на службу к столь влиятельной и могущественной персоне. Как пишут биографы композитора, ежедневно в полдень Гайдн, облаченный в ливрею, должен был предстать перед князем и выслушивать его указания относительно того, какую музыку следует играть. Все

сочиненное Гайдном предназначалось «исключительно для двора князя Эстерхази» (Н. Баттерворт). Эстерхази обожали музыку. Они собирали по всей Германии и Италии оперные партитуры и либретто. Князя Николая, подобно небезызвестному Медичи, молва нарекла «Великолепным» за страсть к развлечениям и роскоши. Это проявилось особенно после того, как Н. Эстерхази побывал в Париже и увидел Версаль (1764). Вот он и решил устроить в Венгрии собственный Версаль. Так появился великолепный замок Эстерхаза, завершённый в 1784 году. Помимо дворца, библиотеки, садов, тут были устроены театр со всевозможными механизмами и великолепная картинная галерея, одним из сокровищ которой стала «Мадонна» Рафаэля. В замке для одних только гостей обустроили 126 комнат.



Дворец Эстерхаза сегодня.

Когда Гайдн получил у Эстерхази титул обер-капельмейстера, по его указанию расширили оркестр и увеличили хор. Он получил в свое распоряжение музыкантов высочайшего класса. Тут он написал более 20 симфоний и ряд опер. В его функции входило: проводить репетиции, готовить хор и оркестр к выступлениям, заботиться о музыкантах. По свидетельству знавших его, он великолепно справлялся со своими обязанностями. Его любили и даже прозвали

«папой» за ту отеческую заботу, которую он проявлял к окружавшим его людям. Это теплое прозвище закрепилось за ним. Моцарт, которого с Гайдном связывала тесная дружба, написал ему незадолго перед своей смертью: «Боюсь, Папа, что прощаемся мы в последний раз» (1790). Моцарт называл его самым именитым и очень близким другом. По его словам, у него он и научился писать квартеты. В свою очередь и Гайдн не мог не восхищаться гением Моцарта. После венской премьеры «Дон Жуана» он заявит: «Моцарт – величайший композитор из ныне живущих». В Вене их часто видели вместе. Они принимали близко к сердцу те или иные планы и устремления друг друга. Когда Гайдн решил поехать в Лондон, Моцарт воскликнул: «Но, Папа, Вы не получили достаточного образования, чтобы путешествовать по миру, и Вы знаете так мало языков», на что Гайдн вообще-то резонно возразил: «Мой язык понимают по всему миру». Путешествие его в Лондон прошло триумфально. В личном плане Гайдн был очень скромнен. Когда его сравнивали с тем же Моцартом, он отвечал: «Друзья часто льстят мне, говоря, что у меня есть некоторый, талант; но его гений был намного выше моего».^[530] В наследии Й. Гайдна выделяются две его божественные оратории – «Сотворение мира» и «Времена года».

Видимо, все же жизнь австрийского композитора не была сладкой. Он сказал как-то: «Прискорбно всю жизнь быть рабом». После смерти Н. Эстерхази «золотой век» австрийско-венгерской музыки стал клониться к упадку. Умирал Гайдн в дни, когда Наполеон взял Вену (1809). Говорят, что Наполеон приказал поставить возле дома умирающего Гайдна часового, чтобы того не тревожили. Словно бросая вызов захватчикам, он играл на пианино австрийский национальный гимн. Кстати, и гимн Германии написан на музыку Й. Гайдна (третья строфа «Германской песни»). Гайдн оказал мощное влияние на творчество Бетховена. К его яркой судьбе более подошли бы его же слова: «Вся жизнь моя была гармоничной песней».

Популярность Гайдна была велика и в России. Писатель А. Н. Радищев относил его к числу художников, «душу в исступление» приводящих. Им восхищался В. Ф. Одоевский, отмечая, что «гармонические звуки Моцартов и Гайднов» потрясают и возвышают душу. А. Н. Серов писал по поводу Гайдна и Генделя в 1851 году: «Вот настоящая музыка! Вот чему следует наслаждаться, вот что следует всасывать в себя всем, кто желает воспитать в себе здоровое

музыкальное чувство, здравый вкус». Цезарь Кюи считал, что в своих симфониях Гайдн «не уступит Моцарту, а в инструментовке и перещеголяет!» М. А. Балакирев отмечал, что ми-бемоль-мажорная симфония Гайдна «по красоте и величию может стать выше 1-й и 2-й симфоний Бетховена». Правда, иные вменяли Гайдну в упрек, что в его музыке отсутствуют «размышления о благе и горе человечества, о мировом духе и мировой скорби...» (А. Г. Рубинштейн). Вот и П. И. Чайковский утверждал, что талант Гайдна – «невысокого полета» и «поверхностный» и что он «устарел гораздо больше Моцарта». ^[531] С этими оценками можно было бы и поспорить. Горя и скорби и без того хватает. Во всяком случае, внук Николая I, великий князь Константин Константинович, известный поэт, в письме П. И. Чайковскому заметил (1888): «Вот почему мне так дороги произведения древних музыкантов, Гайдна, Генделя, Моцарта. Я думаю, у них даже и такты сочтены, так что не найдется ни одной лишней ноты. Мне кажется, что начиная нашим столетием, даже великие художники, например, сам Бетховен, стали утрачивать эту незаменимую способность *Sich beschränken zu wissen* (Уметь себя ограничивать – нем.)... Возвращаясь к старикам: мне кажется, что у них, например в симфониях Гайдна, хотя гораздо менее глубины, чем у Бетховена или Вагнера, но зато форма, божественная форма, так ценяемая древними греками, этими законодателями красоты, – несравненно выше. В наш все отрицающий век стали формой пренебрегать, но хорошо ли, похвально ли это?». ^[532] А один из самых замечательных пианистов нашего времени С. Рихтер однажды признался друзьям: «Милый Гайдн, я его так люблю, а другие к нему совсем равнодушны. Как это досадно».

С Веной связано имя Франца Шуберта (1797–1828). Шуберт – выходец из семьи учителей. Одно время сам учительствовал. Дело это он не любил, считая его рутинным (изо дня в день натаскивать «банду сорванцов»). Он рожден был для музыки и музыки. А школа съедала лучшие часы его жизни. Сила Шуберта в том, что его не смогла одолеть даже нелюбимая работа. Биограф его творчества Б. Кремнев писал: «Приходится лишь изумляться жизнестойкости его творческой натуры. Именно в эти годы школьной каторги (1814–1817), когда, казалось, все было обращено против него, им создано поразительное множество произведений. Только за один 1815 год Шуберт написал 144

песни, 4 оперы, 2 симфонии, 2 мессы, 2 фортепьянные сонаты, струнный квартет. И среди творений этого периода немало таких, что озарены немеркнущим пламенем гениальности. Это песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Розочка», «Трагическая» и «Пятая симфония-мажорная симфония». ^[533] Число его произведений огромно – 1250. Девизом его жизни мог бы стать клич Гайдна: «Разум и душа должны быть свободными».

Все же смерть пришла рано. Шуберт живет в сердцах людей. Вспомним слова Мандельштама:

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа.
Нам пели Шуберта – родная колыбель!
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель!



Шубертиада у Шпауна. Рисунок Швинда.

Композитор умер в 32 года. Это ведь, как правило, время расцвета музыкального гения. Напомним, что Бетховен гораздо позже сей черты создал такие свои шедевры, как Четвертая, Пятая, Седьмая, Девятая, Героическая и Пасторальная симфонии. Надгробие Шуберта,

расположенное неподалеку от могилы Бетховена, будет увенчано грустной надписью:

«Здесь лежит Франц Шуберт. Здесь музыка похоронила не только богатое сокровище, но и несметные надежды». Однако его волшебные мелодии продолжают жить в наших сердцах:

За бурной радостью, за смехом, за улыбкой
Сокрыта грусть... Ее приносит даль
Волной изменчивой, предательской и зыбкой...
Так в дни торжеств за дверью ждет печаль;
За клятвою в любви и дружбе пылкой
Таится зависти отравленная сталь... [\[534\]](#)

Исключительной популярностью пользуется у любителей музыки во всем мире имя австрийского композитора Иоганна Штрауса-сына (1825–1899), автора знаменитых оперетт «Летучая мышь» (1874) и «Цыганский барон» (1885). Он обогатил также форму вальса, создав классический тип так называемого венского вальса («На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса» и другие). Его имя вошло в сокровищницу мировой культуры.



Оркестр Иоганна Штрауса.

Австрия сберегала священный огонь музыкальной культуры, сближая многие и многие народы. Вот как писал о ее роли Тэн: «Между ними (Италией и Германией – *Авт.*) полугерманская и полуитальянская Австрия, примиряя два духовных облика, производит Гайдна, Глюка, Моцарта, и музыка делается космополитической и мировой при приближении того великого потрясения душ, которое зовется Французской революцией, как некогда живопись под влиянием толчка, данного тем великим обновлением умов, которое называется Возрождением». [\[535\]](#)

Достижения Австро-Венгрии выглядели бы неполными, если бы мы хоть вкратце не остановились на творениях выдающихся сынов тех народов, которые входили в состав огромной империи (венгры, чехи, словаки). В науке это было имя венгра Й. Телеки, президента Ученого общества, чеха Ф. Падацкого с его «Историей чешского народа» (он говорил: «Мы существовали до Австрии, будем существовать и после нее»), в поэзии – Ш. Петефи, в музыке – Ф. Лист и т. д.

Венгрия дала миру прекрасного композитора и исполнителя Ференца Листа (1811–1886). Он был сын приказчика в одном из поместий Эстерхази, учился в Братиславской гимназии, зарабатывая себе на жизнь тем, что топил печи и чистил обувь богатым гимназистам. С 9 лет за ним закрепилась слава виртуоза. Он изучал теологию по сочинениям Августина и Фомы

Аквинского, латынь и древнееврейский у францисканцев. Бунтарский характер не позволил ему стать монахом. И слава Богу! Поступив учиться в университет в Братиславе, он постигал историю, риторику, французский, немецкий («настоящий язык Клопштока, Гердера и Лессинга»). Через год бедность вынудила его покинуть стены университета. Что поделаешь?

Пришлось идти писарем к тому же Эстерхази. Отметим и то, что талант Листа с самого начала, можно сказать, «огранивался» всей Европой. Музыковед Г. Крауклис писал: «Лист родился в Венгрии, воспитывался и стал великим артистом во Франции, впервые по-настоящему ощутил себя художником-творцом в Швейцарии и Италии, его главный творческий период связан с Германией, в последние полтора десятилетия его жизнь протекает попеременно в Италии, Германии, Венгрии. Культура, природа этих стран оставили существенный след в творчестве и мировоззрении Листа, а его

деятельность, в свою очередь, была существенным вкладом в музыкальную жизнь каждой из них». Хотите стать великими? Нет ничего проще... Свято и последовательно выполняйте ряд правил, которых придерживался Лист, и боги непременно вознаградят вас.

Первое и главное правило было установлено им в 26 лет: «вставать до свету и работать каждый день». Второе – заключалось в неустанном стремлении овладеть всей полнотой мировой культуры. В монографии о творчестве Листа говорится: «Листа интересует все на свете: мировая литература и экономика, философия и история, жизнь народов древности и фантастика, итальянские поэты и французская проза – от Вольтера до Сен-Симона. Вот Гёте, Кант, Гегель, Шеллинг, вот венгерская литература в отличных переводах. Американцы с их литературой об охотниках на бизонов. И разумеется, собрание партитур» (Д. Гаал). Смолоду его девизом стали слова «Самообразование и страсть к совершенству». Он пишет другу: «Вот уже 15 дней мой ум и мои пальцы работают как проклятые. Гомер, Библия, Платон, Локк, Байрон, Гюго, Ламартин, Шатобриан, Бетховен, Бах, Гуммель, Моцарт, Вебер – все вокруг меня. Я изучаю их, размышляю над ними, глотаю их с увлечением... Ах! Если я не сойду с ума, ты найдешь во мне опять художника». ^[536] Прекраснейшая музыка и рождается из высоких мыслей.

Если после Бетховена искусство изменило свой стиль, то с появлением Листа и Вагнера оно стало более поэтичным и историчным. Лист считал, что композитор должен быть одновременно и поэтом, выразителем идей времени. Речь шла о союзе музыки, литературы и философии, о некоем музыкальном эквиваленте поэзии.

Силой своего могучего таланта он словно переводил творения великих поэтов на язык звуков. Так появились его изумительные симфонические поэмы – «Орфей» и «Прометей» (по древнегреческим мифам), «Тассо» (по Гёте и Байрону), «Прелюды» (по Ламартину), «Мазепа» и «Что слышно на горе...» (по Гюго), «Гамлет» (по Шекспиру), «Идеалы» (по Шиллеру), «Фауст» (по Гёте), «Венгрия» и даже поэма по картине немецкого живописца «Битва гуннов». За Листом, создателем симфонической поэмы, последуют и другие композиторы: французы (Сен-Санс, Франк, Шоссон), чехи (Сметана, Дворжак), немцы (Штраус, Вагнер, Вольф), русские (Чайковский, Скрябин). Вагнер будет использовать литературные сюжеты в

«Макбете», «Дон Жуане», «Тиле Уленшпигеле», «Дон Кихоте». Известны тесные связи Листа с русской культурой – Глинкой, Кюи, Бородиным, Римским-Корсаковым, Лядовым, Тургеневым, Герценом, А. К. Толстым. [\[537\]](#)

Лист виртуозно владел фортепьяно. Шопен говорил, что он в состоянии не только поразить и потрясти публику, но и покорить, повести ее за собою, а поэт Генрих Гейне называл Листа «Атиллою» (вождь воинственных гуннов), упрекая за то, что пальцы исполнителя «слишком бешено носятся по клавишам». Сама манера исполнения давала выход его темпераменту. Во время концертов рояли, как говорил Гейне, буквально «истекают кровью и визжат под его пальцами». Казалось, он приносил в жертву некое священное животное или даже самого себя.

Один из критиков так отзывался о концерте Листа: «После концерта он стоит, словно победитель на поле сражения... покоренные фортепиано лежат вокруг него, порванные струны развеваются как... флаги побежденных, запутанные инструменты боязливо прячутся в дальних углах». Словом, это был один из величайших музыкантов мира, воплотивший пережитые им страсти и волнующие его образы в музыку. Нельзя забывать и о миссионерской деятельности музыканта-просветителя, о его страстных выступлениях в защиту ряда художников. [\[538\]](#)

Талант Листа, его тонкий музыкальный вкус служил своего рода маяком. Вагнер писал Листу из Парижа (1850): «Друг мой, я только что просмотрел несколько страниц партитуры «Лоэнгрин» – вообще говоря, я не перечитываю никогда моих работ. Меня охватило невыразимо страстное желание увидеть эту вещь на сцене. Взываю к твоему сердцу. Поставь «Лоэнгрин»! Ты единственный человек, к которому я обращаюсь с этой просьбой. Никому, кроме тебя, я не мог бы доверить осуществления этого дела. Но тебе поручаю его с полным и радостным спокойствием... Пусть его рождение в мир будет делом твоих рук!» В другом письме, из Лондона (1855) Вагнер выразил поддержку мыслям о симфонии «Данте», называя при этом Листа «лучшим из смертных», который представляется ему «настоящим сверхчеловеком». [\[539\]](#)

Лист поражал современников необычностью своего таланта. Он знал наизусть чуть ли не всю мировую музыкальную литературу. Это

был истинный философ в музыке. Исторгаемые им звуки способны были заставить даже невозмутимо покорных бюргеров исполнить «Марсельезу». Писатель Г. Х. Андерсен вспоминал о датских концертах Листа: «Последователи Гегеля слышат в его музыке отзвуки своей философии, гигантские волны мудрости, мчащие человечество к берегам совершенства. Поэт видит в Листе поэта, а странник – в первую очередь я сам – видит при звуках его музыки сказочный край, который он уже когда-то видел или еще только собирается посетить».

Играл он так, что возвышался «на целую голову» над величайшими музыкантами мира. Вагнер обожал Листа и преклонялся перед его талантом, говоря, что сохранил благодаря тому «остаток веры в жизнь». Познакомившись с Листом, Берлиоз стал его другом на всю жизнь. Во время одного из концертов Листа он не выдержал напряжения переполнявших его чувств и расцеловал великого мастера. О силе таланта венгерского композитора, его необыкновенном исполнительском даре Берлиоз однажды высказался так (письмо Листу в Веймар): «Перефразируя слова Людовика XIV, ты можешь сказать с полной уверенностью: оркестр – это я! Хор – это я! Дирижер – также я! Мой рояль поет, мечтает, сверкает, гремит. Он может соперничать с самым искусным взмахом смычка. У него, как у оркестра, свои металлически звенящие гармонии, и без всяких приспособлений он, как оркестр, может вверять вечернему ветерку свое облако феерических аккордов и туманных мелодий... Мне не требуется ни театра, ни закрытой декорированной сцены, ни широких ступеней, мне не нужно утомлять себя долгими репетициями. Я не нуждаюсь ни в ста, ни в пятидесяти, ни в двадцати музыкантах. Мне они не нужны совсем, мне даже не нужны ноты. Обширный зал, большой рояль – и я господин широкой аудитории. Я появляюсь – мне аплодируют; моя память пробуждается, ослепительные фантазии рождаются под моими пальцами, им отвечают восторженными кликами; я пою "Ave Maria" Шуберта или «Аделаиду» Бетховена» – и все сердца стремятся ко мне, в груди у каждого замирает дыхание... Волнующая тишина, глубокое, сосредоточенное восхищение... Это мечта!.. Это одна из тех золотых грез, которые посещают тех, кто носит имя Листа или Паганини».^[540]



Собор Св. Стефана в Вене.

В 1848–1849 гг. Венгрия корчилась в муках революций и освободительных войн... Внутри австрийской империи обострились противоречия. Сербы требовали свобод вероисповедания и самостоятельности православной церкви, ратуя за восстановление сербского воеводства и создание национального правительства. Румыны в Трансильвании высказывались в пользу отделения от Венгрии. Наконец, сами мадьяры во главе с Лайошем Кошутом (1802–1894) создали правительство и свою армию. Венгры опубликовали Декларацию независимости, где было торжественно заявлено о низложении Габсбургов (1849). Поэт Ш. Петефи писал в эти тревожные, героические дни:

Венгерец вновь венгерцем стал!
Он сам собою стал отныне, —
Не будет больше он слугой
При иноземном господине.
Венгерец вновь венгерцем стал —
Ярма он не потерпит снова.
Звеня, осеннею листвою
На землю сыплются оковы...
Венгерец вновь венгерцем стал,
Героем стал на поле брани,
И мир, великий мир, глядит
На чудеса в венгерском стане.
Венгерец вновь венгерцем стал
И вечно будет сам собою,

Иль в славный час, ужасный час
Умрем мы все на поле боя!^[541]

Чуда все-таки не произошло... Силы противоборствующих сторон неравны: против 150 тыс. императорских солдат Австрии и славянских инсургентов венгры смогли выставить 100 тысяч революционеров. Слишком рано Кошут уверился, что с Габсбургами уже покончено окончательно и бесповоротно... «Господь может покарать меня всякими напастями, – восклицал он, – но одной беды он не может на меня наслать: это снова сделаться когда-нибудь подданным австрийского дома!». Он поспешил с оптимистическими выводами, ибо русский царь предоставил в распоряжение австрийского императора армию. В итоге после ряда поражений Л. Кошут удалился в изгнание, а 23 тыс. венгров сложили оружие и сдались на милость русской армии (1849). Лист всем сердцем был с восставшими. Но его оружие – музыка (отзвуки этих тем слышны в симфонической поэме «Венгрия» и в «Битве гуннов»). Напрасно Генрих Гейне брызгал ядовитой слюной: «И Лист – он выплыл жив и здоров, / Он под родным венгерским небом, / На поле брани не попав, / Убит ни русским, ни кроатом не был». Но жалкому ли трусу упрекать в отсутствии смелости венгерского композитора?! Тем более что сам Гейне вообще не знал, что такое – «родное небо». Как писал Э. Гринье, он фактически находился на содержании иностранного государства. «Генрих Гейне получал четыре тысячи в год из тайных фондов казначейства (Франции), и время от времени приходилось доказывать министру, что он заслужил это солидное жалованье. Очевидно, он заставлял меня переводить главным образом те статьи, в которых благоприятно отзывался о Франции. Бумаги, обнаруженные в Тюильри в 1848 году, дали мне ключ к разгадке этой тайны». Уже тогда «диссидент» и «содержанка» были синонимами.

Вначале и Вагнер, ненавидевший «только виртуозность», напал в одной из своих статей на Листа. Впрочем, это не помешало им вскоре стать большими друзьями. За театральность попадало и самому Вагнеру от Ницше. Что же касается неприязни завистливого к любому успеху Гейне, то она объяснялась довольно просто. Красавца Листа всегда любили женщины. Разумеется, мужчины никогда не

признаются, но женщина занимала и занимает в их жизни исключительное, быть может, самое важное и сокровенное место. Многим можно пренебречь, но только не вниманием женщин. Невозможно перечислить всех горячих и безрассудных поклонниц Листа, тем более что он объездил с концертами Европу (от Португалии до России). Он был статен и великолепен в своей одухотворенности. Гордость его лишь распалая влюбленных женщин (однажды он отказался играть испанской королеве Изабелле II и прервал свое выступление, увидев, что Николай I невежливо увлечен беседой с каким-то сановником во время его концерта). Среди его любовниц была графиня Адель де ля Прюнаред (история послужила канвой для бальзаковского романа). Он покорила эту красавицу, вокруг которой увивались все знаменитости Европы (В. Лэм, датский посол, Шатобриан). Даму так увлек «Паганини фортепиано», что она бросила мужа и детей в Париже и переехала к Листу в Швейцарию. На берегу озера Комо их любовь получила материальное воплощение. Графиня родила ему троих детей: Даниэля, Христину и Козиму. Козима станет в будущем женой Вагнера. Но в 1839 г. любовники вынуждены были расстаться. Как сказал бы поэт, ладья разбилась о домашний быт. Она была красива, но совершенно не приспособлена к трудностям жизни. К тому же бешено ревновала Листа.



Шандор Петефи.

Однажды, когда Лист играл на рояле, а ему восторженно внимала Жорж Санд, графиня решила выяснить отношения с ней при помощи ногтей (Лист в это время предусмотрительно заперся в кабинете, с любопытством ожидая, чем же закончится «дуэль»). Далее он пережил короткую, но бурную связь с испанской танцовщицей Лолой Монтес. Он сбежал от нее рано утром, оставив танцующую вакханку в ярости. Ницше дал ему такую характеристику: «Лист, или школа беглости за женщинами». Говорили, что список любовных походов Листа длиннее, чем у любого из его современников. Несмотря на то что в списке его поклонниц были итальянская принцесса Кристин Бельджиозо, прусская баронесса Ольга фон Мейендорф, польская графиня Ольга Янина, знаменитая куртизанка Мари Дюплесси и Бог знает, кто еще, Лист в конце жизни все еще сожалел: «Я так и не откусил достаточно большой кусок от этого яблока».

Но самой светлой и благородной женщиной в его окружении была княгиня Каролин фон Сайн-Витгенштейн, польская дворянка,

урожденная Ивановская. Это была умная, прекрасно воспитанная и образованная женщина. В 17 лет она вышла замуж за князя Николая Сайн-Витгенштейна, сына русского фельдмаршала (по настоянию отца). В Киеве она услышала и увидела игру Листа и влюбилась в него. Ее семейная жизнь с князем не удалась. Несмотря на просьбу к царю о разводе, Каролина получила документ о конфискации имений и о запрете на въезд в Россию. У нас все вопросы семей решают с помощью циркуляров. Но эта благородная женщина посвятила всю себя заботе о композиторе, его детях и матери, о его хозяйстве и быте. Проведенные с ней 12 лет в Веймаре были, по словам самого Ф. Листа, наилучшей порой его жизни (И. А. Муромов).

Культурные люди России любили и уважали Листа, хотя музыка его входила в нашу жизнь медленно и трудно. В 1861–1862 гг., по словам Римского-Корсакова, он был «сравнительно мало известен и признавался изломанным и извращенным в музыкальном отношении, а подчас карикатурным». Однако после исполнения А. Г. Рубинштейном его «Пляски смерти» положение стало меняться (1866). Мощное воздействие Листа испытает на себе и П. И. Чайковский (при создании им «Бури»). Говоря о влиянии европейцев на русскую музыку, В. Стасов писал: русская музыкальная школа, являясь «наследницей и продолжательницей Глинки», вместе с тем «...высоко ценила и трех великих западноевропейских композиторов последнего времени: Шумана, Берлиоза и Листа, потому что живо чувствовала не только громадность их таланта, но и независимость их мысли и смелость «дерзания» на новые пути». [\[542\]](#)

Этот великий венгр был одним из замечательных героев мысли и духа того, да и нашего времени. Слава его уже пережила свой век. В одном из писем Петефи сравнил популярность с Тарпейской скалой, на вершину которой толпа возносит человека «не для того, чтобы он царил в вышине, а чтобы сбросить его». Зная, что народу всегда нужны развлечения, Петефи жалел, что его сбросили туда, где кишат «гады ползучие», те, кого называют нищими духом.

Так вот музыка Листа – не для нищих духом. Поэтому глава «Могучей кучки» М. Балакирев имел основания сказать, что в его лице человечество обрело не просто виртуоза-пианиста, но и гениального композитора: «Посмотрите его «Il Pensiero» («Мыслитель»), написанное под вдохновением известной статуи Микеланджело над

могилами Медичи во Флоренции. Как много в ней глубины!.. Если б Лист, написав эти только две странички, умер, не сделав ничего другого, то и тогда следовало бы назвать его Бетховеном наших дней».

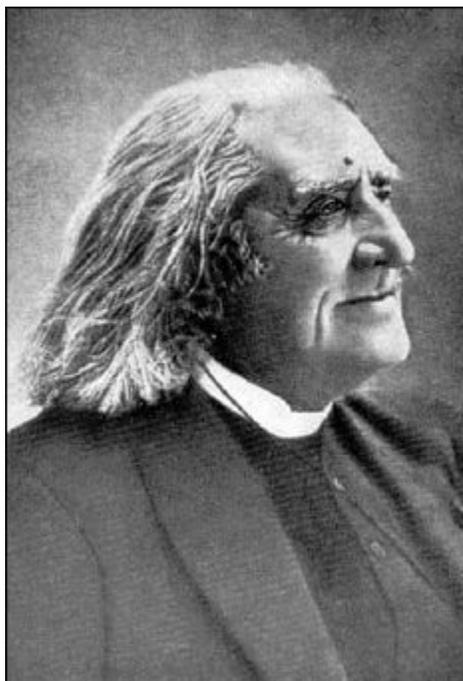
То, что он вернулся в лоно церкви, можно объяснить по-разному. К тому времени Лист был очень состоятельным человеком. В 1863 г. его неожиданно посетил сам Римский Папа Пий IX. В 1865 г. он принял постриг в низший духовный сан и переселился в Ватикан. Так он пришел к вере (рядом с Сикстинской капеллой пишет ораторию «Христос»). Жизнь продолжается, несмотря на сутану. Лист становится президентом Венгерской музыкальной академии. Этот музыкант всегда жил для людей, видя цель творчества в служении народу, высшей культуре.

Немецко-австрийская культура, включая культуру славян, явилась мощным магнитом. Она создавала необъятное поле деятельности для тех, кто был склонен и расположен к прекрасному творчеству. В этой связи приведем любопытное высказывание русского композитора А. П. Бородина о двойственности немецкой нации. С одной стороны, она и в самом деле буквально боготворит своих гениев. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить Веймар. Бородин писал: «Времени было много, и я – в виде пролога к свиданию с великим современником (с Листом. – *В.М.*), – принялся электризовать себя воспоминаниями о великих покойниках по части искусства.

А в Веймаре всего этого пропасть. Каждый уголок, каждая улица, каждая площадь говорят здесь о прошлом искусства – и хорошем прошлом!.. Вот кладбище, в одном склепе с коронованными гроссгерцогами покоятся останки Гёте и Шиллера, в дубовых гробах, украшенных лавровыми венками; у гроба Шиллера, сверх того, серебряный венок – приношение гамбургских женщин по случаю столетия годовщины дня рождения великого поэта.

Вот дом, где жил Гёте весь остаток своей долгой жизни, с 1776 года до 1832, т. е. 56 лет. Вот маленький, простенький, старинной архитектуры домик; на дверях написано: hier wohnte Schiller! (здесь жил Шиллер). Тут он и умер в 1805 году, переселившись из Йены, где был профессором некоторое время. Тут же, за малую лепту, можно видеть и разные «реликвии» Шиллера, из тех, что по тарифам железных дорог значатся под именем «домашних вещей»...

А вот и всем известная бронзовая группа обоих поэтов, неразлучных и при жизни, и по смерти; неразлучаемых и в народной памяти: на пьедестале надпись: «dem Dichterpaar Schiller und Goethe das Vaterland» («Двум поэтам – Шиллеру и Гете – отечество»).



Ференц Лист.

Вот домик Виланда, домик Гердера и бронзовые статуи их. Но эти разлучены: пьедесталы у них отдельные, стоят они на разных местах. Есть и домик Луки Кранаха, даже с его гербом.

В гроссгерцогской библиотеке можно видеть и «Chormantel» (стихарь) Лютера, и придворный костюм Гете, и многое другое в том же роде... Электриваться великими именами вообще я начал уже в Йене. Крохотный университетский городок до того переполнен вещественными доказательствами пребывания в нем великих людей, что, если бы, например, приезжий, пропитанный благоговением к великим именам, идя по улице, хотел, положим, плюнуть: некуда! остается плюнуть в платок. Около одного дома нельзя – тут жили Гёте; около другого нельзя – тут жил Шиллер, Гегель, Шеллинг, Окен, Фихте, Арнт, Меланхтон и пр. Я сам чувствовал себя сначала

несколько неловко: – потому – сразу попал под одну кровлю с Лютером. Великий реформатор жил как раз через стенку от меня.

Рядом с домом, где я поместился, жили – с одной стороны Гёте, с другой – Шиллер; напротив меня Гёте писал Германа и Доротею; недалеко от меня Шиллер писал Валленштейна. Просто беда! Чуть не на каждом доме дощечка с великим именем... Вообще страсть немцев увековечивать на домах имена великих жильцов приводит иногда к курьезам; например, в Бонне есть два дома, в разных частях города, и на обоих значится: «Здесь родился Бетховен!». [\[543\]](#)

Представляется очень важным преклонение немцев перед творениями культуры. У нас же картина обратная, часто царит равнодушие: порушат памятник культуры – и хоть трава не расти.

Как видим, начало XIX в. способствовало бурному пробуждению самосознания немцев. У них уже были прекрасные поэты и писатели, гениальные философы, великие композиторы и музыканты. И все-таки в Германии по-прежнему ставилось в два раза больше итальянских опер, чем немецких. Создание немецкой оперы не меняло общей ситуации в музыке. Театр итальянской оперы царил и властвовал. Некоронованным королем музыкальных кругов в Берлине по-прежнему считался итальянский композитор Г. Спонтини. Все несло на себе отпечаток духа Италии. И даже такой крупный центр культуры, как Дрезден, носил титул «Флоренция на Эльбе».

Поэтому появление на свет Рихарда Вагнера (1813–1883), «передового великого бойца», «великого художника» (Ф. Ницше), стало поистине знаменем времени. Рихард родился в многодетной семье (9 детей). Отец был заядлым театралом. Не удивительно, что и дети пошли по его пути (певцы, режиссеры, композиторы). Отец умер в год рождения Р. Вагнера, оставив без средств мать и 9 детей. Воспитал Рихарда отчим, актер, драматург и художник Л. Гейер. Семья переехала из Лейпцига в Дрезден.

Рихард был еще мальчишкой, когда родилась первая немецкая национальная опера. В 1821 г. на сцене Берлинского театра был поставлен «Вольный стрелок» Карла-Мари-Вебера. Престарелый Гейер, слушая игру восьмилетнего Вагнера (тот играл на рояле отрывок из «Вольного стрелка»), якобы вдруг воскликнул: «Быть может, у него талант к музыке!» Он оказался провидцем. Увы, отчим вскоре умер. Чем только не увлекался в детстве Рихард (рисовал,

выступал на сцене, сочинял), а в 11 лет он счел, что его призвание – быть поэтом. В школе отмечали его знание филологии и античной литературы (Эсхила, Софокла, Шекспира). Однажды он решил сочинить трагедию, составив ее из кусков «Гамлета» и «Короля Лира». «Я развивался, – говорил Вагнер, – не подчиняясь никакому авторитету; у меня не было других руководителей, кроме жизни, искусства и меня самого».

В нем проснулись задатки композитора, создателя будущих грандиозных творений. В «учителя» он выбрал себе Вебера и Бетховена. Это увлечение отразилось на его школьных занятиях. Вагнер почти перестал ходить в школу, занимался ни шатко, ни валко, запоем читал на уроках гетевского «Фауста». Видимо, он уже сделал для себя выбор... Даже поступление вольнослушателем в Лейпцигский университет в качестве «студента музыки» (1831) мало что дало, если не считать занятий философией, эстетикой и музыкой.

Кантор церкви Св. Фомы Т. Вейнлинг, неплохой музыкант и талантливый педагог, стал его первым учителем. После 6 месяцев обучения он прекратил все уроки, сказав Вагнеру: «Ступайте, теперь вы научились держаться на собственных ногах». Юноша прекрасно усвоил главный урок и в будущем говорил: «Нужно дать ученику общие указания и заставить его работать самостоятельно. Но нужно также отмечать все дефекты его работы и объяснять, почему то или другое место неудовлетворительно». Глубокие музыкальные впечатления юноши связаны с образами Вебера и Моцарта. Первый из них часто шествовал мимо дома, где жил Вагнер. В 1827 г. семья переехала в Лейпциг. Тогда умер Бетховен и всюду звучали концерты в честь его памяти. Вагнер вспоминал: «Смерть Бетховена последовала вскоре за смертью Вебера... тогда я познакомился впервые с его музыкой... эти серьезные впечатления развивали во мне склонность к музыке все более и более» (1860).^[544]

Можно сказать, что к 18–19 годам он созрел для профессиональных занятий музыкой. Но о чем, как вы полагаете, думает юноша в 20 лет? К чему его влечет неудержимо? Разумеется, к девушкам, ибо чувства бурлят в молодых сердцах, как весенний паводок. Поэтому Вагнер решает воспеть женщину, красоту, чувственные наслаждения и пишет любовную оперу с милым названием «Запрещенная любовь». В 1833 г. появилась его опера

«Фея» (по сказке Гоцци). Были встречи с Шуманом и Мендельсоном. Была встреча с красавицей В. Планер, артисткой театра в Магдебурге. Вскоре они поженились. Брак был откровенно неудачен. Вагнеру всего 23 года, и он, по его же словам, «женился по упрямству и сделал несчастными и себя, и другую, томимый скукой домашней жизни...» Ему предложили выехать в Россию и поработать в Рижском немецком театре. Поездка несколько страшила его. Позже он писал с юмором: «Мне казалось, что полиция прочтет на лице моем увлечение Польшей и прямо сошлет меня в Сибирь».^[545]

Сибирь ему не грозила. Скорее он мог сойти с ума, читая мистические описания Гофмана, где тот пытался всех убедить, что «числовые отношения в музыке и даже таинственные линии контрапункта вызывают в нем внутренний трепет». У Вагнера завязываются тесные отношения с редактором «Изящного мира» и корифеем «Молодой Германии». В романе «Молодая Европа» писатель Г. Лаубе ратовал за «эмансипацию женщины» и «реабилитацию плоти». Вагнер выступает с поддержкой идеи движения, перенося их из области любовных утех в область музыки. Стоит подчеркнуть, что он еще в юные годы преисполнился веры в национальный дух и выражал отвращение ко всякой «итальянщине» (он относился с презрением даже к итальянским словам). Вагнер утверждал: «Нужно держаться своего времени, отыскивать новые формы, применяться к новому времени, – и тот мастер, который сделает это, не станет писать ни по-итальянски, ни по-французски, но и ни по-немецки». Космополитический курс раннего периода не принес ему удачи. Все, что он писал тогда, было ничтожно и плоско.

Вагнер перебрался из Кенигсберга в Ригу, где ему предложили место капельмейстера. Его произведения исполнялись. В Риге он созрел для решительного поворота в своей музыкальной судьбе. Вагнеру надоело писать шаблонные, пустоватые, вздорные вещицы на потребу невзыскательной публике, и он приступает к написанию «Риенци». Он рвется в Париж, ибо почти вся тогдашняя оперная музыка делалась в Париже и им же благословлялась. Париж – это и слава, и успех, и деньги. Композитор Мейербер заработал тут на своих «Гугенотах» 300 тысяч франков. Когда Вагнер плыл туда морем (1839), однажды он услышал во время 4-недельного пребывания на корабле пропетое матросами сказание о «Летучем голландце».

Но в Париже хорошо тем, кто приезжает туда с деньгами или, на худой конец, с именем. У Вагнера же пока не было ни того, ни другого. Правда, ряд рекомендательных писем открыл ему двери. Но тут же выяснилось: нет ничего на свете более ненадежного, чем французские обещания... Консерватория бракует его увертюру. «Запрещенная любовь» не попадает на сцену (театр, где должна состояться постановка, закрыли). Заказанная музыка для водевиля не принята с убийственной характеристикой («за негодностью»). Написанные для французов романсы отвергаются. Богатая княгиня Чарторыйская игнорирует написанную им увертюру «Polonia». Вагнер вынужден предлагать себя даже в качестве певца-хориста (1841). Тогда же он напечатал грустный рассказ «Иностранный музыкант в Париже», в котором есть слова: «Это был превосходный человек и достойный музыкант. Он родился в маленьком немецком городе, а умер в Париже, где много страдал». Париж доводил его до изнеможения: так что у него были веские основания ненавидеть французов – и возлюбить свой родной «фатерлянд».

Этому не стоит удивляться, если мы вспомним, что французы не желали признавать даже гений Бетховена. Крупнейшего французского композитора Берлиоза охотнее принимали в Англии и Германии, нежели в самой Франции. В опере на первых ролях были итальянцы. А о великом французском композиторе и теоретике музыки Жане Филиппе Рамо (1683–1764), авторе работ «Ипполит и Арисия», «Празднества Гебы», «Платея», «Галантная Индия», – его звали «звучащим Версалем», – со времени творчества которого минуло триста лет, галлы, говоря словами Клода Дебюсси, и вовсе забыли («Почему французская музыка забыла Рамо – тайна»). Лишь в середине XX в. французы начнут говорить о Рамо как о национальном герое и как о «самом великом музыкальном гении», который когда-либо был рожден Францией.^[546] Но недалеко уже то время, когда, несмотря на девиз французов «Ars gallica» и на все жалобы Вагнера, он будет очень популярен во Франции, а центром притяжения станет Байрейт, столица вагнерианства.

Кто же спас Вагнера? Германия и Бетховен... В Дрездене к нему пришел триумф «Риенци» (1842). Его назначили на пост капельмейстера Дрезденской Королевской оперы с годовым окладом в 1500 талеров. Театр был только что построен (автор Г. Семпер). Вагнер

задумал создать тут свой художественный центр. Он накапливает идеи и замыслы. Между «Риенци» и «Летучим голландцем» (1843) случился важный поворот. Вагнер проявил себя оригинальным композитором. Он говорил, что «ни у одного артиста жизнь не представляла такого – единственного в своем роде – примера полной трансформации, совершившейся в такой небольшой промежуток времени». Если «Летучий голландец» взят им у Гейне, то «Тангейзер» возник из глубин народных легенд и преданий. Вагнер писал: «Этот образ родился из моей внутренней сущности. В своей бесконечной простоте он казался мне шире и определеннее, чем богатая, сверкающая переливами красок, ткань исторической поэзии... Тут налицо истинно народная поэзия, которая всегда схватывает самое ядро явления...

Тангейзер же – просто человек и остался им до сегодняшнего дня для сердца всякого рвущегося к жизни художника...» Он ведет поиски царства идеала. Похоже, «царство» находилось в тех же краях, где некогда обитал и гений Бетховена. В написанной им новелле «Посещение Бетховена» Вагнер изложил некоторые из своих реформаторских идей и замыслов, приписав их происхождение Бетховену. В частности, там были и такие слова: «Если бы я стал писать оперную музыку, совершенно отвечающую моим идеям, я не ввел бы туда ни арий, ни дуэтов, ни всего остального хлама, который признается необходимым условием современной оперы».

В его творчестве все сильнее слышны революционные ноты. Это и понятно, учитывая время (революции в Европе 1830–1848). Вагнер считал, что «социалистическая революция» в Европе неизбежна. Девятую симфонию Бетховена он и воспринял в революционном духе, сравнивая того с Колумбом, который открыл Новый Свет. «Последняя симфония Бетховена, – заключает Вагнер, – освящает освобождение музыки, своими средствами поднявшейся до коммунистического искусства (*allgemeinsame Kunst*). Она – человеческое евангелие будущего искусства. За ней более возможен прогресс, ибо после этой симфонии остается появиться только совершенному художественному произведению будущего, коммунистской драме; Бетховен выковал тот ключ, который откроет нам этот храм». Любопытно, что молодой романтик Вагнер увидел ключ к будущему в новом мелосе и в «коммунистическом завтра».



Баррикады на Брайтен-штрассе; Берлин, март 1848 года.

К тому времени им написаны «Риенци» (1840), «Моряк-скиталец» (1843), «Тангейзер» (1844) и «Лоэнгрин» (1848), являющиеся исповедью автора. Вся атмосфера тех лет пронизана трагизмом (Рекелю скажет в отношении оперы «Лоэнгрин» в 1854 г., что она основана на «крайне трагическом положении нашего века»). Художник, идеал которого благородный Рыцарь-лебедь, остро ощущал пошлость и цинизм обывательского мира. Ведь Вагнер как художник и человек был одинок. Правда, его отношения с актерами оперной труппы и с оркестрантами были неплохими и даже по-товарищески сердечными. Бурными овациями встречала его и публика. Произведения Вагнера ставились в Дрездене чаще, чем еще чьи-либо.

Кто же стал его врагом? Небольшой круг «знатоков» и пресса, называвшие его «варваром», не способным понять Моцарта. Здесь уместно было бы написать целую оду «в честь» зависти... Зависть – самое распространенное чувство. Еще Декарт отмечал: «Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть, ибо те, кто им заражен, не только огорчаются сами, но и, как только могут, омрачают радость других». Философ Спиноза считал зависть обычной ненавистью, а Ларошфуко в «Максимах» утверждал: «Зависть еще непримиримее, чем ненависть». В весьма похожем духе немецкий философ И. Кант устанавливает сходство и различие между обычной недоброжелательностью и так называемой черной завистью.

Все это в полной мере испытал на себе Вагнер... Критика нарекла его честолюбцем, любителем лести. В пику Вагнеру она превозносила плохеньких музыкантов типа Рейсигера или Гиллера. Та реформа театра, которую он мечтал осуществить, споткнулась на интригах чиновников от культуры (Литтихау). К тому же после неудачи «Риенци» в Берлине (1847) случилась смерть его матери. Тогда он стал подумывать о самоубийстве. Вот как описывает настроения композитора автор монографии о нем, французский профессор А. Лиштанберже (1905): «Размышляя о неудаче, о своей реформаторской попытке, Вагнер пришел к заключению, что основания всего этого надо искать не в местных, единичных причинах, но в общем положении современного общества, и что реформа театра должна иметь предварительным условием переворот в социальных нравах. Ему показалось, что тирания убеждения, моды и традиции висит не только над театром, но над всей современной цивилизацией; что всеобщий культ золота убил не только любовь к искусству, но и вообще всякое благородное, бескорыстное чувство и заменил царство любви царством эгоизма; что царство капитала, сделав из храма искусства промышленное предприятие, сделало несчастным и человечество, разделив его отныне на два класса: с одной стороны – богачи, утопающие в довольстве, застрахованные от всякой нужды, не знающие через это истинного удовольствия, которое является результатом удовлетворенной нужды, и тщетно ищущие развлечения от удручающей их скуки в утонченной роскоши; с другой – пролетарии, еще более несчастные, чем древние рабы, жалко влачащие жизнь вьючного животного, истощенные невыгодным для себя трудом, и от усталости и умственного притупления также неспособные вкушать радости искусства...

И вот с этих пор Вагнер все свои надежды возлагает на всеобщую Революцию, на тот всемирный потоп, который в своем неудержимом водовороте унесет буржуазный капитализм вместе с его несправедливыми законами, с его тщеславным искусством, сметет гниль наших современных учреждений и сотрет с лица земли настоящее, для того чтобы на развалинах нашего старого мира воздвигнуть великое и прекрасное здание будущего общества».

Вагнер – немецкий Вотан, символ духа. Один из друзей так рисует портрет композитора: «И над этой демонической маской – лоб,

колоссальный купол силы и смелости. Да, это измятое годами лицо носило следы страданий, способных подорвать не одну человеческую жизнь». Юный король Баварии, щедрый и просвещенный Людвиг II, приходит к нему на помощь. Он приблизил композитора, дал ему шанс реализовать проекты, решив выстроить театр. Расходы на эти зрелища были безумно велики: внешний долг страны составил 13 миллионов 500 тысяч марок. Беднягу-короля лишат престола на основании душевного расстройства. Муза сломала хребет государству, ибо долги Вагнера оплачивались из казны. Как бы мы ни любили композитора, но столь масштабных затрат на искусство, согласитесь, никакой государственный Пегас не вынес бы.

Поздний Вагнер окончательно разочаровался в духовных перспективах современного ему общества. Показателен его отрывок из известного «Обращения к друзьям» (1851): «И как раньше, следуя порывам внутренней тоски, я пришел к первобытной основе вечной, чистой человечности, к Зигфриду, так и теперь, видя, что мои страстные порывы не могут найти удовлетворения в условиях современной жизни, что надо снова бежать от нее, от всех ее требований, путем полнейшего самоотрицания, которое является единственным нашим спасением, я бросился к первоисточнику всех современных представлений, а именно: к человеческому облику Иисуса из Назарета. Я пришел к плодотворному для художника пониманию чудесного явления Иисуса, отделив символического Христа от того, который, будучи мыслим в известных условиях и в перспективах определенного времени, так много говорит нашему сердцу, нашему уму... Видя в современной жизни ту же мелкоту интересов, как и во времена Иисуса, я не мог не понять, сообразно с характерными особенностями момента, что это стремление ко смерти коренится в самой чувственной натуре человека, готового из чувственности грубой и бесчестной вырваться к чувственности, более благородной, более отвечающей его просветленной натуре». Вместо мечты о «всемирной революции человечества», Вагнер пришел к Христу (побывал в «христианах» и в «атеистах», что нередко бывает с язычниками). Интересно и то, что когда он обратился к немецкому народу с горячим призывом пожертвовать на Байрейтский театр, из 81 театра лишь 3 ответили отказом, остальные промолчали, а воззвания, вывешенные в 4000 книжных магазинах, дали всего-навсего 6 талеров,

что присланы студентами из Геттингена. Пройдут годы и годы, прежде чем воплотится давняя мечта. Сейчас в Байрейте, где был выстроен театр, проходят грандиозные фестивали музыки («вагнеровские»).

Многое разочаровывало его в Германии. Вагнер не мог не видеть расцвета пошлости и самодовольства. Вероятно, он испытывал чувства, схожие с чувствами Ф. Ницше, который в «Казусе Вагнера», признаваясь в любви к художнику («я любил Вагнера»), обвинил немцев в пошлости, самодовольстве, агрессивности, идеализме, антисемитизме и еще Бог знает в чем. В «Казусе» он использует мотивы героической музыки Вагнера («Калиостро музыки») для нападения «на становящуюся в духовном отношении все более и более трусливой и бедной инстинктами, все более и более делающуюся почтенной немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства желудка проглатывает «веру» вместе с научностью, «христианскую любовь» вместе с антисемитизмом, волю к власти (к «империи») вместе с *evangile des humbles...* Это безучастие среди противоположностей! Эта пищеварительная нейтральность и это «бескорыстие»!»^[547] Все народы полны противоречий.

Судьбу композитора можно все-таки назвать счастливой, если не считать тех разочарований, которые ему пришлось пережить после превращения Германии в империю. Вагнер вначале был полон энтузиазма по поводу союза германских народов, надеясь, что наступает золотой век германского искусства (написал по этому поводу «Kaisermarsch»). Увы, император прислал ему только 300 талеров. Наступали времена, когда пушки становились важнее музыки. Тем не менее считаю знаменательным, что Вагнер завершил труды и дни созданием «Парсифаля» («чистого сердцем простеца»). Этот герой является восстановителем мирового порядка, искупителем мира. В то же время герой вагнеровской драмы, как и Зигфрид, не знает ничего о жизни и о людях, даже собственного имени (мать вскормила его в лесу). Это, скорее, символ, чем образ. Он чужд зверям и людям, но наводит страх на «зло», обращая в бегство обитателей Замка Погибели. Постепенно он овладевает некоторыми признаками культуры и мудрости, понимая, что человек должен испытывать жалость к животным, а затем и к людям. Замок Погибели является как бы символом царства нынешнего дня, что должно исчезнуть при одном

лишь знамении креста. «Парсифаль» стал триумфом Вагнера, окончившего свои дни в Венеции.^[548]

Ференц Лист, который на три года пережил своего друга (Лист умрет в Байрейте в 1886 г., на фестивале вагнеровской музыки), так скажет о значении этого музыканта в истории культуры: «В современном искусстве есть одно имя, которое уже теперь покрыто славой и все больше и больше будет окружено ею. Это – Рихард Вагнер. Его гений был для меня светочем. Я всегда следовал ему, и моя дружба к Вагнеру носила характер благородного и страстного увлечения. В известный момент (приблизительно десять лет тому назад) я мечтал создать в Веймаре новую эпоху искусства, подобную эпохе Карла Августа. Наши два имени, как некогда имена Гёте и Шиллера, должны были явиться корнями нового движения, но неблагоприятные условия разбили мои мечты». Ранее он уже поставил его гений в один ряд с именами великих – Данте, Микеланджело, Шекспира и Бетховена (речь Листа в Байрейте).^[549]

Музыка Вагнера пользовалась популярностью в России... Можно даже говорить о моде на Вагнера (особенно, когда всюду стали образовываться «вагнеровские общества»). У него были как страстные поклонники, так и бешеные противники. П. И. Чайковский писал, что на Вагнера с любовью, с ненавистью или просто с любопытством «взирает публика обоих полушарий». Впрочем, он дистанцировал это имя от таких корифеев прошлого, как Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуман, Мендельсон, Глинка. Понимая, что Вагнер восстал против рутины, столь распространенной среди части итальянских и французских композиторов, Чайковский в то же время словно бы осуждал присущую ему гордыню: «Увлечшись своей ненавистью к композиторам послебетховенского периода, Вагнер обозвал их всех «жидами», позорящими искусство, порешил, что время симфонической и камерной музыки прошло безвозвратно, что теперь настала в музыке новая эра музыкальной драмы и что вне ее – искусству нет спасения. Итак, косвенным образом Вагнер как бы говорит публике: «Не ходите смотреть никаких опер, кроме моих; в других операх все лживо и нехудожественно, – у меня же все разумно и правдиво; бросьте посещение концертов, ибо Бетховен сказал последнее слово инструментальной музыки и все, что написано после него, – пустая, бесцельная игра звуков, которою «жиды» хотят

обольстить вашу грубую неразвитость. Слушайте и поощряйте одного меня, ибо я пришел, чтобы спасти погибающее в бездне «жидовских» интриг искусство от гибели».



Рихард Вагнер.

Ослепление и самовозвеличение Вагнера дошло до того, что один остроумный музыкальный рецензент весьма справедливо сравнил его с тем сумасшедшим, который, сопровождая посетителя по дому умалишенных, глумится над своими сотоварищами, удивляясь их заблуждениям и безумию, и наконец, про одного из них говорит: «Только этот один попал сюда совершенно напрасно, ибо он справедливо считает себя Христом, и я оттого это так хорошо знаю, что я отец его, Саваоф». [\[550\]](#)

Конечно, стрелы в адрес еврея Мендельсона не украшают Вагнера, но и отрицать новаторской роли этого гения нельзя. Во многом прав Лист, назвав Вагнера единственным *Homo universalis* своего времени (в гетевском смысле этого выражения). Да, тогда Германия и Австрия являли миру героев, которые были способны создавать произведения, вобравшие в себя культуру многих народов.

В середине XVIII в. в судьбе дома Габсбургов произошли большие перемены. Одновременно с угасанием мужской линии династии

вспыхнула война за австрийское наследство. В итоге престол заняла Мария Терезия (1717–1780), дочь императора Карла VI. Приход к власти женщины в середине XVIII в. был явлением все-таки неординарным для Европы, хотя в Англии, России, Испании у власти и находились знаменитые правительницы. Австрия в результате войны потеряла почти всю экономически развитую Силезию, но, можно сказать, получила в лице Марии Терезии более ценное приобретение. В молодой женщине обнаружились недюжинные таланты. Мария Терезия была не только умна, но и дальновидна. Никто не мог столь умело выбирать советников и помощников (Хаугвиц, Кауниц, Зонненфельс). Ее манеру правления отличали взвешенность, мудрость, упорство, терпение. Не зря писатель Стефан Цвейг говорил о ней как о «единственном великом монархе австрийского дома». Она же осуществила и реформу образования. В 1774 г. при Марии Терезии впервые создана общедоступная государственная школа, введено обязательное 6-летнее обучение. Позже, в 1869 г., срок обязательного обучения был увеличен с 6 до 8 лет. Эта система просуществовала до 1918 г. Одним словом, это была австрийская Екатерина. Кстати, и в том и в другом случаях в их генеалогическом древе, как помнит читатель, «сильно преобладал немецкий элемент».

Следует воздать должное и другому просвещенному монарху Австрии, Иосифу II (1741–1790), энергичному и мудрому политику, ревностно насаждавшему в стране просвещение. Он выступил инициатором смелых и своевременных реформ. Реформам подверглось уголовное право (1768). Смягчились наказания, практика допроса стала более гуманной. Отменено особое судопроизводство для дворян и духовенства, и все стали равны перед законом. В 1776 г. в Австрии отменены пытки. В 1787/88 гг. суд ограничил вынесение смертных приговоров преступникам. Особые усилия направлены на развитие образования. Иосиф оказал существенную поддержку естественным, правовым и экономическим наукам, облегчил доступ детей простых сограждан в гимназии и университеты. Его называли народным кайзером и освободителем крестьян, и даже кайзером-революционером.

Российский историк Е. В. Котова писала по поводу его реформ: «Иосиф мечтал создать современное, хорошо организованное и управляемое государство, которое бы заботилось о благе населения, а

не о славе своего господина. С именем этого императора связаны отмена личной зависимости крестьян, принятие эдикта о веротерпимости, реформы в области права, социальной политики и здравоохранения, реформа образования, поддержка сельского хозяйства, ремесла и промышленности. Однако стремление императора к жесткой централизации, желание идти напролом в достижении своих целей привели к нарастающему сопротивлению политике Иосифа II со стороны различных социальных и национальных сил... Вместе с тем в результате реформаторской деятельности Марии Терезии и Иосифа австрийское государство далеко шагнуло вперед по сравнению с 40-ми гг. XVIII в., были заложены основы его функционирования в новых исторических условиях – условиях формирующегося капитализма». [\[551\]](#)



Иосиф II.

Это были одаренные представители семейства Габсбургов, активно вовлеченные в строительство австрийского государства.

При нем раздвинулись границы свобод. Равные гражданские права получили протестанты и евреи («Патент терпимости»). Отныне все свободно исповедывали свою религию. Император стремился подчинить церковь государственной власти, освободив от опеки и

главенства Рима. В 1782 г. он ликвидирует 2/3 всех монастырей в стране. В первую очередь сюда попали те, кто не служил социальным целям и воспитанию душ (всего в списке около 700 монастырей). Многие поместья церкви были проданы с молотка и огосударствлены. На вырученные средства создали «Религиозный фонд», служащий делу обучения священников и выплатам им пособий. Интересно то, что при этом общее число приходов даже возросло. Перед церковью была поставлена задача: воспитывать верующих не только добрыми христианами, но еще и умными, достойными гражданами, которые полезны государству. Будучи последовательным сторонником «просвещенного христианства», Иосиф запретил разного рода религиозные процессии и церемонии. Это казалось ему ненужным «театром», отвлекающим народ от веры. [\[552\]](#)

Порой Иосифу приходилось прибегать к силе для достижения прогресса. В частности, он вынужден был изыскивать деньги у монастырей и духовенства. Г. Форстер дал оценку деятельности Иосифа. Он с сочувствием писал: «Главный предмет отеческого попечения Иосифа II – воспитание народа – требовал больших затрат. Назначенное школьным учителям и духовным пастырям новое жалованье составило значительную сумму, для покрытия которой еще следовало найти средства. Император здесь, как и в Австрии, Венгрии и Ломбардии, хотел прибегнуть к лежащей втуне или употребляемой не по назначению казне монастырей; благочестивые дары и вклады, служившие в прошлом данью уважения святости монастырской жизни и, по всей вероятности, способствовавшие превращению ее в развратную праздность, должны были отныне использоваться по назначению; предполагалось собрать их в единый религиозный фонд для удовлетворения потребности народа в получении ясных, простых понятий о богослужении и учении Христа. Монастыри получили приказ дать сведения относительно своих состояний... Наконец, император приступил к упразднению лишних монастырей...» [\[553\]](#)



Университетская площадь в Вене.

Одно из первых по значимости мест в реформах занимала школа. Иосифу принадлежала и заслуга введения всеобщего народного образования. Появилось немалое число новых школ и учителей. Заметные успехи достигнуты на ниве университетской науки. Во главе высшей школы Австрии находился Венский университет, основанный еще в 1365 г. Это почтенное учебное заведение (*Alma Mater Rudolphina*) имело собственный устав. Императрица Мария Терезия энергично провела университетскую реформу, введя назначенных государством директоров и значительно ограничив академические свободы. Среди важных шагов назовем: замену латыни немецким языком в 1783 г., возвращение академических свобод студентам и профессорам после революции 1848 г., принятие в 1867 г. закона, по которому получение образования стало неотъемлемым конституционным правом каждого гражданина. В 1692 г. в Вене возникла Академия изящных искусств, в 1785 г. – университет Карла-Франца, в 1811 г. – Технический университет в Граце, в 1812 г. – Университет музыки и драмы, в 1814 г. – Венский технологический университет, в 1872 г. – Университет сельского хозяйства и лесов, в 1898 г. – Венский университет экономики и бизнеса. [\[554\]](#)

Среди европейцев, проложивших путь новой педагогике, были и австрийцы. Последователем идей Гербарта и Форстера стал Рудольф

Штейнер (1861–1925), австриец, читавший курсы и лекции. Ныне он более знаменит как один из ярких идеологов антропософии, а в последнее время и как создатель популярнейшей Вальдорфской педагогики. В 1919 г. в Штутгарте была создана первая Свободная вальдорфская школа (противовес трехчленной школьной системе). В такой школе все дети получали единое образование вне зависимости от социальных, половых или профессиональных особенностей, различий. Его девизом была «философия свободы». «Взгляд на истину как на дело свободы, – писал он, – обосновывает, таким образом, нравственное учение, основой которого является совершенно свободная личность».^[555]

Такая личность по идее могла бы составить и основу современной школы. Штейнер, великий мистик, фигура таинственная и загадочная, многими стала рассматриваться как своего рода прообраз «человека будущего». Ныне действует специальный фонд «Управление наследием Р. Штейнера», издавший более 300 томов его работ. Однако и после проведения реформ в стенах школ немало оставалось тех, о ком можно было бы сказать словами венгерского поэта Ш. Петефи:

Это правда, я ленился в школе
И за партой помирал с тоски.
Согласись учить меня, голубка,
Я пойду к тебе в ученики.
У тебя уж, верно, я узнаю
То, чего нигде узнать не мог.
Этому не выучил бы в школе
Даже самый лучший педагог.

Историки признают, что время «расцвета капитала», периода Германской империи, эпоха императора Франца-Иосифа в Австро-Венгрии была наилучшей для роста и развития буржуазии, которая олицетворяла собой экономический и культурный прогресс. К примеру, при Марии-Терезии ценные произведения были собраны из дворцов и замков и сосредоточены в картинной галерее. Франц-Иосиф обменялся с братом эрцгерцогом Фердинандом (правителем Тосканы), сумев получить из флорентийской галереи Уффици ряд полотен. Хотя

еще в конце Тридцатилетней войны часть сокровищ из императорской коллекции оказалась разграбленной шведскими солдатами (из Праги тогда вывезли 570 произведений искусства), а во время наполеоновских войн французы утащили из венской столицы в Лувр 436 картин (в качестве военных трофеев). Ревниво наблюдал за реформами Франца-Иосифа и его постоянный соперник, Фридрих II, язвительно говоря, что тот спешит сделать второй шаг прежде, чем сделает первый.

В Австрии появились свои известные писатели и поэты (Гуго фон Гофмансталь, Адальберт Штифтер и другие). Классиком австрийской литературы считается А. Штифтер (1805–1868), чей роман «Бабье лето» порой сравнивают с гетевским «Вильгельмом Мейстером». Он написал ряд романов, а также новеллы («Штудии» и «Пестрые камушки»). Родившись в семье ткача, посещал латинскую школу при бенедиктинском монастыре, а затем изучал право, математику и естественные науки в Венском университете. Одно время он служил и гувернером в доме Меттерниха. Помимо литературных занятий, известна его деятельность на посту инспектора народных школ в Верхней Австрии, а также работа «консерватором» архитектурных памятников. Герои романа «Бабье лето» обитают в мире прекрасного. Их окружают книги, розы, кактусы и прелестные женщины. В этом романе искусство возведено в ранг религии.

Такова же была и та эстетически тонкая и одухотворенная Австрия, которая составляла фон и почву для богатой и насыщенной культурной жизни. Уже тогда было ясно, что между так называемыми образованными людьми и народом имеется огромная разница. «Те, кого называют образованными, почти везде одинаковы. Народ же, как я уже увидел во время своих странствий, самобытен, у него особый нрав и обычай». Герой ведет насыщенную духовную жизнь (ходит в театр, посещает публичные лекции, читает книги, изучает коллекции картин и драгоценных камней). Все это как бы подготовительная работа к миссии реставратора. Автор говорит устами своего героя: «Когда перед нами постепенно возникало создание старинного мастера, нас воодушевляло не только чувство некоего сотворения, но и более высокое чувство воскрешения вещи, которая иначе пропала бы и которой мы сами сотворить не могли бы».^[556]

Пожалуй, и сама Австрия напоминала драгоценную картину, которая требует от зрителя покоя и высоты духа, чтобы насладиться ею красотой. И венцы несомненно правы, любя женщин, детей, вальсы и вино куда более шумных и кровавых сражений или топота марширующих солдат.

Австрия известна и другими талантами европейского масштаба. В политике блистал министр иностранных дел, а затем канцлер князь Клеменс Меттерних (1773–1859). Его жизнь охватывала целую эпоху. Выходец из богатой и древней дворянской семьи, он уже в 24 года вступил на политическую арену, и только спустя полвека, в 74 года, ушел с нее. Его сравнивали с видными дипломатами, такими, как Талейран, Каннинг, Ка-подистрия. В течение 38 лет он оставался фактическим руководителем европейской политики. Обладая исключительным самомнением, Меттерних ставил свою персону выше Ришелье и Мазарини. Личность чем-то напоминает уже знакомые нам фигуры. В 20 лет он стал поучать всех и вся тому, как нужно управлять страной. Так, будучи в Англии, он выступил в роли ментора наследника престола, а в Австрии всем и каждому заявлял, что управление страной ведется из рук вон плохо.

Какие на то были основания? Чем же сам Меттерних прославился на ниве наук, культуры, просвещения? В молодости он не мог похвастаться достижениями в указанных областях. Отец с трудом заставлял его учить немецкий (родной) язык, говоря: «Чтобы быть хорошим немцем, нужно не только читать и писать на своем языке, но и знать его, как подобает хорошо воспитанному человеку».

Его учеба в Страсбургском университете продолжалась всего 2 года (1788–1790). Женские ножки он предпочитал книгам. Столь же малоэффективной оказалась учеба в Майнцском университете, где половину времени Меттерних тратил на посещение салонов высшего общества, считая их, как и коридоры власти, более интересным местом, чем библиотека или лаборатория. С точки зрения оболтусо-политика, он был, конечно, прав. Молодые годы его пришлись на эпоху Великой Французской революции, к которой многие профессора и молодежь Майнца проявляли горячие симпатии. Меттерних же люто ненавидел революцию (несмотря на двух учителей-якобинцев, у которых брал частные уроки по истории), видя ее следы в вольных

обществах и университетах. Всю свою жизнь он упрямо твердил: «Я твердо решил бороться с революцией до последнего моего дыхания».

Сотрудник Меттерниха, Генц, так говорил о Венском конгрессе, где и оформлялся после падения Наполеона «новый порядок» в Европе: «Громкие фразы о преобразовании общественного строя, об обновлении политической системы Европы, о прочном мире, основанном на справедливом распределении сил, и прочее, и прочее, пускались в ход, чтобы обманывать народ и чтобы придать этому собранию характер достоинства и величия. Между тем, главной его целью был раздел добычи между победителями».



Князь Клеменс Меттерних.

После краха революции и окончания войны правительство Австрии стало еще яростнее бороться с революционным «злом». На общество обрушились репрессии... Была введена жестокая цензура, число венских газет уменьшилось до двух, власть полностью развязала руки тайной полиции. За гражданами стали следить как на работе, так и дома (с помощью швейцаров и прислуги). Девиз реакции звучал так: «Нужно, чтобы люди снова приучились верить и повиноваться; нужно, чтобы они рассуждали в тысячу раз меньше, чем теперь, а то иначе невозможно будет управлять».

Совершенно понятно, что новые установки тотчас же отразились и на ситуации в образовании. Из школ были изъяты все учебники,

которые могли бы привести юношей к революционному образу мыслей. Издателям было высочайше указано поменять идеологическую окраску, что они охотно и исполнили. В школах ввели катехизис. Во время ученических беспорядков в Праге император Франц-Иосиф приказал отдавать всех совершеннолетних бунтарей в солдаты. Поэтому и обстановка в различного рода «гимназиях Франца Иосифа» была, как пишут, той, которая «преобладала среди народов австро-венгерской империи: взаимная терпимость без взаимного понимания» (М. Бубер). И это был, можно сказать, еще самый умеренный, лояльный вариант.

Меттерних предлагал в рамках Германского союза принять ряд жестких мер, в частности, уничтожить свободу печати. Он еще мирился со свободным печатанием «серьезных и научных сочинений», но требовал железной рукой выжигать «зловредные политические памфлеты». Министр обрушился на гимнастические общества и студенческие ассоциации, видя в них лишь «подготовительные школы к университетским беспорядкам». Он требует преследования «новаторов», что с самого раннего детства хотят овладеть умами молодых людей и «приучить их ум к революционной дисциплине». Чиновники из окружения Меттерниха разрабатывали драконовские законы (в том числе против высшей школы Австрии). У народа один тиран, но много пособников.



Убийство Коцебу студентом Зандом.

После убийства пасквилянта-литератора Коцебу (из числа «либералов» и «демократов») молодым студентом Зандом, которое произошло в Мангейме 23 марта 1819 г., у правительства оказались на руках все «козыри». Оно заявило: вот она, образованная молодежь, развращенная и ненавидящая «порядок»! Меттерних требует введения в высших учебных заведениях жесточайшей дисциплины: «Иначе мы ничего не добьемся». Правда, некоторые либералы старались смягчить принимаемые жесткие меры, говоря, что университетские беспорядки ведут начало еще со времен Реформации. Другие указывали, что даже радикальные шаги (усиление университетской дисциплины, изгнание радикальных профессоров и студентов из вузов, запрещение университетского суда) – это лишь робкие паллиативы. «Революционные принципы (отрицание всякой власти, независимость личного суждения, борьба мнений и другие прекрасные вещи в том же роде) останутся нетронутыми. Они примут другую форму, опять гордо поднимут голову и больше чем когда-либо будут насмехаться над всякими законами. Дух, которым проникнут теперь университет, не только не будет изгнан, но даже не будет ограничен; наоборот, раздражаемый бессильным противодействием правительства, он сделается только еще более опасным». [\[557\]](#)

С революциями бессмысленно бороться с помощью одних запретов. Глупцы подавляют революции, умные делают их ненужными, мудрые достигают их целей мирными способами.

Положение рабочих, да и вообще трудящихся слоев в Австро-Венгерской монархии было нелегким. Труд стоил дешево. Большинство имело скудные средства к существованию и не могло прокормить семью. Об образовании и культуре им приходилось только мечтать. Пропасть между плебсом и так называемой одворяненной буржуазией углублялась. Буржуа старались не допускать контактов своих чад с «уличными детьми». О детях из бедных семей можно сказать словами Гуго фон Гофмансталя (1874–1929): «И дети вырастают с грустным взором, // В неведение растут и умирают, // И человек идет своей дорогой...» Хотя некоторые установки буржуазной семьи и заслуживали внимания: «Буржуазное сознание и в

дальнейшем включало в себя убеждение в возможности управлять собственной судьбой, глубокое уважение к работе и усердию, специфическую рассудочность, порядок и педантизм в жизни и хозяйстве, некоторые либеральные добродетели вроде терпимости, способности к конфликтам и компромиссам, скептического отношения к авторитетам, самостоятельности, готовности к критике, независимости суждений, уважения к праву и любви к свободе; кроме того, ему было свойственно сильное национальное чувство».^[558] Демократические идеи с трудом прокладывали путь.

Не все было безоблачно и на австро-венгерском политическом и культурном небосклоне. В течение многих веков в Центральной и Восточной Европе шла борьба за главенство той или иной культуры. Одним из проявлений являлось противоборство славянской и германской рас. За внешними признаками борьбы религий стояла схватка за лидерство в Европе. Чешский историк Зденек Неedly в связи с этим заметил, что славянам необходимо «освободиться от легенды о всемогуществе германцев и о зависимости от них населения чешских земель». Такого рода задача и ныне не лишена своей актуальности. Неedly писал: «После почти 2000-летнего своего развития на территории Чехии славяне, временами жившие совершенно независимо, временами подпадая под гнет более сильных племен, из всех этих потрясений вышли все же победителями. Все глубже и глубже пуская корни, они так упрочились на чешских землях, что их не мог вырвать даже такой страшный вихрь, каким было так называемое перенаселение народов. Напротив, вихрь этот лишь еще более содействовал объединению и сохранению чешских земель, теперь уже полностью и навсегда славянских».^[559] Им жилось непросто между жерновами.

Вместе с тем у чехов и словаков Подунавья еще со времен так называемого государства Само (623–658) возникла самобытная культура. В IX в. князь Ростислав сумел добиться независимости Великой Моравии. В Моравии побывали и миссионеры Кирилл и Мефодий, теологи, дипломаты и ученые. Имела место и быстрая христианизация населения, когда сюда попали религиозные книги из Франции, Германии, Италии. Центром духовной власти стал Рим. С собора в Констанце битва за то, кто будет владеть в Европе душами и кошельками, никогда не утихала. Чехов обвиняли в том, что в Чешском

королевстве причастие раздают в бутылках и что вместо священников тут исповедуют башмачники. Жертвой религиозной битвы стал Я. Гус, сожженный на костре.

Тем не менее нельзя не сказать об огромном влиянии итальянской и немецкой культур на жизнь чешского общества. Приведем только два примера. В 1135 г. князь Собеслав начинает обновлять главный замок Чехии, Прагу, именно по типу латинских, итальянских городов. В начале XIV в. в чешских землях утверждается готический стиль в зодчестве. Карл IV создает огромный и величественный Новый Город (Нове Место Пракске). В то же время слово «готический», как знают филологи, нередко употребляется в единой связке со словом «германский, тевтонский», поскольку считалось, что готы уничтожили Римскую империю и завоевали большую часть Европы (Т. Элиот). Чешский «прекрасный стиль» испытал влияние немецкого, французского, итальянского искусств. Так, начало направлению мадонн «прекрасного стиля» положила Роудницкая мадонна работы Тржебоньского мастера в Праге (Национальная галерея). [\[560\]](#)

Еще одним примером успешной деятельности чешских мастеров культуры стали жизнь и творчество чешского композитора и дирижера Йозефа Мысливечка (1737–1781), автора опер «Беллерофонт» (1767), «Армида» (1778), симфоний, концертов, ораторий и месс. Этот славный «богемец» был знаком с Моцартами, дружил с ними, покорив всю Италию своей музыкой. Послушать его оперу «Беллерофонт» пришли двести неаполитанских музыкантов. Это казалось невыносимым для страны, где правили бал свои композиторы. В Венеции при исполнении опер поклонники трижды осыпали его сонетами (у экспансивных итальянцев был такой обычай: осыпать понравившихся композиторов и певцов восторженными сонетами). В Болонье он выдержал экзамен на академика филармонии (*academico filarmonico*). Это был благородный и щедрый человек, щедрый к Моцартам, к исполнителям его произведений, но несчастный. В некрологе сказано: «Он был исключительно щедр по отношению к тем, кто умел передать мысли его композиций именно так, как это было нужно». Биографы говорят, что он разбогател на стократной постановке «Меропы», купил себе в Риме дворец, на площади дель Пополо, рядом с великолепным дворцом Боргезе, ведя в нем жизнь необычайно широкую. Под конец же, разорившись, он умер в этом

дворце, «как собака на соломе». Известно только, что он скончался скоропостижно (*mori all improvise*).

Австрийцы нещадно эксплуатировали славянские народы, подавляя ростки национальных культур. А. И. Герцен отмечал, что австрийские и немецкие солдаты уничтожали памятники старины, жгли книги, изгоняли чешский язык из городов и сел Словакии и Чехии: «Два столетия употребила Австрия на систематическое забивание всего независимого и национального в этом народе». Политическое состояние Австрийской империи было неустойчивым. Она была вынуждена лавировать между Францией, Россией, Англией, Пруссией. Ее преследовал страх, что могущественные соседи договорятся у нее за спиной, – и империя распадется. Прозорливый Бисмарк, которому суждено было в будущем стать «могильщиком» австрийского господства в немецких землях, заметил (1854): «Австрийская политика – это политика страха, основанная на тяжелом внутреннем и внешнем положении Италии и Венгрии, на запутанности финансов, на попранном праве, на страхе перед Бонапартом, на боязни мести со стороны русских, а также на страхе перед Пруссией, которую подозревают в такой злокозненности, какой у нас никогда и в мыслях не было, – все это и служит мнимым оправданием этой политики».^[561] Бисмарк не говорит о том, что много лет шла острейшая борьба между сторонниками Великой Германии под австрийским господством и Малой Германии без Австрии под господством Пруссии.



Роудницкая мадонна. Около 1390 года.

Битва за лидерство среди немцев обострялась. Сербы, венгры, чехи, словаки, итальянцы стремились сбросить австрийское иго. Патриотические настроения в этих странах крепки. Венгерский романтик К. Кишфалуди стыдил молодежь: «Не знать родной язык – стыдно!», поэт Ф. Кельчеи призывал с честью носить имя патриота. Он писал: «Быть гражданином всего мира для меня означает не тот опасный индифферентизм, который исключает всякий патриотизм, всякий национализм. Быть заинтересованным во всем человечестве и все-таки не потерять то нежное, почти инстинктивное чувство, которое есть в тебе к родной земле – эти два чувства не противоречат друг другу...»

После того как революции потерпели поражение, а восставшая Прага пала под ядрами артиллерии австрийских войск, начался разгром чешской культуры. Введено чрезвычайное положение, установлена цензура, конфискованы многие издания, ликвидированы общинное и земское самоуправление, суды присяжных. С равноправием чешского и немецкого языков покончено.

Австро-Венгрия начала усиленно проводить в жизнь политику германизации чешских земель. Главный удар нанесли в области образования. Эта сфера была и остается главным полем идейной и духовной борьбы. От того, какие профессора и учителя преподают в школах и высших учебных заведениях, какие учебники и книги внедряют или рекомендуют читать молодежи власти, непосредственно зависит нравственно-интеллектуальная ориентация народа, а по большому счету и судьба нации.

М. Бакунин в полемическом запале зло называл немецких профессоров в Праге «раболопными лакеями», развращающими молодежь идеями немецкого превосходства и выступающими, по сути дела, «очень усердными агентами этого рокового дома Габсбургов». Он приветствовал любые шаги славянских народов, выразившие их законную тягу к культурно-национальной и политической самостоятельности. Вот что он писал о восстании Яна Гуса и Яна Жижки: «С чувством глубокой симпатии и братской гордости думаю я об этом великом национальном движении славянского народа. Это было больше, чем религиозное движение, это был победоносный протест против немецкого деспотизма, против аристократически-буржуазной цивилизации немцев; это было восстание древней славянской общины против немецкого государства».^[562]

Молотом, чьи удары ослабили австрийскую твердыню, стали славянские народы. Хотя и другие приняли участие в разрушении альпийской Бастилии. Вот как характеризовал процесс пробуждения славян Н. Я. Данилевский в его книге «Россия и Европа»: «В 1848 году крепость, защищаемая Меттернихом, была взята штурмом, герметически закупоренный сосуд – разбит, снотворный туман – рассеян. Неминуемость разрушения наступила, потому что наступило пробуждение. Где мы? – начали себя спрашивать просыпающиеся народы, – что всегда составляет первый вопрос... – В Австрии. – Кто мы? – чех, словак, серб, хорват, русский, мадьяр, немец, итальянец. – Зачем же не в Чехии, не в Сербии, не в России, не в Венгрии, не в Германии, не в Италии? И что же такое Австрия, которая нас всех заключает? Где же это внешнее могущество, нас всех подчинившее? Где же сама Австрия, наложившая на нас и свою власть, и свое имя, подменившая во время сна нашу жизнь своею жизнью?.. И пошли

народы расколупывать замазку, которая, собственно, и составляет то, что слывет под именем Австрии». [\[563\]](#)

Эта борьба культур продолжалась, разумеется, и на новом этапе истории... Стоило только чехам добиться от Вены решения о признании народной школы национальным учреждением с обучением на родном языке (1848 г.), а в Праге и других городах открыться чешским двухгодичным педагогическим курсам (К. С. Амерлинг), как со стороны австрийцев последовали драконовские меры. «Что-то немец выдумал сегодня, разрази его стрела Господня!» (Ш. Петефи). Министерство просвещения и религиозных культов империи закрыло двери гимназий перед выпускниками приходских школ, не прослушавшими всех предметов на немецком языке. В старших классах чешских гимназий занятия вообще велись только на немецком (1853). Двухязычие распространилось и на реальные училища, хотя в этом были свои положительные моменты. Знание немецкого языка никому не повредит (в том числе славянам). И все-таки считать процесс германизации чешской и словацкой школ позитивным явлением нельзя. К началу 70-х годов XIX в. доля чешских школ в учебной сети Чешских земель составляла чуть более половины от их общего числа. Число лекций на чешском языке росло, хотя этот процесс шел медленно. В Пражском университете ощутимо засилье «германизма»: в 1882 г. произошло деление университета на чешский и немецкий. [\[564\]](#)



Ян Гус.

Столь же нелегким было положение и словацкого народа. Показательна судьба замечательного словацкого поэта Яна Коллара (1793–1852). Его считают идеологом «будителей» славян. Коллар получил превосходное образование, обучаясь в Йенском университете, где познакомился с Гете, с немецкой и французской философией и литературой. Отдавая должное немецкой культуре, он никогда не забывал своих национальных корней. Даже в чужой земле поэт помнил о том, что здесь некогда жили его предки, славяне. Со скорбью и печалью Коллар говорил: «Это были думы о гибели жившего здесь некогда славянского народа, о могилах дорогих предков. Каждый город, каждая деревня, каждая река и гора со славянским именем казались мне могилой или памятником на этом великом кладбище». Поэтому его и совершенно не привлекала благополучная, обеспеченная жизнь в чужой земле. В 1819 г. поэт вернулся на родину, пожертвовав даже любимой девушкой. Избраннице он выразил свои чувства так: «В Германии я мог бы, пожалуй, осчастливить одного себя – я верю, Вы поймете это правильно, – но я ощущаю в себе силы, отвагу, призвание трудиться на благо народа. Лишь только несчастье, неблагодарность или изгнание, быть может, приведут меня снова к Вам, а пока я хочу жить и умереть для своей родины».

Неужто же народы Чехии и, особенно, братской нам Словакии вновь станут рабами у новых хозяев в XXI в.?

Какое величие, какая самоотверженность! И какой урок нынешним господам российским артистам и ученым («великим гражданам мира»), покинувшим многострадальную Россию во имя ублажения чванливой, пресыщенной Европы!

Хотелось бы, чтобы молодые сердца славян и русских в наши дни навсегда сохранили любовно-трепетное чувство к той родной земле, горстка которой дороже всех «копей царя Соломона». Тогда, быть может, их жизнь наполнится высшим смыслом, и они скажут вместе с великим Я. Колларом:

Не стоит имя родины святое
приписывать стране, где ты живешь.
есть родина, что в сердце бережешь, —
и не отнять ее у нас с тобою.
И, если ты увидишь, что страну
владеют палачи, измена, ложь,
свой дух с народным духом ты сольешь,
чтоб вместе воспрепятствовать разбою.
Душе невинной дороги, конечно,
и эта вот река, и дом, и дол,
дарованные пращуром навечно,
но нерушимы родины границы,
их не коснутся зло и произвол,
когда душа с душой объединятся.

Борьба за господство в мире остро поставила перед Германией, напоминавшей на рубеже XVIII–XIX вв. лоскутное одеяло, задачу объединения. Бывшая империя, которую называли «монстром», походила на разношерстную свору «мопсов» (2 тысячи самостоятельных территорий). Правда, в подобной мелкой государственности были и некоторые положительные моменты, которыми немцы умело воспользовались. Во многом благодаря такому федерализму создавалось великое искусство. Несмотря на раздробленность немецких земель, певцы, музыканты, писатели

получили известную свободу творчества. Великая Французская революция и Наполеон разожгли в сердцах германцев воинственный дух. Романтики подняли знамя патриотизма. Молодежь Германии, ее поэты и писатели, скорбя по униженной родине, вставали в ряды бойцов за ее будущее (Клейст, Кернер, Рюкерт, Уланд, Платен, Шенкендорф). Клейст описал битву в Тевтобургском лесу, воспевая восстание свободного народа против чужеземного ига. Вождь Арминий говорит римскому центуриону: «Пока вы здесь, в Германии, ненависть – моя обязанность и мщение – моя добродетель». Клейст пишет «Катехизис для немцев», где называет Наполеона «отцеубийцей». Он открыто говорил о любви к немецкому народу, требуя от того подвигов и жертвенности во имя родины: «С любовью вдохновляться подвигами наших предков; выращивать их семена, удобрять старую почву; обновлять памятью прошлого счастье родины; огорчаться нашим бесчестьем и радоваться нашей славе; забывать свое «я» в общих печалях и радостях, – вот что называется действительно любить свой народ». Кернер вступает в ряды действующей армии. Сражаясь против Наполеона, он говорит: «Великое время требует великих сердец. Неужели я буду в трусливом экстазе петь свои победные песни в то время, как мои братья дерутся в сражениях?» И погибает на поле брани. В том же духе пишет Арндт, «Блюхер немецкой лирики»: «Бог, создавший железо, не хотел, чтобы были рабы». «Старый Барбаросса восстал от своего векового сна и принес с собой блеск древней империи, в груди каждого немца рождается гимн: «Бог – наша крепость!» – взывает Франке. Разумеется, немцы вспоминали и слова завещания Фридриха II: «Последние мои желания в минуту, когда расстаюсь с миром, клонятся к счастью прусского государства. Да управляется оно всегда мудростью и правдой... Да будет оно по кротости законов – счастливейшей, по умному распоряжению финансами – богатейшей, по храбрости и чести своей армии – крепчайшей державой в мире!»

Особую роль в деле упрочения нации всегда играли государство и законы. О примате государственной власти в Европе писали многие (Н. Макьявелли, Ф. Сансовино, Дж. Ботеро, П. де'Авити). Мысль о том, что немцы особо тщательно почитают закон и порядок, не нова. Школа «государствоведения» возникла в Германии в конце XVI – начале XVII вв. В Германии страноведение обрело статус

университетской дисциплины во второй половине XVII века. Наука называлась «Staatenkunde» и ставила задачей описание государственного устройства, системы права, конституций, населения, территории, ресурсов, религии, культуры и обычаев разных стран. В 1660 г. преподавание этой дисциплины начал Г. Конринг (1606–1681) в университете г. Гельмштедта. Он вслед за Аристотелем выделял четыре группы фактов описания государств: материальные, целевые, формальные факты действия.

Его дело продолжил Г. Ахенваль (1719–1772). Он ввел такое понятие, как «статистика», подразумевая под ней смесь «конституциональной истории, элементов политической экономии и способов управления». Основной ценностью нации и государства он считал «людей» и «землю».

На этих же позициях стоял его ученик А. Шлецер (1735–1809), одно время работавший в России (в 1767 году он вернулся в свой родной Геттинген). Он говорил: «Земля и люди составляют существо государства. Из этих двух источников и истекают богатство, могущество и счастье государства».^[565]

Уж сколько лет мы, кажется, никак не можем понять этой истины. Земля и люди в России брошены на произвол судьбы.

С именем Августа Людвиг фон Шлецера связана целая эпоха в Геттингенском университете. Им тут читались лекции по имперскому праву, народному праву, естественному праву, по теории государственности. Прав автор очерка о нем К. Ролль, говоря, что вопрос о соотношении трудов Шлецера по русской истории с его теориями в области государства и права остается практически неизученным. В России больше болтают о крепости государства, нежели всерьез занимаются его укреплением. Сколько «великих умов», а никто не понял, что именно жесточайшая немецкая дисциплина и порядок, доведенные до уровня автоматизма муштры, рефлексов нации (может именно поэтому), сделали народ экономическим хозяином и лидером Европы. У Шлецера есть фраза, которую надо начертать на каждом телеграфном столбе России: «Без оформленного государственного объединения люди не становятся людьми. Это явление всеобщее. История народов подтверждает его везде и без исключения, а метаполитика (т. е. описание человека до того, как он создал государство) объясняет».^[566]

Как считает один из ведущих современных ученых-правоведов Германии профессор Т. Эльвайн, в XIX в. государственные образования на немецкой земле всю свою политическую энергию вынуждены были концентрировать на внутреннем строительстве, на создании добротной системы управления, упорядоченной системы образования, на содействии развитию местной культуры, одним словом – на утверждении приемлемой жизни и порядка. Однако в этом были и очевидные минусы. Если бы многочисленные князья Рейнского союза продолжали править Германией и впредь, то никакой бы единой Германии никогда не было. Каждый из них заботился бы только о своих интересах. Охочий до афоризмов Наполеон как-то сказал, что немецкой нации даже и ночной сторож не нужен. Порой и наполеоны ошибаются. О его недалёковидности говорит следующая фраза: «Поскольку в Германии нет ни Америки, ни моря, ни англичан, как в Испании, то ее нечего опасаться, даже если бы немцы были столь же ленивы, бездеятельны, суеверны и послушны монахам, как испанцы. Да стоит ли бояться такого порядочного, разумного, выдержанного и терпеливого народа, который настолько далек от любых эксцессов, что во время войны в Германии ни один солдат не был убит местным населением!» Наполеона не насторожило даже и то, что на него покушался сын протестантского пастора Фридрих Штапс, считавший, что, заколов императора французов, он «сослужит службу Германии и Европе». [\[567\]](#)

Франция дорого заплатит за недооценку сил и возможностей Германии. Гегемонизм Наполеона и породил Бисмарка!

Идея объединения множества германских государств в одно великое и мощное целое возникла задолго до Бисмарка. Как это ни странно звучит, но одним из первых в начале XIX в. с планами такого рода выступил русский император Александр I. После победы над Наполеоном и подписания договора о Священном союзе (14 сентября 1815 г.) роль русского царя в международном сообществе заметно возросла. Авторитет его был высок. В секретной записке Ф. Палену, представителю России в Мюнхене (тогда столице Баварии), Александр назвал «германский вопрос» ключевым, предписав посланнику проводить «политику тесного единения между всеми членами Германской конфедерации». В письме к другому дипломату (И. Анстету) он называл немцев нацией, счастье которой ему дорого и

«новые формы существования которой призваны составить одно из звеньев возрожденной европейской системы». Энтузиазм царя обусловлен не столько молодостью или эйфорией победы над Наполеоном, сколько четким пониманием все возрастающей роли Германии в грядущем раскладе сил.

Впрочем, эйфория Александра по поводу своей роли как миротворца и координатора европейских дел быстро улетучилась (после Венского конгресса). Царь убедился, что Европа встречает в штыки даже малейшее усиление позиций России (как победители, так и побежденные). Статс-секретарь по иностранным делам И. А. Каподистрия обратил внимание самодержца на то, что во время пребывания за границей в 1814–1815 гг. Александр I «вызвал ненависть и беспокойство в Англии, Австрии, Пруссии и Германии». Причина? Им создано Царство Польское, вошедшее в состав России. Укрепились и связи русского и немецкого царских домов. Это насторожило и оттолкнуло от России вчерашних союзников и привело к сплочению противников. России завидовали и тихо ненавидели. Немецкие газеты и журналы публикуют брошюру английского генерала Р. Вильсона «Обзор военной и политической силы в России в 1817 г.», где сказано о желательности создания между Британией, Австрией и Германским союзом военного альянса, острие которого будет направлено против Российской империи и усилившейся роли ее в Европе. Как бы там ни было, а Александр думал об объединении Германии, выискивая подходящий момент для завершения ее федеративного устройства. [\[568\]](#)

Довольно серьезный вклад в разработку проблемы единства внесли и немецкие либерал-демократы (публицист и политик А. Руге, писатель и историк литературы Э. Эхтемейер и другие). С 1838 г. они издавали журнал «Галльский ежегодник германской науки и искусства» (с 1841 г. он выходил под названием «Германский ежегодник науки и культуры»). В одном из них опубликована работа А. Руге «Критика либерализма», где он подробно разбирает причины неосуществленного единства. Суть его рассуждений в следующем. Там, где есть свобода малых государств и свобода подданных в том виде, каковыми наслаждаются немцы, там утверждаются каноны либерализма. Либерализм не способен к действиям! Он будет мечтать о величии нации, пылко говорить, но дело на этом и кончится. В своих

конституциях такие государства имеют массу прекрасных параграфов, звучащих привлекательно и заманчиво. А толку-то что в этих бесполох конституциях?! Они ничего не дают народам. В основе политического либерализма лежит мещанское сознание, которое лишь кажется новым, хотя в действительности старо как мир. Поскреби эту либерально-демократическую куклу, этого болванчика, и ты узришь имперские замашки, инквизицию, римских патеров. О какой свободе народа, о какой независимости прессы вы тут болтаете?! В Германии нет, да и не может быть ни того, ни другого. Призрака старой германской империи давно уже не существует. Она лишь тень, мелькающая в болезненном сознании обывателя. Немцам (как сегодня нам, русским) предстояло сделать мощное усилие по замене безвольной и никчемной философии политических либералов-импотентов волевой идеей нации.^[569] О том же мечтал Р. Вагнер (письмо к Ф. Листу от 8 мая 1859 г.): «Я полон энтузиазма по поводу немецкого союза германских народов. Только бы, Боже сохрани, этот коронованный преступник Л. Наполеон не прикоснулся своею рукою к тому, что так мило моему сердцу. Я был бы слишком опечален, если бы в этом отношении произошли какие-нибудь перемены».



Венский конгресс.

И все же разумные, волевые и культурные монархи частично способствовали тому, что в первой половине XIX в. землям Германии удалось добиться модернизационного сдвига. Германское государство обрело свое федеральное лицо, во многом характерное и по сей день. Тот парламент, заседавший во франкфуртской церкви Паульскирхе (ее

еще называли «колыбелью германской демократии»), в 1848 г. сделал даже попытку разработать конституцию новой Германской империи. Империя мыслилась немецкими парламентариями как федеративное государство с сильной центральной властью, в которой федеральные земли, сохраняя самостоятельность, подчинялись бы центру, хотя царившие наверху порядки не очень-то помогали пробуждению республиканского и парламентского духа. При всех его достоинствах Иосиф II был почти «маньяком абсолютизма». Фридрих II ко всякого рода сеймам и совещательным собраниям, где, как он однажды выразился, бессильные депутаты «лают на луну», испытывал одно презрение. Ясно, что и вопрос единства немцев должен был решиться как-то иначе.

Заметим, что к объединению Германии практически все европейские страны относились с глубокой настороженностью и подозрением. В памяти народов Европы и России были еще свежи деяния Карла Великого и его «Священной» империи, набеги и грабежи крестоносцев, военные успехи грозного Фридриха и т. д. Против союза в той или иной мере выступали Австрия, Франция, Англия, Польша, Дания, Россия и другие. Германские племена, которые прославили себя со времен Рима дерзкими военными походами, смелыми завоевательными устремлениями, ценили военную доблесть как наиважнейшее качество. Среди немцев всегда было немало тех, кто среди богов-олимпийцев богу Меркурию предпочитал Марса, а искусному Виланду – мужественного Зигфрида-воина. Вспомним, что и вся их мифология вращается вокруг сражений, схваток за золото, постоянных свирепых битв воинов, оживающих после смерти, и т. д. и т. п. В воспитательном кодексе германцев, пусть даже и между строк, все время ощущается присутствие культа воина как всеобщего властителя (*regnatoris omnium dei*) и повелителя. Хотим мы того или нет, но придется и нам в данном повествовании воздать должное богу меча – Тиру!



В церкви Паульскирхе заседало германское национальное собрание (1848–1849).

«Железный» Бисмарк как-то скажет, что Германия оказалась слишком тесной для Австрии и Пруссии и что немцам в самом ближайшем будущем придется отстаивать против Австрии их право на существование. Понятно, что и Австрия старалась сохранить статус-кво. В 1859 г. умер К. Меттерних, могущественный австрийский канцлер. С ним канула в Лету и старая Австрия, которая после Венского договора 1864 г. больше была озабочена внутренними преобразованиями. Меттерних любил повторять: «Чтобы побеждать людей, нужно только одно – уметь ждать». Ждать в политике порой очень опасно. Австрия к тому времени уже не была могучей империей, державшей в страхе Европу. Время пришло – и она дождалась Бисмарка.

Кто же был этот человек, ставший легендой Германии, ее «каменным Роландом», достойным кисти Рембрандта или Дюрера? Отто фон Бисмарк (1815–1898) причислял себя к потомкам рыцарей-завоевателей, некогда основавших первые немецкие колонии на землях

к востоку от Эльбы. Говорят, что их родословная прослеживалась вплоть до правления Карла Великого. Юнкерский род Бисмарков был довольно известен, хотя иные утверждают, что он происходил «от буйного портняжки из Штенделя». Прусский король называл это семейство «знатнейшим и наисквернейшим» – из-за строптивости характера. Бисмарк же особо любил подчеркивать то обстоятельство, что его предки («все до единого») исправно обнажали свои мечи в войнах против Франции. Однако отец больше внимания уделял ведению юнкерского хозяйства, нежели битвам за отечество. После первой же военной кампании он в 23 года оставил военную службу. Король даже отобрал за это у него звание ротмистра и мундир. В решающие для судеб Европы и Германии дни сражений с Наполеоном Фердинанд Бисмарк женился и, вместо того чтобы обнажить шпагу за фатерлянд, с неменьшим пылом сражался в постели.

Итогом «сладких сражений» и стало появление на свет маленького Отто. Рождение его несколько уменьшило боль от позора Йены и Аустерлица, где пруссаки были наголову разгромлены французами. Бисмарк был крепким хозяином и мирным кутилой, любившим портвейн, вишневку, кофе и гусиную печенку. Сын также признавался, что смолоду любил «длинные сосиски и коротенькие проповеди». Со стороны же матери, Вильгельмины, в его роду были Менкены, профессора истории и права, интеллектуалы-юристы высокого уровня. Эта женщина обладала острым умом и оказала значительное влияние на судьбу сына.

Мать сделала все возможное, чтобы вдолбить в воинственную прусскую голову любовь к знаниям. Бисмарк писал, что его воспитание подчинялось принципу, согласно которому «все должно служить развитию ума и скорейшему приобретению положительных знаний». Так воспитывались многие немцы в начале XIX века. В сознании нации живы триумфы немецкой науки, литературы и философии. Бисмарки – типичная немецкая семья, которая делала упор на физическое развитие и не очень жаловала церковные проповеди. Отец не был верующим христианином, мать была теософкой, склонной к мистике (обожала Сведенборга и Месмера). Юноша предпочитал молитвам занятия гимнастикой, плаванием и фехтованием. Уже тогда культ тела в Германии стал как-то незаметно вытеснять культ духа и мысли. В школе Бисмарк также ничем особо не

выделялся, разве что пренебрежительно относился к учителям (став старше, он выскажет им слова благодарности). Он любил читать Шиллера и Гете, уважал Шекспира, но был совершенно равнодушен к истории Древней Греции или Рима. В нем совершенно не ощущалось стремления иных интеллектуалов zu den alten Gnttern (к древним богам – нем.) И тем не менее его пример лишний раз убеждает нас в том, что немецкая нация умеет «делать бисмарков», то есть воспитывать в лидерах патриотизм, дисциплину, ответственность. Можно вспомнить его слова о том, что все исторические победы Германии стали заслугой немецкого учителя.

Канцлер признавал и себя естественным продуктом государственной системы образования, относясь с уважением к этой системе, укрепляя и лелея ее. Бисмарк писал в мемуарах: «В воспитательном заведении Пламана, устроенном на основе принципов Песталоцци и Яна, частичка «фон» перед моей фамилией мешала мне чувствовать себя непринужденно в обществе сверстников и учителей. Равным образом в гимназии у Серого монастыря (zum Grauen Kloster) мне пришлось испытать на себе со стороны нескольких учителей ту ненависть к дворянству, которую сохранила значительная часть образованного бюргерства как воспоминание из времен, предшествовавших 1806 г. Но даже эта агрессивная тенденция, проявлявшаяся при известных обстоятельствах в бюргерских кругах, ни разу не вызвала с моей стороны каких-либо ответных действий». Каковы были его жизненные устремления?

В политическом плане взгляды Отто еще не оформились. Он раздвоен между республикой и авторитаризмом. Бог всерьез его не интересовал, хотя Бисмарк сохранял в отношении него должный пиетет. Вступив в пору зрелости, он перестал молиться, предпочитая поболтать с хорошенькой женщиной или же «привести в чувство» гувернантку, вдруг упавшую без чувств к нему на руки (впрочем, смерть любимой женщины и женитьба впоследствии все же вернули его в лоно Христово). Обучение в Геттингене, в самом свободном академическом центре

Германии, оставило свой след. Заносчивый и самоуверенный юноша стал членом одной из замкнутых студенческих корпораций (1832). Данный период отмечен тем, что за 9 месяцев он принял участие в 25 «поединках чести». Память о том, что отец не пожелал

заслужить наград на полях сражений, видимо, лишь подстегивала его агрессивность. В остальное время он читал Байрона и Вальтер Скотта, мечтал о приключениях, битвах и был «непрестанно пылко влюблен».

Профессоров, как и все академическое сословие в целом, он терпеть не мог, хотя упорно изучал право, с интересом слушал лекции А. Герена, специалиста по меркантилизму и системе европейских государств XVIII в. И то и другое в дальнейшем ему весьма пригодится. Геттинген пришлось покинуть, и он заканчивал уже Берлинский университет, где и защитил диссертацию по философии и политической экономии. Там преподавал и Ф. Шлейермахер, у которого будущий канцлер воспринял совет из его «Монологов»: «Ты должен раз и навсегда упорядочить свою жизнь. То, чему слишком поздно научает людей старость, куда насильственно влечет их время в своих оковах, – то, в силу свободного избрания могучей воли, пусть уже теперь лежит в основе твоего отношения ко всему, что есть мир». Теперь он мог с полным правом вступить на чиновничье поприще. Что его ожидало? Карьера судебного следователя, офицера, дипломата. Бисмарка такая перспектива совершенно не привлекала. В одном из писем он делился с другом своими опасениями: «Так что я, пожалуй, откажусь от портфеля министра иностранных дел, несколько лет поиграю со шпагой, дрессирующей рекрутов, потом возьму жену, буду делать детей, пахать землю и подрывать нравственные устои моих крестьян фабрикацией непомерного количества водки. Стало быть, если тебе через десять лет доведется приехать в здешние места, ты найдешь упитанного офицера ландвера, этакого усача, который божится и ругается так, что земля дрожит, питает большое отвращение к французам и нещадно колотит собак и слуг, когда его тиранит жена». Он повторял не раз, что его вовсе не радует перспектива заполучить самый увесистый орден и самый длинный титул в Германии. Судьбе было угодно приготовить Бисмарку, как и Кромвелю, другую карьеру. Однако прежде он должен был войти в заводь хозяйственных забот, занятий сельских хозяйством, лошадьми, шерстью и навозом. [\[570\]](#)

После краткого прохождения военной службы (в гвардейском батальоне егерей) он вернулся домой. Возвращение ускорила и ранняя смерть матушки, которой так и не дано было предугадать, кем станет ее сын в будущем. На его плечи тут же легли заботы о поместье. В университете ведению сельского хозяйства его не учили, ибо это был

не его профиль. Но он еще в армии начал читать книги и статьи по аграрной экономике. Затем стал вникать в тайны бухгалтерии и химии, благо, что между двумя этими предметами немало родственного. С уверенностью можно сказать, что он оказался сметливым и практичным землевладельцем. Как бы там ни было, а ценность управляемых им поместий за 9 лет возросла более чем на треть. При этом он любил выпить и поиграть в карты (и даже просаживал немалые суммы). Потом Бисмарк говаривал, что «выучился своему стилю дипломатии на конских ярмарках в Померании». Если бы русские посылали иных своих премьеров, генералов и министров прежде на ярмарки и конюшни, может в этом было бы больше пользы, чем в направлении их в спецшколы и академии?

Еще одним большим плюсом сельского затворничества для Бисмарка стало то, что тут у него появилось время. Это ведь не Берлин, не Лейпциг и даже не Геттинген. Тут ни с кем не подерешься, не увлечешься сногшибательной дамой и даже не напьешься в одиночку. Он «сменил перо на плуг», а карты на книги. Читал Бисмарк запоем как на немецком, так и на иностранных языках (Спиноза, Цицерон, Шекспир, Байрон, Гегель): «Все мое общее образование идет от того, что в те годы, когда мне еще нечего было делать, я нашел у себя в имении библиотеку, книги обо всем, что надо уметь и знать, и в буквальном смысле слова ее проглотил». Так он получил по тем временам прекрасное общее гуманитарное самообразование. А чтобы чтение шло веселее, он изредка баловался любимой смесью (шампанское и портер). Когда же им овладевала тоска, он задира л юбки всем без исключения. Как жаловался его друг Кейзерлинг, Бисмарк «следовал зову своих естественных инстинктов без каких-либо угрызений совести». Он и сам признал, что водил дружбу с дурной компанией любого рода.

С батраками он был менее покладист, чем с дамами, с соседями грубоват и заносчив, но не спесив. Иногда постреливал в потолок, чтобы возвестить о своем прибытии. При нелюбви к французам к англичанам он был очень даже расположен. Его подготовили к этому чтение английской литературы и романы с прелестными англичанками. Некая английская белокурая бестия выставила его в Висбадене на 200 фунтов стерлингов: даром что дочь священника (Лорейн-Смит). Роман был столь бурным, что он просадил все имевшиеся деньги и лишился

работы. Впрочем, все это случилось еще до начала сельского уединения. Мысли о греховной страсти с англичанкой и погнали его в Англию. Тут его поразили вежливость и любезность англичан, железные дороги, туннели, кафедральный собор в Йорке и мясные порции. Немец, скуповатый, как все соотечественники, все никак не мог понять, как это можно отрезать мяса столько, сколько хочешь, и есть до отвала за ту же цену... Таков был в ту пору «дер толле Бисмарк» («бешеный Бисмарк»). Его нрав скрашивали сестра Мальвина и другие женщины.

Однако вскоре вихрь революций потряс Германию. Это был зов рыцарской плоти, клич боевого рога, услышав который Бисмарк встрепенулся и с пистолетом и четырьмя патронами в кармане ринулся в Потсдам на выручку королю. С немцами произошло примерно то же, что и с нами. Революция вскружила головы обывателям. Король Фридрих Вильгельм пошел на поводу у либералов. Консерватор-романтик Бисмарк хотел вернуть монархию в старое русло, но это было ему не под силу. «Прошлое погребено, – заявил он депутатам ландтага, – и я больше, чем кто-либо из вас, сожалею о том, что никому не под силу возродить его теперь, когда сама монархия бросила ком земли на его (короля) гроб». Бисмарк уже тогда понял суть бюрократии, с легкостью менявшей свои убеждения на противоположные («привыкнув держать нос по ветру»). По словам отца, он питал отвращение к занятиям в правительственной канцелярии.^[571] Это не помешало ему стать первым чиновником страны.

Объединение германской нации должно было стать задачей сильного, умного, волевого политика (как и объединение славян в единое государство). Немцы давно уже задавали себе вопрос «Где же отечество немца?» (Пруссия, Австрия, Северная или Южная, Западная или Восточная Германия?). Эти слова даже вошли в строки национального гимна. Многие были убеждены, что их родина – всюду, где звучала немецкая речь. Став президентом совета министров в Пруссии (1862), Бисмарк решительно взялся за дело. Он выдвинул идею единства как краеугольную идею имперской конституции (1870). Проблема укрепления единства российского государства также должна решиться «железом и кровью», но еще более – умом!



А. Дюрер. Адам и Ева.

Раздробленность немцев мешала созданию рынка, свободе передвижения, унификации права, всей будущности Германии. Во время встречи в Паульскирхе, в частности, отмечалось, что в одном только великом герцогстве Гессен-Дарм-штадт с населением в 300 тыс. человек было столько же чиновников, сколько и в Соединенном Королевстве Великобритании с Северной Ирландией. Конечно, это было неэффективно. Время настоятельно требовало создания единого немецкого союза. Трудную историческую задачу по объединению Германии судьбе было угодно возложить на Отто фон Бисмарка, заявившего: «Меня не устрашает вся Европа». [\[572\]](#)

Обладая недюжинным талантом, острым умом, крепкой волей, он понял, как можно объединить германские государства: «Не словами, но кровью и железом будет объединена Германия». Точнее это заявление звучало так: «Пруссия должна собрать воедино все свои силы, выжидая благоприятный момент, который до этого вот уже несколько раз был упущен. Границы Пруссии, ограниченные Венским договором, не благоприятствуют здоровой политической жизни, и самый насущный вопрос дня будет решен не речами и не большинством голосов – кстати, именно в этом и заключалась величайшая ошибка 1848 и 1849 годов, – а железом и кровью». Ярый авторитарист, Бисмарк ненавидел революцию и кричал, что виселица должна быть «в порядке дня». «Бешеный» (так звали его соседи)

приветствовал разгон парламента прусскими штыками. Эти «достоинства» были прекрасно известны прусскому королю. Поэтому Фридрих Вильгельм, когда зашла речь о включении Бисмарка в состав правительства в ранге министра, отказал и даже сделал приписку на полях: «Заядлый реакционер, от него пахнет кровью, использовать позднее». Фраза удивительная по своей четкости и определенности. Таких людей как Бисмарк судьба обычно приберегает на крайний случай.

Здесь надо было бы откровенно сказать, что у каждого времени свой сорт политиков. Во времена иллюзий и утопических надежд обычно в ходу у властей либералы. Те много всем обещают, цветисто говорят – и не берут на себя никаких твердых обязательств. На самом же деле либералы и демократы – самые никчемные и паскудные людишки на всем белом свете. Особенно это справедливо для Германии и России. Один из немецких политиков в минуту редкой откровенности так сказал о них: «Другие народы бывают часто рабами, но мы, немцы, всегда лакеи» (Берне). Подобное лакейство ни в ком так ярко не выражено как в российских демократах и либералах. Но и немцы ни в чем им не уступают. М. Бакунин говорил, что немецкий либерализм, за исключением немногих лиц и случаев, был особенным проявлением лакейства, общенационального лакейского честолюбия. Он утверждал, что немцы «никогда не нуждались в свободе», и что «жизнь для них просто невысказима без правительства, т. е. без верховной воли, верховной мысли и железной руки, ими помыкающей». И чем сильнее эта рука, тем «более гордятся они, и тем сама жизнь становится для них веселее».^[573] Это же справедливо и в отношении нас.

Немцам и русским необходим, органично и естественно, «железный кулак» (в сочетании с осознанной свободой). Для кого-то это, возможно, и неудобно и неприятно (для господ евреев, привыкших рассматривать весь мир, как одну большую кровать свального греха), но только в таких условиях наши народы смогли добиться невозможного и великого. Кажется, Гете говорил, что любит тех, кто жаждет невозможного. Таким человеком и был Бисмарк. Если бы его не было, Германия должна была бы создать его искусственно, как знаменитого Голема. Во время Крымской войны он уже стал государственным деятелем европейского масштаба.

Нам представляется знаменательным, что рождение его как государственного мужа произошло при прямом участии России. Не станем вводить вас в исторические тонкости борьбы той поры вокруг Турции, «больного человека» Европы (кстати, так и не вылечившегося), вокруг ключей от Гроба Господня и т. д. и т. п. Строго говоря, речь и тогда шла о переделе сфер европейского влияния. Картина, до боли схожая с нынешней, когда нас «мудрецы» намерены выставить из Европы. Хотя тысячи прохвостов и глупцов упорно пытаются доказать обратное (что понятно, ибо народ может попросту растерзать их за подлую капитуляцию).

Что ни говори, а только Россия и может сделать из немца «великана». Величие Бисмарка состояло в том, что он понял простую, но важнейшую истину: будущее Германии может быть обеспечено только в союзе с Россией. Хотя в самой правящей верхушке было немало тех, кто все еще мыслили категориями тевтонских набегов. Однако Бисмарк, человека образованного и начитанного, не проведешь фальшивкой типа «завещания Петра Великого», сфабрикованной в Париже в начале XIX в. Там утверждалось, что Россия якобы ведет подрывную работу против всех европейцев с целью добиться мирового господства. Либералы выступали с позиции врагов России, желая сразиться с ней (вместе с Западом). Когда принц попросил высказаться откровенно, так, как того требуют «не только европейская ситуация, но и истинные интересы дружбы к России», Бисмарк занял сторону России. В «Мемуарах» он писал: «Желая избавить принца от этих навязанных ему идей, я стал доказывать, что мы сами не имеем абсолютно никакой причины воевать с Россией и что у нас нет в восточном вопросе никаких интересов, которые оправдывали бы такую войну или хотя бы необходимость принести в жертву наши давние дружеские отношения к России. Наоборот, всякая победоносная война против России при нашем – ее соседа – участии вызовет не только постоянное стремление к реваншу со стороны России за нападение на нее без нашего собственного основания к войне, но одновременно поставит перед нами и весьма рискованную задачу... А раз наши собственные интересы отнюдь не требуют разрыва с Россией, но скорее даже говорят против этого, то, напад на постоянного соседа, до сих пор являющегося нашим другом, не будучи к тому спровоцированы, мы сделаем это либо из страха перед

Францией, либо в угоду Англии и Австрии». В таком случае немцы выступили бы в роли «индийского вассального князя», который воюет за интересы Британии. В этом отчетливо прослеживаются намерения русофобско-проеврейской партии Бетман-Гольвега, желавшей столкнуть немцев и русских, а самим при этом править. [\[574\]](#)

Хотя критики и бросали в его адрес обидные колкости, называя «казакom с берегов Шпрее», не стоит преувеличивать русской ориентации Бисмарка. На это он реагировал хладнокровно, говоря, что не является ни сторонником Запада, ни сторонником России. Он – немец, и к тому же пруссак. А то, что о нем говорила королева Елизавета (в дневнике она скажет о нем как об «очень русском») или тем более Энгельс с Марксом, и вовсе его не волновало (последний утверждал, что главным министром его назначили Франция с Россией).

Затем Бисмарк прошел дипломатическую школу (посол в Петербурге и Париже). О своем пребывании в Петербурге он писал как о хранении брэнного тела «в холодильнике на Неве». В Париже было теплее, к тому же он увлекся графиней Екатериной Орловой. Та играла ему на рояле Бетховена, Шуберта и Мендельсона. Вероятно, его специально бросили на два решающих направления, чтобы подготовить к роли премьер-министра. Он изволил шутить: «Самим провидением мне суждено быть дипломатом: ведь я даже родился в день первого апреля».

Германия, наконец-то, получила в правители не безвольную тряпку, а мудрого и сильного политика, который не заискивал ни перед Англией, ни перед Францией, ни перед Австрией. Кстати, когда к нему перед отъездом явился еврейский банкир Левенштейн, агент Ротшильда, и предложил за 30 тысяч талеров защищать при дворе Петербурга интересы Австрии (точнее, интересы еврейского капитала), тот вывел олигарха за дверь и пинком в зад спустил с лестницы, бросив фразу: «Честные послы короля неподкупны». Объединение Германии стало результатом не речей в парламентах, не решений европейских правительств, а итогом двух победоносных войн (против Австрии и Франции, при нейтралитете России). Бисмарк прав, говоря, что война против них не более аморальна, чем предшествующие войны Австрии и Франции против Пруссии.

Каковы же итоги? Возродилась вновь Германская империя. Немец получил доселе невиданные возможности. Г. фон Бунзен сказал:

«Бисмарк делает Германию великой, а немцев маленькими». Чушь. Он лишь открыл дорогу к величию страны и народа, и не его вина, что элита распорядилась не лучшим образом этим наследием.



«Железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 1870-е гг.

К тому времени Германия резко рванулась вперед... Всякому мощному движению великой нации предшествуют серьезные успехи в промышленности и торговле. Не была исключением и Германия. К началу XIX в. страна заметно отставала от ведущих европейских стран в данной области. Изменения наметились в эпоху, как ни странно, наполеоновских завоеваний, когда в Рейнской области и на немецком побережье Северного моря в 1803–1815 гг. создаются по французскому образцу торговые и промышленные палаты (Кельн, Майнц, Любек). Позднее в результате слияния старых купеческих цеховых корпораций восточнее Эльбы возникли более крупные организации (Берлин, Данциг, Магдебург).

Успех был столь очевиден, что в 1830–1840 гг. торговые палаты создаются повсюду в немецких землях. Иначе говоря, с этого времени немецкая промышленная буржуазия получила эффективное орудие для

защиты своих интересов. Крайне важно и то, что молодая немецкая буржуазия выступала в тесном союзе с промышленниками. Это сделало немецкие товары более конкурентоспособными. Первое условие успеха нации – тесное единство промышленности, капитала, торговли. Однако в условиях раздробленности у Германии не было бы никаких шансов, если бы не организовался Германский таможенный союз (1834). Он объединил почти все германские государства. На территории княжеств, вошедших в союз, были отменены все местные тарифы и установлены единая таможенная граница и общий внешний тариф.

Правда, и таможенный союз не мог действовать эффективно и в полную силу в условиях политической раздробленности страны. Все же промышленность стала развиваться более быстрыми темпами, чему способствовало установление защитных таможенных пошлин. Немецкая буржуазия имела немало светлых голов, подобных Т. Фрею, Д. Ханземану и другим. Те стали инициаторами создания Германского конгресса торговых палат (1861), куда вошли торговые и ремесленные палаты, торговые правления, отраслевые предпринимательские союзы всех государств – членов Германского таможенного союза. Важно подчеркнуть, что за 10 лет до основания единого германского государства возник общенациональный орган, работавший на единение немцев. Таким образом, экономика стала приводным ремнем политики. Здесь были установлены правила по свободному обмену товарами, судоходству и т. д. Остро стоял вопрос о том, под чьей эгидой объединится Германия – под эгидой Австрии или Пруссии. Все решала, в итоге, проблема конкурентоспособности двух промышленностей и двух армий.

Война является своего рода сочетанием и воплощением наук, искусства и воспитания. Военный теоретик Клаузевиц проводил подобные аналогии. Он называл военное искусство политикой, «сменившей перо на меч», отдавая предпочтение политике, ибо в ней в гораздо большей степени присутствует разум. Видимо, Клаузевиц все же хорошо понимал полную несовместимость начал духовных и созидающих со смертью и разрушением. «Война есть деятельность воли против одухотворенного реагирующего объекта. К такого рода деятельности мало подходит схематическое мышление, присущее искусствам и наукам...» – говорил Клаузевиц. Мы считаем иначе.

Именно война по большому счету схематична и губительна для всякого живого, творческого и подлинно человеческого духа. Однако к ее услугам порой приходится прибегать в тех случаях, когда бессильны все прочие способы разрешения проблем и конфликтов.

Имеет ли война какое-либо отношение к образованию и воспитанию? Бесспорно. Вся человеческая история – это история непрерывного военного воспитания. Хотя данная тема и лежит в стороне от нашего исследования, не хотелось бы, чтобы русский народ оказался среди неуспевающих учеников в этой наиважнейшей области знаний. К тому же это опасно, ибо мир держится оружием. Слова известного государственного деятеля Германии графа Шверина (1863) – *Recht geht vor Macht* (Право выше силы) зачастую оказывались полнейшей фикцией.^[575] Право выше силы, если та стоит за этим правом.

Экономически Германия давно уже была готова к объединению. Победа Мольтке над австрийцами под Садовой открыла Бисмарку путь к реализации давней цели воссоединения (3 июля 1866 г., в день битвы, у Бисмарка в кармане был яд, который он в случае поражения, якобы, был готов принять). Битва при Садовой, где Пруссия победила Австрию, стала лишь следствием, завершением спора экономик двух стран. Пруссия сумела с большой пользой воспользоваться периодом экономического подъема (1834–1873). Тогда в стране стали быстро создаваться новые фирмы, предприятия, акционерные общества, а главное, стремительно развивались отрасли промышленности («эпоха грюндерства»). В итоге промышленное производство в стране за 50-е годы XIX в. удвоилось, превосходя к 1860 г. почти по всем показателям французскую промышленность. Хотя пока еще немецкие товары и уступали английским. Для ликвидации разрыва в 1876 г. был создан Центральный союз германских промышленников для поощрения и защиты национального труда – ЦФДИ (*Centralverband Deutscher Industrieller zur Beforderung und Wahrung nationaler Arbeit – CVDI*), куда вошли союзы, работающие в области торговли, техники, ремесел и т. д. Это был важнейший этап для судеб будущей Германии. Промышленники взяли в свои руки судьбу Отечества... Это вам не жалкие криминальные выродки, угоняющие все деньги из страны за границу, своей поддержкой антинациональной власти губящие державу. В первом параграфе Устава ЦФДИ прямо и четко сказано:

«Целью союза является защита интересов промышленности страны и предпринимательства в целом, а также поощрение национального труда» (труда, а не национальной безработицы, как мы видим в современной России!). Для достижения целей союз стал мощно воздействовать на экономическое законодательство империи, на заключение договоров о судоходстве с иностранными государствами, развитие взаимоотношений с рабочими, на формирование общественного мнения в духе общности интересов производителей и потребителей, общности интересов капитанов индустрии, рабочих и инженеров. Вся политика страны фокусировалась вокруг этих важнейших пунктов (и самым главным было то, что банкиры, политики, промышленники, директора не грабили тружеников столь цинично, преступно и нагло).^[576]

Настал черед и Франции... Отношения французов и немцев еще со времен Хильдерика и Хлодвига, то есть с V–VI вв. н. э., были довольно сложными. Их можно было сравнить с взаимоотношениями единокровных братьев, между которыми идет давний спор об отцовском наследстве или первенстве в семье. Психологически эти народы (особенно пруссаки и французы) издавна испытывали друг к другу скрытую неприязнь, если не ненависть. Писал же Бакунин о том, что «французоедство сделалось повальной болезнью в Германии». А известнейший романист А. Дюма-отец, посетивший в 1866 г. Неаполь, Флоренцию, Австрию и Пруссию, привез из путешествия роман «Прусский террор», в котором далеко не лестным образом обрисовал немцев. Вот что Дюма писал по поводу царивших там настроений: «Тот, кому не довелось путешествовать по Пруссии, не может себе представить ненависть, какую питают к нам пруссаки. Это своего рода мономания, замутившая самые ясные умы. Министр может стать популярным в Берлине лишь в том случае, если он даст понять, что в один прекрасный день Франции будет объявлена война». В облике некоего Безебека нарисован образ воинственного пруссака, в самых общих чертах чем-то схожий с портретом Бисмарка.^[577]

Баланс сил складывался не в пользу Франции. Создание Северо-Германского союза (1867) сделало прусского короля властителем Германии. Франция после провала мексиканской авантюры выглядела ослабленной. К тому же мечтавший о лаврах знаменитого предшественника Наполеон III вознамерился присоединить к Франции

земли Бельгии и Люксембурга, против чего выступали Англия и Пруссия. Пришлось идти на попятную. Иначе говоря, и на дипломатической почве французы потерпели поражение.

Как всегда бывает в таких случаях, глупое и бессильное правительство решило подкрепить пошатнувшийся авторитет маленькой победоносной войной. Учитывая, что французы обосновались в Египте, Тунисе, Алжире, где очевиден интерес Англии, та отнюдь не рвалась помочь Франции. Против нее были настроены и итальянцы, не простившие ей поддержки австрийцев и разгрома отряда Гарибальди. Франция осталась наедине с Пруссией. Прав был Цицерон, предупреждая: *Videas, quid agas* (Думаю о том, что делаешь).

Грустно об этом говорить, но едва ли не вся внешнеполитическая сцена мировой истории заполнена лжецами. Императоры, канцлеры, президенты, премьеры, министры, послы и т. д. и т. п. лгут друг другу и соперникам самым что ни на есть бессовестным образом. В аду, который столь искусно описал Данте, все они наверняка составляют дружную и тесную компанию... Вот и хваленый Бисмарк частенько пускал в ход обман, шантаж, угрозы, провокации... Войну с Францией он начал, по его собственному признанию, придав оскорбительный смысл депеше короля Вильгельма I. Перед смертью канцлер даже хвалился тем, что спровоцировал войну между Пруссией и Францией. Об этой «подделке», об укороченной депеше, принявшей, таким образом, форму оскорбления, он сказал: «Это будет красный платок на галльского быка». Но надо отдать ему должное: он ловко провел Францию, вынудив ее сохранить нейтралитет в войне Пруссии с Австрией. Затем набросился на Францию. Впрочем, ранее и Наполеон безжалостно покорил Пруссию. Девиз знакомый – «Разделяй и властвуй!» Затем французы были разбиты наголову под Седаном (1870), где армия маршала Мак-Магона капитулировала (во главе с самим императором Наполеоном III). А перед этим бездарный военный министр Лебеф хвастливо заявлял: «Прусская армия? Ее нет, я ее отрицаю». Тут вполне к месту было бы напомнить ироничные слова того же Бисмарка, говорившего, что никогда так не лгут, как после охоты, во время войн и перед выборами.^[578] Прошло несколько месяцев, и Париж оказался в осаде, а «лягушатники» оказались вынуждены есть собак, коней и кошек. Впрочем, трудовой люд всегда жил впроголодь.



Продажа собачьего и кошачьего мяса в осажденном Париже.

Нет на свете более завзятых фантазеров, чем рыбаки, генералы и полковники. Чем больше звезд, тем больше грез. Впрочем, вряд ли стоит отделять психологию армии от чувств и настроений народа. Ранее отмечалось, что в жизни народов мифы играют важную роль в установлении стереотипов поведения. Французы поплатились за мифы, созданные наполеоновской эпохой. Они были убеждены в превосходстве их армии, их оружия. Реальная жизнь (в лице прусской армии) безжалостно развеяла иллюзии. В рассказе А. Доде «Осада Берлина» выведен образ такого бравого вояки, французского полковника Жува, бывшего кирасиром еще во времена Первой империи... С началом войны Франции и Пруссии тот на Елисейских полях снял квартиру с балконом, чтобы стать свидетелем победоносного возвращения своих войск. Все французы были уверены: одержана крупная победа, 20 тыс. пруссаков убито, кронпринц взят в плен.

Когда же выяснилось, что Наполеон и французская армия потерпели страшное поражение, полковника хватил удар. И тогда, чтобы вернуть отца и деда к жизни, все родные стали подавать ему вымышленную картину кампании. Они сознательно лгали, рассказывая о победах, которых не было, о движении французских

войск по Германии – к Берлину. Старик буквально ожил. Специально для него сочиняли вымышленные письма от сына. В свою очередь и он писал ему на фронт письма, давая советы, как вести себя с побежденной Германией, мечтая о скором взятии французами Берлина («Будь великодушен к несчастным. Не усугубляй тягот оккупации»).

А в это время пруссаки осаждали Париж, и сами французы страдали от бомбардировок, эпидемий и голода. Друзьям и родным, уже два месяца питавшимся только кониной и кошатиной, обессиленным от голода, он после сытной трапезы (ему давали мясо и белый хлеб, дабы сохранять иллюзии) рассказывал, как при роковом отступлении из России они ели конину. Наконец, в один из дней, когда немцы должны были войти в Париж, старик, вероятно, что-то услышав, решил, что французы вступают в Берлин. Он облачился в парадный мундир – и вышел на балкон здания, откуда открывался вид на Елисейские поля. Париж походил на покойника, облаченного в саван. «Он подумал, было, что ошибся... Но нет!.. Вот заблестали острия касок, забили иенские барабаны, и под аркой Звезды, в такт с тяжелой поступью взводов и бряцанием сабель, загремел победный марш Шуберта!.. Тут среди угрюмого молчания площади раздался крик, страшный крик: – К оружию!.. К оружию! Пруссаки! Четверо передовых улан видели, как стоявший на верхнем балконе высокий старик зашатался, взмахнул руками и упал навзничь. На сей раз полковнику Жуву пришел конец».^[579]

Бедный старый полковник! Бедная страна, продолжающая жить воспоминаниями о былых победах и ничего не сделавшая для того, чтобы заложить основы новых побед. Конец ее может быть куда более трагичен. Порой заблуждения быстрее ведут к гибели, чем ошибки и даже военные поражения.

18 января 1871 г. в Версале торжественно провозглашено создание Германской империи. Таким образом, дело, начавшееся в 1864 году нападением на герцогства, было доведено до конца. Три победоносные войны – против Дании, Австрии и Франции – в корне изменили условия европейской политической жизни. Германия до сих пор фактически не существовала в качестве политической силы; старая римско-германская империя имела универсальный, а не национальный характер. Теперь она сделалась ведущим государством в Европе и оставалась таковым до начала XX в. Пруссия дала Германии то, чего

ей до сих пор не доставало, а именно: дух дисциплины, военной мощи и организации. Если Бисмарку и не удалось совершенно преодолеть в немцах «ленивую закваску южногерманского уюта», то все-таки как немцы, так и австрийцы уже с большим почтением стали смотреть на орла, держащего в когтях острый меч. Пруссия довела начатое ею дело до конца, хотя сомнения и не покидали немцев. В момент подписания исторического документа о создании Германской империи принц сказал: «Пожелаем успеха этому с таким трудом возведенному хаосу!». [\[580\]](#)

Кстати, мы намеренно опускаем ужасы той войны. Стоило бы вспомнить, что расстрелы французов стали обычным явлением. Бисмарк лично поддержал и идею депортации всех жителей из тех регионов, где были случаи неповиновения немцам, отправку их в специальные концлагеря. По этому поводу Л. Бамбергер писал: «Жестокость – определенно один из его инстинктов». Российский читатель помнит, что на эти кровавые европейские события откликнулся и поэт Ф. И. Тютчев. Он сформулировал иные подходы к решению международных споров, нежели упомянутая Blut und Eisenpolitik («Политика крови и железа» – нем.). Однако он же предвидел в стихотворении «Два единства», грядущее столкновение различных культур, западноевропейской и славянской, возможно, неминуемо:

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись тесней...
«Единство, – возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...

Три силы сыграли решающую роль в объединении Германии – гений и воля О. Бисмарка, талант и оперативное искусство начальника генштаба Х. К. Мольтке (1800–1891), энергия и профессионализм великого промышленника А. Круппа. В отношении же Мольтке

русский военный историк генерал-лейтенант Е. И. Мартынов писал, что тот все 50 лет своей жизни посвятил тяжелой подготовительной работе и только в 66 лет позволил себе выступить на арене как полководец. При столь серьезном и основательном подходе к делу результат не мог быть иным, даже в сравнении с Наполеоном. «Но зато какая громадная разница в результатах, – подчеркивает Е. И. Мартынов. – Сходит с исторической сцены Наполеон, и вместе с ним рушится вся его военная система, основанная на случайном явлении, – гении одного человека. Лишившись этого гения, знаменитая наполеоновская армия очень скоро обращается в неподвижное, мертвое тело. Только несколько блестящих страниц в истории говорят нам о небывало высоком развитии военного искусства в первые годы империи. Но умирает Мольтке, и германская армия, потеряв своего знаменитого полководца, остается все той же, продолжая во многом служить образцом для копирующей ее Европы». [\[581\]](#)

Огромное значение для судеб Германии имело появление на исторической арене и Альфреда Круппа (1812–1887). В нем страна обрела своего Вулкана. Еще в Тридцатилетнюю войну семья сбывала по 1000 пушек в год. Наследник почтенной семьи не утруждал себя формальными знаниями. К тому же серьезные заботы прервали образование. У молодого человека не осталось времени для чтения, политики и тому подобных вещей. «Моей партой, – скажет он, – была наковальня». А. Крупп – неординарная, выдающаяся личность. Поэтому и иронию англичанина У. Манчестера (автора книги о семье Круппов) воспримем сдержанно: «После того как наш герой стал фигурой общенационального масштаба, история его жизни покрывалась позолотой и приукрашивалась до тех пор, пока он не превратился в некий гибрид Горацио, бросающего вызов призраку у моста в Эльсиноре, с Зигфридом, поражающим дракона. Трудно переоценить влияние этой легенды на немцев: в течение почти столетия школьников Германии учили обращать свои восторженные взоры на подвиги Альфреда, восхищаясь этим отважным юношей, который сумел вызвать волшебное пламя из холодной пасти запустелого завода отца». Пламя крупповских заводов действительно походило на адский огонь. До Круппа технический прогресс в области артиллерии находился примерно на том же уровне, что и в начале XV в., когда появились литые бронзовые пушки. Пороховая начинка

ядер и снарядов оставалась той же, что в снарядах, использовавшихся китайцами против монголов еще в 1232 г. Альфред Крупп создал в 1847 г. в Эссене первую новую пушку, перековав штыки, мечи и шпаги на орудийные стволы. Слава пришла к нему со времен знаменитой промышленной выставки в Хрустальном дворце в Лондоне в 1851 г. Там он выставил огромный стальной слиток-монстр, что в те времена было немалым достижением техники. Крупп получил вторую золотую медаль, его назвали «гением в области металлургии».

В перерывах между заботами он женится, уверив возлюбленную, что там, где у него, по всей видимости, «был только кусок литой стали, неожиданно оказалось сердце». Его личная жизнь не очень-то удалась, ибо его девизом стало: «Пушки изящнее женских талий». Практически же все силы и все время у него уходило на раскручивание заводской машины. Таков удел одержимых делом натур. Женщины для них – подмастерья. Они и любят тех, кто разделяет с ними их страсть.

Натуры, подобные Круппу, столь же необходимы нации, как Шиллеры, Гёте и Бетховены. Мелодии техники и науки содержат присущие только им пленительные и волшебные тона. Разве изящная линия автомобиля или локомотива, строго выписанные формы корабля или самолета ласкают и восхищают наш взор меньше, чем все божественные Дианы и Венеры, вместе взятые?! Возможно, что для воина звуки волшебной флейты или скрипки звучат ничуть не менее сладостно, чем голос мортиры или пушки. Тот же Крупп говаривал: «Когда я услышу завтра грохот моего кузнечного молота, его звуки будут для меня более приятной музыкой, чем игра всех скрипок мира». Талант даже орудие смерти делает эстетичным. Хотя, разумеется, не делает саму смерть привлекательной, как и сопутствующие ей страдания, несмотря на клич: «Vive la mort!»

Судьба Круппа-промышленника доказывает: в столь деликатном и сложном деле, как военное производство, нужны подпорки в виде крепкой экономики и государственной воли. Образно говоря, если бы Альфред в свое время успешно не освоил выпуск ножей и вилок, а затем и бандажей колес (коммерческий успех этого последнего изобретения был потрясающим), возможно, он так и не состоялся бы как «знаменитый Крупп», ставший с годами живой легендой. В начале XIX в. на только что созданном предприятии Круппа работало 10 человек, а в 1873 г. их уже стало 7000.

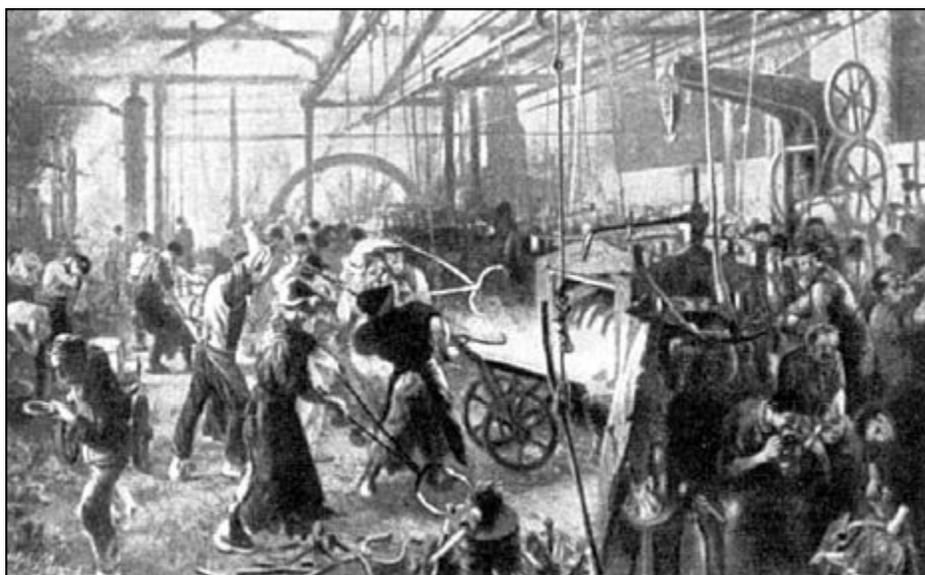


Фельдмаршал граф Хельмут Карл Мольтке. 1880-е годы.

Конечно, для восстановления военной мощи Германии были нужны и серьезные, дальновидные политики. К их числу принадлежал Вильгельм I Гогенцоллерн, ангел-хранитель Альфреда. Ему хватило ума и воли превратить крупповский завод в «национальный институт». Только олухи или предатели превращают национальные институты науки и техники в сараи и склады. Поистине одно поколение ничтожеств может перечеркнуть всю героическую историю! Если бы не король (а ему принадлежали некоторые новаторские идеи в области вооружений), знаменитые пушки Круппа, вероятно, так и не нашли бы дорогу к производству. А без них не было бы Седана, и Германия так никогда и не стала бы могучей державой. Хотя побеждают в бою солдаты, их победу определяют политики, инженеры, промышленники. Под Седаном в 1870 г. прусские войска и союзные немецкие армии имели 500 новых пушек, разбивших в пух и прах дивизии Мак-Магона (за день войско французов сократилось со 104 тысяч до 80). Исход войны и будущего Германии решен крупповским мечом!^[582] Призыв «Прощай оружие!» остался лишь мечтой.

Немцы проявили себя как выдающиеся конструкторы и изобретатели и в других областях техники. Когда Наполеон решил в 1809 г. разработать систему более быстрой дальней связи, чем телеграф Шаппа, он обратился за помощью к немцу – Самюэлю фон

Земмерингу (тот изобрел электрический телеграф). Несомненно, сыграла свою роль и главная соперница Германии – Англия, где число патентов на изобретения стремительно росло в XIX в. Не обошлось, ясное дело, и без шпионажа. Так же, как англичанин Фоли, литейщик из Сторбриджа, поэт и музыкант, воровал в XVIII в. секреты стали по всей Европе, так и А. Крупп отправился в 1838 г. в Лондон на охоту за секретами англичан. Вернувшись оттуда с некоторыми сведениями, он установил на своих заводах жестко контролируруемую систему безопасности. С тех пор некоторые историки наградили его почетным титулом «отца промышленной контрразведки». Хотя у него были странности и он не отличался особой скромностью, говоря, что ему «не нужно справляться о чем бы то ни стало у Гете или у кого бы то ни было еще», нельзя не воздать должное его таланту и творческому чутью. Он первым стал создавать в Германии крупные, хорошо оплачиваемые, главное весьма эффективные научно-исследовательские группы, а его личный музей вскоре стал одним из самых знаменитых и удивительных в Европе. [\[583\]](#)



Адольф Мендель. Железопрокатный завод.

Число первоклассных немецких талантов в области науки и техники чрезвычайно велико. Всех их не перечислить. Немецкие земли богаты мастерами и первооткрывателями. В одной Нижней Саксонии

список талантов внушительен. Среди героев этой земли: Д. Пининг, находившийся на службе у датчан и за 19 лет до Колумба добравшийся до континента Америки, Г. Лейбниц, разработавший в Ганновере двоичную систему чисел и построивший первую в мире эффективную счетную машину, К. Гаус из Брауншвейга, изобретший телеграф, Р. Бунзен из Геттингена – цинково-угольную батарею, Э. Берлинер из Ганновера – граммофон, К. Ято из Ганновера, совершивший первый в мире моторизованный полет в Варенвальдской пустоши за три месяца до братьев Райт из США, Вернер фон Сименс из Ленте, наладивший производство электрической энергии с помощью динамо-машины, Вильгельм Рентген, немецкий физик, открывший «лучи икс», создавшие радиологию, и многие-многие другие замечательные немецкие таланты.

Эрнст Вернер Сименс (1816–1892) известен как изобретатель в области электротехники, промышленник и создатель крупнейшего электротехнического концерна. В 1867 г. он, как уже выше было сказано, создал электромашинный генератор, в 1870 г. построил первую практически пригодную стеклоплавильную печь с ванной, а в 1879 г. попытался применить ток в бурильных машинах. Тогда же он показал на Берлинской промышленной выставке узкоколейку. По его проекту проложена электрическая дорога Берлин—Лихтерфельд. В России он установил телеграфную связь между городами, за что в 1882 г. был избран почетным членом Петербургской академии наук. Хотя у нас использовались и аппараты известного французского изобретателя Ж. Бодо.^[584] Даже словосочетание «философия техники» впервые употребил немец Э. Капп в книге «Основные направления философии техники. К истории возникновения культуры с новой точки зрения» (1877). Несколько позже другой немецкий философ, Ф. Бон, одну из глав книги «О долге и добре» (1898) также посвятил философии техники. В 1898 г. российский инженер немецкого происхождения П. Энгельмейер посвятил проблемам философии техники отдельную брошюру, названную «Технический итог XIX века». Многие его работы были переведены на немецкий язык.^[585]

Этим не исчерпывалось богатство немецкой науки. Она продолжала процветать в германских университетах и промышленных центрах. Рост промышленности ускорил становление и развитие специального образования. В Мюнхене, Берлине, Брауншвейге,

Ганновере, Ахене возникли высшие технические и профессиональные школы. Зародились многочисленные научные общества и академии: в 1700 г. – Академия наук в Берлине, в 1759 г. – Баварская академия наук, в 1765 г. – Горная академия в Фрейбурге. В конце XVIII – начале XIX вв. во Фрейбурге было всего около 10 тыс. жителей, но учили в той же Горной академии серьезно и обстоятельно. У истоков ее стояли Ф. Оппель и Ф. Гейниц, двоюродный дед писателя Новалиса. Тут учились студенты из многих стран мира. Поэтому устав Фрейбургского заведения гласил по-библейски строго и лаконично: «Леность в учебе должна пресекаться неумолимо!» Столь мощный прогресс в образовании приведет к тому, что к началу XX века в Германии будет насчитываться 60 тыс. народных школ, десятки университетов и технических вузов. Вся эта образовательная «индустрия» работала во славу немецкой нации. И работала, надо сказать, превосходно. [\[586\]](#)

К середине XIX в. в Германии появилось новое поколение мыслителей. К их числу принадлежал и философ-материалист Л. Фейербах (1804–1872), в центре учения которого стоит реальный индивид. Он изучал теологию в Гейдельберге, слушал в Берлине лекции Гегеля. В письме отцу он признался: «За четыре недели я узнал от Гегеля больше, чем за два предыдущих года». Этот «огненный поток» оставил нам блистательные работы: «Мысли о смерти и бессмертии» (1830), «Сущность христианства» (1841), «Сущность религии» (1841), а также собрание философских афоризмов «Писатель и человек» (1834), брызжущих юмором и неиссякаемой энергией. Он учил нас, что жизнь «подобна драгоценному вину», а потому и должна «быть выпита с соответствующими перерывами, глоток за глотком». Книги занимают в нашей жизни важное место. Он сравнивал их то с «фолиантами жизни» и с «уединенными капеллами», то с «гербарием». В них мы и выискиваем лишь «лучшие, красивейшие, совершеннейшие экземпляры». О настоящих писателях он говорил с уважением и особым восхищением. Он утверждал, что настоящие писатели – это «укоры совести человечества». Они являются движителями не только прогресса, но и самой цивилизации. Без них эта самая цивилизация подобна бестолковому путешествию в никуда. Конечно же, жизнь – «большой храмовый праздник», но праздник уж очень суетливый и хлопотный, если в нем нет мысли и размышления,

тихой музыки и духовных тайн. И здесь он произносит значительную фразу: «Жизнь человека – это его воззрение на жизнь». Свободная и великая душа сама выстраивает свою жизненную обитель, рабская же и несвободная – призывает на помощь иллюзии, пороки, превратности, грехи и заблуждения, создавая с их помощью фикцию жизни. Они – «щупальца полипа» вашей души. Они незаметно обволакивают вас, превращая в безвольную и безмозглую механическую куклу. Надо всегда помнить девиз древних – *Omnia mea mecum porto* (Все свое ношу с собой)! И далее Фейербах пишет: «Я лишь очень немного называю своим... Не больше, чем то, что входит в маленькую пачку моих сочинений, а она занимает так мало места, что помещается в моем кармане; и я, таким образом, всегда имею с собой все свое состояние. Поэтому возьми меня с собой, милый дух! То, что я оставляю, – это не блага, которые я теряю, а только тягостное бремя, от которого я избавляюсь».^[587] Богатства истинные – это плоды нашего творчества.

Порой говорят о его атеизме. Под влиянием Гегеля он действительно пришел к атеизму, но атеизму особого рода. Фейербах хотел показать иллюзорность Бога и объяснить истоки религиозности, вытекавшие из слабости человека. За то, что он по смелу признал смертность индивида и бессмертие человечества, его отлучают от академической карьеры. Современники, правда, наградили его титулом «отца современного атеизма». Для Фейербаха абсолютный и высоко нравственный разум и есть Бог, только в несколько ином обличье. Поэтому цитировать его надо точно: «Кто обо мне не говорит и не знает ничего большего, кроме того, что я атеист, тот вообще ничего не говорит и ничего обо мне не знает. Вопрос о том, существует ли Бог или нет как водораздел между теизмом и атеизмом достоин семнадцатого и восемнадцатого, но отнюдь не девятнадцатого века. Я отрицаю Бога; для меня это значит: я отрицаю отрицание человека, я утверждаю чувственное, истинное, следовательно, неизбежно также политическое, социальное место человека взамен иллюзорного, фантастического, небесного пребывания человека, которое в действительной жизни превращается в отрицание человека. Для меня вопрос о бытии или небытии Бога есть лишь вопрос о бытии или небытии человека». Что это означало? Фейербах отказывался витать в заоблачных эмпиреях, как бы водить за нос смертных, отвлекая их от

ответственности за земную жизнь. Бог все оставляет так, как есть: даже пальцем не пошевелит, чтобы изменить существующий несправедливый и злой порядок. Какой же в нем тогда толк? Что он дает человечеству?

Знаменитый вывод Фейербаха, осуждающий религию, имеет прямое отношение не только к знанию, вере или образованию, но и к становлению личности Ницше (о нем речь впереди): «Религия сама по себе, если она не освещена разумом, оставляет человека в темноте; признаем даже то, что религия, если она, вместо того, чтобы подчиняться разуму, хочет над ним властвовать, ввергает человечество в самые варварские, ужасающие, ошибочные, развращающие учения, ибо догмат стеснения свободы совести уничтожает все понятия, все законы нравственности и справедливости, оправдывает любое преступление... Признаем же, что это именно неверующие, вольнодумцы, одним словом, те, кто старался снова возвысить порабощенную силу разума, открыли человечеству разницу между справедливым и несправедливым, правдой и ложью, плохим и хорошим! Признаем же, что для человечества нет другого спасения, кроме разума! Может быть, вера дает человеку счастье, успокоение, но вот что можно сказать с уверенностью: она не учит, не исправляет, не просвещает человека, вернее, она гасит свет в человеке, чтобы заменить его другим, мнимым, сверхъестественным светом». [\[588\]](#)



Людвиг Фейербах

Надо сказать, что многие наши современники, если даже и признают Бога, то, говоря откровенно, лишь на словах да на людях, как некогда почитаемую законную жену, с которой фактически давно уже находятся в разводе.

Время нуждалось в философах-героях, которые подвергнут свой век и человека критике объективной и нелицеприятной. Суть поставленных историей новых задач сформулировал в «Этюде о Фейербахе» П. Л. Лавров (1823–1900). В XVII–XVIII вв. ученые оставались «в стороне от бурь современности». Декарт преспокойно чувствовал себя при дворе королевы Христины и в Голландской республике, Ньютон предпочел помалкивать в парламенте, хотя его страна переживала самый бурный период своей истории, Лейбниц охотно пописывал мемуары при многих королевских дворах. Даже в тех случаях, когда иные принимали участие как личности в борьбе против устаревших порядков (в области политики), в научном плане они старались всячески обойти стороной опасные вопросы. Ученые легко вставали на точку зрения «двойственной умственной бухгалтерии»: строгие и проницательные в области естественных наук, они проповедуют «узенькие катехизисы нравственных, религиозных и

политических теорий самого отсталого свойства». Наука стояла в стороне и от животрепещущих социальных вопросов. Лавров писал: «Люди жизни, люди борьбы за прогресс приучались смотреть на науку как на нечто чуждое живым вопросам, на ученых – как на людей, неспособных приложить свои методы к тому, что для общества было всего важнее, к вопросам о страдании масс, о развитии, праве и обязанности личностей, о расширении справедливости и блага».^[589]

Фейербах был одним из тех борцов, кто желал бы видеть в науке и философии своего рода нравственную милицию, наблюдающую за порядком в людских душах и умах. В Италии в это время протекает жизнь философов эпохи Рисорджименто. К плеяде философов-борцов принадлежал Джан Доменико Романьози (1761–1835), за убеждения попавший в тюрьму. Романьози написал ряд работ: «Происхождение уголовного права» (1791), «Что такое здоровый ум?» (1827), «Об особенностях и факторах внедрения цивилизации» (1832) и др. Он призывал ученых покончить с философскими химерами. Нужно прежде всего развивать в народе здоровое трезвое мышление. «Здоровый ум – это способность понимать, квалифицировать и подтверждать наши идеи так, что, будучи приспособленными к нашему пониманию, они бы давали возможность действовать с опережением, как большая часть умелых людей и делает». Целью философии он считал изучение «фактического человека», т. е. человека в контексте «интеллектуальной культуры народа». Изучайте человека, его деяния – и мир станет ясен и понятен, как таблица умножения. Если бы люди занимались не толкованием абстракций, не пустой игрой в категории, все было бы яснее и проще. Нужен «точный анализ истории в полноте ее культурных продуктов» – вот и все! Человеку дано лишь одно право – на жизнь и на смерть. Все остальное зависит от порядка и уровня морали общества.

Из школы Романьози вышел и Карло Каттанео (1801–1869). Он закончил юридический факультет университета Павии и после нескольких лет преподавания в Милане посвятил себя публицистике. Среди его работ: «Рассуждения о начале философии» (1844), «Настоящее положение в Ирландии» (1844), «Возрождение Милана» (1848) и др. Он как раз и считал, что философия является «милицией», подразумевая под этим особое искусство. Она должна непременно быть восприимчивой к главным проблемам века, чтобы «изменить

лицо земли». Каттанео не очень уважал всякие там априорные идеи. Нужно изучать историю языков, религий, искусств, и тогда вы лучше поймете суть человеческого рода. Не стоит воспринимать людей идеалистически. Они полны заблуждений и ошибок? Ну и что!? Из таких простофиль в основном и состоит большинство человечества. Времена Эллады миновали. Старая элейская «похлебка» прокисла. «Мы, в силу экономии, статистики (или чего похуже), стали слегка деревянными, по-медвежьи стоим за прогресс и абсолютно не хотим никакого возврата к прошлому. Даже если речь идет о простофиле, который в гневе хочет доказать, что святой Фома – учитель Канта». Просветитель, чья грандиозная идея федерализма была основана «именно на истории отдельных народов», не предполагал, что грядут времена, когда «простофили» не захотят ничего знать ни о Фоме, ни о Канте, ни о ком-либо еще, кроме самих себя.. [\[590\]](#)

Поэтому в контексте наших времен особенно важна и поучительна фигура Артура Шопенгауэра (1788–1860), философа-иррационалиста, воспринявшего сей мир в образе бесцельно-слепого круговращения. Он был убежден, что, кроме идиотов, «на свете почти никого нет». Довольно мрачная философия! Его семейство – зажиточные и уважаемые граждане старой ганзейской республики, каковой до конца XVIII в. и был Данциг. Прадед принимал в своем доме Петра Великого и его жену Екатерину. Семейство преуспевало. Хотя в генетическое древо их рода, увы, проник микроб сумасшествия (над бабкой Артура и ее сыном даже учредили опеку). Отец Артура, Генрих Шопенгауэр, поклонялся Вольтеру, идеям справедливости и свободы, много читал, обожал Англию, мечтая туда переселиться. Мать философа обладала природным умом, почерпнув все образование из библиотеки мужа. Родители хотели, чтобы даже их ребенок родился в Англии, и избрали ему имя англофранцузского происхождения. Семья была знакома с леди Гамильтон, Нельсоном, Клопштоком. Семейство обожало путешествовать, всюду таская с собой сына, так что тот почти разучился говорить по-немецки. Он впоследствии сожалел, что столько времени потеряно зря, а не потрачено на солидное образование. Из этих путешествий, судя по всему, Артур вынес лишь неприязнь к иностранцам. В Британии его поразили царящее тут ханжество, а также «египетская тьма, царствующая в Англии». Швейцарцев он невзлюбил, хотя и пришел в восторг от

красот природы. К французам отнесся очень сдержанно: признавал их живость и веселость, но презирал их честолюбие, фанфаронство и хвастовство. Потом он скажет уже известную фразу: «Другие части света создали обезьян, Европа же – французов. Одно стоит другого».

Все шло прекрасно, но в 17 лет его ожидал страшный удар. Отец покончил с собой, упав из окна чердака в канал (1805). Трагическое событие сделало Шопенгауэра пессимистом на всю жизнь. Понятен и его афоризм: «Мы похожи на ягнят, которые резвятся на лугу в то время, как мясник выбирает глазами того или другого, ибо мы среди счастливых дней не ведаем, какое злополучие готовит нам рок, – болезнь, преследование, обеднение, увечье, слепоту, сумасшествие и т. д.». Но он был благодарен отцу за то, что тот, хотя и желал сделать из сына купца, узрев любовь юноши к отвлеченной науке, не стал насиловать его душу. В посвящении к книге «Мир как воля и представление» есть такое признание: «В моем уме стремление к теоретическим исследованиям сущности бытия преобладало слишком решительно для того, чтобы я ради обеспечения своей особы мог, насилуя свой ум, предаться какой-нибудь иной деятельности и поставить себе задачу добывание хлеба насущного. По-видимому, именно в предвидении этого случая ты понял, что твой сын не способен ни пахать землю, ни тратить силы на механическое ремесло. Равным образом ты, гордый республиканец, понял, что сыну твоему чужд талант соперничать с ничтожеством и низостью, или пресмыкаться перед чиновниками, меценатами и их советниками в тех видах, чтобы подло вымалить себе кусок черного хлеба, или же, наконец, подлаживаясь к надутой посредственности, смиренно присоединиться к славословящей ее толпе писак и шарлатанов». Шопенгауэр был благодарен отцу по гроб жизни, ибо тот обладал, возможно, редчайшим свойством – внутренним тактом, бережным отношением к таланту. Если бы не мудрость отца, то сын, по его признанию, «успел бы сто раз погибнуть».



Здание библиотеки в Геттингене.

Задолго до пришествия славы, одаренность юноши отметил и Гете. Однако характер у него был трудный. Старик это понял и держался на расстоянии. Хотя и Шопенгауэр не очень-то преуспел в уразумении «учения о цвете», которым так гордился его знаменитый друг. Когда же Шопенгауэр написал собственный «Опыт о зрении и цветах», Гете не выдержал и воскликнул: «Крест педагога нес бы, видят боги, когда бы ученик не рвался в педагоги». Сестра Шопенгауэра, Аделаида, часто бывала у Гете, и с ее помощью оба чаще общались. Известна и фраза, которую Гете впоследствии написал в альбом философа: «Чтоб быть достойным человеком, признай достоинство других!». Шопенгауэр сохранил эти слова великого мужа.

Конечно, то обстоятельство, что в доме Шопенгауэров (а они после смерти отца переехали в Веймар, «столицу муз») два раза в неделю бывали такие люди, как Гете, Виланд, Гримм, братья Шлегели и другие, не могло не оказать на будущего мыслителя серьезного влияния. Поселившись отдельно от матери, которая не могла вынести вечной ипохондрии сына, он, наконец, к великой своей радости, поступил учиться в славный Геттингенский университет.

Вначале он записался на медицинский факультет, слушая лекции по естественной истории. Затем сова Минервы, не покидавшая его ни днем, ни ночью, внушила, что и для него настал час божественной философии (1809–1811). Вскоре Шопенгауэр перебрался в Берлин, где прилежно посещал лекции Фихте и даже вступал с ним в диспут, слушал лекции Шлейер-махера по истории средневековой философии, посетил курс скандинавской поэзии, читал классиков Возрождения (Монтеня, Рабле и др.). В бурные времена заката наполеоновской славы стала восходить его звезда. Йенский университет на основании присланной им диссертации заочно провозгласил его доктором

философии. Отношения с матерью были, как мы бы сказали, прагматичными. Мать позволила ему устроить свою жизнь, как будто бы ее «вовсе нет» (однако пожелала ежедневно видеть его на обедах). Предоставив сыну полную независимость, она дала ему возможность затвориться в башне философии. Пребывание в ней, правда, казалось ей тюремным затворничеством.

А разве каждый из нас не выстраивает себе свою собственную тюрьму, вовсе и не предполагая, что та является таковой?! Что же касается меланхолии сына, то и тут Артура можно было понять. Кстати, еще Э. Берк заметил: «Люди острого ума всегда погружены в меланхолию». Любовные страсти обошли его стороной. Он увлекся одной актрисой и даже не прочь был жениться на ней, но план сей почему-то расстроился. Наш философ остался холостяком. Может, оно и к лучшему, ибо он прекрасно понял, что о собственной воле в этом случае придется забыть. Ему принадлежит фраза: «Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности». Мы с ним категорически не согласны. Жениться – это значит втрое увеличить возможности, ничуть не поступаясь своими правами. Во всяком случае у умных и волевых мужчин именно так и бывает. Единственно, чего не следует делать, – жениться на актрисах и политических деятельницах. Шопенгауэра же ожидали альпийские вершины философии, восхождение на которые требует отваги и терпения.

Отныне он ведет жизнь эстета и свободного художника, живя почти анахоретом, посещая Дрезденскую картинную галерею, путешествуя по Италии, искусство и поэзию которой он очень любил (Петрарку, Боккаччо, Ариосто, Тассо, Альфиери, Россини). Увы, жизнь вскоре подтвердила правоту некоторых его слов. Расточительность матери, небрежность к деньгам привели к тому, что она потеряла все свое состояние (торговый дом, где она держала капитал, обанкротился). Состояние же осторожного Шопенгауэра почти не пострадало. Он сделал вывод: женщины постоянно должны находиться под мужской опекой.

Вскоре он становится профессором кафедры философии в Берлинском университете. К тому времени труд «Мир как воля и представление» увидел свет (1818), имя его стало известным. Иные даже ставили его в один ряд с Фихте и Шеллингом. Увы, философия

Шопенгауэра пришлось не ко двору. Молодые умы были увлечены Гегелем, Кантом, Шлейермахером. Вряд ли кому-то могло понравиться и то, что философ указывал на усилившиеся в немцах обывательские настроения. Бывают времена, когда нация жаждет пороков. Но, если вдруг кто-то начнет ей колоть глаза, говоря о том, что она состоит в основном из идиотов или воров, и что вскоре в этой стране явится «мститель» и «судья», она начинает тихо ненавидеть такого философа. Вскоре он закрыл курс, отказался от карьеры профессора и покинул Берлин, поселившись во Франкфурте-на-Майне, где и прожил безвыездно 28 лет (Э. Ватсон). [\[591\]](#)

Впрочем, и самому Шопенгауэру была свойственна противоречивость... Биограф отмечал: «Шопенгауэр принадлежит к тем людям, в груди которых живут две души. Он принадлежит к числу великих раздвоенных натур, способных погружаться в себя на такую же тревожную глубину, как Августин, Абельяр, Петрарка, Руссо, Вагнер, Ибсен». Сам человек науки, он терпеть не мог ученых фарисеев. Да и что можно ожидать от «этих бездельников, профессоров философии!» (Письмо Шопенгауэра Фрауэнштедту.) Он считал необходимым поставить истинную философию на место той ничтожной, полной самомнения, мнимой и извращенной «мудрости», что ныне повсюду господствует в немецких университетах. [\[592\]](#) Разумеется, не только к Германии обращена шопенгауэровская фразамолния, выхватывающая из мрака рабского бытия облик современного нам «интеллектуала», – этакого холеного холуя с золотым пером!

В своем главном сочинении «Мир как воля и представление» Шопенгауэр говорит о том жалком и позорном положении, в котором оказалась в современном обществе философия – эта наука наук. Правители видят в философии лишь средство для достижения своих целей. Профессуру заботит ремесло, которое обеспечивает их куском хлеба. Они идут в науку, ручаясь за благонамеренность. Они готовы служить любой власти и любым идеям. Их интересуют «не истина, не ясность, не Платон, не Аристотель, а те цели, на службу которым они наняты, – вот что является их путеводной звездой, а затем и мерилom...» Поэтому они и меняют убеждения с легкостью. Но если это так, то чего ждать от подобной философии, истории, политологии, любой другой социально-политической науки? Низведенная до уровня хлебного ремесла, она непременно вырождается в софистику. Ведь

правило «Чей хлеб ем, того и песенку пою» действует с давних пор. Именно поэтому зарабатывать философией деньги было у древних признаком «софиста». Но раз в этом мире царит посредственность (в том числе и во власти), то она, естественно, и востребована в первую очередь. Мы не раз испытывали на себе враждебность толпы («духовной черни каждой эпохи»), равно как и элиты, к прекрасному и возвышенному! Мы видим, говорит философ, «во всех немецких университетах милая посредственность силится создать собственными средствами еще не существующую философию и притом, согласно предписанной мерке и цели, – зрелище, глумиться над которым было бы почти жестоко». [\[593\]](#)



Артур Шопенгауэр.

Его считают идеологом пессимизма. Он относился с предубеждением ко всему, что многие считали прекрасным (наука, культура, женщины). Мир существует лишь как представление. Академии и вузы казались ему ложными призраками мудрости, «которая сама здесь и не ночевала, а находится где-нибудь далеко отсюда». Мир порочен, а человек руководствуется в жизни слепыми порывами и инстинктами. Поэтому деятельность его чаще всего бесцельна. В итоге все надоедает и осточертевает. Такая жизнь

становится настоящим мучением. Но ничтожество и пустота «предпочительнее беспросветного страдания и бесконечных мучений».

Перед нами предстает духовный чернец, призывающий отречься от страстей, ибо мир – ничто. Единственное, в чем он видел какой-то смысл, – в служении Искусству. Только оно делает из нас стоящих людей. Художник – гений постижения. Тот, кто захочет почерпнуть в трудах Шопенгауэра ценное, да обратит свой взгляд на «Афоризмы житейской мудрости». «Афоризмы», говоря словами философа, пожалуй, искупают «ничтожество и пустоту» его жизни. Эта небольшая книжица (1851), хотя и носит в оригинале название «Второстепенные произведения и пропущенные места», после смерти автора выходит на первое место. Полагаем, однажды Шопенгауэр, утомленный и подавленный безрадостностью его собственной философии, понял, что обычному народу нужно (если не в реальности, то по крайней мере в идее) обрести надежду на счастливую или хотя бы мало-мальски сносную жизнь... Поэтому и введение в книгу «Афоризмы» он начинает совсем с других позиций, нежели те, что ранее утверждал: «Понятию житейской мудрости я придаю строго имманентный смысл: под ним я подразумеваю искусство провести жизнь по возможности счастливо и легко. Мою теорию можно было бы назвать эвдемологией, т. к. она имеет целью научить счастливой жизни. Счастливая жизнь может быть определена как такое существование, которое, будучи рассмотрено объективно или скорее... по зрелом и спокойном размышлении, должно быть безусловно предпочтено небытию».^[594]

Смерть его была легкой и счастливой, если так можно сказать о последних минутах человека. Всю жизнь он прожил без болезней и даже без недомоганий. Лекарств никогда не принимал, в аптеки не ходил, говоря, что глуп тот, кто хочет купить за деньги утраченное здоровье. Лишь в самые последние дни жизни Шопенгауэр почувствовал недомогание. Счастливец, он умирал не в больнице, а в своей комнате, рядом с любимой библиотекой. На столе стояли позолоченная статуэтка Будды и бюст Канта, словно символизируя союз нерушимый Запада и Востока, а над диваном висели портреты Гете, Канта, Шекспира, Декарта и семейные портреты (включая его собственный). Смерть не страшила его. Он говорил, что тот, кто был одинок всю жизнь, с радостью отправится в вечное одиночество. И

добавлял при этом: «Интеллектуальная совесть моя чиста и спокойна». Его могилу увенчает обычная надгробная плита, на которой будет высечено лишь два слова – «Артур Шопенгауэр» (ни года рождения и смерти, ни какой-либо иной надписи).

Этот «франкфуртский мудрец» прожил достойную и величественную жизнь. Он свято верил в истину, часто повторяя слова Ветхого завета: «Велико могущество истины, и она, в конце концов, победит». При близком знакомстве с его мыслями может стать ясно, что для иных эта философия более отвечает правде и прозе жизни, чем какая-либо иная. Кстати, как вспоминают современники, символично было то, что даже его череп превосходил своими размерами черепа Канта, Шиллера, Наполеона и Талейрана.

Певцом декаданса и пессимизма выступал и немецкий философ-идеалист Э. Гартман (1842–1906). Он утверждал, что сущностью мира является бессознательное. Хотя человек и обладает сознанием, оно лишь оформляет некие высшие законы и неизменный порядок мироустройства. В мире царит зло. Никто не может его низвергнуть. Понятно, что люди стремятся к счастью. Однако оно: 1) недостижимо; 2) достижимо после смерти; 3) возможно в иных поколениях, в отдаленном будущем. Все, что остается человеку в скупые мгновенья земного бытия, – это удовлетворить свои притязания и потребности.

Естественно, за достижение этих целей придется заплатить здоровьем, истощением энергии, прожитыми годами и, наконец, даже принципами. Кому-то удастся достигнуть желаемого, они обретают деньги, власть, собственность, семью, любовь. Но во-первых, все это преходяще. Во-вторых, «счастье» вскоре может их разочаровать. Гартман не верил ни в прогресс, ни в культуру. Прогресс лишь усугубляет и обостряет наши беды, культура портит людей, ибо делает их более привередливыми и требовательными. Искусства, несмотря на их внешнюю привлекательность, являют собой только развлечение. С их помощью люди пытаются спастись от скуки. Это своеобразный наркотик. Все надежды на прогресс и счастье непременно завершатся крахом человеческих иллюзий. Гартман пишет: «После трех стадий иллюзий (Древность, Средние века, Новое время. – Авт.), надежды на положительное счастье человечество, наконец, увидит безумие своих стремлений и, отказавшись от положительного счастья, будет стремиться только к абсолютной безболезненности, к нирване, к

ничто, к уничтожению». ^[595] Согласитесь, не очень радужный вывод не оставляющий особых надежд.

Коль уж речь зашла о состоянии мировоззрения немцев, то было бы неприлично выбросить из сокровищницы общемировой мысли марксизм, этого «гадкого утенка» буржуазной мысли. Уже в XVIII–XIX вв. от науки потребовалось покинуть затворнические стены монастырско-университетских келий и стать во главе народных движений! Начиная с XIX в. наука все заметнее приобретает облик Геракла... Она уже не желает петь безысходных песен, служа трусливо-коварному царю Эврисфею. Предстояло расчистить авгиевы конюшни плутократии, чему и посвятили свою жизнь К. Маркс и Ф. Энгельс.

Карл Генрих Маркс (1818–1883) родился в семье адвоката. Отец – образованный человек, знавший труды Руссо, Вольтера, Локка, Лейбница, Лессинга, принадлежал к семье раввинов (позднее он перейдет из иудаизма в лютеранство). В политике – либерал-вольнодумец. Карл отличался живым умом и заметно выделялся в годы учебы в гимназии г. Трира. Директором гимназии был один из способнейших педагогов И. Виттенбах, преподававший историю и философию, поклонник идей немецкого и французского Просвещения. Отец готовил Карла к карьере ученого, внушая ему одну мысль: «Тебе предстоит... еще долгая жизнь для своего блага и блага своей семьи и, если мои предчувствия меня не обманывают, – для блага всего человечества».



Череп мудреца

Маркс сначала поступил в Боннский, а затем перешел в Берлинский университет (1836). Берлин считался тогда «метрополией интеллигенции». Здесь читали лекции самые яркие светила юриспруденции. Возможно, одной из причин перевода стали опасения относительно царившей в Бонне развеселой жизни. «В сравнении со здешним домом труда другие университеты – сущие кабаки», – вспоминал даже Л. Фейербах. Маркс познакомился с первой красавицей Трира, Женни фон Вестфален, которая в дальнейшем стала его женой и верной спутницей. Ее отец, Людвиг фон Вестфален, был также весьма образован (знал наизусть целые песни из Гомера и большую часть драм Шекспира).

Карл основательно погрузился в науки, писал сонеты, песни, баллады, романсы, эпиграммы, увлекался Гегелем. О том, что представлял собой молодой Маркс в интеллектуальном отношении, свидетельствует письмо одного из близко знавших его друзей. М. Гесс писал: «...Будь готов познакомиться с величайшим, быть может, единственным из ныне живущих, настоящим философом... Доктор Маркс, таково имя моего кумира, еще совсем молодой человек (едва ли ему больше 24 лет); он нанесет последний удар средневековой религии и политике, в нем сочетаются глубочайшая философская серьезность с тончайшим остроумием; представь себе соединенными в одной

личности Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля; я говорю соединенными, а не механически смешанными – и ты будешь иметь представление о докторе Марксе» (1841).^[596] Таков этот целомудренный муж науки.

После почти столетия раболепного преклонения перед апостолами марксизма вовсе нет нужды пересказывать то, что достаточно хорошо известно и к тому же тиражировано в миллионах копий. Нас больше интересует духовно-нравственная сторона их развития. С чего начал Маркс свой подъем к вершинам духа – со школьного сочинения «Размышление юноши при выборе профессии» или с докторской диссертации – не столь важно. Его влекла философия Эпикура, в котором он видел великого греческого просветителя. «Энергический принцип»

Эпикура и стал его жизненным стержнем. Таковой необходим всякому бойцу и творцу. Первый опыт борьбы Маркс приобрел, написав статьи «Дебаты о свободе печати». Свободе печати, бесспорно, «присуща своя красота», но Маркс решительно возражал против того, чтобы народ предоставлял право думать и высказывать истину «только придворным шутам». Такой народ всегда зависим, обезличен. Подлинная свобода печати – это не ужимки и холуйские гримасы придворных паразитов прессы, а «смелый язык исторического народного духа». Актуально звучат слова философа о необходимости изъять средства информации из рук подлых и продажных «промысловиков», вырывающих «из великого целого жизни народов сплетни и пересуды», игнорирующих разум истории, вылизывающих в своих газетенках «зады» президентов и королей, скармливающих народу «только скандалы истории».^[597] Такова большая часть и всей современной буржуазной прессы.

Особое внимание уделял он, естественно, деяниям своих собратьев по крови – евреев. Маркс, отвечая на работу доцента Берлинского университета Б. Бауэра «Еврейский вопрос», писал (1843): во имя чего совершают евреи перемены в обществе? Во имя блага всех или только для самих себя? Смотря какие евреи... И все же известно, что и Фейербах видел в иудействе «религию эгоизма». Эгоизм, свойственный большинству представителей этого племени, «делает его равнодушным ко всему, что не касается непосредственного его личного блага». В том же духе выступал Бауэр, говоря, что евреи

вгнездились в щели и расселины буржуазного общества для эксплуатации его шатких элементов, подобно богам Эпикура, что жили в промежуточных пространствах мира, где они избавлены от какой-либо иной профессиональной, вполне конкретной и определенной работы. Весьма злободневно и актуально звучит сегодня совет К. Маркса поискать мирскую основу еврейства... Но еще более красноречивым был сам его ответ: «Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги». ^[598] Этот культ сушит их душу и убивает их разум.

Конечно, довольно странно из уст Маркса (пусть крещеного, но все же еврея) слышать призыв «эмансипировать человечество от еврейства». Однако многое становится понятнее, если учесть, что «еврейство» в данном случае рассматривается им не как родовой признак. Это, скорее, синоним «торгашества» и «ростовщичества». Деньги, этот «ревнивый бог Израиля», лишают весь мир – как человеческий мир, так и природу – ихсобственной стоимости. Здесь философ впервые замахнулся на святую святых капитализма, готовясь порвать цепи, приковывающие еврейство (а с ним и весь мир) к вечной скале мук, наслаждений и чудовищных преступлений. Маркс отдавал себе отчет в необходимости денежного обращения, как и самого существования денежной культуры, представляющей в действительности «реальную общественную связь». Ведь деньги выступают как некий всеобщий эквивалент труда, в качестве «всеобщей субстанции существования для всех» и «совместного продукта всех». Понятно, мы охотно согласились бы с их полезной и незаменимой ролью, если бы они не становились «вещью в себе», мишенью и целью тех, кто сделал из обладания ими своего рода «нетрудовую профессию».

Современный строй никак не желает, да и не может преодолеть этого препятствия. В нем сохраняются противоречия между быстро растущими производительными силами и архаичными товарно-денежными производственными отношениями. Поэтому относительно прошлой истории они выступают с революционных позиций, утверждая разумную неизбежность социальных перемен. В то же время К. Маркс считал, что «традиции всех мертвых поколений тяготят, как кошмар, над умами живых». ^[599]

Удар был намечен в самое сердце несправедливого мира. С давних времен капитал стал властью. Ныне он к своему финансовому могуществу добавил еще политическое господство. Подноготную капитала и порабощения им общественных институтов вскрыл в одной из работ и Франц Меринг, отмечая, что, хотя теоретически «политика стоит над властью денег, она на самом деле стала крепостным слугой последней». Идеалы человека превращаются в этом случае в самый обычный товар, лишая людей не только поэзии, но и смысла бытия.. [\[600\]](#)

Отсюда понятна та решительная и твердая готовность, с которой Маркс взялся за вскрытие «капиталистического трупа» – написание глав «Капитала». Пока Энгельс вынужденно занимался коммерцией, Карл совершил наиважнейший из подвигов. Он писал другу: «Итак, этот том готов. Только тебе обязан я тем, что это стало возможным! Без твоего самопожертвования для меня я ни за что не мог бы проделать всю огромную работу для трех томов. Обнимаю тебя, полный благодарности!» Эта книга и поныне сохраняет свое значение как символ научной добросовестности и гражданского мужества. Однако все же приходится честно констатировать, что для ниспровержения капитала также нужен капитал (свой, отечественный). [\[601\]](#) Хотя было бы лучше объединить усилия.



Карл Маркс, Фридрих Энгельс и дочери Маркса.

История знает дружбу различного рода – дружбу Ореста и Пилада, Шиллера и Гёте, Лютера и Меланхтона, Герцена и Огарева, Мамонтова и Врубеля. Каждая из них имеет свою канву и интригу, свою тайну. Однако в данном случае речь идет о дружбе политической, что нечастое явление в любом обществе. Политики крайне редко позволяют себе такую роскошь, как дружба.

Это заставляет нас пристальнее взглянуть на фигуру Энгельса (1820–1895). Как известно, родом он был из семьи фабрикантов. Странная то была эпоха: фабриканты желают разделить плоды трудов фабрик с рабочими, а тайные советники почти открыто мечтают о ниспровержении несправедливых порядков. В городках Бармен и Эльберфельд действовало почти 200 фабрик. Ф. Энгельс, можно сказать, дитя товарного мира... Рейнская провинция ушла дальше других по пути капитализма. Дед и отец Энгельса были фабрикантами. Мать происходила из семьи филолога. Отсюда и в их первенце налицо сочетание массы деловых и литературных качеств. В детские годы он восхищается подвигами Ахилла, Зигфрида, Телля, Фауста, читает Ливия, Цицерона, Вергилия, Платона, Еврипида. Благодаря учителю Клаузену в нем пробуждается страстная любовь к истории и литературе. Однако желание поступить после окончания гимназии в университет не находит у отца поддержки. Батюшка усадил его за конторскую стойку. Как знать, возможно, в этом юноше погиб великий поэт или драматург: его поэтический дар несомненен, он занимался музыкой, посещал Певческую академию, восхищался Моцартом и Бетховеном, владел многими иностранными языками. Юноша готовил себя к великим свершениям, считая подвиг необходимым «венцом жизни». ^[602] Общеизвестен и факт его постоянной и щедрой финансовой помощи Карлу Марксу. По сути дела, он выступил как бы в роли Атланта, поддерживавшего своим могучим торсом весь небосвод марксизма. Мало того. Энгельс выполнял также черновые роли писца и младшего сотрудника. Введя Маркса в знаменитую Манчестерскую библиотеку, он поведал другу о сокрытых богатствах: «Особенно много здесь изданий шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков и, представь, есть девяносто книг-инкунабул, напечатанных до 1500 года по методу, изобретенному еще Гутенбергом». ^[603]

Во многих отношениях это натура, пожалуй, даже в чем-то более яркая и притягательная, чем Маркс, хотя столь же непримиримая к уродствам буржуазных порядков. Он скорбит, что среди низших классов царит ужасная нищета. В Эльберфельде из 2500 детей школьного возраста 1200 фактически не учатся. Дети растут и умирают на фабриках. Уже тогда он понял, что у капиталистов эластичная совесть. Дай им волю, они во имя сверхприбылей не постесняются отправить в могилы и детей. Хотя сей лицемерный строй позволяет им замолотить грехи в церкви. Известно, сколь высоко Маркс оценивал способности друга: «Он – настоящая энциклопедия. Способен работать во всякий час дня и ночи, после еды или натошак, быстро пишет и сообразителен, как черт». Да и спустя 20 лет после их первой встречи Маркс честно говорил другу: «Ты знаешь, что, во-первых, до меня все доходит поздно, и, во-вторых, я всегда иду по твоим стопам». Долгое время Энгельс мечтал и сам заняться писательской работой. И, надо сказать, успехи были внушительны. По словам многих авторитетов, его ранние экономические работы внесли существенный вклад в формирование материалистического понимания истории. Но во имя друга и идеи (одно неотделимо от другого в данном случае) он вынужден был наступить на горло собственной песне. Энгельс участвовал во многих битвах рабочего класса. После смерти Маркса именно он встал во главе I Интернационала. [\[604\]](#)

После кончины (1895) Ф. Энгельс оставил в наследство мировой социал-демократии нечто большее, чем приличную библиотеку и скромный капитал в 20 тыс. марок золотом. Он проложил дорогу нам, наследникам социализма и гуманизма, которые в нынешнем столетии окажутся перед лицом сложнейших испытаний, ибо столкнутся с волками в маске социалистов. Он научил нас смело и открыто смотреть в лицо истории. Не бояться трудностей, временных неудач и поражений. У него массы должны учиться бороться с врагами народов с помощью достижений современной науки и избирательного права, а если понадобится, то и с помощью оружия. Энгельс писал в предисловии к серии изданных им статей К. Маркса «Классовая борьба во Франции»: «И вышло так, что буржуазия и правительство стали гораздо больше бояться легальной деятельности рабочей партии, чем нелегальной, успехов на выборах, чем успехов восстания... Ирония всемирной истории ставит все вверх ногами».

Мысли философов Германии чем-то напоминают ее рельеф: аккуратно возделанные поля, мрачные изгибы Рейна, отроги гор с замками... Вот здесь и появился Фридрих Ницше (1844–1900), этот уединенный пророк, Зигфрид философии. Немецкий Мефистофель первым предсказал своему народу грядущую бездну и путь, лежащий через тернии к звездам. Рожденный в семье лютеранских пасторов, преподавателей богословия, он рано узнал, что и Бог бывает несправедлив. Маленький Фридрих очень долго не говорил. В 4 года ему суждено увидеть безумие и смерть отца. Невыносимое и тяжкое зрелище. А вскоре заболел и умер брат Иосиф. Радость навсегда покинула его сердце. Можно сказать, что тогда в нем и поселилось то, что древние римляне обычно называли *taedium vitae* («отвращение к жизни» – лат.).

Хотя чисто внешне это был вполне нормальный мальчик, может быть, чуть более упорный, внимательный и требовательный не только к себе, но и к другим. Среди товарищей в школе Наумбурга (там учились дети чиновников, офицеров, духовенства) он пользовался определенным уважением. Пожалуй, уже с детства в нем пробудились некоторые черты мыслителя. «Когда умеешь владеть собой, – поучал он сестру, – то начинаешь владеть всем миром». В 9 лет Ницше впервые услышал хор Генделя. Так состоялось его знакомство с миром музыки. Затем он начал учиться игре на рояле, импровизировать, сам сочинять музыку. Им овладевает, как пишет Д. Галеви, автор одной из лучших книг о Ф. Ницше, «тиранический инстинкт творчества». Он просвещал друзей в области литературы, театра, архитектуры. По окончании школы поступил в гимназию. Его умственное превосходство над сверстниками было столь очевидно, что учителя настоятельно советуют матери сразу же поместить его в высшее учебное заведение.

Ницше так описал начало своей жизни: «Vita. Я родился 15 октября 1844 года на поле битвы при Лютцене. Первым услышанным мною именем было имя Густава Адольфа. Мои предки были польские дворяне (Ницкие)... Мне говорят, что моя голова встречается на полотнах Матейко. Бабушка принадлежала к шиллеровско-гётевскому кругу в Веймаре. Я имел счастье быть воспитанником достопочтенной Шульпфурты, из которой вышло столько мужей (Клопшток, Фихте, Шлегель, Ранке и т. д.), небезызвестных в немецкой литературе. У нас

были учителя, которые оказали бы (или оказали) честь любому университету. Я учился в Бонне, позже в Лейпциге...» Фридриха направили в школу Пфорта при монастыре. Методы преподавания здесь сохранились с XVI в. Воспитанники содержались вдали от семей, не видя никого, кроме учителей. За каждым учителем закреплено 20 учеников (богословие, греческий, латынь, еврейский). Учеба зиждется на установках гуманизма, протестантизма, дисциплины. Ницше давно желал сюда попасть. Учился он яростно: геология, ботаника, астрономия, латынь, военные и технические науки. Любимые авторы – Шиллер, Байрон, Гельдерлин. Когда ему исполнилось 17, его часто посещает грусть. Его зовут «маленьким пастором». Может, он перерос своих профессоров, поняв, что «древо познания не есть древо жизни»? Некая неведомая сила неудержимо и яростно влечет его в мир литературы и науки. [\[605\]](#)



Берлинские лачуги.

Ум Ницше созрел для решения мировых задач. Понимал ли он, что занятия философией могут потребовать от него жизни? Вероятно, да. И как можно, имея за собой только детское, наивное миропонимание, нападать на авторитеты двух тысячелетий, признанные самыми большими мыслителями всех времен?! Как можно, обладая только фантазиями и лишь зачатками идей, уйти от религиозной скорби и откровения, которыми проникнута история?! Разрешить философские проблемы, за которые человеческая мысль борется уже несколько тысяч лет, революционизировать верования,

впервые поднявшие человечество на должную высоту, связать философию с естествознанием, не зная даже общих выводов ни той, ни другой, и наконец, построить на основах естествознания систему существующего, в то время как разум не понял еще ни единства всемирной истории, ни наиболее существенных ее принципов, – надо быть безумно смелым, пишет Ницше, чтобы решиться на это. Уровень привлекательности философии зависит не только от способности ответить на животрепещущие вопросы времени, но и от культурного и умственного багажа. Отправиться без компаса и проводника по океану сомнений – верное безумие и гибель для молодого ума. Большинство таких вот смельчаков погибло, и невелико число тех, кому удалось открыть новые страны. Философия представлялась Фридриху в виде Вавилонской башни! Выстроенная подобным образом, она неминуемо в конце концов рухнет и погребет под собой мысль народа. Надо ожидать великих событий в тот день, когда толпа поймет, что христианство не имеет под собой почвы.^[606]

С ранних лет в Ницше поселились сомнения относительно роли Бога в обществе. Как с познавательной, так и с философской точки зрения такая постановка вопроса по крайней мере правомочна. Ни один из мыслителей не прошел равнодушно мимо Всевышнего (начиная с Платона, Аристотеля и Анаксагора). Ницше выбрал для своего «молота» цель в духе задач времени. Стремление утвердить в душах абсолютный атеизм, показать всю ложь веры в Бога (что мы видели уже у Фейербаха) стало палкой о двух концах. Один конец сокрушал всю эту надстройку, воздвигнутую хладными чиновниками от веры, извратившими учение, сделав оное «злобным, слащавым и печальным». Истинное учение Иисуса Ницше считал «сильным, радостным и возбуждающим». Из этих размышлений и родилась знаменитая книга «Так говорил Заратустра», названная современниками «антибиблией антирелигии». Вместе с тем, автор понимал: крушение Бога будет означать непоправимую катастрофу для многих. И это действительно оказалось так.^[607] Ведь в жизни многих Бог – единственное утешение.

Что же произошло? Еще вчера при прощании со школой он принес слова благодарности Богу, обратив их также к учителям и сотоварищам. В университете он должен был вкусить все прелести студенческой жизни. И вдруг бегство из Бонна. В чем дело? Вряд ли

причина в том, что молодежь отвергла его предложение изменить законы корпорации, бросить пить и курить. Его оттолкнула сама атмосфера их благополучного мирка. Он писал: «Евреи и либералы уничтожили все своей болтовней; они разрушили традиции, погубили взаимное доверие, развратили мысли». Что-то надломилось в житейской, нравственной вере, как и в душе молодого человека.

Ницше чувствует себя бесконечно одиноким. Он перебирается в Лейпцигский университет, где открывает для себя книгу Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Шотландский схоласт Д. Скотт в XIII в. утверждал, что воля стоит над мышлением. Слепая воля управляет нашими жизнями. Книга потрясла его. Он тут же стал называть Шопенгауэра «отцом».словно чуткий камертон, Ницше уловил «мелодию души» философа: «Наслаждение всем прекрасным, утешение, доставляемое искусством, энтузиазм художника, позволяющий ему забывать жизненные тягости, – это преимущество гения перед другими, которое одно вознаграждает его за страдание, возрастающее в той мере, в какой светлеет сознание, и за одиночество в пустыне чуждого ему поколения».^[608]

Он заносит в книжку: «Век Шопенгауэра заключает в себе здоровый, проникнутый идеалом пессимизм, серьезную, мужественную силу, вкус ко всему простому и здоровому. Шопенгауэр – это философ воскресшего классицизма, германского эллинизма». С ним в общественной жизни Германии словно пробудился, казалось бы, давно угасший дух греко-римской борьбы. Что ему оказалось близко в Шопенгауэре? Возможно, моментом истины стало понимание того, что и в нем (в Ницше) «то, что двигает волею, есть исключительно благо и зло, взятые вообще и в самом широком смысле слова», и что «всякий мотив должен иметь отношение к благу и злу».^[609]

Ницше, подобно Шопенгауэру, был и сам двойственной натурой. Но главное, что покорило и очаровало Ницше в учении Шопенгауэра, так это мысль о гении, как о сверхчеловеке. Его работы – это восхитительная смесь романтизма и пессимизма, где искусства и наука, подобно волшебному элексиру, должны были пробудить от глубокого сна погруженное в небытие человечество. Так ему грезилось в мечтах. И Ницше воспринял как личное предостережение слова Шопенгауэра о том, что официальная наука замалчивала его труды 30 лет. В Германии еще не было мыслителя (разве что младогегельянец

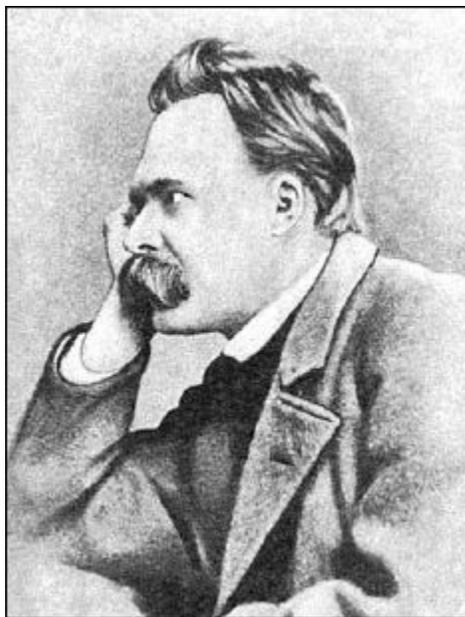
Штирнер), который бы столь яростно сокрушал немецких идолов. Найдя в лице Шопенгауэра и Фейербаха своих «освободительных учителей», он вскоре ополчился и на немецкую культуру (точнее, на все то, что филистер и обыватель понимали под этим словом). Наблюдая за повседневной жизнью обывателя, за языческим преклонением перед семьей, кайзером, церковью или желудком, Ницше увидел в этом лишь свидетельство пустой кишки, наполненной требухой. И понадобится много лет, работа многих веков, так полагал он, прежде чем немец сможет стать подлинно культурным человеком.

Пока же Ницше не покидал Лейпцигской библиотеки, полностью погруженный в книги. В 1867 г. его, несмотря на близорукость, забрали в армию. Сначала он уверял всех, что звание лучшего кавалериста почетнее диплома доктора филологии. Но вот пришло сообщение из Базеля. Написанные им статьи произвели впечатление, и ему предложили кафедру профессора филологии в Базельском университете. В Лейпциге ему выдали выпускной диплом без экзаменов. Семья Ницше в полном восторге: «Такой молодой – и уже профессор университета!» Но тот решительно им возразил: «Подумаешь, событие, одной пешкой на свете больше, вот и все!»

Следует знать ту политико-психологическую обстановку, в которой ему приходилось жить и творить, дабы лучше понять Ницше. Тогда Германия испытала воздействие двух самых мощных факторов – победы Пруссии в войне против Франции и роста социал-демократии. Социализм разбудил в умах части общества надежды на переустройство старой системы. Появляются такие яркие и выдающиеся мыслители, как Маркс, Энгельс, Лассаль, Бебель, Меринг, Кроче. Первое событие (победа в войне с Францией) подняло на невообразимую высоту самомнение немцев. Они решили, что победили не французское войско во главе с бездарными генералами, а саму французскую культуру! Тут же были заботы и уроки Наполеона, и еще недавнее преклонение умов Германии перед французским Просвещением (Вольтером, Руссо и т. д.). Рядовой немец, осушив первый кубок победы, счел себя сразу олимпийцем и небожителем. Для него мы бы перефразировали известное изречение: то, что дозволено Юпитеру, не дозволено «тевтонскому быку». Задачу отрезвления немцев возложил на себя Фридрих Ницше. Многие превосходные качества немцев (храбрость, стойкость, знание),

утверждает он, увы, не имеют ничего общего с истинной культурой. В Германии немало того наносного, что, по словам Р. Вирхова, могло быть отнесено к Kulturkampf («борьбе за культуру»), а вовсе не к культуре.

Как же могло так получиться, вопрошает Ницше, что возникло столь нелепое противоречие: с одной стороны, очевидный недостаток у населения истинной культуры, а с другой – в высшей мере самоуверенное убеждение, что только немцы, и они одни, обладают истинной культурой!? Все дело в приходе к власти в Германии класса образованных филистеров (Bildungsphilister). Вот к чему привела в итоге хваленая немецкая система образования. Подравняла умы и головы похлеще французской гильотины! Ницше ссылаясь на слова Гёте, сказанные Эккерману: «Мы, немцы, все вчерашнего происхождения. Правда, в последнее столетие мы много поработали над своей культурой, но пройдет, быть может, еще пара столетий, прежде чем в наших соотечественниках внедрится столько ума и высшей культуры, чтобы мы могли сказать: давно уже миновало время, когда они были варварами».



Фридрих Ницше (фотография 1882 г.).

Его оценки возможностей системы образования полны убийственного скепсиса. В книге «О пользе и вреде истории для жизни» он отрицал эстетический смысл ее использования «праздным любителем в саду знания». Познание истории необходимо для здоровья нации и человека, но нужен обязательно и некий внеисторический, трансцендентный взгляд на мир и жизнь: «Историческое образование может считаться целительным и обеспечивающим будущее, только когда оно сопровождается новым могучим жизненным течением, например нарождающейся культурой, т. е. когда оно находится во власти и в распоряжении какой-нибудь высшей силы, а не владеет и распоряжается самостоятельно».

Педагогические взгляды отразила и лекция «О будущем наших культурных заведений». Он обрисовал в ней учебные заведения страны как аппарат педантизма, сдавивший в тисках духовную жизнь Германии. В послании к Э. Роде он скажет: «Меня захватила новая идея, я выставляю новый принцип воспитания, целиком отвергающий наши современные гимназии и университеты». Появляются книга «Эллинизм и пессимизм» (1871) и памфлет «О пользе и вреде истории», где он напал на 10 тысяч профессоров: «Из своего идеального государства будущего я хотел бы изгнать – как Платон изгнал поэтов – так называемых «культурных людей», в этом бы выразился мой терроризм». Что это – бунт Фауста или предзнаменование часа ефрейтора? ^[610]

Философа особенно пугает вся эта жуткая перенасыщенность человека чужой культурой... В его представлении человек чем-то похож на борова, которого усиленно пичкают отрубями знаний, дабы благополучно и в свой срок зарезать. Тайна нынешнего образования в том и состоит, что мы, современные люди, – говорил он, – ничего не имеем своего. Мы – ходячие энциклопедии, перегруженные чужими эпохами, нравами, философскими учениями, религиями и знаниями, не более. Таким образом, перед нами ходячие скелеты цивилизации! Возникла проблема человека как носителя информации.

Любопытен его взгляд на науку, культуру, образование в книге «Человеческое, слишком человеческое». Ницше признавал значимость культуры. Вместе с тем он настороженно отнесся к иным из тех, кого величают «гениями культуры». Орлиным взором он прозрел всю подлость и эгоистичность этих самовлюбленных натур. В эпоху

торжества капитала и массовой культуры такой, с позволения сказать, «гений» чаще, по словам Ницше, похож на полузверя, нежели на человека: «Он употребляет в качестве своих орудий ложь, насилие и самый беззастенчивый эгоизм столь уверенно, что его можно назвать лишь злым, демоническим существом». Позитивно-здоровое воздействие на общество могли бы оказать толковые ученые! На место «культурных» циников и неврастеников, этих откровенных холопов властей, должно поставить их знания, трезвую холодность, скепсис! В идеале человек должен иметь двойной мозг – одна часть для науки, другая – для всего остального (культуры). Им предлагается модель идеального высшего образования. Менее оптимистично выглядит будущее средней школы: «Школьное дело будет в крупных государствах в лучшем случае посредственным, по той же причине, по которой в больших кухнях пища готовится в лучшем случае посредственно».

Сдвиг в акцентах развития нации не мог не отразиться и на образовании: «Что воспитание, образование само есть цель – а не «империя», что для этой цели нужны воспитатели, а не учителя гимназий и университетские ученые – об этом забыли». Все великие и прекрасные вещи никогда не могут быть общим достоянием. Высшие школы явно плодят двусмысленную посредственность: «То, чего фактически достигают «высшие школы» Германии, есть зверская дрессировка с целью приготовить с возможно меньшей потерей времени множество молодых людей, полезных, могущих быть использованными для государственной службы. «Высшее воспитание» и множество – это заранее противоречит одно другому».^[611]

Ницше одним из первых понял и ограниченность цивилизованного общества, «жреческой» его касты. В «Сумерках идолов, или Как философствуют молотом» Ницше отмечает, что немецкий ум становится все грубее, он опошляется. Изменился не только интеллект, но и сам пафос деяний. В науке все заметнее обездушивающее влияние чистогана. Университеты даже против своей воли становятся «теплицами для этого вида оскудения инстинкта духа». Ницше на научные знания смотрит из сферы искусства, считая, что «проблема науки не может быть познана на почве науки». Его цели выражены ясно и понятно в труде «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм». В нем он постарался «взглянуть на науку под углом

зрения художника, на искусство же – под углом зрения жизни». Ницше объявил себя врагом христианства и демократии, которые он рассматривает как формы явного вырождения и гибели... Что бы ни говорил Ницше, но его произведения – гимн художнику и человеку. А в каком облике предстает тот – Аполлона или Диониса, не столь уж принципиально и важно.

Но в чем же причина столь явного снижения духа и культуры великого народа? – задается вопросом Ницше. Силы народов не беспредельны. Всем нациям приходится выбирать путь развития. Одни предпочитают власть и силу, другие – знания и культуру. В конце XIX века и в Европе и в США произошло как бы перенесение центра тяжести. Разгромив французов и австрийцев, немцы создали мощное государство с имперскими аппетитами. Это ясно. Увы, великие эпохи культуры, по Ницше, суть эпохи политического упадка. Одно из двух – или могущество или культура! Что велико в смысле культуры, то неполитично или даже аполитично. Все ныне делается *ad captandum vulgus* – в угоду черни. Но страшна чернь на престоле!

Поэтому Ницше и выдвигает аристократизм в противовес демократизму «всеобщего», воплощенному в «пошлом образовании», подобному *pons asinorum* («мосту для ослов»). Оттого столько горечи и трагизма в словах философа (1904): «Я нарушаю ночной покой. Во мне есть слова, которые еще разрывают сердце Богу, я – *rendez-vous* опытов, проделываемых на высоте 6000 футов над уровнем человека. Вполне достаточно, чтобы меня «понимали» немцы. Но бедная моя книга, как можешь ты метать свой жемчуг – перед немцами?» Понимать на такой высоте интеллектуального обобщения действительно обыденным людям трудно. Не это ли причина того, что он «ушел из дома ученых и еще захлопнул дверь за собою» («Заратустра»)?! Его каждый понимал по-своему. Однако в воззрениях Ницше было нечто волнующе-тревожное, губительное, как дуновение смерти... Похоже, что он готовился уйти вовсе не из «дома ученых», а из «дома человечности». Понимал ли он, как будет воспринят его призыв иной «белокурой бестией»?

Он представлял себя, подобно М. Штирнеру, абсолютно свободной личностью, осознающей себя центром Земли и мироздания. Напомню, что немца М. Штирнера (1806–1856) относят к видным теоретикам анархизма. Его книга «Единственный и его собственность»

(1844) произвела в свое время фурор и стала сенсацией. Автор воспевал анархическую эгоистическую личность. Штирнера можно было бы назвать Байроном лавочников и обывателей. Все, что мешало их довольству, их сытости, их обогащению, им высмеивалось и отбрасывалось. Он писал: «Для меня нет ничего выше меня». Все, что так или иначе ограничивало алчную, подлую, себялюбивую людскую натуру, он призывал отместить и разрушить. Государство, религию и даже совесть М. Штирнер называл «тиранами»... Задолго до Ницше он призвал всех «сверхчеловеков» встать над понятиями добра и зла, поскольку, в его понимании, ни то ни другое не имело смысла. Этот «бунт против морали» правильнее было бы назвать крахом цивилизационного и культурного наследия, всей системы воспитания хваленного Запада.^[612] Или, если быть до конца объективным и последовательным, вспомнив сотни кровавых войн и безжалостную резню своих и чужих народов, надо признать: подобные взгляды лежали и лежат в русле традиционной жизненной философии Запада.

Этот гимн – хвала не свободолюбивой и одухотворенной личности, но личности, устраненной от общих интересов, безнравственной, крайне агрессивной. Философия Штирнера легко вписывается в контекст XXI века с его жестокостью, аморализмом и демагогией. Правда, он не выбирал слов, не прятался за ширмы вроде всяких там «общечеловеческих ценностей», «прав человека» и т. д. и т. п. Он говорил ясно и прямо. Надо стать эгоистом. Отнимайте собственность и делайте ее своей. Взгляните на примеры из истории Европы. Тот, кто «умел раздобыть то, что ему нужно, всегда и получал, что хотел. Наполеон, например, получил континент – сильную Европу, а французы – Алжир». Надо же, наконец, научиться «добывать себе то, что тебе нужно». Коммунизм философа совершенно не устраивает, так как ставит личность в зависимость от общества. Каков же идеал Макса Штирнера? Он абсолютно ясен: «Губите и давите друг друга, сколько хотите и можете, – мне, государству, до этого нет дела. Вы свободны на обширной арене конкуренции; вы конкуренты – таково ваше общественное положение. Передо мной, государством, вы не что иное, как «простые индивидуумы!».

Именно такая политическая экономия и главенствовала в России все минувшее десятилетие, в эпоху термидора лавочников и интеллектуальных импотентов! В ответ на это Л. Фейербах

справедливо заметил бы, что он, не будучи ни материалистом, ни идеалистом, является просто человеком во плоти и духе, и потому «понимает сущность человека только в общежитии». И таким образом, он, Фейербах, прежде всего «общественный человек» – коммунист».

[613]

Ницше – уж конечно не коммунист. Он – империалист, певец смерти. Его можно уличить в том, в чем Рим некогда уличал евреев, – «в ненависти ко всему роду человеческому». Он доказывал, что массовое образование вредно, что народ нужно держать в темноте и бескультурье. Понятно, почему ему рукоплещут тираны и узурпаторы мира. Ждут очередного пророка, который умело бы направил народ в стойло. В стойло, в нищету, в окоп, кровавую военную мясорубку! И в итоге «Заратустра» станет библией нацизма. «Восстание – доблесть раба. Вашей доблестью да будет повиновение!» Народ у него сравнивается со «стадом», а стаду читать и не полагается. Мир жалок: он жаждет власти и денег. Грязь восседает на троне, в редакциях газет. Пришло время негодяев. Где же выход, если культура и знания – ничто? В войне! «Мужчина должен быть воспитан для войны». Пусть не боится смерти: «Умри вовремя – так учит Заратустра». Государство – «самое холодное из всех холодных чудовищ». А раз так, то надо покончить с ним.



Альфред Ретель. Смерть-победительница. 1849.

Ницше похож на гладиатора, а не на писателя или философа. Поэтому его философию с восторгом и восприняла гитлеровская солдатня. В нем есть нечто от вагнеровского Зигфрида. Опасные чары Ницше опутают всю Германию. Лишат старые и значимые ценности былой силы. Вызовут из мрака пещеры самые дикие и кровавые инстинкты древнего германца. Возможно, Ницше даже не думал, кто подхватит зажженный им «факел». Вскоре его охватило безумие, перекинувшееся затем, подобно чуме, на значительную часть немецкого народа. [\[614\]](#)

Одно время и в России с пылом воспринимали его идеи. Иные предпочитали славословить Ницше, упиваться им, восхваляя в нем певца борьбы... В статье российского публициста М. Гельрота (1903 г.) оттенен «восторженный гимн жизни как самодовлеющему кумиру» в его творчестве. В реальной жизни, говорили апологеты, царит жесточайшая борьба. В ее итоге «маленький человек» оказывается перед альтернативой: или он вырастет до размеров великой, по крайней мере, вполне значимой личности – или обязан вовсе сойти с исторической сцены. Мировой процесс – бесчеловечен и жесток. Но именно из него-то рано или поздно должна явиться новая жизнь. И дело тут вовсе не в том, что Ницше «дает свою санкцию на веки веков» в дарвиновской борьбе за существование. Прежде всего, Ницше потребовал от социально-политических и экономических отношений высокой требовательности к отдельному человеку и обществу. Кажется, нам явился великий искунитель, не дающий духу окончательно погрязнуть в болоте мещанства. [\[615\]](#)

Вот и поэт Н. Гумилев с романтическим, юным, пылким восторгом пишет «Песнь Заратустры» (1905), в которой воспекает «блаженство мечты», еще не ведая того, чем это «блаженство» обернется против него самого, «сына голубой высоты» когда к власти в России придут те, кого он образно называет в своем стихотворении «не знающими света»:

Юные, светлые братья
Силы, восторга, мечты,
Вам раскрываю объятия,

Сын голубой высоты.
Тени, кресты и могилы
Скрылись в загадочной мгле,
Свет воскресающей силы
Властно царит на земле.
Кольца роскошные мчатся,
Ярок восторг высоты;
Будем мы вечно встречаться
В вечном блаженстве мечты.
Жаркое сердце поэта
Блещет, как звонкая сталь.
Горе не знающим света!
Горе обнявшим печаль!^[616]

Шопенгауэр был недалек от истины, говоря, что слепое желание является подлинной сущностью человека. Разум и рассудок тут отходят на второй план, а в головах бюргеров и обывателей возникает беспредельная торичеллиева пустота. Природа же не терпит пустоты. Это значит – в голове есть место для «вируса». Плодящие, не думающие и тупые поколения, понимают ли они, в какую бездну низвергают Отечество?! Им неспрятаться за фразой – «Recht oder Unrecht – es ist mein Vaterland» («Право оно или нет – это мое отечество»). Стоило бы написать специальный трактат о том отвратительнейшем и губительном влиянии, которое оказывали на умы подрастающего поколения иные реакционные политики, пресса и горе-учителя. Вот уж где подлинные злодеи человечества. Хотя надо признать, что сами народы порой ничуть не менее дики и невежественны, чем их политики и духовные пастыри. Словно подтверждая это, Ницше с вызовом восклицал: «Гуманный учитель обязан предостеречь учеников своих прежде всего от самого себя». Куда там! Большинство «учителей», как мы видим, свято убеждены в своей непогрешимости и избранности. Немудрено, что истинными школами поколений нередко становятся лавки, подворотни, притоны, кабаки или траншеи.

Печальное развитие событий предвидел швейцарский ученый Я. Буркхардт, преподававший в том же Базельском университете, что и Ф.

Ницше (1869). Подобно Ницше, он считал, что стихия темного, жестокого в людской массе может легко опрокинуть корабль цивилизации. В «Размышлениях о мировой истории» Я. Буркхардт предполагал, что в будущем возникнут диктаторские государства, где власти будут попирают все права человека. Демократия может вылиться в апофеоз бандитов и военных. Человечеству в этом случае грозит безусловное усиление военщины. Ни о какой европейской общности в таком случае уже и речи не может быть. Всюду воцарится самый дикий, оголтелый национализм... «В промежутках, однако, будет осуществляться длительная добровольная работа под руководством отдельных фюреров и узурпаторов. В принципы больше не верят, но периодически – в спасителей».^[617]

Фридрих Ницше воспевал превосходство сильной личности, аристократии, капитала и немецкой расы (хотя он был беспощаден и к немцам ничуть не менее, чем к другим народам). Некоторые назовут его певцом откровенного расового господства, величайшим индивидуалистом истории. Но он не одинок. К концу XIX – началу XX вв. в Европе возникла целая расово-антропологическая школа. Заметное место заняла фигура Л. Вольтмана (1871–1907), певца превосходства германской расы. Он пытался также доказать, что будто бы едва ли не все великие творения итальянского, французского и других европейских народов созданы представителями германской расы. При этом в разряд «тевтонов» им были зачислены Данте, Леонардо, Тициан, Монтень, Руссо, Дидро и другие выдающиеся личности. Однако и Ницше (его идеологию) иногда все-таки можно понять... Глядя на бездумную толпу, нередко своими руками копающую себе яму, трудно удержаться от презрения. Мотивировка его работ объяснима (порой они даже притягивают своей удивительной силой). Он бросил вызов этому фальшивому миру, законы которого кучка богачей и власть имущих возвела в высший абсолют и верх совершенства.

В чем тайна столь повального увлечения ницшеанством плебейских масс Германии? Трудно проникнуть в психологию подсознательного, в мир тихой паранойи, в которой свершается вызревание идиотизма немца, русского, еврея. Но пройдет ряд лет, ницшеанские идеи дадут всходы в головах лидеров нацистских банд и штурмовых отрядов. Догмы философа станут материальными

орудиями пыток и палачей. Государственный деятель ГДР А. Абуш в книге «Ложный путь одной нации» писал: «От университета до самой последней деревенской школы учили: «Все величайшие в истории военные политики – прусские, все величайшие творения искусства – германские, самые великие изобретения и самые выдающиеся ученые – немецкие, самая лучшая промышленность – германская, а самые толковые рабочие – немцы. Где на свете организованность и порядок лучше, чем в Германии?.. И наконец, к этой вильгельмовской идеологии, которую тысячи учителей и профессоров насаждали в умах молодежи, присоединялось в качестве бисмарковского наследия преклонение перед одерживающим победы насилием».^[618]

Так что в некотором роде прав и Г. Могилевцев, говоря: «Проект Ницше безусловно впечатляет. И это, заметим, не просто словеса. Недаром ницшеанской программой «перестройки» человека были так зачарованы «носители магического огня» – нацисты в Германии. Эта «скромная идея» кабинетного ученого дорого обошлась Европе: она есть плевельное зерно, из которого выросла грандиозная пирамида – похлеще Тамерлановой – в 50 миллионов человеческих черепов... Феномен владычества идей над человеческим сознанием плохо изучен. Сейчас – в эпоху диктатуры средств массовой информации – этот феномен стараются не раскрывать, а скорее прятать. Но в случае с Ницше связь идеи и ее воплощения может быть тщательно прослежена».^[619] Стоит подчеркнуть, что подобная диктатура не исключена и при демократии, являющейся несколько более «цивилизованной» формой власти плутократии (всех этих денежных «мешков»).

Народ обязан выбирать правителей и идеологов тщательнее, чем будущую супругу. Ведь в случае ошибки с последней можно и развестись. С первыми это сделать труднее. Поэтому к месту критика Ницше русским мыслителем Н. Ф. Федоровым. В серии статей он называл его теорию «аморальной», а его «сверхчеловечество» – «величайшей ложью». Ницше наплевать на народы, да и на большинство человечества. Его занимает судьба так называемых гениев. Гении важны, спору нет. Однако как жить в нашем мире обычным смертным? Элементарно. Всю эту толпу, считает Ницше, надо бросить, предоставив ее самой себе. В мире есть лишь «сверхчеловеки» и «сволочь». Важно уберечь и сохранить первых.

Остальные пусть сдохнут в ходе естественного отбора! Одним – древо жизни, другим – древо смерти. «И вот эта-то карикатура должна будто бы сделать жизнь достойною, божественною!»^[620]

Как же можно подобную дику и жестокую карикатуру предлагать в качестве основы для политических институтов великой страны?! А если получится так, что к власти в стране как раз и придет «эта сволочь»?!

Попытался ответить на вопрос о сути этики Ницше и английский философ Б. Рассел. Он также подчеркнул, что его «благородный» человек полностью лишен сострадания, безжалостен, хитер, зол и занят лишь своей собственной властью. На наш взгляд, в его философии воплотилась сущность капиталистического индивидуализма (в самом вульгарном и диком виде). Эта «биологически высшая раса», этот «брильянтовый Король Солнца» (выражаясь словами одного сумасшедшего, о котором пишет в своих наблюдениях К. Ясперс) выглядит достаточно зловеще. Тот же Ницше считал, к примеру, что «счастье простого народа не является частью добра как такового». Более того, он ненавидел простой люд. Его интересуют одни лишь «наполеоны». Б. Рассел отмечает, что для Ницше «Линкольн – жалок, Наполеон – велик». В лице этого философа мы имеем дело не столько с трагедией «больного затворника», сколь со страшной болезнью, имя которой капитализм. Болезнь эта ныне широко распространена, не являясь наследственной болезнью человечества. Заключительный вердикт Рассела: «Мне неприятен Ницше потому, что ему нравится созерцать страдание, потому, что он возвысил тщеславие в степень долга, потому, что люди, которыми он больше всего восхищался, – завоеватели, прославившиеся умением лишать людей жизни... Ницше презирает всеобщую любовь, а я считаю ее движущей силой всего, чего я желаю для мира. У последователей Ницше были свои удачи, но мы можем надеяться, что им скоро придет конец».^[621] Надежды на их «скорый конец» все же слегка преувеличены.

Ницше считал свою философию введением в начало новой эры. Он ждал от XX в. перемен и сдвигов (по сравнению с прошлым). «Кулисы мирового театра могут еще какое-то время оставаться старыми, разыгрывающаяся пьеса уже другая. Исчезновение при этом прежних целей и обесценение прежних ценностей воспринимается

уже не как голое уничтожение и не оплакивается как ущерб и утрата, но приветствуется как освобождение, поощряется как решительное приобретение и понимается как завершение». Как писал немецкий философ Мартин Хайдеггер (1889–1976), Ницше прямо увязывал все бытие Запада с нигилистической философией. Суть ее идей, ее движения состоит в осознании факта смерти христианского Бога.

Нигилизм Ницше предполагал не только отсутствие веры в христианского Бога. С этим большинство рациональных европейцев и американцев смирилось, воспринимая образ Господа как некое туманное явление, напоминающее свет давным-давно погасшей звезды. Философ М. Хайдеггер так оценил это событие: «Это начало серьезного отношения к вышеупомянутому «событию»: «Бог умер».

Подобные настроения тогда входили в обиход.^[622] Антихристианство Ницше не так примитивно и прямолинейно, как это кажется на первый взгляд. Можно верить в Бога – но не принимать Церковь (за ее оправдание зла и выдачу индульгенций властям). Ницше, разумеется, ощущал необходимость веры как источника надежды. Однако никак не мог соотнести чаяния людские с делами Церкви. По словам Е. Трубецкого, это и было «тайной мукой его атеизма». Бердяев вообще-то верно говорил: «Как понять в глубине отношение Ницше к христианству? Он был врагом христианства, считался самым страшным его врагом, писал о христианстве очень дурно и несправедливо, написал «Антихриста» – самое, вероятно, слабое из своих произведений. Но Ницше был вместе с тем человеком, раненным Христом и христианской темой. Антиэрос был связан с эросом. Он боролся с Христом, но боролся как человек, для которого Христос был дорог в самой глубине его существа. Уже в состоянии безумия он подписывал свои письма: «Раненный». У него, несомненно, есть сильный христианский элемент, хотя и извращенный».^[623]

Ницше ощущал близость духа двух наших рас и народов. Ведь отдаленными его предками были Ницкие. Они жили в Польше, относя себя к славянам. Может быть, отсюда огромный интерес «шляхтича философии» к культуре России. Ницше сделано было однажды удивительное признание, которое редко услышишь из уст горделивой и самовлюбленной Европы: «Я обменял бы все счастье Запада на русский лад быть печальным». Особенно знаменательным и важным

представляется высказывание, которое можно считать его политическим духовным завещанием. Сравнив две «цивилизации» – русскую и западноевропейскую, – он, словно молотом, вбивает в головы политиков и идеологов Запада поистине пророческую фразу: «Мелочность духа, идущая из Англии, представляет нынче для мира великую опасность. Чувства русских нигилистов кажутся мне в большей степени склонными к величию, чем чувства английских утилитаристов... Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе, которая не допустит в России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего! Сращение немецкой и славянской расы».^[624]

Некоторым в России мысль эту неплохо бы усвоить *ab incunabulis!* (с пеленок). Однако такое «сращение» не может быть слепым волевым актом, актом насилия или подчинения.

Понятно, что иные славяне не могли оставаться равнодушными к этому Вотану философского царства... Поэт и мыслитель А. Белый, влюбленный в Ницше, постоянно возивший с собой наряду с «Евангелием» его книгу «Так говорил Заратустра», посетил могилу философа близ Лейпцига, с которой и взял, словно священную ветку Палестины, сорванные листики неумирающего плюща. Кстати говоря, изречение Ницше украсило фронтоны построенной в Москве на рубеже столетий гостиницы «Метрополь», над которой потрудились М. Врубель и Ф. Шехтель (1900), а украинский поэт Максим Рыльский (1895–1964) посвятил философу прекрасный сонет «Ницше», выразив в нем душевный трагизм и величие мыслителя.

Людей и змея, солнце и орла
Благословил он на высотах чистых:
Добро и мудрость, свет и мощь крыла —
Для бурь, для счастья, для вершины льдистой.
Чело ему безумьем обвила
Змея: тогда из суемудрых истин
Больная мысль помалу проросла, —
Орел упал на землю в сумрак мгlistый.
Здесь он пред солнцем на колени встал, —
Но посмеялось и оно надменно, —
И он умолк, не раскрывал уста.

Любви лишившись, отрешась от гнева,
Ушел он в тень, где не звучат слова,
Где гнев безжизнен и любовь мертва. ^[625]

Если Фридриху Ницше самой судьбой было уготовано (на какое-то время) стать властителем дум немецкой расы, то

Зигмунду Фрейду (1856–1939) довелось выступить в роли мастера сновидений и психологии. Прежде чем стать основателем психоанализа и знатком человеческой психики, он все же успел потренироваться на миногах, рыбах и раках...

О ранних годах его жизни и учебы известно следующее. Родом из семьи торговцев. Лучший ученик в классе 5 лет подряд, Фрейд закончил один из самых авторитетных медицинских факультетов Европы в Венском университете в 1881 г. и спустя 9 лет получил диплом доктора. Перед нами предстает одаренный юноша, читавший на шести языках, не считая латыни и греческого. Увы, все мечты о науке пришлось на время забыть. Наукой в Вене могли заниматься в те годы лишь богатые люди.

Он прошел хорошую школу у профессора Э. Брюгге, одного из светил тогдашней Европы. Тот внушал ему: «Опоздать к началу работы – значит не подходить для своей работы». Тогда еще других причин для отстранения от места не было. Хотя антисемитизм поднимал голову. Появилась статья профессора Бильрота «Медицинская наука в германских университетах», чернившая евреев и обвинявшая их во всех смертных грехах.

Ему же пришлось зарабатывать на жизнь врачебной практикой. После получения докторской степени и субсидии он уехал в Париж, где познакомился с врачом-психологом Ж. Шарко. О нем говорили, что он исследует человеческое тело, как Галилей исследовал небо, Колумб – моря, Дарвин – флору и фауну Земли. Шарко, собственно, и стал его учителем в области неврологии. Американский писатель И. Стоун отмечал: «Как интеллеktуал, проведший годы взросления в физиологической лаборатории профессора Брюкке и в городской больнице, он был знаком лишь с серьезной, научной Веной, совершенно отличной от простонародной Вены, от Вены, где царил дух гениальных композиторов, – Моцарта, Бетховена, Шуберта,

пляды Штраусов, мелодичная музыка которых украшала жизнь венцев».



Зигмунд Фрейд.

Фрейд влюбился, и его жизнь украсила избранница, которую он увлек своими пламенными рассказами о мужских половых железах морского угря. [\[626\]](#)

Психотерапия известна давно (целители, маги, шаманы, предсказатели)... Как предмет экспериментального исследования, она получила распространение в конце XVIII в. с появлением работ Месмера и его опытов («животный магнетизм»). Франц Месмер (1736–1815), доктор медицины Венского университета, вынужден был покинуть Австрию «из-за слишком большой смелости и необычности своего учения и врачебных методов».

В 1778 г. он приехал в Париж, где и стал пропагандировать теорию существования и действия универсального флюида. Говорят, он вдохновлялся тайными учениями франкмасонов. Месмер полагал, что его теория основана на физиологии и близка к теориям электричества или магнитов. Не углубляясь в психоаналитические

дебри, заметим, что с его появлением магнетические сеансы стали еще и модной салонной игрой. Свет был буквально им очарован. Он пытался и Людовика XVI обратить в свою веру. Им овладела «потребность властвовать над больными». [627]

Врачи и политики очень близки своими мотивациям. Те и другие предлагают свои способы лечения. У них те же пациенты, клиентура и даже одни и те же болезни. Зачастую трагически схожи и итоги воздействия.

Психоанализ стал наукой, ибо мир усложнился, а человек оставался все таким же слабым и незащищенным существом. Жизнь, теряя последние остатки патриархальности и природного естества, становилась стремительнее, напряженнее. Нервы и психика не всегда выдерживали этот бешеный темп. Родившись в Вене, этом «самом сладострастном и сексуальном городе», психоанализ быстро распространился по всему миру. И, как нам представляется, не случайно эту науку ждал наибольший триумф в США и России, где ритм жизни был особенно высок и суров. В своей вступительной лекции «Введение в психоанализ» З. Фрейд сравнивал работу психолога с работой философа, историка и писателя. Это верно. Ведь и Гете назвал поэзию «дневником душевного состояния». Психоанализ – это попытка врача спасти человека от его самого, от комплексов и переживаний, которые преследуют его всю жизнь. Видно, так некогда и Геракл вознамерился вернуть к жизни Алкестиду, забрав ее у бога смерти Таната, пившего кровь из тела своей жертвы. Фрейд говорит, что сексуальные влечения играют невероятно большую роль в жизни человека, ибо, помимо доставленных физических наслаждений, участвуют в создании самых что ни на есть высших культурных, художественных, социальных ценностей человеческого духа. Их вклад нельзя недооценивать. Но одновременно те же сексуальные влечения являются причиной возникновения многих нервных и психических заболеваний. «Мы считаем, что культура была создана под влиянием жизненной необходимости за счет удовлетворения влечений, и она по большей части постоянно воссоздается благодаря тому, что отдельная личность, вступая в человеческое общество, снова жертвует удовлетворением своих влечений в пользу общества. Среди этих влечений значительную роль играют сексуальные; при этом они сублимируются, т. е. отклоняются от своих сексуальных целей и

направляются на цели более высокие социально, уже не сексуальные. Эта конструкция, однако, весьма неустойчива, сексуальные влечения подавляются с трудом, и каждому, кому предстоит включиться в создание культурных ценностей, грозит опасность, что его сексуальные влечения не допустят такого их применения.



Реннер П. Иллюстрация к немецкому изданию «Приятных ночей». 1908.

Общество не знает более страшной угрозы для своей культуры, чем высвобождение сексуальных влечений и их возврат к изначальным целям».^[628] Если же упростить проблему до примитивизма, перед каждым творцом встает в жизни беспощадный, кажущийся наивным вопрос: «Что ты выбираешь в жизни для себя – секс или культуру?» Сразу почему-то вспомнился роман А. Моравиа «Я и он», где автор подробнейшим образом рассказывает, как, несмотря на все попытки действовать согласно с голосом разума, веры, культуры и цивилизации, он почему-то все время уступал своему надоедливому пенису.

У Фрейда была и своя философия. Видимо, ее суть – создание монументальных фигур Эроса и Танатоса как главных божеств, которым поклоняются человек и общество. Связав ум и гениталии, он сделал человека более похожим на самого себя (в его животной ипостаси). Шопенгауэр писал: «Половые органы являются настоящим фокусом воли и, следовательно, противоположным полюсом мозга, представителя познания, т. е. другой стороны мира». Многие восприняли идею буквально. «Сверхчеловек» Ницше – уродливый обрубок, физический и нравственный калека. Фрейд же, напротив, счел ум второстепенным, зависимым – и тем самым обрек нас на жизнь-сновидение, на долгое бесцельное копание в «либидо». Хотя он частично прав, подчеркивая, что именно из биологического и социального складывается вся «диалектика организма». [629]

С. Цвейг назвал его вторым великим разрушителем древних скрижалей после Ницше, антииллюзионистом, проникающим в святая святых культуры, цивилизации, морали, прогресса. Однако есть в психоанализе и родовые оттенки, которые нетрудно разглядеть, читая некоторые произведения Фрейда. Как еврей он нес в себе весь комплекс надежд, чаяний, страхов, предрассудков и упований талантливого народа. По словам врача, сновидения в психологическом анализе служат «первым звеном» в ряду аномальных психических феноменов, объясняющих поведение индивида, но они же с не меньшим успехом дают ключ к поведению и вполне здоровых людей.

К примеру, Фрейд в «Толковании сновидений» вспоминал, как во время его рождения какая-то крестьянка предсказала матери, что та подарила жизнь великому человеку. Не отсюда ли явилось честолюбие юноши? Тем более что в семье любили горделиво повторять, что у Фрейдов рождаются одни великие личности. Дополним эту сцену. Находясь в ресторане с родителями, Зигмунд стал свидетелем того, как импровизатор напроорочествовал ему быть министром.

Тогда открывалась эпоха гражданских министерств, и «каждый подававший надежды еврейский мальчик видел перед собой» в воображении министерский портфель. Как вы помните, еврей Дизраэли стал премьером Англии, лордом Биконсфилдом, а королева Виктория даже воздвигла ему памятник на свои средства.

Дизраэли призывал англичан голосовать на выборах за евреев: «Вы своих детей учите истории евреев; в праздники вы читаете

рассказы о подвигах еврейского народа; по воскресеньям, когда вы желаете вознести хвалу Всевышнему или найти утешение вашей скорби, вы ищете выражения этих чувств в песнях еврейских поэтов. И чем сильнее и искреннее ваша вера, тем более вы должны стремиться воздать эту необходимую справедливость».^[630] Правда, его талант и красноречие не убедили англичан в том, что для великой империи полезно держать главой страны еврея... Ему хотя и воздвигли памятник, но впредь уже никогда не повторяли подобного. Мечта была чистой утопией. И тогда Фрейд занял кресло министра в сновидении.

Или другой пример. Фрейд в школе то и дело вспоминал великого полководца древности Ганнибала. Казалось, что еврею-гимназисту до какого-то там Ганнибала?! Дело, оказывается в ином. Ганнибал сам по себе – пустяк. Раса (Карфаген основали семиты-финикийцы) – вот что главное! Хотя он и уверяет, что раса, мол, не имеет значения для характеристики индивидуального психоанализа («Очерк истории психоанализа»), но в «Толковании сновидений» откровенно скажет: «Ганнибал, с которым есть у меня сходство, был любимым героем моих гимназических лет; как многие в этом возрасте, я отдавал свои симпатии в пунических войнах не римлянам, а карфагенянам.

Когда в старшем классе я стал понимать значение своего происхождения от семитской расы и антисемитские течения среди товарищей заставили меня занять определенную позицию, тогда фигура семитского полководца еще более выросла в моих глазах. Ганнибал и Рим символизировали для юноши противоречие между живучестью еврейства и организацией католической церкви». Какой еврей не хочет быть Ганнибалом! В основе философии лежит «комплекс Эдипа» – не только стремление выжить (что естественно), но царить и безраздельно властвовать, т. е. «быть Ганнибалом».^[631] Ганнибальские устремления евреев легко становятся каннибальскими!

Иллюзии свойственны были не только Фрейду. К. Ясперс в «Ложных восприятиях» справедливо говорит, что общим для всех иллюзий является содержание в них действительных элементов реального восприятия... Скажем, нам вполне понятно стремление того или иного политика «стать министром» или даже «президентом». Но полнейшее безумие и патология, когда «блестящий металл принимается за золото, а главврач за прокурора» (Ясперс).^[632] И уж

тем более нужно быть патологическим глупцом, чтобы принять за Петра Великого или, скажем, Александра-Освободителя полное убожество, сидевшее недавно на троне в Кремле. За такового его могли принять разве что пациенты той же палаты «психиатрической лечебницы».

Фрейд – это современный Самуил, пытающийся организовать новую школу «пророков». Он так и представлял себя во глубине души. И когда один из его научных последователей предложил перевести его труды на английский, он милостиво воспринял такой аргумент Брилла: «Как я начну проповедовать новую религию (психоанализ) в Нью-Йорке, если у меня нет Священного Писания? В конце концов у евреев был их Ветхий завет, у христиан – Евангелие по Матфею, Луке и Марку, у мусульман – Коран...» А русский писатель В. В. Набоков довольно-таки точно назвал Фрейда «венским шаманом». Фрейдизм как явление с недавних пор стал популярен в определенных околокультурных кругах.

Популярность Фрейда наиболее велика была в Соединенных Штатах Америки. Патриарх американской психологии У. Джемс даже заявил по приезде в США: «За вами будущее!» Возможно, причиной стало то обстоятельство, что американцы, более чем кто-либо еще на нашей Земле, нуждались и нуждаются в постоянной помощи психиатра. По данным статистики, нигде нет столь массовых примеров извращенного сознания, немотивированных и массовых убийств и самоубийств, последствий тяжелых стрессов. В книге «Неудовлетворенность культурой» (1930) он писал об ограниченности нынешней культуры, подчеркивая, что человечеству все больше начинает сегодня угрожать психологическая и культурная нищета масс («в Америке особенно»).

В какой-то мере он стал «наследником Просвещения», естественнонаучного материализма и позитивизма века. Но, думается, в нем скорее проявились черты ограниченного просветителя, не очень-то верящего в просвещение, материалиста, убегающего в страхе от первого же намека на его присутствие, позитивиста, считающего позитивным в нашей жизни лишь воздействие злополучного *libido* («похоть, страсть» – лат.). Возможно, в медицине он пробил брешь «в китайской стене старой психологии» (С. Цвейг). Тогда правомочно задать и другой вопрос: «А может быть, он заодно пробил брешь и в

самой культуре?» Фрейд рассматривал культурное развитие «как борьбу человеческого рода за выживание», называя это «битвой гигантов».^[633]

Как и другие видные ученые той эпохи (Ницше, Лебон), Фрейд, разумеется, не мог пройти мимо роли масс и личности в современной истории... Еще Г. Лебон, описывая характер массовых индивидов, обнаружил некоторые новые качества в их поведении. В массе, в силу ее множества, индивид может испытывать чувство некой неодолимой мощи. Тогда же возникает атмосфера анонимности и коллективной безответственности. В ней на первый план выступают расовые, классовые или эгоистичные побуждения. Психологические надстройки сдерживания трещат и рушатся. Наружу выплескиваются дикие инстинкты. Толпа заразительна к вихрям коллективного безумия. Но главным отличительным признаком индивида в массе становится исчезновение в нем сознательной личности, бессознательное же начало – преобладающим. «Индивид не является больше самим собой, он стал безвольным автоматом». В итоге принадлежности к массе человек спускается на ряд ступеней ниже по лестнице цивилизации. «Будучи единичным, он был, может быть, образованным индивидом, в массе он варвар, то есть существо, обусловленное первичными позывами» (Лебон). Получалось почти по Шиллеру:

Каждый, когда видишь его отдельно,
Как будто и умен и разумен,
Но если они *in corpore*,
То получается дурак.

Фрейд писал, что масса не знает ни сомнений, ни неуверенности, быстро доходит до крайности, крайней антипатии и дикой ненависти. Она взбалмошна и нетерпима, ибо не сомневается в истинности своих ощущений. Массе не знакома жажда истины. Ей нужны иллюзии, без которых она не может существовать. Стаду всегда нужен вождь и господин! Фрейд согласен с предположением Ч. Дарвина, что первобытной формой человеческого общества была орда, в которой полностью господствовал сильный самец (вождь и отец). В «Массовой психологии» Фрейд так писал об отце первобытной орды: «На заре

истории человечества он был тем сверхчеловеком, которого Ницше ожидал лишь от будущего. Еще и теперь массовые индивиды нуждаются в иллюзии». [634]

Своего рода иллюзией является и религия. Фрейд понял: «религия – это огромная власть, на службе у которой состоят самые сильные человеческие эмоции». Он ложно противопоставил религию и науку: «Из трех сил, которые могут поспорить с наукой, только религия является серьезным врагом». Признавая важность религии как массового чувства, Фрейд пытался обозначить, что же она все-таки дает людям. А дает она им не только объяснение их происхождения, но и защиту, доставляя им счастье «среди всех превратностей жизни». Религия направляет убеждения и действия людей, обеспечивает их предписаниями и советами. Из трех основных ее функций, думается, именно вторая – обещающая и примиряющая – и является главной. Проблема в том, что зримые плоды ее трудов слишком часто отнесены в бесконечность (царствие Небесное). [635]



Демоны души, или Тайны бессознательного.

Фрейду вручат премию имени Гете за работу «Неудовлетворенность культурой» (1930). Он достиг славы и известности. И может быть, даже не столько в науке, сколько в

культуре. Нобелевской премии за медицину ему ведь так и не присудили. Многие ученые утверждали, что в психоанализе больше искусства, чем науки. 3. Фрейд писал коллеге: «Из всех областей приложения психоанализа действительно процветает открытая Вами область образования».^[636] Сегодня психоанализ широко распространен.

Вена стала своего рода невротическим центром Европы, откуда исходили мощные импульсы психоанализа, психотерапии, а порой слабоумия и психоза (в тех краях появился на свет и Гитлер). Кроме Фрейда, в Вене трудились два «великих еретика» психоаналитического движения – Альфред Адлер и Карл Густав Юнг. Фрейд создал первую Венскую школу психотерапии, «индивидуальная психология Адлера» станет второй. К. Г. Юнг отмечал, что для Фрейда психологическая жизнь не что иное, как следствие, реакция на влияние среды.

Адлер исповедовал диаметрально противоположную теорию. Причины людских поступков и болезней объясняются из анализа того, что впереди, что составляет их намерения и тайные цели. Тут важны принципы, так сказать, финалистские установки самой личности. Фрейдистский тип – пассивен и инфантилен, адлеровский – активен и агрессивен.^[637] Третьим в компании «великих еретиков» стал Виктор Эмиль Франкл, также дитя Вены, прошедший через ад гитлеровских лагерей смерти. Он наиболее критичен к фрейдизму, потому, видимо, что ближе был к реалиям жизни. В нем есть нечто от человека эпохи Возрождения, от великого еврейского мудреца Гиллеля. Не отменяя серьезности задач психоанализа (значение его в ряде случаев велико), нельзя не сказать и о том, что многие мотивы фрейдистского направления стали чистой модой. Врач-психолог стал чем-то походить на гинеколога. Он, похоже, совершенно перепутал сферы и объекты своих занятий. Поэтому иные психоаналитики копаются в интимной жизни Гете, Пушкина или Чайковского с большим рвением, чем в самом характере великого человека. Их интересуют склонности к инцесту, фетишизму, импотенции, гомосексуализму, нарциссизму, истерии, депрессии и паранойи.

Этот идиотизм в начале XX в. еще не столь явно проявился, нежели мы это видим сегодня. Но признаки гниения и распада западной цивилизации были видны уже тогда. Прав ученый У. И. Томпсон, выставляя ряд претензий «мастерам культуры». Он пишет:

«Если наиболее образованные люди нашей культуры продолжают рассматривать гениев как скрытых половых извращенцев, если они продолжают думать, что ценности – это особые фикции, нормальные для обычных людей, но не для умного ученого, который лучше знает, как обстоит дело, можно ли бить тревогу по поводу того, что массы в нашей культуре выказывают мало уважения к ценностям и вместо этого погружаются в оргии потребления, преступления и безнравственности?»^[638]

Можно спорить по поводу того, является ли западная культура конца XIX–XX вв. высокой. Однако вряд ли кто-либо усомнится в том, что морально-нравственный климат современных обществ оставлял и оставляет желать лучшего, а пропасть между теми, кого называют простым народом и элитой не только не уменьшилась, но стала еще более глубокой. Вряд ли случайно, что те же психологи, историки, писатели стали применять к высокой культуре и цивилизации понятие «дегенерация» (И. Блох). Понятно, если, скажем, Юпитер немецкой поэзии Гёте был увлечен десятками женщин. Ведь он и в 75 лет смог внушить страсть 18-летней Ульрике Левецов (та даже едва не стала его женой).

Но вскоре иные выдающиеся мастера культуры прониклись идеей разрушения, гибели, порока и извращения. Пикассо стал искать удовлетворения не в истинной любви, а в ее подмене. Как писала А. Стасинопулос-Хаффингтон, он увидел в любовных приключениях лишь возможность экспериментировать. Пикассо подразделял женщин на «богинь» и «половые коврики». При этом он обожал превращать первых во вторых. Его любовницами становились жены его близких друзей (часто с их ведома и согласия). «Каждый раз, когда я меняю женщину, – писал Пикассо, – я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом я от них избавляюсь».

Самым ярким символом эпохи стал Габриэле д'Аннунцио (1863–1938), автор «Невинной» (1891), «Триумфа смерти» (1894), сборника стихов «Весна» (1898). Он – гордость провинции Аbruццо и Италии. Родился в г. Пескара, в семье мэра. Край божественный. Берег тут омывает Адриатика, а вдаль видны отроги гор. Впоследствии Д'Аннунцио опишет свою юность в книге «Италия итальянцев». Уже в молодые годы он заслужил славу донжуана. Будучи человеком богатым, он не отказывал себе в удовольствиях, тратя огромные суммы

на одежду, слуг и женщин. Расточительность и привела его к банкротству. Он бежал от кредиторов во Францию. В годы Первой мировой войны сражался как авиатор, проявив чудеса храбрости. Пуля выбила ему левый глаз, но Д'Аннунцио встал во главе отряда из 12 тыс. солдат, захватил г. Фиуме и два года удерживал его.

Это была героическая и эксцентричная личность. Он завидовал Эмпедоклу, якобы окончившему жизнь в жерле вулкана. Его преследовали дикие и фантастические мечты. То он желал, чтобы его телом выстрелили из пушки (как у Мюнхгаузена), то мечтал, чтобы умертвили, погрузив в кислоту. Но наибольшую известность он получил как жрец эротики. Он любил всех – от юных красавиц до юношей и лесбиянок. Уже в преклонном возрасте он посылал слуг в окрестные деревни, дабы те приводили к нему новых девушек и женщин, чья «новизна стимулировала его фантазию».

Тем не менее все женщины буквально сходили от него с ума. Религиозно настроенная графиня Манчини сошла с ума и попала в психиатрическую лечебницу. Дочь премьер-министра Италии, маркиза Карлотти, брошенная им, оставила семью и постриглась в монахини. Надо отдать должное Д'Аннунцио: он умел привлечь внимание женщин. Красавицу-актрису Барбару Леони он увлек не только изощренными ласками, но и тем, что в каждую их встречу в течение пяти лет осыпал обнаженную диву лепестками благоухающих роз, записывая любовные ночи во всех деталях и подробностях (сюжет лег в основу «Невинной»). Среди его увлечений была и актриса Элеонара Дузе. Он любил общаться с ней даже после ее смерти, стоя перед статуей Будды. Пытался Д'Аннунцио покорить и Айседору Дункан. Та встретила его ночью под звуки Траурного марша Шопена, при свечах и белых лилиях, но в любви предпочла ему русского поэта Сергея Есенина.

В обязанности историка входит и решение наитруднейшей задачи: восстановления прерванной связи времен... Здесь я говорю о том, что Я. Буркхарт называл «духовным континуумом» человеческого бытия. Дело в том, что общество и человек постоянно раздираемы между желанием, с одной стороны, узнать правду и истину, и с другой – увидеть события и факты такими, какими они им представляются, – в желанном и выигрышном для них свете. Люди вообще, а сильные мира сего особенно, крайне тенденциозны. Свои поступки, желания,

помыслы, действия они тут же проецируют на общую картину мира. События мировой, гражданской истории воспринимаются ими сугубо через хрусталик собственного «Я». При таком взгляде многое может быть воспринято в совершенно неверном свете: тогда дьявол становится ангелом, алчный – бесребреником, палач – гуманистом, мерзавец – душкой.

Все осложняется тем, что с «эпохи революций» (конец XVIII, XIX и, разумеется, XX вв.) история и истина все время сталкиваются с опасностью быть изнасилованными капиталом, обществом или властью. Любой критический и серьезный труд воспринимается теми и другими, как подрывной манифест... Буркхардт отдавал себе отчет в опасности такого ненормального положения. Ведь тем самым под угрозой оказывается «единство человеческого», сама история. Он писал (1842): «В отношении истории разрыв между наукой и жизнью начинает постепенно ощущаться, ибо становится ясным, что история должна вливаться в современность; однако по-настоящему она этого не делает. Но односторонность современности в том и заключается, что она хочет иметь лишь тенденциозную историю...».^[639] Властители мира всегда предпочитали такую историю, ибо осознание иной требует недюжинного ума.

Достоинства и заслуги капитализма в деле организации мирового хозяйства, развития техники и образования не могли не сказаться на человеке. С одной стороны, это дало возможность использовать колоссальные резервы общества, человека и природы для накопления богатств, строительства новых городов, дорог, зданий, развития и улучшения сферы услуги. Капитализм учит поклоняться буржуазной житейской мудрости (капитал, собственность, власть, благополучие). Европейцы всегда были и оставались утилитаристами и прагматиками, хотя им порой не чужды идеалистические и романтические порывы.



Габриэль Д'Аннунцио, один из крупнейших поэтов и писателей Италии.

А. Шопенгауэр писал: «Важный пункт житейской мудрости состоит в правильном распределении нашего внимания между настоящим и будущим, чтобы ни одно из них не вредило другому. Многие слишком живут в настоящем: это – легкомысленно. Другие слишком поглощены будущим: это – тревожные и озабоченные. Редко кто сохраняет здесь надлежащую меру... Ибо здесь человек сам отнимает у себя все свое существование, так как все время живет лишь *ad interim* («предварительно»), – пока не умрет. Таким образом, вместо того чтобы исключительно и непрестанно заниматься планами и заботами относительно будущего или предаваться тоске о прошлом, мы никогда не должны бы забывать, что одно только настоящее реально и только оно достоверно; будущее же почти всегда слагается иначе, чем мы его воображаем, да и прошлое было иным, притом и то и другое, в общем, менее содержательно, нежели нам кажется».^[640] Запад живет днем нынешним. Он не строит иллюзий и не предается далеким мечтаниям. В этом заключена сила его, но в этом же и Кашеева слабость. Русские живут мечтой, меньше думая о настоящем. Нужна золотая середина.

Капитализм – это талантливейший Гефест, обладающий могучими мускулами и широкой грудью. Однако в нравственном отношении он, как и его мифологическая копия, некрасив и хромоног. Человек для него – прах. Он воспитал в миллионах могильщиков человечества. В классическом труде М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) ему дана такая нелюбимая характеристика: «Современный капиталистический хозяйственный строй – это

чудовищный космос, в который каждый отдельный человек ввергнут с момента своего рождения и границы которого остаются, во всяком случае для него как отдельного индивида, раз навсегда данными и неизменными. Индивид в той мере, в какой он входит в сложное переплетение рыночных отношений, вынужден подчиняться нормам капиталистического хозяйственного поведения; фабрикант, в течение долгого времени нарушающий эти нормы, экономически устраняется столь же неизбежно, как и рабочий, которого просто выбрасывают на улицу, если он не сумел или не захотел приспособиться к ним. Таким образом, капитализм, достигший господства в современной хозяйственной жизни, воспитывает и создает необходимых ему хозяйственных субъектов – предпринимателей и рабочих – посредством экономического отбора».^[641]

Какова же в этой связи роль образования? Сам Вебер, будучи выпускником Гейдельбергского университета и питомцем бисмарковской философии, тяготел, скорее, к авторитарному типу личности и общества. Обратим взор к его теории познания социальной жизни. Как же видит он «идеальный тип» (то есть «интерес эпохи, представленный в виде теоретической конструкции»)? Этот тип испытал на себе влияние ряда представителей классической немецкой философии (от Гегеля до Ницше). Поэтому его идеалы можно представить в виде сложного гибрида прусского философа и Бисмарка (последнего он выделял как харизматическую личность). Впрочем, нельзя не признать, что Вебер, обладавший немалой культурой и тонкой интуицией, кажется, внутренне уже тогда почувствовал, куда начал склоняться немецкий народ («к ефрейтору»).

Интересно и то, о чем Вебер говорил в докладах «Политика как призвание и профессия» и «Наука как призвание и профессия», прочитанных в Мюнхенском университете (1918). Современное государство – это такое сообщество, внутри которого действует «монополия легитимного физического насилия». Слова Вебера применимы ко многим странам, к Германии, США, Англии, России. Не зря же он не только приводит слова Троцкого «Всякое государство основано на насилии», но и соглашается с ними. В основе подчинения и управления – не какие-то отвлеченные категории, но страх и личная выгода. Вебера занимает тип господства, основанный на преданности людей, подчиняющихся «харизме» вождя. Таковой может быть

выдающимся вождем на войне или выдающимся демагогом в народном собрании (в парламенте).

Вождизм как явление встречается во все исторические эпохи и во всех регионах мира. Особенностью Запада стало то, что подобный тип власти нашел яркое выражение в вождизме политика, «в образе сначала свободного «демагога», а затем – в образе парламентского «партийного вождя», выросшего на почве конституционного государства, укорененного тоже лишь на Западе. В реальной обстановке между политической практикой в Германии, США, Франции, России нет больших различий, ибо везде есть схожие отделения «штабов управления» в лице чиновников, с их отчуждением от основной массы работников и производителей. Там и тут правит бал одна и та же могущественная плутократия – солдаты кабинетов.

Вебер считал: реакция может прийти к власти разными путями – в результате демократической процедуры или революции. «Революции это удалось по меньшей мере в том отношении, что на место поставленного (gesetzten) начальства пришли вожди, которые благодаря противозаконным действиям или выборам захватили власть и получили возможность распоряжаться политическим штабом (людьми) и аппаратом вещественных средств...» Для чего и во имя чего идут в политику? Ответ ясен и очевиден: прежде всего, ради того, чтобы «жить и «за счет» политики, то есть использовать свое политическое господство и в частных экономических интересах»... Все же заместить промышленника, предпринимателя, врача, ученого, инженера, писателя, учителя трудно прежде всего в силу их профессионализма. И чем более талантливыми и яркими они являются, тем «реже возможна замена». С политиком проще, ибо многие самочинно считают себя таковыми. Потому и легче найти «для пустых дел» болтунов и демагогов. Когда же профессиональный политик стал чиновником, он получает солидное вознаграждение. Это почти то же самое, что чаевые и взятки... Он «может получать твердое жалованье как редактор, или партийный секретарь, или современный министр, или политический чиновник». Весь трагизм и уродливость подобной системы заключается в том, что она создана по принципу личной преданности окружения харизматическому лидеру. Чтобы попасть на самый верх, вовсе не нужно ни большой культуры, ни

глубоких знаний. Даже министром можно стать, «не посетив никакого высшего учебного заведения».

Кто такой министр? Это – глава политического аппарата (аппарата насилия). Такое всемогущее политическое чиновничество (в Англии около 2000 человек живут за счет правящей партии) просто не может не быть враждебным народам (будь то Германия, Англия, США, Франция, Россия). «В этом отношении и нынешняя структура революционного государства, дающего абсолютным дилетантам в силу наличия у них пулеметов власть в руки и намеревающегося использовать профессионально вышколенных чиновников лишь в качестве исполнителей, – такое государство вовсе не представляет собой принципиального новшества». Перспективы подобного господства не обнадеживают. Вспомним об этом, говорит Вебер, через 10 лет. К тому времени «уже немало лет будет господствовать эпоха наступившей реакции». [\[642\]](#)

Жаль, что Вебер не остановился подробнее на роли крупных финансистов и банкиров при формировании правительств и высших чиновных структур. Деньги и пресса точно так же приводят к власти дилетантов и воров, что вдобавок к своему профессиональному убожеству еще и абсолютно не способны видеть жизнь народа в реальном свете.

По мере обретения немцами государственно-имперской мощи в технике, культуре, экономике, образовании проявлялись весьма специфические черты нации, хотя мысль о том, что культура на определенном этапе, не укрепившись в социуме, вполне может свернуть с прямой дороги цивилизации, известна была давным-давно. Да, но где она, столбовая дорога цивилизации? Если под «столбовой дорогой» понимать развитие техники и науки, то немцы взяли верный курс. Достаточно назвать такие имена в фундаментальных науках, как Гельмгольц, Рентген, Кундт, Эйнштейн и др.

Вильгельм Конрад Рентген (1845–1923), выдающийся немецкий физик-экспериментатор, окончил Цюрихский политехникум, где получил диплом инженера-механика, а затем, защитив степень доктора философии, стал ассистентом А. Кундта. Вот как о нем вспоминал его ученик В. Фридрих: «Тот, кто был лично знаком с Рентгеном, испытывал чувство, что находится рядом с человеком поистине великим. У него была необычайно импонирующая, приятная

внешность. Рентген был высокого роста, обладал в высшей степени изящной головой ученого, его взгляд был всегда серьезным, почти строгим. Только изредка можно было видеть на его лице легкую улыбку. Насколько величественным был он внешне, настолько же велик был его внутренний мир. Честность и благородная скромность – основные черты его характера. За строгим выражением лица скрывалось глубокое жизнелюбие и жизнь чувств...»

Его отличали научная достоверность и чисто немецкая аккуратность. Он печатал работы лишь тогда, когда считал результаты полностью законченными и корректными. Рентген сделал два великих открытия: обнаружил магнитное поле движущегося в электрическом поле диэлектрика, Рентгенов ток (1885), открыл проникающее излучение с длиной волны более короткой, чем длина волны ультрафиолетовых лучей (1895). Рентгеновский ток стал толчком к электронной теории, рентгеновские лучи – к электронике и атомистике. Ему первому среди физиков была присуждена Нобелевская премия (1901). Его часто называли «совестью немецкой экспериментальной физики».

Гейне говаривал: «Чего только не изобретут немцы, чтобы перещеголять французов!» Эта конкуренция умов и талантов приносила вполне реальные плоды.

Заметное место в истории науки занял и физик-экспериментатор Август Адольф Кундт (1839–1894). Он в 1864 г. окончил Берлинский университет, где на путь «физической истины» его наставил Г. Магнус. Последний был организатором частной физической лаборатории, одной из первых физических лабораторий в мире, и первого физического коллоквиума (1843). Позже Кундт «превратил» В. Рентгена из инженера-механика в физика. В 1877 г. он основал в Страсбурге один из первых физических институтов. План здания института был составлен самим Кундтом. Он пытался объединить исследовательскую и педагогическую работы. В результате, как сообщал в 1892 г. П. Н. Лебедев, «он создал не только лучший в мире Кундтовский физический институт, но и основал в нем ту интернациональную



Вильгельм Рентген

Кундтовскую школу физиков, ученики которой рассеяны теперь по всему земному шару». В 1813 г. основана Ф. В. Бесселем (1784–1846) обсерватория Кенигсбергского университета, «самая восточная» немецкая обсерватория. В 20 – 40-е годы XIX в. обсерватория стала одним из ведущих европейских центров позиционной астрономии. Интересно, что корпус обсерватории имел в плане форму креста, вытянутого «по линии восток-запад». В библиотеке обсерватории к середине XIX в. создана большая библиотека (более 2,6 тыс. томов). В книжном собрании обсерватории были такие раритеты, как первое издание «О вращениях небесных сфер» Коперника (1543), «Рудольфинские таблицы» Кеплера (1627), «О недавних явлениях в эфирной области. Книга вторая» Браге (1610), «Математические начала натуральной философии» Ньютона (1713). Кенигсбергский университет успел-таки отметить свое 400-летие (июль 1944), а в августе англичане уже разбомбили знаменитую обсерваторию. [\[643\]](#)

Знаковой, хотя и противоречивой фигурой был и А. Эйнштейн. Появление на свет в г. Ульме Альберта Эйнштейна (1879–1955) ознаменовало собой начало эры манипуляций в классической физике. Раньше ученый рассчитывал только на свой талант и свои силы. Теперь наступала эпоха коллективных трудов. Евреи охотно сравнивают его с Исааком Ньютоном по значению, называя «самым знаменитым физиком всех времен». Среди ста знаменитых соотечественников они ставят его на третье место после Моисея и

Христа. Чем же он заслужил такую славу? Семья Эйнштейнов принадлежала к разряду средних предпринимателей (владельцы фабрики). Альберт отличался замкнутостью и некоторой нелюдимостью. Он любил выстраивать сложные конструкции и пришел в восторг, когда отец показал действие магнитной стрелки компаса. Его охватило ощущение чуда. Можно сказать, что та стрелка указала путь будущих занятий. Эйнштейна отличала любознательность. В 12 лет он взялся за геометрию Эвклида. Затем засел за Канта. На основании изучения философии Канта он пришел к выводу, что научная картина мира противоречит библейской. Еще одним увлечением стала музыка. В 13 лет он «влюбился» в сонаты Моцарта. Это была натура, которая могла делать только то, что нравилось. Позже он писал: «Вообще я уверен, что любовь – лучший учитель, чем чувство долга, – во всяком случае, в отношении меня это справедливо».

Эйнштейну надо было заканчивать гимназию. Отношения с товарищами и учителями окончательно разладились. Вскоре классный наставник попросил его оставить заведение. В чем причина? Он ненавидел зубрежку, говоря о той причине, которая вызвала разрыв: «...главное – мне ненавистны были скучные, доведенные до автоматизма методы обучения».

Эйнштейн решил продолжить образование в Федеральном технологическом институте в г. Цюрихе (политехникуме). Перед этим родители дали ему возможность совершить сказочное путешествие через Апеннины до Женева. Однако и в Швейцарии не так просто было сделать научную карьеру. Увлеченность не столько наукой, сколько сербкой Милевой Марич (на которой он позже женился), привели к тому, что он едва не провалил экзамены. Профессор Г. Вебер с раздражением заметил: «Вы умный малый, Эйнштейн, но в вас есть большой недостаток – вы не терпите замечаний». Пришлось семь лет проработать в патентном бюро в г. Берне. Ему вновь крупно повезло, ибо помог устроиться в это бюро друг М. Гроссман (он же дал ему свои блестящие конспекты для сдачи экзаменов в университете). В 1901 г. Эйнштейн стал гражданином г. Цюриха (заплатив за гражданство).

Как видите, он ничего в жизни не сумел добиваться сам. К нему на помощь всегда приходили другие.

Труды Эйнштейна-физика были предварены трудами И. Ньютона, М. Планка, А. Пуанкаре. Квантовая гипотеза к тому времени ждала своего решения. В 1905 г. Эйнштейн послал в «Annalen der Physik» первую из четырех своих статей, которую сам же назовет «весьма революционной». В 1921 г., когда ему присудили Нобелевскую премию, было отмечено как раз открытие им закона фотоэлектрического эффекта. Ему принадлежит понятие кванта. М. Кюри отмечала «ясность его ума, осведомленность и глубину знаний». Он стал профессором Немецкого университета в Праге, где уже в общих чертах складывалась теория относительности. В 1914 г. он переехал в Берлин: где ему обещали членство в Прусской академии. Тут грянула война. Он хочет сменить гражданство. Эйнштейн писал в 1933 г., в год прихода к власти фашистов в Германии: «Чрезмерная тяга к военной муштре в Германии была чужда мне с детства. Когда мой отец перебрался в Италию, он по моей просьбе предпринял шаги, чтобы освободить меня от немецкого гражданства, так как я хотел стать гражданином Швейцарии». Улицу, где он родился, немцы переименовывают из Эйнштейнштрассе в Фихтештрассе.

Нас более интересует мотивация, которая и подвинула его в науку. «Как и Шопенгауэр, я прежде всего думаю, что одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к искусству и науке, – это желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от уз вечно меняющихся собственных прихотей. Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личного бытия в мир объективного видения и понимания. Ее можно сравнить с тоской, неотвратимо влекущей горожанина из окружающих его шума и грязи к тихим высокогорным ландшафтам, где взгляд далеко проникает сквозь неподвижный чистый воздух, тешась спокойными очертаниями, которые кажутся предназначенными для вечности.

Но к этой негативной причине добавляется позитивная. Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира; и не только для того, чтобы преодолеть мир, в котором он живет, но и для того, чтобы в известной мере попытаться заменить этот мир созданной им картиной. Этим занимаются художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему. На эту картину и ее оформление человек переносит

центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головкружительном круговороте жизни... Душевное состояние, способствующее такому труду, подобно чувству верующего или влюбленного: каждодневные усилия совершаются не по какой-то программе или не с какими-то определенными намерениями, а по велению сердца». ^[644] Возможно ли веление сердца там, где его нет?!

Эйнштейн любил сравнивать себя с курицей, от которой все ожидают золотых яиц. Вопрос о том, что же на самом деле мог принести г-н Эйнштейн (который, как утверждал его близкий приятель и врач Януш Плец, умер от сифилиса), остается открытым. Помимо сомнительной теории в жизни его преследовали сплошные неудачи. Его докторская диссертация «Новое определение размера молекул», посвященная броуновскому движению, была признана ошибочной.

Профессора знаменитого Политехникума были невысокого мнения о его научных способностях. Преподавали там выдающиеся ученые А. Гурвиц, Г. Минковский и др. Никаких набросков, отрывков, записей о ходе работ по теории броуновского движения не найдено. Похоже, он, опираясь на труды Больцмана, Планка, Лоренца, подобрал все то, что «валялось на дороге», взял уже имевшуюся теорию и «придал ей новый физический смысл» (Ренн).

Самое поразительное то, что Эйнштейн как ученый мог быть создан Милевой Марич. Есть все основания полагать, что и идея теории относительности изначально принадлежала ей (Э. Уолкер). Милева – одна из немногих женщин в Цюрихском политехникуме, поступивших на физико-математический факультет. Кстати, три основные статьи Эйнштейна 1905 г., как свидетельствует академик А. Ф. Иоффе, были подписаны «Эйнштейн-Марич». Широко известно и то, что Эйнштейн постоянно говорил своим друзьям: «Математическую часть работы за меня делает жена», и называл ее «своей правой рукой». После разрыва с ней он нашел других помощников. О научной стороне трудов Эйнштейна нобелевский лауреат Ф. Ленард сказал: «Наиболее важный пример опасного влияния еврейских кругов на изучение природы представляет Эйнштейн со своими теориями и математической болтовней, составленной из старых сведений и произвольных добавок». Нельзя исключать и того, что миф XX века в лице «гениального Эйнштейна»

будет в недалеком будущем опровергнут столь же решительно, как и иудейский большевизм, насаждаемый у нас в России.

В труде В. Бояринцева дается такая оценка эйнштейновской легенде и ее автору: «Если все эти заявления справедливы, нежелание Эйнштейна признать заслуги Милевы в создании теории относительности есть просто факт интеллектуального мошенничества. Заявления сторонников Милевы ошеломляют; в 1990 году они стали сенсацией в Нью-Орлеане на ежегодном съезде Американской ассоциации за развитие науки, где впервые были преданы гласности...». Эйнштейн так и не смог убедительно объяснить, как он пришел к теории относительности. Зато он оставил за собой «сломанные судьбы своих близких» (П. Картер, Р. Хайфилд). Он умел использовать женщин – и в этом его подлинная еврейская гениальность. Он с равным успехом мог взять у жены идею, использовать ее математический дар, а затем бросить, как только нужда в ней отпала, – и жениться на кузине.

Женщин он вообще презирал, говоря им: «Что касается вас, женщин, то ваша способность создавать новое сосредоточена отнюдь не в мозге». Однако при этом он не стыдился посылать грязное белье своей бывшей любовнице, с которой давно уж не спал, и требовал, чтобы она стирала его «и по почте отправляла обратно». Он эксплуатировал и богатых евреек-поклонниц. Те по первому же его требованию подавали звезде Сиона автомобили (Т. Мейдель, М. Лебах и другие). Это был гениальный торгаш в науке, сторонник господства сионизма во всем мире. Хотя в отношении собратьев он любил зло пошутить: «Чем грязнее нация, тем она выносливее». Для этих господ относительно все – родина, любовь, семья, дом, честь, вера, привязанность!

Немцы получали в университетах солидное и добротное образование. Их мастерство высоко ценилось во всех странах. Пользуясь этим, многие наживали в Англии огромные состояния и становились богачами в США, составив мощную и влиятельную диаспору в Новом Свете. Видимо, им это удавалось по той причине, что они умели увязать теоретические знания с их практическим применением.

Однако к концу XIX в. ожидания автоматического торжества разума, математического успеха рационализма, повсеместного

триумфа позитивизма в Германии, как выяснилось, необоснованны и довольно призрачны. Научно-технический авангардизм тяжестью своих доспехов стал заслонять человеческий облик общества. Небо вдруг оказалось «заколочено досками». Техника подавила культуру. Если первая половина XIX в. прошла под знаком идейного главенства мыслителей, поэтов, музыкантов, то во второй половине века появились тревожные тенденции. Все громче, настойчивее звучал голос не столько промышленников, изобретателей, инженеров, педагогов, но солдафонов и невежд-обывателей. Все меньше тех, кто готов воскликнуть: «Invita Minerva!» Все больше тупых обывателей. Как тут не вспомнить фразу Инквизитора из драмы Шиллера «Дон Карлос»: «Что вам человек! Для вас все люди – числа».

Можно с абсолютной уверенностью сказать, что в XIX-начале XX в. Германия с Австрией проделали титаническую работу «по перековке» людских душ... Гегель, провозгласив торжество германского государства как выразителя духа самого народа, открыл перед немцами губительный путь к мировому господству. Эта абсолютизация воли государства особенно опасна у немцев, которые представляют собой едва ли не самую совершенную человеко-машину. Национализм был освящен юридически и закреплен морально в сознании многомиллионной толпы.

Изобретенная им «историческая теория нации» (К. Поппер) стала неким волшебным жезлом (или прекрасным шпицрутеном), с помощью которого можно было направлять упрямых немцев, заставляя их двигаться в желанном направлении. Кант, по словам Шопенгауэра, «уничтожил старый догматизм, и мир в ужасе стал перед дымящимися развалинами» («Об основе морали»).

Шопенгауэр подсунил немцам склянку с ядом в виде изысканного совета самоубийства. Пессимизм лежал в основе его философии. Нужно меньше желать, меньше любить, меньше действовать – это причинит меньше страданий... Шопенгауэр вел жизнь старого холостяка. Пудель по кличке Атма (Мировая душа) заменял ему жену... В ответ на слова философа о том, что вовсе не обязательно требовать святой жизни от тех, кто проповедует с амвона святость, гуманист А. Швейцер печально заметил: «С этими словами философия Шопенгауэра совершает самоубийство».

Шопенгауэр оказался неважным пророком, говоря в середине XIX в., что немцам в силу их «прославленной честности» не свойственны такие «пороки», как национальная гордость. Только та нация, что высоко ценит свой национальный авторитет, добивается больших успехов во всех областях культуры. Шопенгауэр пишет: «А всякий жалкий бедняга, у которого нет за душой ничего, чем он мог бы гордиться, хватается за последнее средство – гордиться той нацией, к какой именно он принадлежит: это дает ему опору, и вот он с благодарностью готов *ruz cai laz* (кулаком и пятой – греч.) защищать все присущие этой нации недостатки и глупости. Поэтому-то, например, из пятидесяти англичан едва ли найдется больше одного, который присоединится к вам, когда вы с подобающим презрением отзоветесь о бессмысленном и унижительном ханжестве его нации, но этот один будет человеком с головой. Немцы свободны от национальной гордости и тем подтверждают свою прославленную честность; совсем обратное – те из них, которые стараются показать такую гордость, смешным образом ее афишируют, как это особенно делают «немецкие братья» и демократы, льстящие народу, чтобы совратить его». Он писал: «индивидуальность стоит далеко выше национальности» и поэтому «к каждому данному человеку заслуживает в тысячу раз более внимания, чем вторая».^[645] Это совершенно разные категории. Гордость индивида – это одно, гордость нации – иное. Их нельзя смешивать, хотя в то же время они как бы дополняют и взаимообогащают друг друга. Кто не научился гордиться своим Народом, его великими и славными деяниями, у того нет оснований и для личной, индивидуальной гордыни. Такой человек пуст.

Ницше (с его «сверхчеловеком») выбил из-под ног бюргера слабые элементы культуры, что с таким трудом вкладывали в немецкие головы Гердеры, Гёте, Шиллеры, Гумбольдты, Гегели. Однажды он обвинил Лейбница с Кантом в том, что в их лице Европа получила «два величайших тормоза интеллектуальной правдивости», а Руссо он и вовсе ненавидел, называя полуидеалистом и полуканальей («Я ненавижу его еще со времен революции»).

В действительности сам Ницше и стал «канальей», способствовавшей тому, что немцы враз, будто играючи, отпустили все нравственные «тормоза». Как-то Достоевский (видимо, не совсем

справедливо) бросил в адрес Гегеля фразу: «Гегель, немецкий клоп, хотел все примирить на философии». Мы еще увидим, как немецкий «клоп» жирел на русской крови. Ницше, Маркс, Фрейд, их последователи немало поспособствовали тому, что Гегель узрел себя могучим тигром. С Бисмарком и Мольтке германцы уверуют в свою непобедимость. Внес лепту и Вагнер, под звуки фанфар ведя их к гибели, как в его операх неосознанно шли к гибели Зигфрид и народ Валгаллы. Славно поработал и Sturm und Drang!.^[646]

Вероятно, в критике Ницше были и рациональные зерна. Немцы так разложили и препарировали всю общественную философию, а заодно и человека, что тот потерял всякое подобие «сына Божьего». В нем, скорее, можно было узреть плод неодушевленной природы, случайно оказавшийся на пути эволюциониста и сверхчеловека. Имманентная философия Канта в какой-то степени превращала и познаваемый мир в систему мертво-безжизненных представлений. Поэтому русский философ В. Эрн даже опубликует во время Первой мировой войны брошюру «От Канта к Круппу», где доказывал влияние философии Канта на разрушительную технику, что угрожала самому существованию цивилизации.^[647]

Вклад в развитие немецкой и мировой мысли, в «рационалистический ренессанс» внесли и еврейские мыслители. Одновременно с завоеванием все новых экономических позиций в ряде стран (США, Германия, Россия, Франция) еврейский «экстракт» занял довольно заметное место в элите Европы и Америки, претендуя на мировую интеллектуальную гегемонию. Об этом относительно новом явлении написал в «Хитростях разума» (1921) русский богослов и философ Г. Флоровский: «Подъем философского творчества и оживление философской литературы за последние десятилетия неразрывно связаны в Европе, а в Германии – в особенности, с приливом представителей еврейской национальности в ряды европейской интеллигенции. Это явление не безусловно новое. Уже в отдаленные годы можно назвать Спинозу, Реймаруса, Моисея Мендельсона (заметим, все – рационалисты!), Соломона Маймона, наконец, Маркса. Но никогда еще нельзя было встретить целые группы еврейских имен. Коген, Гуссерль, Бергсон, Георг Кантор, Минковский, Фрейд, Вейнингер, Зиммель, Эд. Бернштейн, – а к ним нужно присоединить не один десяток имен менее значительных, – редко кто

схватывает за этими разрозненными именами некоторое тождество и единство всех равно воодушевляющего духа». О том, куда приведет сей «дух», священник предпочитал не распространяться (видимо, из-за осторожности). Однако все же не удержался и вспомнил о С. Булгакове, который провел некогда «остроумную параллель между игрою социологическими абстракциями в «Капитале» и апокалиптическими зверями слепопленной иудейской апокрифической литературы»... При этом Г. Флоровский сделал оговорку, что тот «не делал никаких национальных сближений». [648]

Новая этика, что мыслится как соединение высокой нравственности с исчерпывающим знанием, благоговения пред жизнью с энергичным действием, была нужна, как и новый человек, прошедший купель капиталистического греха и кровосмешения, но сумевший в итоге обрести иную философию жизни. Как же выпутаться из клубка противоречий? Хорошо, если проблему удастся решить с той же простотой, с какой Александр Македонский разрубил гордиев узел. Ну а если узел мировых противоречий завязан крепче, чем мыслится даже самым осторожным наблюдателям?

Может, выход в гуманизме? Его исповедовал А. Швейцер (1875–1965) образчик высокой немецкой культуры. Пастор, музыкант и миссионер, он впитал две культуры – французскую и немецкую. Швейцеры – плотоугодники и пуритане. Жизнь его подобна легенде... Судьба Швейцера доказывает всю неизмеримую важность домашнего воспитания и той атмосферы, в которой растут дети. Его семья способствовала тому, чтобы зажечь в ребенке «внутренний свет». Родившись в городе Кайзерсберге (там жил знаменитый проповедник средневековья Гайлер фон Кайзерсберг), он вступил на путь религиозного служения. К этому его подвигли отец-пастор и книги. В библейских легендах и притчах он обретал нравственную опору, выстраивая шеренгу идеалов в такой очередности: «Отец, Иисус, Бах, Гёте». Родители вели себя с детьми мудро, приучив их к разумной свободе. Велика роль и учителя Э. Мюнха, которому он впоследствии посвятил книжку. Многим он обязан музыке Вагнера. Ему были присущи и некоторые «казенные» достоинства – трудолюбие, дисциплина, пунктуальность, но без них нет и настоящего человека. Швейцера назовут «героем самоотречения», хотя сам он называл себя

лентям «с бешеным нравом», который побуждал его работать столь одержимо и страстно.

Швейцер дал однажды совет юношеству – закалить «железо юношеского идеализма в сталь идеализма зрелого»: «Поэтому знание жизни, которое мы, взрослые, хотим передать молодому поколению, должно выражаться не обещанием «Действительность скоро отступит перед вашим идеализмом», а советом – «Врастайте в ваши идеалы, так чтобы жизнь никогда не смогла отнять их у вас». Пусть же «идеализм» послужит вам оружием в схватке с «материализмом» прагматического мира... Потрясающей особенностью этого человека было его сочувствие к бедам и страданиям людским...

Швейцер умел отождествлять себя со всяким живым существом. Он и сам признавался, что никогда по-настоящему не знал безмятежной юной «*joie de vivre*» («радости жизни»), поскольку всегда «был удручен количеством бед, которые видел вокруг себя». Его всегда глубоко волновали вопросы этики и морали. В сфере философии ему оказались наиболее близки просветители XVIII в. Он вырос с именами Канта и Гёте на устах. Величайшей философией мира он считал учение греческих и римских стоиков. Его ключевыми идеями и мыслями были: «Человек принадлежит человеку», «Человек имеет право на человека», «Все мы должны нести свою долю горя, выпавшего нашему миру» и «Спокойная совесть – изобретение дьявола». Врач-философ сумел взрастить могучее древо философии гуманизма. Жизнь Швейцера – это отважный вызов эгоизму, меркантилизму, империализму.

Швейцер едет работать врачом в Африку. Европейская культура обрела в нем одного из своих нравственных героев. Все эти александры македонские, наполеоны, сесили родсы, да и бисмарки думали о славе и богатствах, а не о судьбах тех, кто обитает на захваченных землях. «Какие блага ни дали бы мы жителям колоний, – писал Швейцер, – это будет не благодеяние, а искупительная плата за те ужасные страдания, которые мы, белые, приносили им, начиная с того дня, когда первый наш корабль проложил дорогу к этим берегам». Он стал, как пишет профессор О. Краус, силой, объединяющей нации и способствующей миру между ними, силой, постоянное и благотворное воздействие которой заключается в выполнении долга сохранения цивилизации. Нам понятно восхищенное резюме о нем писателя С.

Цвейга: «Эта жизнь стоит того, чтобы стать когда-нибудь объектом героической биографии. Хотя не героической в старом, военном смысле, но в новом смысле морального героизма». ^[649]

Альберт Швейцер душой, быть может, «самый русский» из всех немецких мыслителей и деятелей культуры... Поэтому, вероятно, этот мыслитель ощущал свою духовную близость к Льву Толстому, которого сам Швейцер называл «великим вдохновителем» (кстати, к Толстому обращал свой взор и крупнейший немецкий ум XX века – М. Вебер).

В своей работе «Культура и этика» (1923) Швейцер писал о кризисе западной «ущербной культуры», которую на протяжении веков превозносили многие поколения просветителей. В чем главная его посылка? Что вызывало у него особую тревогу? Дело в том, что с середины XIX в. люди почти перестали черпать «свои идеалы культуры и гуманности в разуме, обратившись всецело к действительности и в результате оказавшись перед неизбежностью все большего сползания к состоянию, характеризующемуся отсутствием культуры и гуманности». Это очевидный и бесспорный факт, который можно констатировать на основе знакомства «со всей историей нашей культуры». В чем же дело? Почему происходит эта трагедия?

Между культурой и мировоззрением есть самые тесные связи. Культура в принципе держится «оптимистически-этическим мировоззрением». Пока оно сохраняется и упрочивается, живет и крепнет культура. С середины XIX в. данное мировоззрение, обещавшее народам столь щедрые плоды в будущем, претерпело кризис. Исчезла вера в идеи, правительства, социальные институты, науку, культуру, образование. Почему!? Ведь сделано немало. Успехи во всех областях науки, техники, промышленности очевидны. Все это так. Но какова плата за успехи? Люди-то фактически становятся рабами...



Альберт Швейцер.

Швейцер пишет: «В наиболее общем виде угроза культуре, таящаяся в материальных достижениях, состоит в том, что массы людей в результате коренного преобразования условий жизни из свободных превращаются в несвободных. Те, кто обрабатывал свою землю, становятся рабочими, обслуживающими машины на крупных предприятиях; ремесленники и люди делового мира превращаются в служащих. Все они утрачивают элементарную свободу человека, живущего в собственном доме и непосредственно связанного с кормилицей-землей. Кроме того, в новых условиях им больше не присуще живое, несокрушимое сознание ответственности людей, занимающихся самостоятельным трудом. Следовательно, условия их существования противоестественны. Теперь они ведут борьбу за существование, будучи лишены более или менее нормальных условий, когда каждый, идет ли речь о борьбе с природой или о конкуренции людей, может пробить себе дорогу благодаря своим способностям. Напротив, они считают, что необходимо объединиться и образовать таким образом силу, способную добиться лучших условий существования. В итоге складывается психология несвободных людей, в которой идеалы культуры уже не выступают в необходимой чистоте, а искажаются интересами борьбы». С каждым годом всем людям приходится вести «все более трудную борьбу за существование».^[650]

В ходе борьбы между отдельными слоями, группами, классами растут непонимание и враждебность, ибо условия соперничества несправедливы. У одних, знатных и богатых, – почти все мыслимые и немыслимые блага, у других, бедных, – нет почти ничего. Он говорит о том, что власть правящей элиты стала громоздкой и бесконтрольной, чрезмерно раздут чиновничий аппарат государства, финансовые круги ведут себя эгоистично и дико. Что делать в этом случае, когда неизвестно, какие еще «кризисы и катастрофы предстоит пережить современному государству»? Каким образом все же разорвать этот страшный, порочный и заколдованный круг? Швейцер решает: нужно обратиться к человечеству, «минуя народы и государства».

Итог деятельности великого гуманиста подвел биограф: «О Швейцере обычно говорят, что он отказался от судьбы процветающего европейца, блестящей карьеры ученого, педагога, музыканта и посвятил себя лечению негров никому дотоле неведомого местечка Ламбарене. Но в том-то и дело, что он не отказался. Он состоялся и как выдающийся мыслитель, деятель культуры и как рыцарь милосердия. Самое поразительное в нем – сочетание того и другого. Дилемму цивилизации и милосердной любви к человеку он снял самым продуктивным образом. Предлагаемое им решение можно резюмировать словами: цивилизацию – на службу милосердной любви».^[651]

В немецкой (и в мировой) культуре боролись и борются два начала: гуманное, жизнеутверждающее, светлое; другое – дикое, алчное, лицемерное, смертоносное. В конечном счете, должно победить и победит, как мы надеемся, первое и лучшее начало... Только давайте почаще вспоминать изречение Шиллера из пролога к «Лагерю Валленштейна» и свято следовать ему: «Тот, кто жил лучшими стремлениями своего времени, жил для всех времен».

При всем нашем уважении к немецкой культуре (в широком смысле слова) приходится признать, что она, как и любая другая культура, неизбежно плодила и плодит толпы маргиналов. Конечно, даже в таком рационализированном обществе, как немецкое, есть большой простор и для глупости. Ницше заметил однажды: «Немцы – их называли некогда народом мыслителей, – мыслят ли они еще нынче вообще?» Приносился ли в Германии «человек обучающийся» в жертву гражданину? Как во всяком другом государстве, такое

случалось и тут довольно часто. А кроме того, казенно-филистерский дух в немецкой системе вытравить намного труднее. Энгельс писал о засилье «общегерманского убожества» в предисловии к «Анти-Дюрингу»: «Среди публики получили с тех пор широкое распространение, с одной стороны, приноровленные к духовному уровню филистера плоские размышления Шопенгауэра, впоследствии даже Гартмана, а с другой – вульгарный, в стиле странствующих проповедников материализм разных Фогтов и Бюхнеров. В университетах конкурировали между собой различные сорта эклектизма, у которых общим было только то, что они состряпаны из одних лишь отбросов старых философских систем и все одинаково метафизичны... Конечным результатом стали господствующие теперь разброд и путаница в области теоретического мышления».^[652]

Вагнер не удержался от критики в адрес немецкой нации, заметив как-то, что немцы кажутся «тяжелыми и бессильными» в попытках отразить полноту жизни... При этом он высказал пожелание, которое может быть обращено ко всем, кто пишет или рассуждает о другом народе. «Я хотел бы, чтобы немцы показали французам не карикатуру французской цивилизации, а чистый тип истинно оригинальной и немецкой цивилизации».

Об этом же некогда говорил и немецкий канцлер фон Бюлов. С одной стороны, писал он, есть все основания считать, что германская нация, больше, чем какой-либо другой народ, «любит учиться и имеет возможность удовлетворить эту потребность». Это справедливо и для низших классов.

Среди привлекательных черт характера немцев это одно из симпатичнейших их достояний. Видя, как упорно учатся немцы, как умеют вгрызаться в суть научно-технических, культурных, экономических проблем, трудно с этим не согласиться. С другой стороны, при всех своих достоинствах они в массе своей односторонни и узки. Недостаток живости и воображения сужает их горизонт (при высоком развитии наук и технических навыков). Успехи же способны быстро вскружить голову немецкой нации. Та быстро забывает о поражениях и склонна считать себя всемогущей. В Германии всегда хватало тейфельсдрексов («чертова дерьма») и приспособленцев. Это некоторый результат убогости, корысти и равнодушия общества в целом. Подобно Гонкурам, немец думал:

«Видишь, что не стоит умирать ни за какое дело, нужно жить при любом правительстве, как бы антипатично оно для вас ни было, и верить только в искусство, исповедовать только литературу». Nil novi sub luna! (Ничто не ново под луной!). Единственное исключение, что он уже не верит ни в искусство, ни в литературу, ни в Бога!

Б. Бюлов (1849–1929), князь германский, рейхсканцлер и прусский президент, вспоминал давний разговор на эту тему с министром Альтгофом. Тот так говорил о немцах: «Чего же вы хотите? Мы, германцы, – самая ученая нация в мире и лучшие солдаты. Мы создали великие произведения в области наук и искусства. Величайшие философы, поэты и музыканты – германцы. В последнее время мы заняли первое место в развитии естественных наук и в области технических завоеваний, и в довершение всего мы колоссально двинулись вперед в области развития промышленности. Как же вы можете удивляться тому, что в политике мы являемся ослами? Должно же быть хоть одно слабое место». У немцев немало пробелов. Но убедить их в этом трудно. Немец постоянно вопрошает в духе катехизиса Лютера: «Wo steht das geschrieben?» (Где это написано?). Хотя тут, возможно, Шопенгауэр прав: «Всякая нация смеется над другой, и все они правы». Бюлов, впрочем, уверен, что судьба, которая, как известно, «является самым лучшим, но и самым дорогим учителем, примется за наше политическое воспитание при помощи тех обид и несправедливостей, к которым нас будет приводить наша врожденная политическая слабость». Ошибки редко излечиваются знанием – только личным опытом. Канцлер высказал в заключение надежду, что опыт будет для немцев «не очень тяжелым» (1910).^[653]

Как показал XX век, канцлер серьезно заблуждался.

Немцам суждено не раз испить чашу собственного невежества и горького опыта. Кстати, о чаше... Как все европейцы, немцы с давних пор традиционно не обходили своим вниманием вино и развлечения. На средневековых карнавалах во Франции, Нидерландах, Италии, Англии, Германии, Австрии, Чехии кульминацией любой масленичной потехи были всевозможные пляски, сценки, действия и пиршества. Вино лилось рекой. Немцы и австрийцы не только умели крепко трудиться, но и знатно веселиться. Часто в процессиях изображали шутовских государей, опорожняющих кувшин за кувшином (Король

пьет!). Любимая фигура процессий – толстяк-бюргер, символизирующий карнавал, восседающий на винной или пивной бочке. Вся дальнейшая история крепко повязала немцев со шнапсом... Не только пиво, но и водка стали бурно распространяться в Германии с XV в., когда власти того же Нюрнберга даже вынуждены были запретить в праздничные дни продажу спиртного (1496 г.). Все население, от солдат до государственных мужей Германии, любило и любит приложиться к бутылке.



Стакан для вина знатного немецкого дворянина.

Национальный напиток немцев – пиво, считавшееся напитком варваров и бедняков. Оно получило распространение в основном в

обширной зоне северных стран. Жители южных винодельческих стран, пившие вина частенько насмеялись над этим напитком. В Европе прослеживается закономерность: чем тяжелее экономическое положение народа, тем больше он налегал на пиво, и наоборот: чем благополучнее и сытнее живут люди, тем охотнее они пьют вина. Хотя, наряду с пивом за полгроша для простого народа, известно было с XVI в. добротное пиво из Лейпцига, ввозимое в Нидерланды. По всей Германии, Чехии и Польше тем не менее наблюдается бурный рост пивоварен, что свидетельствовало в пользу напитка для «северных стран». [\[654\]](#)

Говоря о средневековье, мы привели слова старинной немецкой песенки, приписывающей Мартину Лютеру поговорку: «Wein, Weib und Gesang» («Вино, женщины и песни как символ веселья и жизнерадостности»). Известный австрийский поэт, драматург и переводчик Р. Хамерлинг (1830–1889), воздавая дань Бахусу, писал в одном из своих стихотворений:

Все воспевают трезвость; я – пьянство восхваляю!
Исполнен дум высоких мечтатель во хмелю.
И лишь тогда герои достойны всех похвал,
Когда их змий зеленый на подвиги позвал.
Подъем душевный славлю; пускай исходит он
Из пенистой баклажки; пускай он пробужден
Настойкой и вдыхает, восторга не тая,
И вешний запах мяты, и трели соловья.
Весь мир измерит трезвость и вдоль и поперек,
А что она получит за долгий труд и срок?
Названия и цифры. Выходит, все равно
Ей завладеть вселенной с линейкой не дано.
Для бражника, что вечно горит в святом огне,
И небо и планеты купаются в вине,
Как жемчуга красоты. Вселенная прильнет
К его груди и лаской под звезды вознесет. [\[655\]](#)

Вот и старина Бисмарк любил поесть и выпить. Вот как описывали биографы его страсть. Он поглощал невероятное

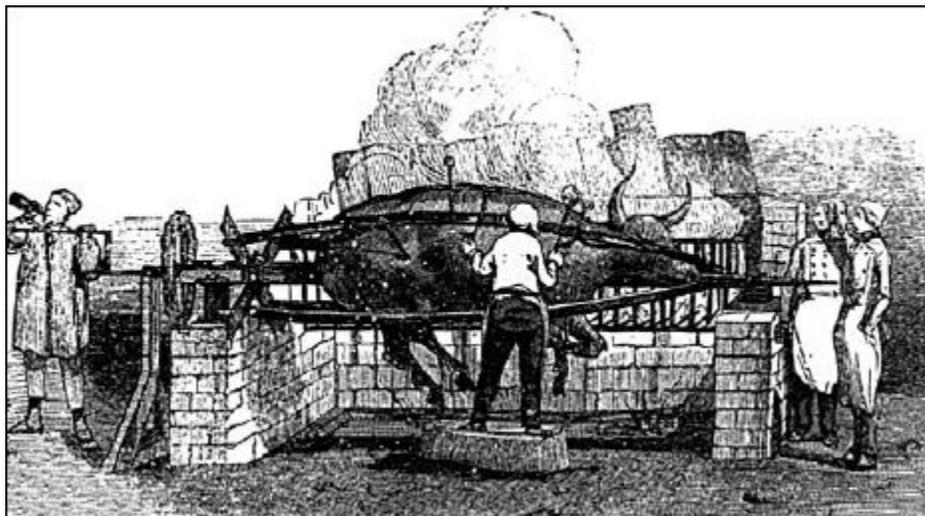
количество пищи. В Книпгофе (резиденции) портер и шампанское не сходили со стола. Редкая неделя обходилась без попойки. Бисмарк даже шутил по этому поводу: «Не выпив и не покушав сытно, я не могу заключить хорошего мира». Бисмарк все же как-то еще можно оправдать. Что ни говори, он объединил, а не раздробил Германию.

Австрийский психиатр Р. Крафт-Эбинг писал: «Преданный пьянству человек обнаруживает более шаткие воззрения на честь, обычаи и приличие, равнодушно относится к нравственным столкновениям, к разорению своей семьи, к презрению со стороны своих сограждан; он становится жестоким эгоистом и циником». Впрочем, о немцах говорили так: «Как и древние германцы, они любят с жаром побеседовать во время пиров о своих делах, но сделки заключают только на трезвую голову». Немцы могли соперничать на этом поприще разве что с поляками и русскими, где пьянство «цезаря» часто воспринималось как общественная добродетель и даже чуть ли не как символ великого ума.

Беда эта пришла к нам как раз оттуда – из пределов «цивилизованной» заграницы. Знаток европейских нравов итальянец А. Гваньини в «Описании Московии» (1578) указывал на тех, кто насаждал и кому мы обязаны «питейными нравами»: «Наконец, за рекой отец нынешнего государя Василий (Василий III Иоаннович. – *В.М.*) выстроил для своих телохранителей и для разных иностранцев, а именно: поляков, германцев и литовцев (которые от природы привержены Вакху), город Наливки, получивший название от налитых бокалов. И там у всех иностранных солдат и пришельцев, а также у телохранителей государя имеется полная возможность всячески напиваться, что москвитам запрещается под страхом тяжкого наказания, за исключением нескольких дней в году». [\[656\]](#)

Пагубная страсть к горячительным напиткам, судя по всему, и в XIX веке в первую очередь поражала наше «барство» и «верхи», привыкшие к трапезам, застольям да наливкам. Простой же человек тогда был занят трудами праведными... Во время известного путешествия А. Дюма по России (1858) тот записывал свои впечатления. Среди его заметок были и такие: «Чай – национальный напиток русских. Нет в России семьи, даже самой бедной, в которой не было бы самовара, то есть прибора для кипячения воды. Голландцы сами не свои до огурцов, а русские крестьяне – до горячей воды.

Невозможно себе представить, что такое чаепитие русского мужика и сколько бутылок кипятку он высасывает с «парой сахару», то есть с двумя кусками, похожими на два маленьких боба, которые он и не думает класть в стакан, – заметьте, в России мужчины пьют чай из стаканов, а женщины из чашек».^[657]



Немцы зажаривают быка. Гравюра XIII в.

Насколько важен и ценен немецко-австрийский опыт? Он помогает нам увидеть смысл в тех или иных мировых событиях. Гегель в «Философии истории» подметил эту черту немецкой истории: «У нас, немцев, проявляющаяся при этом рефлексия и рассудительность чрезвычайно разнообразны: каждый историк усвоил себе в этом отношении свою собственную манеру. Англичане и французы знают в общем, как следует писать историю: они более сообразуются с общим и национальным уровнем культуры; у нас же всякий стремится придумать что-нибудь особенное, и, вместо того чтобы писать историю, мы всегда стараемся определить, как следовало бы писать историю». Далее он говорит: «Конечно, всего лучше, если историки приближаются к историкам первого рода и пишут столь наглядно, что у читателя может получиться впечатление, как будто современники и очевидцы излагают события». Историк – это учитель, у которого (у единственного) есть какой-то шанс быть услышанным сильными мира сего. Хотя те давно уже и покинули стены университетов и лицеев. Ведь своих советников они часто не ставят ни

в грош. Все же Гегель не прав, говоря, что «народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее». Это справедливо в отношении глупых народов и правительств. Умные пытаются научиться. Отсюда настоятельная необходимость честного и нелицеприятного критического анализа духовной и социальной жизни, конкретной деятельности правителей, парламентов, их вождей. Историк – это жрец современности. Ему открыты тайны будущего. Он вершит праведный суд над всеми теми, кто мнит себя вершителями народных судеб. Его святая обязанность: воспеть «красоту, святость, жертвенный подвиг», но и одновременно осудить все «порочное, постыдное и безобразное». В конечном счете ведь любой человек – «существо историческое».^[658]

Таким образом, «немцы» становились не только властителями умов и законодателями в науках и образовании, но и провозвестниками давних пороков Европы. Умных они покоряли фундаментальностью, основательностью своих знаний, неудержимой тягой к науке, глупых – костюмами да бражничаньем. Все это надо иметь в виду и нам, особенно учитывая ту роль и место, что заняли немцы в истории и культуре, в управлении Россией. Еще со времен Петра Великого знаменитая Немецкая слобода стала своего рода реальным градом Китежем (Кутежем), а различные немецкие партии то и дело оказывались у власти. Вон и Екатерина Великая была немкой. Да и вообще слишком тесно и органично переплетена история германских и славянских народов. Не секрет, что немцы то и дело устремлялись на нашу землю (как воины, правители, мирные поселенцы). Сюда рвались многие светила немецкой науки.

Немецкое влияние не всегда было полезным, позитивным и разумным... Вспомним хотя бы эпоху «бироновщины», когда правителем Русского государства стал курляндский немец. По словам С. Соловьева, «иго с Запада – более тяжкое, чем прежнее иго с Востока, иго татарское». Тогда нашу страну, как и нынче (в конце XX века), горе-правители отдали на растерзание иноземцам и иноверцам. Власть таких «внутренних немцев» во сто раз хуже и страшнее власти завоевателя-монгола. Сегодняшние бироны особенно алчны, наглы и циничны, ибо они ведут самостоятельную политику. С. М. Соловьев писал: «Но теперь этот самый ненавистный фаворит-иноземец, на

которого складывались все бедствия прошлого тяжелого царствования, становится правителем самостоятельным...» И далее: «Россия была подарена безнравственному иноземцу, как цена позорной связи! Этого переносить было нельзя». О том, как вели себя чужеземцы в России при Бироне, говорил митрополит Амвросий в проповеди на день рождения Елизаветы (1741), когда иго немцев пало. Воцарившаяся в Кремле иноземная рать специально разыскивала русские таланты, ученых людей и прочих, чтобы погубить их. Для этого использовалась самая адская тактика. «Был ли кто из русских, – говорил Амвросий, – искусный, например, художник, инженер, архитектор или солдат старый, а наипаче ежели он был ученик Петра Великого: тут они тысячу способов придумывали, как бы его уловить, к делу какому-нибудь привязать, под интерес подвести и, таким образом, или голову ему отсечь, или послать в такое место, где надобно необходимо и самому умереть от глада, за то одно, что он инженер, что он архитектор, что он ученик Петра Великого»... Одним словом, их действия буквально в деталях схожи с действиями нынешних мучителей России. Оратор заключил речь словами: «Кратко сказать: всех людей добрых, простосердечных, государству доброжелательных и отечеству весьма нужных и потребных, под разными претекстами губили, разоряли и вовсе искореняли, а равных себе безбожников, бессовестных грабителей, казны государственных похитителей весьма любили, ублажали, почитали, в ранги великие производили и прочее». Этот ужас закончился только после того, как Бирон был сброшен с престола и посажен в острог. В России только приход истинно русского государя или государыни может остановить западное иго. Вступление на престол Елизаветы, а затем Екатерины II (хоть и немки) повернет жизнь на русское направление. [\[659\]](#)

Кроме политико-административного гнета, есть и другой гнет, ничуть не менее страшный. Известно, что в XIX в. властительницей дум образованного общества стала немецкая философия. Начало «онемечиванью» русской мысли положили Станкевич, Белинский, Герцен, Бакунин и другие. Станкевич буквально засадил Бакунина за Канта, и тот «по Канту... выучился по-немецки». Увлечение Шеллингом, Кантом, Фихте, Гегелем было столь сильным, что даже неистовый Белинский, человек экстремы, как сказал Герцен, как-то засомневался. Удивительно, что никто из тогдашней разночинной

интеллигенции не отнесся критично к такому влиянию, хотя известно, что обыватель редко в состоянии проникнуться духом мудрого, прекрасного, возвышенного, интеллектуального. Как заметил немецкий писатель Ф. Клингер (1752–1831): «Тысячу можно отыскать ученых, пока на одного натолкнемся мудреца». В похожей манере высказывался и романтик Ф. Шлегель. Высоко оценивая способности германской нации, он тем не менее предупреждал: «Говорят, что немцы – первый в мире народ в том, что касается высоты художественного чутья и научного духа, – конечно, но тогда найдется очень мало немцев».^[660]

Германскую философию прививал Московскому университету и М. Г. Павлов. Он внес в сознание русского провинциала Шеллингову премудрость («эту Магабарату философии», по словам все того же Герцена). Все пустые и ничтожнейшие брошюры, выходявшие в Берлине, в других губернских и уездных городах (в Германии и России), где только упоминалось о Гегеле, «зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней». Сейчас не будем в деталях разбирать, что тут было вредного, а что полезного – в таком вот почти повальном увлечении немецкой мыслью. Это было крайне опасно по многим причинам. Но прежде всего среди таких новообращенцев даже иные толковые идеи и мысли вдруг делали из кровных русских «закоснелейших немцев», как тот магистр университета, о котором писал Герцен. Приехав из Берлина, «он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией».^[661]

Мода на гегельянство приняла характер и масштаб настоящей эпидемии. «Приезжаю в Москву с Кавказа (осенью 1837 года), – рассказывал впоследствии Белинский, – приезжает Бакунин, мы живем вместе. Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся» (письмо Станкевичу, сентябрь-октябрь 1839 г.). К их компании присоединился и Катков, прочитавший гегелевскую «Эстетику». Реакция Белинского в ходе беседы о Гегеле: «Боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир!» Как видите, не только нигилисты-разночинцы, но и наши убежденные консерваторы «пьянели от немца» в России. Вот Станкевич в западнически-подобострастном угаре, хотя и в шуточной форме, бросает русским: «Поцелуй ручку у Грановского и погладь его по голове за то, что он

занимается делом и начинает признавать достоинство Егора Федоровича Гегелева» (Г. В. Ф. Гегеля).^[662]

Отчего же тогда целая плеяда русских мыслителей и писателей увлеклась гегельянством? Почему столь привлекательным оказался Гегель для интеллигенции? Потому что в его учении они старались найти самые простые ответы на сложные вопросы бытия, что прежде всего и свойственно детски-механистическому разуму. Если народ порой еще подвержен сомнениям, то философы и политики подобного рода – никогда! У них все просто и ясно. Делаем с историей все, что пожелаем. А ведь «товарищ Гегель» ввел в свой исторический «гарем» лишь те народы, которые счел «достойными». Остальные нации ему просто не нужны. Он даже не упомянул о них. Для него нет ни Византии, ни славянства! Н. И. Кареев абсолютно прав, воскликнув: «Тогда как история представляет из себя течение многих параллельных рек, у Гегеля только одна река». Да еще река, полная коварных омутов, водоворотов, о которых он и не думает предупредить читателя. Разум, как и отдельный человек, для него средство на пути обретения нациями «счастья». Гегель, певец арийской расы, подкупал наших западников своей ясностью.

Вот как объяснял причины такого увлечения один из западных авторов... В тридцатые и сороковые годы русская мысль якобы находилась в периоде младенчества. Не было ни науки, ни философии, но потребность в том и другом была. И вдруг русскому человеку предлагают систему, охватывающую собою все, дающую ответ на все, примиряющую его с жизнью, с действительностью, оправдывающую его ничтожество, открывающую перед ним бесконечное, созерцательное наслаждение! Мудрено было не увлечься – и гегельянство стало дорогим гостем в России. Сколько надо было усилий ума, чтобы усвоить себе систему берлинского мудреца, сколько времени уходило на обсуждение диалектических тонкостей! Это наполняло жизнь, мало того: заставляло пересматривать свои взгляды и убеждения. Русские люди задумались, и притом очень серьезно. Благодаря различию в индивидуальности тех, кто штудировал Гегеля, его философия производила различное впечатление. Воспитавшись на ней, одни стали западниками, другие – славянофилами. Началась знаменитая борьба мнений, проявлением которой можно считать «Философские письма» Чаадаева, помещенные в «Телескопе» за 1836

год, – борьба, наполнившая собою всю деятельность Белинского и, в сущности, продолжающаяся еще до сих пор. Вопрос, являющийся яблоком раздора, ставится, надо сказать, очень странно. Спрашивается: где истина – на Западе или в России? Крайние западники отвечали: истина только в Европе, крайние славянофилы: истина только в России. Поэтому первые проповедовали полное самоотречение, вторые – полное самодовольство. Если же говорить о всем народе, тот в те времена даже своих родимых Белинского с Гоголем, а не то что там какого-то Гегеля крайне редко «с базара приносил». Таковы истоки гегельянства.

Оно, может, и неплохо. Ведь насладиться гегелевской мыслью может далеко не всякий. Как только начинаешь понимать, чего же хочет немецкий философ, сразу проверяешь замки и запоры в собственном доме, в России. В этом случае М. Бубер был прав, сказав: «Мировой дом Гегеля восхитителен, в нем все можно объяснить, ему можно подражать, но как жилье он никуда не годится. Рассудок утверждает его, слово – восхваляет, однако действительный человек сюда не вхож».^[663] Действительный человек из народа порой даже и не слышал о нем.

Кстати, то, что этот досточтимый Егор Федорович (Гегель), гордость немецкой и мировой науки, позволял себе в отношении славян, об этом тут и говорить не хочется. Просто-напросто хамско-циничные выпады (с любой точки зрения). Хотя он и не мог не заметить в Европе огромной массы славян, тем не менее, Гегель не только не желал отнести славян в разряд цивилизованных народов, но и вообще отрицал их способность к высшему разуму. Он так писал о славянах: «Однако вся эта масса исключается из нашего обзора потому, что она до сих пор не выступала как самостоятельный момент в ряду обнаружений разума в мире».^[664]

Ничего не скажешь, великолепный плод высокого ума. Видимо, мудрый Гёте не зря все же как-то сказал: «Некоторые порожденные его философией плоды ему и не совсем по вкусу». Позднее Белинский в письме Станкевичу (1839) с ужасом вспоминал, что чуть не погиб в самоанализе, рефлексии, самокопанье «по-немецки»: «Боже мой, какая это была жизнь! – нравственная точка зрения погубила, было, для меня весь цвет жизни, всю ее поэзию и прелесть!» Следует помнить, что немец равнодушен ко всему человечеству. Он даже из наших

страданий постарается извлечь выгоду. Вот мы восторгались творчеством Гете. Как же иначе?! Ведь мы, русские, вопреки тому морю лжи, что распространяется о нас, привыкли ценить и уважать культуру других великих народов. Даже великий Пушкин, получив от Гете перо, по свидетельству П. В. Нащокина, «сделал для него красный сафьянный футляр, над которым было написано: «Перо Гете», и дорожил им». А как же вел себя Гете, «творец великих вдохновений», в отношении русской культуры и ее ценностей? Известно, что, когда Наполеон вступил в Москву и в столице начались пожары, Гете отозвался об этом горестном событии кратко и цинично: «Что Москва сгорела – нисколько меня не трогает. Хотя в будущем найдется о чем поведать мировой истории» (из письма Рейхарду от 14 ноября 1812 г.). Вместо сердца у немца – ледяная пустыня. Все тот же Гете в 1828 году говорил канцлеру Мюллеру, что вся мировая история его абсолютно не волнует. Она – самое нелепое, что только можно вообразить. «Кто бы ни умер, какой бы народ ни погиб – мне все равно, и глупцом был бы я, если бы все это меня заботило». ^[665] Эти слова корифея Германии, ее божества, ее идола в основе своей ничем не отличаются от установок и политики Гитлера в отношении России. Поэтому лебезить перед немцем, как и бранить его что есть мочи, намне надо. Просто следует находиться на безопасном расстоянии от «немецкой цивилизации» для нашего же и ее блага.

Опасность такого рода идейной «инфлюэнции» России (сначала «вирусом» Канта, Гегеля, Гёте, Шеллинга, затем Ницше и Маркса) продемонстрирована сполна. Мы не раз убедимся, как под видом освобождения масс и раскрепощения личности фактически в обществе идут по сути совершенно обратные процессы. Хотя это также не Бог весть какая новость. Испанский парламентарий Д. Кортес 150 лет назад (1850) обозначил арены социализма: «У социализма существуют три великие арены: во Франции находятся ученики и только ученики, в Италии – исполнители чужих преступных замыслов и только исполнители; в Германии же – жрецы и учителя»... Так сказать, *Eh Germania lux!* Однако здесь особенно важно быть честным до конца. Мы уже показали на примере буржуазной цивилизации, что основа ее сложена из черепов, наподобие Тамерлановой гробницы. Восприятие общественного прогресса через капитализм (гибельную для человечества систему) уж никак не могло привести Россию к успеху.

Даже в философии все кончилось тем, что мы восприняли гегельянство сугубо подражательно, подобно Герцену, видевшему в нем алгебру революции. [666]

Мы и сами изрядно потрудились, чтоб убедить немцев в нашем бессилии и их превосходстве. Немец вопрошал: «Как же это могло случиться, что те, кто не могут толково («по-немецки») поставить дело на лад, владеют столь несметными богатствами? Бог этого не должен был позволить!» Это раздражает немецкий ум, что в своих экономических и индустриальных порядках отличается глубокой основательностью и практицизмом, а в умствованиях порой забирается на такие высоты, что уже и не может с них слезть без посторонней помощи. Конечно, нам недостает их деловитости. Недаром главным положительным героем романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» стал немец Штольц (видно, у писателя не было никаких иллюзий в отношении нашего «хозяйствования»; да и сам Тургенев, построив в Германии дом, показал себя неважным хозяином – и вынужден был уступить его Бисмарку).



Фердинанд Георг Вальдмюллер. Утро в немецкой семье.

У немцев придется поучиться хозяйствованию, пунктуальности и точности во всех grossбухах, умению считать каждую копейку в экономике. Нас наши правители не выучили жесткой, если хотите, «мелочности» без усвоения которой все будет уходить, как в черную дыру. Необязательно к каждому российскому хозяйству приставлять немца, но взять его в долю можно, а может, даже и нужно. Мы решительно не умеем ценить наших богатств и самой ценности денег.

Приведу рассказ дипломата А. М. Горчакова из журнала «Русская старина». Он показателен уже сам по себе, демонстрируя полнейшую оторванность русских государей от вопросов экономики и хозяйствования. Читаем: «Достоинно внимания, что император Александр Павлович вовсе не имел понятия о действительной ценности золота. Однажды, и именно в том же Лейбахе, когда государь на улице беседовал со мною, нищий, конечно не зная, кто мы такие, стал неотвязчиво дергать государя за полу сюртука, настойчиво вымогая у него милостыню. Тщетно я делал знак рукою нищему, чтобы он убирался, но тот продолжал свое. Наконец, видя, что от него нельзя отвязаться, я сунул ему пять франков, и тот отошел в сторону. «Сколько ты ему дал?» – спросил император. Я ответил, что дал нищему пять франков. «Зачем так много? – заметил государь. – Кажется, было бы довольно ему дать один наполеондор».

Император, конечно, предполагал, что один червонец менее пяти франков. А что это так, видно из того, что, когда у императора просили кому-либо пособия в две, в три тысячи руб., он не соглашался, но когда просили 1000 или 1500 червонцев, то обыкновенно довольно легко изъявлял свое согласие». ^[667] Вот она, наша натура «царская». Не знаем счета богатств, земли своей, как будто так и надо.

Суть отношений немцев к русским и славянам довольно верно выразил в свое время и Хомяков в «Семирамиде»: «Как скоро дело доходит до славян, ошибки критиков немецких так явны, промахи так смешны, слепота так велика, что не знаешь, чему приписать это странное явление, совершенному ли развитию духа ветвей германской и славянской, которое делает факты славянского мира непонятными для немца, или скрытой зависти, пробужденной самим соседством. Первое толкование, более лестное для их нравственного достоинства и обидное для их понятливости, трудно принять. Мы видим, что русские понимают немцев лучше, чем все другие, даже полунемецкие народы. Второму же поверить бы не хотелось, но что же делать? В народах, как и в людях, есть страсти, и страсти не совсем благородные. Быть может, в инстинктах германских таится вражда, не признанная ими самими, вражда, основанная на страхе будущего или на воспоминаниях прошедшего, на обидах, нанесенных или претерпенных в старые, незапамятные годы. Как бы то ни было, почти невозможно объяснить

упорное молчание Запада обо всем том, что носит на себе печать славянства». [\[668\]](#) Кончается молчание – начинается ложь.

Здесь надо упомянуть еще о двух особенных чувствах немцев в отношении славян. Это – два совершенно противоположных чувства (высокомерие и страх). Об этом писал еще Ф. М. Достоевский в 60-е годы XIX века: «Беспредельное высокомерие перед русскими – вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию». Причем это касалось как людей ученых, так и неученых. Зная наверняка, что лучше и умнее немца никого на свете нет, они все, очень разные сами по себе, сходятся в отношении России в том, что это – страна «неправильная и ненормальная». А так как в России и в самом деле до черта всяких нелепостей и глупостей, то от констатации этого факта до обобщения – всего один шаг. Отсюда и понятная «неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин». [\[669\]](#)

Что же касается чувства страха, то и тут при некотором размышлении кое-что можно прояснить. Дело в том, что немец – превосходный солдат. Он бил все войска Европы и Америки. Бил даже непобедимые римские легионы. Но вдруг постоянно, с какой-то фатальной обреченностью оказывается бит какими-то «русскими». А все дело в организации немецкой культуры и философии. Она механистична и материалистична. Немец превосходен и неподражаем, как лучшая в мире машина. Но машина всегда уступает человеку. Н. Бердяев подметил эту особенность немецкой цивилизации, описывая суть «религии германизма»: «То, что мы называем германским милитаризмом, – их техника и промышленность, их военная сила, их империалистическая жажда могущества – есть явление духа, германского духа. Это – воплощенная германская воля». Немец действительно оказался способен, возможно, более чем кто-либо создать необычайную технику, «промышленность, милитаристические орудия, а не красоту». [\[670\]](#) Именно Красота и высший Разум составляют тайну Русского Народа.

Если Россия шла к своему культурному расцвету, взлету мысли и философии, торжеству литературы и искусств, то немец, пережив век или пару веков тому назад свой ренессанс, свой Gemuth (что можно перевести как порыв духа, центростремительную силу духовной

жизни), в нравственном и умственном отношении как-то поблек и опустился. Среди немцев становилось больше безумцев и самоубийц, пьяниц и травеститов. Народы, кажется, так и не поняли, что за деградацию своей культуры, наук и образования всегда приходится платить страшную цену. На рубеже XIX и XX веков. Брандес писал о тревожной атмосфере, складывавшейся в интеллектуальной жизни Германии. Как-то неожиданно народ философов превратился в стадо филистеров и обывателей. Он писал: «Из металлов в моде железо. Из слов в моде также железо. Этот народ мыслителей и поэтов занят в настоящее время всем, только не поэзией и философией. Даже высокообразованные немцы в настоящее время не имеют никакого понятия о философии – из двадцати немецких студентов трудно встретить хотя бы одного, который читал Гегеля, – интереса к поэзии не замечается совсем, политические и социальные вопросы возбуждают в сто раз больше внимания, чем вопросы образования и загадки сердца».^[671] Ныне такая же опасность стоит перед Россией.

Обращение к вопросам внешней и внутренней политики также наводит на размышления. Скрытые воинственные инстинкты немецкого народа дремали до тех пор, пока Германия оставалась слабой и разделенной. Пока немец философствует, пописывает да музицирует, он не так опасен. Но вот наступил великий час объединения страны. Под торжественные звуки флейт и фанфар, грохот барабанов немец увидел себя Манфредом, что желает завоевать не только одно жалкое королевство (Сицилию). Германия в лице того же Бисмарка, Вильгельма I, а затем и Вильгельма II словно обрела наследника «школы Фридриха Великого, школы Наполеона I» (слова Вильгельма II). Бисмарк писал, как воспитывали наследников престола: «При Фридрихе-Вильгельме III только кронпринц получил продуманное воспитание, соответствовавшее наследнику престола; второму сыну (Вильгельму II) дано было исключительно военное образование. Естественно, что в течение всей его жизни военные оказывали на него более сильное влияние, чем штатские».^[672] В настроениях значительной части немецкого населения наметились явные подвижки в сторону предпочтения Бога войны Богу мира, искусств и наук.

Отношения между Россией и Пруссией (Германией) были всегда достаточно сложными. Поскольку мы пишем не историю

международных отношений, нет резона распространяться подробно на эти темы. Канцлер Бисмарк был одним из самых искусных политиков Германии, сумевшим создать единую страну «под прицелом всей Европы». Никто не умел (разве что Талейран) столь искусно лавировать между войной и миром... Любимейшим выражением Бисмарка была фраза: «Горе тому политику, что начнет войну, не учитывая ее последствий». Когда это было крайне необходимо для национальных интересов Германии, он смело шел на вооруженное противостояние, просчитав соотношение сил и резервов противников.

В иных же случаях, когда конфликт казался ему несерьезным и обременительным для его страны, он говорил: «Все Балканы не стоят здоровья одного померанского мушкетера». Тройная победа Пруссии (над Данией, Австрией, Францией) и создание мощной Германии создавали уже совершенно иной расклад сил в Европе. В итоге побед Мольтке и Бисмарка тут установился хрупкий вооруженный мир. Победа эта в некотором смысле была похожа на пиррову победу. Дело в том, что усилившаяся Германия тут же стала заявлять о своих аппетитах. Плененным оказался не только французский император (Наполеона III немцы поместили в свой замок Вильгельмстее), но в известном смысле в заложниках очутилась и вся Европа.

Когда немцы проходили под сводами Триумфальной арки Парижа, закрылись не только жалюзи витрин («по случаю национального траура»), насторожилось буквально все общественное мнение Европы и России. Интересы крупнейших европейских стран вступили в период новых противоречий. Началась всеобщая гонка вооружений. Пять миллиардов контрибуции, полученных немцами от французов, лишь подстегнули гонку. Немцы все чаще поглядывали на Восток... Как скажет поэт Тютчев, «во имя Drang nach Osten немцы не прочь упрятать Россию за Урал. Разгулявшемуся милитаризму душно в нынешней узенькой рамке». В ходе Берлинского конгресса (1878) Германия, заняв позицию строгого «нейтралитета», встала на сторону Австрии и Турции (славяне и русские потерпели дипломатическое поражение). Давние отношения Германии с Россией стали портиться. В 1879 г. Германия и Австрия заключают военный союз (в 1882 г. к нему присоединилась и Италия). Сербия и Болгария были расчленены на три части. Македония вновь оказалась под властью султана. Черногория перешла к Австрии. Победа русских над турками

не пошла на пользу братьям-славянам. По сути дела, Бисмарк, этот «честный маклер», обманул Россию, предал ее. Горчаков и Александр II были крайнеразочарованы решениями конгресса. «Берлинский трактат – писал канцлер императору, – самая черная страница в моей служебной карьере». Император Александр II приписал к мнению Горчакова свой вердикт: «И в моей тоже»...

Испортились личные отношения лидеров наших стран. Ранее восхищавшийся канцлером Горчаковым, теперь Бисмарк презрительно называл того «старым дураком». Что гораздо важнее, Россия вынуждена была уже переориентировать и ее союзные интересы. Горчаков в циркуляре от 21 августа 1856 г., обращенном к русским дипломатическим представителям, заявил: «Говорят, Россия сердится. Россия не сердится. Россия сосредоточивается».^[673] В итоге все окончательно передрались.

Германия очень изменилась, почувствовав вкус к золоту. Ее биржевики, банкиры (Блехредеры, Ротшильды) буквально разбухли от французского золота. Ненасытная зависть германцев, о которой предупреждал Тацит, толкала немцев к новым завоеваниям. И все же старый Бисмарк, хорошо зная мощь русских и опасавшийся войны с ними, в глубине души понимал, что Германия погибнет без союза с Россией. Пока он находился у руля внешней политики, он, по его словам, «старался никогда не разрушать окончательно мост между нами и Россией». Умы дипломатов наших двух стран прямо пропорциональны успехам и неудачам в деле обеспечения благоприятных и дружеских отношений между Россией и Германией. К концу века Бисмарк стал заметно терять свое влияние и вынужден был признать: «Я мрачно смотрю на будущее» (1891).^[674]

Эта мрачность частично объяснялась вступлением на монарший престол в Германии кайзера Вильгельма II (1859-1941). Перед тем как унаследовать трон отца (1888), Вильгельм прошел школу выучки не столько в университете, сколько в казармах, на флоте и в казино. Типичное дитя германского юнкерства и крупной буржуазии. В его воспитании чувствовалось влияние Х. Чемберлена и Ф. Эйленбурга. Граф Эйленбург был доктором права, дипломатом, поэтом-романтиком и музыкантом. А еще он был убежденным антисемитом. Все это, в густой смеси с проявлениями мистицизма, и составляло довольно густое варево. Кроме того, он яростно ненавидел социалистов.

Вильгельм даже обратился к рекрутам в 1884 г. (еще в свою бытность принцем прусским) с предложением, которое звучало странно из королевских уст: «Если вы когда-либо услышите социалистические высказывания, то должны будете донести на соответствующих лиц...» Характерно, что даже его отец отмечал в сыночке «склонность к слишком поспешным и скороспелым суждениям». Хотя молодежи свойственно порой делать такие выводы, с годами знания и опыт работы в состоянии ликвидировать эти пробелы... Однако император не только не имел достаточных знаний, но и, по словам Бисмарка, не проявлял никакой склонности к усидчивому труду. Одновременно он считал себя наследником Фридриха II, будучи твердо уверен, что он «еще более велик».



В Северо-Германском парламенте. 1870 г. Карикатура.

Почти все его окружение составляли военные, бывшие друзья по офицерскому корпусу. Сам Вильгельм мечтал о громких сражениях и победах. Планы вскоре нашли подтверждение в законопроектах об усилении армии (1892–1893), о государственном перевороте (1894–1895), направленном против социал-демократии, о каторжных тюрьмах (1898–1899). Вильгельм готовил себя к роли диктатора и немецкого Бонапарта. Он открыто заявил (1891): «В стране лишь один

господин – это я, и другого я не потерплю». Бисмарка отправили в отставку (1890). В итоге в Германии установилась система «личного правления». Получить такого напыщенного, пустоголового, грубого болвана во главе страны – значило подтолкнуть ее к бездне. Царственные особы, победоносно оглядывая ряды рабов и холуев, в упоении властью даже не понимают, как они смешны и ничтожны. Ведь их «боги зовут на бой!» Через год после отставки Бисмарк скажет: «Самое опасное в характере императора – это то, что он легкоподдается всем мимолетным воздействиям и не доступен ни для какого более устойчивого влияния. Он стремится всякое свое желание немедленно претворить в действие, что исключает какое бы то ни было постоянство. К тому же император страдает отсутствием чувства справедливости и верного глазомера. Он не только не уважает, но и не понимает прав других и всегда бьет мимо цели».^[675] Откровенно говоря, и нам и им не очень-то везло с «царями». Вот и получим – по революции!

Патологическую ненависть питал Вильгельм II к парламентариям, с огромным удовольствием употребляя в адрес депутатов рейхстага выражения и фразы типа: «отребье без отечества» и «немецкий парламентарий со временем становится свиньей». Он просто спал и видел, как бы ему избавиться от парламента, его главной обузы, мешающей установить в стране неприкрытую диктатуру. Он говорил: «Пусть скорее придет тот день, когда гренадеры-гвардейцы со штыком и барабаном очистят помещение (рейхстаг)». В сладких мечтах кайзер готов был повесить всех: евреев, социалистов, католиков, интеллектуалов («скоро созреют для того, чтобы всем вместе быть повешенными»). Зверские его настроения распространялись не только на евреев, но и на азиатские народы («чтобы китаец никогда даже не осмелился косо посмотреть на немца!»). Его битва против социалистов, как известно, закончилась революцией, изгнанием в Нидерланды. Это означало приход к власти Гитлера.^[676] Немцы, как и русские, стали социалистами поневоле.

Выводы таковы. Во-первых, вспомним все-таки: немало русских императриц и царей вели свою родословную от немецкой королевской ветви (Екатерина и Анна Иоановна, жена Николая I Шарлотта, жена Николая II – Александра). Известный русский философ Л. П. Карсавин, хотя и полагал, что народы нельзя определять только

границами территории, государственностью, национальностью, с помощью биологических и антропологических признаков, в то же время признавал наличие немецкой примеси в крови у нашей государственной верхушки. Он писал (1923): «По крови своей и Александр III и Николай II больше немцы, чем русские, и русской «природы» их не спасти сомнительного свойства гипотезами об адюльтерах в царствовавшей русской семье и грехе матушки Екатерины. Но и по внешнему виду (!), и по характеру оба – типично русские люди. Национально-русскими чертами являются и чрезмерная деликатность, и лукавство, связанное с нею, и равнодушие, и пассивная покорность судьбе у Николая II. Можно говорить о том, что он являет собою плохой русский тип, примерно соответствующий типу интеллигента конца XIX – начала XX вв., но не видеть в нем русского человека нельзя. Единоутробные и единокровные братья, сыновья русского отца и матери-немки, один – типичный русский патриот и немцеед, другой – такой яркий представитель немецкого народа. Более того, сколько чистокровных немцев становились подлинными русскими государственными деятелями, патриотами и русскими людьми, и сколько коренных русских людей онемечивалось или офранцузивалось до полной утраты национальных черт!». [677] Утрата национального чутья и чувства – страшная болезнь, порой неизлечимая.

Такая же картина наблюдалась и внутри сановно-правительственной верхушки. Как пишет в своих воспоминаниях врач Н. Вельяминов, мимо которого, по его собственным словам, «прошли, как в кинематографе, масса русских деятелей разных «рангов» и немало крупных эпизодов из жизни России за эти 40 лет», немцы издавна занимали в России ведущие роли: «По традициям из глубокой старины при Дворе премиривала немецкая партия, с упорством защищавшая свои позиции против русских» (1919). Российские консерваторы тяготели к Германии, либералы – к Англии, социалисты – к Франции. Сильная прогерманская группировка (В. Пуришкевич, П. Дурново, И. Горемыкин, Р. Розен, Б. Штюрмер, Э. Эйхвальд и др.) отстаивала взгляды на страницах «Гражданина» и «Нового времени», требуя содействия «немецкого бронированного кулака» в поисках защиты от «английских козней». Ясно, что все они имели личные интересы в экономических связях с Германией. [678]

Примером вредного влияния станет, как говорится, и засилье «дурных немцев» в кругах, близких к семье Николая II. Довольно сильными оказались германофильские настроения в кругах интеллигенции. А вскоре германофильство и вовсе перешло в юдофильство (особенно в революционных кругах), сыграв роковую роль в истории России XX века. «Ну а вот чему же наша элита выучилась в Германии?» – это уж иной вопрос. Не умея и не желая улучшить жизнь народа, «элита» все норовит «лечь под немца» (под американца, еврея, да хоть под кого угодно, только чтобы «Русью не пахло»). Об этом отчуждении речь пойдет позже. Плоды же этой дурной выучки мы ощущаем и по сей день.

Скажем и иное: из стен немецких школ Петербурга вышло немало деятелей русской науки и культуры (Бенуа, Мусоргский, Миклухо-Маклай, Кюи). Иные, подобно С. Ю. Витте, были сторонниками политики «сосать двух маток» (Францию и Германию). Немцы не только очень внимательно наблюдали за хитросплетениями, но и давали «ценные рекомендации» (какими ныне в избытке «одаривают» нас американцы). Германский император не раз советовал Николаю II «поменьше верить им (англичанам и французам. – *В.М.*) и сверх того дать им пинка, чтобы они слетели в Неву». Однако легко сказать – «дать им пинка»! Эта рекомендация в чем-то близка знаменитому петровскому наказу «взять у Европы то, что нужно, а затем повернуться к ней задом». Что и говорить, соблазн такой вот «политики» велик, но с нашими ли долгами «рожу кривить». Да и, повернувшись задом, недолго самому получить пинок в зад. Видимо, Вильгельм это понимал. В 1904 г. он говорил в отношении внешней политики российского императора Николая II: «Он по отношению к галлам – из-за займов – слишком бесхребетен».^[679] Нынешняя наша бесхребетность, как видим, имеет печальную и устойчивую традицию.

Во-вторых, те или иные слова, жесты, признания сами по себе ничего не значат, не в состоянии объяснить. За ними стояли, стоят и будут стоять вполне конкретные экономические и военно-стратегические интересы... Германия издавна проявляла самое пристальное внимание к России, как к партнеру или как к вероятному противнику (в зависимости от расклада сил и царящих наверху настроений). Две наши страны всегда были связаны самыми тесными политическими и экономическими узами. Это стало еще более

очевидным примерно со второй половины XIX в., когда рост и значение немецкой торговли в России заметно усилились. Для сопоставления достаточно привести порядок цифр: если за вторую половину XIX в. торговые обороты Франции с Россией возросли в 3 раза, то германские – в 11,5 раза! В 1901–1905 гг. импорт России из Германии составлял 35,8 % от ее общего оборота (в 1913 г. – половина оборота!), а импорт из Франции – лишь 4,3 %. Мысль о том, что именно Германии предназначено сыграть решающую роль в деле модернизации России, вполне разумна. Тому были индустриально-технические, денежно-торговые, этнические основания. В России в начале XX в. проживало 170 тыс. германских подданных и 120 тыс. австро-венгров (и всего-навсего 10 тыс. французов и 8 тыс. англичан). Символом присутствия немцев стал памятник «железному канцлеру» Бисмарку, возведенный в Москве в 1900 г. (был разрушен в 1941 г. после нападения Германии на СССР). При столь мощной немецкой колонии надо было и развивать эту линию.

В-третьих, за сближением России и Германии с тревогой наблюдали США и Англия... Американец Спарго утверждал, что «хладнокровная, безжалостная манера, с которой Германия осаждала Россию со всех сторон как в Азии, так и в Европе, систематические усилия по ослаблению своей жертвы, его экономическая эксплуатация вызывают в памяти удушение Лаокоона и его сыновей. Троянские жертвы были не более обречены в объятиях монстра, чем Россия в руках Германии»... За брюзжанием американца следует видеть нескрываемое раздражение и зависть монополистических кругов США к своему более удачливому сопернику (на тот период истории). Мы твердо убеждены в обратном. Приход немецких капиталов, техники не означал экономического закабаления, как пытаются уверить нас критики. Немецкий гений и великий мастер еще послужат России! Было бы и нелепо, и вредно для торжества российской цивилизации и русской культуры утверждать, что нам противопоказаны «германские критерии инженерии и организованности». Скажу определенно: такие вот «германские критерии» очень даже необходимы современной России! Ничего на свете так не бояться англосаксы и янки, как крепкого союза Русских и Немцев! А если сюда еще – Китай с Японией!

В-четвертых, осознание значительности места, занятого Германией в культурной истории Европы, уже тогда понимали многие

в России. К примеру, В. Эрн (полушвед-полунемец) в работе «Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия» отмечал: «Германия – кость от кости и плоть от плоти европейской. Она была могучей участницей средневековой культуры и Возрождения, она произвела Реформацию, она почти единолично создала блестящую эпоху неогуманизма с целой плеядой мировых имен; в XIX веке к пышной и роскошной философии немцев зачарованно прислушивалось все образованное человечество. Их музыка завоевала все страны. Затем идет величественный расцвет естественных, исторических и филологических наук. Перед самой войной немцы занимали, по общему признанию, если не гегемонию во всей культурной жизни Европы, то, во всяком случае, бесспорно одно из самых первых и самых почетных мест. Если Германия не Европа, то Европы вовсе нет никакой» (1915).^[680] Это, конечно, так.

В-пятых, мы видим, что все споры о России и Германии (или вокруг них) в тот, да и наш период идут вокруг конкретных интересов. В основе – давний, непримиримый спор держав, пытающихся укрепиться на российских просторах. Фактор этот постоянен, и умные правители могли бы воспользоваться им с немалым благом для России. Интересы и ориентации «русской элиты» также зависели и зависят от ряда обстоятельств. Основания для опасений политэкономического характера у русских были, хотя большая опасность угрожала нам с другой стороны. Власть иных господ приведет к чудовищной трагедии, что обрушится на Русский Народ (в 1917 и 1991 гг.). Слова, сказанные английским историком Б. Пеэрсом о продвижении немцев, – что «было чем-то вроде триумфального шествия по России, и у русских появилось нечто вроде привычки позволять немцам делать в России все, что они считали необходимым для себя; теперь Германия стояла огромной враждебной силой между Россией и европейской цивилизацией» – обрели иной вектор.



Император Вильгельм и Бисмарк на маневрах. 1880-е годы.

Некая другая сила встанет между нами и миром. [\[681\]](#)

Однако как бы там ни было, но даже Вильгельм II в начале века выступал союзником России. В частности, он поддержал идею союза Германии с Россией против попыток сговора Англии с Францией. Он же занял пророссийскую позицию в споре России с Японией, заметив в 1904 г. на полях отчета, который должен был быть разослан всем представителям Германии: «Моим дипломатам, для руководства!.. Это будет решительная борьба между христианством и буддизмом, между западной культурой и восточной полукультурой. Это та борьба, которую я предсказал в моей картине, борьба, в которой вся Европа должна будет объединиться и объединится в Соединенные Штаты Европы под предводительством Германии для защиты наших священнейших достояний... Здесь идет речь о будущем России, а косвенно и Европы!.. Я уверен в том, что рано или поздно нам придется сразиться с Японией не на жизнь, а на смерть, и своевременно принимаю меры! Русские... впоследствии помогут нам отразить японцев, но было бы лучше, если бы они уже сейчас хорошенько намяли бы им бока!». Добавим, что он же послал Николаю II картину, на которой азиатские народы и Будда были превращены в идолов, восседающих на престоле из крови и огня (1895). Написанную

придворным художником картину сопровождала надпись, призывающая европейские народы объединиться.^[682]

Но почему те же немцы (от Гегеля и Маркса до императора Вильгельма и Адольфа Гитлера) порой проявляли по отношению к России и славянам презрение, враждебность, а то и лютую ненависть? У них вызывал беспокойство и неприятие факт господства славян на огромных просторах Евразии. Отсюда постоянная зависть, переходящая в скрытую (открытую) вражду. О возросших аппетитах немцев свидетельствовали слова того же Вильгельма II, сказанные им уже в начале XX в.: «Если в России вскоре все пойдет вверх дном и там... будет подготавливаться образование целого ряда федеративных республик, то я ни в коем случае не оставлю балтийские провинции на произвол судьбы, а приду им на помощь; они должны быть присоединены к Германской империи. Поляки, разумеется, будут пытаться распространить свои владения на север до моря. Этого я никогда не допущу. Они могут распространяться на восток и на юго-восток, где у них имеются экономические интересы». У иных политиков Европы короткая память. Они быстро все забывают. Их невежество и тупость опасны для мира!

У немецкого социолога М. Вебера (1864–1920) есть интереснейшая работа «Хозяйственная этика мировых религий» (1919), над которой он работал до конца своих дней. В ней Вебер говорил о том, что устремления класса воинственных рыцарей, крестьян, предпринимателей, литературнообразованных интеллектуалов не могли не быть различными. При этом он писал: «Интересы (материальные и духовные), а не идеи непосредственно господствуют над деятельностью людей; но и «картины мира», создаваемые «идеями», очень часто служили вехами, указывающими путь, по которому следовала динамика интересов. Картина мира определяла ведь, «от чего» и «в чем» искали спасения и – об этом надлежит помнить – могли его обрести».^[683] На деле противоположности и грани между слоями не столь уж и велики – особенно в вопросах утверждения национальных интересов и приоритетов, «корысти» нации, находящей выражение в идеологии. Поэтому «устремления класса воинственных рыцарей» и «литературнообразованных интеллектуалов» прекраснейшим образом могут соединяться. Мы увидим, как идеи германского, еврейского,

американского, любого другого превосходства особо не разбирают, кто перед ними, – «рыцарь» или «интеллектуал», «генерал» или «ефрейтор». У такого больного общества не может не возникнуть совершенно извращенной картины мира. Об этой линии эволюции, куда и устремятся немецкий и американский филистеры, у нас, надеюсь, еще будет возможность поговорить. Это – одна из самых загадочных тайн. Каким образом человек становится зверем? Что его к тому побуждает? Каковы внешние и внутренние причины жуткого перевоплощения? Что-то же непосредственно способствует этому переходу von Humanitat uber Nationalitat zur Bestialitat! («от гуманности через национализм к зверству» – нем.). Эти слова, принадлежащие австрийскому драматургу Фр. Грильпарцеру (1791–1872), неожиданно выразят в XX в. едва ли не магистральный путь развития ряда народов.

Если мы обратимся и к событиям XX в., то, вне сомнения, можно отследить движение не только мысли, но и злата («кровавые узлы загадок роковых»). Тайная пружина, словно черта из табакерки, выталкивающая масона во власть, как вы знаете, успешно сработала и в России. Не вдаваясь глубоко в суть событий, связанных с революциями 1917 г. и 1991 г. в России (причины которых, разумеется, несравнимо более серьезны, глубоки и сложны), позволю заметить, что эти и многие другие поворотные моменты в современной истории осуществлялись не без явного участия зарубежных (немецких, еврейских, американских) капиталов...

В. И. Большаков пишет в своей книге: «Были не только тщательно скоординированы усилия всех врагов России, но даже расходы распределялись поровну. Затраты Германии на подготовку революции (затем на поддержку партии большевиков вплоть до 1918 года) в архиве Вильгельмштрассе были подсчитаны с немецкой аккуратностью: 40 480 997 марок и 25 пфеннигов золотом, что составляло 10 миллионов американских долларов. Банкир Яков Шифф, по собственному хвастливому признанию, «вложил» в русскую революцию в общей сложности 20 млн долларов, из них половину – на «генеральную репетицию» в 1905 году; в 1917 году его вклад, таким образом, составил также 10 миллионов долларов. Лорд Мильнер затратил на ту же операцию 21 миллион золотых рублей, то есть те же 10 миллионов долларов».^[684] Эти цифры, действительно, более чем красноречивы. Хотя вы хорошо знаете, что и в иных революциях

(нидерландской, английской, американской, французской, любой другой) также работало золото, ибо оно есть кровь политики! Без злата в этом мире не свершается ничего!!! На всем его дьявольская печать!

Германия к концу XIX в. предстала могучей державой, объединенной волей Бисмарка, чьи воинские когорты, казалось, готовы вновь сокрушить «легионы Вара», чьи мыслители встряхнули и обновили Европу, а вскоре самым удивительным образом пленили воображение радикально-революционной России. Ее инженеры являли собой образцы профессионализма, а ее музыканты и композиторы (как и австрийские) во многом сформировали культурные горизонты европейцев. Можно сказать, что в немце как бы одновременно живет душа Атиллы и Бетховена... Одна ее половина не прочь поработить силой миллионы обитателей Вселенной, другая стремится воссоединить их в святом порыве вдохновенья. Впрочем, большая часть немцев скорее готова отнести себя к третьей категории, живущей согласно тезису, сформулированному в эстетике Канта, – *Zweckmabigkeit ohne Zweck* («Целесообразность без цели»).

Немецкий капитал породил не только гениев индустрии, но и людей, в духовном отношении крайне убогих, вроде миллиардера Андершэфта, рационалиста-прагматика, выведенного Б. Шоу в пьесе «Майор Барбара». О. Шпенглер видел в них «идеал сверхчеловека» новейших времен. Его родословная также восходит от Ницше, Мальтуса, Дарвина к тем «орангутангам с дипломом», что заполнили эволюционную брешь между гориллой и человеком. Как ни дико это прозвучит из уст Шпенглера, но именно о них с пиететом и пафосом певец «Заката Европы» писал: «Люди этого закала выбрасывают свои миллионы не на удовлетворение безбрежной благотворительности в отношении мечтателей, «художников», слабаков и недоносков; они употребляют их ради тех, кто пригоден в качестве материала для будущего. С их помощью они преследуют конкретную цель. Деньги также могут развивать идеи и делать историю».^[685] Но цели «их идей», «их истории» сформулированы вполне ясно – сверхприбыли. Во имя столь «высокой цели» могут быть обречены на заклятие «мечтатели, художники, слабаки и недоноски» (ученые, врачи, учителя, конструкторы, инженеры, рабочие и фермеры). Это – согласно подобной философии, ненужный «материал для будущего». Впрочем, немцы давно отказались от такой глупости. Они испытывают глубокое

почтение к профессионализму и знаниям. А вот в России «новые сверхчеловеки» сделали все возможное за эти 10 лет, чтобы превратить в «слабаков» нашу науку и образование.

Однако, когда в немецкой нации – Бисмарк, Мольтке, Вильгельм – стал возрождаться дух тевтонских рыцарей (который, впрочем, никогда и не угасал), она стала терять ощущение исторических реалий, а это всегда опасно. Напомню высказывание оригинального писателя Австрии А. Штифтера (1805–1868), чьи произведения отличала гуманистическая направленность. Он как-то заметил: «Как с восхождением человеческого рода, так происходит все и с его нисхождением. У гибнущих народов сначала исчезает мера. Они стремятся к отдельному, они без долгих размышлений предпочитают ограниченное и незначительное, они условное ставят выше всеобщего; затем они стремятся к наслаждению и к чувственному, они стремятся удовлетворить свой гнев и зависть к ближнему, в их искусстве воплощается одностороннее, значимое только с одной точки зрения, затем растерзанное, нестройное, странное и фантастическое, наконец, возбуждающее и растрavляющее чувства, и в заключение безнравственное и порок, в религии сущность опускается до одной видимости... различие добра и зла пропадает, отдельное презирает целое, ища своего удовольствия и своей гибели, и так народ становится жертвой внутреннего разлада или добычей внешнего, более дикого, но более сильного противника».^[686] Нечто подобное произошло с Германией, позднее других подошедшей к обильному столу империалистических яств и жаждавшей реванша. Немецкий воин уже готов был «облечься в доспехи» и страстно жаждал реванша крови. Подготовленный к бойне, он не страшился крови разрушений и преступлений.

В немцах было немало таких черт, которые вызывали серьезные опасения за будущую судьбу нации. Представляется, что такой инфекцией для Германии (и Запада в целом) стал безмерный рационализм и утилитаризм в смеси с шовинизмом и милитаризмом. Эти факторы, соединенные в единое целое, могут превратить, конечно, даже такую «окультуренную» страну, как Германия, в страшное чудовище, а мир – в развалины. Взглянем на итоги века. Что было пороками – стало нравами.

Какие убеждения привили немцам их учителя и правители? Споры нет, культура совершила свою созидательную работу. Однако каждое поколение вынуждено строить свой культурный ареал. В одном поколении нация может породить Бетховенов, Гейне и Гегелей, а в другом – гитлеров, геббельсов и гиммлеров. Да и что такое «культурная Германия»? Эту культурную Германию в XIX в. составляли, говоря словами Э. Хобсбаума, «самое большое 300–500 тысяч читателей книг на литературном немецком». Вот и все. А миру казалось, что вся немецкая нация облачена в прекрасные одежды богов-олимпийцев, в почти непробиваемые доспехи рационализма и точных знаний. Споры нет, замечательнейшие немецкие ученые отлили в своих лабораториях «волшебную пулю» технического гения. Над муштрою немецких солдат и офицеров колдовали прекрасные прусские офицеры и генералы. Германия все более стала напоминать точнейшее ружье из оперы «Волшебный стрелок» Карла Вебера. Вопрос лишь в том, куда должен быть направлен ее «ствол»? Кто и для кого отольет ее «волшебные пули»?

Уж не для нас ли с вами? Не на спины ли русских, славян опустится тот самый кнут великой Германской империи? Вспомним то, с каким подозрением относился и М. Бакунин к немцам. В его работе «Кнуто-германская империя» он ставил под вопрос возможность согласия между Пруссией и Россией, понимая всю опасность милитаристских настроений германцев. О немецком народе он высказывался довольно осторожно, подчеркивая, что он нередко и на русских переносит свою ненависть. Бакунин говорил, что, хотя наша империя и воплощала собой «варварскую систему, антигуманную, подлую, презренную и гнусную», ничуть не лучше выглядела в этом смысле и Прусско-германская, или «кнуто-германская империя». Она, как провиденчески заметил этот теоретик анархизма, «обещает даже превзойти Россию своими злодеяниями».^[687] Видимо, Бакунин оказался прав, если иметь в виду будущий режим Гитлера, принесший нам столько горя и разрушений.

Но как же так? Что же произошло с великой немецкой культурой? Куда она подевалась? Видите ли, культура – крайне непрочное сооружение. Массы же на Западе, несмотря на все их университеты и «школе», походя минуют ее, не обременяя себя всеми этими сложностями. Думать и чувствовать – это очень трудно. А верить во

Всевышнего, его мораль немцы давно уже разучились. Еще бы, ведь сам старик Гете внушил им, что «в конце концов Бог – это только старый еврей с бородой».

Хотя тот же Гете высказывался и в адрес немцев отнюдь не всегда лестно: «При Йене немецкие силы пошли к чертям, потому что у немцев отсутствует разум... Германия – ничто, хотя каждый немец в отдельности значит многое. Впрочем, они внушают себе как раз обратное. Подобно евреям, немцы должны быть рассеяны по всему свету. Только тогда сможет полностью развиваться тьма хороших свойств, заложенных в них, и при этом на благо всем другим народам... Сколько голов, столько умов – вот настоящий девиз нашей нации... Ими владеет порок, заставляющий их уничтожать все, что уже достигнуто. Их требования всегда преувеличенны, а живут они только за счет посредственности... Дураки немцы все еще вопят об эгоизме. А дал бы им Бог уже давно и честно заботиться о себе и о своих ближних, тогда, может быть, сегодня все выглядело бы по-иному!...».^[688] Мы приводим эти слова Гете лишь потому, что убеждены: иные аспекты подобного вердикта справедливы и для многих других стран.

Когда же немцам сказали, что старая культура и вера гроша ломаного не стоит, тут они (масса) и вовсе зашлись от восторга. Ниспровергатели взорвали то, чему немцев учили поклоняться ранее (классику). А. Белый в «Кризисе культуры» верно подметил, что Ф. Ницше «взорвал сам себя; он взорвал в себе «немца»... взорвал в себе «доброе»... он взорвал человека в себе» («Формы... старого общества будут взорваны»), и что тем самым немецкий философ подложил под устои немецкого общества динамит («Я динамит... Я знаю свой жребий»). Добраго в Европе если и было, то оно размазано тонким слоем по городам и весям, так что и в лупу не разглядишь. Война, как мы не раз уже имели возможность убедиться, всегда бушевала в душе европейца (явно или скрытно). Поэтому Ф. Ницше и возомнил себя таким пророком, духовным Зигфридом, что развяжет в мире последнюю всеуничтожающую войну. А. Белый пишет: «Он пытался быть Зигфридом: есть легенда, что Вагнер, осознавая героя, зарисовал в нем черты экс-профессора Ницше, поднявшего над Европою на рубеже двух эпох страшный меч – меч духовной войны».^[689] К

сожалению, это не был глас вопиющего в пустыне. Немцы охотно ему вняли.

Пример Германии продемонстрировал всю сложную противоречивость европейского прогресса. Древние были правы, говоря: «Кто успевает в науках, но отстает в нравах, тот больше отстает, нежели успевает». Поэтому грамотному, мужественному, талантливому, здоровому русскому, что иной раз и 10 басурман запросто «заткнет за пояс» (если не станет жертвой своей доверчивости к Западу иль не сопьется), нет нужды следовать совету путаника Розанова, требующего, с одной стороны, чтоб немцы посекали нас, «если это им в радость – ничего», с другой – утверждавшего, что «немецкая наука, которая, как ангел, осветила Европу XIX века, есть, однако же, Ангел какой-то бескрылый, чуть-чуть тупой и толстый, даже в их Гегелях и Кантах, т. е. вершинах». [\[690\]](#)



Эрнст Барлах. Памятник павшим. 1931.

Нельзя согласиться, когда с вызовом говорят, что, дескать, русским царем может быть разве что только немец (Ю. Лотман). Несусветная глупость, хотя и сказанная умным человеком. Пора уж самим быть царями в своем отечестве. Вот и философ Вл. Соловьев в

последних работах выражал неумеренные восторги, приветствуя приход германского Зигфрида, а также проповедовал крестовый поход против желтой расы, зловеще намекая при этом, что «крест и меч – одно».^[691]

А что происходило среди «западников» – дворянства, купечества, интеллигенции России в последней трети XIX, а затем и в начале XX вв.? Это был сплошной психический надлом, неврозы и психозы. Было бы интересно взглянуть на наше общество под углом психоанализа. Почему никто не задавался вопросом: «Как же произошло, что два самых больных ума века – Ницше и Фрейд – нашли теплый прием именно в России?» Мы уже знаем, что Россия для Европы всегда была дойной коровой. Туда приезжали заработать деньги. За этим ехали Шлиман, Нобель, другие. Сюда же приехал и отец Фрейда (поправить свои финансы). Известно, что учитель Фрейда Ж. Шарко лечил множество пациентов из высших слоев общества (даже членов царской семьи). Когда Николай II издал свой Манифест мира (1898), Фрейд прямо заявил, что давно подозревал у царя невроз навязчивых состояний с характерными для него неуверенностью и нерешительностью. Он даже хотел поехать на год в Россию и вылечить того от невроза. Революционеры, евреи, богема (а тогда это было почти одно и то же) носились с Ницше и Фрейдом, как с писаной торбой. А. Бенуа вспоминал, что «идеи Ницше приобрели тогда прямо злободневный характер (вроде того, как впоследствии приобрели такой же характер идеи Фрейда)». В России, как признавался З. Фрейд, в 1912 г. «началась, кажется, подлинная эпидемия психоанализа». Теоретик большевиков А. Богданов (кстати, психиатр по образованию) начал свою программную книгу с эпиграфов из Библии, Маркса и Ницше. Мы не будем здесь касаться деятелей Серебряного века в России, но болезненные изломы их психики всем широко известны. Самое интересное то, что после прихода к власти большевиков вся «психическая рать», состоящая в основном из евреев, курировалась высшим руководством во главе с Л. Троцким. А. Эткинд пишет: «Отцы Фрейда, Кафки и, скажем, Троцкого разделяли один и тот же духовный опыт; сыновья возводили свои новые конструкции, отталкиваясь от общего состояния». Не станем развивать сложную тему.

Между той и нашей эпохой лежит дорога длиною в целую цивилизацию. Если безвредные гегельянцы в России вбирали в себя

изыски немецкой мудрости, а философы, поэты и художники Серебряного века блестяще знали французский, немецкий, итальянский, английский языки и культуру, то нынешние господа порой не могут отличить Гегеля от Бебеля, а Бебеля от Бабеля. Взгляните, как они унижаются перед Западом, пытаясь заслужить его похвалу. Последнюю рубашку заберут у народа, угробят миллионы жизней во имя «реформ». При этом с умным, высоконаучным видом поучают народ тому, чего не знают и абсолютно не понимают сами.

Между нашими народами и странами возможно почти все. Поэтому глупые и преступные правители с легкостью ввергают Германию и Россию в войны, а умные, каковых всегда раз, два и обчелся, стараются создать между нами отношения партнерства и крепкой дружбы. Мудрый отшельник К. Леонтьев как-то заметил о готовности двух народов одновременно к двум выборам и путям развития: «Ибо, как это ни странно, с первого взгляда, но можно утверждать, что и крепкий союз и вынужденная обстоятельствами война с Германией будут у нас в народе одинаково популярны! Объяснять причины такой двойственности русского настроения было бы долго; но понятно, что в случае союза и здравый смысл, предпочитающий легкое трудному, будет удовлетворен у русского народа, и старые предания о дружбе и родстве двух царских родов еще обновятся и окрепнут; а в случае войны припомнятся у нас германской нации даже и все те мелкие обиды, которые наносили нам у нас живущие немцы. Германское правительство уважается у нас, по слухам и преданиям, даже и мужиком (не любят его только русские либералы); бюргерство же, т. е. большинство немецкой нации, вследствие исторических и социальных впечатлений, ненавидится в России донельзя... Вот в чем разница!.. Неужели гениальный князь Бисмарк не знает и не понимает этой важной разницы?.. Ведь это все так ясно и так просто!» Все ли будет так ясно и просто в XXI веке?! Мы не уверены. Учтем старые ошибки и не станем их повторять.

С появлением единой немецкой нации в Европе возникает новый баланс сил. Крупнейшие державы внимательно наблюдали за сменой стражи на Рейне. Постепенно и эпицентр духовной, интеллектуальной жизни стал смещаться с Запада на Восток. Все чаще корифеи мира стали обращать свой взор к Германии и России, двум титанам, что, казалось, одни в состоянии взвалить на плечи весь "небосвод".

Русские с давних пор воздавали дань уважения талантам немцев, отличающихся исключительным трудолюбием, мужеством, организованностью, четкостью и дисциплиной. Это как раз то, чего нам порой так не хватает. Ценим мы в них и их философичность, трезвую практичность, холодный пытливый ум. Для нас, русских, немцы – это, безусловно. Запад со всеми его достижениями свободы, организации, деловитости и дисциплины. Но вместе с тем немецкий народ в чем-то отличается от того Запада, который предстал в англоамериканском, французском, иудейском варианте. Разумеется, и в их культуре получили развитие западные идеи свободы и либерализма, но они для немцев чуждое, неорганичное, болезненное начало. Так в детстве многие переболели корью. Переболели – и, слава Богу, забыли! Некогда Р. Борхардт в речи "Самоосмысление немцев", отвечая на упреки атлантистов, сказал: "Да, обвинение справедливое; мы иные, чем они". Но тут же он с вызовом добавил: "Мы должны и хотим быть иными, чем они, ибо наша сущность иная". Завидная черта сильной, уверенной в себе нации, не ослабленной заразой космополитизма.

Об этой «инаковости» немецкой нации писал историк и теолог Эрнст Трельч (1865–1923). Исходя из особенности геополитического положения (между Западом и Востоком), немцы были вынуждены "ограничивать последствия западных идей свободы посредством сохранения сильной центральной власти, без которой обходились народы, не подвергшиеся такому военному давлению со всех сторон на своих границах". Они совершенно иначе восприняли и свободу, чем это свойственно, скажем, тем же англичанам, французам, американцам, евреям.

Немцы как молодой народ, более молодая культура все еще несут в себе следы "старого мещанства, старой покорности, старой нищеты и узости". Отсюда присущие немцам элементы внутренней несвободы. Им, как и нам, пришлось долго (и по капле) выдавливать из себя удельные и княжеские амбиции элит. Их культура гибла в бесконечных распрях и войнах. Их мастера вынуждены были покинуть родину в поисках защиты или куска хлеба. Но в конце XVIII в. и особенно в XIX в. немцы возродились. Они проявляли больше свободы и живости, чем французы и англичане "с отвратительной пуританской чопорностью и условностями". В сфере культуры и духа они выглядели раскрепощеннее, чем американцы (с их банальными и

ходячими идеями). Немцы поняли, что западные либеральные одежды все же не для них. "И если что-либо может угрожать основам свободы, то это заимствование той демократии, которая лишь требует свободных возможностей для деловой активности и тешит свой идеализм исключительно всеобщим равенством, являющимся в действительности всеобщей посредственностью и пустотой...". Споры нет, и немецкая идея свободы испытала на себе сильное воздействие французской и английской свобод. Но при этом она сохранила немецкие черты. Понятие политической свободы является производным от условий и факторов духовно-социальной жизни. Оно имеет и свой собственный смысл. В чем же он состоит? Если сказать одной фразой, то немец – большой государственный и общинник, чем англичанин, американец, француз, еврей. Те в основе своей скорее все же индивидуалисты, если и признающие государство, то лишь как "неизбежное зло". Воля нации и государства – это то, чем живет и руководствуется едва ли не каждый немец (и русский), снизу доверху. Поэтому то, что англичанин сочтет пустым и безнравственным, француз – оскорбительным, американец – нелепым и рабским, еврей – глупым и невыгодным, немец и русский воспримут как нечто само собой разумеющееся, нравственное, высоко патриотичное, как безусловное требование всей нации. Отсюда порой трудно, а то и невозможно понять мотивы и действия их культур.

Среди немцев заметнее: дисциплинирующая сила, организованность, эффективность труда. Работать можно либо хорошо, либо очень хорошо! Увы, этих великих свойств, скажем прямо, порой не хватает русским. Немцы создали и удивительный организм, давший жизнь промышленному гиганту. Немец-индустриал, немец-мастер выступает как мыслитель труда. Он не утерятил "зерна личной свободы", но воспринял ее как часть большого целого. Но немец не чужд и мировых заимствований. Он даже «космополит», но это космополитизм, если угодно, русской икры и водки, или уж, на крайний случай, французского шампанского или коньяка.

Немец сумел воспользоваться всеми преимуществами единства крови и языка. Свобода и демократия не угрожают тут целостности государства. Он дорожит национальным единством. Хотя, как пишет Трельч, в иных условиях свободы могут стать "смертельно опасной взрывчаткой" для некоторых государств, густо населенных разными

народами и национальностями, говорящими на разных языках. В таких странах свобода и демократия могут привести к полному разложению государственных образований. Любая "вражеская дипломатия, которая воспользуется принципом национального самоопределения, может бросить искру в эту бочку с порохом". Такая ситуация как раз и сложилась в современной России.^[692]

"Следы немца", мы не раз убедимся, когда речь пойдет о культурном становлении и росте России, то и дело встречаются в различных областях русской науки, промышленности, культуры и образования. Мы старались, как сказал поэт, перенять "английский счет, французский блеск, немецкое упорство". Вспомним и строки из стихотворения А. Блока – "Скифы":

Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
Мы помним все – парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады...

При всех его достоинствах немец лишен некоторых важных черт. Душа росла и развивалась в узких и тесных рамках мелких государств. Она разорвана и разобщена, как и ландшафт, среди которого она обитает, стеснена и пригнана. Немец – «фанатик человеческой деловитости». В книге «Европа и душа Востока» В. Шубарт (1897–1942) дал характеристику плюсам и минусам своего народа, назвав Германию «тюрьмой обязанностей» и «страной без души». Немец холоден сердцем, и эта холодность порой напоминает ледяной панцырь Антарктиды. Конечно, эта «сердечная очерствелость имеет и положительную сторону: она делает немца лучшим рабочим в мире». Но она же оставляет его абсолютно равнодушным к страданиям других народов. Считая себя вправе повелевать целыми нациями, они напоминают порой бездушных жестоких надзирателей. Методичность, усидчивость, организованность – все это может дать как плюс, так и

минус. Немцы одинаково точно, тщательно и расчетливо выстроят великолепный автомобильный завод – или печи Освенцима. Всякие моральные, религиозно-нравственные или гуманистические оценки при этом не будут ими приниматься в расчет. И в том и в другом случае главное – Ordnung und strenge Disziplin (нем. – «Порядок и строгая дисциплина»). Немец настроен на борьбу, распри, завоевания, захваты и обособления. «Много врагов – много чести», – так гласит немецкая поговорка, украшающая лавровым венком всеобщую неуживчивость и страсть к раздорам. На старых крестьянских домах даже можно встретить такую надпись: «Святой Флориан, пощади наш дом, подожги другие!» Так думал немец, если он по деловым соображениям или по причине воспитания не выражал этого открыто (как отмечал в 1838 г. В. Шубарт). Чувство братства здесь в упадке, а доминирует чувство власти. Однако поскольку поджигать дома соседей-немцев строго запрещено законом (а всякий немец чтит закон больше всего на свете), то он гораздо охотнее разожжет пожар войны в соседней стране. Это отражается в проявлении немцами бури их национальных чувств.

Немец – самый взрывоопасный человек на Земле. Вся история его бытия напоминает паровой котел, где все время нарастает давление. Шубарт пишет: "Немецкое национальное чувство живет общей ненавистью. Оно по своей природе воинственно и исключает пацифизм. В мирных ситуациях оно очень скоро угасает и только под давлением ненависти просыпается вновь. Только в движении против чего-то вызывает оно мощные волны. Так было в 1813, 1870, 1914, 1933 годах. Национал-социализм тоже вырос как антисемитизм. Только в общем неприятии еврейства немцы осознали и нашли себя как таковые, или, по меньшей мере, так им кажется. Здесь наиболее четко проявляется протестующий характер немецкого национального чувства. В то время как русское мессианское сознание стремится к единению рода человеческого и более всего питается из идеи всеединства мира, – немецкое национальное чувство живет противоречиями между народами и угасло бы, если бы всемирное единение удалось. Отнимите у немцев общего врага, и они начнут враждовать друг с другом". Любовь к войне, вызывавшая у них "оргии восторга", ныне перестала быть символом освобождения немцев от цепей их человеческой неполноценности. Братские чувства лучше

обретать не на полях битв, а в мирном общении.^[693] Только в союзе с Россией и возможно существование демократической Германии.



Работа, Свобода и Хлеб!

Думаю, что и сегодня многие немцы относятся к атлантической Европе примерно так же, как об этом говорил в 1930-х гг. идеолог так называемой консервативной революции Ю. Эвола. «Европа потеряла свою простоту, она потеряла центр своей деятельности, она потеряла свою жизнь. Демократический недуг и семитский яд пропитали ее вплоть до самих корней, – они везде: в праве, в науке, в мышлении... Европа сейчас – это огромное шарлатанское месиво... Все это – плоды столь восхваляемой западной цивилизации».^[694]

Англо-французская Европа все отчетливее подпадает под власть Америки, в которой, как мы видим, в последнее время все более заметную роль играет сионистский элемент. Не случайно немецкая газета "Франкфуртер альгемайне" задается вопросом, а что ожидает

Соединенные Штаты и мир в результате возможного появления евреев Гора-Либермана во главе правительства Америки: "Никто не может подсчитать, во что обойдется всем нам такое еврейское правление".

Великая Германия создана так, что в главных ее элементах немислима без России (русские придают ей высший, божественный смысл). Достоевский сказал, что если Германия хочет быть великой, то Россия родилась великой. Предназначение Германии не на куцах развилках Европы, а на необъятных просторах России, в союзе с ней. Эта "последняя глава истории мира", как и история будущей Германии и России, будет писаться и русско-немецким пером.

notes

Примечания

Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1971, С. 105.

Французская романтическая повесть. Л., 1982, С. 77, 85.

Брандес Г. Собр. соч. в 20 т. Т. 7, СПб., 1889, С. 224.

Валери П. Об искусстве. М., 1976, С. 328.

Лафарг П. Литературно-критические статьи. М., 1936, С. 121–124.

Шатобриан Ф. Р. Замогильные записки. М., 1995, С. 9–12.

Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан. М., 1972, С. 174.

Байрон Дж. Г. Избранное. М., 1964. С. 40

Ковальская М. И. Итальянские карбонарии. М., 1977, С. 87–93.

Байрон Дж. Г. Дневники. Письма. М., 1965, С. 238.

Шелли П. Б. Письма. Статьи. Фрагменты. М., 1972, С. 208.

Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 1, М.-Л., 1958, С. 136, 361.

Достоевский Ф. М. Пушкин. // Русская душа. М., 1994, С. 125.

Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика. Т. I, М., 1983, С. 280.

Шелли П. Б. Письма. Статьи. Фрагменты. М., 1972, С. 54–55.

Блейк У. Стихи. М., 1982, С. 14, 357.

Некрасова Е. А. Романтизм в английском искусстве. М., 1975, С. 63.

Мастера искусства об искусстве. Т. 4, М., 1967, С. 363.

Автор Миронов В. Б.

Тэн И. Философия искусства. М., 1933, С. 81.

Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993, С. 467.

Некрасова Е. А. Романтизм в английском искусстве. М., 1975, С. 110.

Мастера искусства об искусстве. Т. 4, М., 1967, С. 330.

Поэзия английского романтизма XIX века. М., 1975, С. 568.

Лависс и Рамбо. История XIX века. Т. 1, М., 1938, С. 414.

Уоллес И. Любовницы, героини, мятежницы. М., 1995, С. 124–125.

Виноградов А. Осуждение Паганини. М., 1953, С. 245–246.

Тибальди-Къеза М. Паганини. М., 1981, С. 54.

Фраккароли А. Россини. М., 1987, С. 64.

Любке В. Иллюстрированная история искусств. Спб., 1890, С.260.

Северянин И. Гармония контрастов. М., 1995, С. 318.

Пастура Ф. Беллини. М., 1989, С. 7–48.

Мотылева Т. Ромен Роллан. М., 1969, С. 12.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. Т. 4, С.-П., 1997, С. 185–186.

Маццини Дж. Эстетика и критика. М., 1976, С. 296–297.

Долгополов И. В. Рассказы о художниках. М., 1975, С. 74.

Фейхтвангер Л. Гойя. М., 1982, С. 321.

Terrasse Ch. Goya y lucientes (1746–1828). Paris, 1931, P. 117.

Григулевич И. Р. История инквизиции. М., 1970, С. 264–265.

Goya. Text by Jose Gudiol. London, 1966, P. 36.

Шнайдер М. Франсиско Гойя. М., 1988, С. 227.

Canton F.S. The life and work of Goya. Madrid, 1964, P.127.

Прокофьев В. Н. «Капричос» Гойи. М., 1970, С. 144.

Ортега-и-Гассет Х. Этюды об Испании. Киев, 1994, С. 206–207.

Canton F.S. The life and work of Goya. Madrid, 1964, P. 128.

Моруа А. Литературные портреты. М., 1970, С. 134.

Виноградов А. Три цвета времени. М., 1979, С. 202.

Виноградов А. Три цвета времени. М., 1979, С. 430.

Манн Г. В защиту культуры. М., 1986, С. 243–244.

История XIX века. Под ред. Лависса и Рамбо. Т. 3, М., 1938, С. 474.

Карельский А. В. *Метаморфозы Орфея*. М., 1998, С. 86, 165.

Гюго В. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 1, М., 1953, С. 431–432.

Моруа А. Олимпио, или жизнь Виктора Гюго. М., 1971, С. 19, 34, 39, 43, 75.

Моруа А. Олимпио, или жизнь Виктора Гюго. М., 1971, С. 158, 159.

Рабле. Мольер. Вольтер. Гюго. Жорж Санд. Золя. Челябинск, 1998,
С. 287, 293.

Гюго В. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 15, М., 1956, С. 321–322.

Автор – Миронов В.Б.

Моруа А. Олимпио, или жизнь Виктора Гюго. М., 1971, С. 16, 394, 401, 402, 439.

Реизов Б. Г. Военные повести Альфреда де Виньи. // Виньи. Неволя и величие солдата. Л., 1968, С.157.

Беранже П.-Ж. Избранное. М., 1979, С. 281–282.

Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М., 1996, С. 34–35.

Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М., 1996, С. 115.

Гастев А. Делакруа. М., 1966, С. 193.

Кожина Е. Ф. Романтическая битва. Л., 1969, С. 49, 54, 150.

Автор – Миронов В. Б.

Дневник Делакруа. М., 1950, С. 552–553.

Бальзак в воспоминаниях современников. М., 1986, С. 28–29.

Пузиков А. Портреты французских писателей. Жизнь Золя. М., 1976, С. 19.

Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака. М., 1968, С. 279.

Бальзак О. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 13, М., 1955, С. 40.

Бальзак О. Собрание сочинений. Т. 12, М., 1954, С. 223.

Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Т. 1, М., 1964, С. 146.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, Т. 37, С. 36.

Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака. М., 1968, С. 439.

Моруа А. Прометей или жизнь Бальзака. М., 1968, С. 239, 252, 463, 469.

Автор – Миронов В. Б.

Пузиков А. Портреты французских писателей. Жизнь Золя. М., 1976, С. 242, 273.

Золя Э. Собр. соч. в 26 т. Т. 1, М., 1960, С. 381.

Золя Э. Страница любви. Доктор Паскаль. М., 1983, С. 371–373.

Манн Г. В защиту культуры. Сборник статей. М., 1986, С. 177.

Золя Э. Полное собрание сочинений в 26 томах. М., 1963, С. 510–511.

Судебные ораторы Франции. Речи в политических и уголовных процессах. М., 1959, С. 20, 36, 41.

Рендель Л. Сталин против Энгельса.//Философские исследования.
N4, 1993, С. 257.

Жанен Ж. Мертвый осел или гильотинированная женщина. М., 1996, С. 55, 56, 286.

Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Франции, Англии, США. М., 1978, С. 161.

Роллан Р. Жан-Кристоф. Т., 2, М., 1970, С.118.

Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Избранные страницы. Т. I, М., 1964, С. 128.

Никитюк О. Константин Менье. М., 1974, С. 5.

Мак Г. Гюстав Курбе. М., 1986, С. 16, 52, 59.

Шури М. Здравствуйте, господин Курбе. М., 1972, С. 76–77.

Мастера искусств об искусстве. Т. 4, М., 1967, С. 250.

Дневник Делакруа. М., 1950, С. 261.

Долгополов И. В. Рассказы о художниках. Т. 1, М., 1982, С. 266.

Герман М. Домъе. М., 1962, С. 132–133, 238–239.

Эсколье Р. Оноре Домье. М., 1978, С. 22, 62, 108.

Бодлер Ш. Цветы Зла. М., 1970, С. 224.

Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958, С. 41.

Кожина Е. Ф. Романтическая битва. Л., 1969, С. 218.

Импрессионисты. Их современники, их соратники. М., 1976, С.
33.

Писсарро К. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974, С.220.

Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Л., 1969, С. 81, 263,

Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1970, С. 96, 158.

Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Л., 1969, С. 240.

Перрюшо А. Жизнь Мане. М., 1988, С. 59, 62.

Бодлер Ш. Цветы Зла. М., 1970, С. 119.

Валери П. Об искусстве. М., 1976, С. 292–293.

Les peintres français et l'Espagne de Delacroix à Manet. Musée Goya-Castres, 1997, P. 28–31.

Перрюшо А. Жизнь Мане. М., 1988, С. 98, 125, 241.

Долгополов И. В. Рассказы о художниках. Т. 1, М., 1982, С. 302.

Дега Э. Письма. Воспоминания современников. М., 1971, С. 227.

Сера Ж., Синьяк П. Письма. Дневники. Литературное наследие.
М., 1976, С. 254.

Писсарро К. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974, С. 279–280.

Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Т. II, М., 1964, С. 180.

Долгополов И. В. Рассказы о художниках. М., 1975, С. 157–161.

Эсколье Р. Оноре Домье. М., 1978, С. 4.

Дега Э. Письма. Воспоминания современников. М., 1971, С. 3, 9, 41.

Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Л., 1969, С.286.

Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Т. II, М., 1964, С. 471.

Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993, С. 468–469.

Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1970, С. 10, 60.

Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1970, С. 86–87.

Долгополов И. В. Рассказы о художниках. Т. 1, М., 1982, С. 326.

Автор Миронов В. Б.

Стюарт Д. Приглашение к Ренуару. // Ридерз Дайджест. Июнь 1997, С. 50.

Вейс Д. Огюст Роден. М., 1969, С. 62.

Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975, С. 9; Марке М. Марке. М., 1969, С. 10–11.

Вейс Д. Огюст Роден. М., 1969, С. 479, 496, 555.

Гущин А. Парижская Коммуна и художники. Л., 1934, С. 32.

Перрюшо А. Тулуз-Лотрек. М., 1969, С. 12, 255.

Воркунова Н. Дега и Тулуз-Лотрек. // Импрессионисты: их современники, их соратники. М., 1976, С. 93.

Ренар Ж. Дневник. Избранные страницы. М., 1965, С. 143.

Перрюшо А. Тулуз Лотрек. М., 1969, С. 151, 161, 244.

Перрюшо А. Жизнь Ван Гога. М., 1973, С. 53.

Дмитриева Н. А. Винсент Ван Гог. М., 1975, С. 23, 48.

Перрюшо А. Жизнь Ван Гога. М., 1973, С. 246–247.

Ерзин Л. Стихи. М., 1997, С. 38.

Гоген П. Письма. Ноа Ноа. М., 1972, С. 134.

Даниельссон Б. Гоген в Полинезии. М., 1969, С. 10–13.

Мозэм С. Луна и грош. Роман. Рассказы. Л., 1977, С. 189.

Даниельссон Б. Гоген в Полинезии. М., 1969, С. 119–120.

Сера Ж., Синьяк П. Письма. Дневники. Литературное наследие. Воспоминания современников. М., 1976, С. 176–177.

Перрюшо А. Жизнь Сера. М., 1992, С. 72, 84, 128.

Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972, С. 36–37.

Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Л., 1969, С. 91.

Мастера искусства об искусстве. Т. 6, кн. I, М., 1969, С. 103–104.

Мещеряков Б., Мещерякова И. Введение в человековедение. М., 1994, С. 117–121.

Европейская поэзия XIX века. М., 1977, С. 88–89.

Штоль Г. Шлиман. «Мечта о Трое». М., 1965, С. 257, 324.

Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996, С. 22–23.

Косидовский З. Когда солнце было богом. М., 1991, С. 108, 184–193.

Кузьмин М. Стихотворения и поэмы. М., 1992, С. 28.

Элебрахт П. Трагедия пирамид. М., 1984, С. 15, 18, 33, 37.

Петрушенко Л. А. Коллекционеры и коллекции.// Человек. N 6, 1996, С. 150, 151.

Уайльд О. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2, М., 1993, С. 36–37.

Мастера искусства об искусстве. Т. 4, М., 1967, С. 364.

Моррис У. Искусство и жизнь. М., 1973, С. 70, 115.

Импрессионисты: их современники, их соратники. М., 1976, С. 226, 298.

Мастера искусства об искусстве. Т. 5, кн. I, М., 1969, С. 162.

Аполлинер Г. Стихи. М., 1967, С. 23, 238, 239.

Обри Бердслей. Рисунки. Проза, стихи, афоризмы, письма.
Воспоминания. М., 1992, С. 230, 239, 252.

Хартвиг Ю. Аполлингер. М., 1971. С. 127.

Пенроуз Р. Пикассо. М., 1999. С. 42, 48, 61, 64, 79, 98–99.

Мириманов В. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. М., 1997. С.167.

Мастера искусств об искусстве. Т. 5. Кн. 1. М., 1969. С. 304–305.

Виленкин В. Амедео Модильяни. М., 1970. С. 26, 97.

Мастера искусств об искусстве. Т. 5. Кн. 2. М., 1969. С. 240.

Автор – Миронов В.Б.

Дневник Делакруа. М., 1950. С. 519–520.

Валери П. Об искусстве. М., 1976. С. 106, 111.

Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1996. С. 129.

Загладин Н.В. Всемирная история. XX век. М., 1999. С. 180–181.

Мириманов В. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. М., 1997, С.167.

Мастера искусства об искусстве. Т. 5, кн. 1-ая, М., 1969, С. 304–305.

Виленкин В. Амадео Модильяни. М., 1970, С. 26, 97.

Мастера искусства об искусстве. Т. 5, кн. 2-ая, М., 1969, С. 240.

Дневник Делакура. М., 1950, С. 519–520.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник. М., 1990, С. 24–25. Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник. М., 1990, С. 24–25.

Холл М... П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1997, С. 550. Холл М... П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1997, С. 550.

Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976, С. 440–441. Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976, С. 440–441.

Альдебер Ж., Бендер Й., Груша И. и др. История Европы. Минск-Москва, 1996, С.303. Альдебер Ж., Бендер Й., Груша И. и др. История Европы. Минск-Москва, 1996, С.303.

Гутенберг. Уатт. Стефенсон. Фултон. Дагер и Ньепс. Эдисон и Морзе. Челябинск, 1996. Гутенберг. Уатт. Стефенсон. Фултон. Дагер и Ньепс. Эдисон и Морзе. Челябинск, 1996.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 2, С. 256. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 2, С. 256.

Полякова Е. Ю. Ольстер: истоки трагедии. М., 1982, С. 25. Полякова Е. Ю. Ольстер: истоки трагедии. М., 1982, С. 25.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2, С. 235, 263–264. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2, С. 235, 263–264.

Герцен А. И. Собр. сочинений в 9 томах. Т.6, М., 1957, С. 172. Герцен А. И. Собр. сочинений в 9 томах. Т.6, М., 1957, С. 172.

Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, С. 174–175. Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998, С. 174–175.

Лассаль Ф. Сочинения. Т. I, СПб., 1905–1906, С. 114. Лассаль Ф. Сочинения. Т. I, СПб., 1905–1906, С. 114.

Гутенберг. Уатт. Стефенсон и Фултон. Дагер и Ньепс. Эдисон и Морзе. Челябинск, 1996, С. 290, 297. Гутенберг. Уатт. Стефенсон и Фултон. Дагер и Ньепс. Эдисон и Морзе. Челябинск, 1996, С. 290, 297.

Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина. СПб., 1866, С. 36. Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина. СПб., 1866, С. 36.

Дорфман Я. Г. Лавуазье. М.-Л., 1948, С. 14, 25, 203, 330. Дорфман Я. Г. Лавуазье. М.-Л., 1948, С. 14, 25, 203, 330.

Мишле Ж. Народ. М., 1965, С. 161.

Лависс и Рамбо. История XIX века. Т. 3, М., 1938, С. 407–412.
Лависс и Рамбо. История XIX века. Т. 3, М., 1938, С. 407–412.

Роллан Р. Воспоминания. М., 1966, С. 321–322. Роллан Р. Воспоминания. М., 1966, С. 321–322.

Ревель Ж. История и социальные науки во Франции. // Новая и новейшая история. N5, 1998, С. 81. Ревель Ж. История и социальные науки во Франции. // Новая и новейшая история. N5, 1998, С. 81.

Анненков П.В. Парижские письма. М., 1983, С. 94. Анненков П.В. Парижские письма. М., 1983, С. 94.

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995, С. 212. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995, С. 212.

Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1979, С. 89–90. Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1979, С. 89–90.

Гюго В. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 15, М., 1956, С. 465–485. Гюго В. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 15, М., 1956, С. 465–485.

Геккель Э. Мировые загадки. М., 1920, С. 301–302. Геккель Э. Мировые загадки. М., 1920, С. 301–302.

Зелинский Ф. Из жизни идей. Т.3, М., 1995, С. 336–337. Зелинский Ф. Из жизни идей. Т.3, М., 1995, С. 336–337.

*Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде.
Письма, статьи. Т. 2, М., 1984, С. 205..*

Доде А. Необычайные приключения Тартарена из Тараскона. М., 1974, С.521. Доде А. Необычайные приключения Тартарена из Тараскона. М., 1974, С.521.

Гершель Д. Философия естествознания. СПб., 1868, С. 68, 346.
Гершель Д. Философия естествознания. СПб., 1868, С. 68, 346.

Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956, С. 308–309.
Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956, С. 308–309.

Шатобриан Ф. Р. Замогильные записки. М., 1995, С. 342.
Шатобриан Ф. Р. Замогильные записки. М., 1995, С. 342.

Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991, С. 165. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991, С. 165.

*London in the age of Shakespeare: an anthology. Ed. by L.. Manley, L., 1986, P. 272–273.**London in the age of Shakespeare: an anthology. Ed. by L.. Manley, L., 1986, P. 272–273.*

Елистратова А. Поэмы и лирика Кольриджа. В: Кольридж С. Т. Стихи. М., 1974, С. 227.

Герцен А. И. Сочинения в 9-и томах. Т. 3, М., 1956, С. 37–38.
Герцен А. И. Сочинения в 9-и томах. Т. 3, М., 1956, С. 37–38.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М., 1994, С. 94. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М., 1994, С. 94.

Руссо Ж.-Ж. Эмиль. – Руссо Ж.-Ж. Избр. сочинения. Т. 1, М., 1961, С. 556. Руссо Ж.-Ж. Эмиль. – Руссо Ж.-Ж. Избр. сочинения. Т. 1, М., 1961, С. 556.

Гримшоу Дж. Идея «женской этики». // Феминизм. М.,1993, С. 10.Гримшоу Дж. Идея «женской этики». // Феминизм. М.,1993, С. 10.

Захер Я. М. Общество революционных республиканок 1793 г. и его борьба с якобинцами. // Исторические этюды о Французской революции. М., 1998, С. 258–259. Захер Я. М. Общество революционных республиканок 1793 г. и его борьба с якобинцами. // Исторические этюды о Французской революции. М., 1998, С. 258–259.

Сталь Ж. Коринна, или Италия. М., 1969, С. 15, 387. Сталь Ж. Коринна, или Италия. М., 1969, С. 15, 387.

Пикуль В. Исторические миниатюры. Т. 1, М., 1991, С. 275–279.
Пикуль В. Исторические миниатюры. Т. 1, М., 1991, С. 275–279.

Фагэ Э. Политические мыслители и моралисты первой трети XIX века. М., 1900, С. 109. Фагэ Э. Политические мыслители и моралисты первой трети XIX века. М., 1900, С. 109.

Шатобриан Ф. Замогильные записки. М., 1995, С. 365.
Шатобриан Ф. Замогильные записки. М., 1995, С. 365.

Моруа А. Жорж Санд. М., 1967, С. 113–114. Моруа А. Жорж Санд. М., 1967, С. 113–114.

Жорж Санд. Мопра. Орас. М., 1974, С. 12, 124, 282. Жорж Санд. Мопра. Орас. М., 1974, С. 12, 124, 282.

Жорж Санд. Лукреция Флориани. Мон-Ревеш. Л., 1976, С. 14, 506,509. Жорж Санд. Лукреция Флориани. Мон-Ревеш. Л., 1976, С. 14, 506,509.

Анненская А. Н. Жорж Санд, ее жизнь и литературная деятельность. // Рабле. Мольер. Вольтер. Гюго. Жорж Санд. Золя. Челябинск, 1998, С. 407–409. Анненская А. Н. Жорж Санд, ее жизнь и литературная деятельность. // Рабле. Мольер. Вольтер. Гюго. Жорж Санд. Золя. Челябинск, 1998, С. 407–409.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 4, С. 185. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 4, С. 185.

Wollstonecraft M. Vindication of the rights of Woman. London. 1972.
Wollstonecraft M. Vindication of the rights of Woman. London. 1972.

Годвин У. О собственности. М., 1958, С. 86. Годвин У. О собственности. М., 1958, С. 86.

Шелли М. Франкеништейн. М., 1965, С. 6–12. Шелли М. Франкеништейн. М., 1965, С. 6–12.

Эджворт М. Замок Рэкрент. Вдали отечества. М., 1972, С. 353.
Эджворт М. Замок Рэкрент. Вдали отечества. М., 1972, С. 353.

Элиот Дж. Мидлмарч. М., 1988, С. 4, 6, 29, 30. Элиот Дж. Мидлмарч. М., 1988, С. 4, 6, 29, 30.

Эти загадочные англичанки. М., 1992, С. 163, 169, 174, 179, 191, 229, 231. Эти загадочные англичанки. М., 1992, С. 163, 169, 174, 179, 191, 229, 231.

Бронте Ш. Учитель. С.-П., 1997, С. 160–161. Бронте Ш. Учитель. С.-П., 1997, С. 160–161.

Борисов Ю. В. Шарль Морис Талейран. М., 1989, С. 311. Борисов Ю. В. Шарль Морис Талейран. М., 1989, С. 311.

Феминизм: проза, мемуары, письма. М., 1992, С. 40–46, 220.
Феминизм: проза, мемуары, письма. М., 1992, С. 40–46, 220.

*Стендаль. Собр. соч. в 12-ти т. Т. 7, М., 1978, С. 189. Стендаль.
Собр. соч. в 12-ти т. Т. 7, М., 1978, С. 189.*

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т.13, Л., 1975, С. 276–277. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т.13, Л., 1975, С. 276–277.

Легуве Э. История духовной жизни женщин. М., 1896, С. 140–141. Легуве Э. История духовной жизни женщин. М., 1896, С. 140–141.

Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. Хрестоматия. М., 1994, С. 95–97. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. Хрестоматия. М., 1994, С. 95–97.

Mill J. S. On Liberty. The subjection of women. London, 1966, P. 510, 526. Mill J. S. On Liberty. The subjection of women. London, 1966, P. 510, 526.

Цит. по: Саймонс Дж. Карлейль. М., 1981, С. 158.

Великие мыслители Запада. Под ред. Я. Мак-Грилла. М., 1998, С. 497. Великие мыслители Запада. Под ред. Я. Мак-Грилла. М., 1998, С. 497.

Вейнинггер О. Пол и характер. М., 1991, С. 32. Вейнинггер О. Пол и характер. М., 1991, С. 32.

Шопенгауэр А. Собрание сочинений в 5-и томах. Т. 1, М., 1992, С. 237. Шопенгауэр А. Собрание сочинений в 5-и томах. Т. 1, М., 1992, С. 237.

Вейнингер О. Пол и характер. М., 1991, С. 28–33. Вейнингер О. Пол и характер. М., 1991, С. 28–33.

Женица в пословицах и поговорках мира. Сост. Э. А. Гейвандов. М., 1995, С. 273. Женица в пословицах и поговорках мира. Сост. Э. А. Гейвандов. М., 1995, С. 273.

Ломброзо П. Женица: ее физическая и духовная природа и культурная роль. Спб., 1910, С. 6–8, 51. Ломброзо П. Женица: ее физическая и духовная природа и культурная роль. Спб., 1910, С. 6–8, 51.

Лурбе Ж. Женщина перед судом современной науки. Спб., 1896, С. 52. Лурбе Ж. Женщина перед судом современной науки. Спб., 1896, С. 52.

Роман-газета XXI век, N 4, 1999, С. 89. Роман-газета XXI век, N 4, 1999, С. 89.

Уоллес И. Любовницы, героини, мятежницы. М., 1995, С. 253, 258.
Уоллес И. Любовницы, героини, мятежницы. М., 1995, С. 253, 258.

Шоу Б. Пьесы. М., 1969, С. 5–20. Шоу Б. Пьесы. М., 1969, С. 5–20.

Бebelь А. Женщина и социализм. М., 1959, С. 317–323. Бебелъ А. Женщина и социализм. М., 1959, С. 317–323.

Цвейг С. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2, М., 1958, С. 99. Цвейг С. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 2, М., 1958, С. 99.

Хьюз Э. Бернард Шоу. М., 1968, С. 116, 122. Хьюз Э. Бернард Шоу. М., 1968, С. 116, 122.

Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе. М., 1997, С.44. Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе. М., 1997, С.44.

Лэм Ч. Очерки Элии. Л., 1979, С. 58. Лэм Ч. Очерки Элии. Л., 1979, С. 58.

Давидсон А. Сесил Родс: строитель империи. М.-Смоленск, 1998, С. 28. Давидсон А. Сесил Родс: строитель империи. М.-Смоленск, 1998, С. 28.

Овчинников В. Сакура и дуб. Минск, 1987, С. 274–276. Овчинников В. Сакура и дуб. Минск, 1987, С. 274–276.

Спенсер Г. Изучение социологии. Воспитание умственное, нравственное и физическое. Спб., 1899, с. 18. Спенсер Г. Изучение социологии. Воспитание умственное, нравственное и физическое. Спб., 1899, с. 18.

История теоретической социологии. Социология XIX века. Т. 2, М., 1997, С. 37–39. История теоретической социологии. Социология XIX века. Т. 2, М., 1997, С. 37–39.

Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995, С. 186–190. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995, С. 186–190.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993, С. 381.

Милль Дж. С. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1914, С. 845. Милль Дж. С. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1914, С. 845.

*Конт О. Курс позитивной философии. СПб., 1912, С. 6. Конт О.
Курс позитивной философии. СПб., 1912, С. 6.*

Захаров И.В.,Ляхович Е.С. Миссия университета в европейской культуре. М.,1994, С.20. Захаров И.В.,Ляхович Е.С. Миссия университета в европейской культуре. М.,1994, С.20.

Newman J. Historical sketches. New impression. London, vol. I-III, 1909-1914. Newman J. Historical sketches. New impression. London, vol. I-III, 1909-1914.

Joyce J. Dubliners. A portrait of the artist as a young man. M., 1982, P. 362–363. Joyce J. Dubliners. A portrait of the artist as a young man. M., 1982, P. 362–363.

Mill J.S. On Liberty. The subjection of women. London, 1966, P. 132.
Mill J.S. On Liberty. The subjection of women. London, 1966, P. 132.

Ладыжеец Н. С. Университетское образование: идеалы, идеи, ценностные ориентации. Ижевск. 1992, С. 34. Ладыжеец Н. С. Университетское образование: идеалы, идеи, ценностные ориентации. Ижевск. 1992, С. 34.

Песталоцци, Новиков, Каразин, Ушинский, Корф. Биографические повествования. Челябинск, 1997, С. 12–13, 24–25. Песталоцци, Новиков, Каразин, Ушинский, Корф. Биографические повествования. Челябинск, 1997, С. 12–13, 24–25.

Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения. Т.1, М., 1981, С. 295. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения. Т.1, М., 1981, С. 295.

Сетар М. Песталоцци. // Мыслители образования. Т. 3, М., 1996, С. 287. Сетар М. Песталоцци. // Мыслители образования. Т. 3, М., 1996, С. 287.

Песталоцци, Новиков, Каразин, Ушинский, Корф. Челябинск, 1997, С. 63, 76. Песталоцци, Новиков, Каразин, Ушинский, Корф. Челябинск, 1997, С. 63, 76.

Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. М., 1994, С. 228–231. Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. М., 1994, С. 228–231.

Тенфер Р. Женевские новеллы. М., 1982, С. 6, 379, 383, 388. Тенфер Р. Женевские новеллы. М., 1982, С. 6, 379, 383, 388.

Наторн П. Философия как основа педагогики. М., 1910, С. 10, 12, 66, 100. Наторн П. Философия как основа педагогики. М., 1910, С. 10, 12, 66, 100.

Наторп П. Социальная педагогика. Теория воспитания воли на основе общности. СПб., 1911, С. 2, 3, 130, 222, 223, 224. Наторп П. Социальная педагогика. Теория воспитания воли на основе общности. СПб., 1911, С. 2, 3, 130, 222, 223, 224.

Медоуз Дж. Становление научно-популярного жанра. // «Импакт», № 3, 1987, С. 4. Медоуз Дж. Становление научно-популярного жанра. // «Импакт», № 3, 1987, С. 4.

Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы. Дарвин, Гексли и эволюция. М., 1973, С.327. Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы. Дарвин, Гексли и эволюция. М., 1973, С.327.

Флобер Г. Избранные сочинения. М., 1947, С. 5, 17, 581. Флобер Г. Избранные сочинения. М., 1947, С. 5, 17, 581.

Флобер Г. Госпожа Бовари. Воспитание чувств. М., 1971, С. 438.
Флобер Г. Госпожа Бовари. Воспитание чувств. М., 1971, С. 438.

Мопассан Г. Статьи о писателях. М., 1957, С. 22–25. Мопассан Г. Статьи о писателях. М., 1957, С. 22–25.

Брандис Е. Впередсмотрящий. М., 1976, С. 88–91. Брандис Е. Впередсмотрящий. М., 1976, С. 88–91.

Жюль-Верн Ж. Жюль Верн. М., 1978, С. 135, 159. Жюль-Верн Ж. Жюль Верн. М., 1978, С. 135, 159.

Северянин И. Гармония контрастов. М., 1995, С. 312. Северянин И. Гармония контрастов. М., 1995, С. 312.

Николай Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. С.-П., 1994, С. 208. Николай Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. С.-П., 1994, С. 208.

Блон Ж. Великий час океанов. Атлантический. М., 1978, С. 114.
Блон Ж. Великий час океанов. Атлантический. М., 1978, С. 114.

Шамиссо А. Избранное. М., 1974, С. 113. Шамиссо А. Избранное. М., 1974, С. 113.

Западноевропейская лирика. Л., 1974, С. 51. Западноевропейская лирика. Л., 1974, С. 51.

Гарibaldi Дж. Мемуары. М., 1966, С. 15. Гарibaldi Дж. Мемуары. М., 1966, С. 15.

Стивенсон Р.Л. Собр. соч. в 5 т. Т. 1, М., 1981, С. 13. Стивенсон Р.Л. Собр. соч. в 5 т. Т. 1, М., 1981, С. 13.

Книги, открывающие мир. М., 1984, С. 229. Книги, открывающие мир. М., 1984, С. 229.

Писатели Англии о литературе (XIX–XX вв.). М., 1981, С. 100–102. Писатели Англии о литературе (XIX–XX вв.). М., 1981, С. 100–102.

Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. М., 1995, С. 353–354. Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. М., 1995, С. 353–354.

Rylands J. A centre of intelligence. Manchester. 1992, P. 5–8. Rylands J. A centre of intelligence. Manchester. 1992, P. 5–8.

Околотин В. Вольта. М., 1986, С. 82–86. Околотин В. Вольта. М., 1986, С. 82–86.

Stewart R. Design and British industry. L., 1987, P. 9. Stewart R. Design and British industry. L., 1987, P. 9.

Мопассан Г. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 6, М., 1977, С. 300. Мопассан Г. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 6, М., 1977, С. 300.

Лафарг П. Буржуазия и наука. Петроград, 1919, С. 4–6. Лафарг П. Буржуазия и наука. Петроград, 1919, С. 4–6.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1990, С. 24. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1990, С. 24.

Яновская М. Пастер. М., 1960, С. 46. Яновская М. Пастер. М., 1960, С. 46.

Поль де Крюи. Охотники за микробами. Борьба за жизнь. М., 1987, С. 25, 71. Поль де Крюи. Охотники за микробами. Борьба за жизнь. М., 1987, С. 25, 71.

Глязер Г. Драматическая медицина. Опытты врачей на себе. М., 1965, С. 6, 16. Глязер Г. Драматическая медицина. Опытты врачей на себе. М., 1965, С. 6, 16.

Кагарлицкий Ю.И. Взглядываясь в будущее. М., 1989, С. 5, 140.
Кагарлицкий Ю.И. Взглядываясь в будущее. М., 1989, С. 5, 140.

Фуко М. Слово о вещи. Археология гуманитарных наук. С.-П., 1994, С. 356. Фуко М. Слово о вещи. Археология гуманитарных наук. С.-П., 1994, С. 356.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, кабалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1997, С. 732–733. Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, кабалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1997, С. 732–733.

Лункевич В. В. Подвижники и мученики науки. М., 1962, С. 100–101. Лункевич В. В. Подвижники и мученики науки. М., 1962, С. 100–101.

Тиссандье Г. Мученики науки. М., 1995, С. 317, 285, 292. Тиссандье Г. Мученики науки. М., 1995, С. 317, 285, 292.

Цит. по: Эфроимсон В. П. Гениальность и генетика. М., 1998, С. 399. Цит. по: Эфроимсон В. П. Гениальность и генетика. М., 1998, С. 399.

Пейн Т. Избранные сочинения. М., 1959, С. 381. Пейн Т. Избранные сочинения. М., 1959, С. 381.

Laudes D. The Unbounded Prometheus. Cambridge, 1959, P. 119–120.
Laudes D. The Unbounded Prometheus. Cambridge, 1959, P. 119–120.

Гюго В. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 1, М., 1953, С. 320.
Гюго В. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 1, М., 1953, С. 320.

Паскаль, Ньютон, Линней, Лобачевский, Мальтус. Челябинск, 1995, С. 309. Паскаль, Ньютон, Линней, Лобачевский, Мальтус. Челябинск, 1995, С. 309.

Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977, С. 205. Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977, С. 205.

История Европы. Минск-Москва, 1996, С. 309. История Европы. Минск-Москва, 1996, С. 309.

Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1996. С. 590, 758, 760.

Сноу Ч. П. Две культуры. М., 1973, С. 32. Сноу Ч. П. Две культуры. М., 1973, С. 32.

Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975, С. 359.
Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975, С. 359.

Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996, С. 10–11.
Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996, С. 10–11.

Древние германцы. Сборник документов. М., 1936, С. 57. Древние германцы. Сборник документов. М., 1936, С. 57.

Тацит К. Сочинения в двух томах. Т. 1, Л., 1969, С. 51. Тацит К. Сочинения в двух томах. Т. 1, Л., 1969, С. 51.

Lesebuch zur deutschen Geschichte. Texte und Dokumente aus zwei Jahrtausenden. Harenberg Kommunikation. Dortmund, 1989, S. 27–31.
Lesebuch zur deutschen Geschichte. Texte und Dokumente aus zwei Jahrtausenden. Harenberg Kommunikation. Dortmund, 1989, S. 27–31.

Тацит. Сочинения в двух томах. Т. II, Л., 1969, С. 175–176. Тацит. Сочинения в двух томах. Т. II, Л., 1969, С. 175–176.

Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987, С. 290. Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987, С. 290.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992, С. 272–273. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992, С. 272–273.

Bog I. Dorfgemeinde. Freiheit und Unfreiheit in Franken. Stuttgart, 1956, S. 80. Bog I. Dorfgemeinde. Freiheit und Unfreiheit in Franken. Stuttgart, 1956, S. 80.

Фукс Э. История нравов. Эпоха Ренессанса. М., 1993, С. 41, 438.
Фукс Э. История нравов. Эпоха Ренессанса. М., 1993, С. 41, 438.

Дубнов С. М. Краткая история евреев. М., 1996, С. 392–396.
Дубнов С. М. Краткая история евреев. М., 1996, С. 392–396.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Игры обмена. Т. 2, М., 1988, С.147. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Игры обмена. Т. 2, М., 1988, С.147.

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, С. 538. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, С. 538.

Вейс Г. История цивилизации. Т. III, М., 1998, С. 384–386. Вейс Г. История цивилизации. Т. III, М., 1998, С. 384–386.

Меринг Ф. Легенда о Лессинге. М., 1924, С. 83, 90, 96. Меринг Ф. Легенда о Лессинге. М., 1924, С. 83, 90, 96.

Гегель Г. Философия религии в двух томах. Т. 1, М., 1976, С. 400.
Гегель Г. Философия религии в двух томах. Т. 1, М., 1976, С. 400.

Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991, С.XVII.
Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991, С.XVII.

Perkin H. The historical perspective. Perspectives on higher education: eight disciplinary and comparative views. L., 1984, P. 27. Perkin H. The historical perspective. Perspectives on higher education: eight disciplinary and comparative views. L., 1984, P. 27.

Лихачева Е. Европейские реформаторы. Гус, Лютер, Цвингли, Кальвин. СПб., 1872, С.54.

Карлейль Т. Герои и героическое в истории. СПб, 1891, с. 188–189. Карлейль Т. Герои и героическое в истории. СПб, 1891, с. 188–189.

Подосинов А.В.,Щавелева Н.И. Введение в латинский язык и античную культуру. Т.II, М., 1994, С. 172–173. Подосинов А.В.,Щавелева Н.И. Введение в латинский язык и античную культуру. Т.II, М., 1994, С. 172–173.

Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. М., 1995, С. 138–141. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. М., 1995, С. 138–141.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 2, С.-П., 1994, С. 291–297. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 2, С.-П., 1994, С. 291–297.

Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998, С. 229.
Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998, С. 229.

Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2, М., 1996, С. 759. Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2, М., 1996, С. 759.

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, с. 96–101. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, с. 96–101.

Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война. М., 1955, С. 77, 260.на. М., 1955, С. 77, 260.

Беме Я. Аврора или утренняя заря в восхождении. М., 1990, С. XIII, 159, 413.

Немецкая поэзия XVII века. М., 1976, С. 50. Немецкая поэзия XVII века. М., 1976, С. 50.

Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976, С. 487–489. Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976, С. 487–489.

Гриммельсгаузен Г. Симплициссимус. М., 1986, С. 193–194.
Гриммельсгаузен Г. Симплициссимус. М., 1986, С. 193–194.

Хейзинга Й. Ното Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992, С. 216. Хейзинга Й. Ното Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992, С. 216.

Историки Рима. М., 1970, С. 192. Историки Рима. М., 1970, С. 192.

Грановский Т. Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1987, С. 93–94. Грановский Т. Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1987, С. 93–94.

Гутенберг. Уатт. Стефенсон и Фултон. Дагер и Ньепс. Эдисон и Морзе. Челябинск. 1996, С. 32, 36, 39. Гутенберг. Уатт. Стефенсон и Фултон. Дагер и Ньепс. Эдисон и Морзе. Челябинск. 1996, С. 32, 36, 39.

Немировский Е.Л. Иоганн Гутенберг. М., 1989, с.71. Немировский Е.Л. Иоганн Гутенберг. М., 1989, с.71.

*Stieler K. Zeitungs Lust & Nutz. Munchen, 1696. Stieler K. Zeitungs
Lust & Nutz. Munchen, 1696.*

Хербст Ю. Старинные библиотеки – на славу учредителю, на пользу человечеству. В: Гутен Таг, № 9, 1993, С. 16–21. Хербст Ю. Старинные библиотеки – на славу учредителю, на пользу человечеству. В: Гутен Таг, № 9, 1993, С. 16–21.

Дюрер А. Дневники. Письма. Трактаты. Т. I, Л.-М., 1957, С. 46–47. Дюрер А. Дневники. Письма. Трактаты. Т. I, Л.-М., 1957, С. 46–47.

Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. Сост. П. С. Гуревич. М., 1995, С. 121. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. Сост. П. С. Гуревич. М., 1995, С. 121.

Lubke W. History of art (translated by F. Bunnett). V. II, L., 1868, P. 357–358. Lubke W. History of art (translated by F. Bunnett). V. II, L., 1868, P. 357–358.

Львов А. Альбрехт Дюрер. М., 1977, С. 7, 295. Львов А. Альбрехт Дюрер. М., 1977, С. 7, 295.

Эстетика Ренессанса. Т. II, М., 1981, С. 545–546. Эстетика Ренессанса. Т. II, М., 1981, С. 545–546.

Ullmann E. Albrecht Durer. Leipzig, 1982, S. 66–69. Ullmann E. Albrecht Durer. Leipzig, 1982, S. 66–69.

Боголюбов А. Н. Гаспар Монж. М., 1978, С. 43. Боголюбов А. Н. Гаспар Монж. М., 1978, С. 43.

D`Anvers N. An elementary history of art. L., 1882, P. 441. D`Anvers N. An elementary history of art. L., 1882, P. 441.

Либман М. Я. Из истории мирового искусства. Немецкая скульптура (1350–1550). М., 1980, С. 197, 267.

Хефер Э. Экзамен на признание // Европа, N 4, июль-август 1994, С. 22. Хефер Э. Экзамен на признание // Европа, N 4, июль-август 1994, С. 22.

Европейская поэзия XVII века. М., 1977, С. 188–189. Европейская поэзия XVII века. М., 1977, С. 188–189.

Фукс Э. История нравов. Буржуазный век. М., 1994, С. 85. Фукс Э. История нравов. Буржуазный век. М., 1994, С. 85.

Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1986, С. 47. Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1986, С. 47.

Блинников Л.В. Краткий словарь философов. М., 1994, С. 141.
Блинников Л.В. Краткий словарь философов. М., 1994, С. 141.

История философии: Запад-Россия-Восток. кн. 2, М., 1996, С. 194–202. История философии: Запад-Россия-Восток. кн. 2, М., 1996, С. 194–202.

Фейербах Л. История философии. Т. 2, М., 1974, С. 114. Фейербах Л. История философии. Т. 2, М., 1974, С. 114.

Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956, С. 287. Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956, С. 287.

Хомяков А. С. Сочинения в двух томах. Т. 1, М., 1994, С. 41.
Хомяков А. С. Сочинения в двух томах. Т. 1, М., 1994, С. 41.

Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. М., 1916, С. 117–118. Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. М., 1916, С. 117–118.

Герье В.И. Лейбниц и его век. СПб., 1868, Т. I; Петрушенко Л.А. Проблема взаимодействия наук в учении Лейбница // Вестник Российской Академии наук. N 2, 1994, С. 133. Герье В.И. Лейбниц и его век. СПб., 1868, Т. I; Петрушенко Л.А. Проблема взаимодействия наук в учении Лейбница // Вестник Российской Академии наук. N 2, 1994, С. 133.

Колесо фортуны. Из европейской поэзии XVII в. М., 1989, С. 399.
Колесо фортуны. Из европейской поэзии XVII в. М., 1989, С. 399.

Гофман Э. Житейские воззрения кота Мурра. Повести и рассказы. М., 1967, С. 66–67. Гофман Э. Житейские воззрения кота Мурра. Повести и рассказы. М., 1967, С. 66–67.

Гнедич П. П. Всемирная история искусств. М., 1996, С. 324.
Гнедич П. П. Всемирная история искусств. М., 1996, С. 324.

Кони Ф. История Фридриха Великого. М., 1997, С. 42–45. Кони Ф. История Фридриха Великого. М., 1997, С. 42–45.

Яковлев Н. Н. Европа накануне Семилетней войны. М., 1997, С. 23, 63. Яковлев Н. Н. Европа накануне Семилетней войны. М., 1997, С. 23, 63.

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. СПб., 1914, С. 146. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. СПб., 1914, С. 146.

Кони Ф. История Фридриха Великого. М., 1997, С. 158, 176. Кони Ф. История Фридриха Великого. М., 1997, С. 158, 176.

Пикуль В. Битва железных канцлеров. Л., 1978, С. 242–243.
Пикуль В. Битва железных канцлеров. Л., 1978, С. 242–243.

Меринг Ф. Легенда о Лессинге. М., 1924, С. 148–149. Меринг Ф. Легенда о Лессинге. М., 1924, С. 148–149.

Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. III, М., 1941, С. 98–99.
Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. III, М., 1941, С. 98–99.

История философии: Запад-Восток-Россия. кн. 2, М., 1996, С. 286–289. История философии: Запад-Восток-Россия. кн. 2, М., 1996, С. 286–289.

Винкельман И.-И. Избранные произведения и письма. М., 1996, С. 22–31, 132–133. Винкельман И.-И. Избранные произведения и письма. М., 1996, С. 22–31, 132–133.

Виланд К.М. История абдеритов. М., 1978, С. 180, 184, 222, 227.
Виланд К.М. История абдеритов. М., 1978, С. 180, 184, 222, 227.

Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. IV, М., 1981, С. 69–77. Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. IV, М., 1981, С. 69–77.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-ое изд., Т. 18, С. 575. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-ое изд., Т. 18, С. 575.

Лессинг Г.Э. Драмы. Басни в прозе. М., 1972, С. 5–30. Лессинг Г.Э. Драмы. Басни в прозе. М., 1972, С. 5–30.

Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957, С. 7, 8, 9, 72, 206. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957, С. 7, 8, 9, 72, 206.

Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. I, М., 1888, С. 123. Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. I, М., 1888, С. 123.

Lesebuch zur deutschen Geschichte. Texte und Dokumente aus zwei Jahrtausenden. Harenberg Kommunikation. Dortmund, 1989, S. 27–31.
Lesebuch zur deutschen Geschichte. Texte und Dokumente aus zwei Jahrtausenden. Harenberg Kommunikation. Dortmund, 1989, S. 27–31.

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, С. 6, 612. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, С. 6, 612.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1983, С. 113. Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1983, С. 113.

Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, С. 46, 114, 148. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, С. 46, 114, 148.

Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981, С. 399–400. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981, С. 399–400.

Стерн. Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. М., 1968. С. 549.

Виткоп-Менардо Г.Э. Т. А. Гофман, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Урал. 1999. С. 38, 109.

Гофман Э. Т. А. Житейские воззрения Мурра. Повести и рассказы.
М., 1967. С. 633.

Харф И. Столица финансов, книг и глиняных кружек. // Европа. N 2–3, 1997, С. 31–35. Харф И. Столица финансов, книг и глиняных кружек. // Европа. N 2–3, 1997, С. 31–35.

Гете И. В. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 3, М., 1976, С. 31–32. Гете И. В. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 3, М., 1976, С. 31–32.

Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988, С. 252. Вернадский В. И. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988, С. 252.

Людвиг Э. Гете. М., 1965, С. 395. Людвиг Э. Гете. М., 1965, С. 395.

Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995, С. 150–161. Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995, С. 150–161.

Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1986, С. 264. Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1986, С. 264.

Гете И.В. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7, М., 1978, С. 405, 408. Гете И.В. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7, М., 1978, С. 405, 408.

Конрад К.О. Гете: жизнь и творчество. Т. 2, М., 1987, С. 156–163. Конрад К.О. Гете: жизнь и творчество. Т. 2, М., 1987, С. 156–163.

Конрад К. О. Гете: жизнь и творчество. Т. 2, М., 1987, 272–273.
Конрад К. О. Гете: жизнь и творчество. Т. 2, М., 1987, 272–273.

Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1986, С. 597. Эккерман И. П. Разговоры с Гете. М., 1986, С. 597.

Людвиг Э. Наполеон. М., 1998, С. 288–290. Людвиг Э. Наполеон. М., 1998, С. 288–290.

Людвиг Э. Гете. М... 1965, С. 395. Людвиг Э. Гете. М... 1965, С. 395.

Свасьян К. Философское мировоззрение Гете. Ереван. 1983, С. 15–16. Свасьян К. Философское мировоззрение Гете. Ереван. 1983, С. 15–16.

Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем. // Вопросы философии. N 4, 1994, С. 94–95. Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем. // Вопросы философии. N 4, 1994, С. 94–95.

Белоусов Р. Из родословной героев книг. М., 1974, С. 55–64.
Белоусов Р. Из родословной героев книг. М., 1974, С. 55–64.

История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Под ред. З. В. Удальцовой. Т. 3, М., 1986, С. 282–283. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Под ред. З. В. Удальцовой. Т. 3, М., 1986, С. 282–283.

Шиллер Ф. Драмы. Стихотворения. М., 1975, С. 5, 22, 101, 145.
Шиллер Ф. Драмы. Стихотворения. М., 1975, С. 5, 22, 101, 145.

Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М.-Л., 1935, С. 210, 221.
Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М.-Л., 1935, С. 210, 221.

Юнг К. Г. Психологические типы. М., 1996, С. 109, 115. Юнг К. Г. Психологические типы. М., 1996, С. 109, 115.

Лайштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984, С. 36, 44, 200–209.
Лайштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984, С. 36, 44, 200–209.

Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. IV, М., 1981, С. 137. Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. IV, М., 1981, С. 137.

Люксембург Р. О литературе. М., 1933, С. 63. Люксембург Р. О литературе. М., 1933, С. 63.

Лихтенберг Г. Х. Афоризмы. М., 1965, С. 202, 220, 252–298.
Лихтенберг Г. Х. Афоризмы. М., 1965, С. 202, 220, 252–298.

Исторический лексикон. XVIII. М., 1996, С. 131. Исторический лексикон. XVIII. М., 1996, С. 131.

Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика. Т. 1. М., 1983. С. 7, 287.

Братья Гримм. Сказки. М., 1978. С. 419.

Герстнер Г. Братя Гримм. М., 1980. С. 21, 114.

Сигеле С. Преступная толпа; Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «я»; Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 1998. С. 253.

Любке В. Иллюстрированная история искусств. СПб., 1890. С. 215–219.

Лависс и Рамбо. История XIX века. Т. 4. М., 1938. С. 157.

Тэн И. Философия искусства. М., 1933. С. 79–80.

Гейне Г. Стихотворения. Поэмы. Проза. М., 1971. С. 158.

Гейне в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 26, 33, 34, 157, 179.

Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957. С. 107.

Гейне Г. К истории религии и философии в Германии. М., 1994. С. 13, 16, 22, 63.

Chronik des Christentums. Chronik Verlag im Bertelsmann Lexicon.
München, 1997. S. 372.

Левик В. Избранные переводы в двух томах. Т. 1. М., 1977. С. 163–164.

Большаков В. И. По закону исторического возмездия. М., 1998.
С. 685–686.

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997, С. 100–101.
Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997, С. 100–101.

Тютчев Ф. И. Лирика. Т. II, М., 1965, С. 163. Тютчев Ф. И. Лирика. Т. II, М., 1965, С. 163.

Белый А. О смысле познания. Минск, 1991, С. 17. Белый А. О смысле познания. Минск, 1991, С. 17.

Гулыга А. Кант. М., 1977, С. 8. Гулыга А. Кант. М., 1977, С. 8.

Кант И. Трактаты и письма. М. 1980, С. 494. Кант И. Трактаты и письма. М. 1980, С. 494.

*Кант И. Критика чистого разума. М., 1994, С. 24, 25. Кант И.
Критика чистого разума. М., 1994, С. 24, 25.*

Судаков А.К. Кант: власть, мораль и насилие. // Социальная философия и философская антропология. Труды и исследования. М., 1995, С. 43–102. Судаков А.К. Кант: власть, мораль и насилие. // Социальная философия и философская антропология. Труды и исследования. М., 1995, С. 43–102.

*Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993, С. 102. Фромм Э.
Психоанализ и этика. М., 1993, С. 102.*

Сенека. Декарт, Спиноза. Кант. Гегель. Челябинск, 1996, С. 338–345. Сенека. Декарт, Спиноза. Кант. Гегель. Челябинск, 1996, С. 338–345.

Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 2, М., 1978, С. 107. Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Т. 2, М., 1978, С. 107.

Chronik des Christentums. Chronik Verlag im Bertelsmann Lexikon, Munchen, 1997, S.372. Chronik des Christentums. Chronik Verlag im Bertelsmann Lexikon, Munchen, 1997, S.372.

Гулыга А. Гегель. М., С. 32. Гулыга А. Гегель. М., С. 32.

Мотрошилова Н. В. Георг Вильгельм Гегель. // История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая, М., 1996, С. 446–449. Мотрошилова Н. В. Георг Вильгельм Гегель. // История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая, М., 1996, С. 446–449.

*Гегель Г.В.Ф. Философия истории. С.-П., 1993, С. 443. Гегель
Г.В.Ф. Философия истории. С.-П., 1993, С. 443.*

Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х томах. Т. I, М., 1976, С. 10, 30, 74, 181. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х томах. Т. I, М., 1976, С. 10, 30, 74, 181.

Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х томах. Т. 2, М., 1977, С. 150–151. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х томах. Т. 2, М., 1977, С. 150–151.

Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991, С. 126.
Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991, С. 126.

Сенека. Декарт. Спиноза. Кант. Гегель. Челябинск, 1996, С. 473.
Сенека. Декарт. Спиноза. Кант. Гегель. Челябинск, 1996, С. 473.

Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М., 1971, Т. 2, С. 307, 384.
Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М., 1971, Т. 2, С. 307, 384.

*Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. М., 1978, С. 254. Гегель
Г.В.Ф. Политические произведения. М., 1978, С. 254.*

Канке В. А. Философия. Учебник для вузов. М., 1997, С. 104. Канке В. А. Философия. Учебник для вузов. М., 1997, С. 104.

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Спб., 1914, С. 104. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Спб., 1914, С. 104.

Герцен А.И. Сочинения в 9 томах. Т. 2, М., 1955, С. 52–55. Герцен А.И. Сочинения в 9 томах. Т. 2, М., 1955, С. 52–55.

Сенека. Декарт. Спиноза. Кант. Гегель. Челябинск, 1996, С. 456–457. Сенека. Декарт. Спиноза. Кант. Гегель. Челябинск, 1996, С. 456–457.

Гейне Г. Собрание сочинений. Т. III, М., 1904, С. 51. Гейне Г. Собрание сочинений. Т. III, М., 1904, С. 51.

Фихте И. Г. Сочинения. Работы 1792–1801 гг. М., 1995, С. 10, 74, 503. Фихте И. Г. Сочинения. Работы 1792–1801 гг. М., 1995, С. 10, 74, 503.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992, С. 159.
Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992, С. 159.

Фихте И.Г. О назначении ученого. Вступ. В. Вандека. М., 1935, С. 6–24. Фихте И.Г. О назначении ученого. Вступ. В. Вандека. М., 1935, С. 6–24.

Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. IV, М., 1981, С. 217. Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. IV, М., 1981, С. 217.

Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. I, С.-П., 1993, С. 17, 55, 558. Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. I, С.-П., 1993, С. 17, 55, 558.

Цит. по: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. II, М., 1992, С. 66. Цит. по: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. II, М., 1992, С. 66.

Фихте И.Г. Сочинения в 2-х томах. Т. II, С.-П., 1993, С. 50–51, 441–443. Фихте И.Г. Сочинения в 2-х томах. Т. II, С.-П., 1993, С. 50–51, 441–443.

Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936, С. 254. Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936, С. 254.

Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966, С. 25, 31, 55, 57.
Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966, С. 25, 31, 55, 57.

Гулыга А. Шеллинг. М., 1982, С. 121–123. Гулыга А. Шеллинг. М., 1982, С. 121–123.

Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975, С. 15–16. Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975, С. 15–16.

Шлейермахер Фр. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. М, 1994, С. 174, 354. Шлейермахер Фр. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. М, 1994, С. 174, 354.

Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия. М., 1993, С. 24. Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия. М., 1993, С. 24.

Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995, С. 37. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995, С. 37.

Герbart И. Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1940, С. 77, 89, 99. Герbart И. Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1940, С. 77, 89, 99.

Хубати, Гундерманн. Альбертовский университет в Кенисберге. Дудерштадт.1993, С.7. Хубати, Гундерманн. Альбертовский университет в Кенисберге. Дудерштадт.1993, С.7.

Забелин И.М. Возвращение к потомкам. М., 1988, С. 10, 19.
Забелин И.М. Возвращение к потомкам. М., 1988, С. 10, 19.

Скурла Г. Александр Гумбольдт. М., 1985, С. 33, 37, 195, 197.
Скурла Г. Александр Гумбольдт. М., 1985, С. 33, 37, 195, 197.

Паульсен Ф. Исторический очерк развития образования в Германии. М., 1908; Паульсен Ф. Германские университеты. СПб., 1904. Паульсен Ф. Исторический очерк развития образования в Германии. М., 1908; Паульсен Ф. Германские университеты. СПб., 1904.

Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения. М., 1992, С. 48. Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения. М., 1992, С. 48.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. Т. 4, С.-П., 1997, С. 238.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней. Т. 4, С.-П., 1997, С. 238.

Сигеле С. Преступная толпа; Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я»; Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 1998, С. 250. Сигеле С. Преступная толпа; Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я»; Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 1998, С. 250.

Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 6, М... 1978, С. 129–134.
Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 6, М... 1978, С. 129–134.

Петр Великий в его изречениях. М., 1991, С. 10. Петр Великий в его изречениях. М., 1991, С. 10.

Хомяков А. С. Сочинения в двух томах. Т. 1, Работы по историософии. М., 1994, С. 56. Хомяков А. С. Сочинения в двух томах. Т. 1, Работы по историософии. М., 1994, С. 56.

Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее жители. М., 1998, С. 25, 29, 31. Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее жители. М., 1998, С. 25, 29, 31.

Большаков В. И. По закону исторического возмездия. М., 1998, С. 341. Большаков В. И. По закону исторического возмездия. М., 1998, С. 341.

Павлова Г. Е., Федоров А. С. Ломоносов М. В. (1711–1765). М., 1988, С. 76–86. Павлова Г. Е., Федоров А. С. Ломоносов М. В. (1711–1765). М., 1988, С. 76–86.

Немцы в России: люди и судьбы. С.-П., 1998, С. 151. Немцы в России: люди и судьбы. С.-П., 1998, С. 151.

*Винникова Г. Э. Тургенев и Россия. М., 1977, С. 14, 20. Винникова
Г. Э. Тургенев и Россия. М., 1977, С. 14, 20.*

Тургенев И. С. Собрание сочинений в 12 томах. Т. 3, М., 1876, С. 333. Тургенев И. С. Собрание сочинений в 12 томах. Т. 3, М., 1876, С. 333.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. изд. 6-ое, С.-П., 1995, С. 129–130. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. изд. 6-ое, С.-П., 1995, С. 129–130.

Зорин А. Л. Батюшков и Германия. // Arbor mundi. Мировое древо. 5, М.,1997, С.146. Зорин А. Л. Батюшков и Германия. // Arbor mundi. Мировое древо. 5, М.,1997, С.146.

Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1870, С. 98, 100, 110, 116, 187. Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1870, С. 98, 100, 110, 116, 187.

Коперник, Галилей, Кеплер, Лаплас и Эйлер, Кетле. Челябинск, 1997, С. 311. Коперник, Галилей, Кеплер, Лаплас и Эйлер, Кетле. Челябинск, 1997, С. 311.

Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений в 6 томах. М., 1991, Т. 1, С. 13–14. Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений в 6 томах. М., 1991, Т. 1, С. 13–14.

Германия (Deutschland): политика, культура, экономика и наука. N5, октябрь 1998, С.36. Германия (Deutschland): политика, культура, экономика и наука. N5, октябрь 1998, С.36.

Кейдан В. На путях к граду земному. // Взыскующие града. М., 1997, С. 29. Кейдан В. На путях к граду земному. // Взыскующие града. М., 1997, С. 29.

Форстер Г. Избранные произведения. М., 1960, С. 38. Форстер Г. Избранные произведения. М., 1960, С. 38.

*Герцен А.И. Сочинения в 9 томах. Т. 2, М., 1955, С. 50–51. Герцен
А.И. Сочинения в 9 томах. Т. 2, М., 1955, С. 50–51.*

Солоневич И. Народная монархия. М., 1991, С. 280. Солоневич И. Народная монархия. М., 1991, С. 280.

Розанов В. В. Среди художников. М., 1994, С. 154–155. Розанов В. В. Среди художников. М., 1994, С. 154–155.

Не привози с собою Гомера... Письма Е.П.Шлиман Г. Шлиману. С.-П., 1998, С. 8–9. Не привози с собою Гомера... Письма Е.П.Шлиман Г. Шлиману. С.-П., 1998, С. 8–9.

Не привози с собою Гомера... Письма Е.П.Шлиман Г.Шлиману. С.-П., 1998, С. 47–48. Не привози с собою Гомера... Письма Е.П.Шлиман Г.Шлиману. С.-П., 1998, С. 47–48.

Не привози с собой Гомера. Письма Е.П.Шлиман Г. Шлиману. С.-П.,1998, С. 16, 100. Не привози с собой Гомера. Письма Е.П.Шлиман Г. Шлиману. С.-П.,1998, С. 16, 100.

Солоневич И. Народная монархия. М., 1991, С. 275. Солоневич И. Народная монархия. М., 1991, С. 275.

Розанов В. В. Среди художников. М., 1994, С. 151. Розанов В. В. Среди художников. М., 1994, С. 151.

Зорин А. Л. Батюшков и Германия. // Arbor Mundi. Мировое древо. N5, 1997, С. 149. Зорин А. Л. Батюшков и Германия. // Arbor Mundi. Мировое древо. N5, 1997, С. 149.

*Гегель Г.В.Ф. Философия истории. С.-П., 1993, С. 361–362. Гегель
Г.В.Ф. Философия истории. С.-П., 1993, С. 361–362.*

Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957, С. 67. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957, С. 67.

Розеншильд К История зарубежной музыки (до середины XVIII в.). М., 1978. С. 368–406.

И.-С. Бах. Моцарт. Шопен. Шуман. Вагнер. Биографические повествования. 2-е изд., Челябинск, 1998. С. 35.

Морозов С. Бах. М., 1975. С. 9, 72, 79, 246.

Вестник Российского Гуманитарного научного фонда. N 1, 1997.
С. 134.

Вудфорд П. Моцарт. Урал. 1999. С. 9, 20.

И.-С. Бах. Моцарт. Шопен. Шуман. Вагнер. Биографические повествования. 2-е изд. Челябинск, 1998. С. 128.

Чичерин Г.В. Моцарт. Л., 1979. С. 64, 65, 72.

Вейс Д. Возвышенное и земное. Киев. 1986. С. 690.

Чичерин Г.В. Моцарт. Л., 1979. С. 83–85.

Автор – Миронов В.Б.

Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. Очерк жизни и творчества.
М., 1977. С. 43.

Згорж А. Один против судьбы. Повесть о жизни Людвига ван Бетховена. М., 1973. С. 246.

Корганов В. Бетховен. Биографический этюд. М., 1997. С. 82–89, 217, 246.

Эррио Э. Жизнь Бетховена. М., 1968. С. 115, 185.

Кремнев Б. Бетховен. М., 1961. С. 173, 223–224.

Берлиоз Г. Мемуары. М., 1967. С. 3, 6, 361–362.

Чичерин Г. В. Моцарт. Изд. 4-е, Л., 1979. С. 115.

Альшванг А. Бетховен. М., 1977. С. 372, 376.

Austria Today. News Events. Trends. № 1. 1994. P. 51.

Батгерворт Н. Гайдн. Урал. 1999. С. 41, 77, 79.

Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. Очерк жизни и творчества. М., 1972. С. 6, 9, 28, 29.

К. Р. Избранная перписка. СПб., 1999. С. 55.

Кремнев Б. Шуберт. М., 1964. С. 73, 76, 295.

Автор – В. Б. Миронов.

Тэн И. Философия искусства. М., 1933. С. 54.

Буасъе А. Уроки Листа. Л., 1964. С. 9.

Гаал Д. Ш. Лист. М., 1977. С. 14, 16, 146, 161, 203.

Петрушин В. И. Музыкальная психология. М., 1997. С. 237–239.

Вагнер Р. Письма. Дневники. Обращение к друзьям. Т. 4. Пб., 1911. С. 15, 109.

Берлиоз Г. Мемуары. Изд. 2-е. М., 1967. С. 356–357.

Петефи Ш. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 2. Будапешт, 1973.
С. 84–85.

Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1979. С. 243, 245.

Бородин А. П. Воспоминания о Ф. Листе. М., 1953, С. 6.

Бах Й-С. Моцарт. Шопен. Шуман. Вагнер. Биографические повествования. Челябинск, 1998. С. 368, 371.

Кенисберг А. Рихард Вагнер (1813–1883). Л., 1963. С. 6 – 18.

Малинъон Ж. Жан Филипп Рамо. М., 1983. С. 6, 79.

Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1990. С. 758.

Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.
С. 446.

Вагнер Р. Письма. Дневники. Обращение к друзьям. Т. 4. Пб., 1911. С. 421–422, 531.

Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. М., 1953. С. 88–89.

Монархи Европы. Судьбы династий. М., 1997. С. 258, 260.

Chronik des Christentums. Chronik Verlag im Bertelsmann. Munchen, 1997. S. 307.

Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. 4. М., 1981. С. 59–60.

Study in Austria. Vienna, 1995. P. 16–35.

Штейнер Р. Истина и наука. М., 1992. С. 8.

Штифтер А. Бабье лето. М., 1999. С. 271, 304.

Мирабо, Меттерних, Франклин, Вашингтон, Линкольн.
Биографические повествования. Челябинск, 1995. С. 167.

Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX в.). М., 1997. С. 138.

Неедлы З. История чешского народа. Т. 1. М., 1952. С. 234.

Поп И. Искусство Чехии и Моравии. М., 1978. С. 204.

Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 1. М., 1940. С. 76.

Бакунин М. А. Философия, социология, политика. М., 1989. С. 280.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С.-П., 1995. С. 291–292.

Ритчик Ю. Национальная классика. Чешская культура третьей четверти XIX века // Становление национальной классики. М., 1991. С. 64.

История теоретической социологии в 5-ти томах / Под ред. Ю. Давыдова. Т.1. М., 1995, С.177–179.

Немцы в России. Проблемы культурного взаимодействия / Отв. ред. Л. В. Славгородская. СПб., 1998. С. 92–93.

Людвиг Э. Наполеон. М., 1998. С. 369.

Додолев М. А. Россия и проблемы Германской конфедерации в первые годы существования Священного союза (1815–1820 гг.) // Россия и Германия. Выпуск 1. М., 1998. С. 124–131.

Lesebuch zur deutschen Geschichte. Texte und Dokumente aus zwei Jahrtausenden. Dortmund. 1989. S. 577.

Эмиль Людвиг. Бисмарк. М., 1999. С. 24.

Палмер А. Бисмарк. Смоленск, 1998. С. 34, 35, 67.

Германия: политика, культура, экономика и наука. № 2. 1996. С. 44–49.

Бакунин М. А. Философия, социология, политика. М., 1989. С. 422, 424.

Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 1. М., 1940. С. 82.

Клаузевиц. О войне. Т. 1. М., 1936 С. 13, 145.

Рыбковская О. Н. Роль предпринимательских союзов в развитии внешнеэкономических связей Германии в конце XIX – первой трети XX века. М., 1991. С. 32.

Моруа А. Литературные портреты. Три Дюма. Кишинев, 1974. С. 308.

История дипломатии / Под ред. В. Потемкина. Т. 1. М., 1941. С. 481.

Доде А. Малыш. Письма с мельницы. Письма к отсутствующему.
Рассказы по понедельникам. М., 1987. С. 470.

История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. Т. 5. М., 1938. С. 348–349.

Мартынова-Савченко М. Мой дед генерал Мартынов // Дворянский сборник. № 3. 1995. С. 139.

Манчестер У. Оружие Круппа. М., 1971. С. 33–34, 49, 56.

Бержье Ж. Промышленный шпионаж. М., 1971. С. 56–60.

Виргинский В. С., Хотеевков В. Ф. Очерки по истории науки и техники (1870–1917 гг.). М., 1988. С. 30.

Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М., 1995. С. 290.

Высшие учебные заведения ФРГ, М., 1961. С. 6.

Фейербах Л. История философии. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 1. М., 1974. С. 504–505.

Фейербах Л. История философии. Т. 3. М., 1974. С. 196.

Лавров П.Л. Философия и социология. Т. 1. М., 1965. С. 667–668.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. СПб., 1997. С. 166.

Сократ. Платон. Аристотель. Юм. Шопенгауэр. Биографические повествования. Урал. 1995. С. 314–315.

Фолкелът. Артур Шопенгауэр, его личность и учение. Пб., 1902.
С. 28–30.

Шопенгауэр А. Собрание сочинений в 5-ти томах. Т. 1. М., 1992.
С. 45.

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Пб., 1914. С. 5, 120.

Цит. по: Основы философии / Под ред. Е. Попова. М., 1997. С. 98–99.

Маркс Карл. Биография. М., 1973. С. 4–8, 15.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т.1. С. 36, 70.

Так же. С. 408–410.

Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 119.

Меринг Ф. От утопии к науке. Ростов-н/Д, 1924. С. 194.

Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957. С. 97.

Фридрих Энгельс. Биография. М., 1972. С. 11.

Серебрякова Г. Собрание сочинений. М., 1978, Т. 2. С. 103.

Меринг Ф. Карл Маркс. Указ. раб. М., 1957. С. 258.

Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1996. С. 5.

Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. Новосибирск, 1992. С. 16–22.

Morin D. L'atheisme moderne. P., 1985. Т. 1, 2. // Цит. по:
Зарубежные концепции атеизма и идеологическая борьба. М., 1988. С.
36–43.

Шопенгауэр А. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1992. С. 263.

Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1992. С. 203.

Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. Новосибирск, 1992. С. 26, 72, 95.

Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1996. С. 49, 242.

Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций. М., 1996. С. 371.

Штирнер М. Единственный и его собственность. Харьков, 1994.
С. 247–248, 367.

Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1990. С. 590–592.

Гельрот М. Ницше и Горький. // Максим Горький: pro et contra. СПб., 1997. С. 384.

Гумилев Н. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 1. М., 1991. С. 5–6.

Павлова Н. С. О Якобе Буркхардте // *Arbor Mundi*. Мировое древо. 5, М., 1997. С. 80.

Абуш А. Ложный путь одной нации. М, 1962. С. 193.

Могилевцев Г. Торжество православия // Образ. № 1, 1997. С. 122.

Федоров Н. Ф. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 2. М., 1995. С. 135.

Рассел Б. История западной философии. Новосибирск, 1997. С. 708.

Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 64.

Бердяев Н. А. О назначении человека. М., 1993. С. 275.

Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1990. С. 45.

Рыльский М. Сонеты. М., 1981. С. 37.

Стоун И. Страсти ума, или Жизнь Фрейда. М., 1994. С. 12, 21, 153, 183.

Шерток Л, де Соссюр Р. Рождение психоанализа. М., 1991. С. 40–43.

Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1991. С. 12.

Моруа А. Жизнь Дизраэли. М., 1991. С. 126, 226.

Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989. С. 36.

Фрейд З. Толкование сновидений. Обнинск, 1992. С. 5, 154–157.

Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии. Т. 2. М., 1996.
С. 18.

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С. 2, 110, 115.

Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Кн. 1. Тбилиси, 1991. С. 75–85, 119.

Фрейд З. Указ. раб. Изд. 2-е. С. 401–402.

Стоун И. Страсти ума или жизнь Фрейда. М., 1994. С. 732–734.

Юнг К. Г. Психологические типы. М., 1996. С. 606–607.

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 286–287.

Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. С. 484–485.

Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1992. С. 348.

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 76.

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 644–705.

Астрономия на крутых поворотах XX века / Под ред. Еремеева А.
И. Дубна, 1997. С. 263.

Хофман Б. А. Эйнштейн – творец и бунтарь. М., 1983. С. 179–180.

Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1992. С. 301.

Лососий Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 416.

Поппер К. Открытое общество и его враги. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. Т. 2. М., 1992. С. 70–71;

Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 63–64.

Носик Б. Швейцер. М., 1971. С. 7, 15, 27, 34, 51, 114.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 93, 95, 237.

Гуссейнов А. А. Великие моралисты. М., 1995. С. 241–242.

Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. Т. 20. с. 368.

Бюлов Б. Державная Германия. П.-М., 1915. С. 82.

Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. Т.1. М., 1986. С. 259.

Европейская поэзия XIX века. М., 1977. С. 48.

Гваньини А. Описание Московии. М., 1997. С. 13.

Дюма А. Путевые впечатления в России. Сочинения в трех томах.
Т. 1. М., 1993. С. 301.

Гегель Г. В. Ф. *Философия истории*. С.-П... 1993. С. 60–61.

Коялович М. О. История русского самосознания. Минск, 1997. С. 395, 396, 398.

Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика. Т. 1. М., 1983. С. 287.

Герцен А. И. Было и думы. Сочинения в 9 томах. Т. 5. М., 1956. С. 15, 29.

Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. Т. 1. М., 1997. С. 296.

Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С.177.

Гегель Г. В. Ф. *Философия истории*. С.-П., 1993. С. 368.

Конради К. Гёте – жизнь и творчество. Т. 1. М., 1987. С. 14; т. 2. С. 421.

Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. в 5-ти томах. Т. 3. М., 1957. С. 657.

Канцлер Горчаков А. М. 200 лет со дня рождения. М., 1998. С. 379–380.

Хомяков А. С. Сочинение в двух томах. Т. 1. М., 1994. С. 56–57.

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 11.
СПб., 1993. С. 14–15.

Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 159.

Собрание сочинений Г. Брандеса. Т. 5, Пб., 1908. С. 331.

Бисмарк О. Мысли воспоминания. Т. 2. М., 1940. С. 252.

Толмачев Е. Последний канцлер России // Историческая газета.
Июнь 1998. С. 6.

Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 3. М., 1941. С. 76.

Бюлов Б. Воспоминания. М.-Л., 1935. С. 4, 54.

Монархи Европы: судьбы династии / Ред. – сост. Н. В. Попов. М., 1977. С. 333–337.

Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 117.

Вельяминов Н. Мои воспоминания об императоре Александре III, его болезни и кончине // Русский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. 5. М., 1994. С. 253.

Россия и Запад / Под ред. Ю. С. Борисова, А. В. Голубева и др. М., 1998. С. 41–45.

Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 373–374.

Уткин А. И. Вызов Запада и ответ России. М., 1996. С. 140–141.

Эмиль Людвиг. Последний Гогенцоллерн (Вильгельм II). М., 1991.
С. 119.

Работы М. Вебера по социологии религии и культуре. Выпуск 1,
М., 1991. С. 77.

Большаков В. И. По закону исторического возмездия. М., 1998. С. 549.

Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. С. 536.

Штифтер А. Предисловие к «Пестрым камешкам» // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Эстетические учения Западной Европы и США. Т. 3. М., 1967. С. 477.

Бакунин М. А. Философия, социология, политика. М., 1989. С. 252, 259, 260.

Цит. по: Людвиг Э. Гёте. М., 1965. С. 425–426.

Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 262.

Розанов В. В. Среди художников. М., 1994. С. 156.

Книга о Владимире Соловьеве / Сост. Б. Аверин, Д. Базанова. М., 1991. С. 75.

О свободе. Антология либеральной мысли / Под ред. М. Абрамова. М., 2000. С. 194, 199.

Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 222.

Эвом Ю. Языческий империализм. М., 1994. С. 12.